



ББК

Юр. Михайлов

Реквием. Роман о романе, или роман с романом. Метафизическая проза. 2-е издание с предисловием и послесловием автора, а также откликами и рецензиями читателей. — М.: ТЕИС, 2014. — 631 с.

ISBN

Вольное, вдосталь надуманное, а потому и весьма сомнительное повествование-размышление метафизического толка по поводу феномена человека в условиях экстраординарного бытия России за последнюю сотню лет в творческой связке с мистическим явлением в мире сем писателя-чернокнижника М.А. Булгакова и его чародейского романа «Мастер и Маргарита» — без всякого стремления к нарочитому правдоподобию, взыскуемому обычно научным литературоведением, дотошным до неправдоподобия.

(С) Юр. Михайлов, 2014



Итоговое предвещание

Нельзя сказать, что явление на свет более чем странного в своей необыкновенной обыкновенности «Реквиема» не было замечено и по достоинству оценено умным и проницательным, хотя и очень редким, читателем. Достаточно ознакомиться с рецензиями и откликами на «Requiem», помещёнными в настоящем издании. Каждый из текстов-бликов — оригинальное размыслительное произведение, достойное заинтересованного внимания и непритворного восхищения. Выразительный диалог между «Реквиемом» и читателем состоялся!

Однако возымело место и другое: отсутствие как раз какого бы то ни было диалога, а вместо одного — круговое, вполне и фронтальное, игнорирование произведения, его неприятие и... непонимание — даже от близких по жизни и духу коллег и друзей, что подвигло автора к ключевому осознанию постигшей его творческой тщеты, ненужности своего творения для образованных и начитанных персонажей близлежащего интеллектуального контекста.

Вокруг «Реквиема» и его автора незамедлительно воцарилась тягостная тишина, старательно перемешанная с обезличенной пустотой, что-то вроде перемещающегося по пространству наподобие ожесточённой шаровой молнии... фрагмента бездны. Нечаянный провал, неудачная попытка, холостой выстрел! Ничто в «романе о романе, или романе с романом» не привлекло внимания ближайшего к автору читателя, ничто не вызвало у него вопроса, ничто не подвигло к оживлённому между ним и автором разговору.

Да, явилось вдруг некое книжное произведение: не роман, не повесть, не пьеса, не выверенная биография эпохи, не мифоподобный сказ, как и, разумеется, не остросюжетный детектив, хотя всё это как-то и присутствовало в разорванном на куски, хотя и матрично-скомпонованном, тексте, но в целом... в целом же



представляло незнамо что, а главное — не цепляющее, не задевающее, не возбуждающее, что-то и впрямь непонятное, неизвестно для чего написанное — этакая книжка-угадайка, она же и книжка-невидимка, которая вроде бы есть — особенно ежели не купленная за кровные денежки, а подаренная ненароком и опрометчиво самим автором, — но её как бы и нет.

Что тут скажешь?

Никак не едкая и смехотворная «поэма» в духе раскатистых «Мёртвых душ»; не брызжущая въедливым юмором и одесскими площадными афоризмами повестушка по разряду всеочаровательных «Двенадцати стульев»; не какая-нибудь завлекательная, полная при этом... э-э... истинно глубокомыслия, сказочка — в стиле той же утончённой «Алисы в стране чудес»; ну и, конечно, никак не фантазмагорический, набитый щекочущей чертовщиной и изящно-обывательским остроумием роман класса «Мастера и Маргариты»!

Ничего *такого* в «романе о романе, или романе с романом» не было!

Ни сюжетной занимательности, ни колющей меткости слова, ни плотоядных до безумия сцен, ни захватывающей людское воображение буйной фантазии.


Даже мыслей — и то, кажется, никаких!

Очутилась вдруг в доме книга, но почему-то не читалась; бралась в руки и вроде бы даже читалась, но никаким откликом так и не обзавелась; что-то вдруг о ней сказанулось, но, скорее, произвелось какое-то несвязное бурчание под уныло опущенным носом.

Вот и всё!

Не читалось, не вникалось, не думалось!

Оказалось, что нашей учёной публике ничего *такого* и не нужно, а потребно, если вообще что-либо потребно, что-то совсем *другое*: доступное, привычное, в меру замысловатое, но в целом же непременно понятное, чтобы и мнение читательское быстренько выплеснуть («Так себе, но местами занятно!»), и приговорное суждение небрежно кинуть («Полная, знаете ли, чепу-



ха!)), но никак уж не выдавливать из себя... *свою мысль*, что как раз самое трудное и есть, да что трудное — *невозможное!*

Так и остался автор в проклятом недоумении, поругивая себя за 1) наивность, ибо обращался вроде бы к *своим*, на которых явно рассчитывал, но которых так и не обнаружил; за 2) опрометчивость, ибо взялся, видать, *не за своё* дело, не писательское, не художническое, не лжесвидетельское; за 3) высокомерие, ибо не рассчитал своих воображенческих сил, в особенности перед лицом уже взятых в мире и хорошо известных учёным коллегам и друзьям литературных вершин.

В общем: «чёрное поражение»!

А ведь создавал автор не роман вовсе, хоть и назвал своё произведение «романом», как и не избег некоторой в нём всамделишной «романности»; не историческое повествование, хоть и не пренебрёг вовсе историей и немалой историософичностью, как и не ушёл от некоторой «эпопейности»; даже не философский беллетризованный трактат, хоть и предположил в произведении немалую метафизическую подоплёку, не обойдя и кое-какой эзотерики с конспирологией.

Автор создавал даже не литературное произведение как таковое, тем более жанровое, а всего-навсего... *текст*, причём текст разнообразный, многоцелевой, «блочный», реализованный во множестве литературных форм и с почти что роскошным обилием сюжетов и действующих лиц, текст многопараметровый, многослойный и многолинейный, ещё и многосмысловый, но при этом и внутренне взаимоувязанный, вполне органический, цельный.

Текст этот не стал всего лишь «текстовым текстом», составленным из букв, слов, предложений, главок, как и не стал текстом вполне самодостаточным, живущим только своей собственной жизнью, а оказался более всего текстом-предворением, текстом-презентацией, текстом-приглашением, если не текстом-провокацией... обращённым к *иному тексту*, не написанному, зрительно и вообще чувственно никак не представленному, скрытому, тайному, находящемуся где-то *за* явленным текстом, к тому



самому *иному тексту*, который снимается читателем лишь переживательно-вообразительно, с помощью размышлений, догадок и неожиданных откровений.


Есть текст, а есть и *за-текст*, или *крипто-текст*, или *пара-текст*, если не *квази-текст*, во всяком случае — ***иной текст!***

Отсюда воплощённый в буквах текст — не более чем вынужденная зашифровка этого *иного текста*, причём согласно шифру, извлечённому автором не из себя, а из самой распростёртой вокруг реальности.

Итак: *реальность* — *шифр* — *явленный текст* — *иной текст!*

Тут встаёт вопрос ключа — ключа от шифра и, соответственно, ключа от иного текста, что то же самое — от *иной реальности*. Да, проблема эта есть, — и великая проблема! — решаемая... самим читателем и только им. Это не проблема автора, как и не проблема самого по себе текста, это насущная проблема читателя, его сознания, интеллекта, культуры, его трансцендентного контакта с явленным ему текстом, в котором, заметим, вольных и невольных намёков на ключик этот волшебный в общем-то предостаточно. Однако намёков, читатель, а не доказательств, ибо всякая попытка доказательства — верный шаг к утрате искомого ключика!

Необходимая разгадочная подсказка на сей счёт была сделана автором вполне открыто, сходу и честно — прямо на лицевой стороне обложки книги, где сказано было: «Метафизическая проза», что означало, что в книге главным является не текст, а, как общепринято говорить, *подтекст*, а в более глубоком и содержательном понимании — *иной текст*. Ясно, что в любом сколько-нибудь достойном литературном тексте всегда имеется подтекст (или междусловие), — никто этого не отрицает. Но не во всяком беллетризованном тексте имеет место нечто большее, чем подтекст, а именно — *за-текст*, или, как здесь предпочтительнее — *иной текст*. Такой вот «иной текст» и занимает ведущее место в «Реквиеме», ибо «Requiem» — насквозь метафизиче-



ское произведение, как уже было сказано, в меру эзотерическое и довольно-таки конспирологическое.

Отобразив пропитанную метафизисом, а следственно и тайной, реальность, автор «романа о романе, или романа с романом» пытался через слова, сюжеты и действующих лиц перевести читателя в *иной мир*, который вовсе не где-то там в космической дали или же в крошечной подземной глубине, а прямо здесь, на земле, среди нас и в нас, который сам по себе невидим, неслышим и неопишум, но который не просто присутствует в нашем мире, но и весьма его определяет.

Редкий читатель «Реквиема» всё это почувствовал, одиночный — осознал, а в большинстве своём «ревностно-равнодушный» читатель прошёл мимо чуждого ему и его просветлённому наукой сознанию *метафизиса*, всего способного открыться ему *иного*, мимо загадочной, раздумчивой и действительной *метафизической матрицы бытия*. Напряжение ума и души по поводу любых сущностно насыщенных и мало-мальски загадочно условных (символических) текстов — не удел современного «быстрого» и «летучего» читателя, это что-то для него нежелательное, тягостное, ненужное, да и попросту вредное.

Нынешнему просвещенцу невдомёк, что текст «Реквиема» — не цель вовсе, а лишь средство, а содержащийся в тексте нарратив (рассказ) — лишь возможность погружения в *иное*, в скрытые в глубинах бытия смысловые закрома и металогические токи, как и возможность воспарения ввысь, приближения к Софии, к самой Премудрости Божией. Очень почему-то не хочется онаученному читателю напряжно думать, проникать в суть, воспарять над поверхностью, постигать инобытие, обретая потаённые в недрах и нисходящие с небес смыслы, да ещё и в тесном сплетении реальности и фантазии, персонажей и призраков, деяний и рока, в смешении порядка и стихии, воли и надежд, творений и чародейства, в общем — в коловращении жизни и смерти, правды и лукавства, веры и безверия, крови и грязи!

Никому, или почти никому, не пришло в голову, что произведение сие вполне *мистическое*, — и не только потому, что го-



говорит о мистике бытия, но и оттого, что говорит об этом мистически: неявно, иносказательно, многозначно, даже и вкрадчиво. Но это не всё: вряд ли кому пришло на ум, что произведение это ещё и вполне *магическое*: и не только потому, что... *живое*, причём само по себе живое — мерцающее и вибрирующее, но и оттого, что оно из себя вещающее и собою творящее, мало того, оно и само как таковое есть бытие, история и сознание, кусок нософеры, всё в себя вбирающий и всё из себя выделяющий, вливающийся в реальность, служа ей изобличительно, проекционно и сотворительно.

Магия текста, соединившись с магией затекста, вторгается в метафизис бытия, истории и самого человека, чтобы незаметно для замороженного обманчивой гуманистической культурой и затурканного плоским научным воззрением наблюдателя-эрудита — вполне уже, кстати, рассеянного (не сосредоточенного) — вершить магически эти самые бытие, историю и самого человека!

Запрограммированный надёжно и в тёмную современным погремушным европейством, наш псевдорусский «странник» никак не замечает распротёртой вокруг и в нём самом гнездящейся *онтологической мистики*, как и вездесущей самодеятельной *онтологической магии*, хотя вроде бы и не склонен приравнять себя и свою драгоценную личность к бездушному материальному механизму или к тому же бессознательному биогенному роботу. Что-то *метафизическое* — одновременно мистическое и магическое — его так или иначе назойливо беспокоит, но это что-то настолько убедительно для него и им самим отвергнуто и так далеко запрятано в глубинах подсознания, что на виду всегда остаётся и бессознательно действует лишь ограниченный ниспровергатель реально бытующего повсюду метафизиса, он же скукоженный читатель-несмышлёныш!

И как этому наполненному знаниями незнайке и самоуверенному образованному недотыкомке догадаться, что литература, не говоря уже о философии, вовсе не одно лишь отражение окаёмной реальности, как и внутреннего мира «писателей» и «мыс-



лителю», а и неустанное *созидание* этой реальности, включая и сознание самих человек, их — этой реальности и этих человек — программирование и форматирование, определение их жизненного течения и конечной судьбы, случающихся в ней и с ними событий — как заурядных, так и исключительных. Именно в этом состоит более всего *мистическая магия* литературы и философии, как, собственно, и искусства, а вовсе не в их отобразительности, привлекательности и занимательности, не в их стройности, системности и выставленной наружу красоте.

Никак не может нынешний читатель признать, что тексты человеческие всюду чародействуют, колдуют и заколдовывают, выворачивают, направляют и обращают, куда-то влекут, тащат и на что-то эдакое обрекают, — разумеется, не всякие, а совсем даже не многие, но зато *какие!* — причём тащат за собой не только отдельных впечатлительных особей, но и целые сообщества, народы, культуры и цивилизации, а самое главное — делают это незаметно, тихо, вполне и конспиративно, одним словом — *метафизически!*

Тексты, как и образы — творцы и активные участники всей бытийно-жизненной человеческой *мистерии*: что обыденной, что трагической, что комедийной, что безумной!

Текст человеческий не менее силён, формирующ и манящ, чем текст природный или текст сакральный. Литература XIX — XX вв. — та же по значению и роли, что и древнегреческая мифология или иудео-христианская библеистика. Точное и веское слово, какого бы знака оно ни было, никуда и никогда не исчезает, оно всегда здесь — в мире, в ноосфере, в сознании (пусть и более всего в подсознании, в так называемом «коллективном бессознательном»). Слово обязательно является в другом слове, в бессловесье, в интуициях, в действиях, причём вовсе не обязательно, что осознанно, обдуманно, нарочито.

Литература — вещь (от вести) более чем значимая, вовсе не такая уж безобидная, как обычно кажется, насколько вроде бы полезная, настолько и вредная, всюду и опасная. Та же великая русская литература, что от Пушкина до... э-э... отложим на



мгновение приговорное заключение, прочно вошла в эгрегор России, её метафизис, и совершенно мистико-магически определила историческое состояние и движение русского духа в XIX и XX вв., немало его запутав, заморочив, ослабив и унизив, чем и выкликнула столь же великую, как и она сама, русскую, а по сути-то антирусскую, *Революцию*, покончившую сначала с вскормившей русскую литературу Российской империей, а затем и — через каких-нибудь четверть века — и с самой великой русской литературой.

Для нас особенно важно, что закончилась эта отменная русская литература... э-э... не поверите... на мистико-магическом романе «Мастер и Маргарита», поведавшем о торжестве самого уже дьявола в Москве-России, то бишь не Чичикова, не Базарова, не Ставрогина и не какого-нибудь Самгина, а самого что ни на есть господина хорошего дьявола, свершившего к тому же свой краткий, пусть и театрально-карнавальным... э-э... «Страшный Суд» над Москвой-Россией, отправленной им по итогам своего торжества прямо в мглистую преисподнюю.

Суд состоялся тогда же и над великой русской литературой, вынужденной закончить свой исторический марш именно... на этом чародейском романе — последнем своём великом романе, после которого пошли лишь одни поделки, пусть иной раз и своеобразные, и талантливо сбитые, а в глазах простодушного читателя очень даже и значимые.

Сегодня уже не только нет великой литературы, но вряд ли вообще есть литература, какой она себя понимала целую эпоху от Пушкина до того же Горького, а есть некая пара-, квази- и псевдолитература, или попросту *пост-литература*, вполне упрощённая, выхолощенная и без всякой меры продажная (редкие исключения тут лишь подтверждают правило), а потому на повестке дня у всё-ещё-человека, т. е. всё-ещё-думающего человека, особого рода беллетризированные тексты — *метафизические*, одновременно противостоящие как глубокомысленной, но уже ушедшей в неповторенье, классике, так и вульгарной, хоть и процветающей, постмодернике.



Мало кто *это* понимает: люди предпочитают всё что угодно, кроме... потребности и необходимости думать, а в ходе своих раздумий ещё и улавливать кое-какие судьбоносные смыслы. Мир стремительно меняется, причём таким образом, что всё меньше остаётся возможности сохранить в человеке человеческое, поддержать его иномирное сознание, да ещё и позитивно-творческое — уже не просто демиургическое, а и *теургическое*, то бишь лояльное не Люциферу вовсе, а самой Софии Премудрости Божией.

Приведённые в данном томе рецензии или отклики на «Реквием», подтвердившие гносеологическую чуткость и смысловую ценность сложного метафизического произведения, подвигли автора на переиздание своего злополучного детища. Почему же злополучного? А разве ощущение зрешности большого творческого порыва, невосприимчивость близким читателем преподнесённого ему труда, ненужность вырвавшегося из глубины вибрирующего сознания необычного текста, не злосчастны? А как было избежать вдруг нагрянувших сомнений, разочарований, пересмотров, занозисто завершавшихся отчуждениями, отречениями и разлуками? А что было делать с коварными догадками, глумливыми откровениями и раздирающей сердце тоской? И как было признать набиравшую силу ментально-творческую одинокость, с ней вынужденно, хотя и вполне дружелюбно, смириться?

Да, «роман», как это и было почему-то предположено на его страницах самим же автором, жестоко отомстил своему создателю, нещадно вразумляя его через сокрытые от него «мнения» окружковых «читателей-нечитателей», как и посредством нарочитого отсутствия каких бы то ни было по поводу «романа» мнений. Однако за что же?

Нет, тут дело не в содержании «романа», не в полемике его автора с эпохой, как и не в полемике читателей с автором, вообще не в произведении как таковом тут дело, а совсем в другом — в самом факте появления необычного, самостоятельного и неберущегося просто так *творения*, мало того, ещё и как бы незаконнорожденного, недопустимого, нарушающего... все приличия,



правда, не те, что обычно имеются в виду «культурным обществом», а совсем другие, что диктуются распластанной вокруг интеллектуальной обыденностью, её негласными правилами и въевшимися в неё и в самих «читателей» привычками, более того — неписанными законами... Э-э... *стай*, когда нельзя быть самим собою и вполне самостоятельно творить, ещё и творить по-новому, ещё и малопонятно (мистически, видишь ли, ещё и магически, опираясь непременно на давно уже отвергнутое просвещёнными научно «людьми»... *метафизическое!*), да ладно бы всё это творить, а то ещё и рассчитывать на заинтересованное прочтение, на глубокие думы, на сердечное понимание, на адекватный отклик!

Дерзость всё это, а дерзость всегда наказуема! Нет, не специально, не измысленно, не целеустремлённо, а так — походя, само собой, через умолчание и нереакцию, в равнодушии.

Великое это средство — *незамечание!*

Есть будто бы, но вроде бы и нет; есть, кажется, но что и где?

Есть, пожалуй, но... *мимо!*

И потом: нельзя же просто так утверждать и сеять *тайну*, не давая при этом никакой разгадки; видеть реальность и лишать человека «об ней» иллюзий; говорить правду и надеяться на какую-то там ещё по её поводу дискуссию.

Не санкционированным получился «роман» — ни традицией, ни модернизмом, ни наукой, даже философией он не был санкционирован, оказавшись в итоге... как бы вне закона, но не юридического, не нравственного, а... общественного, точнее — обыденно-публичного, как раз того самого, что довлеет повсюду, допуская всё что угодно, но только не *это* — не *правдивое метафизическое откровенчество!*

Явившись на свет, «Requiem» вовсе не замер лупоглазо и не медлил шадяще, а сразу приступил к преступному действию, меня всё и вся: весь мирской свет, который вдруг оказался в глазах поражённого зрителя совсем другим, совсем и не светлым; мирскую тьму, которая тоже оказалась почему-то совсем другой, во-



все не такой уж и тёмной; несчастного автора, который тоже был вынужден стать другим — совсем уж не таким романтическим простецом, как прежде; весь окружавший автора социальный контекст, который заметно-незаметно трансформировался во что-то совсем другое, не столь уж содержательно насыщенное и сердечно-умственно привлекательное.


Рукописи, возможно, и не горят (иной раз!), а вот тексты (тоже иной раз!) очень даже работают, в особенности такие, как «Мастер и Маргарита» или тот же «Requiem»: тексты-прозорливцы, тексты-провидцы, тексты-изобличители, тексты-инквизиторы, да так ловко работают, что жизнь авторская, а в некоторой части и читательская, разделяется внезапно на две — *до* «романа» и *после* «романа», одна и другая, а эта-то другая почему-то оказывается не простым продолжением первой, а становится ни с того, ни с сего её тревожным отрицанием.

Какая-никакая, но Голгофа тут с перерождением — не более и не менее, — и непременно свершающаяся!

Вполне и *мистико-магически!*

Кропотливая своевольная работа «романа» этим, конечно же, не ограничилась — что «роману» его одинокий и жалкий автор, что ему случайно и невпопад попавшийся читатель, что ему полуживое интеллектуальное-де сообщество? Как и его легендарный прототипический предшественник — уже настоящий и вполне стоящий роман «Мастер и Маргарита», — «Requiem» работал на саму эпоху, встряв, как и его предшественник, в ноосферу, в эгрегор России и Москвы, — и предшествовал, и подвигал, и направлял, и выстраивал, но... в отличие от своего предшественника — настоящего и стоящего романа! — не заколдовывал и не цепенил страну, а, наоборот... старался её расколдовать, распутать и оживить, толкая взашей ленивицу и заставляя её упорно идти... к *самой себе*.

Не может такого быть, скажут нам противники мировоззренческой интуиции, а мы, согласившись во мгновение ока с ними, лишь ухмыльнёмся незаметно, отвернув лице свое в



укромную сторону, чтоб не увидели закоренелые всезнайки нашей мягкой неблагородной иронии, да и не обиделись!

А как же **реквием**, это ужасное поминальное действо, определившее своим скорбным именем метафизическую суть «романа»?

Реквием, читатель — это не похоронный марш и не погребальное слово, а лишь выражение скорби по чему-то уходящему, причём уходящему весьма для человека ценному; в то же время реквием есть выражение надежды на его — этого весьма ценного — непременно, пусть и в ином облике, возрождение, если не прямое воскрешение, как и выражение веры в овладение человеком чем-то *иным*, уже не так земным, как небесным, пусть и овладение страдательное, но всё-таки... неизбежное.

В реквиеме нет ничего ударно пессимистического, хотя и много в нём печали, в реквиеме как раз много неударного оптимизма, пусть и вперемешку с великой грустью, но уж никак не в единении с ударным отчаянием!

Реквием — самая правдивая принадлежность жизни, причём и вечной жизни тоже, но никак не атрибут смерти-конца, а если и имеет отношение к смерти-концу, то лишь как мужественное отрицание смерти-конца ради нескончаемой жизни!

Что касается «Реквиема» — этого в общем-то апокалиптического, но при этом и апокатастатического, произведения, то он живёт своей внутренней и внешней жизнью, открываясь, показываясь и показывая, что-то разъясняя, как и упреждая, оберегая, содействуя, причём вовсе не только через заложенный в нём авторский текст, но и посредством бытующего в нём и за ним **иногo текста** — бездонного и бескрайнего, насыщенного смыслами и знаменами, щедро на запросы и откровения, — было бы желание черпать и усваивать, не остерегаясь ни трансцендентного метафизиса, ни загадочной мистики, ни чудодейственной магии!

Рукописи, быть может, иной раз и не горят, но вот *метафизические тексты* вряд ли когда умирают!

Автор



Рукопись, найденная в Тропарёве

Рукописи, конечно, не горят, но и горят тоже — сам видел! — а главное, кем-то выбрасываются — наследниками, новыми жильцами, — и кем-то находятся — пенсионерками, к примеру.


Однажды моя соседка, как раз пенсионерка, принесла мне весьма потрепанную папку с бумагами, которую она нашла в куче выброшенных кем-то вещей. «Мне кажется, это интересно», — сказала добропорядочная дама, рассчитывая на благосклонную реакцию с моей стороны. «Может, опубликуете», — добавила она. Я, хотя сам и пописываю, никакой не издатель, и вообще по горло занят собственной писаниной.

Делать было нечего, я принял папку, почему-то поблагодарив учтиво бдительную соседку. Я собирался в тот момент за границу, а потому отложил знакомство с содержимым папки до возвращения.

Как только вернулся, первое, что увидел на тумбочке в прихожей — жёлтую папку с ещё непорочной рукописью. А я, признаться, уже и забыл о полученном перед отъездом «презенте». Заняться же им решил, как водится, перед сном.

Улёгшись в постель, взял папку, развязал тесемку, открыл обложку, и в глаза мне бросилось: «Реквием. Роман о романе, или...», а на обратной стороне обложки, карандашное «*Quod scripsi scripsi*» («Что написал, то написал», — лат.), а также дата: 19.01.200... и две литерные буквы, очевидно, инициалы — Ю.М.

Слегка заинтригованный, я стал читать отпечатанный на устаревшем принтере (на том самом, дребезжащем) текст, всё более



углубляясь в него, пока не прикончил написанное, что называется, в один присест.

Не скрою, рукопись мне показалась поначалу какой-то пресноватой, а вместе с тем и неоправданно предвзятой... (какой-токой реквием?!), но общая смысловая канва, если тут можно вообще было говорить о какой-то общей идее, меня, как и предсказала моя дошная соседка, немало заинтересовала: так ещё об известном романе и его авторе никто, насколько я знал, не писал, да и не только о романе и его авторе, а и о многом другом тоже, увы, и самом идиотски важном.

Не буду рассуждать тут о мыслях и переживаниях, вольно или невольно посетивших меня во время чтения, как и о упорно беспокоящих с тех самых пор (не могу), честно говоря, отделаться от странного текста и его забыть, всё время его вспоминаю, хотя и не испытываю вроде бы признаков, слава богу, какого-либо целеположенного помешательства — так мне, во всяком случае, кажется), но на следующий день я уже был у знакомого издателя.

И вот итог: рукопись видит свет, причём не через четверть века, как это случилось с романом, о котором она повествует, а, что называется, сходу.

Судьба «автора романа о романе» мне неизвестна, как и имя его, а потому я счёл вместе с издателем возможным расшифровать инициалы, обнаруженные в папке, самым незатейливым образом.

Читать подобные несуразные вещи всё-таки надо, они, по видимому, совсем не случайны и что-то такое в нашей бестолковой жизни значат.

Если рукописи иной раз и не горят, то зато они охотно выбрасываются, а выброшенные, увы, вдруг случайно находятя, мало того, неожиданно и торжествуют!

Публикатор



*Всё нижеизложенное —
сплошной вымысел, миф,
сравнимый лишь с кривым зеркалом,
отражающим ещё более кривое
зеркало, которое называется всё ещё,
по забывчивости или недоразумению,
реальностью.*

Автор



Прага

Из совершенно невзрачного, пахнущего по коммунальному обыкновению кошками подъезда ничем не примечательной московской двухэтажки, сиротливо угнездившейся на краю грохочущей трамваями широкой клинической улицы, покрытой отборным, но давно уже не перебивавшимся и там и сям ершисто вздыбленным булыжником, вышел под ещё совсем не стройную мартовскую капель, опираясь настороженно на жёлтую лакированную трость и под руку с прикрытой элегантной чёрной вуалью тоненькой женщиной, пожилой господин в тёмных очках и каракулевой чёрной шапочке пирожком, в длинном тёмном пальто с поднятым меховым воротником и при новых галошах.

Пройдя с полкилометра влево от дома по разбитому от непрерывных строек подобию уличного тротуара, он пересёк, напряжённо озираясь по сторонам и крепко сжимая локоть своей стройной и моложавой на вид спутницы, притихшую на мгновение от разбежавшихся в разные стороны злонамеренных трамваев улицу и направился к неподалеку мерцавшему первовесенним светом монастырю, давно уже освобождённому безбожной властью от его набожных насельниц, но со всё ещё действовавшей вопреки господствовавшей в городе атеистической атмосфере старинной церковью, — к одной из славных московских обителей, ставшей вдруг отрадным местом его вынужденных, хрупких и быстро исчезающих отдуховений.

Пройдя через тяжёлые крепостные ворота, господин и его спутница неспешно побрели по дорожкам слегка уже запущенно-



го, но по-прежнему всё ещё уютного монастырского двора, невольно прислушиваясь к разорванному, но сосредоточенному и многообещающему гомону прибывших из тёплого далека грачей и к негодующим выкрикам никуда не убывавших из родной столицы наглых и умных ворон.


Женщина, а это была новая жена седовласого господина, оттаятая им будто бы по неудержимой взаимной страсти у одного большого генерала, вполне достойного человека, годившегося даже на роль чуть ли не прообраза главного героя написанной её новым мужем лет десять назад и поставленной вдруг в лучшем драматическом театре страны ностальгической пьесы, вызвавшей много всякой околотитературной брани и так неожиданно понравившейся нынешнему кремлёвскому сидельцу — красному некоронанному вождю, шла молча, никак не мешая мужу о чём-то сосредоточенно думать.

Она заинтересованно поглядывала по сторонам, наслаждаясь первыми признаками неумолимо подступавшей весны. Замеченные ею жёлтые ранние весенние цветы-метёлки, продававшиеся добропорядочными старушками на площади перед монастырём, вызвали приятные воспоминания о первой встрече с необыкновенным человеком, с которым она шла теперь под ручку по дорожкам оживавшей от долгой зимы древней обители.

Женщина испытывала приподнятое, ничем особенным и не обусловленное настроение.

Отчаянно любя своего нового мужа, она полностью растворилась в нём, хорошо понимая, что служила она также великой тайне его писательского дела — необычного и мучительного. Она поглядывала на него, никак не мешая ему, зная, что думает он, конечно же, о своём злосчастном романе — *великом романе!* — подобного которому никогда не было и вряд ли когда-либо будет.

Внезапно писатель остановился, держа голову по-прежнему прямо, обратил к жене перечёркнутое тёмными очками бледное лицо и произнёс негромко, но утвердительно: «Реквием! Я пишу *реквием*, понимаешь?».



«Да, да, — ответила жена, — я согласна... так... так... именно реквием... как Моцарт».

«К чорту* Моцарта! Это пострашнее, дорогая, ох, как пострашнее. За слово... э-э... платить надо... да не мне только, а всем... понимаешь... всем!»

«Да, да, — выдавила она, еле скрывая нахлынувшее вдруг тупое и вязкое беспокойство, — да, да, понимаю... я понимаю тебя, понимаю! Всё будет хорошо, вот увидишь, как и там... в романе».

«Ах, моя дорогая ведьмочка, ничего-то ты ровным счётом не понимаешь, ничего!.. Но как же это замечательно!»

Он порывисто обнял жену за плечи, слегка прижав её увенчанную кокетливой шляпкой изящную головку к своей застёгнутой на все пуговицы драповой груди, улыбнулся, обнажив крепкие ровные зубы, поцеловал милую жёнушку в её прохладные губы и резко, чуть-чуть повизгивая, рассмеялся: «Ничего, моя милая, прорвёмся!».

Они продолжили свой всегдашний путь среди застарелых надгробий, сгрудившихся около уже закрытого для службы приземистого собора, и стаяк бойких московских воробьёв, уминая влажный и вяло серебрившийся по-весеннему снег.

Неожиданно из-за мутной небесной пелены несмело проглянуло солнце, неконтрастно осветив не без вкуса застроенный монастырский двор.

Жена украдкой взглянула на мужа: слегка порозовевшее лицо его вновь приняло сосредоточенное выражение, а от очков его повеяло, как ей показалось, каким-то нездешним холодком, так её обычно тревожившим, но, не погасив подкравшегося к душе нечаянного волнения, она, скрывая ершистую досаду, слегка прижалась своей юркой щекой к жёсткому рукаву его мешкова-

* В рукописи здесь и в других местах так вот и написано — «чорт», т. е. через «о», что, как было нарочно проверено, соответствует толковому словарю Ушакова (*прим. публ.*).



того пальто, хорошо понимая, что сам он, озабоченный и отрешённый, весь был уже *там* — в своём загадочном романе, в inferнальном закулисье его потрясающего текста, где-то уже за пределами распростёршегося вокруг вроде бы реального мира — странного, непонятного, упорно и неспроста почему-то обновлявшегося.

Они вышли из ворот обители и двинулись не спеша к своему дому, где его нетерпеливо поджидал злосчастный роман, а её ожидали счастливые заботы о гениальном муже.

Бредя с осторожностью по подобию тротуара, писатель думал, однако, вовсе не о романе, а о загадочном человеке, сидевшем в Кремле — прямо по курсу широкой клинической улицы, вершившем историей огромной страны, лукавом и жестокосердным, ведшем с упрямым и закрывшемся в себе писателем многолетнюю, да и, видно, роковую игру, в которой невозможно было выиграть, не переиграв, — писатель это хорошо понимал! — самую смерть. «Что-то он ждёт от меня, — размышлял удручённо ещё не сдавшийся вконец на милость победителю строптивый летописец, — не мешает вроде бы, даже поддерживает, но ничего и не предлагает... Что-то там ... впереди?»

А вот и ненавистный подъезд бездарной московской двухэтажки, глядящей испуганно тусклыми оконцами на привольно грохочущую клиническую улицу, с неудобной крохотной квартиркой на первом этаже, оснащённой, правда, городским телефоном, по которому однажды вдруг позвонил он — кремлёвец!, — двумя жёнами, бывшей и новой, да неважно воспитанной собачкой Бутоном.

Женщина проворно открыла ключом дверь, седовласый господин вошёл в квартирный полумрак, снял очки и в недоумении огляделся: «Да-а-с... я... наверное... и впрямь не Достоевский!».



Часть первая
Восхождение

Истоки

Родился он и вырос в славном, тогда ещё русском, городе Киеве, во вполне благополучной — с потребным достатком, просвещённой и гостеприимной, полной детских голосов — семье.


Отец — профессор Духовной академии, историк-теолог, не священник, добропорядочный, рассудительный и мягкий человек, ушедший из жизни слишком рано, в 48 лет, от наследственной почечной болезни.

Мать — сама житейская радость, любительница музыки и чтения, волевая поклонница семейного уюта, веселья и непринуждённого смеха.

Вокруг благопристойная дворянско-интеллигентская среда рубежа XIX—XX веков, не аристократическая, но и не декадентская, полная жизни.

Море книг, много чтения и разговоров, много музыки и игр. Театр.

Сын явно был ближе к матери, но не характером даже, — он не был её повторением, — а, скажем так, духовной позицией, пронизанной более светскостью, а не религиозностью, как у отца.



Юноша, ставший почему-то студентом-медиком, в душе был явный гуманитарий, приверженец искусств, литературы и философии.

Своё, в общем-то весьма романтическое, сознание он формировал более всего сам, не избегая соприкосновения с еретической метафизикой и оккультной эзотерикой. Не став явным адептом ни чёрной, ни светлой магии, он достаточно посвятил себя в потусторонние тайны, довольно подразобравшись и в инфернальной стороне человеческого бытия.

Впечатлительный юноша созрел в бродильной атмосфере изысканного слова, театрального жеста и неземного звука, обогащая обильно своё весьма пронизательное и на редкость продуктивное воображение.

Ни в какую революцию он не ушёл, несмотря на то, что Европа и Россия всюю тогда бредили грядущей *революцией*, долженствующей перевернуть и очистить мир уже не по заветам Христа, а по заветам Леонардо, Вольтера, Маркса. Не погрузился он и в модное тогда, безрассудное и чарующее, декадентство.

Внешне он был вполне современен, ибо имел восприимчивую и подвижную, как у матери, натуру, а в глубине оставался, нет, не консерватором вовсе, скорее, классиком, ибо, — что, наверное, было уже от отца, — любил надёжное — выдержанное, выверенное и нерушимое.

Неплохо представляя, пока ещё по преимуществу лишь представляя — по молодости, изнанку жизни, а может, уже и вполне осознанно воспринимая жуткую сторону человеческого бытия, юноша, однако, не испытывал потребности ни в обличительном разрушении окружавшего его мира, ни в идеалистически иллюзорном бегстве от него, ни в непрременной борьбе с цинично приговорённым миром за счастливую его переделку, ни в самонадеянном личном суициде, ни в каком-либо показательном и неумном подвижничестве.

Как ни странно, но окружавший мир, если и не удовлетворял целиком молодого человека, никак не вызывал в чувствительном, гармоничном и глубокомысленном юноше желания от-



чаянно его отвергнуть, возможно, и потому, — не считая вполне нормального в кругу семьи, родных и близких личного становления, — что мир этот был воспринят юношей как мир мучительно притягательной вековечной тайны, не разгаданной ни религией, ни философией, ни искусством с литературой, ни наукой, — и тайна эта представлялась молодому человеку наивысшей ценностью, ради которой, а может, и вопреки которой, стоило жить и жить, причём жить полноценно, ничего в жизни намеренно не сторонясь, не разрушая негодуяюще и утопически не выстраивая.

Молодой человек ценил мир таким, каким застал его, в нём однажды явившись, — наверное, более ценил в ощущениях своих и предчувствиях, чем строго рассудочно. Но ни революционером, ни иным страстным отвергателем и ниспровергателем мира, ни даже притворно отверженным этим миром говорливым шутником, несмотря на свой великий врождённый артистизм, он не стал.

Молодой человек не хуже других тогдашних умников понимал, что мир человеческий несовершенен, порочен и зол, но занимало юношу не стремление во что бы то ни стало его переделать, или хотя бы демонстративно отринуть, — юношу занимал сам феномен падения и порчи человека, занимала разгадка сего злополучного происшествия, а может, и какой-то роковой предопределённости.

И превратился потихоньку молодой врач в... самого настоящего антрополога, да не «научника», а скорее метафизика, и пошёл он по пути многих предшественников, ища какое-то разрешение страшного в своей неразрешимости вопроса, а окружавшая его действительность чудесным и роковым образом ему в этом споспешествовала, отвлекая от глубокомысленных книг и бесконечно напрасных раздумий, вовлекая в хищный круговорот исторических событий и обильных людским страданием деяний.



Мытарства

Бессмысленное кровопролитие на упругой тысячевёрстной линии русско-германского фронта и внутрироссийское протестное против всего сразу движение вконец измотали трёхсотлетнюю романовскую империю, и растерявшийся вдруг царь — Помазанник Божий — отрёкся как-то неловко и сиротливо от тоскливо завибрировавшего под ним престола, а неистовая революция добила окончательно окружавший новоиспечённого медика мир, бывший ему до боли родным, — только что вполне содержательный, уместный и даже по-своему привлекательный, поносимый, конечно же, разного рода умниками и радетелями за счастье народное, но и сопротивлявшийся как-то надвигавшейся неумолимо катастрофе, местами и в чём-то даже продвигавшийся неуклонно вперёд — хотя бы в экономике, в знании, — этот мир вдруг стал устаревшим, каким-то даже прокажённным, для многих попросту и ненужным, хоть были и те, кого совсем не воодушевляло крушение российского мироздания, и среди них был и наш молодой, склонный к метафизическим блужданиям врач.

Затерянный в лесной темноте глухого смоленского края, он, уже земский доктор, женатый к тому времени на дальней своей родственнице, взятой им издалека — с Волги, кажется, чуть ли не по любви, во всяком случае, по трудно объяснимому в таком разе влечению, впрочем, тихой, спокойной и верной, пристрастился к морфию, лоя затуманенным бессознанием замещающий на короткое время тяжёлую беспросветную реальность спасительный галлюциногенный мираж.

После ужасного отрезвляющего шока и мучительного отторжения въедливого пристрастия, не преминувшего оставить свой липкий след в глубинах всё ещё крепкого молодого организма, было затем погружение в не менее галлюцинировавшую реальность родного города, охваченного бестолковой и беспардонной смутой, — ещё совсем недавно такого цельного, цветущего, а, пожалуй что, и счастливого.



В Киеве, куда он вернулся из смоленского забвения и где занял себя частной врачебной практикой, разыгралась самая страшная из возможных войн — война всех против всех, почему-то называемая то ли по недоразумению, то ли по злой иронии гражданской войной.

Город переходил из рук в руки. «Жовто-блакитные», белые, красные, чорт знает какие! В городе воцарился свободный, революционного происхождения ад, когда-то лишь театрально тревоживший неокрепшее воображение впечатлительного юноши-студента, писавшего безмятежно чёрным угольком на белых кафельных плитках домашней печки семейственное послание: «Ушёл на “Аиду”», — а «Аида» как-то вдруг превратилась, полустёршись, в «Аид...», а аид в свою очередь, уже никак не стираясь, во вполне нетеатральный ад.

Логично нагрязнула и гибель семейного очага, пусть и не вполне физическая, да вот и не только морально-духовная, а, скорее, смысло-символическая, гибель того самого очага, что размещался, как и прежде, в доме № 13 по крутому и извилистому бульжному спуску к великой сакральной реке, прямо под расстреливаемой Андреевской церковью, да и гибель родного города тоже, и тоже более всего смысло-символическая, — как нежданная гостья, которую сам чорт принёс на своём лохматом загривке, и вместо города возникла вдруг громадная гноящаяся и незатягивающаяся дыра.

Один подлый режим сменялся другим, а однажды и прямо немецким — оккупационным; волны грабежей и преследований, арестов и казней набегали на замерший и растревоженный город неустанною чередой; человек уже ничего не стоил, зато подорожали сразу хлеб, соль, спички, керосин, а в особый почёт попали револьверы (как же революции без револьверов!), винтовки, пулемёты, ну и, конечно же, доносы и измены.

Гон, в город вселился гон — охота человека за человеком, подбадриваемый гулом весело ухавших в киевских предместьях победных пушек и оплакиваемый редким и унылым, никуда из города не уходившим колокольным звоном.



Сгинули под напором неизвестно откуда взявшейся звериной силы нерешительные и вконец растерявшиеся защитники вчистую проигравшего мира, нестойкие оловянные солдатики родного города — честная, но слишком уж наивная и страшно невезучая, белая, а потому и какая-то прозрачная, почти что и невидимая, гвардия, а скорее, белая, она же и призрачная, братия.

Смерть, схорон да бегство были тогда спасением — не видеть, не участвовать, не потворствовать, не притворяться!

И он, молодой киевский врач, вовсе ещё и не писатель, хоть и попробовавший уже отравы словосложения, покинул, скрепя сердце, родной город, отправившись прямо туда, на юг, где, кажется, разгоралась какая-то вроде бы праведная борьба, если и не за прежний его мир, то хотя бы за какой-то приемлемый для него — мир кое-как удерживаемого будущего.

Так он думал, так он хотел думать, так ему нехотя грезилось.

А на юге России разыгралась всё та же братоубийственная война, а точнее, не война, а бойня — великая отечественная бойня!, — столь же бессмысленная, беспощадная и бесполезная, что и в родном Киеве.

И беглецу пришлось стать невольным участником этой пароксизмальной бойни, её безвольным свидетелем и обезволенной жертвой.

Потрясённый, разочарованный, ушедший в себя, он врачевал, как мог, по-военному, но и... как мог, а лучше сказать... как не мог... писательствовал... да, да, именно так — писательствовал, насколько было возможно, ища в железе пера и серости бумаги, как и в суতোке театра, надёжных союзников и спасителей.

И родились первые озвученные публично художественные тексты.

Нет, конечно, ещё не те, несущие не на ветер брошенное слово, но зато вполне уже литературные, в основном драматические, как-то сообразованные, служившие для начинающего литератора обводящей смертельное отчаяние живительной приманкой.



Несуразное, но выразительное то было время, закончившееся, как того совсем не хотелось предвидеть, страшным поражением: сначала истаявшей и обескровленной Белой армии, а затем и его собственным. Некстати подвернувшийся тиф, который он чудом переборол с помощью не отходившей от него тихой и верной жены, не позволил уйти вместе с армией за границу, — не удалось ему это сделать и самому, уже без армии, из Батума, куда его занесло сомнамбулическое бегство от настигшей страну невозможной реальности.

А всюду были они — враги-победители, новые люди, какого-то иного рода, чуть ли не инопланетяне, устанавливавшие повсюду свой жестокий, обильно приправляемый кровью порядок-произвол, совершенно немислимый, прямо-таки фантастический, но несмотря ни на что державшийся.

Революция, большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, пролетарии, буржуи, социализм, коммунизм — чорт знает что!

И со всем этим надо было считаться, хоть надо было и хорошенько со всем этим посчитаться, но не в тот же трагический момент, когда надо было попросту уцелеть, сохранить себя, выжить.

Как же была отвратительна ему вся эта чертовщина, как хотелось ему раствориться до последней клеточки в протухшем от человеческого гноя воздухе и сматериализоваться где-нибудь подальше от этого перевернувшегося и свихнувшегося мира, отмыться, очиститься, вновь обрести покой и дом, почувствовать единение с каким-нибудь городом, похожим на Киев, с природой, похожей на днепровскую, с историей... нет, нет... не этой же... а может... и без истории вовсе, но с Космосом... и творить, творить... Слово... летящее ввысь, туда, где нет уже человека, а есть лишь *Великая Неизвестность*, давно уже будоражившая его воображение и манившая царственно его беспокойное сознание!

Что же это неожиданно-негаданно случилось с Родиной, что вдруг в ней произошло, чему вдруг покорились Петроград, Москва, Киев, Ростов, Екатеринодар, Новороссийск, Батум? Острые, как иглы, вопросы нещадно впивались в душу, в сердце, в



мозг, мучили, требовали ответа, издевались... посмеиваясь, терзали, — и не было здесь никакого ответа... кроме разве лишь признания какой-то зловещей нечеловеческой воли, то ли знавшей очень хорошо, что она вершит, то ли совсем ничего такого и не ведавшей.

Тяжко было, тошно, протестно и отвратительно, а главное... страшно... да, да... страшно... даже не жизнь потерять, а достоинство человеческое утратить, засев по-глупому в inferнальном болоте, называвшемся всё ещё по какой-то удивительной инерции человеческим миром!

А вздыбленный российский мир требовал от издёрганного, обессиленного и разуверившегося во всём человека-изгоя какого-то невероятного жизнеутверждающего поступка, сравнимого разве с последним отчаянным прыжком через заградительный огонь израненного, затравленного, но всё ещё живого зверя.

И зверь этот, бывший киевский врач и начинающий русский писатель, собрав воедино все свои силы, совершил этот невероятный поступок, он же и прыжок — с юга на север, за тысячу вёрст, в самое сердце победившего врага, в столицу огромной взбаламученной страны, всё ещё воевавшей и истекавшей кровью, переполненной ненавистью, злобой и мстостью, чего-то вроде бы лихорадочно искавшей и от многого уже явно отрёкшейся.

То был прыжок в полное беспросветье, бездомье и бесприютье, а главное, в угрожающую гибелью неизвестность, в полную небезопасность, в тревожную онтологическую пустоту, — что-то творилось там, в этом рухнувшем Третьем Риме, на семи его холмах и семи его ветрах, в его неугомном и ненасытном чреве?

Но ведь что-то же там творилось, не провалился же этот бывший Новый Рим в тартарары, остался же он на прежнем месте, киша, вертясь и грохоча, что-то в себе и из себя вытворяя, пожалуй что, и как-то сообразуясь с неизлечимой потребностью возвращения жизни?



Бред

Ему тогда повезло. Он не умер. Жуткая болезнь внезапно оставила его, обессиленного и измотанного, после нескольких суток забытья и бреда. Казалось, смерть уже вселилась в его измождённый организм, но нет, почему-то взяла, да и отступила, прервав вполне законную схватку за этот всё ещё живой и никому уже ненужный, кроме кроткой и преданной жены, труп.

Он, бледный и мокрый, открыл глаза. Увидел белый низкий потолок, железную койку, на которой лежал, сокрытые простым серым одеялом остроконечные, торчащие в разные стороны ступни ног. Заметил и сидевшую неподалеку на табурете жену, бледную, худую, её встревоженные усталые глаза, явно не верившие в чудо его неожиданного воскрешения.

С трудом прохрипел пересохшим ртом: «Пить!», — и жена, всё ещё не осознавая до конца, что коварная хвороба уже окончательно отступила, протянула ему кружку с кипячёной водой. Он стал жадно пить, поддерживая кружку дрожащими руками, теряя непослушным ртом животворную влагу.


Кончив пить, он уставился на жену, будто стараясь что-то припомнить. «Господи, кажется... всё... кончилось... живой!», — простонала про себя молодая женщина, наконец-то узревшая, что муж её совершенно очнулся, что ужасная болезнь позади, а смерть... смерть... от него вроде бы и в самом деле отлетела.

Он тоже вполне сообразил, что живой, что он ещё тут — на этом свете, что рядом с ним жена, что он выжил, что смертушка окаянная его пощадила.

Оба они, переболевший тяжело муж и изболевшаяся тяжело за него жена, были изрядно измучены — каждый по-своему, — у обоих уже не было сил бурно радоваться, зато было у них одно и то же назойливое желание — покоя, отдыха, сна.

Он немедленно уснул.

Жена, убедившись, что муж спокоен и спит, добралась незримой тенью до диванчика, служившего ей постелью, и, не раз-



деваясь, завалилась на своё вымученное лежбище, свернулась калачиком и тоже мгновенно уснула.

Уж коли Богу было угодно оставить их вдвоём на этом свете, то воля Его утверждалась в этот момент через этот совместный, а лучше сказать, параллельный сон!

Проснулись они почти одновременно.

Жена поднялась с постели, разожгла керосинку и приготовила овсяную кашу на молоке.

Оба с аппетитом поели.

Слава богу, что товарищи мужа не оставили её одну с больным мужем, доставив столь потребные лекарство, керосин и кое-какие продукты.


Муж выжил, а она... пережила, — и жизнь... жизнь... продолжалась!

На следующий день он уже мог выйти во двор, на свежий воздух, погреться на солнышке, а через какую-нибудь неделю стал выглядеть почти пристойно. Отошла немного и жена. Глаза у обоих ожили, наполняясь обиходным смыслом.

Всматриваясь в отходившего от болезни мужа, жена замечала в нём какую-то странную подспудную задумчивость, перемежавшуюся с плохо скрываемым беспокойством. На её озабоченное вопрошание к нему он лишь пожимал плечами, неопределенно поводя истончившейся рукой.

Но вот однажды, когда перед закатом солнца они вышли из дома и уселись на пристенной лавочке, чтобы насладиться тёплым южным вечером, он, вдоволь намолчавшись, вдруг кое-что поведал жене, не слишком, правда, охотно и живо.

Начал он так: «Я, видишь ли, пережил как бы новое рождение... за которое мне придётся, видно, недёшево заплатить». Жена, ничего не понимая, недоумённо воззрилась на мужа. Он продолжал: «Где-то там, на пороге смерти, в забытьи и в бреде я услышал, сквозь какую-то жутко вибрировавшую пелену, меня пыточно донимавшую, чей-то голос, точнее, не голос даже, а просто чьи-то слова, до меня каким-то непонятным образом доходившие:



— Надо платить... за всё платить... за жизнь платить, если хочешь жить... Ведь ты хочешь жить?.. Ты готов платить?.. Готов?

Это странное ко мне обращение беспрерывно повторялось, оно сильно мучило меня и, судя по всему, очень долго. Оно было каким-то нестерпимо внятным, назойливым и... противным. Наконец, я будто бы не выдержал и ответил:

— Готов!

— Это хорошо... я дам тебе жизнь... дам... Ты слышишь?

И я будто бы опять ответил:

— Слышу, слышу... Я готов. Кто ты?

— Я тот, кто приносит только добро... слышишь?

— Слышу...

— Будешь жить, но будешь служить мне, понимаешь?

— Да.

— Будешь писать и служить!

— Да.

И вот тут, как мне теперь кажется, я и очнулся, тебя увидел, свет».


Жена, выслушав мужа, молчала, заметно подавленная. Он тоже долго молчал. Потом произнёс: «Вот такая случилась заковыка. И я почему-то всё отчётливо помню, ничего не забываю и не могу об этом не думать. Выходит, я как бы *его* избранник... после морфизма моего, что ли... но вот зачем?»

Сидя, неловко скрючившись, на неудобной пристенной скамейке, он как-то вдруг весь сник, обхватив стриженную наголо голову — какую-то совсем уж беспомощную! — исхудавшими, ставшими почти прозрачными руками, заметно дрожавшими.

«Э-эх, — сокрушённо выдавила жена, — тебя всегда тянуло ко всему этому... тёмному, куда-то прямо в ад. Вот оно и вышло... из тебя и вышло... по болезни. Никакой сделки с... — она осеклась на мгновение, — с *ним* тут нет. Это что-то вроде дурного сна и всё!»

«Боюсь, что сна вещего».

«Но ведь и от тебя же кое-что зависит».



«Как раз нет, от меня тут, дорогая, мало что зависит... Я хочу... и должен... писать... а вот что же мне писать-то доведётся, вот вопрос?»

«Всё равно это же сон, тем более, в бреду... не реальность же».

«А что есть, по-твоему, реальность: то, что до сна, что во сне или после сна? Сон ведь тоже реальность, просто другая, и бред — реальность, даже и забытье. Сама жизнь... увы... бред... и не из бреда ли она вообще вышла?»

Жена умоляюще посмотрела на мужа: «Заклинаю тебя, забудь об этом сне, забудь! Это ведь всего лишь твои галлюцинации. Всё как-то перемелется. Может, жизнь и бред, но ведь это же жизнь. Будем жить, ты будешь писать, у нас будут дети... Почему нет... Всё как-то устроится... Здесь ли, за границей ли...».


Он откинулся назад, опершись спиной о стенку дома. Помолчал, закрыв глаза. Очнувшись от мгновенного забытья, он взял жену за руку и тихо, как-то сдавленно, произнёс: «Будь, что будет... пойдём, жена, в дом... знаешь... я ведь ему просто так не дамся!»

Поднявшись со скамеечки, муж и жена вошли в тёмный уютный проём давно уже опостылевшего чужого дома.

Вослед им лишь весело и тревожно верещали в сгущавшейся южной темноте неугомонные цикады.

Столица

Москва, вновь ставшая вдруг в мятежное время столицей послероссийского уже государства — *Красной Республики*, не отвергла по странному стечению обстоятельств дерзкого протестанта: всё каким-то чудом устроилось, разумеется, без фанфар, скрытно, впроголодь, в стоптанной обуви и затасканной одежде, без постоянного жилья, по каким-то углам, при случайных заработках и мигом таявших деньгах, не без колких унижений, но и не без отогревавших соучастий, в единении с непритязательной



женой, пожалуй, что и по-людски, по-русски — на авось, по случаю, на удачу!

Медицина была навсегда оставлена, зов писательства был сильнее.

Заделался бойким журналистом — нарочито отстранённым, пописывал странным образом публиковавшиеся минитексты — обо всём, во многом и о случайном, душу его никак не тешившем. Наитие, однако, не обмануло, школа была полезной. Поднаторев в мимолётных и мало что значащих рассказиках, прилепился фельетонистом к необыкновенной газетке «Гудок», где всю «гудели» малоизвестные тогда, а потом очень даже известные, молодые и весьма предприимчивые писаки-литераторы, провинциалы, завоеватели столицы, небрежно и старательно оттачивавшие свои ещё не определившиеся довольно художественные таланты, воздвигая дерзкую претензию на будущую, полную загадок, срывов и побед биографию.

А вокруг бурлил никак не совместимый с идеалами прогрессивной революции и жестокой братоубийственной войны мгновенно обуржуазившийся и обмещанившийся московский мир, уже чуть ли не забывший приключившуюся с ним ужасную и нелепую трагедию, вполне уже окомедившийся, если не считать весьма сурового его принудительного устаканивания, а также яростной борьбы в среде разношерстных победителей за возделенную власть и за едва прозреваемое затуманенным трёхлетней братоубийственной бойней получеловеческим взором послереволюционное и послевоенное будущее.

Поводов для насмешливых и злых фельетонов хватало, и молодой энтузиаст лепил их почём зря, благо зоркости, фантазии и сарказма у него было в избытке, как не было недостатка в отменном с горчинкой юморе. Но вот однажды он, удачливый сатирико-юморист и большой любитель московского пива, накарябал в интимной тетрадке: «Мне надо перестать смеяться!», — нет, конечно, смеяться он не перестал, как и не перестал пить московское пиво, но с фельетончиками всё-таки «завязал», да и смеяться стал и в самом деле поменьше, целиком и полностью отдавшись



вольному, а потому и самоотверженному писательству, причудливо перемешивая на исписанных с великим тщанием страницах жуткую, а местами и вполне отрадную, реальность с ещё более жуткими и не менее отрадными об этой реальности мифами.

Въедливый заземлённый реалист, но при этом и свободно взмывающий ввысь, в чём-то и демонический, выдумщик, — и в итоге... необыкновенная мифо-реалистическая проза, достойная самого лестного сравнения с русской и нерусской классикой, изрядно в то бешеное переворотное время опоганенной. Обильное юношеское чтение, не обошедшее стороной и волшебной магии потусторонности и эзотеризма, как-то само собой перелилось в выбегавшие на листы грязноватой бумаги чеканные тексты, отражавшие контрастно, деловито и точно окружавший его мир и компоновавшие центростремительно мир иной — уже невсамделишный, им попросту выдуманный, но зато несравненно более близкий, понятный и дорогой.


Проза, вполне русская, набитая словами, образами, мыслями, питаемая чудодейственным живительным подтекстом, переполняла взволнованный писательский организм. Молодому литератору, вдруг почувствовавшему себя *мастером*, хотелось многое сказать, да что сказать — прокричать: о жизни, её тайне, о людях, их непотребстве, о себе, своём величии и... ничтожестве, но... не всё же сразу, сначала надо было выдать что-то из себя о насущном, о наблевшем, да и попросту о берущемся.

И поднималась из глубин памяти и настрадавшейся души великая плодоносная двойственность, этакая стрёмная творческая шизофрения: защитить поруганное и выброшенное на свалку истории прошлое и ответить достойно нахально взгромоздившемуся на его обломках настоящему, заслуживавшему лишь скорейшего провала в тартарары, а через открывшуюся зияющую щель между дорогим прошлым и отвратительным настоящим сказать кое-что веское о человеке — человеке вообще, который ещё был, ещё существовал, но которому, кажется, не было уже места в переустраиваемом зачем-то и кое-как человечьем мире.



Реалист и фантаст, летописец и мифотворец, он, криптолог и конспиратор, игрок и актёр, земной организм и парящий дух, ещё и незаурядный демонист и сатанолог, выдал-таки кое-что из актуальной литпродукции, правда, всего более... в ящик, ибо почти не печатали, да и нельзя было, — понимал, что так лучше — с глаз долой, от греха подальше — до поры, но и явил-таки свету тогда немало, вызвав болезненное сочувствие бывших и бешеную ненависть теперешних. Однако найдя неожиданно-негаданно, а может, вполне и жданно и гаданно, понимание и даже поддержку у кое-кого из властей предержавших, уже подумывавших об альтернативе постреволюционному безумию и, — после ухода низкорослого и рыжеволосого пламенного вождя, которому не менее пламенный, высокорослый и с выдающейся челюстью р-революцион-ный поэт посвятил для чего-то целую поэму, впрочем, весьма талантливую, — ещё только подкрадывавшихся к полному и безоговорочному захвату руля раздолбленной революцией и развороченной войной многовековой евразийской государственности.

Мир жестоко играл с молодым, но достаточно заносчивым, пронизательным и цепким литератором, а молодой литератор, этакий-де простодушный наивняк, вступил в неравную схватку с обезобразившимся калейдоскопическим миром — не менее, кстати, заносчивым, пронизательным и цепким, к тому же ещё и очень когтистым, — вступил без всякой надежды на победу, но с необъяснимым предвкушением всё же кое-какого гешефта, может, и с кровью, а иначе он — этот неистовый гордец! — не мог, подчиняясь влекущей и выталкивающей силе таинственного Провидения, то ли его уже давно нашедшего, то ли им давно уже прихваченного, не сулившего впрочем никакого большого триумфа, как, к примеру, у Максима Горького или того же Алексашки Толстого, но зато обещавшего не то гибель, не то забвение, а ещё страшнее — разочарование, да не в мире человеческом, что понятно, а в самом себе, то самое разочарование, которого всего более боится вибрирующий от собственной творческой силы ге-



ний и которое слишком уж беспокойного гения чаще всего и настигает.

А проза получалась и впрямь гениальной, в чём никак и никогда не могла признаться по виду образованная, но неизлечимо бестолковая и почему-то повально самоуверенная публика, тоже вроде бы кое-что пописывавшая, зато в чём был уже немало убеждён бывший киевлянин-врач, ставший москвичём-писателем — умным, расчётливым, осторожным, рискованным, пожалуй что, и лицедейным.

Так вот и пошла в Москве незаурядная — очень уж незаурядная! — творческая жизнь внедорожного бродяги, врача-метафизика и писателя-мистика, — сложная, полная опасностей и отваги, страха и наслаждения, тряски и стойкости, а главное, ищущая подлинного самовыражения — прямо посреди разыгравшегося не на шутку, вполне и перспективно, российского апокалипсиса!

Ностальгия

Старый мир, — для него такой родной, домашний, семейный, уже и самозабвенно порушенный, — вполне русский мир, не отпускал.

Нет, конечно, начинающий литератор не думал о воскрешении павшего на его глазах мира, но не мог он признать и правоты мира нового, вроде бы ещё только строившегося, но довольно уже и явленного — чужого, бездомного, бессемейного, раздавившего безжалостно и бестолково правоту, — а ведь она была — эта, затихшая уже, правота! — старого мира.

Там была хотя бы любовь, была совесть, было и покаяние, пусть и теснимые неумолимо равнодушием и эгоизмом, — в новом же мире, как будто бы очистительном, ничего такого никак не проглядывало: классовая солидарность — не любовь, братоубийство — не зов совести, торжество красного суда — не покаяние!



Смердил немало старый мир, что говорить, смердил, но то был и в самом деле старый мир, больной и одряхлевший, хоть и пытавшийся небезуспешно поздороветь и омолодиться, но вот отчего же так смердил нестерпимо новый, совсем ещё новый мир, — уж не от гноя ли совсем свеженького, вольготно разлившегося по всему его взбаламученному пространству, весело и непринуждённо заместив собою общепризнанную и всю теперь порицаемую гниль старого мира?

С миром новым пришлось смириться, ибо был он жесток и гильотинен, но уж никак с ним не примириться, а для мира старого — побеждённого, канувшего в Лету, оставалась лишь ностальгическая, уже и запредельная, вполне и мистическая связь, настойчиво и коряво изматывавшая душу.

Ни забыть родной отеческий мир, ни сделать вид, что его не было, ни, тем более, промыслительно от него отречься!

Великая тут случилась несправедливость, может, и оправданная накатом исторической неизбежности, но никак не роднившаяся с чаяниями изболевшегося сыновнего сердца.

И вот откуда-то из глубины истасканного гибельным контекстом сознания, наперекор разуму и рассудку, восстала потребность в оправдательном, одновременно и покаянном, слове, произнесённом от имени поверженного в революционном и братоубийственном раже всё ещё дорогого прошлого, даже и не ради какого-то приемлемого будущего, которое вообще никак тогда не просматривалось, а ради обличительного презрения к победившему нечаянно новому миру.


Невероятная задача!

Неразрешимая!

И она была выполнена!

Ещё не выраженный во всём блеске, но уже определённо им самим почувствованный, литературный талант его сошёлся органически с откуда-то взявшейся макиавеллиевской* политической изощрённостью, — и родился ни с того, ни с сего... роман, его

* Так в рукописи — маки..., т. е. через «и» (*прим. публ.*).



первый роман — роман о белой гвардии, ставшей благодаря роману воистину Белой Гвардией, о той самой ненавидимой любым сколько-нибудь красноватым оком белой гвардии — побеждённой, уничтоженной, изгнанной, поруганной, обгаженной, — и когда же? — в момент абсолютного торжества красной революции, красного мира, наконец, красной, а вовсе не белой, гвардии!

Роман был, конечно же, не о широко известных и вовсю проклинавшихся тогда деникинцах, колчаковцах или врангелевцах, он был всего лишь о жалкой предтече Белой армии, о кучке наивных киевлян, хоть по преимуществу и военных, попытавшихся неловко, как-то суетливо и чуть ли не стыдливо, защитить атакованный со всех сторон старый мир, который они, разумеется, не защитили, лишь защитив, жертвуя порывисто собою, его и своё достоинство, не имея при этом никакого отношения ни к тем, кто построил этот мир, ни к тем, кто его усиленно разрушал.


То были первые в новейшей российской истории белогвардейцы, ещё и не знавшие, что они именно белогвардейцы, — и, тем не менее, это были именно гвардейцы (защитники) и именно белые (старого мира) гвардейцы!

Писатель чётко уловил высокую смысловую и мифологическую значимость именно такой — совершенно зародышевой — белой гвардии и не менее чётко, при этом и непредвзято ловко, вытаскивал эту, ещё жалкую, вовсе и неопределившуюся, белую гвардию, ставшую под его пером, сакрализованной *Белой Гвардией*, в мир красный, только что настоящую Белую армию с напряжением и хрустом одолевший.

И угадал!

И попал в точку!

В особенности, когда вывел своих несчастных белогвардейцев со страниц невнятно изданного романа на внятную театральную сцену — сцену прославленного классического театра, когда-то грезившего демократической революцией, разыгрывая бродяг и отверженных, а теперь вдруг задумавшегося о безвозвратно ушедших житейских ценностях и кинувшегося, — наверное, не без чьей-то мудрой подсказки, — изображать на



сцене тех самых державников, которых не замечал, если не презирал когда-то, и которые, к стыду своему, тоже ведь хаживали когда-то на его «прогрессивные спектакли».


Что ж, звали полстолетия такие вот театры в союзе с передовой-де литературой освежающую Революцию, а получили взамен... лишь... обжигающую кровососную баню!

Гибли все: люди, людишки, человечиха!

Жертвы цепляли жертвы, тащили за собой.

Нескончаемый парад жертв!

Одна из них, к примеру, — глубокомысленный поэт, фронтовик, Георгиевский кавалер, поэт, блестящий стилист, мудрец, красной властью назидательно расстрелянный — как несостоявшийся контрреволюционер; другая — тоже поэт, тоже побывавший на фронте, этакий Пушкин XX века, осанистый и надменно-умный, по преимуществу с каменным выражением лица, жаждавший очистительной Революции и копавшийся по её неожиданному и несурзному совершению в царских бумагах, автор пошловатых «Двенадцати» и пророческих «Скифов», умерший в тяжких мучениях, духовно раздавленный всё той же Революцией, обманувшей его страстные ожидания; третья жертва — опять же поэт, из крестьянской глубинки, столичный паяц и фанфарон, гениальный, как сама Муза, любитель знаковых женщин и друг чекистов, чуть ли не свидетель лубянских расстрелов, не то покончивший безобразно с собой, не то неуклюже кем-то приконченный — опять же по-революционному просто; четвёртая жертва — тоже, увы, поэт... нет, этот поэт был ещё жив, нахальный и громогласный, сам из красных, бескомпромиссный глашатай вождельной и всепожирающей Революции, он ещё писал свои дерзкие конструктивистские поэмы, охаивая мир старый и приветствуя, — кажется, всерьёз! — мир новый — ещё и не бывалый, хоть и неизвестно какой! — он лишь ожидал, — упрямый, дикий и непослушный, — своего вполне законного конца — то ли самоубийственного, то ли убийственного, — опять же от всё той же, гениально им воспетой, Революции. Пятая... что пятая?.. шестая?.. седьмая?.. ох, ох!.. были они, были — и пятая, и шестая,



и седьмая — и всё поэты, не говоря о тех, кто поэтом не был. Велика тут череда врагов, друзей, противников, участников, попутчиков, даже и самих вершителей Революции, нашедших погибель свою, вовсе не всегда физическую, зато уж всегда духовную, в жерновах Процесса!

Риск был огромный!

Но он, этот строптивый молодой литератор, ещё безвестный, публично не признанный, без надёжной поддержки откуда бы то ни было, ещё и с контрреволюционным прошлым, в общем, без всякого защитного мандата, впрочем, может... и не без кое-какого, пусть и призрачного, но всё-таки пропуска в новый мир, решился на этот головокружительный риск, вызвав волну открытого и стойкого негодования у одних — торжествовавших красных, и прилив скрытого и робкого сочувствия у других — униженных белых.


И он рискнул, хоть и не любил рисковать, и... выиграл!

Машук

Контакт состоялся в Пятигорске весной 1920 года.

Прибыв по условленному адресу, белогвардейский доктор, впрочем, одетый в гражданское, получил неожиданно приглашение от встретившего его господина с явно незаурядной, какой-то прямо-таки метафизической, внешностью совершить вместе с ним на завтрашний день поездку на ту сторону горы Машук, где когда-то был убит на дурацкой дуэли несчастный Лермонтов. Мягкая весенняя погода споспешествовала столь привлекательному предложению, и доктор, не раздумывая, согласился.

Отъехали довольно рано, чтобы, не торопясь, успеть вернуться засветло. Пара добротных низкорослых лошадок, запряжённых в изрядно потрёпанную, но ходкую бричку, непринуждённо трусила по наезженной кремнистой дороге. Земля и растительность вокруг, нетерпеливо пробуждаясь от краткосрочной спячки, задевали путников своими живительными запахами под



ласковыми лучами разыгрывавшегося на новый плодоносный сезон солнышка.

Путникам никто не мешал, они неторопливо переговаривались, лишь время от времени ненадолго умолкая.

Впрочем, говорил более новый знакомец доктора, а доктор по преимуществу слушал.

А вникнуть добровольческому эскулапу было во что: *белое движение неумолимо приближалось к краху!*


Не всё доктору запомнилось из сказанного ему тогда, но главное навсегда врезалось в его послушную память: собеседник ведь у него был необычный, явно из каких-то посвящённых.

Говорил таинственный спутник спокойно, взвешивая каждое слово, ни в чём не убеждая и не требуя никакой реакции.

«Мы не смогли предотвратить ни вступления России в войну, ни революции. Кризис, охвативший страну, подкреплялся полным параличом власти. Самодержавие, потеряв исторические ориентиры, шизофренически приближало катастрофу. Бесстрастную и долгую молитву царь предпочитал молниеносным решительным действиям. Он, судя по всему, был суицидно уверен в своей обречённости. Распутин ему не помог, лишь усилив своим плебейским и совершенно неуместным мистицизмом политическую инертность царя. Убийство Распутина было столь же неуместным, что и пребывание “старца” около венценосной четы. Страна шла к революции, а затяжная и кровопролитная война её полностью оправдала».

«Русская партия, которую не надо путать ни с оголтелым монархизмом, ни с так называемым русским шовинизмом, тогда начисто проиграла, лишившись вдруг своего лидера, предательски убитого как раз в вашем родном городе. Сам же царь боялся и мешал русской партии, хотя и мнил себя русским и православным».

«Изменить Россию, реформировав саму русскую монархию, мы так и не успели. Россия была обречена на революцию, но, увы, уже не на русскую, а на антирусскую, в которой были заинтересованы мощные силы — как внутренние, так и внешние».



«Россия буквально сорвалась в уготовленную ей революцию, так ничего и не поняв, потому так жестоко и кроваво нынешнее междоусобие».

«Царь отрёкся от престола вполне логично, ибо Россия уже к тому моменту отреклась от царя. И погиб царь с семейством тоже вполне логично, ибо погибла тогда уже и сама идея романовской России. Жаль человека, жаль его жену и детишек, но такова была логичная расплата за крах уставшего и всем опустылевшего режима».

«Белые напрочь проиграли, им уже нечего делать в России. Заграница их не поддержала, она их попросту бросила. Слабых и несплочённых не поддерживают, а главное, белая победа совсем не в интересах антироссийской заграницы. Недаром англичане сдали царя, а американские толстосумы и немецкие генералы поддержали красный интернационал: без царя и во главе с интернационалом Россия сама должна пасть к их ногам. Таков их расчёт, и, скажу я вам, не самый наивный».

«Германское нашествие и революция — продолжение наполеоновского вторжения и безумного декабристского мятежа, как и той же коварной Крымской войны. Россия для Европы — вечный противник и возделенное жизненное пространство, неистощимый источник ресурсов. Ещё Александр Невский усердно отбивался от тевтонов. С европейской точки зрения России не должно быть, и красный интернационал как раз этому и служит».

«Красный проект — не российский вовсе проект. Это вполне западный, хотя и менее всего для Запада, проект. Этаким, знаете ли, антигуманистический проект западного гуманизма. И вполне кровавый! России им не только не жалко, Россия им как гость в горле. И знаете почему: Россия альтернативна Западу, и в большей степени именно белая, а не красная. Вот почему Запад не допустил белого победного парада в Москве».

«Надо признать, что красный интернационал оказался хитрее, проворнее и жёстче белого национализма: он выиграл сражение и, по-видимому, надолго, что не значит, что сам этот проект не будет меняться. Впереди в Европе и во всём мире большие



потрясения. Кругом кризис, а униженная Германия уже грезит реваншем. Новой большой войны не избежать. И красной России придётся со всем этим считаться. К тому же красный проект неоднороден. Наряду с интернационалистами, которым наплевать на Россию, в нём немало и тех, для кого Россия — Родина! Забудьте, что большая часть красных командиров — из бывших царских офицеров, причём далеко не низших чинов, — и эти бывшие офицеры обеспечили победу Красной Армии и поражение белых армий».

«Внутри самого красного мира будет ещё немало ожесточённой борьбы: и кто там в итоге кого одолеет, совсем ещё не ясно. Пока идёт гражданская война, они более или менее едины, но когда война закончится, а последние мятежи будут подавлены, — тогда-то всё и начнётся!»


Так примерно говорил, трясясь в не слишком удобной бричке, таинственный собеседник не самого боевого, но зато одарённого большим умом и цепкой памятью добровольческого доктора.

Прибыв к Машуку и осмотрев место дуэли, путники нашли удобное местечко для скромной дорожной трапезы. Выпили вполне приличной фруктовой водки, закусили. Помянули Лермонтова. Поговорили о странной судьбе многих русских гениев: то убиенных, то гонимых, то рано ушедших из жизни. Не прошли мимо и разгоревшейся русской распри, разорявшей нещадно и бестолково русский мир.

Спутник врача говорил:

«Дураки мы, русские, всё никак не сойдёмся в согласии. Не хотим ни понимать, ни считаться, ни идти навстречу друг другу. Лучше презреть и убить, чем думать, себя ломать. Что-то звериное внутри нас надёжно сидит, периодически вырываясь наружу. К себе самим всего более почему-то ненависти! Мир нам счастливый будто не нужен, тягостен. Нам милее безобразие».

«И всё-таки, как говаривал незабвенный Пушкин, другого отечества нам не надо. Впереди много испытаний, лет эдак на сто, не меньше, так что надо набраться мудрости и мужества, —



и не ждать манны небесной. Хотя кое-какое возрождение России довольно скоро придёт, но, видно, через большую кровь».

«Посмотришь вокруг, и так иной раз тошно станет, что сбежал бы куда-нибудь навсегда, бросил бы всё, а глаза закроешь, задремлешь, проспиться, услышишь крики извозчиков, либо петухов в деревне, и возрадуешься неожиданно, что здесь ты, в России, а не где-нибудь у чорта на куличках».

«Страшная страна Россия, но, чуёт моё сердце, она что-то обещает великое, даже сейчас, будучи в полном разоре».

«К игам России-матушке не привыкать: синее было — от викингов, жёлтое — от хазар, зелёное — от татар, чёрно-оранжевое — от немцев, белое — от своих же, теперь вот красное — от не своих по преимуществу. Что-то тут вынужденно, что-то по дурости нашей, что-то по ловкому обману, — история более трагическая, чем нет. Проклятая цикличность! Теперь вот новый виток».

«Ничего, выдюжим! Жаль, конечно, что так у нас всё, но выдюжим. Глядишь, и поуем... когда-нибудь!»


Отобедав, чем бог послал, довольно и соснув на захваченных предусмотрительно грубошерстных подстилках, двинулись обратно. Почуввав возвращение домой, лошадки бежали проворно. Устремлённое к закату солнышко ласково провожало немного разомлевших путников. Наговорившийся всласть русский мудрец, свесив голову, задремал, привычно удерживая равновесие. Навпечатлявшийся доктор, держа в руках ослабленные вожжи, думал о чём-то своём.

— Что же теперь делать? — спросил озабоченно по приезду в город озадаченный белый лекарь. — За границу, что ли?

— Можно и за границу, но можно и в Россию, это уже как Господь укажет. Я, например, даже вижу вас в Москве.

— В Москве?! — удивился непритворно лекарь.

— Почему нет, — задумчиво произнёс собеседник, и продекламировал, горьковато усмехнувшись: «В Москву, в Москву!».



— Гм, гм! Об этом я совсем не думал. Вы находите, что это возможно?

— В этом мире всё возможно! Но не будем загадывать: заявитесь в Париж, милостиво прошу показаться, а случитесь в Москве, тоже покажитесь. Это в ваших интересах... и наших тоже. Не стесняйтесь, ни в какие тайные общества, а уж, тем более, заговоры, я вас не втягиваю. Вы нам интересны вольной птицей — хоть в Париже, хоть в Москве!

— Простите, а почему всё же вы мне доверяете?

— Во-первых, проверено, а во-вторых, надо же с кем-то быть вместе, разумеется, на добровольных началах.

— Не знаю, ничего не знаю... но за доверие и участие признателен, — произнёс не без труда всё ещё озадаченный лекарь.

— Я тоже ничего не знаю... взаимопонимание нам не повредит, не так ли?

— Надеюсь!

— Вот и замечательно! Жизнь продолжается, её ведь ничем не остановить, даже смертью!


— А теперь прощайте! Храни вас Бог!

— Прощайте! Кто знает, может, и в самом деле свидимся!

Перед тем, как они обменялись прощальным рукопожатием, таинственный незнакомец сунул в руку доктора небольшой листок бумаги, на котором, как потом удостоверился доктор, были начертаны химическим карандашом номера парижского и московского телефонов с вызвавшей неподдельный интерес у доктора фразой: «*Спросить мастера*».

Победа

Да, он тогда выиграл: его белогвардейцы, эти дворянчики и интеллигентники, эти монархисты, эти недобитые золотопогонички, имели на сцене лучшего в стране столичного театра оглушительный успех, — именно они, *белогвардейцы!*, а не сама по себе пьеса, которая была, конечно же, хороша, но... не в ней тут



было дело, а в этих вот белогвардейцах, которые ещё и не знали, что они белогвардейцы, но зато были они плоть от плоти старого, так решительно разгромленного, отеческого мира — домашнего, семейного, уютного, в котором ещё гнездилась людская любовь и в который ещё не вселилась всепоглощающая ненависть.

То ли так уж счастливо само получилось, то ли он всё хорошо рассчитал, то ли удачно прочувствовал возникшую в стране ситуацию, то ли положился удачливо на движение звёзд, то ли... то ли... что-то вдруг узнал, а может... и... откуда-то свалилось... *мнение*, но начинающий литератор, став в одно мгновение знаменитым, да что знаменитым — маститым, одержал в казавшейся совершенно безнадежной схватке с враждебной ему красной новью потрясающую победу... правда... не пиррову ли для него самого?!


Вой негодовавших был не просто сильным, а и крайне опасным: автор театральных белогвардейцев мог надёжно рассчитывать на вполне законную тогда меру — расстрел. Да, да, именно так: *расстрел!* За контрреволюцию, не менее опасную, а пожалуй, и гораздо более опасную, чем какой-нибудь Кронштадский мятеж.

Шутки с красной новью были недопустимо плохи!

Однако... однако... знаменитый теперь и даже маститый писатель... каким-то чудом уцелел, взятый вдруг под защиту... не кем-нибудь, а самой красной властью, точнее, одним из главных и непоколебимых вождей, от которого, казалось бы, ожидать защиты совсем и не приходилось:

«Враг на сцене — не враг на поле боя! Врага надо знать, тем более, поверженного. На всё надо смотреть широко, ведь впереди строительство нового мира, — и ничего, если мы посмотрим внимательно на мир старый, чтобы не повторять его ошибок».

Нет, не эти слова были сказаны в центральной газете проницательным красным вождём, грузином, бывшим семинаристом, носившим крепкое революционное имя Сталин, но именно так их можно было истолковать, добавив многозначительно:



«Автор, конечно, не красный, он не наш, но он нам полезен. Не стоит его преследовать, пусть работает!»

Полтора десятка раз побывал на «белогвардейском», можно сказать, спектакле умный, жёсткий и пронизательный вождь, даже и когда стал безоговорочным лидером красной державы. И было ясно, что между ним и талантливым автором пьесы установилась какая-то скрытая, обоим нужная, почти что и мистическая, много чего обещавшая, но такая опасная для восходившего на литературный Олимп строптивого мастера связь.


Миф

Ничего другого, кроме мифа — романа-мифа и пьесы-мифа, вполне, кстати, реалистичных, выполненных в строгой классической манере, не могло родиться в окультуренной и впечатлительной голове удручённого гибелью родного мира, но вовсе от этого не сдавшегося, романтического литератора-летописца.

Он создал не просто миф, освятивший какую-то героическую историю — ничего подобного в раздавленном Киеве тогда не было и быть не могло, он создал совсем не обычный миф — миф-призрак, миф-укор, миф-отраву, наконец, миф-эпитафию!

Печальный в общем-то миф, но при этом и на редкость жизнелюбивый, пожалуй, и оптимистический, ибо затронуто в нём было что-то явно непреходящее, вроде бы и бытовое, но удивительно глубокое, важное и ценное, — не вечное, быть может, но и не суетно-временное, — что-то, на удивление, сакральное.

И дело тут было не в фантазмагорическом городе — Киеве, не в его призрачных обитателях, не в случившихся в городе событиях и переворотах, не в самих по себе фактах раскрученной самим дьяволом ублюдочной на тот момент жизни, не в кровавой хронике безумного и страшного 1918 года, даже не в поступках попавших в роковую ловушку людей — и разнузданно зверских, и отчаянно мужественных, и хладнокровно человеческих, — дело тут было в почувствованном автором Духе Жизни, о котором




обычно не говорят, но которым в судьбоносные минуты жадно дышат, сохраняя себя, детей, родителей, дом, саму жизнь, встречая достойно и нагрянувшую неумолимо погибель.

Была в романе и Любовь — любовь-миф, ибо речь шла уже о прошлом, о котором или хорошо, или ничего; и были герои, её заслужившие, кто как: глазами, словом, жестом, молчанием, порывом, подвигом, кровью, смертью; была и авторская любовь к ушедшему навсегда прошлому, к родному городу, к своим романским героям, к их неудачливости и ничёмности, их растерянности, тихой, но стойкой жертвенности, как и невозможности отречения от самих себя.

Белогвардейцы киевские были разбиты и разогнаны, но они всё-таки не потерпели поражения: сам сатана проиграл в схватке с ними, этими в общем-то случайными защитниками человечности, ставшими в один миг... отверженными мучениками — без всякого аффекта и без всякой для себя и для кого-либо пользы, просто так, почти что и никак, даже и конфузливо, как раз так, как всё великое и свершается.

Белогвардейцы ничего особенного не сделали, они не дрались отчаянно в чистом поле, никого наголову не разбили, а просто стояли, обороняя город, куда-то и в кого-то стреляли, повинаясь какому-то надуманному долгу... да и перед кем?... о-о... перед самими собою, наверное, чем и заслужили любовь всего одного человека, бывшего тогда где-то рядом, чудом уцелевшего и ставшего их летописцем, сочинившего о них красивую легенду, поразительный любовный миф-воспоминание, миф-укол, миф-былину, чем и обессмертил бесславных героев — непоименованных героев обыденной российской истории.

И сам знаменитый — уже знаменитый (да вот к добру ли?) автор прекрасной белогвардейской легенды стал особенно после театральных побед весьма затейливым мифом: кто он такой, этот дешёвый газетчик, этот недобитый монархический приказчик... ну, ладно, там... Горький, Станиславский, Мейерхольд или Алексей Толстой, эти-то понятно, а этот, этот-то... в жёлтых ботинках



с пуговкой и дурацким моноклем в глазу... как же ему, каналье, всё это удаётся?!


И никто ничего не понимал, особенно близкие и друзья, разве лишь кое-кто о чём-то и догадывался, точнее, не догадывался, а... просто соглашался... на присутствие необыкновенного феномена, выскочившего вдруг посреди столь же необыкновенного тогда московского пейзажа, где всего хватало и где каждый из пишущих и говорящих тоже очень хотел стать живым мифом — загадочным и неприступным!

Однако легенда явилась: легенда-воспоминание и легенда-протест, эта легенда-горечь, но и легенда-сладость, легенда-низвержение и легенда-возвышение!

Были тогда и другие литпроизведения — горькие и сладостные, каждое по-своему, и тоже талантливо сотканые, но только ему, этому невзрачному выскочке, удалось присвоить белогвардейщине... знак высшего качества... и наградить её посмертно... орденом Бессмертия, — и когда? — в окаянные 20-е годы, сразу после ожесточённой внутриотечественной брани, в которой полегли навсегда миллионы белых и красных, как и иного цвета участников бешеной гонки за смертью, а по большей части совсем бесцветных объектов массовой яростной сечи, из которой триумфаторами вышли вовсе не белые, а как раз красные, крепко теперь державшие в своих огненных руках жестоко отвоёванную ими власть и уж никак не собиравшиеся никому её уступать.

Один за другим противокрасный мятеж захлёбывался в крови; красные чекисты, умные и беспощадные, творили над страной свой масштабный и нескончаемый самосуд; отставшим, а уж тем более бывшим, в новом мире не было места, не то что звонкого голоса.

Революция сильна не одними адептами, но и врагами, мало того, и адепты легко превращаются под дланью революции в её же врагов, заслуживающих лишь беспощадной кары — неминуемой и немедленной!



Такое вот было времечко, в эти незабвенные 20-е годы XX же века от Рождества Христова — кровавого торжества антихриста!, — а тут этот писака со своими белогвардейцами, тщедушный и задиристый, но что-то, видно, провидчески улавливавший!

Пьеса


Странная то была пьеса!

Она не была ни острой, ни боевой, никак не энергической, скорее даже, вялой, почти что чеховской, слишком уж плавно текучей, не ступенчатой, не рваной, не искромётной. Она не была как-то по-особому содержательной и уж, тем более, феерической. Пьеса была в общем-то... *никакой!*

И какое же она имела при этом решительное воздействие на публику, как сильно будоражила зрительские организмы, как подстёгивала людское воображение: и не только у бывших — потаённых вроде бы белых, но и у самых что ни на есть актуальных красных!

Издёрганная революцией и войной публика увидела вдруг... не защитников самодержавия, не революционных бойцов, не белых и не красных, а попросту... *людей* — вполне и хороших людей, ни в чём происходящем не виноватых, а лишь попавших в какую-то жуткую по безобразности круговерть, среди которой для них был лишь один выход — остаться людьми!

Белые вдруг поняли, смотря удивлённо на сцену, что они никакие не белые, а... *увы!*.. просто... человеческие, а красные... красные вдруг открыли для себя, что они совсем и не красные, а тоже... человеческие, — и это-то торжество человечности и вызывало приступ, нет, не восхищения даже спектаклем, что не так уж было и важно, а всего лишь катарсического признания в ненужности красно-белого, как и любого другого, разделения русского общежития.



Никаких от автора комментариев, никаких на сцене ответов, одно только: «Смотрите и внимайте!»

Пьеса поражала своей целевой нейтральностью, однако... поразила она и сокрытой в ней целевой претензией, чутко уловленной прежде всего её противниками — претензией на... реставрацию человечности... что никак не входило в расчёты яростных преобразователей приговорённого к тотальному преобразованию мира.

«Остановить революционный процесс? Это же невозможно! Это недопустимо! Тут же явная контрреволюция!»

Нет, автору не пришлось никуда бежать, он не попал в застенки ЧК, не был ни показательно сослан, ни тайно ликвидирован. Зато был подвергнут безжалостному разносу и беспардонным поношениям, а вредная пьеса его была приговорена к немедленному снятию с репертуара слишком уж опомнившегося, а потому и изрядно зарвавшегося, на взгляд ожесточённых переустроителей мира, классического театра.

Однако пьеса осталась на сцене диссидентствующего театра и шла с неослабевающим успехом. Тучи над ней и театром никогда не рассеивались, а иной раз и угрожающе сгущались, но пьеса стала-таки достоянием красной республики... достоянием-протестом и в тоже время достоянием-проектом, разумеется, в метафизическом, совершенно и утопическом, но и не совсем уж в бездейственном, образе.

И много позже, уже после ухода из этого мира протестного писателя, когда в бившейся отчаянно с немцами Красной Армии были введены золотые погоны и восстановлены классические армейские звания, характерные ещё для Империи, то кое-кто из пронизательных современников вспомнил тогда скандальную белогвардейскую пьесу, шедшую с триумфом в лучшем из московских театров, как вспомнил осведомлённый современник и то, что красный кремлёвский вождь не единожды посещал лучший театр, чтобы промыслительно взглянуть, загадочно прищулив кавказские глаза, на мотавшихся по сцене безвредных золотопогонников.



Риск

Писатель рисковал!

Он умел, хоть и не любил, рисковать, ибо был творцом — умным, тонким, расчётливым, уверенным в своих силах и своём предназначении, трагически проницательным, во что-то важное, по-видимому, совсем не напрасно посвящённый.

Это был достойный соперник разнузданной и грозной эпохи, он видел то, что не видели другие, чутко воспринимая всё разноцветье запутавшейся реальности, вытягивая из неё потаённые смыслы и ловко моделируя непрерывно изменявшийся исторический контекст.

Он не был просто рассказчиком, просто пейзажистом, даже и просто летописцем, он был... мыслителем, причём, как выяснилось со временем — очень даже незаурядным мыслителем, разумеется, художественного образца — как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, — он, как и его великие предшественники, был, скорее, угадчик, чем знаток, с изумлением обнаруживавший то какую-нибудь историческую несурязицу, то поразительно судьбоносное непотребство, а то и обязательную для истории шизофрению, называемую для пущей неясности диалектикой.

Трудно творцу и страшно: не знает он, куда его занесёт — то ли к Богу выведет, то ли к дьяволу, то ли к победе, то ли к поражению.

Большой тут был риск — вполне и смертельный!

А не рисковать тоже было нельзя: положение обязывало, здесь — неизбежность, тягостная и влекущая, ибо провидец — не писатель вовсе, а миссионер, и миссия его не в задаче, а в судьбе, не им, разумеется, придуманной.

Рок, самый обыкновенный рок!

Автор «белогвардейцев» знал это, хорошо знал, уже давно, ещё с ранней юности, а узнал он это там, в Киеве, в родном, полном романтических чудес, городе, под славным Детинцем и широко известной Лысой горой, под Андреевской церковью, на Подоле.




Судьба

Да, была встреча, точнее, встречи, всего несколько встреч... с... необыкновенной женщиной, с которой он, сероглазый юноша, познакомился в опере, на «Аиде», в своё уже не первое посещение прославленного спектакля.

Женщина не могла не привлечь внимания впечатлительного юноши, — сначала своей весьма необычной внешностью: отличного кроя тёмной одеждой, прекрасно и непринуждённо облекавшей её стройное, хотя и чуть уже полноватое тело, незатейливой, с узлом на затылке, но удачно вычерченной причёской под маленькой элегантной шляпкой с мерцающим созвездием каких-то приглушённых бусинок, очень естественной, вовсе не горделивой, умело державшей какое-то неторопливое врождённое достоинство осанкой — совершенно женской, а главное, когда их взгляды случайно или закономерно встретились — умными, очень выразительными, всё как будто понимающими, тёмными глазами, красиво и привлекательно обрамлёнными лёгкими ободками чёрных бровей.

Сражённый явившимся вдруг посреди городского театра удивительным женским образом, — даже не самой по себе незаурядной красотой уже несколько увядавшей женщины, а почувствованной им определённо её какой-то неординарной, а потому и невероятно красивой, одухотворённостью — таинственной и роковой, — юноша понял, что не может пройти мимо этой женщины, он должен... что, собственно, должен?... ничего этого он не знал... но... постарался приблизиться к ней... да что там приблизиться... выйти прямо на неё, вдохнуть её аромат, окунуться в манящий образ, очутиться прямо внутри необыкновенного женского существа.

«Вы, кажется, сударь, очень любите оперу? Это необычно — так любить Верди, в вашем-то возрасте», — голос её был глубокий, грудной, мелодичный. В глазах теплилась нескрываемая приветливость, они явно выражали неподдельный интерес к



ещё необструганному, но явно хорошего воспитания, заметно в тот момент смущённому юноше.

«Да, да, — выдал он, — я очень люблю оперу, Верди, Вагнера, а из русских... Мусоргского».

«За что же?» — вдруг живо спросила незнакомка.

«Наверно, за глубину, протяжённость, запредельность... Мне всегда хорошо думается после этого... после их музыки...».

«О запредельном?» — глаза её при этом как-то заискрились.

«Да, — тихо ответил он, — не о текущем, не о бытовом, о чём-то другом... я не знаю... не о существующем».

«Что ж, это хорошо! Каждый значительный человек непременно об этом думает, что-то ищет из несуществующего. Такова она — наша реальность!»

Они не заметили, как пересекли фойе и подошли к гардеробу. Юноша помог прелестной даме даже накинуть на плечи лёгкое, тёмно-серого цвета, чем-то ловко отороченное, душистое манто. Боясь потерять невзначай свою удивительную собеседницу, он кинулся за своей тужуркой. Однако дама не только не поспешила покинуть театр, а, повертевшись немного перед зеркалом, дождалась юного любителя серьёзной, даже слишком серьёзной, музыки, — и они вместе вышли из театра.

«Какой добрый сегодня вечер, не правда ли? Разгар бабьего лета. Если вы никуда не спешите, то мы могли бы немного пройти... Не возражаете?», — она произнесла это легко, без всякого смущения и уж, тем более, жеманства, прямо как добрая фея из сказки.

И они пошли неспешно под желтеющими кронами деревьев по направлению к Софии, к Детинцу, к Подолу, негромко и заинтересованно между собой переговариваясь.

Так состоялось это знаменательное знакомство, сыгравшее в жизни будущего творца нечаянных «белогвардейцев» очень большую, совершенно и непреходящую роль.

Нет, между ними не было, да и не могло быть, никаких в обычном понимании любовных отношений, хотя он и испытывал



к прекрасной даме неподдельное влечение. Верная своему супругу, который был в это время где-то в Европе, служа по дипломатической части (о разведчиках тогда как-то не очень думали), она так выстроила свою короткую дружбу с умным и привлекательным юношей, что возникшее было к ней стремление не вышло за рамки дозволенной платонической увлечённости — сердечной и вполне безобидной.

Не было никаких тайных свиданий, зато были откровенные встречи, выливавшиеся по обыкновению в совместные прогулки по набережной Днепра, по приднепровским тенистым паркам, иной раз и по Крещатику, около Оперы, вблизи Софии. Сиживали в разных кафе, в особенности, в одном — французском, напомиавшем ей о любимом ею Париже. Кофе и мороженое — вот что доставляло ей истинное удовольствие, исключая, конечно, общение с хорошо державшимся, начитанным и серьёзным, заметно и ироничным, юношей.

А юноша... что юноша?... души не чаял в своей собеседнице, обнаружившей столь тонкие познания в религии, философии, литературе, как и во всяких новомодных эзотерических учениях, полных новоявленной мистики, что юноше приходилось не столько самому вещать, сколько слушать с неподдельным вниманием свою ненавязчивую спутницу.

Прекрасная дама обладала не только обширными познаниями, почерпнутыми в европейских университетах и, как догадывался юноша, в каких-то не слишком открытых обществах — вовсе не из одних только книг, но и поразительным умением говорить кратко, ясно и по сути, — великая то была умница, эта удивительная дама!

Киевский студент понимал, что ему ещё предстоит очень многое узнать, но как же облегчала ему эта очаровательная вещь его приближение к глубинам иностранного знания!

Да-а, здесь была несомненная для него удача, какой-то невероятный подарок судьбы, — и юноша очень ценил выпавшее на его долю общение с откуда-то взявшейся вдруг в Киеве таинственной незнакомкой.




Он, конечно, знал её имя, как и знал, что она оказалась в Киеве, чтобы уладить кое-какие имущественные дела, как и знал, что она когда-то давно покинула Киев, её родной город — ещё совсем маленькой девочкой, что прожила она большую часть своей незаурядной жизни в Петербурге и за границей, что она лично знала многих известных мыслителей, писателей, композиторов, художников, что она.. и так далее и тому подобное. Но что он мог сказать о ней определённого, кем была она в действительности, откуда явилась и куда уйдёт, принадлежала ли себе, а коли нет, то кому или чему служила... и вообще... кем же она была по своей сути, эта потрясшая его воображение дама — свободной интеллектуалкой, миссионершей, связной или попросту... потаённой ведьмой, ибо владела она не просто знаниями, но и чем-то совсем иным, выходящим за пределы ученически добытых знаний, как раз тем, что она вольно извлекала по мере случавшейся необходимости или возникавшего вдруг прихотливого желания из глубин своего загадочного существа?

Он помнил все их встречи, все прогулки, все разговоры — непринуждённые, вольные, точные. Никогда более ему не пришлось уже иметь такого собеседника — лёгкого, пластичного, мудрого. Никогда! Как и никогда он более не встречал столь доброму заинтересованного в нём союзника. А ведь она была для него именно союзницей, кратковременной и стойкой, потому и неизгладимой!

Врезалась в его мужскую память их последняя встреча, у неё дома — впервые за всё время их знакомства, за пару дней до её отъезда из Киева, в день её именин.

Она довольно привязалась к милому юноше, ей явно не хотелось с ним расставаться, но она хорошо знала, что они никогда уже не увидятся, что расстанутся они навсегда. Проницательная и рассудительная, она весьма уже понимала одарённого острой чувствительностью и пылким воображением юношу — скрытного и честолюбивого, склонного к систематической рефлексии и пока ещё не очень систематически образованного, вовсе ещё не



раскрывшегося, ничего не подозревавшего о гнездившейся в нём сильнейшей творческой потенции.

И она решила помочь ему разобраться в себе, увидеть замысловатую конфигурацию выпадающей на его долю жизни, малость раскассировать судьбу, вдохновить юношу не на одно осторожное ей следование, но и, пусть тоже осмотнительное, её созидание.

Ведьма-фея, фея-ведьма — и ничего более! Нет, пожалуй... и ведьма, и фея... но ещё и... великая, надо полагать, женщина, подобной которой ему уже не пришлось никогда увидеть и которую он так и не решился отразить во всей полноте её уникального образа в своих великих произведениях, — был всего лишь один намёк, в его первом романе, но только один намёк... как-то слишком уж нереальной выглядела в его писательском воображении эта Прекрасная Дама, его первая, а может, и единственная в жизни София!

Он позвонил в дверной звонок точно в назначенное время. Очаровательная хозяйка сама открыла ему дверь, непринуждённо и приветливо улыбаясь.

Войдя по её гостеприимному приглашению в полумрак довольно обширной гостиной, освещённой тремя троичными кустами восковых свеч, он сел, повинувшись мягкому указанию хозяйки дома, за стоявший посреди комнаты круглый стол, покрытый бархатной с золотистым отливом тёмно-красной скатертью, и обратил внимание на лежавшую рядом с подсвечником какую-то книгу без названия и на два покоящихся на столе кофейных прибора.

Обстановка настраивала на минорно-раздумчивый лад, обещая что-то необычное, явно неведомое, и, надо полагать, значительное. Юноша почувал, как к сердцу и мозгу его стало приливать колыхающее, как пламя свечи, необычное тепло.

Хозяйка дома, поставив изящно и споро на угловой столик вазу с принесёнными юношей кремовыми розами, заняла место за круглым столом — слева, со стороны двери.



В гостиной как-то незаметно возникла пожилая женщина, родственница или служанка, она поздоровалась приветливо с гостем и поставила на стол старинный серебряный поднос с исторгавшим дивный аромат кофейником и изящной хрустальной вазой, полной печений и конфет.

«Судьба, милостивый государь, боится суеты, мешающей ей воплощаться в реальность. Судьба — это прежде всего возможность, а потом уж какая-то непреодолимость. Созидая жизнь, надо не мешать возможности и не бояться непреодолимостей. Судьба всегда пишется заранее, но она может быть вдруг и переписана. Надо быть достойным своего таинственного предназначения, но при этом следует всегда помнить о возможности пере назначения... Вы согласны со мной?»

«Мне трудно сказать... наверное... это так... да, пожалуй, согласен... наверное...».


«Вот и хорошо! Я уезжаю... послезавтра... за границу, мы вряд ли когда-нибудь ещё увидимся... Мне было хорошо и интересно с вами... и мне жаль расставаться... Но ничего не поделаешь, это тоже судьба: встретиться и разойтись».

Он почувствовал, как к горлу его невольно подкатил какой-то неуместный комок, он резко и глубоко вздохнул, глядя на прекрасную даму и вдыхая тонкий аромат превосходных, наверное, французских духов, так тревожаще исходивший от неё.

Он молчал.

«Так вот, я полагаю, что вы не будете сильно против того, что я немного порассуждаю о вас и вашей судьбе, разумеется, в самых добрых целях. Мне хочется, как бы это сказать, посодействовать вам, что ли, ибо я вижу, что вам дарована свыше большая, но весьма трудная, если не тернистая судьба, которую вам придётся всё-таки исполнить, но исполнить вполне осознанно, не легко и непринуждённо... но... но... преодолевая всякий раз постигающее вас отчаяние».

Юноша смотрел на говорившую женщину широко открытыми глазами. «Что это? — вертелось в его голове, — сама судь-



ба и есть, или же только её посланница?» Он почувствовал, как лоб его покрыла испарина.

«Если вы не хотите, то мы можем обо всём этом не говорить. Я рассчитываю на вашу стойкость, а не на одно лишь упорство... Так как?»

«Говорите... я вас внимательно слушаю... это для меня очень важно», — едва выдавил он довольно твёрдо, не решаясь пошевелиться.

«Я так и знала, вы — мужчина! — и не вам выбирать своё предназначение, это предназначение выбирает вас, — будьте же его достойны, по-мужски достойны! Если бы не это, я бы не стала ничего подобного делать. Зачем? Но вам предстоит, молодой человек, многое, и лучше быть к этому готовым».

Он кивнул головой в знак согласия, смутно осознавая, или даже вовсе ничего не осознавая, что отказ его был бы в этот момент непоправимой катастрофой.


Дама взяла в руку уже несколько застоявшийся кофейник, качнула его зачем-то, как бы взбадривая уснувшие кофейные частички, и разлила по чашечкам кофе.

«Выпейте, пожалуйста, свой кофе, держа чашечку в левой руке и думая при этом только о своём будущем. Не смущайтесь, можете ничего не воображать, только думайте о будущем, совершенно для вас неизвестном. Хорошо! А я загляну пока вот в эту книжечку, если вы назовёте мне точное время вашего рождения».

Он назвал дату и час своего рождения, чувствуя себя уже во власти какой-то поглощавшей его необоримой силы. «Уж не гипноз ли это?» — подумал он, но сразу же отказался от этой мысли, ибо при скрытом и внезапном гипнозе вряд ли думают столь осмысленно.

«Да-а, — мелькнуло у него где-то во взъерошенном сознании, — ну и дела!»

Когда юноша, не торопясь, выпил уже изрядно подостывший кофе, сосредоточившись по возможности на своём будущем, дама попросила его перевернуть чашечку на блюдце всё той же



левой рукой. Через какое-то время она закрыла книгу, взяла его чашку и внимательно на неё посмотрела. Потом она попросила позволения взглянуть на его ладони, несколько задержав свой пылливо-индифферентный взгляд на левой из них.


«Что ж, я готова. Приступим?»

Он опять лишь кивнул головой, замороженный происходящим, но не потому даже, что она гадала, а потому, что гадала... она... его Прекрасная Дама!

«Не спешите меня зачислять в гадалки, сударь! Я не гадалка, я всего лишь прорицательница, а если хотите, проницательница. Ведьма, значит!.. Но что плохого в том, что мне дано кое-что ведать, а-а?.. А все эти гадательные штучки мне необходимы лишь в подкрепление того, что я и так уже знаю... И ничего не бойтесь! Это моя миссия на сегодня — сказать вам кое-что важное о вашей жизненной миссии и укрепить вашу веру в собственные силы, как и обозначить необходимость тех испытаний и жертв, которые вам, увы, предстоят, не говоря уже о достижениях, даже победах... Ведь у вас всё ещё впереди. Так будьте достойны своего будущего!»

«Слушаю вас внимательно», — произнёс он твёрдо.

«Вы проживёте немало, но и не много, за вами полвека жизни, и проживёте совсем не легко, подвергаясь серьёзным испытаниям, бедам и опасностям. Смерть будет всегда рядом, но вы не должны её бояться, она придёт как раз в нужный срок. Вы добьётесь, хоть и с большими трудами, потерями и переживаниями, очень многого, но не материального, а духовного, вы завоюете вершину. Вы станете известным, но настоящая слава придёт к вам уже после смерти, через какое-то время. При жизни у вас будет много врагов, но будут и друзья, будет и какое-то высокое покровительство, для вас спасительное, но полагаться вам придётся более всего на себя. Женщины будут рядом с вами, они помогут вам. Черета женщин. Вы не будете их сильно любить, но вас они будут любить самоотверженно. Ваша творческая дорога — дорога между Богом и дьяволом. Сатана вас прельстит, но не одолеет. Бог вас простит, но потом, потом... после всех ваших



деяний, после смерти. Ваша цель — слово, которого ещё не было. Слово будет самым большим вашим достижением, но и самым большим грехом. Детей у вас не будет, но дело ваше всё оправдает. В быту вы не будете особенно счастливы, но зато вы испытаете истинное счастье перед белым листом бумаги — в слове!»

Он молчал, опешивший и удручённый.

Дама заговорила не сразу: «Это судьба даже не человека, а... *сверхчеловека*. Готовьтесь к ней и правильно всё в жизни воспринимайте. Это очень хорошая судьба! Отчаиваясь, никогда о ней не жалеете. Это — миссия, и её надо исполнить!»

«Не знаю, не знаю... ничего не знаю... Мне нечего сказать... нечего! Я, конечно, верю вам, точнее, не могу вам не верить, но... зачем вы мне это всё сказали, зачем?»

«Не отчаивайтесь, мой дорогой, вы же мужчина, а мужчина бывает мужчиной только... в бою, а бой — это жизнь и есть! Я думаю... да нет, я знаю, что всё сказанное... точнее, знание всего этого вам очень нужно, вы это обязательно поймёте, только, наверное, через годы, может, и к концу вашей жизни... Но считайте, что это посвящение вас в живущих и творящих, страдающих и побеждающих... Понимаете?»

«А ведь вы, наверное, не всё ещё сказали, да-а?»

«Я сказала больше, чем следовало бы... вы мне... близки и дороги... так укрепитесь!»

«Постараюсь! Спасибо вам... за откровенность!»

«Вот и славно! А теперь я предлагаю выпить по бокалу моего любимого шампанского, в конце концов сегодня день моих именин».

Она проворно вышла из комнаты и тотчас вернулась с подносом, на котором красовалась большая посуда с обложенной льдом бутылкой шампанского и два тёмно-синих бокала.

«Вот, моя помощница позаботилась. Прямо из ресторана. Свеженькое! Открывайте, сударь, не стесняйтесь!»

Бутылка, к счастью, открылась в его руках очень удачно — с лёгким хлопком, а шампанское оказалось превосходным. Откуда-то появились бутерброды с чёрной икрой и маслом. На душе



стало спокойнее, настроение вдруг поднялось, и он почувствовал прилив даже какой-то необъяснимой радости, хотя только что подвергся накатному и тяжкому переживанию. В её очаровательных глазах, излучавших столь шедший им таинственный бархатистый свет, тоже прочитывался приступ той же самой необъяснимой радости. Да, это был драгоценный момент радости, вполне взаимной радости — для него всё ещё необычной, а для неё — попросту необходимой!

Ах, молодость, молодость!

Ах, зрелость, зрелость!


Подошла и минута неизбежного, невольно вызывавшего у героев необыкновенного вечера горьковатую досаду, расставания.

Она, уже у подъездной двери, перекрестила юношу троекратно, пригнула ладонью к себе его голову и поцеловала в лоб, ласково потрепав по щеке: «Держитесь, сударь, у вас всё впереди: радостное и горькое, а главное — *великое*, будьте же его достойны!»

На глаза его навернулись слёзы, он ничего не сказал ей в ответ, лишь поцеловал не слишком ловко её мягкую, пахнущую дорогими тонкими духами руку, отрывисто поклонился и, как-то вдруг сгорбившись, выскочил наружу, безраздельно отдавшись долготу, мягкому, укромно заснеженному и приветливо открытому январскому вечеру на киевском Подоле.

...Так вот и была когда-то непринуждённо, целомудренно и убедительно предсказана одарённому и впечатлительному киевскому юноше его весьма затейливая, совсем и не лёгкая судьба, кажется, писательская.

Что в общем-то в действительности и случилось: киевский необстрелянный юноша, хлебнув поочередно всякого испытующего и гнобящего лиха, превратился в повидавшего виды, многое пережившего, ещё и успевшего кое от чего непритворно ужаснуться, зрелого мужа — превосходного московского писателя, вовсе не свободного от гнусных наветов и жестокой околелитературной травли, но упорно, хоть и не фанатично, рисковавшего



в своём творчестве, не покидая насовсем спасительной парагражданской тени, а иной раз вдруг и бросаясь очертя голову в окровавленный омут человеческой комедии, называвшейся столичной культурной жизнью, — что ему тогда оставалось? — многого ещё не знавшему, как и вряд ли смогшему бы ясно что-либо важное для себя представить и заблаговременно учесть... а потому полагавшемуся лишь на одну свою верную подругу — интуицию, на которую только и можно было ему всерьёз рассчитывать, да разве ещё на провидческий приговор, сделанный ему однажды проницательной женщиной, встреченной им на заре юности в славном городе во Киеве, уже заметно от него отдалившемся.

Да, славного Киева с ним уже не было, но зато была не менее славная Москва — сложная, бурлящая, страшная!

А в Москве был он — новенький писатель, писатель-пришлец, принявший на литературном ринге неравный, почти что и проигрышный бой, который назойливо разгорался, но за который писателю-гордецу вовсе не было стыдно.

Театр

«Театр, конечно — развлекаловка, но... Софокл, Еврипид, Аристофан... Шекспир, Расин, Мольер... Шиллер, Шоу, Стринберг, наконец — Гоголь, Чехов, Горький... О-о!.. театр не такая уж и развлекаловка, а... да, да!.. это целый мир, параллельный мир, и вполне видимый, легко сотворяемый, рукодельный и умотворный, совершенно, знаете ли, реальный, хоть и жутко при этом ирреальный, который на глазах, пред лицом, под рукой, рядом, в который даже верить не надо, ибо он живой, всамделишный, хоть и не этот, не повседневный, не рутинный, а иной, откуда-то вдруг являющийся, если не сваливающийся, и наш, наш, вполне человеческий, тутошний!

Театр!

О-о, это далеко не одна лишь сцена, не только спектакли, не сами по себе слова, жесты и гримасы, летящие стрелами в зрите-



лей, их раздражающие, поражающие и увлекающие, это ещё и большое закулисье, где всё главное как раз и творится, что не на глазах и почти всегда не в голос, что в тиши и менее всего на свету, где всего хватает: ума, замыслов, изобретательности, ревности, интриг, безумия, где и персонажей всяких хватает, да не одних только театральщиков, что понятно, а и любых других, среди которых встречаются даже сильные мира сего — явные и неявные, как раз те самые, которые сам по себе театр, может, и не делают, но весьма и весьма определяют, хоть и сами театром этим немало определяются, — в общем, театр сложен, многолик, разнообразен, велеречив и витиеват, он многострунен и многоструен, многое в себя вбирает и многое из себя испускает, да не одно лишь эфемерно-развлекательное, лёгкое и пустое, но и содержательно-концептуальное, веское, подчас и судьбоносное!

Театр — мысль! То пылкая, дерзкая и даже взрывная, то тягучая, мерная, покойная. И почти всегда — тенденциозная! Театр без тенденции — не театр! Намёки, параллели, похожести. Инакомыслие! От образа до образования, с учётом выскакивающей там и сям подмостковой образины — один шаг. Отсюда театр — ключик, источник, фонтан! Одним словом — школа!

Театр — фабрика! И не только впечатлений, эмоций и грёз, ниспадающих со сцены на подвластных ей зрителей, не только звёзд, держащих в напряжении доверчивую публику и доводящих её до экстатического восторга, но и самой окружающей театр жизни, давно и изрядно в себе запутавшейся и театру почти что уже слепо подчиняющейся.

Театр и жизнь, жизнь и театр, а кто тут более впереди и кто кого одолевает, кто знает?

Театр — очаг *инога*, того чего нет, но что может быть, но может и не быть, но что театр всегда непременно отыграет, то поражая своей лояльностью к жизненному контексту, перед ним даже иной раз бесстыдно заискивая, то, наоборот, удивляя своей к нему недоброжелательностью, а то и гнусной на него клеветой, не говоря уже о почти постоянном перед ним изошрённом фронтдировании.




Театр — миф! Здесь фантазия, выдумка, сказка. В театре всё понарошку, хотя и ничего просто так. Оттого и цепляет, и держит, и не отпускает. Облачение и вскрытие, обретение и сброс, завеса и обнажение. Ничему там не укрыться, ни от чего не ускользнуть, никому там ничего не миновать. Всегда неуместность, выверт, конфуз. В театре возможно всё, что на миру не бывает никогда!

Театр — *антимир*! Это территория призраков, перевёртышей, оборотней, в общем, всяких мнимостей. Там, где непрерывный карнавал, где много смеха и прыжков, где сплошные аллегории и невозможности, там и... *инферно*, чему игровое изящество и ненатуральная грациозность лишь добродетельно споспешествуют. Бес на сцене, что рыба в воде: скачет, кривляется, хохочет! И как же тут по-другому, ежели... *театр*!? Как же ему без борения, отрицания, распада? Как же театральной культуре без антикультуры? И бледно тогда, и скучно, и неинтересно!

Но это ещё не всё, есть ещё и кое-что другое, явно подкрепляемое интеллектуальным достоинством: антитрадиция, модернизм и постмодернизм, гуманизм, давно уже переплетённый со своим противником — антигуманизмом. Театр почти всегда против государства, против власти, против порядка, это почти всегда протест, фронда, а то и контра. Театр — всегда антицерковь, он прямой и самый последовательный соперник церкви, ей реальная альтернатива, вполне боеспособный конкурент, лишённый, быть может, святости, но зато не лишённый влекущего в иномирье очарования.

Не ограниченное никакой идеологией протестанство, как и нарочитая инаковость, не мешают, однако, театру быть и вместе с властью, находится даже с нею в родстве, ибо театр — тоже власть, да ещё какая! — прямо над людьми, их душами и умами, их сознанием и воображением, мало того — чуть ли не надо всей людской ноосферой!

Театр и власть, власть и театр: любовь и ненависть, сговоры и разрывы, союзы и схватки. Всего тут хватает! И король ли все-




гда командует королевским-де театром или же королевский театр... поигрывает... театральным королём, — поди-ка, разберись!

Театр и контекст! Будучи вполне алхимическим призраком, но реальным и действенным, театр способен во всём растворяться, во многое проникать, кое-что деловито и ловко оплодотворять, а кое-чего незаметно, но и вполне рисуночно добиваться. Преобразователь вещей, людей и отношений, но ведь и всего контекста тоже. Пророк, проектант, строитель! Не без кликушества и юродства, конечно, как и не без хулиганства и комочков тёплой грязи — в публику, но зато ловко, надёжно, эффектно и эффективно.

Контекст и театр! Там и там закулисье, там и там конспирация, там и там инферно. И опять же взаимность: на сцене, за сценой, вне сцены; в салоне, на рауте, в собрании; в лаборатории, в библиотеке, в академии. И кругом умники: артисты, писатели, учёные. И все думают, говорят, внушают. Не молчат! Работают. А ежели что, то и весьма горланят, гнобя тусклое настоящее и гонясь за лучезарным будущим. И все прут в театр, начиняют его, раздувают. И рвётся театр вперёд, и горит, весело сверкая огнями, и манит, и обволакивает, и проглатывает!

Ставить спектакль — ставить миф, но и саму жизнь тоже, как и антижизнь, — это уж как, кому и когда случится!

Театр, извиваясь, любит безумие — *театральную паранойю*, но он любит и ум — *театральный конструктивизм*, за которым отточенный замысел, тщательный расчёт, выверенный проект, обдуманная стройка. И ежели что-нибудь на театре бывает всерьёз, да ещё и надолго, то тут в дело вступают уже не болтливые шуты и пустые безобразники, а самые что ни на есть интеллектуалы, они же и магистры — со степенями и посвящениями, которые, умело секретничая, поводя носом и надувая щёки, а то и выпучивая многозначительно глаза, добиваются на театре скорейшего превращения чего-либо *такого* во что-нибудь *этакое*: то ли свинца в золото, то ли золота в свинец, не говоря уже о превращении свиньи в козлице или же козла в свиньицу, — это уж как пойдёт!



Театр — фантазмагория, калейдоскоп, чародейство!


Чары театра! Кто только не был ими задет, подхвачен, унесён. И не только актёры, режиссёры и сценаристы, что понятно, но и императоры, президенты, министры, аристократы, офицеры, депутаты, интеллигенты, заводчики, разночинцы, а главное, весь женский контингент: жёны, любовницы, институтки, служанки, проститутки, да мало ещё кто! И все льнут, тянутся, роятся. Мало того, усваивают, обдумывают, прозревают, наконец — меняются, привнося частенько в сознание своё, как и в своё же бессознание, тёплую и медленно шевелящуюся бациллу... измены — себе, другу, женщине, мужчине, семье, предкам, потомкам, сословию, государству, империи, слову, культуре, церкви, ну и, разумеется, самому Господу Богу!

Театр — сила!

Недаром же великий вождь народов, сам удачливый игрок, конспиратор и чародей, любил хаживать в театр и, сидя в заретушированной невидимым образом ложе, высматривать на чудотворной сцене что-то для себя важное, а потом и с умными театраллами непринуждённо побеседовать в сумраке притихшего закулисья, постигая тайны скоморошьяго мира и проектируя для управляемого им из Красного Кремля профанного мира вполне уже театральное, а потому и спасительное для всех, жизнеотправление.

И ведь прав был очумелый Шагал, совершенно и навсегда прав, изуродовав глумливо, метко и провидчески своими гениальными карикатурами классически величественный купол парижской Grande Opera, ох, как прав!

Нет, нет, театр — не развлекаловка вовсе, точнее, не только развлекаловка, более того, он менее всего развлекаловка, это прежде всего большая, нудная и безоглядная работа, и не одних только органических театральщиков, прочно засевших в сокровенных закулисьях и ловко оседлавших брызжущие светом, цветом и гамом сценические площадки, но и разного рода ценителей, целителей и фанатиков, ну и, конечно же, правителей и преобразователей, не говоря уже о воспитателях, просветителях и укро-



тителях, как, собственно, и растлителях — явных и тайных, в общем, бог знает кого!

Театр — это целый мир, большой и сложный, многоуровневый, не единожды окольцованный, центростремительный и центробежный, сетевой, паутинный, химерный, а главное, криптогенный, полный эфирных, словесных и жестикулярных завес, тот самый искусственный мир, сотворённый человеком фантазийным столь искусно, что ни понять его, ни ухватить, ни затолкать взащей куда-нибудь раз и навсегда, разве только прижать слегка, да и то лишь частично и на короткое время, почти что на мгновение.

Нет, нет, театр — совсем даже не развлекаловка!»

Пречистенка

Несмотря на житейскую общительность в кругу близких, он был человеком весьма замкнутым, скорее даже, закрытым, что не исключало его тяготения к умному общению, которого в его московской жизни было не слишком много, а уж с подобными ему особами — литераторами, и того меньше.

Впрочем, кое-что всё-таки было: тот же так называемый «пречистинский кружок», ну, не кружок, конечно, в полном смысле слова, а некое не оформленное никак, разношерстное и подвижное «звёздное скопление», в котором тешили свой интеллектуализм философы, историки, филологи, натуралисты, физиологи, журналисты, художники, литераторы, не нуждавшиеся ни во всё ещё модном тогда модернизме, ни в какой-то особой религиозности, ни в поклонении перед атеистической красной новью. Люди случались там высокообразованные, эрудированные, нередко и явно талантливые: было кого и что послушать, но не остро политическое, что было небезопасно, а что-нибудь фундаментальное, оснащённое добротным знанием и незаурядной проницательностью. Касались и вопросов эзотерики, мистики, трансцендентности, что было особенно близко и интересно привыкшему с юности к подобным вещам любознательному писателю.



Всё это происходило по берегам улицы Пречистенки, в расходящихся от неё переулках, в двух-трёх частных квартирах, как раз рядом с добротным жилищем одного его примечательного родственника, известного медицинского светила, профессора-гинеколога, умнейшего человека, циника и остроуслова, у которого писателю тоже приходилось нередко бывать, наслаждаясь обильным столом и удивительным красноречием старорежимного интеллигента, позволявшего совершенно крамольные и непристойные с красной точки зрения словесные эскапады.

Пречистенские забавы длились недолго, но в середине 20-х годов они служили хорошей размыслительной отдушиной для склонного к запредельной рефлексии певца бывших золотопогонников.


Но одним звездопадным интеллектуализмом там всё-таки для молодой литературной знаменитости не обошлось.

Однажды к сероглазому кудеснику слова подсел весьма привлекательного вида темноволосый человек, примерно того же возраста, что и сам автор шумливой пьесы, если не помоложе, и, представившись журналистом, завёл почему-то разговор о неприглядной в общем-то роли русской литературы в исторической судьбе России вследствие чрезмерного критицизма и негативизма, сросшихся с безысходностью.

Писатель ему не возражал, с интересом выслушивая доводы хорошо подготовленного и явно незаурядно мыслившего молодого человека, признавая немалую в них правоту. Сам он тоже задумывался ранее над этим, но счёл за благо сначала воспринять уже хорошо осмысленную историософскую версию.

Эрудиция собеседника была велика, суждения точны, а боль за Россию и её не слишком, как выяснялось, ответственную литературу благоприятно поражала.

Собеседник весьма заинтересовал писателя, сообразившего, что разговор этот был заведён с ним совсем не случайно: журналист явно рассчитывал на его отклик, пусть и молчаливый. Писатель не стал торопиться со своим суждением, признав необычность и важность ему сообщённого.



Вечер вскоре закончился, чай с сушками выпит, гости, наговорившись, стали расходиться.

Случилось так, что оба собеседника — драматург и журналист — покинули гостеприимный дом вместе. Оказавшись на улице, они немного постояли у подъезда, покуривая. Выяснилось, что им не по пути, и писатель приготовился уже было попрощаться с несколько загадочным журналистом.

И тут молодой человек, слегка склонившись к лицу писателя, произнёс негромко: «Вам привет от мастера», и, заметив, что писатель, слегка остолбенев, не стал притворно ничего отрицать, добавил: «Он очень хотел бы встретиться с вами, если, конечно, вы не будете возражать».


Сообщив это, журналист подал писателю бумажку с адресом: «Он ждёт вас завтра вечером, в Москве он ненадолго. Я тоже буду. Приходите!» И, поклонившись на прощание, полужнакомец мгновенно растаял в звонкой глуши тёмной московской ночи.

На следующий день вечером писатель постучался в солидную дверь обозначенной в записке московской квартиры, что размещалась на втором этаже большого престижного дома, akurat недалеко от Патриарших. Открыл дверь вчерашний его собеседник. Освободившись от верхней одежды, писатель вошёл в обширную комнату, где сразу же увидел пятигорского знакомого, поднявшегося ему навстречу.

Пожав приветливо другу руку, уселись, не теряя времени, за накрытый к ужину стол. По русскому обычаю приложились к водочке и подходящей к случаю закуске. Пятигорец оказался весьма утончённым гурманом.

Покончив с добротным ужином, перешли в населённый книгами и картинами кабинет, где с наслаждением закурили. Ещё оставался чай, перед которым, как почувствовал писатель, он и должен был услышать что-то, по-видимому, для него важное.

— После многозначительного, хоть и не внезапного, ухода из жизни главного красного вождя, как вы, наверное, заметили, наверху у них обострилась борьба, но это не просто борьба за



власть, так сказать, за кормило, это борьба за сам красный проект, его реализацию, как, собственно, и за судьбу России.

Пятигорец, а теперь, наверное, парижанин, впрочем, кто его знает, немного помолчал.

— Средние слои красных не хотят вытанцовывать интернациональный танец под дудку инородных творцов революции... Отсюда и большая драка... Ставкой тут не карьера, а жизнь! Революция беспощадна, причём всё равно к кому... а револьвер тут даже милостив, — это тебе не идиотская французская гильотина.


Он опять помолчал.

— Террор усиливается... и теперь он всё более направляется против своих... Особенность момента!.. Но дело не в самой этой кровавой драке, а в выборе линии. Кавказец, кажется, одолевает. Он не великий интернационалист, скорее почвенник, к тому же, судя по всему, государственник, даже имперец. При его полной победе, надо ожидать уже личной, а не какой-то там пролетарской, диктатуры... Но ради хоть какого-нибудь разворота к России можно сейчас согласиться и на это.

Снова закурили.

— Ему надо помочь, примерно так, как вы это уже делаете: ваши белогвардейцы потрясающе! Вы уж извините, что я не говорю о литературных и художественных достоинствах ваших произведений, воистину высоких... Вам есть, что сказать, вы счастливо одарены воображением и словом. Горжусь, что кое-что угадал в вас ещё там, на юге. Литератор не должен пребывать вне исторического потока времени, базисных задач, стоящих перед человеком и миром. Гений ответственен перед человечеством, перед своим народом, а с неизбежным злодейством, кипящим вокруг, ему приходится иной раз и расчётливо дружить.

В сей момент писатель вспомнил почему-то вчерашнюю беседу с молодым журналистом, сидевшим тут же с совершенно недвусмысленным достоинством на принесённом им же из гостиной стуле. «Ой ли?! — не без горечи и некоторого сарказма подумал писатель, — сколько уже загубленных этой дружбой



гениальных душ... и выхода-то никакого тут нет... кроме разве какой-нибудь нелепой скоропостижности!»

Вдруг писатель заметил кое-какое сходство в лицах и повадках принимавших его людей: «Уж не отец ли это с сыном?» — мелькнуло в его слегка размягчённой от выпитого вина голове.

Воспользовавшись паузой, молодой человек предложил весьма непринуждённо, впрочем, не без некоторого фонетического изыска: «Может, коньячку, господа?»

Пятигорец не стал возражать: «Охотно, охотно! Мы что-то совсем заболтались, а коньячок-то стынет».

Выпив по рюмке коньяку, они продолжили, в ожидании послужинного чая, доверительную беседу.

— Я тут маракую кое над чем, — вступил в разговор писатель, — пишу пьесу о врангелевцах, их поражении и бегстве. Пьеса так и будет называться — «Бег». Пытаюсь показать белогвардейцев трагически, как загнанных в смертельную западню русских людей, хороших или плохих, но людей... русских людей.

— Наверное, будет что-то значительное, я это чувую, и очень нужное! Ему это сейчас очень нужно... Важно показать, что сейчас потребны большие умы и ответственные специалисты, а такие — пока ещё из отвергнутого революцией прошлого. Выращивать-то их надо долго, очень долго. Россия со времен Петра двести лет взращивала. А идиоты-революционеры в одночасье многих и порешили. Только теперь, кажется, малость опомнились... Ну и это, слава Богу!.. Вот и план большого строительства разрабатывают, названный, правда, как-то по-дурацки — «ГО-ЭЛРО»... Да-а, велика ответственность гения, тяжела миссия... Пора и на родину поработать, а то всё против да против.

Тут снова вмешался деликатный молодой человек: «Пора, пожалуй, и к чаю!»

— Верно, давно уже пора! Ох, накурились, надо бы и от курева отдохнуть... Вы не думайте только, что режим нынешний вдруг начнёт белеть, — нет, он останется красным, увы, надолго, но он может стать и, кажется, становится, *другим* красным, — и это другое нас сегодня более или менее устраивает, это, — гово-



ривший усмехнулся, — наше зло, и ничего тут не поделаться! Россия нуждается в крутых очистительных и созидательных мерах, конечно, не так и не в тех, что будут, по-видимому, но ничего иного пока история предложить не может... Надо уметь слушать не только революцию, — как говаривал когда-то легкомысленный Блок, — а и историю, что поважнее и потруднее... Надо быть реалистами!

— В красный проект должна вторгнуться традиция — иначе этим красным конец, но вместе с Россией. Именно так: *традиция!* Революция выступила против традиции, обозвав её высокомерно старым хламом, а без традиции ничего и нет — ни человека, ни культуры, ни страны. Именно так, — повторил пятигорец, — ничего и нет!

— Без традиции всё в тартарары, — заметил глубокомысленно журналист, подливая собеседникам душистый чай.

Чаепитие с мёдом и вареньем счастливо продолжалось. Участники застольного священнодействия, не забывая про коньячок, отошли от серьёзных политических тем и, как бы учтя присутствие в дружной компании уже весьма известного писателя, коснулись текущих литературных и театральных дел.

— Замятин и Пильняк сильно рискуют, — рассуждал, слегка прищутив глаза, гостеприимный хозяин просторной квартиры. — Так нельзя! Их никто не сможет защитить. Рискует, но уже по-своему, и Мейерхольд: зачем измываться над классикой, когда этого уже не требуется? Зато «хорош» Маяковский, вот уж бедолага, обязательно доиграется: больно уж демоничен!.. Эх, мера, мера, всего менее тебя чувствуют наши творческие личности!.. Вот тот же Бабель, кто его за язык тянул, зачем так раздражать славного командарма, который, конечно же, не гений, но ведь он символ, большой символ. Нельзя оставлять красных без героев, причём страшно положительных. Нельзя! Вот Толстой, который Алексей, этот молодец! Прямо пример с него бери!

Пятигорец посмотрел внимательно на писателя.

— Но вы, сударь, другой, совсем другой, и это очень хорошо!



— А что вы думаете о Горьком? — спросил неожиданно писатель.

Пятигорец немного задумался.


— Талантлив, чертовски талантлив, и не только в писаниях своих, но и по жизни, покруче Алексея Толстого будет, ибо Алексей тот просто ловок, а этот, знаете ли, чертовски ловок... В большинстве своём все вокруг лишь участники, а этот из дирижёров, причём активных и главных. Этакий Фауст... русского, а может, и псевдорусского кроя! Вы вот думаете, почему это он всё время такой озабоченный и грустненький? Нет, не потому что о человеке бедном и отверженном печалуется, он о положении своём междустульном печалуется, предчувствуя что-то недоброе. Понимаете?

— Душа, видно, у него не очень-то спокойна?

— О-о, даже очень не спокойна! Изображать народ, его бедствия и чаяния, и в то же время идти против этого же народа, мзду великую за это получая, в средиземноморском замке «ютясь» семейственно, с бабами пригожими да приживалами всякими якшаясь, покашливая да покряхтывая. Это кое-что значит! А здесь, в Москве, тоже ведь в замок угодил, да вот ключ от этого замка теперь уже не в его руках. Невольно тут пригорюнишься!

— Но ведь он и традицию кое-какую поддерживает, как и гуманистическое обновление красного проекта?

— Верно, поддерживает... да и пусть себе поддерживает, ему-то не привыкать ловчить и лавировать. Совесть у него, видно, есть, не изверг же он, опять же талантлив, пожалуй что, и гениален... Что говорить, нелегко ему, очень нелегко, не позавидуешь, но у всех ведь свои пути и судьбы, свои и по жизни роли. Будьте поэтому независимы! Таким вы нужны себе, нам и *Ему*, который там, в Кремле... Да, кстати, — добавил он вдруг, — было бы лучше, наверное, пореже вам посещать Пречистенку, лучше, — он усмехнулся, — оставаться анахоретом, так логичнее и... безопаснее!



В глазах гостя мелькнул какой-то задиристый огонёк, но он промолчал.

Вечер подошёл к концу. Старые знакомые по-товарищески обнялись, но, слава богу, обошлось без поцелуев. Что-то подсказывало писателю, что они более никогда не увидятся, хотя хозяин дома и заметил на прощание: «Надеюсь, что свидимся, погутарим ещё о том, о сём».

Журналист вызвался проводить гостя.

Вышли на морозную улицу, кругом было белым бело: выпал свежий снег. «Как хорошо, — проговорил вдруг журналист, — что снег не красный, а белый, не правда ли?» «Да, — ответил задумчиво писатель, — это очень хорошо!»


Они дошли молча до поворота, за углом как раз таился дом, в котором обитала со своими жёнами, смиренной первой и бодрой второй, новоиспечённая московская знаменитость.

«Прощайте, милостивый государь, спасибо за вечер, который был замечательным, мне он надолго запомнится!» «Не за что благодарить, это вам спасибо за то, что вы делаете. Желаю вам держаться и сотворить что-нибудь экстраординарное — и для тех, и для этих! Но будьте бдительны, звезда вам ярко светит, а судьбу-то не переиграешь! Извините за банальность, но я искренне желаю вам удачи. Прощайте!»

Пожав друг другу руки, они развернулись и пошли, сосредоточенные, в разные стороны.

Сны


Ему было мало символических золотопогонников — растерянных киевлян великого и страшного 1918 года, его тянуло выставить на обозрение уже настоящих белых, люто сражавшихся не на жизнь, а на смерть, погибавших и одерживавших победы в открытом бою, сеявших страх и погружавших в небытие всё, что выглядело в их воспалённом воображении хотя бы чуть-чуть красным.



Да, теперь очередь пришла тех самых деникинцев, колчаковцев и врангелевцев, которые составляли вполне стройную золотопогонную армию, сначала сильно потеснившую ненавистную красную новь, а затем отступившую под её тяжёлыми ударами, наконец, уже будучи разбитой, ушедшую, если не удавшуюся, за пределы Родины — в зарубежье, которое приняло их по-разному, но уж никак не с распростёртыми объятиями, быстро превратив в униженных судьбою и закордонным безразличием изгоев.

Писатель, сам бывший армейский белый, остро чувствовал и искренне переживал белую трагедию, видя за ней и трагедию всего русского народа, как и тех же красных, может, в эйфории своей победы ещё этого и не осознавших, — он не мог пройти мимо страшной беды, глубинную суть и роковое значение которой он понимал, наверное, как никто, убеждаясь, конечно, и в том, что разделительная война не окончена вовсе, что вражда не утихла, что кровь всё ещё льётся, а миллионов русских, как уже бывших, так и ещё только долженствовавших быть, у страны уже никогда не будет. Потери, потери! И сколько же им длиться?! Когда же прекратится эта бессмысленная смертная сеча?

Чего он хотел? Да, собственно, ничего! Он прекрасно понимал, что всё это бесполезно, что примирения не будет, что покрасневшая, — не от стыда, конечно, а лишь от красной нови, — страна не побелеет вдруг, что с прежней Россией решительно покончено, что новый мир обязательно добьёт старый, что... Но как великий художник и прозорливец, он чувствовал, что всё-таки надо... надо было вывести на свет божий этих вконец разгромленных белых, показать, что они такие же русские люди, как и многие из тех, кто причислял себя теперь к красным, что они не более порочны и не менее прекрасны, чем их счастливые победители, что тяжело и безысходно сейчас всем — как побеждённым, так и победившим, что никто здесь не в выигрыше, а все как раз в страшном и бездарнейшем проигрыше, что отвергнуть и забыть — не выход, а возвыситься и почивать на лаврах — тупик, что... что... о-о!.. всех этих «что» было такое множество, а он,



писатель-пророк в тот момент был один — не белым, не красным, либо и тем и другим сразу, либо более чем белым и более чем красным, — и сознавал, что писать о разбитых и изгнанных белых надо, ибо это были уже никакие не белые, а просто русские, может, и ненавидевшие красных, но заслуживавшие, как всякие русские, хотя бы достойного упрека и снисходительной памяти.

Невероятная задача, трудная, колкая, опасная!


Но... и один тоже в поле воин, и случилось ему быть таковым, причём в кроваво-красном поле, на растревоженной и на рассерженной родине, прямо в грозной кипящей Москве, под дулом чекистского револьвера и занесённого над головой большевистского клинка, а не в райском Париже, посреди славных Елисейских Полей, в виду великолепной Триумфальной арки, в бедности, быть может, но и в безопасности.

И не в одних разбитых и покинувших страну белых тут было дело, как и не в разбежавшихся по закордонным весям старорежимниках, и не в затаившихся где-то в красной реальности осколках отвергнутого революцией мира, и не в сотрудничавших с новой властью выходцах из царской России, нет, не в них тут было дело, а... в самой России, шизофренически раздвоившейся, ставшей вдруг красной и белой, нашей и не нашей, своей и чужой, превратившейся в какой-то неполноценный исторический мираж, но не переставшей при этом оставаться... Россией!

Р.С.Ф.С.Р. — не Россия, а уж эмигрантская Россия — тем более!

Что ж, впереди лишь новая страна, но какая? Россия, разумеется, новая Россия, а не какое-то интернациональное миро-революционное месиво, — и символом обновлённой России были для непокорного мастера как раз... *золотые погоны*, дававшиеся обычно людям служивым и благородным, ими не без гордости носимые. И если золотопогонников-триумфаторов вокруг не было, то явиться на сцену могли другие — разбитые, изгнанные и пропавшие, но... всё-таки золотопогонники — патриоты и имперцы.

Риск? Конечно, риск — громадный, самоубийственный!



И он рискнул, отправив своих новых сценических героев, доблестных, грешных и непокорных в потусторонние сны, в бьющую острой реальностью тупую ирреальность, в окутавший белую Россию внеисторический мираж.

И правильно сделал: сны есть сны, а бегство есть бегство!

Но не тут-то было!

Противник не дремал: второго триумфа белых на красной сцене уже не состоялось!

Да и кто мог решиться допустить этакое, кроме разве кремлёвского вождя, который, прекрасно всё уловив и оценив, наверное, дерзкий литературный демарш, поддержать великую пьесу не смог. То ли посчитал её в тот момент несвоевременной и даже лишней, а, может, слишком уж красноречивой, ибо на сцену выводились хоть и беглецы, но очень уж... привлекательные... враги красных. Лично сам он, чувствовалось, не был сильно против пьесы, почему и предложил подделать её конец в пользу-де революционной правды, но защищать пьесу в выставленном автором виде не стал.

Пьеса не была разрешена к постановке.


Придуманная автором пьеса не превратилась в явь, — пьеса сама вдруг стала непроявленным сном.

То, что вождь читал пьесу и отнёсся к ней благосклонно, — было хорошо! Получилось вроде концептуальной записки неоднозначному вождю. А вот то, что вождь не счёл нужным прямо обратиться к автору с переделочным предложением, остро задело самолюбие неугомонного гордеца. Писатель не стал ничего переделывать, и что при этом явно просчитался, он понял уже позже.

Это был серьёзный прокол!

Вождь, однако, стерпел, ибо такого пошиба писатель — независимый и упрямый, талантливый и пронизательный — ему был нужен, а ради дела можно было и потерпеть, ничего, конечно же, не забывая, в особенности, столь вызывающих неповиновений.

Писатель, правда, молчал, не дёргался, пожалуй что, и затаился, — поступил, следственно, разумно, но... но... вождю вовсе



не было неинтересно, что же случится дальше, что ещё выкинет дерзкий писатель — из стана белых, свою имперскую белизну по сути и не скрывавший.

А писатель, понимая, что просчитался, что турбинский триумф не повторится, что хода ему в белом направлении уже нет, не сдался и не смирился, хоть и вздрогнула его давно уже утешённая душа — не от страха вовсе животного, а от... ощущения невозможности человеческой, одиночества своего в мире и перед Богом, великой своей неприкаянности!

Да-а, это было *явление!*

Писатель, — к тому моменту уже бесспорный мастер, — верил в свою звезду, полагался он и на свою необычную судьбу, ему когда-то в юности любовно завещанную, не насилуя её и надуманным желанием своим не подчиняя, по-сыновнему оберегал и вкрадчиво ей следовал.

Стоя как-то ночью перед окном своей коммунальной комнаты, он вдруг подумал, вглядываясь пристально в тёмный осенний кошмар городской бездны, что жизнь его как-то очень похожа на вяло и странно текущий сон, конспирологический и инфернальный, исходивший прямо из какого-то вещего зазеркалья, — сон дивный, тревожный и опасный.

Сон, бег — бег, сон!

Страшно!

Отмщение


Окружавший раскрасневшийся мир неумоимо раздражал, — и трудно было удержаться, чтобы не дать ему по морде — смехо-сатирически, памфлетно, зло!

И он таки дал!

Да, да... дал!

Дал!

Героизм? Да нет, какой уж тут героизм! Он не был героем, даже психушным экстремалом не был, будучи вполне нормаль-



ным обывателем, мечтавшем непрерывно и жадно о собственной удобной квартире и надёжном домашнем уюте.

И жертв никаких — ни от себя, ни от других — он не желал: зачем ещё какие-то жертвы, если сама жизнь и была непрерывной жертвой?

Он был просто зол, даже не на текущий мир, его усердно задевавший, а на саму, если так можно выразиться, концепцию человеческого мира, не только не позволявшую этому миру стать миром любви, но упорно воспроизводившую то, что казалось писателю какой-то онтологической... зверскостью, лишь на время утихавшей, более всего принудительно, но непременно вспыхивавшей, — хотя бы под влиянием перемен на солнце, — беспорядочным фейерверком.

И как этого не понимали новейшие преобразователи мира: от титанов Возрождения до глашатаев Революции, всякие там философы, учёные, просветители, а в бестолковой России — литераторы, профессора, интеллигенты, марксисты, а потом и модернисты, символисты, футуристы, как и разные иные «исты», — а если и что-то такое понимали, то как же все они в итоге... оплошали... прямо до самого невероятного непотребства!

Он был зол, сильно зол, но уж никак не озлоблен, — и зол он был более всего как писатель, как летописец, как мыслитель, как творец, всем этим чревом жизни слишком чувствительно задетый: и впрямь человек был от зверя, а может, он, создание Божие, вдруг стал, опорочившись, зверем, — да и по своей ли воле, а если и не по своей, то тогда по чьей же?, — и всего более писатель был зол на пламенных революционеров, лишь высвободивших своей бесовской революцией зверя в человеке, а теперь пытавшихся загнать этого самого зверя обратно... но... опять же... всё так же — по-зверски!

В писателе восставал неудержимо вовсе не старорежимник или тот же белый неудачник, — так было, конечно, но это было совсем не главное: в нём восставал... *человек!*, ради которого как будто и вершились все эти ренессансы, гуманизмы и прогрессы,

но который как раз и оказывался более всего застигнутым врас-
плох... *зверем*.

И вот это-то нарочитое человекообразие никак не устраивало зоркого и чувствительного писателя, оно его задевало и раздражало, злило, вызывая потребность хорошенько с ним посчитаться, набросившись на него с беспощадным, но ловко и даже любовно скроенным презрением.

В голове всё время крутилось одно и то же — *дьяволиада!* — да, да, именно так — *дьяволиада!* — там — в мире, в человеке, в стаде, и здесь — в голове, в сознании, в воле.

И родились удивительные по слову и мысли тексты: «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце»!

Заметим: «дьявол», «рок из яйца», «собака»! Что это? Зашифровка с... расшифровкой, выданные в памфлетно-фантастической форме; уж не откровение ли это — XX века!; или же попросту злобные инвективы недобитого белого протестанта, пусть и талантливого?


Кто же скрывался под маской ущербного старорежимно-нэпмановского денди, петлявшего по Москве в дурацкой лохматой шубе и напяливавшего на правый глаз не менее дурацкий монокль? Ещё и тихую и верную жену бросивший, польстившись на другую — чуть ли не аристократку, бойко игравшую в теннис и заправски скакавшую на лошадях, из бывших из России беглых к тому же?

Ясно, что он был враг всего революционного и красного, но почему же такой смелый?

Да-а, на кону тут были не гонорары, а сама жизнь!

Тюрьма, ссылка или расстрел — норма! Исчезновением тут никого было уже не удивить. Войны и мятежи вроде бы закончились, а вольно-выборочная резня продолжалась. Смерть гуляла рядом, — и рядом с ним тоже!

И, однако, он писал, — и писал, что хотел, точнее, чего не мог не писать: на окаянные дни он отвечал окаянными же писаниями, да не в Париже сидя, а прямо в Москве-матушке, среди швондеров и шариковых, рядом с персиковыми и преображен-



скими, под бдительным оком красной охранки и любопытствующим взором кремлёвских сидельцев.

И защиту вроде бы имел, и понимание встречал, и, как казалось, чуть ли не на заказ работал, слегка юродствуя и паясничая, скрывая в зорких глазах своих великую грусть и глубокое неприятие, не говоря уже о скорбной отверженности.

Талант, да что талант — *гений!* Как раз тот самый, который видит всё по-другому, чувствует иначе, различает иную меру, ловко ходит по лезвию бритвы, безрассудно и умело рискует.

Отобразитель человекообразного мира, его едкий нелюбимый критик, он довольно сознавал, что делал и на что шёл, предназначая к немилосердному отрицанию не только шариковых и швондеров, но и... персиковых с преображенскими, задумавших всё на свете преобразовать, походя что-то умерщвляя и что-то оживляя, переналаживая всё и вся, сотворяя что-то небывалое, но, как хорошо прозревал остроглазый юморист, и... несуразное, вредное, опасное, совсем и не нужное, хоть воображение и гордыню их тешившее, доставлявшее им как грубое кроваво-революционное, так и утончённое интеллектуально-демиургическое удовлетворение.

Многое тогда, кажется, понимал сероглазый господин в чулковатой шубе и с нелепым моноклем в глазу, усматривая зверя повсюду, даже в самых мирных и тихих, образованных и интеллигентных, милых и гостеприимных, ибо зверь для него был во все и... не зверь, а самый обыкновенный человек, в особенности, талантливый, артистичный, остроумный!

Собаčky сердца давно уже особачили людей, время, саму жизнь! Вот и страну его особачили!

Но что делать было ему, к кому воззвать? — не на попов же рассчитывать, только что по-собаčky потравленных и предельно обескураженных, да и не любимых им вовсе, не призывать же к разуму человеческому, совершенно уже скособоченному, не говоря уже о морали человеческой, вовсю уже износившейся, — вот и пришлось ему полагаться на себя да на... власть, — да, да, на ненавистную ему красную власть, — но не на красную про-



слойку этой власти, а всего лишь на саму по себе власть, ибо у власти всякой есть всегда какое-то масштабное видение и какие-то важные общие задачи, которые с неизбежностью восстают и которые приходится обязательно решать, а потому власть всегда и вообще власть, вынужденная быть и приемлемой, и конструктивной, и нацеленной на перспективу.

Только на эту *вообще власть* и мог как-то надеяться не пореволюционному мысливший писатель, тем более, что видел и знал, что власть новая неоднородна, что в ней тоже борьба, что и там зреет понимание фундаментальной никчёмности вымученного в марсоподобных головах красного проекта, необходимости его коренной переориентации, если не ломки, а может, и замены на какой-то иной по сути проект.


Выплеск был мощный, что говорить!

Но пробить брешь в красной обороне ему всё-таки не удалось, хотя и удалось, — что не укрылось от его острого и чувствительного зрения, если не тайновидения, — выстрелить прямо во власть, в её интеллект и интуицию, в её созидательную потенцию.

Его оценка реальности была не просто иронична и язвительна, не просто жестока, но и... справедлива, точнее, правильна, а ещё лучше — полезна, чего не могла не признавать прозорливая часть новой власти, испытывая к инакомыслящему писателю что-то вроде приязни.

Нет, широкой публичности его текстов она допустить не могла, а вот прислушаться к прозорливцу да ещё и поугагать кое-кого, как и кое-кого кое о чём уведомить... вполне, — ибо и сама провидела что-то подобное.

Странный и не слишком заметный симбиоз вдруг возник между белым писателем и красной властью, точнее, между непокорным писателем и одним из красных вождей, как раз набиравшим тогда силу и уже оттеснявшим кое-кого из властей предрержащих, — ты нам идеи и образы, а мы тебе жизнь и работу, а уж там посмотрим!



Честен был упрямый писатель перед словом своим, неподкупен перед чистым листом бумаги, верен стекавшим кровоподобно с его жёсткого и гибкого пера чернилам, — он не мог иначе, не мог не писать и ничего вообще не говорить, потроша своим острым взглядом окружавшую его чудовищную действительность.

Так уж он был устроен, этот нежданно свалившийся на растревоженный красный улей белый гений!


Долой, говорил он своими писаниями, долой тех и этих, опора лишь на правду, честь и сознание, прочь от революции, от бойни, от охоты за людьми, но и от всяческих преображенцев — идейных и научных — тоже, ибо нет ценнее человека самого по себе, дара жизни, вольноопределяющейся судьбы. Кто вам дал право, — как будто говорил он, — судить и крушить, инквизировать, приговаривать, переделывать, убивать? Какая-такая теория, какая идеология, какое-такое слово?!

Говорил вроде бы о текущем, а задевал... *вечное!*

Многое осознавал и предчувствовал писатель, знакомый с физиологией и фармацевтикой, с психопатологией и морфинизмом, с суггестией и гипнозом, а потому не так уж сильно его волновали швондеры и шариковы, хоть и были ему противны, его более страшили персиковы и преображенские — милые, воспитанные, острословные, те самые, что обеспечивали возможность исполнения самой гнусной — совершенно уж дьявольской! — власти — власти над освобождённым от культурных уз человеком — невидимой, но зато самой последовательной и эффективной!

Он создавал жуткие тексты-зеркала, в которые страшно было заглянуть обновлявшемуся миру, а потому, зажмурив глаза, этот мир, в лице его интеллектуалов, не нашёл ничего лучшего, как отрешиться от гениальных текстов, обозвав их, приличия ради, злостной клеветой на вылуплявшуюся новую действительность, полную-де разума и прогресса.

Да, разрушение всегда страдательно и кроваво, но после него возможен хотя бы шанс нового жизненного витка, — а вот со-



зидание, которое тоже страдательно и кроваво, может такого шанса и не предоставить: месиво месиву — рознь!, — и где, пардон, была гарантия, что из тогдашнего красного месива могла случиться новая жизнь — именно жизнь, а не прозябание, не малокровное угасание, — где?

Весь инфицированный красным революционным светом люд яростно пёр куда-то ввысь, — так, во всяком случае, этому люду казалось, — а писатель прозорливо видел совсем обратное: взбесившийся люд, всё равно какой, летел безоглядно вниз — в бездну, особенность которой была как раз в отсутствии дна, а потому и летел растревоженный люд... в *пустоту*.


Писатель знал, что никого и ни в чём ему не убедить, — а редких понимающих хоть что-то убеждать было не надо, — но... как и любой гениальный творец, он надеялся... на чудо, на то, что те, кому самой историей суждено принимать судьбоносные решения, что-то вдруг осознают, в чём-то укрепятся, что-то, глядишь, предпримут, ибо без такой наивной и тщетной надежды... нет и быть не может человеколюбивого гения, на человека и мир человеческий проницательно и провидчески рассерженного!

Грёзы

Он погрузился в грёзы!

Оригинальный автор, ловко сочетавший реализм с мифотворчеством, правду с вымыслом, юмор с серьёзностью, карикатуризм с достоверностью, а незаурядное художество с глубокой и острой социальностью, он, получив завидное, хотя и неоднозначное признание в интеллектуальных кругах, оброс в своём стремительном движении вперёд немалой известностью, дарившей уверенность в своих силах и стойкое ощущение необходимости своих писательских деяний и мытарств.

Отдельные неудачи, болезненно им воспринимавшиеся, компенсаторно сочетались с вовсе нередкими успехами, что, разумеется, не означало ни общего победного итога, ни прессирующе-



го только что начавшуюся карьеру, — почти что и блистательную, — поражения.

Ни победы, ни поражения!

Он усердно полагался на благоволившую ему тогда судьбу и рассчитывал, не без основания, на пристойное покровительство со стороны новых властей.

Гений и судьба!

Гений и власть!

Грёзы!

Сколько надежд и разочарований, сколько взлётов и падений, сколько игры, страданий и смертей!

И куда же гению без грёз?

И куда же гению без власти?

И куда же гению без судьбы, своей судьбы — гениальной?!

Гнездилась в душе, конечно, щемящая тревога, но ведь были и удовлетворения: первый его роман уже познавал широкий свет, а три его пьесы, в том числе и буйно-сатирический «Багровый остров» (хорошо хоть не «Красный!»), овладев подмостками, были у публики на слуху. Явилась и кое-какая материальность: немалые деньги; небольшая, но довольно удобная, с кабинетом и собственной мебелью, с разворотливой домработницей и суетливой собачкой квартира; приличная одежда и вкусная еда. Не без видимого удовлетворения бытовал он тогда в доме на клинической улице, в котором квартировал когда-то сам Григорий Распутин — прямо над жилищем писателя. Всё более влюблялся в жену свою — вторую, красивую и деловитую, хоть и не домовитую, решавшую все его издательские проблемы, а не только бегавшую по корту и пропадавшую на ипподроме, — всё более привязываясь к её мягкой, податливой плоти. Ездил отдыхать на юг, к морю, катаясь международным классом, даже изучал вместе с женой английский язык — на случай заграничных турне.

Участвовал в умных вечерах и встречах, застольях и чаепитиях, много по обыкновению слушал, но говорил и сам, читал артистично свои произведения, придирчиво следя за любой, самой и неприметной реакцией.



Был доволен и не очень.

Принимал гостей, устраивая вечеринки, общался непринуждённо с известными писателями и актёрами, охотно проводил время с друзьями.

Казнил себя при этом за излишнюю по его мнению болтливость, за выскакивавшую вдруг откровенность, но по-другому не мог, оставаясь более противником, чем союзником натужно бурлившей вокруг реальности.

Понимал, что решающего прорыва в личное благоденствие, достойного его недюжинного таланта, вовсе не случилось, но и не оставлял ещё надежды на возможность будущего рывка.

Враг не дремал, упорно понося заядлого старорежимника и плохо скрытого белогвардейца, — впрочем, вполне и логично, и по делу, хотя и хамски-задиристо, по-кликушески, — а он, консерватор и адепт классики, огрызался, как мог, стойко перенося хулу и надеясь на обязательный, почти что и долженствующий реванш.

Предчувствие какой-то большой беды, однако, его никогда не покидало, тем более, что на страну, почти уже освобождённую от «напастей» нэпа, неумолимо надвигались, как лабораторные змеи из его «Роковых яиц», воистину эпохальные перемены, внушавшие обывателям всех мастей животный страх и давшие 1929 году жутковатое прозвание — «Великого перелома».

Вот и за границу его не пустили, отказали.

Да и следили за ним, почту его явно почитывали, не доверяли и проверяли, собирали старательно компромат.

Почему же он всё-таки держался, жил и работал, почти что и счастливо?

Сказывалась, видно, помимо расчётливого личного нахальства, и защита набравшего внушительную силу вождя, отбросившего уже всех своих конкурентов, даже и такого могучего и славного, как главный устроитель Октябрьского переворота и ужасной общероссийской усобицы, он же и звёздный добытчик кроваво-красной победы.



Писатель не мог не сознавать, что в своих решительных разворотных действиях, кремлёвский вождь вдохновлялся не одним «всепобеждающим учением», но и отвращением к достаточно гнусной реальности 20-х годов, столь хорошо понятой и язвительно отображённой как раз им — писателем, к тому же ещё и поклонником державности и золотых погон.

Он был явно нужен вождю, хотя и не мог быть ему бесспорным союзником, ибо вождь строил, ломая и хрустя, ошибаясь и теряя, презирая и жертвуя, какой-то новый человеческий мир, совершенно бедолаге-писателю чуждый — какую-то всеобщую принудительную коммуну, оснащённую даровым трудом и безоговорочным казарменным подчинением.

Писатель не мог быть солидарен с выпавшим вдруг на долю России и на его собственную, личную долю вождём, хотя и не мог не признавать кое в чём его внечеловеческой правоты, — и это прекрасно понимал хитроумный кремлёвец, не пытавшийся прямолинейно приручить даровитого и проницательного писателя, а лишь дававший ему возможность... примкнуть самому... живя и работая вполне самостоятельно, — что-то подобное, надо думать, понимал и озабоченный своим двусмысленным и шатким положением писатель.

Красный вождь не мог, да и не хотел, публично приветствовать белого литератора, и уж, тем более, взять его под своё легальное покровительство, как не мог и не хотел он с ним лично встретиться — что бы вождь ему тогда сказал?, — а «выбеленный» писатель тоже не мог, да и не хотел... вдруг решительно краснеть, теряя себя и изменяя своему сакральному предназначению.

Э-эх, грёзы, грёзы!

В чём-то спасительные, а в чём-то и обманные!

В них было всё: вера в себя и неуверенность в своих обретенных, надежда на вождя и невозможность занять в нём прочную опору, всплески дерзкого мужества и приступы предательского отчаяния, наслаждение утвердительным сегодня и страх перед сомнительным завтра, злостная ипохондрия и сжатая в ку-



лак воля, в общем — не слишком собранная, как-то лукаво рас- слоившаяся, жизнь.

Всё было как в тумане, среди каких-то теней и миражей, без упругостей, в каком-то разреженном и тусклом пространстве, под покровом притушенных грёз.

Он чувствовал, что и сам превращался в идиотского принца-грёзу, зачем-то существовавшего, что-то и почему-то делавшего, о чём-то и зачем-то мечтавшего.

Грёзы спасали, но и тяжко мучили — непреклонного в своём неприятии красного цвета белого идеалиста!

Коктебель

Он приехал с женой в Коктебель по приглашению большого босоногого Макса, с сочувствием и пониманием воспринимавшего его неординарное и чуть ли не бунтарское творчество.


В Коктебеле было хорошо, покойно, даже весело.

Не то, что в Москве, где каждый прожитый день засчитывался за три — как на войне!

В Коктебеле же целая неделя казалась... одним днём — долгим и почти счастливым!

Яркое солнце, голубое небо, ласковое море. Таинственная и приветливая гора. И камешки, эти удивительные полу- или же полуполу- драгоценные коктебельские камешки, которые можно было часами отыскивать на морском берегу, среди гальки и других камешков, не столь привлекательных и интересных. Охотой за чудесными дарами моря особенно увлекались женщины, готовые непрестанно маячить на берегу, не разгибая спин, не покладая рук и не выпрямляя ног.

Писатель с наслаждением отдыхал, не забывая и общаться время от времени с чистым листом бумаги. Писалось, честно говоря, по-разному: то быстро и ёмко, то медленно и расплывчато. Сочинителю, право, было тогда всё равно: не писать вроде бы грешно, но и писать тоже грешно, а потому он пописывал, не



особенно себя утруждая, заменяя писание долгими прогулками по не слишком живописным, но весьма просторным окрестностям, купанием в море и укрепляющим дневным сном.

Забот не было никаких, зато много было ненавязчивого дружеского общения, рассказов, дискуссий, розыгрышей, в которых он был не менее искусен, чем большой босоногий Макс, и разных коммунальных игр, до которых он был столь же охоч, как и большинство обитателей бесподобного интерковчега.

Кто только не побывал в этом заразительном санатории, чьи только судьбы не переплелись в этом загадочном месте, кого только не вдохновляла некрикливая эзотерика заядлого антропософа Макса, кто только не уносил с собою, помимо многоликих и разноцветных камешков, незабываемое от экзотической крымской коммуны духовное послевкусие!

Место было совершенно романтическое, да что романтическое — сакральное!, — в особенности для разного рода межпланетных существ, страждущих ангельско-демонической свободы и подверженных ничем не оправданной, кроме разве факта их загадочного явления на свет, утончённой аффектации.

Отойдя душой и телом от изматывающей столичной жизни, новоиспечённая московская знаменитость, однако, не оказалась склонной к телячьему восторгу, на чём-то своём молчаливо сосредоточенная.

Заметив некоторую замкнутость и несловоохотливость писателя, не очень жаловавшего, кстати, поэзию и живопись, в особенности, модернистского толка, но зато страстного поклонника классической прозы и музыки, Макс не надоедал ему с разговорами и расспросами, лишь иногда заводя речь о современной разномастной литературе, в каковой московский писатель проявлял завидную осведомлённость. Несмотря на своё лояльное отношение к модернизму, образованный и толерантный Макс не мог не отнестись к суждениям литературного консерватора с одобрительным вниманием. Поразили хозяина Коктебеля и недюжинные познания гостя в эзотерической области, в той же чтимой Максом антропософии, хотя, что особенно приметилось



коктебельскому затворнику, гостя его больше интересовали собственно христология и... сатанология.

Писатель явно не искал какой-либо спасительной для души и тела идеологии, был, так сказать, по натуре и убеждениям своим не религиозен, во всяком случае, далёк от какой-либо идейно-духовной экспериментации, но зато живо обсуждал вопросы человеческой, как и окружавшего мира, онтологии.


Он стремился к пониманию мира и человека, а не к какой-то нарочитой идейности и духовности, и уж, тем более, неодобрительно относился к попыткам сектантского ухода от мира и к какому-либо суггестивному или аутосуггестивному освобождению человека от его собственной и любой иной реальности.

Короче, он не был беспорным союзником большого босонного Макса, хотя и очень ценил его энциклопедическую образованность, природную гениальность и откровенное человеколюбие.

Так они изредка и непредвзято между собой говаривали, ни в чём друг друга не убеждая и, слава богу, никак друг другу не подыгрывая. Макс импонировал своеобразно мыслящий московский писатель, а признательный за гостеприимство писатель был доволен тактичностью, сдержанностью и умственной гибкостью хозяина коктебельского рая.

Всякий люд наличествовал в тот момент в Коктебеле, разумеется, не случайный. Особенно хороши были там вечерние посиделки, сопровождавшиеся послеужинным чаепитием. Говорили, читали стихи и прозу, музицировали, пели, танцевали, играли в разные игры. Какой же удивительный волшебник был этот Макс, конечно же, вместе со своей потрясающе уникальной матерью — воистину главной феей сказочной страны Коктебель!

В один из последних коктебельских вечеров, как раз в полнолуние, вышел из наполненного оживлёнными голосами ковчежного дома, чтобы немного развеяться, московский гость вместе с одним известным литератором из Северной Пальмиры. Устроились на лавочке, уютно притаившейся прямо под розовым кустом. Молча разожгли папирсы, затянулись, уставившись, как



заворожённые, на блестящую южную луну. Тишину прервал североальпинец:

— А не очень-то вы, NN, любите людей, а-а?

Москвич ответил не сразу:

— Да как вам сказать... кое-кого люблю... жену вот люблю, родных, друзей некоторых.

— Ну, это-то понятно, а я говорю о людях вообще, о человеке вообще, даже не о ваших белогвардейцах, которых вы, конечно же, любите.

Помолчав изрядно, москвич вымолвил наконец:

— А за что любить-то? Вот и Христос, насколько я понимаю, не очень-то любил, точнее, может, и любил, но как-то очень уж абстрактно, чуть ли не натужно. А что обо мне говорить, просто смертно! Любовь ведь заслужить надо, как и любить можно, лишь любовь заслуживая, не так ли?

— Есть над чем подумать. Не ожидал я такого поворота. Вы прямо как великий инквизитор Федора Михайловича Достоевского...

— Нет, не думаю. Великий инквизитор как раз любил всех без разбору, особенно сожигаемых им на костре. Их-то он более всего и любил! А я-то что, я люблю лишь себя, желею себя, боюсь за себя. Никакой я не инквизитор!

— Но вы же писатель, пишете о людях...

— О ком же мне ещё писать? Конечно, о людях, хороших и плохих, на мой взгляд, разумеется.

Снова закурили, поглядывая на перламутровую луну.

— Да-а, — прервал молчание североальпинец, — не суди и не судим будешь!

— Верно, — вздохнул москвич, — но как же без суда-то? Наш суд — не Божий суд, это понятно, но он есть, от него тоже не уйти. И ежели человек гадина, так он гадина и есть. Но дело не в этом: разве человеку не важно, что он есть на самом деле, почему есть Божий суд, почему ад — прямо здесь, на Земле, в миру?

— Прямо на Земле?



— А что же вокруг-то, господин хороший... а-а?

— Любви нет, почти нет, зато ненависти, ох, как много!

Москвич затаился, пыхнув увесистым дымком на искрившуюся луну:

— С любовью туговато. Ничего не получается. Бог дал человеку свободу, а дьявол ею тотчас и воспользовался. Дело дошло до жертвы со стороны самого Господа — жертвы Христа, Бога Сына, а ничего по сути не произошло: не приживается любовь в человеческом общежитии, что-то тут есть...

Северопальмирец, выпустив папиросный дымок себе под ноги:

— А как же гуманизм?

— Так это изобретение дьявола и есть: мол, полагайся, человек только на себя, зачем тебе Бог, если ты сам *бог* и есть. Вот человек и полагается, пожирая себе подобных.

— Пожирает ведь и с именем Бога на устах...

— В том-то и дело, с гуманизмом и этого не надо: у гуманизма своя библия.

— То есть? — удивлённо спросил северянин.

Москвич затушил папиросу и бросил окурочок в старое ведро:

— Свои священные тексты: возрожденцев, просвещенцев, разного рода умников. Есть свой Ветхий завет, есть и Новый. Отобрали тексты без всяких Вселенских соборов и Синодов. И поклоняются, между прочим, читают, цитируют, спорят, истину оттачивают.

— Ветхий завет, это вроде бы как буржуазный, а Новый... коммунистический, что ли?

— Ну... хотя бы так.

— И вы против всего этого?

— Не в том дело, — московский гость внимательно посмотрел на застывшую луну. — Против я или нет, от меня ничего не зависит, самое большее, я хочу понять кое-что, для себя понять, что же это всё есть: человек, мир, луна... разумеется, без всяких ответов, ибо тут, — он выдержал паузу, — неизвестность, и великая, я вам скажу, неизвестность!



— Да-а, дела, — выдохнул северный гость.

Луна вдруг закрылась прозрачным облачком и явилась перед взором диспутантов в каком-то странном образе, будто бы... красноармейца в будёновке.

Из затихшего вдруг дома пошёл лёгкий суетный шум разбредавшихся перед сном обитателей приморского рая. Пора было идти спать. Собеседники встали и, приветливо кивнув друг другу, распрощались.

Московский гость решил немного пройтись под лучами ярко-серебристой луны. Вдруг до его слуха дошёл какой-то короткий и почти неприметный шорох. Писатель быстро глянул в его сторону, но ничего особенного не увидел, кроме мелькнувшей за углом дома какой-то неясной тени. Писателю стало не по себе: «Уж не свидетельство ли это, — пронзила его сознание злая мысль, — а мы тут о Боге, дьяволе, гуманизме с коммунизмом! Господи, ну и жизнь!»

Он постарался отогнать от себя засевшее в голову нелепое подозрение. «Да и питерец этот, чего ему от меня надо? Любовь, нелюбовь, ненависть, вражда... ох, сколько раз клялся себе ни о чём-таким не болтать... А тут эта луна, чудные запахи и звуки южной ночи, кислородный напор. Да-а, — повторил он невольно своего нечаянного собеседника, — дела!..»

Слегка удручённый происшедшим, он резко повернулся и направился к тихо шумевшему невдалеке морю.

Не успел писатель сделать и трёх десятков шагов в сторону спасительно журчавшего морского прибоя, как до него вдруг донесли откуда-то из подлунной темени сквозь цикадное разноголосье какие-то сдавленные, явно с наслаждением едва сдерживаемые, по-женски выразительные... стоны... как он догадался... откровенно любовные! В другой раз он всего лишь усмехнулся бы снисходительно и понимающе, а тут почему-то взял, да и сплюнул досадливо на ни в чём не повинную коктебельскую землю, явно представив ни с того, ни с сего... экзотический зоосадовский обезьянник.



Мгновенно развернувшись, он почти кинулся, втянув голову в плечи, к маячившему каким-то культовым изваянием на серебристом небесном фоне сразу почему-то опостылевшему ему дому — со всеми угнездившимися в его вдруг ставшем неудобным пространстве какими-то странными эфирными вибрациями и вольноопределяющейся обманчивой тишиной.

Уже взойдя на крыльцо, писатель невольно оглянулся на луну, сокрытую кудлатым разорванным облачком, показавшимся ему похожим на огромную голову большого босоного Макса — местного волхва и чародея!

Немало чем-то задетый, писатель не замедлил растаять в дверном проёме загадочного странноприимного дома, весьма споро подняться наверх, неловко споткнувшись о ступеньку неудобной крутой лестницы, и неслышно проникнуть в отведённое им с женой ночлежное пространство.


Жена уже давно была в постели и, судя по всему, крепко спала. Глянув на её притягательные плечи, он, всё ещё обуреваемый дурными эмоциями, безо всякой охоты лёг рядом, вытянув ставшее вдруг никчemuшным здоровое мужское тело, и долго пролежал с выпученными глазами, вымученно дивясь на мертвенно-бледный лунный свет, зачем-то пробивавшийся упорно сквозь кроны деревьев и занозисто игравший заманчивыми разрозненными пятнами на белых стенах неудобной антропософной комнатёнки.

На следующий день, учтиво поблагодарив озабоченно удивлённых хозяев коктебельского санатория, писатель отбыл вместе с несколько ошарашенной женой в негостеприимно поджидавшую его антисанаторную Москву.

Изгой

Участь изгоя его всё-таки не миновала!

Но не потому, что красный мир его не принял, — не очень-то и хотелось!, а всего лишь потому... — какой бы ещё действи-



тельный мир его принял, а-а?.. Разве парижский?.. Так ведь и в Париже всё то же неизбывное русское горевание, да всё то же непрременное изгойство.

Нет русского человека вне русского мира. Нет!

Да и в русском мире ему всё как-то не по себе.


Не в вольные же каменщики русскому литературному гению подаваться, с их чисто европейской твердолобостью примеривая на себя, потехи ради, карнавальный профанский наряд?

Он сам себе был вольный каменщик — всех искусств и литератур магистр, он был выше любой интеллектуальной соборности, даже и тайной, даже и мистической, ибо зряч, чувствителен и мудр был необыкновенно.

Он был один, хоть и не одинок, и один вёл предназначенный ему личным провидением идейно-символический бой, не полагаясь не только на людскую массу, но даже и на немногих, ибо предположено ему было рассчитывать, кроме себя самого, лишь ещё на одного человека — на властителя, а в актуальном историческом случае — на вождя, красного вождя, только и способного, — в силу своего положения и забот, — как-то понять упрямого анахорета и что-то от него непредвзято и прозорливо взять.

Вождь ведь тоже был один, и судя по всему, одинок, — и он тоже один сражался, жестоко и беспощадно, с известным и ненавистным настоящим ради неизвестного, но вроде бы многообещающего будущего, взвалив на себя страшную проективную и деятельскую ношу, насилуя, сгибая, заставляя, направляя и... карая, карая, карая, с разбором и без разбора, но лишь с одной единственной целью — очистить, покорить, победить!

Их бой — писателя и вождя — был воистину страшен, это был бой не на жизнь, а на смерть! — хотя писатель был не боец вовсе, а, скорее, мирный обыватель, склонный, знаете ли, и к некоторому гедонизму, а вождь... вождь как раз был боец, хищный, сильный и коварный, аскетичный, абсолютно преданный какой-то важной для него конструктивной идее, как чувствовал писатель — *Великой Имперской!*



Он и *Он* — и никого более, остальные не в счёт — ни для того, ни для другого!

И между ними лишь напряжённая струна скрытого взаимопонимания, хранившая их от рокового столкновения, но не рождавшая, — что не было слишком уж странным, — и воистину плодородного единения.

Красный мир уже успел жестоко наказать белого бунтаря: всё, что вышло или могло выйти из-под его пера, теперь не печаталось. Все его пьесы были со сцены вышвырнуты, а сам он был изгнан из любимого театра, не имевшего уже никакой возможности вместе со своим любимым драматургом безнаказанно фрондировать.

Год «Великого перелома» ударил по писателю не менее великим переломом, точнее, сломом — всего его авторского бытия, что и обернулось совершеннейшим изгойничеством.

Арестовать его, судить, а затем расстрелять или, на крайний случай, сослать, было, — в силу удивительного покровительства из Кремля, — невозможно, а потому и оказался неукротимый враг всего красного загнанным в угол жалким изгоем — без средств к существованию, без творческих выплесков, в неизвестности, без поддерживающего любого творца заинтересованного отклика.

Это был крах!

Полный крах!

И это было ужасно!

Писатель, несмотря ни на что, не сдался, не унизился, на зашаркал суетливо ногами, не бросился ни перед кем самозабвенно каяться.


Он обратился к высшей власти: спокойно, выдержанно, напряжённо, а главное — с великим личным достоинством!

Написал письмо: «Если я не нужен, то вышлите меня вместе с женой за границу».

Хитрец!

«Если не нужен...», а если нужен, то... что?!

И вдруг ответ: ему позвонил сам вождь!



«Говорят, вы хотите уехать за границу. Мы вам так сильно надоели?» — скрипела трубка, не скрывая характерного кавказского акцента.

Писатель выдохнул помимо убежавшей куда-то воли: «Русский писатель, товарищ Сталин, не может без родины, только на родине он может себя полностью выразить. Но меня не печатают, мои пьесы сняты, я уволен из театра, у меня нет средств к существованию. Я литератор, хочу и могу зарабатывать на жизнь литературным трудом, но такой возможности у меня сегодня нет. Вот почему я обратился с просьбой выслать меня за границу».

«Вот как!.. Это хорошо, что вы предпочитаете отечество. Без родины ведь нет настоящего писателя... А всё остальное мне представляется поправимым... Где бы вы хотели работать?»

«В театре, в Московском художественном театре».

«Что ж, вы подайте в театр заявление, я думаю, вас поймут. Желаю вам успехов. Надеюсь на встречу. До свидания!»

«Ту, ту, ту...» — сигналила победно и обнадеживающе в дрожавшей руке телефонная трубка, а по спинной ложбинке коварно сбежала вдруг откуда-то взявшаяся струйка холодного пота.

Он ему позвонил, он его защитил, он его поддержал!

Это было чудо, писателем давно предвиденное, но каким же оно оказалось вдруг тяжким, это чудо: жизнь и творчество, кажется, были обеспечены, защита тоже, но... но... оставалась ли при этом свобода?.. Хотя вождь ничего взамен не попросил, ничего не предложил, не поставил никаких условий... Впрочем, одно-то условие он всё-таки выставил, добившись в одну секунду и его согласия — никакой заграницы, только здесь, на родине, рядом с ним... и... тут-то писателя осенило — под его контролем!

Господи, как же вождь его легко обыграл: сначала отнял, потом вернул, лишив его... нет, не прежней свободы... а самого, самого главного — личного авторского достоинства и личной же авторской позиции! Теперь были не *Он* и *Он*, а *Он* и... писатель при нём, не могущий уже позволить ничего... своего... от себя... да и себе тоже.



Писатель почувствовал, как кровь прилила к голове, застучав отвратительно в висках, — он даже пошатнулся, чуть не упав прямо посреди маленькой передней, но удержался на ногах, медленно прошёл в кабинет, не слишком уверенно преодолев две ступеньки вверх, лег на диван и уставился широко открытыми глазами во вдруг опротивевший ему потолок.

Пролежав так с полчаса, может, и побольше, он закрыл отяжелевшие веки, намереваясь хоть как-то заснуть, а потом... потом... всё случившееся хорошенько обдумать.

Жена же его восприняла происшедшее совершенно по-другому, она была почти счастлива: сам главный кремлёвец, да ещё и с такими обещаниями, — это же виктория!

Писатель не стал ничего опровергать, признав покорно её правоту: «Дай-то Бог!»

Он сделал потом так, как посоветовал ему вождь, вновь поступил в театр, ничем там особенным и не занимаясь, вернулся, заново обретя себя, к письменному столу.

С изгойством ужасным и гиблым было покончено!

Но за столом уже сживал и что-то выцарапывал на бумаге совсем другой человек — теперь это был не свободный и весьма выпендривавшийся художник-мыслитель, а лишь владевший словом и мыслью... подданный, крепостной, раб!


Западня

Да, это была западня!

Он хорошо это понимал: живой, что-то даже пишущий, но... не свободный, — и не в силу давления каких-то враждебных сил, которые крепко мешали, но не отрицали всё-таки личной свободы, а по гнусному внутреннему самоограничению, не желаемому им вовсе, но с которым нельзя было теперь не считаться.

Поймал его вождь в мышеловку с сыром, ох, как поймал!

Теперь всё стало по-другому: не только без прежнего белого фронтёрства, с которым он уже и сам покончил, но с постоян-



ной оглядкой на Кремль, которому стал обязан... и не постановкой какого-нибудь спектакля, а... самой жизнью.

А жить-то хотелось! И сказать ещё кое-что хотелось, как и увидеть, понять.

Жизнь ему сохранили, даже письменный стол с бумагой и авторучкой сохранили, но почему?


Чего ждал от него вождь?

От зубчатых жерновов набравшей силу беспощадной чистки вроде бы уберегли (может, лишь на срок!), но тоже весьма почистили — изнутри! Его не постигла (может, пока не постигла!) печальная участь многих литераторов, учёных, инженеров, изобретателей, краеведов, общественных и политических деятелей, не говоря уже о революционерах, партийцах и чекистах, но его настигла самая дрянная на тот момент цензура — внутренняя!, — он не испытывал уже чувства творческого над собой самовластия.

Боялся, очень боялся, но... всё-таки не струсил, не завыл, не распластался. Тяжело было ему, очень тяжело, но врождённое романтическое и по-своему спасительное донкихотство не оставило его вполне, он не перестал лелеять надежды на возможность говорить — если и не совсем то, что хотел, то хотя бы то, что было его достойно.

Великолепная пьеса о Мольере, названная им по имени полузакрытой иезуитско-инквизиторской консервативной организации «Кабала святош», боровшейся за чистоту нравов и со всякой похабной, по её мнению, новизной, а потому и воевавшей не на жизнь, а на смерть с Мольером, то поддерживаемым королем Людовиком Солнцем, то бросаемым им на произвол судьбы, не пошла в театрах, а когда пошла, уже значительно позже, совершенно к тому же изуродованная легендарным создателем великой игровой актёрской системы, то быстро сошла со сцены, никого ни в чём не убедив и ничем особенным не задев.

Ясно, что «Кабала святош» — это актуальная цензура, тот же достославный репертком, а король-Солнце, э-эх, нет, конечно,



не Сталин, но... тоже властитель... и тоже над искусством... и тоже... о-о!.. об этом лучше бы и не говорить!

Не белая то была уже фронда, но... всё ещё фронда, чуть ли и не красная. Мягкий, но протест, вежливый, но упрёк, сокрытое, но вожделение.

А вождь кремлёвский на пьесу никак не отреагировал, хотя и высказался как-то в пользу возобновления «Турбинных». Он вообще ни на что более не реагировал, в том числе и на прямые обращения запутавшегося в кремлёвских сетях драматурга.

«Я прошу Вас быть моим первым читателем», — набрался было он смелости, подстёгиваемой возобновившимся отчаянием, в письме вождю — неоконченном и неотосланном, слава богу!


Понял, что слишком, потому и не дописал, следственно, и не отправил, потому, может быть, и жил, и творил... хотя бы сделал инсценировку тех же «Мёртвых душ» любимого Гоголя, сочинил кое-какие пьески, разные оперные и балетные либретто, но... лучшее и дорогое... что заслуживало... почему-то упорно не шло.

Не пошла толком и вполне приличная пьеса о Пушкине — «Последние дни», написанная в сотворчестве с известным пушкинистом В.В.В., упорно и почти яросто обвинявшим в гибели поэта Наталью Николаевну да Царя-батюшку, не очень видевшим трагедию Пушкина как творца, а главное, никак не смогшим признать предложенное проницательным соавтором... отсутствие Пушкина на сцене — Пушкина невозможно играть, понял гения гений, а В.В.В., раскипятившись, ответил лишь тем, что отказался поставить своё имя на театральной афише.

Пьесой этой писатель вновь обращался к кремлёвскому владыке: гений и власть, власть и гений! — зачем держать гения в плену, зачем его гноить, если... если... а что, собственно, мог дать власти литературный гений... э-эх!.. вопросы, вопросы?..

А вождь молчал — чем же мог ответить тогда гению пера гений власти?

Писатель внимательно следил за происходившим вокруг, не без удивления отмечая, что грубый авторитарный режим, утвер-



дившийся в стране, громя нещадно «врагов народа» и прессию назидательно «несознательных», выстраивал новый креативный порядок, — лагерный, казарменный, фабричный — но... всё-таки креативный!

Взрывали церкви, но и строили метро, теребили крестьян, но и возводили заводы, гоняли модернистов, но и создавали новое «социалистическое искусство».

Он упорно оставался в стороне, стараясь не стать ни участником, ни попутчиком, ни наивным критиком, ни уж, тем более, яростным противником.

Инстинкт самосохранения срабатывал быстрее и сильнее зуда обличения: писатель набрался великого терпения, культивируя и спасительную терпимость.

Состоялся под мудрым и гибким патронажем Максима Горького первый съезд писателей, объявивший о создании всеобщего писательского союза. Побывав на съезде, автор «Турбинных», периодически там поносимый, предпочёл пребыванию на съезде (опять ведь фронда!) чтению газетных о писательском слёте отчётов, но в союз писательский, скрепя сердце, всё-таки вступил.

Одним словом, западня!


Двойная жизнь!

Невыносимая, но... переносимая.

Случались даже кое-какие надежды на признание, на публичность, на писательское вдохновение, но и они быстро растаивали под обжигающими лучами непреходящих разочарований.

Родилась пьеса о Дон Кихоте. Он и сам видел себя Дон Кихотом, хоть и не боролся с ветряными мельницами, скорее даже, за них — несчастных — дрался, но... иллюзии, иллюзии... впрочем, как же было без иллюзий, в особенности отрезвляющих... по прошествии времени.

Знал ли вождь об этой его пьесе, и что подумал о ней? Наверное... ничего хорошего... ведь старый придурковатый рыцарь — не его герой! Хоть и уловил, быть может, что автор пьесы о доблестном борце за любовь и счастье не слизняк вовсе, не пу-



стомеля, а... тоже рыцарь... предусмотрительно и надёжно пленённый.

Власть и гений, гений и власть!

Западня!

Миссия

В особенного человека, а потом и особенного писателя-мыслителя, он сложился в оплодотворяющем потоке разнообразной — европейской и русской — словесности, источающей в его утончённый и восприимчивый организм непреходящие судьбоносные смыслы, — и мир явился ему беспредельным сгустком идеальных субстанций, задействованных промыслительно вовсе в не такой уж театральной мистерии бытия, страха и гибели!

Вопреки врождённому плотскому жизнелюбию, он оказался спасительно далёк от мира вечной и тупой материи, навсегда породнившись с миром хрупких и изящных идеалий, одновременно манивших и пугавших, верных и непостоянных, полных заряжавшего очарования и обескураживавшего непотребства.

Он много читал, жадно впитывая раскрываемую им заслесную суть, пропадал на театре, в концертах, в опере, напряжённо внимая сокрытым за словом, жестом и звуком въедливым дунениям беспокойного — то созидательного, то разрушительного — мирового, а то и надмирного хаоса.

Любил очень нездешние голоса, внезапные озарения, вихревые переживания, выстрелоподобные откровения.

Его, остро задетого странностью окружавшего реального мира, как и нелепостью своего в нём пребывания, тащил к себе мир *иной*, которого не было и быть не могло, но который всё-таки был, и был он повсюду, только неуловимый, невнятный, непрочитаемый, дававший о себе знать лишь услужливым резонансом совместных со смертными организмами трансцендентных вибраций.



Всё вокруг известное мало волновало добровольного страдальца, — и если он готовил себя к чему-то великому, то, конечно же, к встрече с запредельным, возможно, и к жестокой с ним схватке, не отвергавшей и законного смертельного исхода.

Он не входил никогда ни в какие группировки — ни в малые, ни, тем более, в большие — вынося лишь одну социальность — семейственную, которой оставался верен всю жизнь, хотя и в весьма неоднозначной, извилистой и даже изломанной конфигурации: братья, сёстры, жёны, — как тут быть верным, борясь за свое одинокое предназначение?

Он давно понял, что мир окружающий, мир реальный, мир человеческий зиждется на одном замечательном фундаментальном принципе — исходном *неблагополучии*, без которого нет и не может быть ничего действенного: ни космических катаклизмов, ни природных превращений, ни социальных перемен, ни вообще явлений, как, собственно, и самой жизни.

Надежда тут на какое-то безмятежное счастье — неумная и неумная тщета!

И во всём этом не ошибка, не недоработка, как и не вина Создателя, решившегося вдруг на рискованный эксперимент — по подобию, который всё время завершается одной и той же победой — противника Его, как раз на неблагополучии и заблуждениях человека счастливо играющего.

Что же тут оставалось человеку? Всего лишь усвоить это и... посредством отречения от себя... обретать в себе... *человека*: как пред строгим и озабоченным ликом Божиим, так и перед подвижной и глумливой физиономией дьявола!

Он прожил жизнь свою в конфликте с реальностью и в союзе с ирреальностью, испытывая страх и восхищение перед беспредельем кажущегося банальным мира, дающего жизнь и дарующего смерть, манящего заоблачным счастьем и оснащающего воинственным несчастьем, позволяющего возыметь растерянному человеку лишь одно бесспорное достояние — мужественное молчание, как у последнего раба перед первым из властителей!



Он был предназначен *Провидением* для *Слова* — уже отрешённого слова: пострелигиозного, постфилософского и постлитературного, того самого слова, которое давно уже мерещилось запутавшемуся в разноликом мире европеизированному человеку, пережившему ведичество, Христа, инквизицию, гуманизацию, секуляризацию, освобождённому от давления всего внешнего, потустороннего, неведомого, стремившемуся к собственному экзистенциальному разрешению всех несуразностей своего бытия, невольно приближая тем самым всеобщее успокоение.

Насчёт мира вообще и человека вообще у писателя не было никаких иллюзий, — оставалось лишь попробовать соединить ирреальную реальность с реальной ирреальностью, а именно: это и то, «тутошнее» и иное, да посмотреть, что из этого могло выйти.


Никаких при этом доктрин, никаких учений, никаких практик!

Миссия не просто тяжёлая, а вообще невозможная: нечто вроде предсмертного крика ещё живой человеческой особи, встретившейся вдруг... э-э... конечно же... с *Великой Неизвестностью*, о которой, увы, не говорят, а если и говорят, то... ничего и не говоря... а лишь парализуя приблизившегося испуганным взглядом!

Вы видели когда-нибудь приговорённого к смерти, но не кричащего, даже не мычащего, а молчащего, замершего, немого, в глазах которого воцарились чёрная бездна, оцепенившая уже пустеющую плоть?

Литератора спасала литература, — он, слава богу, писал всего лишь тексты-выдумки, — но заходы его словесные были настолько рискованными, что приближали его по степени отчаяния и героизма к прямо-таки библейского рода смертельному разрешению, но уже без всякой гарантии на последующее воскрешение.

Увы, выбор пал на него, хотя и были у него предшественники, много предшественников, но... никто из них не совершал ничего подобного — то ли не мог, то ли не хотел, то ли не был



назначен, а может, не приходил ещё срок, не являлось нужное время — с миллионными жертвами, океанами страдания, морями крови!

Что оставалось?


Писать и только писать, не рассчитывая на понимание, зато выставляя себя на поругание и посмешище, рискуя сгореть раньше срока и униженно пасть, а главное — не договорить, не дописать, не прорваться!

Окружавшая обыденность и его собственная в ней ничтожность, болезненно им ощущаемые, гнали вперёд, туда, к *Иному* — через слово, текст, рукопись, что и было его персональной Голгофой, но одновременно и спасением, дарившем ему — узнику высшей и низшей воли — ощущение великой творческой силы и особого рода личной свободы, а следственно, торжества одинокой, но вовсе не заблудшей, личности, способной противостоять не только всему, по большей части презираемому, брэнному, но и кое-чему из вечного.

Вызов? Да, вызов! А что ему ещё оставалось — безжалостно загнанному в себя и из себя же натужно вырывавшемуся?

И он написал его, этот в чём-то для него вынужденный, но такой необходимый текст, этот освобождавший его личность и завладевавший его душой *роман*, — плохо ли написал, хорошо ли — не важно! — главное, он написал этот последний роман, да не для себя только последний, а и вообще последний, после которого писать романы, во всяком случае, в России, стало не просто невозможно, а даже и неприлично.

И не он тут вовсе виной, хоть гений его в этом и сильно виноват, — так повёл себя коварный жребий, выпавший на его долю: сначала скромного, умненького и чувствительного киевского мальчика, а затем умного московского мужа, не чуждого и завышенной самооценки, пронцательного, ставшего по итогам жизненных перипетий подозрительным, осторожным и наглухо закрытым, вознамерившимся пробиться чуть ли не в одиночку через грозное кроваво-красное марево, исходившее от не дающей



никогда, никак и никому сумрачной тайны мира, — либо при этом начисто проиграв, либо же удручающе победив!

Третья

Третья жена, его третья законная муза, сменившая вторую, которая, в свою очередь, сменила когда-то первую — самую несомненную из трёх, но не самую удачливую.

Какая-то случайная киевская гадалка предсказала когда-то впечатлительному юноше три женитьбы, — вот он и исполнял с тщанием сей греховный завет, оставляя одну жену за другой — ради лучшей, а главное, ему почему-то более потребной.

И все жёны были ему верны, покорны, все его любили, служили ему, а он... а он тоже вроде бы всех любил... каждую по-своему... не забывая никогда о своём исключительном жизненном и творческом предназначении.

Гений и женщина!

О-о, тут всё очень не просто!

И дело здесь вовсе не в физическом влечении к женщине, что, конечно же, имеет место, а в самом присутствии женщины рядом с гением, — и не как лишь заботливой охранительницы или даже музы-вдохновительницы, а как полностью его принимающего, понимающего и абсолютно преданного ему идейно и духовно... *иного*... по природе своей существа, в единении с которым только и является онтологически необходимая гению экзистенциальная полнота.

Женщина в таком разе — сама природа, сама жизнь, само лоно и тайна бытия!

Мужского в гении хватает, зато ему явно не достаёт женского, но не в самом себе, а рядом с собою, не в переживаниях его внутренних, а в погружениях его с головой в чуждую, но манящую, стихию, разумеется, с непременным оттуда энергическим выгребом.



Женщине нет резона ни завидовать мужчине, ни соревноваться с ним: гений всегда полностью доверяет и доверяется своей избраннице, ничего от неё не утаивая, — и именно ей он подносит плоды своего творческого вдохновения, ожидая от неё спорого и бескорыстного суда, конечно же, одобрительного.


Гений творит всегда вместе с женщиной — реальной или воображаемой — при её постоянном в нём присутствии, — и рождение гениального плода — всегда общее для гения и его женщины деяние, даже если иной раз и вопреки их единению — в разладе, в столкновении.

Роль женщины в судьбе гения бывает разной: как благотворной, так и, увы, губительной, — и баланс тут вовсе не в пользу позитива: недаром же болтают упорно об inferнальной роли женщины в судьбе многих гениев, — и на то есть причины!

Женщина — лоно, стихия, другой мир, но женщина это и... бездна, и поглощение, и аид!

Идиллия, конечно, возможна, но она крайне редка — и у женщин тут очень большие полномочия: что греховно возвысить, что праведно уничтожить, как, впрочем, и наоборот.

Писателю явно везло: мало что ему, осторожному и чуткому, не довелось сойтись с рокового пошиба кудесницей, но он, именно он, неуёмный и вроде бы совестливый, отправлял поочередно в отставку своих жен, не будучи оставленным ни одной из них, а потому и не пережившим того, что можно смело и убедительно назвать... мужской катастрофой, полной отчаяния и унижения: вчера ты ещё несомненный и уверенный в себе кумир, со снисхождением глядящий на кишаший вокруг мир и без оглядки творящий свое гениальное дело, а сегодня вдруг ты... никто, нуль, пустое место, обеспокоенно и разочарованно ревизующий себя, свою любовь, женщин, людей, весь мир. И всё это по мановению исцелованной тобою нежной руки твоей избранницы... любимой женщины... несравненной музы... посчитавшей вдруг за благо взять, да и изменить своему предназначению, стать то ли другой, то ли независимой, то ли просто ещё чьей-то, предав в



итоге, пусть и с запоздалыми сожалениями, строяемый тобою необычный уникальный мир.

Писатель (счастливчик!) обрёл наконец-то, — с третьей попытки, — что давно хотел: полную, чуть ли не андрогинную слиянность с женщиной — своей долгожданной музой, — и когда?! — в момент острейшего личного кризиса, его физически опустошившего и почти намертво остановившего биение его творческой потенции, ещё совсем недавно казавшейся несокрушимой.

Он был давно уже знаком с нею — с очередной претенденткой на его руку и сердце, на него всего, как и на всё его творчество, ибо была она сестрой хорошо ему известной и ему покровительствовавшей топ-сотрудницы его любимого московского театра, в котором он будто бы служил, а ещё была она... подругой... его собственной жены, той самой — второй, и он уже успел всмотреться в её выразительные, всё понимающие бархатные глаза, почувствовать непреодолимое к ним влечение, как и заметить в них столь же непреодолимый к нему зов, успел и сблизиться с поразившей его волю женщиной ровно настолько, чтобы ясно стало обоим, насколько они нужны друг другу, что друг без друга они уже никак не могут.

И решились, и соединились, образовав воистину гениальную двуполоую ячейку, — семейственную, разумеется, а главное... главное... изысканно творческую, так удручённому писателю необходимую, его оживившую, насытившую и окрылившую!

А ведь всё произошло более чем драматично!

Он был женат, она замужем, да не за кем-нибудь, а за видным генералом, бывшим в гражданскую командармом восемнадцатой, ещё и прижившим с нею двоих сыновей. Два развода, два горя: ни его вторая жена, красивая и достойная, ни её второй муж, тоже красивый и достойный, не собирались расставаться со своими наречёнными, — и прошла вся эта кадровая перетасовка мучительно, надрывно, и не без обыкновенных житейских пердряг.




Что ж, путь гения не просто тернист и извилист, он ещё и субъектно, то бишь от него самого, тернист и извилист, полон такими кульбитами, от которых тошно бывает всем, включая его самого и наличествующую рядом с ним любимую, всё ещё любимую, а может, уже и не любимую женщину.

Чем оказалась виновата перед ним его вторая жена, прелестная и деловитая, которой он, пренебрегши признательностью к своей первой жене — спасительнице, посвятил когда-то с глубоким чувством свою «Белую гвардию», ставшая к тому же прототипом непреклонной Серафимы в его «Беге»? Как и в чём был виноват перед своей женой её блистательный муж, одарённый военспец, чуть ли и не сам Алексей Турбин в текущей реалии, а также прототип Рощина из «Хождений по мукам», писанных его будущим тестем Алексеем Толстым?, — да ничем, никто тут ни перед кем и ни в чём не был виноват, но однако же пришлось пережить отверженным супругам всю эту гадость, эти кровоточащие разрывы и болезненные разводы, эту ужасную перестройку судьбы — с несмываемой ничем перманентной досадой и никогда не заживающей раной в оскорблённых душах.

Так случилось и так должно было случиться: схождение и слияние двух гениев — гения-творца и гения-музы, — и ради чего? — нет, не ради любовной страсти и, тем более, житейского благополучия, даже не ради любви в самом высоком её значении, нет, это случилось ради всего лишь трансцендентно обусловленного *подвига* — творческого с его стороны и пособительного с её, который был сдобен их любовью, но который всё-таки был выше любви, который совершался не любовниками вовсе, а любящими друг друга соучастниками какого-то превосходящего их самих деяния, как и соисполнителями какой-то высшей воли, ими лишь почувствованной и принятой.

Здесь никто не был виноват, и сами они были не виноваты, так что судить тут было некого, кроме разве... судьбы, но у которой лишь один единственный судия — Господь Бог, смертным, естественно, недоступный и непонятный.



Скверного тут было немало, но что было поделать, коли... коли творчество выше и сильнее творцов!

Самое замечательное в обретении третьей жены, его третьей законной музы, было, конечно, не в самом по себе факте и уж, тем более, не в способе такого обретения, — чего в жизни не бывает!, — а в том, что оно состоялось в набиравшем силу и размах движении писателя к своему главному творению — всё и вся итожащему, где на роль заглавного героя попал уже сам сатана, дьявол, шайтан, где чуть ли ни разрешались все самые каверзные вопросы человеческого бытия, — в движении чуть ли не... к новому евангелию... о-о! — тут уж лучше помолчать, многозначительно сдвинув брови и прикрыв набухшие веки.

Первая жена, говорят, от Бога, вторая — от случая, а третья... третья... прямо от дьявола, — ни больше, ни меньше!

Пустое, конечно, мнение, бездоказательное, как и всякая подобная мудрость, но как тут не призадуматься: романная дьяволиада, новое, можно сказать, евангелие, а тут... как раз третья жена, ему очень необходимая, с ним полностью сливающаяся, в него уже вселившаяся, им живущая и ему самому жизнь дающая — в последнее, самое и тяжкое десятилетие его жизни, полное труда и свершений, надежд и разочарований, веры и отчаяния, а главное, плотного, совершенно не растворявшегося, никуда не исчезающего, хотя и неуверенно оттеснявшегося — ради спасительного вздоха усталым и засушенным ртом, воистину субстанциального страха?!

Загадка здесь, большая загадка, вполне и неразрешимая: когда-то юркая и не слишком принципиная девчонка по кличке Боцман, смазливенькая сожительница адъютанта командующего восемнадцатой армией, затем законная жена самого командарма-красавца, родившая ему двух сыновей, к тому же сестрица близкой знакомой писателя, энергичной всезнайки и всеумейки из лучшего столичного театра — незаменимой помощницы одного из его вождей-основателей, обросшей связями далеко за пределами наивно-лукавого театра, в том числе и там — на самом вер-ху, чуть ли не с самим... NN... знавшейся, — и вот она, эта отку-



да-то вдруг взявшаяся новая муза писателя, очаровательная и во всех отношениях необыкновенная женщина, тоже, соответственно, со связями и знакомствами, оставив решительно житейское и семейное благополучие, становится женой разведшегося вторично писателя, погибавшего в удушливой отверженности, хотя и тоже хорошо известного в высших кругах — вплоть до Кремля, не имевшего почти ничего за душой, кроме квартирки на шумной клинической улице да бывшей жены, второй по счёту, в этой квартирке с ним пребывавшей, — и разве всё это не странно, разве так уж ordinarily, разве не загадочно?!

Вот говорят: «Искусство требует жертв!» — банальную в общем-то вещь говорят, — но тогда какое-такое искусство и каких-таких жертв?


Сошлось, всё сошлось: и третья жена явилась, и растворилась она в нём, и подняла его, и... подарила ему... его же роман, который он, перестав бросать в огонь неповинные страницы, дописал-таки, а потом... и умер на руках её — своей воистину необыкновенной женщины-музы!

Так чего же здесь больше: реального или ирреального, обычного или экстраординарного, пошлого или сакрального, дьявольского или божественного, — кто знает? — и кто вообще возьмётся тут за какое-нибудь суждение, а не предпочтёт попросту молча и недоумённо развести руками: не знаю, мол, и знать не должен?!

Рыцарь

Не так печального, как, скорее, удручённого образа, совсем и не герой из какой-нибудь Ламанчи: не с миражами же собственного производства, а с жуткой и жёсткой действительностью, и не в открытом и мимолётном ристании, а в сокрытой, чуть ли не в подковёрной, изнурительной борьбе.

Не властитель, не политик, не революционер, не масон, не миллионщик и даже не милиционер, а так — *никто!*, да, да,



именно никто, что и корёжило, и душило, но и хранило, и даже вдохновляло, заставляя строить спасительный алгоритм существования и не пренебрегать замысловатой архитектурной лит-произведений, а главное... никогда не предавало!

Рыцарь тайного слова!

Весь в слове, для слова и из слова!

Не бумажный рыцарь и не рыцарь на бумаге, не чернильная душа и не из чернил, хоть и чернил он нещадно бумагу и отбеливал предусмотрительно чёрные чернильные строки, выбалтывая сокровенное и пряча старательно огнеопасные смыслы.

Само бытие — более отвратительное, чем привлекательное — стало для него ристалищем: метался он по нему отважно и осмотрительно — то как белый, то как чёрный рыцарь, чая не подвига вовсе, а... истины, от него старательно ускользавшей, — но когда поймал он её за вертлявый хвост, то и возжелал расквитаться с бытием поскорее — под строгим взором обеспокоенного Господа Бога и под вполне инспекционным присмотром господина хорошего дьявола*.

О-о, какой вокруг него вращался мир, с которым он не только не находил никакого единения, но который ещё и выталкивал его из себя, не принимая, мало того, отрицая и гоняя, — здесь-то он был вполне родствен Дон Кихоту — тоже изгою, правда, совсем уж безумному! Писатель же московский никаким безумцем не был, — это был вполне рассудочный, хотя и немало расстроенный — почти до безумства, рыцарь, сам воспринимавший мир как одно большое безумие, а потому и сам объявивший ему войну, но... как правдолюбивый гений не посредством его огульного поношения, а через сдержанный, ещё и художественный, показ его действительного лица, впрочем, нет, не лица только, которое бывало и вполне благообразным, а... самого его нутра... не спускаясь вовсе кругами под руку с тем же его любимым Гоголем в какую-нибудь русскую преисподнюю, а вполне лето-

* Так в рукописи: «дьявола» (прим. публ.).



писно отображая мир «как есть», но оставляя за собой бесценную возможность гулкого подстрочника, а лучше сказать, засловия.

В его голове давно созрел замысел романа, точнее, романа романов — некоего суперромана, значения «Мёртвых душ», «Войны и мира» или «Братьев Карамазовых», но уже со своим и только своим, ушедшим далеко вперёд откровением — не земным и не человеческим, а каким-то сверхмировым, зато определяющим в земном времени всё и вся.

А времечко-то образовалось вокруг вызывающее — вполне и заслуживавшее рыцарского ему вызова!

Дьяволиада!

Давно уже было найдено словечко, объемлившее освидетельствуемый им мир, весьма точно и этот мир раскрывавшее. И не ему одному тогда приходил на ум дьявол, сатана, шайтан — князь мира сего, не на шутку в те гнусные времена разошедшийся. Многие это замечали, — и в текстах кое-каких он весьма уже фигурировал, принимая различные подходящие к случаю обличья. Нет, не о мелких бесах, даже и вовсе не о бесах уже шла речь, а о самом дьяволе, давно пришедшем в мир и в нём уже безраздельно царившем.

И он стал писать этот роман романов — роман-притчу, роман-откровение, роман-приют, наслаждаясь молчаливой тишиной тяжкого и сладостного словотворческого труда, досадуя на невозможность желанного отображения всего им задуманного.

Буква к букве, слово к слову, строка к строке, страница к странице!

Перечёркивал, вымарывал, рвал, выбрасывал, сжигал: всё, как обычно, но... совсем и не обычно... ибо задуман им был воистину великий роман, многослойный и многоструйный, роман-эпопея, к тому же драматургический, театральный, подмосковный, ещё и сатирический, смеховый... о-о!.. совершенно невозможный, ибо невозможным было и раскинувшееся вокруг время: красное и белое, белое и чёрное, чёрное и красное — что здесь, на родине, что там — в Европе!



Замысел был грандиозен, как само мироздание, и рискован, как сама жизнь, и опасен, как сокрытые в мироздании и жизни энергии, вырывавшиеся время от времени на простор, крушившие всё подряд и выворачивавшие мир наизнанку.

Писатель знал, на что шёл — на верную в общем-то гибель, ибо понимал, что не удержит он великие смыслы в буквенной вязи романа, что вырвутся они на свободу, захватят и завертят его, как веселящиеся экстатически бесы, — и падёт он в последнем изнеможении, хоть и отомстив оскорбившему и обокравшему его миру, — безо всякого на то удовлетворения!

Роман создавался в муках, что было в общем-то правильно и справедливо, — сразившись, хоть и не безоглядно, с миром человеческим, а может, не таким уж и человеческим, рыцарь слова сразился... и с самим собою, — да не на жизнь, а на смерть! — и, приставляя слово к слову, строку к строке, страницу к странице, он компоновал не просто роман, а роман-предел, роман-конец, роман-могилу, целое десятилетие в нём по капельке умирая.

Вот и женщина новая зачем-то ему явилась, разместившись рядышком в образе верной и услужливой жены, не молоденькая, но какая-то вневозрастная, милая и стойкая — находка, денежка, бриллиантик!

Она любила его страстно, слов нет, по-женски и по-матерински его опекала, дав полную творческую свободу и ожидая новых блистательных страниц романа, почему-то ей вдруг ставшего близким, родным... прямо-таки уже её романом... заботливо ею оберегаемым от страхов и сомнений автора-мужа, его губительных разочарований, от всегда готового поглотить гениальную рукопись бесстрастного печного, даже и не каминного, огня.

Роман, нужен был роман — этот роман с дьяволом, — и ещё каким дьяволом! — и роман постепенно рос под бдительным оком жены-красавицы, его последней, как оказалось, прижизненной, но ещё и посмертной музы-судии, — каких ещё, наверное, не бывало!



Часть вторая

Творение

Роман

Роман давался ему мучительно: болея романом, он и сам болел... от романа, который, наливаясь беллетристическим совершенством, поглощал медленно, но надёжно весь его организм, превращая самоуверенного и горделивого рыцаря в теряющего житейскую остойчивость и ни от чего дурного не застрахованного *старца*, сохранявшего, впрочем, благодаря верной жене и востребованному им самим роману, высокий градус самодовлеющей духовности.

Что ж, старец так старец, лишь бы роман продвигался вперёд, алкая своего завершения!

Ничего более важного, чем этот роман, у писателя тогда не было, да и не могло быть: это был даже не роман в привычном понимании, даже и не роман-поэма, а облачённое в форму романа, чуть ли не плутовского, итоговое слово возвысившегося над собой и реальностью писателя-мудреца, заглянувшего не без отращения в преисподние глубины сего поразительного бытия и всмотревшегося изумлённо в его потусторонние дали. Ему было, что сказать, и он говорил, нанося на бумагу то спорые, то медленные буквы, созидавая необыкновенный, местами чуть ли не евангелический, текст, немало его самого потрясавший.



Роман не просто захватил автора, что понятно, он его совершенно себе подчинил, навязывая ему не просто себя, что тоже понятно, а и своё видение всего и вся, не говоря уже о рождавшихся в нём самом «нутряных» смыслах — то ли осознававшихся довольно автором, то ли не очень: так или иначе, но роман-писание создавался... и самим романом, — и трудно было сказать, чьего вклада тут было больше — автора или же самого романа.

Призвав дьявола в роман на роль ведущего героя, писатель, нет, не ошибся, — но превратился незаметно для себя в его — дьявола... спичрайтера... если прямо... не в его адвоката: и в сознании автора разгоралась с неизбежностью ожесточённая борьба со своим романским героем, в которой у белого рыцаря был, конечно, свой шанс победить, как у библейского Давида в схватке с Голиафом, но его ловкий противник, отличаясь изощрённым умом и великой изобретательностью, не дал такой возможности храброму рыцарю, методично завлекая его в союзные с ним отношения, пленяя его разум и воспламеняя в свою пользу его недюжинный талант.

Роман, ставший вдруг независимым волевым субъектом, буквально вцепился в своего создателя, не давая ему ни покоя, ни роздыха, заставляя самоотверженно над ним работать, хоть это и дорого стоило сгоравшему на глазах писателю, даже не заметившему, как он сам стал... произведением... своего же произведения, — уж не заклятого ли при этом?

Творилось здесь что-то и впрямь сверхестественное: роман, его ведущий герой — дьявол, сам автор, сцепленные между собой какой-то удивительной круговой порукой, питаемой взаимными негласными обязательствами и непредвиденными подержками. Чувствуя свою принадлежность к чему-то уже явно сверхчеловеческому, автор отгонял от себя мысль об охватывавшем его клейком демонизме, надеясь откупиться от его навязчивого внимания любовью между двумя дорогими ему героями романа: писателя и его музы, Адама и Евы, мужчины и женщины, человека и... дьяволицы.




То было хождением по канату над бездной, что писатель хорошо сознавал, но иначе он уже не мог: выйдя за пределы обыденного и призвав на помощь самого дьявола, он должен был совершить все круги личного ада, ища из него выхода... но куда?.. он этого не знал, а лишь надеялся набрести на что-нибудь светящееся в самом конце своего лабиринтного творения.

И недаром он спрятал всё самое страшное и ответственное... в *роман в романе*, превратив создаваемый им роман... в *роман о романе*, понадёжнее укутав всё грозное сакральное вполне комедийным обыденным, чтобы никто ничего тут не понял: что же там было от самого писателя-романиста, а что уже от внутрироманного писателя, а что и ни от того и ни от другого, а от обстоятельств, среды, контекста, вообще от человечества, оплодотворяемого вроде бы неустанно Господом Богом и постоянно искушаемого не без успеха господином хорошим дьяволом.

Чей же, в самом деле, голос был в романе всего сильнее: писателя, романа, героев романа или же вообще кого-то из-за пределов романа, — кто знает?, — получилось, что получилось, — и роман, кажется, отвечал более всего сам за себя, хотя, наверное, это только казалось прежде всего самому писателю, а на самом-то деле... роман тащил за собой на вселенский суд и автора романа, бесцеремонно и неприязненно выговаривая ему за всё им содеянное — вовсе и не опрометчиво.

Сначала вырос в саду жизни человек-роман — юноша киевский, впечатлительный и рассудительный, а затем, покончив с медициной и занявшись писательством, человек-роман перелил себя, набравшись страдательной зрелости, в действительный роман, как оказалось, в роман-существо, заговоривший вдруг собственным, как и собаческий герой Шариков, голосом — то ли человеческим, то ли нечеловеческим, то ли сверхчеловеческим, показав себя, в силу приоритетного присутствия в нём самого дьявола... романом-*дьяволом*, авторитарно присвоившим себе жизнь и творчество человека-романа, ставшего в итоге романом-писателем, не сдав ему на поруки ни одного из любимых героев



им сотворённого по чудесному, а может, и вынужденному
наитию романа.

Роман-крест, роман — крестный путь, роман-гольгофа!

Парадигма

Если сложить вместе — одного в другого, как в той же лукавой матрёшке, довольно число русских литераторов — от Пушкина, скажем, до Блока, отнять от каждого присущее им самое мистическое, смешать отъятое в магической реторте, то можно получить уникальную творческую субстанцию — совершенно алхимическую, а пожалуй, уже и совершенно дьявольскую, а затем, влив эту субстанцию в какой-нибудь подходящий писательский организм, заполучить для отечества потрясающего героя литературного фронта, способного создать что-то совсем уж небывалое, да ещё и всю русскую литературу венчающее — этакий *роман романов*, в который всё предшествующее в снятом виде и вместилося бы, не игнорируя настоящего и ухватывая кое-какое будущее.

Нечто подобное и произошло в потрясённой революцией, войной и террором отчизне: явился неожиданно-негаданно именно такой литератор и стал писать именно такой роман, вобравший в себя в снятом виде всё предшествующее, настоящее и кое-какое будущее, разумеется, лишь в сугубой идеальности, обозначив тем самым и конец русской литературы как единого, растянувшегося на целый век, исторического феномена-процесса.

Человек-роман, родившийся и выросший в Киеве, превратился уже в Москве в писателя-роман, давшего жизнь роману-писателю — вполне мистическому, в котором ведущим героем был уже сам дьявол — и, заметим, именно ведущим героем — который как раз и вёл весь роман, или *роман романов*, по после-революционной и тотально перестраиваемой Москве.

Такой роман мог родиться в то время только в Москве, но, видно, не от москвича по происхождению, а как бы от стороннего



наблюдателя, вовлечённого, тем не менее, в невообразимую московскую круговерть, — такой роман мог родиться в городе, где каким-то образом сконцентрировалась и вовсю работала какая-то скрытая, но очень деятельная мировая энергия, — недаром же это был Третий Рим, может, и не провалившийся вовсе в тартарары, а лишь... как-то преобразовавшийся в городе сорока сороков православных христианских церквей, методично и яростно тогда сносимых с лица земли, в городе совершенно русском, пережившем не одну страшную трагедию, но сохранявшем, несмотря ни на что, волю к жизни, человеческим страстям и невозможному будущему, в городе имперском, ставшем сакральным центром огромной империи и лишь по царскому капризу уступившем на пару столетий свой имперский штандарт нарочитому и прозападному Санкт-Петербургу, городу, из которого прибыл в ничего не подозревавшую Москву и воцарился в ней после гибели Петровской империи ужасный красный Левиафан — современник писателя-романа и романа-писателя, тот самый Левиафан, от имени и ради которого в Москве авторитарно и жестоко властвовал красный неутомимый вождь, выходец с Кавказа, из низших слоёв и неполноценной семьи, бывший поэт и бывший семинарист, бывший боевик-экспроприатор, недавний революционер и актуальный контрреволюционер, мститель, гонитель и инквизитор, палач, но и дерзкий создатель, непреклонный строитель нового — красного — мира, а пожалуй что, и новой — на месте России — империи, упорный преобразователь всего и вся: человека, общества, человечества, включая хозяйство, культуру, науку, образование!

И как тут было не появиться гению-романисту и роману-гению, именно в Москве и именно в необыкновенные 30-е годы XX века от Р. X., на сломе эпох, в момент рождения небывалого ещё мира, среди массовой, хоть и инквизиторски выборочной, резни и не менее массовой ликвидации безграмотности, в беспокойном потоке нови и в неописуемом шуме энтузиазма, под стоны взрываемых церквей и грохот фантастических строек, — как и, разумеется, как тут было не появиться в романе романов само-




го господина хорошего дьявола — умного и проницательного, всезнающего и всемогущего, в меру ироничного, по-товарищески общительного и доверительного, чуть ли не верного своему слову, к тому же ещё и представителя самой вечности, великолепно знавшего историю, в ней вроде бы нехотя и поучаствовавшего, весьма разочарованного в человеке и человечестве, ни на что достойное и лучшее особенно не надеявшегося, слегка скучающего, склонного к шутовству и розыгрышам, впрочем, чуть ли не справедливого!

Дьявол давно уже, по наблюдениям писателя, пребывал в Москве, скорее всего, в разных обличьях, — и ничего не было удивительного в том, что он оказался на страницах его романа, однако в весьма неожиданном образе... этакое верховное судьи, вершившего вроде бы строгий, но окрашенный каким-то нарочитым комизмом, а потому и какой-то невсамделишный суд, творившийся как бы заместо... Христова Страшного Суда... в общем-то, не особенно и страшный... а так... пустяковый какой-то, побрякушечный, пустой, даже и смешной.

Романный дьявол, получивший от автора примечательное имя Воланд, — как бы летающий, стало быть, ещё и лёгкий, невесомый, эфирный, — явился в Москву как... театральный режиссёр, начальник варьете, директор цирка, в общем, как большого разряда шоумен — а потому и устроил он в окровавленной, вздыбленной и мечущейся Москве не более чем... театр, варьете, цирк... в общем, некое... антихристово шоу... как бы исполнив, играючи, миссию Христа, уже времени Второго Пришествия.

Не важно, что думал обо всём этом сам автор, важно, что в итоге у него и у романа получилось!

Да, в Москве тогда правил бал совсем другой дьявол, да и бал его был совсем другой, — это автор ясно осознавал, — но предпочёл всё-таки... лёгкую пародию на трудившегося в поте лица другого дьявола, не отказывая своему театрализованному дьяволу ни в уме, ни в проницательности, ни в справедливости, даже и в некоторой жестокости, ибо хорошо понимал, что за настоящего дьявола головы ему было не сносить, так же как и за



показ настоящей Москвы и всего в ней на самом деле происходившего.

Автора надоумил и спас не один лишь инстинкт самосохранения, но и его недюжинный драматургический и актёрский талант, подкреплённый редчайшим чувством иронии и юмора, развитой способностью к мистификации.

Мистика и мистификация — не одно и то же, и нередко мистификация заменяет и страхует собою мистику, позволяя последней забраться кое-как — с чёрного хода — в десакрализованное и секуляризованное сознание.

Дьявол мистичен, а в романе ещё и мистифицирован, — и предстал перед публикой как бы не совсем настоящим, а всего лишь имитационно игровым, он смог обрести мандат на жизнь, конечно же — литературный мандат на литературную жизнь.

Нет, автор вовсе не хотел продемонстрировать настоящего дьявола, — в такого дьявола никто бы и не поверил в обезбоженное и обезодьявленное-то времечко. Да и сам дьявол хорошо понимал, что личина творящего мелкие безобразия да скорый обыденный суд не более чем постановщика театрального спектакля куда как милее реальной московской власти и набившему руку на кознях и казнях «врагов народа» ревтрибуналу. Одно дело — «Снежная маска», совсем другое — «Двенадцать»! Так пусть лучше маска дьявола, вполне и симпатичная, чем сам по себе дьявол... да вот какой? — не давно уже прорисованный в людском воображении князь мира сего — властный, жестокий и коварный, а именно вот такой — мудрый, представительный, вовсе и не страшный.

Зачем же тогда потребовался автору именно такой дьявол — господин иностранец, специалист и консультант?

Потому что видел он его вовсе не там, где видели его многие — не во власти самой по себе, что легче всего было вообразить, а... в сознании человеческого, вовсе и не в каком-то там маргинальном или же больном, а во вполне сердцевинном и вроде бы совершенно здоровом, даже элитарном, выраженном не кем-нибудь, а самыми образованными, эрудированными и глубо-




комысленными, интеллектуальными и интеллигентными, много читающими и пишущими, как и много повсюду играющими, одним словом — всякого рода идейными душеприказчиками давно уже заблудшего рода человеческого, не исключая и носящих отличительные тоги, галуны и орденские знаки.

В романном дьяволе — умнейшем и пронизательнейшем Воланде — был воплощён и олицетворён, ещё и красочно оживлён не что иное, как... *разум*... в некотором роде и человеческий тоже. Тот самый разум, который вот уже не один век, если не вечность, сталкивается с одним и тем же: то ли с разумной неразумностью человека разумного — homo sapiens, то ли, наоборот, с его неразумной разумностью, во всяком случае, с нежеланием или невозможностью бытовать согласно с разумом, перед которым как раз и преклонялись все эти интеллектуалы, энциклопедисты и просветители, не говоря уже о российских горе-«образованцах». То ли невдомёк человеку было, то ли не интересно, то ли попросту возмутительно. Сподручнее как-то было человеку оставаться неразумным, вне разума, а если и с ним, то только лишь ради всё той же... неразумности.

Вот и в Москву явился разум, да не простой, а самый что ни на есть главный, лишь вынужденно принявший маскарадный облик, ибо без такой маски — иностранца и прозорливца — его никто в Москве всерьёз бы и не принял, — а вот так, прикинувшись заезжим — *оттуда!* — специалистом, коммивояжёром или хотя бы магом, было в самый раз — в жужжавшей, как разворченное осиное гнездо Москве, перепрыгивавшей, — как будто по разгорячённым углям, — от эпохи к эпохе.

Что ж, высшему разуму было на что посмотреть, во что вмешаться, над чем и поиздеваться: в Москве ведь родилась великая претензия — на новый разумный мир, на нового разумного человека, на новую разумную веру, — и это вполне заслуживало потустороннего внимания, совсем не пренебрегавшего самоуверенными эскападами отважного homo sapiens.

А разум-то был совсем уж разумный, чистый и отвлечённый, холодный, без какой бы то ни было примеси чувств и стра-



стей, какой-либо нравственности, хоть и вынужден был, приспособиваясь к человеческому общежитию, поигрывать во все эти ненужные и неприятные для него вещи вроде добра и зла, любви и ненависти, верности и измены.

Роман и начинался с появления в Москве, на Патриарших прудах, на бульварной скамейке, вполне приличного и воспитанного господина, явно разумного, знающего, рассудительного, хотя и не без легкой иронической развязности, впрочем, со вкусом одетого, правда, с тростью, оснащённой странным набалдашником, вызывавшим почему-то какое-то смутное... в чём-то этаком... подозрение, а потом вдруг превратившегося из вполне приличного и воспитанного консультанта-историка Воланда в какого-то чуть ли не княжеского достоинства... мессира, с чудодейственной шпагой, а заодно ещё и в предводителя шайки несусветных разбойников, захвативших как раз недалече от Патриарших, просторную московскую квартиру, изгнавших её несчастного хозяина прямо в стиле Швондера, а потом... потом... наделавших ещё немало всяких жутких безобразий, на первый взгляд совершенно безумных, вплоть до битья оконных стёкол, умерщвления вполне достойных столичных граждан и устройства совершенно недостойных для великой столицы пожаров, пока, наконец, не оставила эта отвратительная шайка ни в чём не повинную матушку Москву, обратившись вдруг в делегацию благородных рыцарей с магистром во главе какого-то не совсем понятного ордена, — возможно, того самого, а может, и совсем другого. То ли разум великий и гневный вторгся тогда в ошалелую Москву, наказывая ее отчаянных обывателей за их уже вызывающую неразумность, то ли же великое и гневное безумие наступило, наконец-то, действовавших в согласии с разумом обитателей яростно перестраивавшегося города — города Солнца, кто знает?!

Хотелось этого романисту или не очень, но в Воланде угадывался, конечно же, сам творец несуразного романа, — как же было не наделить такого выдающегося (ещё и страдательно автором выношенного) героя приоритетными авторскими чертами,



но... но... дело тут было не только в Воланде, его подельниках и их проказах, а кое в чём более важном, что как раз и оправдывало более всего появление Воланда в Москве, — в его — Воланда — снисходительном противостоянии с другим важным героем романа, вовсе и не ведущим, а именно... с Иешуа, иудейским философом, ершалаимским проповедником, экстрасенсом и врачом, непротивленцем, жертвой Синедриона, добрым-де человеком, не сбережённым Понтием Пилатом, битым плетью, распятым и мучительно умерщвлённым, ставшим каким-то зеркальным чуть ли не отражением самого... Иисуса Христа, однако героем, представленным более всего не в романе, в котором действует Воланд, а в находившемся внутри этого романа... другом романе... как бы внутреннем, малом, написанном уже будто бы другим автором... и тоже героем романа, вошедшим в роман под видом *мастера*, а затем вот так и поименованным — *Мастером*!

Воланд и Иешуа, а между ними... Мастер, но и... Понтий Пилат, который не просто герой малого романа, а его главный герой, которому малый роман и был, по признанию самого Мастера, посвящён. Роман был о Понтии Пилате, а вовсе не об Иешуа, — и этот малый роман, спрятанный, опять же как в лукавой матрёшке, внутри большого романа, имел свою собственную судьбу — весьма неоднозначную и очень похожую, как оказалось, на судьбу большого романа: мучительная работа над романом, как выяснилось, на выигранные случайно (?) деньги; погружение в роман и поглощение романом своего создателя, власть романа над автором, определение романом его судьбы; страх перед романом и ощущение... ненависти к нему; попытка сожжения рукописи романа... об Иешуа, а вовсе не о Понтии Пилате; спасение рукописи романа от огня любимой женщиной мастера — Маргаритой, откуда-то (?) вдруг взявшейся в жизни Мастера, прямо с улицы, прямо из особняка, прямо от... но здесь уже темень, недосказанность, загадка; наконец, что очень важно, знание содержания рокового для его автора произведения... Воландом, воскрешение им романа и обещание обеспечить роману заслуженную им и его автором достойную публичность.



Преобразившись в таинственного чёрно-красного рыцаря, а попросту говоря, явившись пред Москвой... князем мира сего, Воланд, перестав быть Воландом, покинул подожжённую им Москву, чтобы улететь на апокалипсических конях со своими спутниками в тёмную потустороннюю даль, захватив с собою — в награду за роман о Пон... нет, не о Понтии Пилате, а как раз об Иешуа, — Мастера, умерщвлённого Воландом — в награду за роман, попавшего перед смертью своей в сумасшедший дом, и умерщвлённую всё тем же Воландом — уже в награду за страстную любовь


к Мастеру и спасение столь нужного ему романа — Маргариту, ставшую по воле Воланда и её желанию ради Мастера и его романа полусумасшедшей ведьмой, готовой разделить с Мастером любую уготованную ему участь.

По просьбе Иешуа (!), донесённой Воланду учеником Иешуа Левием Матвеем, Воланд отправил Мастера и Маргариту в укромное, почти что и райское, местечко-сад, одарив их долгожданным, и вполне как будто бы заслуженным, *покоем*. И, кстати, не воспрепятствовал Понтию Пилату, этому единственному герою романа с полностью достоверным историческим именем, продолжить — уже в потустороннем мире — начатый ещё тогда, в Ершалаиме, разговор, а может быть, и спор, об... *истине*, столь волновавшей тогдашнего, а теперь уже бывшего, всесильного прокуратора Иудеи.

Идейным выходил роман, прямо скажем, фундаментально идейным, как и откровенчески идейным, хоть напичкан был всякой событийностью — что исторической и эпической, в малом романе, что текущей и банальной — уже в большом романе, однако событийность эта не самодовлеющая, не иллюстративная, а скорее вспомогательная, относительно идейной начинки романа: необычной, сложной, неопределённой, загадочной.

Это был роман-миф, роман-загадка, роман-шифровка!

И роман-калейдоскоп, который можно было поворачивать в воображении и так, и эдак, по-разному соотнося между собой героев, идеи и события, по-разному их воспринимая и трактуя,



по-разному понимая и толкуя и весь роман целиком — совсем не реальный, но от реальности далеко не ушедший; ирреальный, но перед ирреальностью не склонившийся; лёгкого вроде бы жанра, завлекательный и весёлый, но при этом и невыносимо серьёзный, до противности горький и... глубоко трагический; совершенно выдуманный и невероятно правдивый; сюжетно и содержательно сложный, из частей, потоков и даже романов, но какой же при этом цельный; многое говоривший, но ещё больше умалчивавший, предоставлявший милостиво широченные, почти что и бескрайние, возможности для размышлений, додумываний, оценок и переоценок, для горестных и в то же время сладостных рефлексий и переживаний.

Роман-динамика, роман-импровизация, роман-уловка!
И роман-рулетка — разумеется, русская!

Шесть

*Москва. Начало 1930 гг.
Квартира писателя-драматурга
на Клинической улице.
Полночь. Слышно шуршание
под полом деловитой мыши.
За окном поздняя слякотная осень,
непроливаемая мгла.*


Устав порядочно от гнусного ничегонеделания, сопровождавшегося нудными, ничем толковым не завершившимися размышлениями — замысел романа что-то совсем не складывался, писатель-драматург вознамерился вдруг подкрепить себя, может, в какой-то мере и подтолкнуть вперёд, старыми дневниковыми записями, для чего вытащил из-под кровати старый врачебный баульчик, в котором бережно хранил самое для себя ценное и для постороннего глаза не предназначенное — рукописи, открыл его



извлечённым из потаённого местечка ключиком и уже вытащил было из потрёпанного временем и переездами медсаркофага испещрённую вихрастым почерком толстенькую тетрадь, с которой когда-то общался денно и ночью, только ей и доверяясь, как вдруг заметил среди плотной кипы бумаг ненароком высунувшийся на свет божий серый краешек другой тетради, той самой — старорежимной, гимназической, которая досталась ему в наследство самым чудесным образом в незабвенном и страшном 1920-м — среди всеобщего разгрома, хаоса и отчаяния, от одной медички — крещёной еврейки, возымевшей намерение уйти за кордон с остатками разбитой Белой армии. Медичка эта, знавшая более жёну его, а не его самого, отчего-то решила сделать ему этот воистину царский подарок — передать эту самую тетрадь, оставшуюся от умершего в военном прифронтовом госпитале от скоротечного тифа одного московского философа-беглеца, принадлежавшего старинной аристократической фамилии, и содержащую, как потом выяснилось, кое-какие подорожные записи, сделанные философом в последние месяцы жизни — прямо посреди ужасной русской смуты, по ходу своей личной и тоже не менее ужасной Голгофы — нечаянной, неотступной и неумолимой!

Писатель-драматург давно уже знал почти что наизусть вырисованный податливым свинцовым карандашом внутритетрадный текст, но он всё-таки вытащил из баула весьма уже замусоленную тетрадку, погладил ладонью шершавую обложку, открыл и, тяжело вздохнув, уставился размягчёнными глазами в неторопливые строки теперь уже ставшего для глубокомысленного литератора чуть ли не сакральным (вроде апокрифа какого-нибудь, — это-то писатель уже хорошо сознавал!) текста.


«Да-а, — подумал счастливый обладатель драгоценной тетрадки, — рукописи, конечно, горят, и пропадают нещадно, но иной раз почему-то не гибнут, остаются, попадают на глаза кому надо, вполне, видно, и нарочно, ради чего-то важного и почему-то неминуемого, прямо вот так, как эта убогая тетрадка с заключённой в ней многослойной вестью».



А весть от ушедшего в иной мир в тифозном забвении философа-метафизика и впрямь заслуживала внимания, конечно же, не широкого, никак не массового, даже и не элитарного, ибо касалась она всего того, о чём все вообще не говорят, а если когда в узком избранном кругу и говорят, то чего-то главного всё равно не проговаривают, предпочитая спасительное умолчание, возможно, обусловленное какой-то и в чём-то неуверенностью, а может, и обыкновенным страхом, не говоря уже о характерном для таких случаев недопонимании.

Ещё раз глубоко вздохнув и почему-то тихонько при этом пискнув, писатель-драматург принялся в который раз читать сей необыкновенный текст, стараясь освежить впечатление и наново осмыслить заложенные в нём и прячущиеся где-то за ним криптогенные премудрости, способные перевернуть, если не опрокинуть вовсе, любое законное, то бишь надёжно и правильно сколоченное, сознание.

«Высшее знание, — читал, не торопясь, погрязший в размыслительном болоте обладатель вещей тетрадки, — знание религиозное, метафизическое, можно сказать, и эзотерическое, и это постольку, поскольку знание это о том, чего вокруг нет, чего не видно, что не осязаемо, но что всё-таки есть, что улавливается сознанием и с чем сознание способно взаимодействовать, те самые *ничто* и *нечто*, что самое главное в этом мире как раз и определяют (что есть идеальное, духовное, эфирное, в то же время сущное, трансцендентное, иномирное). Дело тут не в вере, а в возможности утверждать и утверждаться! Непокинутость, остойчивость, осознанность. Без всего этого человека нет: это либо зверь, либо машина. Тут первое место за религией, способной открывать, утверждать и убеждать, следственно — формировать. Единой религии нет (пока нет!), но есть всё-таки кое-какой инвариант: иной и высший мир, Бог (боги), синергия, истинность, неоспоримость, наличие постулатов, аксиом и откровений, сакральная нормативность. Религия — миф, данный в откровении, не доказуемый и не опровергаемый, всю работу выполняющий, но никак не сказка, это, скорее устав, пособие, руководство. Миф-опора,




миф-конструкция, миф-ковчег! Вернейшее средство от личного и в особенности коллективного безумия!»

Писатель-драматург не был чужд, несмотря на своё естественнонаучное образование, трансцендентализма, более того, он сам его хорошо различал среди текущего бытия, как и небытия тоже, признавал он и Бога, как и его противника, но сам он был — сын своего времени, насквозь и тотально просвещённого Просвещением, вне каких-либо умело выстроенных кем-то и когда-то идейно-организационных рамок, предпочитая личную трансцендентальную свободу, что его довольно устраивало, хоть и немало, откровенно говоря, смущало и беспокоило.

Вот почему писатель-драматург, будучи внимательным и заинтересованным читателем невзрачной на вид тетрадки-найденёныша, не счёл возможным во всём и просто так солидаризироваться с неординарными выкладками сгинувшего во мгле русского небытия русского философа, удовольствовавшись более всего ролью благонастроенного свидетеля. А свидетельствовать тут было чему!

«Был или не был Иисус Христос в истории Палестины, и кем бы он конкретно ни был, легенда о Христе была тогда нужна и она возникла, а некто Иисус послужил со своей незаурядной, по-видимому, жизнью и подходящей для случая проповедью возникновению такой легенды, возможно, посредством и в рамках вполне осознанного, со спасительной функцией, переворотного проекта, легенды, счастливо оказавшейся в основании сначала простого религиозного течения, а затем и большой, весьма уточнённой и развитой, мировой религии. Христианство, а в переводе это означает фактически мессианство, если не попросту божественность, наилучшим образом ответило со своим признанием приоритета всеохватывающей любви, как и важности и необходимости ей поклонения и следования, острым запросам развернутого от самоубийственных пороков, утратившего смысл существования и впавшего в опасное разрушительное беспокойство позднеантичного времени. То была легко и прочно воспринимавшаяся религиозным сознанием житейская история, состояв-



шаяся в прямом контакте с небесным миром, что не только позволило возникнуть мировой религии, но и создать усилиями её адептов соответствующую этой религии Церковь.

И ежели Иисус Христос даровал отправную легенду, то религию и Церковь создал уже Павел (б. Саул). И это очень важно: первый дал образ, идею, закваску, а второй — организацию, учреждение, устройство. Христос указал на возможность Общего Дома, Павел же его незамедлительно соорудил. А ведь Павел занимал изначально сторону антихриста (анти-Христа), был гонителем христиан, и стал как бы превращённым христианином, явившимся, так сказать, с того берега, правда, по призыву самого Христа, что было, видно, совсем и не случайно: только такой вот обернувшийся римский гражданин (имперец!) мог дать приемлемую для нехристианской и антихристианской среды и в то же время устойчивую и действенную (для самих христиан) организацию (имперскую!). Так Христова утопия превратилась усилиями Павла и его последователей в эффективную реальность».


Тут писатель-драматург отвлёкся от тетрадного текста, невольно задумавшись: «Да-а, без Павла и его последователей вряд ли бы что вышло практического в христианской среде, да и был бы вообще сам этот христианский мир без упругих религиозных догматов и настоятельной Церкви? Нет, не был бы, ничего бы и не вышло! Только с догмами, только с Церковью, а потом уже и со светской властью... А вот я почему-то не любитель Церкви, не сторонник её догматики, к обрядам равнодушен, почти что противник её... э-э... чуть ли не антихрист!»

Писатель прикрыл ладонью уставшие уже глаза и застыл в позе, как он сам любил её называть, «удручённого пескаря», давая возможность передохнуть глазам и освежить заметно уже «заплывший» от усталости мозг.

Почувствовав через пару-тройку минут что-то вроде ненавязчивого отдохновения, писатель-драматург вернулся к чтению интригующего текста.



«Христианство явилось *вопреки* и образовалось *в борьбе*, да не по отношению лишь к бывшим тогда идеологиям и установлениям, а относительно самой сути человеческой, настолько уже заражённой зверскостью, непотребствами и пошлостью, что уже самому Богу Творцу представлявшейся недопустимой. Именно это порочное, высокомерное и претенциозное существо — человек оказалось первым и самым последовательным антихристом — что до Христа, что при нём и даже рядом с ним, что после него. Христос вторгся со своей жертвенной исправительной миссией в уже по сути антихристианский мир, обдав его светом укоряющей, просветляющей и очищающей истины и указав человеку греховному путь к спасению, а Павел, обернувшись из Саула в Павла, бросился истою создавать из почти что бросового людского материала реальный Храм божественной истины, обеспечив возникновение мира собственно христианского, но, увы... не собственно Христова. Тут всегда проявлял свою неутомимость, будучи иной раз и в большой силе, противник Христов — сатана-антихрист, не только не исчезнувший с Христовым подвигом, но ещё более активизировавшийся, вполне успешно овладевая христианским людом, его крепко держа и не отпуская, проникая даже в самую Церковь, её соответственно обустроивая и перестраивая, преобразуя. Антихрист, представший перед самим Христом и было пристроившийся даже у Его ног (Иуда), вступивший уже с ним самим в смертельную схватку (вражда синедриона, сомневающиеся ученики, отрекающийся трижды Пётр, несправедный суд, жестокий приговор Пилата и подлая казнь), и с победой христианства оставался постоянным, последовательным и весьма эффективно действующим врагом Христа, и не только солидаризируясь с дьяволом в его лукавых искушениях слабого и податливого на грехи обыкновенного человека, но и претендуя на место самого Христа, на иное исполнение его миссии, на подчинение себе христианства и христианской Церкви, наконец, на целиком уже альтернативную идеологию со столь же альтернативной реальной организацией. Антихрист многолик, и самым опасным для неискущённого человека является лик добрый, сочув-




ствующий, споспешествующий, интеллектуальный, учёный, умственный. Антихрист вовсе не только разрушитель, он как раз более всего созидатель — и ничего-нибудь, а непосредственно счастья земного!»

Бросив читать, писатель-драматург глубоко вздохнул и снова закрыл глаза, не так, быть может, для отдохновения, как для вновь нахлынувшего раздумья: «Что ж это получается, Христос и антихрист как бы вместе, рядом, в сцепке, хотя и не в союзе, не в единении, не в слиянии? А как тут насчёт любви? Ведь один без другого... э-э... *ничто!* Вот тебе и загадка!» Поразмыслив немного и, конечно же, не найдя подходящего ответа, писатель-драматург, отхлебнув из сиротливо стоявшего на столе гранёного стакана с подстаканником давно уже остывшего чая, вновь отдал себя и своё воображение во власть заманчивой метафизической канители.

«Антихрист от дьявола, и будучи антиподом Христа как Бога — по вертикали, он при этом ещё и антипод Христу — по горизонтали, как уже прямая Ему альтернатива! Антихрист — тень Христа, способная то казаться Христом, то чуть ли не быть Им, то попросту замещать Его. И всегда оставаться при этом антихристом! Не имея никаких ни перед кем обязательств, антихрист действует свободно и в своих, столь же свободных, интересах. Он способен быть очень похожим на Христа, но всегда остаётся истинным антихристом».

И далее: «По сути своей христианство есть религия непрерывной, может, и нескончаемой, борьбы Христа с антихристом, а точнее, наверное — антихриста с Христом, в ходе и по результатам которой всё в христианском мире и в самом христианстве и происходит. И явление Христа, и всё с ним случившееся, и складывание христианской идеологии, и формирование Церкви, и историческая реализация христианства, и все эти внутриконфессиональные расколы и отпадения от Церкви, и христианские, они же и лжехристианские, войны (те же крестовые походы), и тяжкая для всех инквизиция, и раскольничья внутрехристианская реформа-



ция, да мало ли ещё что, что можно и нужно рассматривать в контексте борьбы Христа и антихриста».

И это было ещё не всё: «Антихрист, надо полагать — органическая компонента христианства, без которой христианство теряет всякий смысл, значение и упругость. Мало того, христианство всю реализуется как раз через антихриста, не так, быть может, его специально используя, как им с неукротимой неизбежностью пользуясь. Христианство не просто позволяет ему быть, признаёт антихриста, предполагая и подтверждая человеческую свободу, оно и отрицает антихриста, опираясь на божескую ответственность. И если Христос допускал, любя людей, свободу личной ответственности, получив взамен лишь унижительные пытки и позорную казнь, то Павел, построив Церковь, предпочёл уже ответственность свободы, причём более всего уже на общественном уровне, так как, видно, лучше, чем сам Христос, знал человека и разбирался в его антихристовых потенциях».

Нет, писателя-драматурга вовсе не трясло от всех этих слов, но прозорливость угасшего во время своего отчаянного бегства от вспыхнувшего на Руси антихристового бунта московского мыслителя довольно восхищала, что не значит, что внимавший ему литератор был с ним во всём согласен, точнее, не видел вокруг и кое-чего ещё, как раз того, о чём философ предпочёл благоразумно умолчать. Всё это были всего лишь догадки, восходившие к сугубо частному мнению, с которым неоднозначному по своему идейно-духовному строю писателю тоже не хотелось вылезать на суд мирской: сколько вокруг было тогда Христа, а сколько... разошедшегося антихриста!

«Антихрист вовсе ещё не победил, — продолжил чтение откровенческой рукописи бывший белогвардейский эскулап, а теперь фрондировавший сам перед собой московский литератор, — но он ещё и не проиграл, более того, он с течением времени одолевает, зажимая и отодвигая христианство, его уничтожая, что, собственно, и было пророчески то ли увидено, то ли заложено, то ли угадано несравненным Иоанном в его поразительном «Откровении». Христианство — высокая, если не высшая, рели-



гия, данная человеку Богом, но, замешанная на крови и страданиях умерщвлённого людьми, а затем всё-таки воскресшего сына Божиего — Бога, она предложила своим адептам такую связку свободы и ответственности, при которой реальная земная жизнь вряд ли вообще была возможной: либо полное преобразование во что-то иное, либо тот или иной уход от мира, либо не менее полное пред Богом поражение! И человек выбирал спасительное для него... поражение, подпадая под чуткую и твёрдую длань сакрализованых инквизиторов (от Павла и далее), а затем и под любезную опеку лоснившихся от праведной чистоты прокурорствовавших протестантов (Лютер, Кальвин и другие). Чем не победное поле для лукавых антихристовых игр!»

Перестав читать, писатель-драматург откинулся на спинку своего деревянного креслица, разминая затёкшие спину и шею: «Да-а, антихрист не только вне христианства, что понятно, но и внутри него, в самом сердце, вроде как бы рука об руку с Христом, воображаемым, конечно, — и кто тут кого? А ведь знал всё это Христос, знал, и, не ограничившись одной благой вестью, вот и Павла к работе на себя и на свою весть подключил, этого антихриста бывшего, тоже кое-что хорошо знавшего из тайного и запретного в отличие от тех же прямых учеников Христовых. Вот и Иуда кое-что ненужное узнал, потому и восстал, правда, весьма своеобразным образом — через измену Христу и последующее себя же проклятье».

Встав с кресла и немного походив, оживляя ноги с поясницей, по едва освещённой комнате, писатель вернулся к столу и снова впился в тетрадные строки: «Пройдя паулианское становление и неизбежное для любой церкви догматическое окоснение, христианская Церковь фактически огосударствилась, обретя и ясно выраженные имперские черты, став Церковью-государством, Церковью-империей, и вступила в сложные, далеко не всегда христианские по сути своей, отношения с внешним миром, в особенности со светскими государствами, тесно переплетаясь с ними, а то и почти полностью сливаясь, то явно возвышаясь над ними, что произошло на том же Западе, вокруг Ри-



ма, то усердно служа им, как случилось на Востоке, в Византии. Кого здесь оказалось больше: Христа или антихриста, и кого было больше потом, когда единая христианская Церковь распалась вдруг на две Церкви — римскую католическую и византийскую ортодоксальную, да ещё и пошла между христианскими вроде бы Церквями беспощадная борьба, ознаменовавшаяся внутриконфессиональной войной, кончившейся разгромом византийского центра усилиями римского? Участь поражения, хоть и не полного разгрома, не миновала после этого и Римскую Церковь, но уже через посредство собственных отщепенцев-изменников — реформаторов, обеспечивших раскол Западной Церкви на ряд церквей, так называемых протестантских. И где тут было более антихриста — в консервативном римском центре, торговавшем званиями, должностями и индульгенциями или на обновлявшейся реформационной периферии, добившейся отмены запрета на ростовщичество, денежную выгоду и капитал? Примечательно, что дело в итоге не свелось лишь к внутриконфессиональным расколам, а нашло продолжение и в нарастающем атеизме, что стало уже не просто антихристовым, но прямо-таки сатанинским вызовом Христу Богу».

Писатель-драматург вновь позволил себе оторваться от притягательной конспирологической рукописи, доносившей до него если и не саму истину, то, по крайней мере, большую проблему, отражавшую великую тяжбу князя мира сего с Господом Богом Творцом, а может, и не князя только, а самого уже и человека, возмнившего вдруг себя не то что князем, противостоящим Богу, а самим уже и богом.


Однако дочитать сие случайно попавшее в руки московского страдальца, а скорее всего, вовсе и не случайно, послание надо было. И писатель, выпив одним глотком остаток холодного чая, опять углубился в игравшую потаёнными смыслами тетрадку.

«Настоящий антихристов прорыв был сделан, пожалуй, не в Церкви, даже не в сфере собственно христианской религии, а в культуре вообще, пусть и имевшей тогда вполне христианскую суть, именно в культуре как таковой, где в один прекрасный мо-



мент возобладало стремление вернуться к древнегреческому наследию, по поводу чего и возник феномен Ренессанса, или Возрождения, а ведь древнегреческое наследие было в основном дохристианским, ну, самую малость, протохристианским, но никак уж не собственно христианским, хотя бы раннехристианским, следственно, наследие это было в основе своей и антихристианским, хоть и внешне не самым для христианства воинствующим и опасным. А сама христианская цивилизация времени своего апогея и вроде бы ожесточённой инквизиторской борьбы с сатаной и антихристом, правда, какой-то очень уж нехристианской, была, обозначена, а лучше сказать, обозвана, рачительными возрожденцами как “мрачное средневековье”, царство, так сказать, тьмы. Тут уже чуть ли не сам Христос был представлен перед изумлёнными христианами... антихристом! И несмотря на сохранение и бытование христианства, в том числе и подвергнутого праведному бичеванию католичества, ренессансная культура, а с нею вместе и наука, и техника, и экономика, и либерализм с так называемой демократией одержали победу: Церковь христианская была значительно отстранена от общего жизнеотправления, отодвинута подале от государства, политики и социального управления, перестала непосредственно влиять на мысль, философию, идеологию. А на смену христианской цивилизации пришла вовсе не возрождённая древнегреческая, а совсем новая — как раз антихристианская, в которой Европа с Америкой и с кое-кем ещё, включая Россию, ныне и пребывают. Даже некоторый всплеск традиционализма последнего времени не привёл к явному возврату Христа, а привёл всего лишь к явлению чуждого Европе ницшеанского Заратустры, да ещё и с подходящим к случаю антихристовым лозунгом: “Бог умер!”»

«Вот тебе и откровения Иоанновы, вот тебе и апокалипс, как говорят французы, — подумал изрядно уже уставший от чтения великомудрой рукописи писатель-драматург, — в кого же и во что же тогда должен верить жалкий русский интеллигентшико? Вот он и не верит — ни в Бога, ни в дьявола, мельчая, глупея и деградируя. А ведь они-то есть, Бог и дьявол, а дьявол-то не




где-нибудь, а прямо здесь, среди нас и в нас, а Бог, видно, нынче и в самом деле где-то далече».

Несмотря на уже поздний час и желание заслуженного отдыха, писатель-драматург решил все-таки добить прозорливую рукопись, тем более, как он хорошо помнил, речь там должна была пойти о впавшей в антихристов соблазн многострадальной России.

«Россия, начиная с Ольги и Владимира-крестителя упорно гналась за Европой, правда, более в византийском исполнении, ортодоксальном, а для России — православном. Христианизация, может, и просветила по-европейски Русь, но не предотвратила ни идейной сумятицы, ни княжеских междоусобиц, ни людских зверств, не успела она и обеспечить возникновение единого и сильного централизованного государства. Покорение Руси татарами-монголами сначала нанесло мощный удар по православию, заметно его ослабив, но потом русское христианство оправилось и, поддержав сопротивление Руси наглым захватчикам и “сплаторам”, способствовало не только освобождению страны и становлению Святой Руси, в которой Церковь и христианская религия играли явно выдающуюся, хотя и не первостепенную роль. Стала складываться русская империя с центром в Москве. Однако настоящего христианского благоденствия в стране так и не наступило. Русские люди, прежде всего, элита, или лучшие люди, не только не стали добрыми христианами, но даже и эффективными согражданами не стали — бес чувствовал себя в их душах достаточно вольготно. Антихрист совсем не унывал (ересь “жидоствующих”, например, при Иване III), а страна разрывалась между чаемой верхами Европой и признаваемой низами Русью. Латинство, а это было в любых вариантах западное христианство, многих на Руси притягивало, в особенности, из лучших людей, но большинство всё-таки отталкивало. В итоге мощный раскол в царстве московском и жуткая смута со вторжением латинян, призванных на Русь самими же русскими, и кровопролитной гражданской войной. Едва оправившись от Смуты и братоубийственной бойни, Русь снова оказалась в антихристовой заморочке, на



этот раз уже по инициативе самой Русской Церкви, что закончилось страшным внутриправославным расколом (на старообрядцев, или же “азиатов”, и новообрядцев, или “европейцев”). Тут-то и пришёл (или был приведён) сущий антихрист — царь Пётр, оттеснивший коренное православие и грубо покоривший, если не оседлавший, Русскую Церковь, что стало для Руси своеобразной, вовсе не полной, во многом и уродливой, реформацией. Пётр I, ставший со временем абсолютным императором, нагнал в Россию столько «европы», что страна разделилась на две — “азиатскую” традиционную Русь и “европейскую” новую Россию, причём с «европой» наверху, а с «азией», естественно, внизу. Христианство, всё более прижимаемое и принижаемое, проявлялось всё более внешне, формально, вынужденно, уступая место дехристианизировавшемуся европейству. Победа над наполеоновской (антихристовой!) Францией лишь усилила дехристианизацию России, опять же под флагом благодатной европеизации. Однако Россия, несмотря на весь европеизм владевшего и правившего ею дворянского сословия, говорившего по-французски и выдавшего тогда за короткий срок настоящие чудеса уже европейской, не без российской, конечно, окраски, культуры, продолжала оставаться Россией-Русью — монархической, сословной, православной. Она всё ещё была альтернативна Западной Европе, только уже и по-европейски. И вот тогда-то наряду с *европейской реформацией* стране была явлена *европейская революция* с её уже последовательно антирелигиозной и антибожеской закваской. Попытки остановить эту революцию, сопровождавшиеся консервативными обращениями к традиции и православию ни к чему позитивному для России не привели, как не привела ни к чему хорошему и новая попытка религиозной реформации, на этот раз вроде бы русской — толстовская, которая отринув Церковь и Христа Бога, а оставив лишь Иисуса человека, не только не спасла духовно больную Россию, но ещё более успешно, чем сама подпольная и ещё слабая тогда революция, подготовила приход этой самой — уже совершенно безбожной — революции. Не остановила революции и жалкая в общем-то попытка русских интеллектуалов



всерьёз вернуться к Христу и к Богу (“Вехи”), не преминувших в лице некоторых из них вляпаться без всякого злого умысла в гностическую ересь — софианскую (с провозглашением даже женской ипостаси Бога — Софии!), правда, совсем тогда не популярную и не столь вредную, как толстовство. А дальше, при стимулирующей роли сначала войны с Японией, а затем и войны с Германией, в России таки восторжествовала долго и упорно созревшая революция, сначала в жёлтом образе, вроде бы европейски-протестантском, а затем и в красном — скорее уже европейски обезбоженном. Пришла очередь и страшной междуусобицы, называемой ныне гражданской войной, кровавыми плодами которой мы теперь все и давимся».

На этом рукопись умершего в прифронтовом госпитале московского философа в общем-то заканчивалась, если не считать последней приписки, сделанной им синим карандашом, явно уже во время роковой болезни, в минуту тяжкого просветления:

«Вряд ли выживу. Жаль! Хотелось бы на всё это посмотреть. Торжество антихриста, победа сатаны, гибель России, этой уникальной страны. А ведь был шанс, была возможность совсем иного исхода. Не поняли, дураки, ничего не поняли! Вряд ли когда и поймём. Несчастливая страна!»

Вот, собственно, и всё, всё содержимое убогой серозелёной тетрадки. Сухой текст, вроде доклада, почти что отчёта. Без всякой литературщины! Необыкновенный в своей обыкновенности текст!

Закончивший читать это необычное послание потомкам, писатель-драматург, несмотря на желание отправиться спать, глубоко задумался, сидя неподвижно в не самом удобном деревянном кресле, вытянув под столом задубевшие ноги: «Христианство, кажется, несмотря на великие свои победы, а может, парадоксальным образом и благодаря им, проиграло историческое соревнование своему исконному врагу — антихристианству. Цивилизация, ловко изловчившись, перевернулась — то ли сама, то ли с чьей-то услужливой помощью. Философ московский это всё хорошо понимал. Да-а, что бы он теперь сказал о нынешней Рос-




сии, ставшей ни с того, ни с сего СССР, с досадой и ужасом глядя на всё это великое непотребство? Стоически бы, наверное, молчал. Впрочем, не успел бы и намолчаться, выгнали бы его, как и других ему подобных, за границу, а то бы и сгноили быстренько в чекистских застенках. Может, и хорошо, что он тогда как раз вовремя, всё уже осознав и ничего хорошего не ожидая, помер, этот великий знаток человечности, всей её подноготной. Да-а, Христос проиграл, причем, это было, судя по всему, им предвидено. Ничего в общем-то тут нет удивительного! Но вот не спешествовал ли всему этому сам Христос, вытолкнув на дорогу истории своего противника — антихриста, а пожалуй что, и предоставив ему необходимую для исторического старта свободу..?»

Было уже далеко за полночь, когда писатель-драматург, заключив под баульную стражу взрывоопасную тетрадку и запихнув под кровать драгоценный медсаркофаг, медленно разделся, нехотя забрался в постель, не спеша накрыл себя мягким верблюжьим одеялом, а потом, едва согревшись, неожиданно легко и крепко заснул, лишившись в ту ночь каких бы то ни было сновидений.

Незнакомка

Очнувшись от внезапно посетившего какого-то мерзкого сновидения, писатель, он же и романый Мастер, придя в себя, оглядел своё убогое полуподземное жилище, взятое напрокат у приятеля-архитектора, встал из-за стола с раскинутыми на нём страницами романной рукописи, подошёл к потухшей печке, разжёг огонь и подбросил дровишек, и, решив немного пройтись, выбрался, накинув на плечи пальто, из каменного подвальчика одноэтажного деревянного дома во дворик, вдыхая усталыми лёгкими свежий, по-осеннему пряный, воздух.



Пройдя сквозь скрипнувшую недовольно ребристую калитку, он вышел в переулок, и, бесстрастно оглядевшись по сторонам, выбрал дорогу налево, к Пречистенке.

Не успел он погрузиться в привычные сюжетно-сценические размышления, как в поле его несосредоточенного внимания попала вдруг двигавшаяся навстречу женская фигура, показавшаяся ему почему-то необычной, может, по причине белых цветов, которые приближавшаяся женщина держала в руках.

Намереваясь уступить даме дорогу, он безразлично перевёл взгляд с цветов, оказавшихся банальными хризантемами, на лицо подступавшей к нему женщины... и... чуть не остолбенел... от смотревших на него не без интереса мягких, каких-то по-особому лучистых, голубых глаз.

Уставившись на прелестную незнакомку, он, уловив тонкий запах чудесных... чуть ли не парижских... духов, инстинктивно замедлил шаг и остановился, вынудив едва заметным движением плеч остановиться и женщину, с вопросительной и понимающей улыбкой на него глядевшую.

Деваться было некуда:


— Странно... — еле выговорил он, — странно... я только что описал эту сцену... нашу встречу, — и, заметив лёгкое удивление в очаровательных глазах незнакомки, пояснил, — подобную, конечно... внезапную. Правда, там у меня весна и цветы другие... жёлтые. Простите, что задерживаю вас...

— Вы что же... писатель? — приветливо спросила женщина.

— Да... можно сказать, — взглянув как-то не очень дружелюбно на цветы, ответил он уклончиво.

— И роман, наверное, пишете?

— Не любовный, — поспешил он заметить. — Хотя... куда уж без любви. Всё там есть, и любовь тоже... Вы, я вижу, идёте к Остоженке, а мне всё равно куда... может... — Он посмотрел вопросительно на не выказывавшую никакой к нему неприязни женщину. — Я пройду с вами немного вместе, не возражаете?



— Ну, ежели в вашем романе так вот всё и есть, то мне, — тут она понимающе усмехнулась, — ничего не остаётся, как согласиться. Я иду к Крымской площади, вас это устраивает?

— Вполне! — с облегчением выдохнул писатель. — И как же это всё-таки странно... мистика какая-то!

Не представившись сам и не поинтересовавшись её именем, что его собеседницу никак не смутило, он развернулся, и они неторопливо двинулись к Остоженке, поравнявшись вскоре с домиком, где он пребывал в изматывающей тяжбе со своим романом.

— А это моя обитель, — он махнул рукой в сторону дома, — тут-то я и корплю над своими фантазиями.

— Которые сбываются... А о чём же ваш роман, если не секрет? В такое-то время?

— Да обо всём, — как-то нехотя ответил писатель, — и об истории, и о наших днях... Вы правы, нелепо выступать сейчас с романами. Но всё равно надо же что-то говорить... может, хотя бы для будущего, — произнёс он не без досады.

— Понимаю вас... А что, — бросила она как бы невзначай, — они стали любовниками, эти ваши герои, столь внезапно, — она намеренно повторила писателя, — встретившиеся?

— Да-а... но я ничего особенного тут не выдумываю, — ответил он, как ей показалось, не очень охотно.


Они дошли до конца переулка, уминая ногами осенние листья, валявшиеся повсюду на тротуаре, повернули направо и пошли по Остоженке к Крымской.

«Какие у него сосредоточенные, не улыбающиеся глаза, — подумала про себя женщина, — видно, демоны у него не за горизонтом. Да-а, трудно быть... богом!»

— А чем же завершается их история, — произнесла она вслух, — ваших влюблённых?

— Вполне счастливым образом, — ответил писатель, покосившись на хорошо очерченный профиль незнакомки, — но уже не здесь, не в этом мире... к сожалению.

— Ваш роман, наверное, полон мистики?



— Хватает... Для меня всё вокруг мистика, без которой ведь нет жизни... ничего нет.

— И нашей встречи... — слегка задумчиво проговорила она.

«Хороша, замечательно хороша! — думал он про себя. — Интересно всё-таки, кто же она, откуда, почему здесь, с этими дурацкими цветами и почему одна?»

— А вы, — выдавил он вдруг из себя, — что предпочитаете из литературы?

— Откровенный модернизм меня не сильно влечёт... а классика, хоть я её и люблю, почти вся в прошлом.

— Гм!, — его глаза оживились, — я тоже не любитель модернистики, а классику люблю... Прошное всё-таки сильнее настоящего.

— В литературе, пожалуй. А вы, стало быть, пишете классически?

— Не совсем... Я бы сказал, осовремененно классически, язык освежая, но не коверкая.

— Да-а, — вдруг заявила она, — Россия — страна литературная... несмотря ни на что!

— Ну, это понятно. При нашем-то беспорядке и долгих зимах, — он рассмеялся, — либо пряжу прясть, либо свадьбы гулять, либо языком чесать!

— Вот и напели всего в России, — произнесла она без всякой иронии.


Он подивился её чёткому уму, с трудом как-то вязавшемуся с её же прелестными лучистыми глазами.

— Ничего из начертанного не исчезает, — незнакомка взглянула на писателя, — ничего!.. А как называется ваш роман?

— Пока без названия, — он слегка задумался, — но я его всё более называю «Мастер и Маргарита».

— Немного странно... — не удержалась женщина.

«Уж не тот ли это *мастер* и не та ли это *Маргарита*... здесь... в Москве?» — подумала она про себя.



Они уже дошли до угла Остоженки и Крымской площади. Остановились под величественной громадой имперского провиантского склада.

— Вот и машина за мной. — Женщина кивнула в сторону подошедшего и замершего неподалеку чёрного заграничного авто с дипломатическим (!) номером. Из машины проворно выскочил водитель и предупредительно замер, впрочем, уставившись куда-то в сторону.

— Да, да... вам пора. Честно говоря, жаль, что так скоро... очень жаль!

— Мне тоже очень жаль, — произнесла женщина без тени смущения. — Если вы не измените названия, то я смогу встретить когда-нибудь ваш роман и прочитать, правда же?

— О-о, если это будет, то совсем не скоро, — чуть ли не обречённо произнёс писатель.

— Вы намерены писать его целую вечность?

— Нет, конечно... Просто он не совсем ко времени... Понимаете?

— Понимаю, — вздохнула она. — Вот и я... кажется... не совсем... для нашего с вами времени... Мне и в самом деле пора!

Она протянула ему руку, затянутую мягкой перчаткой:

— Прощайте, сударь, и будем считать, что роман ваш уже состоялся.

И добавила, посмотрев откровенно в ставшие напряжёнными и не мигающими глаза писателя:


— Я этого очень хотела бы!

Глядя в её чудесные глаза, он подумал: «Уж не ангел ли передо мной в женском облике?», и произнёс, невесело усмехнувшись:

— Что ж, прощайте, сударыня, — и зачем-то добавил: — не поминайте лихом!

— Какое уж тут лихо, — мягко ответила она. — Удачи вам!

Женщина улыбнулась как-то особенно приязненно, резко повернулась и пошла к машине. Водитель, ловко обежав лакиро-



ванную колесницу, открыл дверь перед задним сидением и почтительно замер, поджидая прелестную даму.


Подойдя к машине, женщина обернулась и по-приятельски доверительно помахала свободной от идиотских цветов рукой замершему у стены писателю. В одно мгновение она исчезла в просторном салоне дипломатического экипажа, шофёр захлопнул за ней дверь и, оказавшись в мгновение ока за рулём, запустил мотор.

Автомобиль плавно тронулся с места и, набрав скорость, быстро исчез в направлении к Зубовской площади. Вместе с шикарным автомобилем исчезла и прекрасная незнакомка — и, как хорошо понимал оставшийся в одиночестве писатель, навсегда.

Постояв некоторое время на месте, безразлично наблюдая за спешившими куда-то разнокалиберными авто, несколько озадаченный писатель двинулся обратно и, обогнув угол и перейдя Остоженку, побрёл, загребая ботинками вороха багряно-жёлтых листьев, вниз по направлению к Москве-реке. «Кто же она, эта роскошная женщина с дипломатической неприкосновенностью? Знает Москву, но в ней явно не живёт, скорее всего, проездом... Откуда и куда она, эта загадочная фея, и почему оказалась в Москве?» Не находя ответов, писатель понимал, что можно кое-что домыслить, но фантазировать ему не хотелось: реальность и так превосходила всякое воображение. «Ах, глаза, какие глаза! Как с ними жить-то?» — думал писатель.

А загадочная женщина, сидя в роскошной машине и всё ещё держа в руках свои банальные цветы, не без лёгкой грусти размышляла: «Трудно ему, ох, как трудно! С его-то умом и проныцательностью, с его-то ранимостью. Не позавидуешь этим упрямым русским талантам! Сиди, пиши, но что, для кого, за-чем?.. Мастер и Маргарита!.. Он-то, конечно, сам мастер и есть, фаустинец какой-нибудь, а она, она-то кто в сегодняшней-то России, наверное, более мечта, чем реальность. Впрочем, и сейчас есть тут кое-кто из самоотверженных».

Сердце её неожиданно сжалось. Она вспомнила своих родных, отца с матерью, счастливое московское прошлое, первые



встречи, светлые надежды. Теперь у неё была совсем другая жизнь, не худшая вовсе, но другая. И ничто уже не могло вернуться, ничто!

А машина уже поворачивала на Поварскую. «Взгляд у него всё-таки недобрый, какой-то ожесточённый, хоть и закрытый, спрятанный. Нелегко ему, нелегко! И как это с ним рядом его Маргарите? Наверное, интересно, не скучно... А вот смогла бы я на её месте? Вряд ли... Не полюбила бы такую-то бездну! Не завидую я этой Маргарите!.. Впрочем, немного и завидую. Быть рядом с гением — тоже участь! А он явно гениален — глаза выдают».

А в это время писатель поспешал, шурша листвою, по напоминавшему ему родной Андреевский спуск переулку, вниз, к Москве-реке.

Вдруг за каким-то забором раздался нервно-остервенелый собачий лай, и из-за подворотни вылетела на дорогу взъерошенная рыжая кошка, чуть ли не уткнувшись в ноги задумавшегося пешехода. Писатель резко остановился и замер перед встревоженным животным. Кошка, мгновенно прийдя в себя, приспустила шёрстку и, подрыгав презрительно задней лапкой в сторону своего оголтелого обидчика, со вниманием посмотрела на стоявшего перед ней свидетеля нехорошего происшествия. Писатель не двигался, ожидая решения от явно умного и очаровательного рыжего создания. Кошка, всё так же, не обращая никакого внимания на разъярённого придурка за забором, теранулась вдруг о писательскую ногу и пошла, сохраняя незыблемое кошачье достоинство, на другую сторону хорошо знакомой ей, надо полагать, улицы.

Писатель с улыбкой воззрился ей вслед: «Слава богу, не чёрная, и дороги не перебежала! Даже поприветствовала. К чему бы это?» Тут он с облегчением вспомнил о прекрасной незнакомке: «Вот оно что! От неё и привет!» Негромко рассмеявшись, он двинулся дальше.

А автомобиль, в котором находилась эта самая прекрасная незнакомка, проехав почти всю Поварскую, свернул в переулок и




через несколько мгновений остановился, шурша резиной, перед весьма скромным зданием посольства одного из новых суверенных государств, отколовшихся от революционной России. Шофёр помог даме выйти из машины. Сделав пару шагов, она остановилась, держа в руках всё те же скучные хризантемы, и огляделась. Посольский переулок был усыпан багряно-жёлтыми осенними листьями, он был тих, благолепен... и даже большой рыжий кот, вышедший из соседней подворотни и на неё внимательно посмотревший, удачно вписался в трогательный городской пейзаж.

Давно уже не российская подданная, а в тот момент лишь почётная гостя посла одной из лимитрофных республик, голубоглазая красавица должна была назавтра покинуть родную ей Москву, видимо, навсегда, ибо её уже с Москвой ничего не связывало, кроме разве воспоминаний, да этой вот неожиданно случившейся только что встречи, почти мистической, между Пречистенкой и Остоженкой — был же в этом внезапном событии какой-то глубинный смысл?!

Кивком головы поблагодарив своего вышколенного провожатого, дама, бросив на рыжего кота заинтересованный взгляд, вошла, всё ещё держа в руках свои не пыхавшие благородством белые цветы, в парадный подъезд посольства через открытые водителем тёмные лакированные двери.

Писатель же, пройдясь по москворецкой набережной и взяв один из остоженских подъёмов, вернулся, заметно развеявшись, в свой не слишком уютный подвальчик, объявший его расслабляющим теплом. Скоро должна была прийти она, его чудный тайный друг, его трогательная муза, так неожиданно на него свалившаяся, его спасительница, и он принялся за приготовление вечернего чая, заменявшего любовникам, так уж повелось, дружественный ужин.

В этот момент в сознание писателя вдруг почему-то влетел слегка уже стёршийся образ загадочной киевской дамы — его необыкновенной наставницы, то ли прозорливо прочитавшей, то ли умело угадавшей, то ли попросту вольно написавшей неодно-



значный алгоритм его собственной судьбы, кажется, покорно исполнявшийся... что заставило писателя даже невольно вздрогнуть!

Неожиданно из его рук выскользнуло блюдце, окаймлённое голубой полоской, и, упав на уложенный плиткой пол, вдребезги разлетелось. «К счастью!» — пронеслось не слишком уверенно в голове писателя. Но через мгновение он не без горечи и досады подумал: «Да, мы никогда не увидимся, голубоглазая незнакомка, и пусть всё останется в прошлом, одна лишь память!» Неторопливое бархатистое меццо её уверенного голоса всё ещё отчётливо слышалось в его растревоженном воображении. «Чую, что когда-нибудь ты прочтёшь мой роман, теперь уже и тебе посвящённый».

Раздавшийся в окошко негромкий стук вызволил писателя из нахлынувшего плена грёз: это была она, его Маргарита, его необыкновенный и верный друг!

Выбор

Он его давно уже сделал, этот нелёгкий выбор, но сейчас он вынужденно колебался, ибо у него был теперь мучительно пишущийся роман, — и он снова копался в уме, душе, страстях!

Что было делать, если он не видел, или почти не видел, мало видел... божественного в человеке, зато много видел прямо противоположного, — и баланс в человечестве давно уже сводился не в пользу Господа Бога, хотя и не в прямую выгоду дьяволу, который тоже ведь страдал — от тщеты, ибо человек, как всё более сознавал писатель, отходя от Бога, уходил, не конфликтуя, и от... дьявола, всё более и более полагаясь лишь на самого себя.

Человеку совсем не хотелось ни Божиих установлений, ни дьявольского над собой водительства: он был теперь сам себе бог, сам себе и дьявол!




Как и любой призванный сатирик, писатель не очень-то любил человека, а скорее даже, презирал его — это мерзкое создание, разумеется, не огульно и не по жизни, а в глубоких своих раздумьях, в лоне разочаровывающей метафизики, в лучах горьких откровений.

Полувековая российская распря, современником и почти непрерывным свидетелем которой он был, не считая многого будто бы уже ставшего историческим — жуткого, тёмного, кровавого, никак не располагала не то что к благоразумию, но даже к какой-нибудь, кроме отчаянной, надежде.

Он слишком остро чувствовал сидевшего в человеке зверя, да не просто зверя, а прямо-таки зверя-субстанцию, для которого всё было равно: явь, навь, порядок, стихия, мир, война, революция, бунт, суд, тюрьма, правда, ложь, как и хорошо понимал, насколько трудно человеку сдерживать в себе зверя и насколько легко отпустить его на простор.

Писатель родился, жил и трудился в России, — большой европеизированной стране, не в Америке, не в Китае, не на Ближнем Востоке, не в той же самой Европе, где, конечно, тоже были проблемы, но то были не его проблемы, не родные ему, не близкие: его волновала более всего Россия, переставшая вдруг быть собственно Россией, — и в этой-то бывшей, но ещё каким-то образом наличествующей России, почти уже безнадежно больной России, ему и мерещился всё более и более ад человеческий, вполне земной, совершенно здешний, чуть ли не повседневный.

Нет, он не собирался ни вопрошать к Господу, ни проклинать дьявола, ни обращаться с увещаниями к человеку, — всё это давно уже проделали самые умные и совестливые аборигены мира сего, так ничего и не добившись, — зачем же было повторять этакую тщету?, — оставалось лишь свести всех вместе: Бога, дьявола, человека, но не для оживлённого между ними перекрёстного диспута, что было не в силах человеческих, а всего лишь для просмотрового присутствия в мире сем, если не освидетельствования его, конечно же, в рамках беллетристического,



вполне и романного, ещё и смехо-сатирического, улыбчивого, а потому не слишком тяжёлого и не очень уж обременительного, хоть и безнадежно иронического сюжета.

Выбор был давно сделан, роман хоть и с трудом, но продвигался, переживая взлёты и падения, кризисы и переломы, уничтожения и воскрешения.

У романа был, как всё более подтверждалось, и свой собственный крестный путь!

Американцы

Писатель, вкупе со своими милыми жёнами, вёл в красной столице и светскую жизнь: как-никак автор нашумевшей пьесы о белогвардейцах, идущей в лучшем московском театре, к тому же и поддержанной самим кремлёвским владыкой. Не частые, но всё же вечера, посещения, рауты. Жёны выглядели прекрасно, он тоже смотрелся неплохо: в чёрном или светло-сером костюме, прямой, осанистый, при бабочке. Охотно пользовались моторами — чаще всего городскими такси, а нередко и с почтением ему по-приятельски предоставляемыми.

В Кремле, правда, бывать не приходилось: вождь видно, этого не хотел; вообще, где бывал *Он*, там не было и не могло быть *Его* — писателя: нужен, да не рядом, общались, но не с глазу на глаз, в курсе, но на расстоянии и, если уж так было надо... через чьё-либо ненавязчивое посредство.

Зато писатель бывал в посольствах, особенно, у американцев. Вот уж кто понимал толк в приглашениях, так это американцы, тогда очень заинтересованные в добрых отношениях, конечно, не афишируемых, с красной державой, ухитрявшейся под водительством кремлёвского диктатора не только с врагами всякими биться, но и масштабно строиться, поглощая американские товары, машины, технологии, знания.

Не пренебрегали будущие владыки мира возможностью завести в первой мире левой стране, ими же в значительной мере



порождённой, что-то вроде правой «пятой колонны», ну не колонны, быть может, но хотя бы некоего «пятого круга», а потому и приглядывались усиленно к разным интеллектуалам, заигрывали с ними — авось, пригодятся, чем черт ни шутит! Да и прикрыть кое-кого из них вуалью мировой знаменитости, сделав, по возможности, для кровавадного кремлёвского режима недосыгаемыми.

Хитрой и ловкой была политика собиравшего силу перед явно уже неизбежной новой мировой войной заокеанского улыбчивого хищника — в отличие от тех же прямолинейных и кичливых немцев, более склонных к закрытости и грубой силе.

Риск тут был для писателя немалый — не мог он этого не знать, как не мог и не надеяться на призрачный шанс какого-то покровительства извне, но чуткая женская разведслужба доносила, что всё это было как бы в порядке вещей, не забывала она и присовокупить при этом, что нельзя известному писателю избегать высшего общества, что надобно иметь нужные знакомства, что важно поддерживать полезные отношения, что, не побывав в одном месте, не окажешься в другом, более престижном и высоком, хотя можно было запросто очутиться в итоге и совсем в другом, вовсе и не в престижном, а вовсе и губительном, месте, но напористых и тщеславных женщин, как известно, ничто никогда ведь не смущает и не останавливает.

Американцы были к московской литературно-театральной знаменитости особенно внимательны и предупредительны: посольская машина прямо к дому, автомобильная прогулка по Москве, подчёркнутое уважение во время посольских приёмов, тактичные проводы на машине до дома. Бывали американцы и в гостях у самого писателя, с виски и закуской, с джазовыми пластинками, засиживались за полночь.

Особенно запомнился один бал у американского посла, необычный и грандиозный, даже вычурный — с райскими птицами и дикими зверями, с выписанным из-за границы симфоническим оркестром, безмерным питьём и обильной едой, включая фазанов и рябчиков, поросят и осетров, чёрную и красную икру, экзотиче-



ские фрукты. На том бале можно было увидеть не одних разноплеменных дипломатов, но и красных маршалов с членами правительства, вполне советских писателей, артистов, деятелей искусства, каких-то иноземных бизнесменов, наверняка, и всяких шпионов с авантюристами, не говоря уже о разномастных прельстительных охотниках за особым мужским вниманием, в общем, бог знает кого!

Писатель остро, а главное, по-своему, воспринял эту необычную балльную мистерию, увидев в ней причудливый маскарад без масок... но в то же время и бал масок... уже без всякого маскарада.

То был... *театр!*

При мысли о театре писателю-драматургу стало как-то вдруг не по себе: «Уж не тот ли это театр, которому я служу?»

Маски, маски, маски! Люди как люди, может, более оживлённые и церемонные, чем обычно, но почему-то проглядывают через их удовлетворённые, а у многих и пресыщенные, лица какие-то жуткие личины, достойные... даже не сатиры и смеха, а прямо-таки решительного исчезновения, какого-то внезапного растворения в насыщенном престижем, негой и суетой праздничном воздухе.

Его жена, как раз та самая — третья, с искрящимися глазами и очаровательной улыбкой, танцевала танец за танцем с элегантными кавалерами, облачёнными то в партикулярное платье, то во что-нибудь форменное.

«Да-а, — думал с какой-то закравшейся вдруг в него противной досадой писатель. — А там, за пределами этого большого жёлтого дома, притаилась Москва, а в ней шевелятся какие-то люди, кто молча, кто со смехом, кто со слезами, ютятся в коммунальных квартирах, перебегают тёмные дворы и слабо освещённые улицы, развлекаются в ресторанах, беснуются в психушках, гнездятся в тюрьмах, изнывают в жарких кочегарках и холодных “воронках”, лелеют робкие надежды и призрачные мечты, возятся, чего-то непременно ждут, а встречают всё одно и то же... разочарования, обман, болезни, старость, смерть... Впрочем, и




там тоже маски, разве лишь поневзрачнее да поглуше, как и пошумнее, наверное, да покрикливее. Кто-то в остывшем на ночь городе, уже давно спит, кто-то ещё пялится в газету, а кто-то, может, уже и орёт истошным голосом: “Убивают!”, а кто-то заходится клокочущим хрипом в предсмертной агонии на серой больничной койке... И везде норма, везде аномалия, везде ненужный лоск, везде и неизбежная помойка».

Недолго размышлял писатель в одиночестве: к нему вдруг подошёл со стаканом виски в руке какой-то, судя по внешнему виду, иностранец. Слегка покрасневшее лицо иностранца показалось писателю знакомым: «Ах, вот оно что, так это сам пречистинский знакомец!» Не успел «иностранец» вымолвить и слова, как писатель, выпучив притворно глаза, проговорил заговорщическим тоном: «Мне привет от мастера?» Тот мгновенно включился в игру: «И от одной дамы тоже, той самой, с Подола!» Тут уж писатель выпучил глаза непонарошку: «Из самого Парижа?» «Из него самого!»

Перебросившись кое-какими ничего не значащими фразами и дождавшись, когда подбежавшая было к мужу жена вновь займётся танцами, собеседники отошли немного в сторону, подальше от публики.

— Мир готовится к войне. Особенно Германия. Пока не совсем ясно, как пойдут события. Англия с Францией сдадут Германии всё, лишь бы бросить её на Россию. Война в Европе, как бы она ни развивалась, Россию в покое не оставит. Россию или попытаются сразу втянуть в войну, как это уже было, либо натравят на неё Германию. Однако победы Германии над Россией они не допустят: Россия сама им нужна ослабленная и беспомощная, как новая колония. Потому сейчас и помогают, отчего и мы с вами здесь, у американцев, считай у мировой закулисы. Война для России при любом раскладе неизбежна. Новая мировая война, как и прежняя — война за Россию, причём для всех сразу, в том числе и для самой России. Вот почему мы за скорейшее, любой ценой, промышленное и военное укрепление, — говоривший чуть-чуть запнулся и протянул натужно: — Эс-эс-эс-эр, и именно под



Его, — «иностранец» выразительно кивнул в сторону Кремля, — руководством.

— Но я далек от политигры. Что я могу?..

— Главное, чтобы вы знали... такие, как вы.

— И что из этого?

— Очень многое! Вы формируете, скажем так... идеальность, об общественном мнении мы уж помолчим, и вы, ни о чём-таким даже специально не говоря, можете воздействовать на атмосферу в стране.

— Меня же не печатают, вы это знаете?

— Знаем! Но вас, ведь, кажется, и оберегают, мало того, к вам прислушиваются.

— О-о! Это пирров оберег, я чувствую себя как в западне.

— Напрасно! Я понимаю, что психологически вам трудно, почти что и невозможно, но не убивайтесь и больше работайте! *Он*, — пречистенец опять мотнул головой в сторону Кремля, — совсем нам не нравится, но другого ведь нет... Страна стоит перед очень серьёзными событиями, будьте внимательны.

— Знали бы вы...

Собеседник понимающе усмехнулся:

— Знаем, знаем, и очень даже сочувствуем. И потом, не думайте, что вы совсем один, что о вас забыли...


— Да-а, — протянул писатель, — вот американцы, кажется, только и не забывают.

— С ними надо дружить, и не вам только, а и *Ему*. (*Пречистинец* вновь кивнул в сторону Кремля.) А вам, вам надо быть при этом поосторожнее, доверяйте только себе!

— Вот именно! Вокруг столько дряни.

Тут снова подбежала жена. Собеседник, не доводя дело до взаимных представлений, учтиво раскланялся, и, завернув за колонну, исчез в бальной толпе.

Заметив несколько озадаченное выражение мужниного лица, жена озабоченно спросила: «Кто это? Он что-то тебе сказал?» «Нет, нет, — ответил муж, — мы поговорили немного о внешней политике, а положение в мире, сама понимаешь, сложное. Где




мир, там и... война». И добавил: «Не беспокойся, всё хорошо, я очень доволен балом и рад, что ты с удовольствием танцуешь... Кажется, нам пора, моя принцесса!» Жена благодарно посмотрела на мужа: «Да, пора! Господин секретарь обещал нас отвезти домой, — она огляделась, — а вот и он, наш добродетель».

Они не спеша направились к выходу из гостеприимного американского дома, с удивлением обнаружив, что господин посол с супругой всё ещё стоически провожают гостей. Демократичный посол запросто попрощался с покидавшей бал парой, не забыв поинтересоваться впечатлением от грандиозного театрализованного события.

Сидя в бежавшем по Садовому кольцу лимузине, писатель не удержался: «Великолепный бал, но зачем вся эта экзотика, здесь, в Москве?» Дипломат рассмеялся: «Не судите строго, это не более чем каприз супруги посла, располагающей и собственными средствами, так что госдепартамент тут не виноват. Но получилось довольно забавно, я ведь тоже впервые на таком бале». «Да, — протянул задумчиво писатель, — дела-а!»

Американец, который недурно говорил по-русски, хорошо знал русскую литературу и культуру, воспользовавшись неожиданной разговорчивостью писателя, спросил: «А над чем вы сейчас работаете, NN? Что пишете?» «Да так, — ответил, помедлив, писатель, — либретто всякие к операм и балетам сочиняю...». «Ну, я думаю, — дипломатично заметил американец, — вряд ли это может удовлетворить автора “Белой гвардии” и “Мольера”?» «А что делать, вот ещё пьеску о Дон Кихоте пишу, в общем, всякую всячину». «Но, наверное, есть что-то и более значимое?» Писатель ответил уклончиво: «Для автора ведь всё значимо, но не сию, конечно, на одних либретто, кое-что пописываю и совсем другое, но, знаете ли, с трудом, с трудом...».

Дипломат оживился: «Завидую всё-таки писателям, хоть это и каторжный труд! А пишете, наверное, — сейчас что-то необычное, а-а?» Писатель рассмеялся: «От вас, господин N, ничего не скроешь! Писатели же суеверны, потому и помалкивают». «О, понимаю, понимаю!» — успел заметить дипломат перед тем,



как лимузин притормозил перед домом на клинической улице, где жил писатель.

Когда все вышли из машины, американец, вежливо придерживав писателя за локоть, попросил его отойти в сторону на пару шагов и что-то стал ему говорить, судя по лицу дипломата, весьма важное. Было видно, как писатель явно поблагодарил за что-то американца, вежливо прижав руку к сердцу.

Попрощавшись с дипломатом, супруги направились домой.

— А что он тебе сказал? — не стала сдерживаться супруга, войдя в переднюю и сбросив пальтишко на руки мужу.

Писатель не стал ничего скрывать:

— Он сказал, что какой-то американский издатель готов купить у меня всё, мною написанное и даже ненаписанное, если я уступлю ему права на моё собрание сочинений. Каково, а-а? И собрание тебе, и деньги, и красивая жизнь! Здорово!

Жена, сбросив ненавистные ей в тот момент туфли, растерянно, но не без интереса, посмотрела на мужа:

— И что же ты?

Он весело рассмеялся:


— Сказал, что русские не продаются, ха-ха!.. Нет, конечно, я его просто вежливо поблагодарил, он, как мне показалось, всё понял.

Она задумчиво протянула, готовясь стянуть с себя столь шедшее ей серое платье:

— Но ведь он же знал прекрасно, что это невозможно.

— Эх, Америка, Америка, денежная страна! Может, сам хотел стать моим вечным издателем, в ихней-то Америке. Особливо после моей смерти. Они же все деловые, эти бойкие американские парни.

Уже лёжа в постели, вытянув натруженные от стояния на балу ноги, писатель вспомнил о неожиданно явившемся у американцев пречистинце, точнее, не так о нём, как о помянутой им неспроста парижской особе, когда-то в Киеве столь задевшей душу и воображение писателя, тогда ещё юноши. «Была и нет её, а есть лишь знак от неё да мои о ней воспоминания... Как же она



была права, обрисовывая мою жизнь, эта чудо-ведьма!.. И вот, оказывается, одного круга с пятигорцем. Знал ли он тогда, ещё в Пятигорске, что-нибудь от неё обо мне? Наверное, нет... Да-а, Господи, неведомы пути твои, ох, как неведомы! Это хорошо, что она была, что она есть, эта чудо-женщина. Что же она теперь, всё так же притягательна и прозорлива? Такие не старятся и не дурнеют. Зато умнеют. Вот бы встретиться... да не разочароваться!»


Так думал писатель, лёжа в постели, отдыхая от утомительного бала, охваченный радужными воспоминаниями и тревожными мыслями о кружащемся неистово настоящем. О-о... как всё было вокруг неопределённо, запутанно и грозно!

Кое-как отогнав от себя вдруг подскочившее чувство оскопляющего к себе отвращения и ощутив через мгновение что-то вроде горьковатого облегчения, он наконец-то заснул, почему-то вдруг во сне как-то по-детски невразумительно вздрогнув.

Творец

Он отложил в сторону перо, перестав издеваться над открытой неразборчивой вязью несчастной страницей. Не хватало слов, фраза не шла, текст не давался! Вот и давление, кажется, подскочило, в виски била разыгравшаяся кровь, сердце колотилось, в глазах потемнело. Он замер, сидя за столом, сжав руками пониخشую голову.

За спиной скрипнула половица, и лёгкая женина рука коснулась его плеча: «Ты устал, тебе надо отдохнуть... принять лекарство... полежать». Всё ещё отрешённый, он тяжело встал, искоса посмотрев в озабоченные глаза жены, попытался улыбнуться, но лишь неловко сгримасничал, вытянув неуверенно краешек рта, добрёл, слегка пошатываясь, до кушетки, выпил никчёмную микстуру, поднесённую заботливой женой, лёг и, закрыв глаза, попытался прийти в себя.



Он не заметил, как уснул, а проснувшись, почувствовал себя лучше. «Да-а, — подумал он, — доведёт меня этот чортов роман до могилы».

В комнату тихонько проскользнула жена: «Тебе легче? Ты отдохнул?» Она присела на краешек кушетки. Он ничего не ответил, лишь благодарно сжал её руку. «Тогда я пойду приготовлю ужин». Быстро наклонившись, она поцеловала мужа в лоб.


К писателю вернулись его невесёлые думы. «Иешуа, именно Иешуа, а не Иисус. Тут уж ничего не поделать! Не те времена, не те. Но всё-таки Иешуа, а не какой-нибудь Давид или Иоанн... как напоминание, как несбыточность, как безнадежье. Какая уж тут надежда, разве лишь на катастрофу, на войну, на разгром всего и вся. Да и даст ли это чего-нибудь? Пусть Иешуа, а не Иисус, не Бог... даже и не предтеча... пусть не более чем жалкий пережиток... остаток... сухой лист. А приди сейчас Иисус, даже не распнут, а лишь посмеются глумливо! Люди, люди!.. И самому хочется с Иешуа поговорить, истину узнать, да что он ответит: добро, любовь... Это всё так, да вот где они? Отпечаток Бога, выцветший, ненужный. Страшно, ох, как страшно! Но иначе нельзя, иначе будет неправда... Что же она есть, да и где она, истина-то? Никто не знает, и знать не должен!»

Дверь в комнату неслышно приоткрылась, жена, ласково взглянув на мужа, пригласила его к ужину, не ведая всей силы муки, изводившей её гениального кумира.

Удар

То была страстная пятница, когда он решил вдруг зайти в церковь.

Поставив свечи за упокой родителей и за здоровье своей милой жёнушки, пристроился у стены, прямо перед иконой «Нечаянная радость». Хотелось послушать службу, пение, почувать парение благодатного духа. Закрыв глаза, он, прислушиваясь к умиротворяющему многоголосию храмового пространства, по-



грузился в облегчающие душу грёзы, ни на миг не теряя из поля внутреннего зрения образа страждущего Христа.

Он хорошо понимал Спасителя, его желание возвестить истину, призвать к любви и добру, но он не мог отделаться и от ощущения тщетности его великой жертвы: ни тогда, в момент его страстной проповеди и жуткого распятия, ни потом — в любое другое последующее за жертвенным подвигом Христа время. Были, были последователи Христа, и они совершали великие аскетические подвиги, и встречали за веру в Него мученическую смерть, но... человеке так и не обратился к заветам Христа, мало того, он отверг по сути Христа, предавшись чуть ли не окончательно и бесповоротно противнику Христа — антихристу.


Хоть и пожертвовал Христос собою... но... проиграл!

И этот проигрыш всего более повергал писателя в отчаяние.

Выходило, что все жертвы вообще бессмысленны — человек не меняется и не меняет своей жизни, хотя жертвы, видно, необходимы для жизни — как её сакральное топливо!

Так примерно размышлял писатель, стоя, закрыв глаза, под иконой «Нечаянная радость», как вдруг, явилось шевеление какое-то, как роздых, — это на колени разом пала вся паства, — и писатель, мгновение поколебавшись, тоже опустился на колени, почувствовав вскоре прилив какой-то энергичной субстанции, тёплой, как-то по-особому приятно вибрировавшей и успокаивавшей. Он испытал нежданно-негаданно чувство облегчения, столь ему необходимого — ему, этому издёрганному, давно уже перенапрягавшему силы, измученному сомнениями, невпечатлявшемуся человеку — ищущему не личного спасения — он в сущности ничего уже не боялся — а, смешно сказать!, истины, как жаждали её главные герои его романа, за исключением, пожалуй, Воланда, который хорошо знал, что истины нет, да той же Маргариты, которая в ней просто не нуждалась.

Побыв ещё какое-то время на службе, вышел из церкви. «Бог есть, — да, да, Он есть, но почему же так мало божественного вокруг, почему в мире сем господствует князь лукавый, почему же те же самые люди, что молятся сейчас в храме, покинув



его, грешат себе и грешат? Э-эх... что-то не так в мире сем, что-то явно не так, а ныне вот и богоборчество открытое и свирепое разгулялось».

Так продолжал размышлять писатель, просветлевший вроде бы душой, да так и не расставшийся со своими невесёлыми думами.

Внезапно перед ним возникла какая-то согбенная фигура в дряхлом женском одеянии: «Дай денежку, сударь, дай, не скупись..!» Он уже успел раздать монеты на паперти, а потому, чуть поколебавшись, достал бумажник и вытащил из него какую-то мелкую купюру. Юродивая, посмотрев пронзительно в глаза писателя, с достоинством взяла денежку, развернула её на ладони, разгладила, а потом вдруг взяла, да и стала рвать её на глазах изумлённого дарителя. Разорвав бумажку на мелкие кусочки, она хитро взглянув на писателя, сдула с ладони остатки скорой своей расправы на булыжную мостовую: «У-у, сатана, изыди!.. Вот и всё, весь и вышел, весь, весь!..» Она крутанулась перед изумлённым писателем, словно в пляске: «Гордый ты, соколик, больно гордый! Не приму от тебя подарка, не приму! А ты вот прими Господа нашего Иисуса Христа... пока не поздно!» Ещё раз цепко взглянув в глаза ошарашенного писателя, она вдруг отпрянула от него — то ли выбирать себе новую жертву, то ли попросту благословлять, походя, страждущих.

Писатель постоял мгновение на месте, а потом, явно помрачнев, двинулся прочь от церкви.

Вослед он вдруг отчётливо услышал: «Сам сатана и есть!», но, резко оглянувшись, никого рядом с собою не заметил.

На душе стало совсем скверно: «Вот тебе и испытание! Какой удар! Да, её правда, её, — и какая ж это ей истина известна? Разве лишь юродствовать надо, либо с ума сойти...».



Признание

Квартира писателя
в доме литераторов
на перекрёстке пречистенских переулков.
Муж и жена, уютно устроившись
у обеденного стола,
развлекаются игрой в «дурака», непринуждённо
перебрасывая карты с места на место.
Выигрывал почти всегда муж,
ибо он вообще всегда выигрывал.

Она: Ну вот, ты опять выиграл! А я дура дурой! Это невозможно! Должно же и мне когда-нибудь повезти.

Он (смеясь): Повезёт, повезёт! Не будь дурой, всего-то! Карты лучше раздавай!

Она (тасуя колоду): Вот если я опять проиграю, то всё — буду колдовать!

Он (смеясь): Что тебе стоит, ты ведь у меня ведьма. (*Слегка передразнивая*): Ведь, ведьма, ведьмочка!

Она (примирительно): Ладно, последний раз сдаю, а потом ты будешь сдавать, даже если я проиграю.

Он: Это нечестно!


Она: Честно, честно, за выигрыш ведь тоже надо платить.

Он (посерьёзнев): Это ты правильно сказала: за выигрыш тоже надобно платить, и больше, знаешь ли, чем за проигрыш. Проигрыш — тут всё ясно, это неприятное событие, которое каждый обязан и может пережить, хоть и платить иногда немедля приходится, а вот выигрыш... о-о!.. тут всё только начинается.

Она: По роману твоему видно. А что, Мастер с Маргаритой в выигрыше или в проигрыше?

Он (подумав): Они, конечно, выиграли, проиграв!

Она: Как и Иешуа?



Он (помедлив): Пожалуй, но, проиграв, они всё-таки кое-что выиграли.

Она: Бессмертие?

Он: Может, и бессмертие, хотя оно, конечно же, бессмысленно. Не понимаю Фёдорова, зачем ему это воссоздание всех умерших?...

Она: Тогда если не бессмертие, то что?

Он (ища ответа): Наверное, они выиграли, память людскую, хоть и ненадолго.

Она: Почему же ненадолго?

Он (немного грустно): Ничего ведь вечного у человека нет, кроме, пожалуй, знания, которое, увы, тоже прерывается и забывается.

Она (радостно): О-о, я наконец-то выиграла. Не дура, не дура! Теперь тебе сдавать.

Он (игриво просительно): Может, хватит, а-а? Давай лучше чай пить!

Она (живо): Согласна, это очень хорошая идея, но в следующий раз ты будешь сдавать.

Он (несколько вяло): Знаешь, я, пожалуй, прилягу, что-то устал немного.

Она: Конечно, конечно, ложись!


Он (ложась на кушетку): Эх, здоровьишко, моё здоровьишко!

Она: Брось ныть, всё идёт хорошо, и врач вот обнадёживает, тебе ведь последнее время лучше.

Он (всё хорошо понимая, как врач): Да, да, мне и в самом деле лучше.

Она уходит готовить чай, а он, лёжа на кушетке и закрыв глаза, думает о неумолимо приближающейся смерти, зная, что отец его умер в 48 лет и от той же болезни, а ему самому уже 48, а болезнь развивается, несмотря на уверенные советы врачей и их наигранный оптимизм.

«Бессмертие, — думал он, — явная ведь бессмыслица, хотя человечество к нему оголтело стремится. Наука ещё скажет своё



слово. Недаром среди биологов, генетиков, физиологов и прочих фаустианцев идёт ожесточённая борьба, недаром! А что же есть это самое бессмертие души, а сама душа-то что такое? Понятно, что что-то нефизическое и неведомое, но что? И что толку, что душа живой-де остаётся: где, зачем, с какой целью? Хочешь — не хочешь, а в переселение душ и впрямь поверишь. Опять же зачем это дурацкое переселение?.. Э-эх, никто ничего не знает, да и знать не должен».

В комнату вошла жена с чайным подносом.

Она: На вот, дорогой, попей чайку!

Он: Спасибо, родная! (*Отхлёбывает из чашки*). Очень хороший чай, какой я люблю. (*Пауза*)... Знаешь, я вот о бессмертии сейчас подумал. В романе его не миновать, ибо без него, как говаривал Достоевский, и жить-то не стоит! Все мои главные герои из человекóв получают бессмертие, это им от меня награда... За то, что мучились, искали, что-то нашли, а чего-то и нет. Главное, конечно, не нашли: ответа на вопрос «Что есть истина?» Кроме смерти, разумеется, которая истиннее всех истин... А бессмертие-то всё же не истина!

Она: А почему ты не дал им земного счастья, подарив лишь загробное?

Он (задумавшись): Земное счастье, где оно и что оно? А уж для Мастера с Маргаритой это что-то совершенно невозможное: он всего лишь интеллектуальный сумасшедший, а она — от жира бесящаяся истеричка. И потом, разве в подвальчике своём они не были счастливы?.. Были, были, и ещё как! Но только в этом подвальчике и только на срок, на короткий срок. Поэтому ничего не оставалось, кроме... вечного покоя, но уже там — в мире ином. Это ведь тоже большой подарок, если не полный триумф, но вряд ли такое уж счастье.

Она (озабоченно и догадливо): Выходит, что и мы с тобой... как бы это сказать... умалишённые, что ли, так?

Он (смеётся, немного наигранно): Нет, родная, нет, мы с тобой просто ненормальные. Живём каким-то странным романом, его столь же странными, если не прямо идиотическими ге-

роями, всеми этими благоглупостями, если не попросту чертовщиной.

Она (широко открыв глаза): А тебе не страшно?

Он (твёрдо и сухо): Но иначе я не могу, надо и это пройти — как Гоголь, как Лермонтов, как Толстой, ибо сама жизнь наша такая.

Она (сокрушённо): Дьявольская?

Он: Да, да, в ней слишком мало божественного, почти нет и святого. Достоевский буквально помешался, ища святость, и нашёл всего лишь идиота Мышкина и беспомощного старца Зосиму. Только матери и святые, да и то если им удаётся сотворить что-нибудь суразное... Только матери!

Она: Потому-то и нет их у тебя в романе, да?

Он: Потому-то и нет! У меня много чего нет, просто порядочных людей нет, хоть ими вокруг пруд пруди.

Она (задумавшись): Странно! Почему же? Они тебе не интересны?


Он: Только в моменты каких-нибудь испытаний, сильных потрясений, поражений разных, бегства, предательства, когда всё и проявляется. *(Пауза)*. Впрочем, есть же у меня Иешуа с Левием Матвеем, эти-то двое как раз и есть идиоты... по Достоевскому. Есть и тот же поэт Бездомный, тоже в общем-то идиот. *(Пауза)*. Хорошо бы написать книгу об исконно порядочном человеке, интересно, переплюнул бы я тогда Николая Васильевича с Фёдором Михайловичем?

Она: Ну, а Мастер?

Он (с досадой): Э-э... тоже по-своему идиот, но иного рода — пишущего, к тому же гений. Он ведь вовсе не добр, хотя и не зол. Честно говоря, он мне совсем и не симпатичен. Весь цимис в нём лишь в том, что он отдал себя в жертву, причём по своей воле и совершенно тихо, а это кое-чего да стоит!

Она (неуверенно, с лёгким страхом): А Маргарита?

Он (резко): А Маргарита просто скучающая здоровая дура, ищущая острых приключений, лучше, если любовных, она что, поняла роман?



Она (растерянно): Но как же так? Она ведь полюбила Мастера, спасла его роман, который тоже полюбила...

Он (сбавив обороты): Вот именно! И это замечательно: любовь и всё тут, так вот и должна поступать настоящая женщина.

Она (не справляясь с волнением): И я тебя люблю!

Он (рассмеявшись): О-о, это прекрасно! Я тебя тоже люблю, ибо ты всё-таки не Маргарита, хоть и похожа малость на неё — тем же своим безрассудством, но в отличие от бессердечной Маргариты, ты у меня само сердце.

Она (озабоченно): Боже мой, ты и так устал, а я тут ещё со своими расспросами. Хватит, отдохни!


Он (вполне спокойно): Мне было интересно, я сейчас, знаешь ли, кое-что понял и очень важное... Так что благодарю тебя, мой ангелочек (*целует её маленькую руку*). Спасибо тебе! Я, пожалуй, посплю. Дай мне, пожалуйста, (*вздохнув*) снадобья, ведьмочка моя!

Суд

Хоть и писал он свой роман по-театральному затейливо, сатирически, а местами даже и весело, но внутри-то романа выходила какая-то неизбывная грусть, засевшая в нём потаённым и невыскребываемым комком.

И всё бы было ничего, если бы... если бы... не сам дьявол рассказывал в романе историю, нет, не Иисуса Христа, а всего лишь Иешуа... хотя вроде бы и саму библейскую историю, за непризнание которой одним московским всезнайкой-богоборцем немедленно тут же ему и отомстил — отсечением головы, правда, не мечом молниеподобным, даже не сверкающей на солнце гильотиной, а так, всего лишь тупым колесом трамвайным.

Опять же не кто иной, как дьявол, он же Воланд, пересказывает в романе — роман героя романа, Мастера, о том же Иешуа, мало того, спасает роман Мастера от гибели, а самого Мастера — от психиатрички. Мало того, гарантирует публика-




цию романа об Иешуа, хотя и после смерти Мастера. Но это ещё не всё. Награждает Мастера с его возлюбленной Маргаритой за роман его об Иешуа... *вечным покоем*... причём по просьбе аж самого Иешуа!

Получалось так, что дьявол явился в Москву, затеяв в ней неслыханный тарарам, только... только... ради романа Мастера, отмщения за Мастера и его роман и ради их — Мастера и романа — спасения.

Так и только так получалось в романе: роман о Москве и москвичах, о Мастере и его романе, о дьяволе, об Иешуа, который, в отличие от тех же Понтия Пилата с Иудой, наречён был всё-таки Иешуа, а не прямо... Иисусом.

Но в романе сложилось вдруг и ещё кое-что, что выходило за пределы его сценической фабулы, а потому и не бросалось особенно в глаза: в романе происходил... *суд*, нет, не библейский Страшный Суд, а другой, но не менее серьёзный, а потому и вполне страшный суд — суд круговой или суд по кругу, перекрёстный, сложный, чуть ли не системный, всех надо всеми, за редким, пожалуй, исключением — все герои романа кого-то за что-то судили и были кем-то и за что-то судимы, причём героями же. Так сообразовался не просто роман, почти что и приключенческий, а роман-*суд*, где суд был вовсе и не приключенческий, хотя и не всамделишный, всюю выдуманный, мифический, как, разумеется, и мистический.

Больше всего досталось, конечно, бедному Иешуа — бродячему философу, провозвестнику добра и справедливости: он был судим Иудой, его предавшим и оклеветавшим, Каифой с Синедрионом, его испугавшимися, Понтием Пилатом, прекрасно разобравшимся в Иешуа, подвергшим его битию и его не спасшим, но самое главное — Воландом, знавшим хорошо, что он — Иешуа — Бог, Сын Божий, а в романе-то Мастера всего лишь... жалкий человек, — и это Воланда очень устраивало, ибо сам Бог выглядел перед ним проигравшим и... смешным, — как судим был Иешуа тем же Мастером, не решившимся в веке XX от Р. Х. представить Христа Христом, а Бога — Богом.




Зато Иешуа — этот вроде бы жалкий человек — судил в романе сразу всех, — и всем было от его молчаливого суда не по себе, даже бездушному Воланду, хорошо понимавшему, что он без Иешуа, не говоря уже о Христе, попросту... *ничто* — бесильное, бесплодное и бесперспективное *ничто*, а потому, взяв вроде бы верх в душах человеческих над Иешуа-Иисусом — он искал, кого бы ещё совратить, унижить, умертвить, короче, принести в очередную жертву — как и Иешуа-Иисуса, чтобы удержать своё тёмное княжеское достоинство в мире человеческом.

И он — Воланд — нашёл в Москве 1930-х такого рода жертву, вовсе и не героя, а всего лишь писателя, тоже, можно сказать, философа, чуть ли и не бродячего, который, в отличие от того же Иешуа, не считал всех людей добрыми, а мир справедливым, но который позволил себе усомниться в конечной полезности самого князя мира сего — дьявола, как и в том, что, творя зло, тот творил добро, — и понять эту скрытую уловку писателя-мастера смог только он, Воланд, а потому и принёс он Мастера в жертву, однако, таким образом, чтобы Мастер принял это за благоденствие, на крайний случай, за свалившуюся на него удачу.

Мастер сам был виноват, решившись на отчаянный эксперимент с романом, который он назвал романом о Понтии Пилате, а на самом-то деле роман был не о Понтии, даже не об Иешуа, а об... *Иисусе*, воскресшем так или иначе под пером Мастера в страшные богоборческие и обильные жертвенной кровью 1930-е.

А ведь в жизнь тогда уже вошёл незабвенный 1937 год — год небывалой в истории инквизиторской чистки, долгой Варфоломеевской ночи, затеянной не кем-нибудь, а самим отцом народов, красным кремлёвским вождём, мудрым, жестоким и непреклонным, да не ради лишь своей абсолютной власти, сравнимой лишь с властью самого князя мира, а ради построения в условиях жёсткого армейского повиновения и урезанного казарменного довольствия нового человеческого мира, оснащённого не одной лишь новой техникой и новыми городами, а и новыми людьми — простыми, красивыми, жизнерадостными, мира, способного не только себя защитить, не считаясь с любыми жертвами, а и рас-



пространиться по всем континентам, объяв собою всю планету Земля.

Космический то был масштаб — *космический!*

А тут этот роман: разноплановый, многоликий, неуловимый!

Роман-суд, да не с одним лишь сценарным судом, а и с выходящим далеко за пределы романа судом: над реальностью, над историей, над идеологией, над человеком, надо всем.

Роман-суд, он был и роман-судия, а в роли судии он судил не одну лишь распростёртую вокруг реальность, но и... самого себя, не забыв, конечно, и о своём не самом благочестивом создателе, да так судил его, что летели в огонь исписанные страницы, и сгорали они в огне, темнея и съёживаясь, обнажая скрытую в них inferнальность, а автор... что автор?... тоже ведь горел и сгорал — не от стыда, конечно, а от отчаяния, — не прокурорского вовсе и не адвокатского, а как раз от судейского, самого себя приговаривая и приговаривая — не так к пожизненному, как к вечному, да не заключению вовсе, а суду, что было и впрямь невыносимо, ибо нет ничего страшнее такого вот самоистязания — *творцовского!*

Что за текст, для чего, от какой-такой правды, для кого, зачем, против какой-такой лжи, ежели кругом одна лишь *иллюзия* — странная и неподсудная?!

Роман-иллюзия и автор-иллюзионист, отвратительно зрячие и отменно лицедейные.

А вот настоящий суд над удивительным романом и его бедовым сочинителем — нет, не читательский, как и не новых поколений, даже и не самой истории, которая вообще мало что в памяти-то своей удерживает, не то что понимает, а суд уже иных творцов, из иных эпох. Этот-то совсем уж скверный суд был ещё впереди!

Такое вот сгрудилось в романе и в связи с ним судопроизводство, подстать удивительнейшим судебным процессам над выкроенными незамедлительно врагами народа, да что процессам — мистериям, гениально срежиссированным в ту беспощад-

ную пору великим рудознатцем — кремлёвским сидельцем, — с той лишь разницей, что в романских судах тюремных сроков не давали, хотя крайних мер вовсе и не избегали.

А пока... пока... роман колесовал понемногу, но непрерывно, своего создателя, совсем не щадя его, а писатель... что писатель?... пытался найти выход из этой непотребной ситуации, ставшей для него ещё одной, уже самим для себя воздвигнутой, при этом совершенно надёжной, западнёй.

Доклад

Москва. 1937 год. Кремль.

Кабинет вождя.

За столом заседаний глава

какого-то закрытого ведомства,

в военной форме с голубыми петлицами,

со знаками отличия очень высокого ранга.

Хозяин кабинета прохаживается вдоль стола

с погасшей трубкой в руке.

Остановившись перед обладателем голубых петлиц,

он начал говорить, неторопливо,

с характерным кавказским акцентом.

— Так что там поделявает наш старорежимный мудрец, комиссар?

— Много работает, пишет кое-что любопытное, тщательно при этом скрывая.

— Вот как! (*Настороженно*): Зачем же такая конспирация?

— Да как сказать... роман-то он пишет вроде бы о самом дьяволе, правда, и о Понтии Пилате тоже и об Иисусе Христе.

— Гм! Интересно, интересно. Что это его на чертовщину потянуло? Ещё и Понтий Пилат, Иисус... Религию, видишь ли,

подтягивает, неисправимый анахронист! Интересно, что там в его голове роится? (*Выразительно смотрит на посетителя.*)

— Кое-что нам известно. Прямых аналогий там как будто бы нет, он пишет очень замысловато, кажется, вообще без политики.

— Кажется, кажется... а точнее?

— Трудно пока обо всём судить точно, но, насколько известно, роман не ставит никаких политических целей.

— Зато явно ставит идеологические, да и политики вряд ли чурается. (*После паузы.*) Понтий Пилат... (*слегка хмыкнув*)... уж не с усами ли он, да ещё с акцентом, а-а?

— Прямых аналогий, прошу прощения, не просматривается. У него, видно, другая задача.

— Какая же?

— Думаю, философская: о смысле жизни, о добре и зле, о судьбе человеческой.

— Да уж, с марксизмом-то наш золотопогонник принципиально не знает... Но всё-таки любопытно, что он там надумал?

— У нас есть возможности, но они пока ограничены. Он очень осторожен, тщательно скрывает, лишь иногда читает отдельные куски текста в узком кругу родных и (*говоривший немало запнулся*)... друзей.


— Вот и хорошо! Неужели нельзя найти близкого к нему порядочного человека, а-а?

— Так ведь от него-то у нас и сведения!

— Пусть будет порасторопнее! Мне это интересно!

— Писатель играет явно по-крупному: дьявол у него прямо в Москве объявился, где и устраивает фантастическую сумятицу, чуть ли не борясь со злом.

— Зло, несущее добро. (*Задумчиво, как бы про себя*): Да-а, было бы интересно с ним поговорить, но не могу... нет, не могу... нельзя! (*Обращаясь к собеседнику*): Что ж, пусть пишет! Это хорошо, что тайно. Надо позаботиться, чтобы всё было именно так — тайно!



— Меры уже приняты. Всё у нас под контролем. Он мягко и совершенно для него незаметно изолирован.

— Вот и хорошо! Пусть спокойно пишет. Он ещё нам пригодится. Хорошо, что мы его за границу не выпустили, очень хорошо. Здесь ему лучше, гораздо лучше... Спасибо! (*Пристально посмотрев на уже вставшего из-за стола посетителя*): А вы знаете, комиссар, мне кажется, вместо петлиц вам очень подошли бы погоны, такие, золотые, генеральские, а-а?


Догадки

Из углового многоэтажного дома, в который вселён был кооперативным порядком целый сонм московских литераторов, потерявшегося где-то на перекрестье пречистенских переулков неподалеку от уже взорванного бдительной красной властью Храма Христа Спасителя и от построенной в одночасье новенькой станции прекраснейшего метро, названной в честь ещё только задуманного гигантского и очень знакового для неутомимой власти сооружения «Дворец Советов», вышла тихая супружеская пара и направилась к Пречистенскому бульвару, прогуляться и отдохнуть.

Дойдя неторопливо по тенистой бульварной аллее до сидящего в роковом кресле поникшего Гоголя, трогательная пара присела на скамейку — прямо напротив скорбного памятника.

Он, а это был, конечно же, автор романа, был сосредоточен и о чём-то думал, прикрывшись тёмными очками и уставившись на памятник. Она, его несравненная третья жена, заинтересованно разглядывала игравших около молчаливого монумента детей, стараясь как раз ни о чём серьёзном не думать.

«Да-а, — размышлял писатель, — рукописи-то, Николай Васильевич, оказывается, горят... горят... разве лишь иная вдруг не сгорит, а в общем-то горят, ох, как горят. Как же тебе, дорогой мой, было тяжело!»



Он вспомнил об огне, охотно слизавшем брошенные в него листки его собственной рукописи. Перед глазами всплыли сизые остатки бумаги с гнездившимися на них тёмными зрачками букв — совершенно при этом читабельных. Бумаги уже нет, она сгорела, и вместо неё только пепел, ещё хранящий плоскую форму, а на нём — на пепле — слова, слова, слова...

«Странно как-то, — продолжал размышлять писатель, — может, и ещё где-то в неизвестной дали бытуют буквы, слова и страницы твоего, Николай Васильевич, сожжённого романа, навеки оставшись, и работают себе, работают, а потому, наверное, рукописи и в самом деле не горят, скорее, исчезают, чтобы где-то вдруг очутиться и старательно жить... вроде душ, что ли».

Писатель на мгновение замер, уставившись на сникшую в безнадежье каменную руку великого своего предшественника.

«Интересно, — подумал он вдруг, — как это Гоголь хотел среди мёртвых душ живые-то отыскать. Вот и сжёг вторую часть своей бессмертной поэмы... А вот у меня не поэма, а роман, хоть он тоже полон мёртвых душ... Гм, гм!.. Ах, Николай Васильевич, любимый мой писатель, как это нас с тобой угораздило в одно и то же вляпаться? Или в России ничего другого и быть не может? Господи, странно как и... страшно!»


Писатель отчётливо ощутил гулкие удары в виски напрягшейся крови и почувствовал на лбу капельки предательской влаги.

«Милый, — заговорила жена, посмотрев озабоченно на побледневшее лицо мужа, — тебе не здоровится? Может, пойдём обратно?»

«Нет, нет, всё хорошо, просто я расслабился немного, сейчас всё пройдёт. Давай ещё посидим здесь, мне уже лучше».

Писатель и в самом деле почувствовал, что лёгкий приступ недомогания стал проходить. Здесь, на весеннем бульваре, было всё-таки лучше, чем дома. Он любил свою новую квартиру, но возвращаться домой ему пока не хотелось.

Увидев, что мужу стало легче, жена вдруг спросила его: «А почему всё-таки у тебя Маргарита... ведьма? Разве без сделки с



этим, с дьяволом, не может быть женщины, готовой на всё ради дорогого ей мужчины?»

Он повернул к жене хмурое лицо, внимательно посмотрел на неё, усмехнулся неохотно и с расстановкой ответил: «Почему же не может, может, только ведь Маргарите надо было совершить невозможное: спасти не только Мастера, но и его роман, ещё и покой вечный заполучить, бессмертие, а это можно было сделать только в союзе с дьяволом, с его согласия и по его милости. Вот она и стала ведьмой, точнее, позволила ведьме, до той поры более или менее тихо в ней сидевшей, решительно восстать».

«Что ж, по-твоему, — уставилась на мужа жена, — все женщины исходно как бы... ведьмы?»

«Ну, это не по-моему, да и, наверное, далеко не все, — он игриво усмехнулся, — а вот сколько-нибудь женственные и привлекательные, ещё и умные и решительные, конечно же, немного ведьмы... вроде тебя, моя дорогая. А кем же им ещё быть? Женщина, ты это лучше меня знаешь, сразу является на белый свет ведающей, ей не надо особенно взрослеть, чтобы всё понимать, да и многое знать. Вон, посмотри, как те маленькие девочки в куклы играют, прямо как опытные мамы. Женщины ведь рожают, детей растят, дом ведут, семью обихаживают, и на всё это им инстинкт материнский потребен... Те же Ромео с Вронским сущие дети в сравнении с молоденькой Джульеттой и не совсем уже молоденькой Карениной. А кто такой Нехлюдов рядом с Катюшей Масловой — не большой ли это ребёнок?»


«Можно подумать, — произнесла едко жена, — что мужчины агнцы какие-то».

«Да нет, не агнцы... скорее мерзавцы... но не женщины же они, не женщины, а потому каждому своё!»

Тут жена оживилась: «Уж не с меня ли ты Маргариту свою пишешь?»

«С тебя, дорогая, с тебя... *(засмеявшись)*, но не только, одной тебя маловато».

«Это с кого же ещё?», — бросила она притворно ревниво.



«А с кого хочешь — с Татьяны пушкинской, с блоковской Незнакомки... О-о! Есть они, роковые женщины, есть, но вовсе не обязательно погубительницы, а совсем и наоборот — спасительницы, вроде Царевны-Лягушки (*смеясь*)».

Тут жена догадалась: «Мечту свою изобразил, говори уж честно!»

«Почему же мечту, вовсе нет, если мечта рядом со мной».


Он вдруг посерьёзней, посмотрел на неё пристально и проговорил как-то сдавленно: «Ты не оставишь меня? Я без тебя погибну! Знай! Ты мне нужна! Рядом! Всегда около, всегда со мной. И роману моему нужна, слышишь! Мне нужна твоя верность. Без тебя я не смогу ни творить, ни жить. Я пишу для тебя, ради тебя, с тобой. Понимаешь?!»

«Понимаю, дорогой, понимаю! Я ведь ведьма, так ведь? Не волнуйся, никуда я не денусь! И в верности своей клянусь! И роман мы допишем, и он не сторит, не исчезнет, он будет жить... такой роман! О чём ты говоришь, дорогой мой, всё будет хорошо, мы вместе... и роман с нами».

Глаза его вдруг увлажнились, он был растроган, этот мужественный человек, писавший этот злосчастный роман. «Понимаешь, — проговорил он, — я вроде того заколдованного чудища из “Аленького цветочка”, которому без Настеньки остаётся только смерть от невыносимой тоски».

«Я не Настенька, — ответила с чувством и вполне рассудительно жена, — и я всегда с тобой, а ты... ты всё-таки не чудище, и ты тоже со мной, так что это не совсем про нас, к тому же я не отпускаю тебя, — улыбнулась жена чуть-чуть лукаво, — команду тобой, требую чего-то, можно сказать, зверствую, прямо как истинная ведьма!»

Обхватив её лицо руками, он произнёс отчётливо, забыв, видно, на мгновение, как, откуда и с каким сопутствием взялась у него сидевшая перед ним женщина, его третья жена: «Женщина должна быть верна! Всегда! Это её удел! А вот осталась бы верной Мастеру моя Маргарита, окажись героини мои живы, я что-то не слишком уверен... Да-с, не уверен!»




«Ну, не будем об этом, — встряла споро жена, заметив наивно-невольную промашку мужа, — в романе она верна, пусть уж так и будет... Да и пойдём, пожалуй!»

Вдруг осознав, что сморозил кое-какую несуразицу, писатель, виновато потупившись, произнёс: «Прости меня, но... но от реальности никуда не деться, всякое бывает и может быть, но я тебе верю, понимаешь, верю и без тебя я не могу!»

«А я разве против, милый, — ответила жена, — мне есть, за что платить, и я плачу... ради тебя... *мастер*. Не волнуйся, всё у нас хорошо!»

«Ах, ты, ведьма, ведьма, всё-то ты чуешь и понимаешь, всему-то ты рада, даже глупости моей рада, спасительница моя. (*После паузы*). Ну-у, прощай, Николай Васильевич, до скорого, надеюсь!»

Они пошли обратно, в сторону бывшего Храма Христа Спасителя и новенькой станции метро со странным, но зато очень прогрессивным названием. Перед поворотом в пречистенские переулки он вдруг остановился, наклонился к жене и почти шёпотом спросил: «Как ты думаешь, а *Он* знает?» «Что?» «Что я роман *этой* пишу». «Знает или нет, какое это теперь имеет значение?» «Очень большое! Если знает, ещё и молчит, то можно спокойно жить и писать, а если ещё не знает, то всякое может случиться... всякое!» «Ты же всё тщательно скрываешь, а если и читаешь кое-что из романа, то только своим». «О-о, для них ведь преград нет!» «Ты что, кого-нибудь подозреваешь?» «Тсс, никого, ибо подозреваю всех сразу!» «И меня тоже?» Он задумался: «Жена Цезаря вне подозрений!» «Тогда кого же?» «Это не так уж и важно. Так знает или нет? Что скажешь, моя милая ведьмочка?» «Думаю, что знает. Я в общем-то в этом даже уверена. И через наших! Я молчу, не мешаю тебе читать, так как думаю, что пусть лучше знает, чем не знает. Он ведь тебя ценит, и роман твой тебе прощает, а вообще-то, я думаю, роман ему очень даже интересен». «Что-о, читает?» «Не исключено!» «Откуда ты знаешь?» «Ну, я же ведьма... тсс... и Маргарита». «Да-а, умён и хитер наш гориец, ничего не скажешь... Так, значит, ты об этом уже поду-



мала, хитрунья?» «А что делать, я как-никак бывшая жена высокопоставленного генерала, весьма и осведомлённого». «И сестрица весьма расторопной и тоже весьма осведомлённой сестрички». «Не без этого, дорогой, такова селяви!» «Если знает и молчит, то мы, можно сказать, на верном пути: в информированности и чутье ему не откажешь!.. Да-а-с, времена!»

Поддерживаемый женой под руку, он повернулся и медленно пошёл к дому, вновь глубоко задумавшись. У подъезда им повстречался знакомый писатель — из новых: «Над чем работаете, милейший NN?», — осведомился тот. «Да так, — ответил писатель — пишу тут одну вещицу, так, пустячок, до серьёзного-то руки никак не доходят». «Да, да, — согласился соподъездник, — суэта заедает, опять же на хлеб насущный надо зарабатывать, не до серьёзного тут». «Вот и у меня так же, любезнейший ММ, и у меня. Прощайте! Всего вам доброго!»

Заходя в подъезд, жена бросила быстрый взгляд вслед удалявшемуся знакомцу: «Вот ужас-то, писатель-сатирик, видишь ли, юморист!»


Поражение

Что ж, пришёл срок и последнему, уже и вполне непоправимому, поражению — нелепому, бездарному и отвратительному!

Мхатовцы, жена его со своей просвещённой сестрицей, кое-кто из друзей — все советовали, просили, умоляли.

И он сдался, написал пьесу... о вожде, точнее, о юности вождя — это было всего пристойнее: молодой человек, семинарист, идёт в революцию, уверенный в своей правоте, агитирует, руководит стачками, проявляя уже тогда недюжинные способности управлять, увлекать, вести за собой.

Однако, автор — реалист и хитрец — умудрился заложить в пьесу не более не менее, как... *сомнение* в праведности того, что



делал юный революционер, точнее, что делала революция, которой он самозабвенно служил.

Писателю не было жалко пламенных революционеров, бывших каторжан и героев гражданки, попадавших в жернова красного террора, но красный террор подметал и невинных, а главное, нужных, он был во многом деконструктивен и вреден, по-своему и опасен. Своей пьесой автор намеревался об этом косвенно заявить и побудить вождя свернуть террор, дать дорогу безбоязненному существованию и творчеству: впереди маячила война, и была уже потребна иная, не столь прямолинейная и механическая гражданская консолидация.

Так, или не совсем так, а может, и совсем не так, думал автор, только пьеса как будто бы получилась, была актуальной, неплохо сотканной, цельной, а главное, не сервильной.

Мхатовцы, как и жена со своей сестрицей, были в восторге. Наверху пьесу поддержали. Театр, не долго думая, выхлопотал поездку на юг, в Грузию, на натуру. Выехали большим театральным кагалом. Автор с женой, в комфортабельном спальном вагоне. Настроение у всех было приподнятое. Наконец-то!

Не успели однако проехать трети пути, как телеграмма из Москвы: «ПОСТАНОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ МОСКВУ». Унылые, сели на обратный поезд. Как потом выяснилось, вождь, прочитав пьесу, ничего плохого о ней не сказал, но ставить запретил: «Зачем ставить пьесу о молодом Сталине. В молодости все одинаковы».

Никто ничего толком не понял, зато автор всё понял: он понял, что... и вождь *всё* понял... и не поддался!

Это был не удар даже, это было сокрушительное поражение!

Никаких санкций из Кремля не последовало, но зато оттуда выплыло чудовищное гробовое молчание, что задевало писателя как раз более всего, — ни в чём, собственно, не виноватого, кроме одного... в опрометчивом проигрыше другому гению — политическому!



Почему же писатель пошёл на этот рискованный, если не прямо дурацкий, шаг? Уговоры, конечно, сыграли свою роль, как и желание покончить с благопристойной изоляцией, — сколько же было таиться в этом прозрачном подполье! — но не это было главное, а совсем другое, никому в общем-то и не известное: тут роковая мистическая связь между *гением слова и вымысла* и *гением замысла и действия*, которая не могла не заискриться по инициативе одного из них — и первым сорвался он, писатель, а вождь... вождь остался на непререкаемой высоте, как и положено ему, коварному макиавеллисту, целеустремлённому и непреклонному, обременённому историческими задачами и титаническими свершениями.

Вождь снова переиграл писателя, казалось, уже окончательно.

Что ж, личный явный контакт не состоялся, — оставался теперь только скрытый, эзотерический, — а вот кто здесь оказался в выигрыше — победитель или побеждённый, это уже был вопрос — без никакого вразумительного ответа, что не означало, что у писателя не было и своего шанса обыграть в итоге коварного властителя: писатель, кажется, всё-таки более понимал вождя, чем вождь писателя!

Прозрение


Москва. Начало 1940 года.

*Квартира писателя в доме литераторов,
что в пречистенских переулках.*

Он только что очнулся от продолжительного забытья.

Болезнь брала своё: жена уже не сомневалась, что конец писателя близок.

Он похудел, побелел, глаза его приняли то выражение, которое посещает мужественных страдальцев, с трудом перенося-




щих вновь и вновь возвращающуюся боль и мечтающих лишь о той сладостной минуте, когда эта боль навсегда прекратится.

Несмотря на адскую болезнь, писатель не потерял столь драгоценной для него способности творить. Когда ему было полегче, он просил жену прочитать то или иное место из его волшебного романа, и, о-о, диво!, он даже вносил в совершенный уже текст кое-какие новые поправки и дополнения.

Чувствовалось, что он не хотел воспринимать свой роман законченным, ему хотелось добиться ещё большей содержательной и стилевой сообразности, превращая дорогое ему произведение из обычного литературного повествования в сверхреальное метафизическое послание.

В один из моментов хрупкого отдохновения от невыносимых приступов роковой болезни, прослушав сцену прощания Мастера с опостылевшим городом, он вдруг сказал: «Ты знаешь, я хотел, но не смог сделать иначе, не смог... слишком всё тут тяжело, кроваво и смарадно. Понимаешь, хоть я и люблю Москву, почти как Киев... далекий уже Киев... Москва — гиблое место, да и вся наша многострадальная страна, несмотря на потуги всяческого в ней прогресса — гиблое место... Будет война, наверное, самая страшная, прольётся много крови... Не знаю, что будет с Россией, но что-то будет, наверное, уже и не с Россией. Понимаешь? А жаль, я люблю Россию, но, увы, не эту, не эту! Что бы там ни думал и ни делал впопыхах наш кавказский безумец, но, если уж страна уцелеет, да и он сам если уцелеет, придётся-таки отстраивать ему именно Россию, хоть это и очень проблемно, почти что и невозможно... Убить царя, да как убить: гнусно, без суда, непристойно!.. Им всем это уже аукнется и будет ещё аукаться, до их полного конца. Знаешь, я когда услышал об отречении, то буквально обмер, долго был в каком-то оцепенении. Я мало что понимал тогда, но ясно почувствовал дыхание смерти, почти как дуновение ветерка... прямо физически почувствовал... И сколько потом было горя, убийств, страдания, крови! Нет, не могу согласиться, не могу признать всё это, не могу!.. Ах, человек, человек, что же ты есть на самом-то деле?.. Знаешь, человек



ведь не просто животное, да и не просто разумное животное, это — зверь, понимаешь, зверь! А что значит этот зверь, откуда он, почему? Нет, не могу, а хотел бы... к Богу его привести... зверя-то... но ведь и до меня этого тоже хотели, да тщетно. Грустно, понимаешь, грустно!»

Он закрыл глаза, на лице его проступила гримаса от встречи с новым приступом боли. Жена подала ему облегчающее лекарство. Он его выпил, благодарно пожав жене руку. И на какое-то время затих.

Потом вдруг очнувшись, он не без труда продолжил: «Я, моя милая, давно уже никому и ни во что не верю. Знаю, что Бог есть, что противник его славный тоже есть, хорошо знаю, а вот уверовать во что-нибудь, ранее сказанное, не могу... разве только в Апокалипсис Иоаннов. Да запутан он и неясен... Как тут уверовать, после всего увиденного и пережитого во время этой непрерывной бойни и с тлетворным страхом в груди, после всей этой самоубийственной тщеты? Кругом ведь одна лицемерная игра, ещё и без правил, а всё хорошее и достойное, это всего лишь частность. Я и себе, знаешь ли, не верю. А вот тебе верю, ты ведь со мной, ты... необыкновенная, таких больше нет, Магдалиночка моя... ты... ты... совсем моя... и вся ты в моём романе».

Выдавлив из себя все эти слова, он, как-то по-особому выразительно, долго и пристально, посмотрел на жену, а потом опять затих, погрузившись в тягостный болезненный полусон.

Известие


Москва.

Март 1940 года.

Ближняя дача вождя.

Сталин с Микояном

беседуют за бокалом вина.



Сталин (неожиданно переводя разговор): Ну что, Анастас, прочитал сей шутейный роман?

Микоян (неохотно): Да, прочитал, занятная вещь, по-моему, талантливая, но зачем всё это?.. И потом, явно не наша, пожалуй, для нас и опасная... За что ты его ценишь, Коба?

Сталин (хмыкнув в усы): Не наша, не наша... И хорошо, что не наша, зато вечная, понимаешь, вечная!

Микоян (хитро посмотрев на Сталина): Любишь ты, Иосиф, с гениями-то играть. Ну, и что из того, что есть у тебя этот роман?

Сталин (не менее лукаво глядя на собеседника): А то, что он ещё нам с тобой пригодится, нет, не сегодня и не завтра, а потом, потом... лет так через пятьдесят, очень пригодится! Умница, этот анахронист, большая умница, не стал памфлет писать как в двадцатых годах, и реальность не стал прямо отображать, а миф написал, но очень умный миф, со многими, понимаешь, смыслами.

Микоян (не слишком заинтересованно): А по-моему, враг он нам, хоть и гений!

Сталин (оживившись): Вот именно — враг! Ты, Анастас, как всегда, прав: именно враг, большой и последовательный, так сказать, окончательный враг, но ведь служит же нам, служит, и чем дальше, тем больше будет служить... Таких надо беречь!.. Хорошо, что я его в Париж этот треклятый не отпустил, и работать позволил — в тиши, без шума. Хорошую вещь, Анастас, он сотворил, гениальную!

Микоян (примирительно): Тебе виднее, Коба, а сочинитель действительно способный.

В это время Сталина просят взять трубку. Звонит его секретарь Поскребышев.

Сталин (немного с досадой): Слушаю. Вот как! Фадеев звонил? Это точно? Сам перепроверил? Понятно! *(Кладёт трубку на рычаг. Молчит. Продолжает после паузы):* Вот какая история, Анастас... умер автор этого шутейного романа, лёгкий на помин. *(После паузы).* Так что это его последний роман, самый, думаю,

важный. (*Поглядев на собеседника*): Что на часы смотришь, тебе пора?

Микоян (озабоченно): Да, Иосиф, дела ещё в наркомате. (*Возвращается к теме разговора*): А совпадение действительно редкое: мы тут говорим о нём, врагом называем, а он, подишь ты, умирает. Да-а, неисповедимы пути Господни!

Сталин (задумчиво): И гением называем, Анастас, гением, а какой гений не враг нам? Я имею в виду не нас с тобой, а власть — действенную власть, революционную, бескомпромиссную. Вот и он ушёл... Да что поделывать, нельзя было иначе с ним, с врагом-то! (*Пауза*). Ладно, иди, Анастас, иди!

Микоян, протеревшись, уходит. Сталин остаётся один. Набивает трубку табаком и разжигает. Встаёт и ходит по комнате, неторопливо покуривая.

«Великий человек ушёл, великий... И вещь у него получилась стоящая. Ни похорон ему пышных, ни награды посмертной. Надо сказать Фадееву, чтобы проследил за всем. Публиковать роман ни в коем случае нельзя. Нигде и никак! А роман хорош! Он ещё послужит нам, когда грязью нас будут поливать. Придёт время, поймут. На что замахнулся, а-а?.. Эх-х, никто ничего не понимает! Вон Вернадский, что он понимает, гуманист фиговый! А ведь тоже гений, вроде Берлиоза (*усмехается*). Надеется на разум человеческий! Где он его увидел? Да и разве дело только в разуме? Эх, академики!.. А тут надо целый мир отстроить! Новый мир! И почему это у него в романе Москва мглой накрывается? Вроде как в бездну проваливается. Почему? Э-эх, выиграть бы время. Роман этот печатать никак нельзя! Надо сделать так, чтобы о нём никто ничего не знал, но чтобы сохранился у той же вдовы, а потом, уже через годы, пусть печатают... и гадают, — поймут-то не скоро, если поймут, но, возможно, как раз в самое нужное время. Афраний-то у него хорош, а вот Понтий что-то слабоват... А ведь советский писатель, советский, даже более советский, чем сам Горький... Нет, печатать нельзя!»

Подходит к телефону, снимает трубку.

«Фадеева мне!»



Кончина

Трудно сказать, знал ли великий кремлёвский вождь точную меру своей исключительной жизни, — хотя, наверное, и знал, — но пришёл и ему срок уходить из этого мира, им чудесным образом, хоть и страшно затратно и кроваво, перестроенного, и ушёл великий кремлёвец аккурат через 13 лет после ухода из жизни загадочного московского романиста, так и не увидевшего воочию ни беспримерного триумфа своего красного благодетеля — победителя и генералиссимуса, ни своего собственного писательского триумфа — тоже беспримерного.

Покинул сей мир великий тиран и преобразователь не менее загадочно, чем главные герои конспиративного московского романа — в полном одиночестве, в большом тщательно охраняемом, но хранимом всего более властной тишиной пустом доме, то ли зимой, то ли весной, то ли ночью, то ли днём, то ли сам по себе, то ли с чьим-то ненавязчивым пособлением.

Ушёл *в* Москве, а следственно, и *из* Москвы, но не *в* Кремле и *из* Кремля, а *в* и *из* почти что загородной резиденции, скрытой от людских глаз и жутко охраняемой, с подземным бункером и чуть ли не с подземной же железной дорогой — прямо от Кремля, *в* и *из* резиденции, что располагалась в лесочке прямо за Поклонной горой и недалеко от Воробьёвых гор, откуда как раз взлетели в тёмное необъятное пространство на апокалипсических конях смолкшие на время герои пророческого романа и где перед самой смертью вождя была провидчески воздвигнута по его непогрешимой воле четырехугольная пирамида гигантского храма науки и знания — *Университета*.

Помещён был усопший вождь в итоге своих торжественных похорон в Мавзолее, что на Красной площади, на который он регулярно поднимался со товарищи понаблюдать со свойственной только ему напускной смиренностью за грозными военными парадными, затейливыми физкультурными представлениями и цветистыми шествиями трудящихся, с которого он принимал, как-то нехотя, Парад Победы (нет, не Жуков вовсе, а именно *Он* —




главный тогда победитель и триумфатор), — и положен был в Мавзолее под стеклом в форме генералиссимуса рядом с другим красным вождём — Лениным, которого усопший вождь, чтя за революционную решимость и отменно выразительную жестокость, но не терпя за созидательную никчёмность и идеологический утопизм, постарался в своё время изолировать понадёжнее под присмотром врачей в загородном поместье и обеспечить захворавшему не на шутку Ильичу прямую дорогу в царство почётных мертвецов.

Надеялся ли вождь на бессмертие, зря в таком разе гоняя генетиков, или же, наоборот, ни на что подобное никак не рассчитывал, не любя вообще эскулапов — этих оздоровителей-губителей, но титаническая работа и сверхчеловеческое напряжение, не говоря о тягостных семейных издержках, сказались в конце концов на железном организме вождя, согнув изрядно его и так неширокую спину и пригнув предательски книзу его и так узковатые плечи.

Совсем не нравился он себе, постаревший и сникший, с потухшими глазами и одутловатым лицом, с ослабевшими коленками, не способный уже дерзко и эффективно управлять построенной им же империей, а главное, засомневавшийся вдруг, да так, что и врагу не пожелаешь.

Нет, он не испытывал угрызений совести и не предавался слезоточивым раскаяниям, — он вообще ни о чём прошедшем не жалел, ибо был он со своим сверхъестественным проектом — и проектом, им в общем-то исполненным, — выше всех этих гуманитарных штучек, лишь мешавших его беспримерным деяниям, свершениям и победам.

Презирая людской сброд и люто ненавидя сильных мира сего, он, сам вышедший из презренных, хотел привести всех, ненароком расплодившихся униженных и оскорблённых, жертвуя любыми их количествами, к счастливому земному бытию, вступив в смертельную схватку с господами мира сего, не преминув бросить дерзновенный вызов любой сиюсторонней и потусто-



ронней силе, включая господина хорошего дьявола и даже самого Господа Бога!

Люди — ничто, проект — всё!


Проект был вроде бы ради людей, но уже... *иных* людей — им — сверхестественным вождём — по-инквизи-торски, с презрением и без сожаления, переделанных!

Вместо свободы, любви и страха Божиего он навязал людям повиновение, дисциплину и страх животный, из чего должно было объявиться на Земле новое людское общежитие, основанное на долге, смиренности и абсолютном бескорыстии.

Он и Маяковского поэтому объявил лучшим и величайшим поэтом эпохи, хоть и терпеть не мог его нарочито могучего ступенчатого стихосложения, и белогвардейского писателя-чернокнижника признавал и берёт — импонировало ему редкое и едкое, одновременно историческое и мистическое воображение объявившегося в кишашей талантами Москве беллетристического гиганта.

Нет, никаких угрызений он не чувствовал и покаятельным стенаниям, как тот же Иван Грозный, не предавался. Победа в мировой войне, которую он промыслительно назвал Великой Отечественной войной, всё слепо и безоговорочно списала, легитимировав его незаконнорожденный строй, оправдав и все жертвы уникального строительства, им безоговорочно затеянного и безжалостно осуществлённого. Но... но... грыз его всё-таки червь сомнения... *то* ли он в конце концов создал, успел ли, продлится ли?

Понимал, что сил у него на всякие доделки и, тем более, на новую раскрутку чего-либо грандиозного уже не было, соратникам своим не верил, да попросту на них и не рассчитывал — этих, хоть и крупных, но в общем-то пигмеев, разве лишь исключая умного, расчётливого, деятельного и коварного Берия, этот ещё кое-что значил и мог, но опасен был, очень опасен... себя в нём вождь немало узнавал, хоть и не того он был калибра. Маршалов по углам раскидал, подкупив орденами, роскошью и «положением» — да и что они понимали в делах государственных, эти от-



утюженные уставами, приказами и беспрекословным подчинением вояки? Молодёжь... ох, эта молодёжь... кое-кто подрастал, но зелены ещё, да и кому доверить... вон те же ленинградцы, чего надумали?

Д-а, что-то могло быть потом, уже без него? И думать об этом не хотелось, и не думать было невозможно.


У Сталина ведь никаких союзников, кроме его великой идеи и всеокрушающей личной воли не было — даже армии и флота, даже того же НКВД.

Он это хорошо знал, никому и никогда не верил и не доверял, лишь полагаясь на неукоснительную исполнительность, иной раз и... нет, нет... не творческую, конечно, а всего лишь на изобретательскую.

Понимал, что очередная чистка нужна ему и всей его стране как воздух, но чувствовал, что не совладает он уже с тягостными инквизиторскими задачами: стар стал, умаялся и ослабел, зоркость потерял, размяк, а с загнанными лошадьми, как известно, не церемонятся — чуял за спиной заинтересованное присутствие ловко скрывавшихся охотников, и интригу смертельную против них было затеял, да что-то не так всё получалось, не так.

А пока... пока... одиночество — тупое, неотступное, смрадное! Нет, не монашеское вовсе, не в келье, не в скиту, даже не в подземной какой-нибудь дыре, заживо погребённым. Думы ведь у монахов не те, совсем не те, и деяний таких у них нет, и наследства такого нет — ничего нет! А у него, вождя народов, столько всего! Опять же монах, хоть и размышляет о смерти, но совсем по-другому, он более всего о спасении души заботится, а тут... тут столько всего. Да и, видно, очередь его уже подошла... под репрессию... от своих же соратничков. Надо бы от них избавиться, на молодых опереться, на новых, которые как раз репрессию на него и устроят, как он сам в свое время с Лениным. Э-эх, никого нет, никого, кроме канальи Берии!

Одиночество и... пустота! Пустота в душе и вокруг, в самом земном пространстве, ничем не заполненная. Вот это и в самом деле репрессия! Разве можно было представить, что победа,




да что победа, целая серия побед... полный триумф... что всё это невероятно большое и стоящее увенчается вдруг этой страшной и неотгонимой пустотой. И руки опускаются, и ум охладевает, и делать ничего не хочется. И страх какой-то жуткий и необъяснимый, откуда-то ни с того, ни с сего берётся — прилипчивый, изматывающий, снедающий. Аж выть хочется! Да-а, вспомнишь тут и об Иоанне Грозном... хоть триумфатором он таким и не был. А тут ведь абсолютный вроде бы триумф, небывалый в истории, никто из великих преобразователей и устроителей такого не достигал... и эта назойливая, безжалостная и злая, абсолютно пустая, замещаема лишь приступами вязкого страха... *пустота!*

Вот оно — *возмездие!* За что? Нет, не за бессердечие и невинные жертвы, не за кровь обильную, а... да-да... именно так... за высокомерие, за гордыню, за возвышение! От такого возмездия никому не уйти, если дожить до полной победы, до исполнения проекта, до избыточного триумфа, а стало быть, до отсутствия всего и вся!

Якова нет, сгинул в плену как будто бы назло отцу, да и что бы случилось, если б он был — одно только расстройство; Василий — э-эх... тоже одно расстройство, то ли обормот, то ли притворяется таковым, что не лучше; Светлана, несчастная девочка, его дорогая Светлана, всё мечется, страдает как сумасшедшая; Надежда... э-эх... Надежда... не выдержала, подвела, а он её, видно, только по-настоящему и любил, как может любить овечку какой-нибудь экзотический варан.

А пока оставалось лишь ждать эту самую смерть, ожидая встречи с... тут ему было, честно говоря, всё равно... с кем, но ждать, фиксируя наступавшее неумолимо старение и необратимый отток из организма живительных сил, притворяться, стиснув зубы, изображать вождя, подавляя в себе неодолимое желание сбросить с себя командно-инквизиторско-отеческую маску, оставить всё, уйти куда-нибудь, как того жаждал граф Лев Толстой, исчезнуть, как это проделал, похоже, Александр I, обрести хоть какой-нибудь покой, пожить чуть-чуть без охраны, без славы, среди живой природы, в тишине... Но нет, это было невозмож-



но, — он давно уже был заложником собственного земно-космического проекта.

Только смерть — и только *она!* — могла споспешествовать великому проектанту и созидателю, дать ему чаемое успокоение, освободить от поедавших его тяжких дум, от непрекращающегося страха за себя и своё творение, от возможного вдруг жуткого открытия-приговора: «Всё — тщета, за исключением Победы, которая уже явилась и никогда уже не повторится!».

И Сталин — великий, могучий и непобедимый *Сталин* — вдруг умер, точнее, умер человек по имени Иосиф Джугашвили, бывший одно время *Сталиным* — вождём народов, а вот Сталин как *феномен*... нет, не умер, он остался, что сразу же проявилось как в раздавленных толпою на его похоронах случайных (?) московских жертвах, так и в поспешной и вовсе не случайной ликвидации его трусливыми приспешниками бойкого и опасного для всех них товарища Берии — самого вероятного тогда преемника ушедшего в другой мир кремлёвского владыки и самого возможного в будущем кремлёвского диктатора с ядерным и космическим арсеналом в руках, возникшим не без его деятельного, напряжённого и жестокосердного участия.

Дождался феномен Сталин и... *разоблачения* (почти как в романном варьете!) да не чего-нибудь, а *себя самого*... и прямо из легкокрылых уст своего самого презренного соратничка, ставшего вдруг его реальным преемником в Кремле (а ведь не по Савке явно была свитка!), выставившего вдруг Сталина, ладно бы тираном и злодеем, а то ведь и трусом, и негодяем, и воеводой бездарным, пожалуй что... и вообще ничтожеством каким-то — грубым, лукавым, невежественным (и ведь признали тогда многие людишки всё это за правду, хоть и не поверили до конца во всю эту галиматью, ибо от страха бесконечного, почти что уже и генетического, перед усатым кремлёвским диктатором только так и могли, вместе с его верховным «разоблачителем», кое-как избавиться, да и обелить себя как-то в собственных же не находящих покоя глазах!).




Говорливый и шустрый, преемничек перехитрил тогда не одного умершего Сталина — своего благодетеля, как и не только всесильного Берию, ловко подставив его под маршальские пули, но и целый ряд ведущих сталинских сподвижников, выкинув их скопом из власти и разогнав по мышиным норам, мало того, перехитрил он и самого победоносного маршала, его дважды выручившего (против Берии и против сталинских «соколов»), засадив славного покорителя Берлина, превзошедшего в ратных делах самих Эйзенхауэра с Монтгомери, под плотный домашний арест. Но отличаясь более всего не глубокомыслием, а лишь необыкновенной изворотливостью, преемничек, наконец, перехитрил и самого себя, увлечьшись ничем не заслуженным паравождистским величием — совершенно, знаете ли, ложным, что и не замедлило сказаться в прямом соответствии с принципом бумеранга, когда преемничек был деловито и споро свергнут с властного пьедестала уже своими собственными соратничками, им же самим и пригретыми.

Но до своего «добровольного» ухода от власти ловкий сталинский выдвиженец, успел-таки ещё раз посчитаться со своим, как оказалось, не столько благодетелем, сколько обидчиком — Сталиным, уже давно мёртвым, выбросив его — небывалого генералиссимуса, покорителя полумира, отца народов, строителя нового мира... труп (о теле тут говорить уже не приходится!) прямо во сыру, много чего повидавшую и запомнившую прикремлёвскую землю.

Да, всё случилось именно так, как, наверное, и грезились товарищу Сталину в минуты тяжкого просветления: глупость, предательство, коварство, «куча дерьма» на его могилу, наклканый на него позор!

А ведь что-то подобное, уместно заметить... нет, нет... не предвидел, конечно, но всё же предполагал как-то своим романом остроглазый московский писака, выводя на московскую inferнальную сцену глубокомысленного ироничного Воланда с его бессовестной бесовской командой и верша через их посредство то ли правый, то ли неправый, то ли страшный, то ли совсем и не



страшный, вполне и гуманитарный (ну прямо как в Гааге!) суд, он же и *скорая расправа*, то ли заслуженный «людьми», то ли нет, но... но... почему-то неизбежный, причём не где-то и когда-то, а прямо сейчас и прямо здесь — в Москве!

Выходит, не зря, совсем не зря мучился великий вождь сомнениями, подозрениями и всякими нехорошими предчувствиями, пребывая в предсмертном одиночестве в вызванной им же самим вязкой умопомрачительной пустоте!

Выстрел


Да, за товарища Сталина, вождя, победителя и триумфатора, никто тогда, — как в момент его внезапного «разоблачения», так и в момент выброса его брэнного бездыханного тела из Мавзолея, — не заступился — ни из его притаившихся и в рот воды набравших испуганных соратничков; ни из доблестных маршалов и генералов, возможно, и чертыхавшихся по-мужицки в узком семейном кругу, принявши на грудь достойную порцию хмельного зелья, по поводу зарвавшегося «сталинского прихвостня», но, памятуя о незавидной судьбе многих красно-советских милитариев, благоразумно помалкивавших; ни уж тем более никто из мастеров пера, кисти и клавиш, как, собственно, и из деятелей науки, тех самых мудрецов-марксистов, совсем недавно ещё нещадно цитировавших отца народов и поминавших его имя десятками раз на одной несчастной странице своих бессмертных сочинений. Не вступились за поруганного вождя и обалдевшие от его чудного разоблачения народные массы — движители-де истории, что в общем-то было вполне понятно, как понятно было их бессознательное стремление пройти во что бы ни стало подле гроба великого вождя-благодетеля в скорбные дни нескончаемого с ним траурного прощания.

Однако... однако... кое-какой протест, разумеется, единственный, всё-таки имел тогда место, и связан он был, — конечно же, косвенно, — с полулегальным московским романом, точнее, по-



жалуй, с его мистическим создателем, как и с его женой, третьей по счёту, его законной, тоже не без некоторой, знаете ли, мистичности, вдовой, — и заключался он, этот самый протест, в нарочито протестном, можно сказать — вызывающем, самоубийстве одной важной персоны тогдашнего времени, и самое замечательное — из высших литературных кругов, да не кого-нибудь, а самого Александра Фадеева, главы писательского союза, приближённого Сталина, может, даже и убеждённого сталиниста, автора примечательного краснопартизанского «Разгрома» с бойким и беспощадным Левинсоном в качестве главного героя и громоподобной патриотической «Молодой гвардии» — уже с героями-комсомольцами в качестве главных литературных героев, лишь заместивших на страницах романа действительных героев, мальчишек и девчонок, поднявшихся по ничем не запятнанной воле своей на врага-захватчика и отдавших за Родину Советскую и за самого товарища Сталина свои молодые жизни.

И всё было бы ничего, если б... если б... Фадеев, первый секретарь сталинско-горьковского Союза писателей СССР, не посетил бы, — надо полагать, не без ведома кремлёвского владыки, а то и по его прямому указанию, — отверженного московского литератора, автора «Турбиных» и «Мастера и Маргариты», мучительно тогда умиравшего, не попытался бы о чём-то важном с ним поговорить, не разрыдался бы искренне по поводу его преждевременного ухода, не помог бы справить его похороны, не навещал бы потом с сердечными утешениями вдову писателя, его последнюю жену, более всего его понимавшую и беззаветно преданную его мистическому творчеству. Ничто не мешает предположить, что мог строить писательский глава и кое-какие планы относительно возможного опубликования столь необыкновенного романа, о чём, конечно же, не могла не говорить с ним горячо ему признательная и очень заинтересованная в обнаружении доставшегося ей в сакральное наследство чудо-текста зачарованная ушедшим в иной мир мужем-писателем и очарованная дружеской близостью с главным в СССР литературным вождём, страдающая от одиночества и непонимания, неприкаянная вдова.



Всё тут сложно и малопонятно, но в то же время и трагически притягательно: автор романа, сам роман, Сталин, а потом и все герои романа, в особенности Понтий, Иешуа, Иуда, Афраний, опять же Воланд со своей гоп-компанией, Берлиоз со своей отрезанной головой, ну и Мастер со своей неуёмной Маргаритой.

Вот и Фадеев со своим неуместным для послесталинских властей револьверным выстрелом в сердце, будто бы сильно пивший в те роковые для него дни, но не согласившийся, не признавший, даже восставший, ибо был ещё один его выстрел — предсмертная записка, да не куда-нибудь, а прямо в ЦК КПСС: «Идеалы попораны... не могу... предпочитаю уйти из жизни».

То ли Сталин его забрал с собой, то ли он сам устремился вслед за разоблачённым и обгаженным вождём, то ли попугайствовать униженно среди пигмеев не захотел, то ли совесть его замучила, ибо имел он, видно, прямое отношение к перекошенным судьбам многих советских литераторов, наверное, и к гибели кое-кого из них, хоть как будто бы кое-кого и поддерживал, и защищал, и спасал... ох, ох!.. всех этих «то ли» тут видимо-невидимо. Но сделал он именно этот выбор, личную самоубийственную Голгофу, которой ему, надо думать, никак уже было не миновать — прямо в соответствии с пронзительным московским романом, его мифическим, но таким реалистическим смыслоизвержением.

Погрузился Фадеев-Берлиоз в сей роман, столкнулся с его автором — Мастером-Воландом, пообщался с вдовой романиста — Музой-Маргаритой, да и не выскочил из влекущей, как русалочное болото, романной сферы, не выпутался из цепких романских сетей, завершив путь свой земной такой вот добровольной (?) смертью, — хорошо хоть не подтрамвайной, как у того же Берлиоза, — чая очистительно посчитаться с глумливым миром человечьим и обрести уже в мире ином долгожданный зачеловеческий покой!

Вот вам, господа, и роман с романистом, вот вам и чуткая благочестивая вдова с благонамеренным романом на руках!



Часть третья
Пришествие

Явление

*Кабинет
главного редактора
толстого литературного журнала.
Москва. Середина 1960-х.*

Главный редактор, вставая из-за стола, направился навстречу пожилой, но очень миловидной и подвижной женщине, вошедшей в кабинет с увесистой поклажей в руках — рукописью ещё никому неизвестного романа:

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогая NN, очень рад вас видеть! Вы так быстро появились после телефонного разговора, прямо чудо какое-то!

— Ой, я так рада! Сколько лет ждала! Вот на крыльях и прилетела. Что вы на меня так смотрите? (*Смеётся*): Нет, не на метле, не на метле. Вот она, рукопись, вся здесь... дождалась. Я так рада!

— Спасибо, спасибо. Может, чаю или чего-нибудь покрепче, коньячку, например.

— Не откажусь, знаете ли, ни от того, ни от другого. Такой день, такая радость! Я столько ждала, он так этого хотел, лишь бы роман был опубликован. Такое счастье!

— Будем надеяться, что всё сладится, как мы задумали. Предлагаю за это выпить. Ну что, за роман!

— За роман!

— Пейте чай, цейлонский, вкусный.

— Муж тоже любил чайку попить, сам любил заваривать. А что с публикацией, уже всё решено?

— В целом, да... но, сами понимаете, всякое у нас бывает (*он показал многозначительно пальцем наверх*).

— Понимаю, очень хорошо понимаю! Потому и трясусь и молюсь тоже, всё время молюсь.

— Бог-то на нас не рассердится?

— Нет, что вы, как это вдруг, Бог всепонимающ и милосерден, а потом, я думаю, нет, нет... и муж был уверен, что Бог его поймёт и простит. Такое время было, такое время! Да и сам роман, по-моему, божественный. Это лучшее произведение мужа... лучшее!

— Посмотрим, посмотрим. Это правда, что ваш муж очень хотел за границу?


— Хотел, очень хотел! Там и братья его были, в Париже. Один был учёный-микробиолог, работал в Институте Пастера, другой — музыкант, много тогда по Европе гастролировавший. Муж ведь чужим здесь себя чувствовал, совсем чужим, — эти постоянные гонения, травля. Ему не так за границу хотелось, как покоя, творчества свободного хотелось.

— И что, Сталин его действительно поддерживал, на «Турбины» вроде бы хаживал, даже, кажется, звонил ему?

— Всё было... но было и другое. Они со Сталиным так и не встретились, хотя Сталин обещал, а муж этой встречи очень ждал.

— Вот как?!

— Тогда всё к Сталину сводилось, он сам всё держал в руках. А муж так и остался изгоем.



— Любопытно всё это. А Сталин знал о романе, может, читал его?

— Мне это неизвестно, но всё могло быть. Он мне ведь не ответил...

— Кто? Сталин?

— Да, Сталин. Как мужу последний раз не ответил, так и мне не ответил. Сталина было невозможно понять.

— Хотите ещё чаю, коньяку? Давайте ещё по одной, а-а? За удачу!

Поставив рюмку с недопитым коньяком на стол, гостя заторопилась:

— Ну, мне пора. Полечу восвояси!

— Простите, задержу вас на минутку. Дело в том, что при подготовке романа к печати возможны, наверное, некоторые купюры. Вы не будете сильно против, если?..

— Понимаю! Что ж, раз этого совсем не избежать, я согласна. Только с одним условием...

— Конечно, конечно, только с вашего ведома, без вас... ничего.

— Верю вам!

— Вы не волнуйтесь, всё будет хорошо!

— Поверить в это никак не могу, чудо какое-то! Он мне ведь завещал издать во что бы то ни стало. Я столько ждала! И как-то роман будет встречен?.. Никто ведь ни к чему не готов.

— Уверен, что хорошо.

— Как подумаю, так меня дрожь пробирает! Будто на экзамене, только хуже.

— Тогда надо, дорогая NN, по третьей, против дрожи и для порядку.

— Ну, если только по глоточку. За ваше здоровье!

— За вас, дорогая NN, за ваше здоровье и доброе настроение!

— Всё-таки я верю в удачу! *(Она дотронулась ласково до лежащей на столе рукописи).*

— Да-а, подполье романа, кажется, заканчивается, он переходит на легальное положение. Какой-то станет его судьба?

— О-о, полной чудес! Это говорю вам я, одна из героинь сего гениального произведения (*смеётся*)... можно сказать, его ведьма!

Главный редактор поспешно подошёл к уже вставшей из-за стола очаровательной гостье, непритворно склонил перед ней свою седую голову и, взяв её изящную ладошку в свою руку, без всякой рисовки искренне поцеловал:

— До свиданья, дорогая NN! Очень рад был познакомиться с вами и не только как с героиней романа, но и как с героиней... уже по поводу романа. До скорой, надеюсь, встречи... *Маргарита!*


— Вот давно бы так, а то всё почему да почему? Прощайте, буду ждать от вас вестей, — и, выразительно глянув на немного озабоченного хозяина кабинета, чеканно добавила: — самых благоприятных!

Проводив необычную посетительницу до дверей приёмной, главный редактор вернулся в кабинет, посмотрел на лежавшую на столе многострадальную рукопись, дотронулся до неё и вдруг выдохнул невольно вслух: «Да-а, неисповедимы пути твои, Господи!».

Событие

Опубликованный с купюрами в толстом литературном журнале, носившем знаменательное к случаю имя «Москва», роман был встречен читателем по-разному: от бурного восхищения и чуть ли не телячьего восторга в экзальтированных богемно-интеллигентских кругах до тихого недоумения и даже некоторого разочарования у не склонной к опереточной экзальтации образованной публики.

Кто-то увидел в романе своё, родное, гротескное и протестное, а кто-то ничего особенно ценного и не узрел, кроме раз-



ве забавного, но в общем-то не слишком роману органичного, да не очень-то и изысканного, зубоскальства.

Несмотря на трескучее хвалебное токование колонии «настоящих ценителей» самопроизвольно, впрочем, избранных, эффекта разорвавшейся посреди Москвы беллетристической бомбы не произошло: роман не удостоился громоподобного интеллектуально-духовного разряда, хотя в целом был весьма благосклонно и даже живо принят простодушным и ничего каверзного не подозревавшим образованным населением, — почти так же, как популярнейшие «Стулья» и «Телёнок» — с раздёргиванием на цитаты и афоризмы, крылатые словечки да анекдотические сценки, в общем, как полный бытового остроумия и изошрённой занимательности бурлеск.


Тогдашний читатель, давно уже не веривший ни в Бога, ни в чорта, ничего не смысливший в метафизике и эзотерике, не обременённый и знанием текущей реальной истории, легко купился на сатиро-смеховые уловки романиста, сохранив себя в девственной невосприимчивости к смысловым глубинам многослойного романа.

Совсем невдомёк было неискущённому читателю, зачем в роман явился вдруг сам сатана (Воланд вообще воспринимался как ловкий фокусник, некий сказочный волшебник, лишь артистично пародировавший нечистую силу), зачем там оказался Иешуа с Понтием Пилатом, как и та же Маргарита в образе и функции ведьмы, как и многое другое, почти всё, — и роман выглядел не более чем занимательной шуткой остроумного писателя, ушедшего из жизни четверть века назад.

Вразумительной прессы тогда по поводу романа, как и самого романиста, так и не объявилось.

Роман был принят, но не понят, — и должно было пройти время, чтобы к роману пришёл уже иной читатель, и критик тоже, а главное, сам роман должен был оказаться в другой эпохе, более, так сказать, романной.

Белый свет роман увидел через четверть века после своего создания; четверть века понадобилось, чтобы к нему малость по-



привыкнуть; и ещё четверть века требовалось, чтобы только начать его понимать.

Такова судьба любой великой литературы: сложная и трудная, совсем при этом и не печальная!

До глубокого осмысления романа было ещё далеко, но зато близко оказалось до политически конъюнктурного снятия обильных сливок с романа, что и было проделано — *вдруг откуда-то взявшимися аккуратно после внезапной публикации романа* — борцами за свободу и справедливость, интеллигентами-шестидесятниками, перманентными протестантами и революционерками, самые заслуженные из которых получили от своих заграничных союзников почётное наименование *диссидентов* — инакомыслящих, стало быть, какими были когда-то в России Пушкин с Лермонтовым, Белинский с Чернышевским, Герцен с Толстым, да, надо полагать, и сам автор опубликованного с купюрами романа тоже в таковых пребывал.

Всё тут было для них ясно: окружавшая гнетущая реальность — та же воскресшая в образе СССР римская Иудея, а если этого мало, то сама воскресшая Римская империя, а непреклонные борцы с этой гнетущей реальностью — те же «мастера» со своими «маргаритами», страдальцы-подпольщики, пишущие, прячущие и сжигающие свои откровенческие рукописи, попадающие в психушки, ссылки и тюрьмы, бегущие или высылаемые за границу, гибнущие, короче, разного рода иешуаны!

А над ними грозные и бессовестные защитники гнетущей реальности, их — иешуанов — преследователи и палачи: каифы, пилаты, афрании, к услугам которых сонмы критиков, писателей, академиков, коммунистов и комсомольцев, не говоря уже о мириадах сознательных рабочих и колхозников.

Но... и это самое важное!.. у иешуанов был и свой Воланд, иностранец, консультант с копытом, при мощных организационных возможностях и больших деньгах, подбиривший, сохранявший и публиковавший их полные гнева, намёков, сарказма и отчаяния рукописи, подбивавший борцов за свободу и человечность на всякие непристойные по меркам затхлого времени дея-



ния, вытаскивавший их самих из психушек, ссылок и тюрем, перебрасывавший за границу, предоставлявший им — после изнурительной подпольной работы и страшных публичных испытаний — вполне заслуженный покой, там, конечно, за пределами гнетущей реальности.

Так вот оно что?!

Роман-то был страшно актуален и важен прямо тогда, в незабвенные 1960-е, в разгар борьбы с построенным кремлёвским диктатором ужасным режимом! Романист угадал и уже мстил свои романом, поддержавшему его, но его же и унизившему красному вождю, да что вождю, всему красному миру, столь им ненавидимому. И как мстил! — всего лишь посредством приютившейся в романе и вытащенной из него вовремя и ловко... политической, а лучше сказать, заговорщической матрицы!

Ненавидевший революцию и презиравший всякую протестную интеллигенцию, он сам, автор свалившегося вдруг на шестидесятников чудо-романа, он *сам*, оказывается, был революцией и интеллигенцией, мало того, действовавшей революцией и практикующей интеллигенцией!

Вот-те раз, вот-те на!

И никто не задумывался тогда, что голова-то слетела в романе как раз у Берлиоза, интеллигента и эрудита, да ещё и по воле самого Воланда; что Иешуа не был вовсе революционером, а обращался лишь с мирной проповедью к сердцам и душам заблудших людей; что Воланд никак не помог Мастеру, а лишь умертвил его негромко и надёжно, прибрав к рукам его гениальный роман; что Москва, хоть и горела по инициативе бессовестного Воланда, но никуда после его поспешного бегства не делась, даже никак не изменилась.

Да, нравился диссидентам роман, точнее, извлекаемая из него диссидентская навь, — и был причислен автор романа к лику диссидентских святых, и служил роман непреклонным борцам за свободу и справедливость, укрепляя их мятежный дух и подерживая надежду на лучшее будущее.




Нет, роман не был посвящён диссидентам, революционерам и пламенным борцам за свободу и человечность, ибо автор романа вовсе и не знал за что надо было бороться, да и надо ли было вообще за что-нибудь бороться, тем более, по-интеллигентски, а потому автор создавал роман по другому поводу и ради иных снов — как раз ему-то не слишком и ясных. Но... но... кто знает, как слово вправе отозваться... — вот и отозвался звонко роман в уютных душах подпольных героев, — и был его автор воздвигнут на крутой пьедестал, и стал на нём невидимым кумиром, и был воскурен у его воображаемых ног прилежный фимиам, и... и... стали терпеливо ждать роман и его давно ушедший автор иных политических разоблачений, как и приемлемых смысловых трактовок, ради которых, возможно, он и был создан, но для этого роману нужно было обязательно очутиться в какой-то иной атмосфере — более романной, что ли!

Предчувствие

«Расскажу об одном странном факте, не имеющем никакого мистического подтекста, если, конечно, не почитать за мистику саму жизнь, весь этот мир, в том числе и материальный, ибо что есть на самом деле материя, если не сгустки неизвестно чего, чуть ли не самой пустоты?

В начале 1980-х умер генсек, точнее, некая обветшавшая и выветрившаяся к тому моменту фигура, обладавшая маршальским мундиром и увешанная орденами (ах, эти золотопогонники!), — и нам, преподавателям, было поручено что-то сказать студентам на текущих занятиях по поводу кончины генсека. А я проводил в тот день семинар как раз в одной примечательной, можно сказать, и любимой мною, группе.

Явился я в аудиторию, помолчал немного, собрался с духом и начал говорить: «Сегодня ушёл из жизни руководитель партии и государства... — А дальше-то что говорить?.. — Ну... про-



шедший жизненный путь вместе с народом и страной, много трудившийся, бывший на фронте, стоявший во главе...”.

После таких и ещё каких-то подобных словес, я, снова помолчав, стал говорить о самом времени правления генсека, названном потом “эпохой застоя”.

“Да-а, — говорил я весьма натужно, — ничего особенно выдающегося ушедший из жизни руководитель партии и страны не совершил, но время его правления оказалось для страны весьма благополучным, а если и не временем благоденствия, то хотя бы достатка и мира”.

Студенты меня спокойно слушали.

И тут со мной случилось нечто совершенно неожиданное: у меня вдруг перехватило горло, голос мой дрогнул, я чуть было даже не пустил слезу.

Ребята насторожились: “С чего это вдруг я так расчувствовался?”

А я, после некоторой паузы, уже не столь послушным и твёрдым голосом: “Мы ещё вспомним не раз добрым словом этого человека, с уходом которого многое в стране изменится, — и очень вероятно, что не к лучшему”.

Ребята смотрели на меня настороженно.

“Прежнего благополучия, видно, уже не будет. Наступают какие-то иные времена. Будут перемены, а вот какие и с какими итогами — вопрос? Лучше быть готовыми к худшему”.

В аудитории стояла тишина.

Что меня тогда заставило сказать всё это, я не знаю. Потом я даже пожалел об этом, — вроде как трёп получился — необоснованный, сомнительный и ненужный.

Но вот настал момент, когда при встрече с бывшими уже студентами данной группы я услышал: “Помните, NN, как вы нам по поводу смерти генсека говорили. Мы тогда ничего не поняли, хоть и озаботились. А теперь вот видим, как вы были правы”.

“Да я и сам тогда ничего не понимал, — ответил я бывшим своим студентам, — но предчувствие чего-то не слишком радостного меня, кажется, не обмануло”.

Разговор этот состоялся всего через несколько лет после ухода достопамятного генсека, а уж то, что развернулось в стране потом превзошло всякие мои туманные предчувствия, да что предчувствия, любые самые фантастические предположения, точнее, их на тот момент полную невозможность.

И однако оно было — это самое предчувствие, ни во что конкретное не оформленное.

Мистика, знаете ли, без всякой умопомрачительной мистики».

Контакт

*Обычная московская малогабаритка.
Вечер. Середина 1980-х.
Он, сорока четырёх
и две девушки двадцати двух лет.
Вызывают дух автора романа
и ведут с ним разговор с помощью
вертящейся под девичьими руками тарелочки.*

Первая девушка: Дух, ты здесь?

Тарелочка, метнувшись в сторону: Да.

Вторая девушка: С тобой можно говорить?

Дух: Да.

Он: Ты обрёл покой?

Дух: Да... нет... не совсем.

Первая: Что это значит?

Дух: Ничего.

Вторая: Подумай!


Дух: Не надо вообще ничего писать.

Он: И роман тоже?

Дух: Я так не думаю.

Он: Ты о чём-то жалеешь?

Дух: Не надо ни о чём жалеть.
Первая: Ни о чём?
Дух: Да.
Вторая: Мы не понимаем.
Дух: Сами думайте.
Вторая: Хотелось бы знать...
Дух: Не надо.
Первая: Почему?
Дух: Роман сам говорит... и творит.
Он (недоумённо): Творит?
Дух: Смотрите вперёд.
Первая: Что творит?
Дух: Многое.
Вторая: Ты бы стал снова писать роман?
Дух: Не знаю... не надо.
Первая: Почему?
Дух: Не знаю, я устал.
Он: Прости, но ведь роман здесь, с нами.
Дух: Он живой, не шутите с ним.
Он: Что будет с миром?
Дух (помедлив): Ничего не будет.
Он: Что это значит?
Дух (нехотя): Не знаю, никто не знает. Я устал.
Он: Прости нас. Мы благодарим тебя.
Дух: Мне всё равно, надо молчать, видеть сны, спать.
Поражённые услышанным, участники дурацкого кудесничества воззрились друг на друга:
— Вот-те на!
— Мда-а!
— Да уж!
— Он хочет, чтобы мы сами поняли что-то... что есть в романе.
— И потом это странное: «Роман творит».
— Мистика какая-то!
— Надо бы перечитать роман.



— Мне кажется, что роман и в самом деле... *живой*.
— Если уж сам дух... то так оно, видно, и есть.
— Что же тогда творит роман, саму реальность?
— Наверно...
— Именно, именно!
— Автор романа, как тот библейский пророк на иконах — сказал и палец ко рту приложил, мол, тихо, ребята, ша!
— Жутко как-то!
— И интересно!
— И удивительно!
— Роман-то загадочен, за ним пригляд надобен.
В комнате воцарилась тягостная и как-то назойливо и противно почему-то зудевшая тишина.

Купе


Поезд «Москва—Киев» медленно отошёл от перрона.

В купе, рассчитанном на четверых, оказалось двое мужчин, один выглядел лет на десять старше другого. Познакомились. Отдав дородной проводнице билеты и заплатив за постельное бельё, приступили к чаепитию. Тот, кто постарше, достал из портфеля плоскую бутылочку коньячку, редкого в то время качества, пачку печенья и плитку шоколада. Потихоньку разговорились, попивая душистый чай с печеньем и коньяк с шоколадом!

Поезд выполз из Москвы и побежал быстрее.

За окном сгрудилась плотная мартовская темь, пересекаемая время от времени огненными очередями, выстреливаемыми то затаившимися где-то по пути пригородными платформами, то несущимися оголтело через звонкое железнодорожное марево встречными поездами. Обстановка мерно покачивавшегося под перестук колёс купейного пространства располагала к неторопливой беседе.

Поболтав о том, о сём, вышли неожиданно на тему житейской мистики, всего того, что по большей части было трудно



объяснимо, либо вообще никак не объяснимо. Оба собеседника оказались весьма сведущими в столь непростых вопросах, а потому беседа текла на редкость свободно, без каких-либо натужных объяснений и отклонений и, уж тем более, напряжений.

— Я, знаете ли, — говорил тот, что постарше, — пришёл к заключению, что все мы, люди, лишь элементы некоего неведомого нам энерго-информационного поля, обычно называемого мировым духом, иной раз и эфиром, но не просто элементы, а очень сложные, подстать самому этому мировому полю... то есть мы и сами поля, которые люди привыкли называть душами. В этом-то мировом поле, населённом душами, как и иными сгустками энергии-информации, вроде ангелов и демонов, всё и решается. Там господствуют невидимые и как бы самопроизводные технологии, сами себе создающие программы и их же реализующие. Это и есть, по-видимому, автопервоначало. Всё же остальное от них производно: сначала в невидимом мире-поле, затем уже в видимом. Идеальное, оно же по сути ноуменальное, тут первично, материальное, или же поверхностно феноменальное — вторично. И если материальный мир определен и определён, то идеальный, в особенности, тот, неведомый — беспределен и неопределён. В самом своём начале, как и в самом своём конце, а начало и конец тут смыкаются, он уже абсолютно трансцендентен.

— Мир, по-вашему, живой?

— Он живой лишь частью своей. Жизнь всё-таки не тотальна. Но жизнь зависит от неживого мира, который именно неживой, а не мёртвый.

— Творящий вакуум, работающее ничто, так что ли?

— Можно и так: не видим, но ведаем, не знаем, но... догадываемся, что есть он... этот замечательный первостатейный мир.

— И что из всего этого для того же человека?

— О-о, очень много! Это значит, что хоть и есть у каждого человека, каждого сознания, как и всякого скопления людей и сознаний — вплоть до народов, наций, государств и цивилиза-



ций, свой эгрегор, который всегда со своим земным субъектом, но не всё, далеко не всё решает сам человек, как и любой иной земной субъект, даже и вместе со своим эгрегором. Тут всё гораздо сложнее! Возник человек, как и какой-либо субъект, возникла и программа, но во взаимодействии со всей этой неживой, но вовсе не мёртвой, средой, а потому изменить программу можно, но трудно, мало того, она ещё и сама изменяется, независимо от воли человека и субъекта.

— Чорт знает что, получается.

— Вот именно! И если меняется удовлетворительно, то от Бога, а если нет, то, стало быть... от дьявола.

— Человек, выходит, раб этого полюшка?

— В общем, да, но у него есть с этим полюшком некий люфт, зазор, щель, то есть полоса свободы, а отсюда и возможность творчества, разумеется, во взаимодействии с полюшком, которое, кстати, совсем и не спокойно, в особенности, местами и временами. Оно само всё время меняется, подсовывая человеку или иному субъекту всё новые обстоятельства, требования, задачи. Сегодня в твоей округе всё вроде бы хорошо, а завтра не так уж здорово, а послезавтра, глядишь, и совсем плохо, или же в одной, к примеру, округе всё более или менее мило, но зато в другой, совсем рядышком, что-то очень уж гнило.

— Жизнь протекает во взаимодействии с этим трансцендентным полем, даже под его управлением, так?


— Так.

— Личная, коллективная, общественная?

— Любая.

— Ну, хорошо, допустим. А что же тогда Бог, что же тогда дьявол? Это самое поле, но лишь в разных своих эманациях или, скажем, интенциях?

— Как вам сказать... (*собеседник отхлебнул чаю*)... я полагаю, что это всё-таки особые полевые образования, на себя, конечно, замкнутые, но, в отличие от других, очень сильные, способные контролировать, может, не до конца, всё поле целиком,



но либо в полном его объёме — как, к примеру, Бог, либо лишь частично — как тот же сатана.

— Гностицизмом, кажется, подуло, теософией какой-то, — заметил попутчик, позволивший себе пригубить коньячку.

— Это не имеет значения, — живо откликнулся собеседник, — я не опровергаю религий, не спорю с Библией, вообще, не трогаю догматов, как и не «баловаюсь» никакими (*он улыбнулся чуть-чуть игриво*) «ба-а-ла-а-ватскими» учениями, я всего лишь моделирую ситуацию для самого себя. Для меня подобие — человека с Богом — не в человекообразии Бога, а всего лишь в богообразии человека, но не по внешнему, конечно же, виду, а, если хотите, по внутреннему устройству.

— Но кто сильнее — поле или Бог?


— Сильнее, может быть, и Бог, но это не значит, что поле не имеет своей собственной силы, способной противостоять Богу. Тотальная организация поля со стороны Бога этому последнему не интересна, да и невозможна — тогда не будет самого этого поля, жизни, того же человека, ничего не будет. Так что и Бог есть, и поле есть, и дьявол, и человек есть, всё есть, — и всё Богу подвластно, но... ровно настолько, чтобы это всё было. Бог может что-то упорядочить, передвинуть, убрать, но он не может всё это прикрыть, он этого и не хочет.

— Допуская и наличие всякого произвола и безобразия.

— Да, допуская и наличие всяческого произвола и безобразия. Бог — не деспот, в отличие от того же человека, который сразу же стремится стать таковым при первой же возможности, ибо человек несовершенен, неумён, некультурен.

— Выходит, что судьба человека, как и любого иного субъекта, лишь частично зависит от него самого?

— Разумеется! Но, во-первых, доля этой частичности всегда разная, во-вторых, она зависит и от самого носителя судьбы, правда, не от каждого, как и не всегда и не везде. Отсюда, с одной стороны, самоуверенный эгоцентризм, а с другой — непреодолимый фатализм. Мистика тут не столько в том, что судьбой человеческой кто-то владеет, управляет и даже играет, а в том,



что человек оказывается-таки способным быть творцом своей судьбы, даже и проиграв в итоге трансцендентному полюшку, элементом которого сам и является.

— Человеку всё это надо знать и уметь выдерживать свой курс?

— Особенно в России, в её поле, где почти нет ничего устойчивого, где сплошные завихрения.

— А почему так?

Попутчик не стал спешить с ответом. Он предложил взять ещё чаю и пошёл со стаканами к проводнице. Вернувшись с дымящимся свежим чаем, он, подлив ещё коньяку в дорожные рюмочки, продолжил разговор, не забыв предварительно выпить по глоточку живительных напитков.

— Видите ли, Россия — уникальная страна! Она уже много столетий находится в зоне, скажем так, тёмных сгущений выявленного только что нами трансцендентного поля, ещё и периодически почему-то возмущающихся. Не в природе особенной тут дело, не в пространстве, даже не в евразийском расположении страны, а в характере самого российского поля, самого эгрегора России, её народа, в их, так сказать, гиперборействе или же том же скифстве, как, возможно, и в какой-то полуполюгендарной проторусскости. В России в общем-то нет никаких идеально-трансцендентных оснований для не то что устойчивого благополучия, но даже для нормы какой-нибудь человеку приличествующей и, кажется, не очень-то и предвидится... пока что-то не изменится всерьёз и надолго внутри самого её поля. Россия для всего, что угодно, но только не для счастья!

— Получается, что ничего изменить в России — сознательно, глубоко и бесповоротно — нельзя?

— Уж сколько раз пытались, но столько страдания и крови... а результат-то какой?

— Россия всё там же, в бездне какой-то, в аду.

— Россия и сама по себе есть бездна, сама для себя и ад.

— Да-а, круто!



— А что поделывать: Россия ведь вполне и страшная, а не только странная, страна. Совершенно обнажённая, ничем солидным и прочным не защищённая, кроме своей странности и страшности.

— Тогда зачем же она?

— А вот этого-то никто и не знает! Думаю, что и сам Господь тут уже в отчаянии, даже дьявол, у которого тоже, пожалуй, ничего путного с Россией не получается.

— Следственно, есть какая-то трансцендентная причина, которая мало что сама себе причина, но ещё и самой себе не очень-то известная причина.

— Похоже, что так. Что-то вываривается в потустороннем поле во взаимодействии с полем сиюсторонним, и для чего-то Россия нужна, хотя бы пока для того, чтобы гробить чего-нибудь и гробить.

— Чёрная дыра, что ли?

— Вроде того.

Собеседники замолкли. Даже про чай забыли, не говоря уже о коньяке.

Первым очнулся тот, что постарше:

— Вот поэтому мы и пьём да пьём, ещё и куролесим, дури́м, жить не хотим, рулетку русскую придумали, ничего не ценим, людей не ценим, гениев гнобим, песни каторжные орём, всё и вся разоряем, безобразное любим, беснуемся, всё на границу восхищённо и возделенно взираем, но, само собой, не без горделивого порицания её и даже толики к ней ненависти.

Внезапно оборвав себя и некоторое время помолчав, он, плеснув коньяка в стаканчики, вдруг произнёс:

— За Россию, что ли?!

— А что ещё остаётся? За Россию!

Выпили, хоть и без особого воодушевления.

— И всё-таки, как говаривал Пушкин, нам другого отечества не надобно, — произнёс не без грусти, но достаточно твёрдо, который помоложе.



— Это верно, — подхватил собеседник, — нет более отталкивающей и в то же время столь манящей страны. Тяжело тут, но зато только Россия и соприкасается напрямую... с Богом... как, собственно, и с дьяволом, в общем, со всеми мирозданческими первоначалами и первостихиями.

— Россия как канал и область связи с мирами иными...

— ... и как межмировая лаборатория...

— ... и поле какой-то нескончаемой трансцендентной битвы.

— Только здесь и понимаешь, что такое добро, ибо оно здесь в большом дефиците и очень ценно, куда дороже колониального золота.

— Но ведь была же попытка что-то изменить, хотя бы после последней мировой войны, — четверть века, поди, прожили более или менее.

— И всё равно провалились туда же.

Тут в купе вошла проводница и деловито сообщила, что надо непременно закрываться на ночь, поставив охранный прибор на ручку двери.


Путники посмотрели выразительно друг на друга: «Вот те на!».

— А откуда у русских тогда чувство ностальгии, не у всех, конечно, но всё-таки? — нарушил молчание, который был помоложе.

— Чорт знает! Наверное, за границей нам не хватает воли нашей сугубо российской. Ведь мы по сути, хоть и рабы, и дураки, и несчастные, а люди-то вольные — внутренне, поведенчески. Отсюда, кстати, наше неизбывное бесовство, и безответственность, и импульсивность, и хамство тоже. Деспотия вроде бы у нас сплошная, а воля всё-таки есть... тоже почти сплошная. Мы всегда на дыбе и всегда на воле! Парадоксы всё это, но мы успели эти парадоксы давно уже полюбить.

— И никак не хотим что-либо изменить?

— Россия изменится сама, но вот вопрос: когда, как и во что? А раз это не очень ясно, то пока пусть идёт, как идёт. Вот



только, — говоривший поглядел на дверной замок, стиснутый охранным приспособлением, — кое-какой порядок надо всё-таки поддерживать.

— А может ли вообще Россия радикально измениться?

— Она всё может, но это очень уж трансцендентное дело, тем более, что в России ведь всегда хватает анти-России, которую ещё и постоянно переваривать приходится.

— Да-а, трудно быть русским. Вот Украина, уже другая страна, хотя бы более комфортная.

— Русским быть трудно, почти что и невозможно, но зато как почётно, а-а? — собеседник не без озорства усмехнулся.

Затем продолжил:

— Сила России, как ни странно это звучит, в её несостоятельности, позволяющей России быть всё время как бы в проекте, одинаково страшном как для тех, так и для этих... Мистика! Но и радость бытия — прямо скажем, неотмирного, куда-то всё время стремящегося, наверное, к чему-то *иному*.

— Выходит, тайна!

— Да, тайна, но с тайной-то куда как занимательнее, чем без оной. Вот мы, русские, и решаем, сидя на кухнях и в купе вагонов, мировые проблемы, что говорит как раз за то, что Россия нуждается в каком-то новом слове, которого ещё не бывало.

— И оно явится, это новое слово?

— Непременно! Слово новое, то самое — спасительное, является только на краю, но не на гибельном, конечно, а на жизненном, а лучше сказать — преджизненном. Не может быть, чтобы не явилось: ведь ничто пока Россию не устроило, заметьте, ничто!

— Может, никогда и не устроит?

— Вполне возможно, ибо тут как раз сплошная тайна и мистика. И заметьте, милостивый государь, Россия — не одна лишь бездна, это ещё и чрево, утроба, что-то натужно возвращающая, не отвергая и возможности какого-то ещё себя исключительного оплодотворения.

— Новым словом?

— Ну да, им самым.

— Которое сама и родит?

— Не исключено, не исключено. Где Земля с Космосом надёжно и с надеждой сошлись, там и произойдёт что-нибудь этакое. Почему нет?

— Но ведь есть же и те же США?..

— Э-э, не-ет, в США есть деяния, но слова там нет, никогда не было и не будет! Там только польза, выгода и комфорт, ну ещё и «конец истории». А в России всегда только «начало», она и сама — непрерывное начало, без никакого завершения. В России непреходящая импровизация — отчаянная, внезапная, беспощадная, к тому же безобразная и по большей части подлая.

— Да-а, дела-а... Ну и родина нам с вами досталась, аж жуть!

— Ничего, выдюжим, али мы не русские? *(После паузы)*. Что ж, пора, наверное, укладываться, так что по последней — за тайну России?!

— И за наше неизбывное терпение!

Наговорившиеся пассажиры выпили по рюмочке, запили остывшим чаем, а потом и спать улеглись под стук колёс и подёргивание несущейся вперёд их временной железнодорожной обители.


Выйдя в Киеве на перрон, бывшие уже попутчики пожали на прощание друг другу руки и почти церемонно раскланялись, неожиданно и загадочно рассмеявшись, прямо на глазах встречавших их аборигенов: «Знай, мол, наших!»


Разговор

Москва.

Конец 1980-х. Ранняя осень.

*Прогулявшись по Гоголевскому,
бывшему Пречистинскому бульвару,
двое старинных приятелей садятся
на скамейку недалеко от
станции метро «Кропоткинская»,
бывшей когда-то станцией «Дворец Советов».*

- 
- Странно всё это! Что же происходит? Неужели у вас в инстанции никто ничего не понимает?
- Может, и понимают, но молчат. Да и трудно в это поверить: чтобы первое лицо?..
- И, как бы это сказать помягче... как в той песне... *изменщик коварный*... так?
- Мы этого не говорили (*озирается*).
- Здесь-то чего боишься?
- И у скамейки есть ушки, как и у этого вот деревца.
- Вот и поговори тут!
- Понять-то, конечно, можно, но как ситуацию изменить?
- А окружение-то его хоть понимает?
- Думаю, кое-кто стал догадываться. Но такова, брат, наша система. У первого вся власть, а у остальных одна лишь невозможность что-либо изменить. Вот он и прёт!
- Захват высшего поста. Да-а, умненько! А сам-то ты надеешься на что-нибудь?
- Как тебе сказать?.. Практически нет, лишь теоретически немного. Надо подождать съезда.
- О-о, господи! Нас губит инертность вкупе с наивностью, а главное — страх! Как перед каким-нибудь проходимцем Воландом.
- У нас ведь граждан нет, а есть только одни, так сказать, слуги... Ты вот Воланда помянул не к ночи, скажи тогда, мог ли он появиться ещё где-нибудь, кроме Москвы, с такой рожей и с такой бандой?
- Каждое место рождает свои чудеса и своих чудищ. Вот и Москва тоже. (*Повернувшись вдруг резко к собеседнику*): А не видишь ли ты кое-какого сходства?..
- Меченый!.. И лукавство его, и всё такое. А глаза! В них бездна! Да-а, мудёр был киевлянин из дома № 13, мудёр! Многое знал...
- Потому и предвидел. Знал, что Москву не отпустят, что она и сама притянет либо родит что-нибудь этакое. Я ведь ещё в



Париже, в середине 70-х, читал в «Монде», что этот, как они его тогда называли, «бэби из Политбюро», наш будущий генеральный... Каково!

— Серьёзно? Занятненько! Значит, они уже знали.

— Во всяком случае, угадали.

— Я как-то уже давно читал один паскудный документец оттуда, из-за океана, против нас, так вот, всё или почти всё теперь сходится.

— Наш-то Воланд вроде бы не из-за границы.

— Может, Воланд, а может, кое-кто и другой, мало ли их, чертей.

— Центр, стало быть, захвачен.

— Выходит, так. Но не может же быть, чтобы какая-то шайка страну вдруг разом перевернула... Выберемся!

— В романе-то кое-что смогла натворить.

— Шухер, скорее, навела.

— Ой ли?! Москва там ведь в какой-то пучине исчезает, помнишь?


— Россия уже не раз бывала во мгле... Но ведь выбиралась же!

— Нам-то какая радость от этого. Мгла, она и есть мгла. Смута!

— Ну, ладно, уже тьма подступила к бульвару, фонарики зажглись, пора и по домам.

Пожав друг другу руки, приятели разошлись: один, сосредоточившись на только что обговорённом и открытом, двинул к метро, а другой, тоже весьма задумавшись, побрёл к Сивцеву Вражку, где проживал в мире и согласии со своим малочисленным семейством.

Р. С. Ответственный работник инстанции пережил крах сталинской системы и родной страны. Его высокий непосредственный начальник и покровитель то ли застрелился, то ли был застрелен. Сам же он, изрядно в себе замкнувшись, несколько лет проработал, будучи по профессии экономистом, в каком-то



банке, приспособиваясь к новой жизни, потом, всегда физически крепкий, вдруг тяжело заболел и явно раньше срока ушёл из жизни. Похоронен был с почётом на почётном кладбище.

Крушение


Ушёл великий Сталин из жизни, надо заметить, в общем-то вовремя, когда загнанная и обескровленная небывалым глобальным строительством, репрессиями да чистками, страшной войной, как и вдохновлённая поразительным трудовым подвигом и не менее поразительной военной победой в Европе и в Азии, страна нуждалась уже в другом режиме бытия — не в мобилизационном, не в казарменном и... не в кровавом.

Ни Сталину, ни сталинцам уже не было места в текущей истории, а потому великий Сталин взял, да и таинственно ушёл, а совсем не великие сталинцы, перегрызшись, посметали друг друга, совсем уже и не таинственно.

Какого-то *иного* целостного решения, чем было предложено и исполнено великим Сталиным, они тогда для страны не нашли, да и не были на это способны, хотя бы из-за полного недоверия друг к другу и невозможности выдвинуть из своей среды нового, актуального и действенного, лидера.

Что же касается уже их, не столь запятнанных в кровавых деяниях наследничков, то и они ничего не смогли поделать со сталинским режимом, хоть и пытались, даже хорошо пытались, — и в итоге режим год от года хирел, огрызаясь, в основе своей никак особенно не меняясь: сталинское миростроение не принимало коренных преобразований (или казарма, или, пардон... не казарма — иного тут, увы, не дано! — никаких вольных и при этом эффективных казарм не бывает!)

Сталинскую соцпостройку переделать по-крупному так и не удалось, а вот подточить её помаленьку очень даже удалось, что, собственно, и проделала реальная история, этой соцпостройке определёнno противная, — та самая история, против которой и



явился вроде бы этот уникальный режим, которую он даже оседлал, но... окончательно всё-таки не одолел.


Лично у Сталина было кое-какое историческое оправдание своих беспрецедентных и беспощадных деяний, ибо он преодолел железной рукой разыгравшийся не на шутку российский апокалипсис, да и не только российский — всемирный тоже: что прикажете было ему делать?, — да ещё перед явной угрозой не просто новой мировой войны, а *новой мировой войны против России, возможно, и последней войны, окончательной, чтобы России вовсе не было...* — это Сталин хорошо себе представлял и никаких иллюзий тут не питал. Сталин мог предполагать и упреждающий поход на Европу и Азию... ну и что?.. главное было сохранить и упрочить страну, а для этого ускоренно развить промышленность и науку, не имея, чем платить за работу, не имея возможности обеспечить всем самоотверженно трудившимся гражданам великой взбаламученной и рвущейся вперёд страны потребное им благополучие.

Интересы страны были выше интересов людей, а потому каждый, в том числе и сам Сталин, оказался в положении не полноценного гражданина страны, названной как-то ирреально — Союзом Советских Социалистических Республик, а всего лишь в положении её элемента-винтика.

Что-то подобное понимал, судя по всему, глубокомысленный писатель-сатирик, не только не позволяя себе фрондировать перед непреклонным вождём, но и, никак не восторгаясь красной новью с её метро, челюскинцами и физкультурниками, признавая за Сталиным какое-то внечеловеческое право на насилие и скорый суд.

Достаточно было ему представить себя на месте вождя, чтобы... чтобы, не поддерживая его, убеждаться и в какой-то дьявольской правоте кремлёвского сидельца, разворачивавшего саму историю.

Сталин давил воспрявший российский апокалипсис апокалиптическими же методами — или полный провал страны, или её необыкновенный, тоже ведь по сути апокалиптический, прорыв!



Сталин выбрал насильственный, жестокий и кровавый вырыв, а может, это сам вырыв выбрал под себя товарища Сталина, — жестокого и кровожадного насильника, что и обрекло СССР на небывалую победу, а сталинский режим на столь же великолепное конечное поражение.

И если Мастер в романе обретал худо-бедно посмертный покой — где-то на потусторонней казённой даче, ещё и в компании с любимой и неуёмной Маргаритой, то Сталин... Сталин... обретал после смерти что-то совсем *иное*, какое-то беспокойное, в полном одиночестве, прямо на презиравшемся им миру, непрестанное *призраковое присутствие*.

Писатель, возможно, обо всём этом и не думал, но... за писателя думал его роман — а по роману всё как-то вдруг и сошлось, почти как в алхимической реторте!

Расплата


Время не властвует над вечностью: там, где вечность, времени нет.

Нет там и никакой реальности.

Ничего нет!

И где-то там — в вечности и нереальности, где ничего нет, ютились в счастливом райском уединении Мастер и Маргарита, точнее, их освобождённые от бремени грубой земной реальности эфирные души, лишь обозначенные прихотливым автором романа как Мастер и Маргарита.

И именно там, в нереальности и в вечности, произошло вдруг странное событие, автором романа вроде бы никак не предусмотренное: в место счастливого уединения влюблённой парочки ворвалась нежданно-негаданно отвергнутая ими мировая реальность вкупе с безжалостным временем, мгновенно оборвав безмятежный в своей ирреальности и безвременности сон Мастера и Маргариты, их тамошнее незатейливое небытие, вернув упо-



коенную парочку против всякого её желания на грешную и изрядно подзабытую уже Землю.

Событие это случилось, конечно же, по воле всемогущего господина мессира — великого князя тьмы, её безоговорочного покорителя и властителя, как и князя мира сего, того самого романного Воланда, который уже сорок лет как даровал отважной Маргарите и её обезумевшему другу вечный и совершенно изолированный покой, так ею и её дорогим Мастером как будто бы заслуженный.

Что-то непонятное произошло тогда с погруженными в счастливое бесчувствие московскими героями романа, что можно было бы назвать воскрешением, воссозданием или же реинкарнацией — в самих себя, что закончилось вдруг их возвращением в полный сознания, подсознания и бессознания человеческий мир.

Их забывшиеся души как-то странно вдруг зашевелились, задрожали, показалось даже, что и завертелись, почему-то неритмично подпрыгивая, но как бы то ни было задетые за живое герои романа, приняв совершенно человеческий облик, оказались вдруг... о-о, боже!.. перед сидевшим на всё том же старом продавленном диване, во всё той же обшарпанной комнате, всё той же коммунальной квартиры № 50... мессиром, державшим всё ту же величественную позу и имевшим всё то же умное и ироничное выражение слегка косивших разноцветных глаз.

Упершись подбородком в свои покоящиеся на эфесе шпаги рисуночные руки, мессир смотрел со вниманием на слегка им уже подзабытую и показавшуюся ему довольно нелепой парочку: красавицу Маргариту, всё такую же надменную, отважную и привлекательную и полусумасшедшего, растерянно озиравшегося вокруг, испуганного гения.

Делать было нечего, и мессир, обратившись к Маргарите, заговорил, изящно грацируя, своим приятно низким, бархатистым голосом:

— Ну что, сударыня, как вам там живётся? О-о, нет, нет... *(мессир слегка занулся, подбирая подходящее слово)*... как вам там может, что ли? Не скучно ли?

— Да, пожалуй, скучновато, — произнесла довольно бодро Маргарита, — но чем мы обязаны столь дивному происшествию?

Мастер, не говоря ни слова, выразительно смотрел на Воланда, как бы повторяя вопрос своей возлюбленной.

— Чем? — медленно переспросил Воланд. — Так, захотелось, что называется, из первых уст. Нет ли каких пожеланий?

— Нет! — неожиданно резко бросил Мастер.

Воланд как будто спохватился:

— О-о, что же вы стоите, — любезно заметил он. — В ногах правды нет, как говорят у вас на Руси. Присаживайтесь!

Тут встревоженные полубовники заметили чуть в стороне от себя низенький стол со свечой, свет от которой едва раздвигал царивший в помещении полумрак, и два пуфика, им как раз и предложенные. На столе стояла бутылка с какой-то тёмной жидкостью и три обрамлённых золотистыми змейками бокала.

«Ах, чародей Воланд, — подумала Маргарита, — как это у него всё здорово получается!»

Она села первой:

— А где же ваши неутомимые соратники, мессир?


— О-о, вы их помните, сударыня? Это хорошо! Заняты кое-какими делами: Азazelло где-то надёжно укрылся и строчит свои гнусные мемуары, впрочем, весьма толковые и занятные, а Королева я отправил в докторантуру, за океан, в Кембридж.

— И с какой же темой, позвольте узнать? — спросил не без ехидного любопытства, сидя на низком пуфике и неуклюже согнув ноги, Мастер.

— О-о, тема у него хорошая, — заметив раздражение Мастера, ответил Воланд, — что-то вроде «Влияние нечистой силы на создание русских литературных шедевров XIX и XX веков», так, кажется, Бегемот?

— Так, так, вполне сносная тема, — гнусаво раздался в углу комнаты противный кошачий голос.

Тут только прибывшие обратили внимание на сливавшегося с господствовавшей в помещении темнотой чудесного кота.



— Здравствуйте, сударыня, здравствуйте, сударь! — учтиво произнёс кот, сверкнув зелёными фонариками пронизательных глаз, — с прибытием вас в нашу скромную обитель!

— Спасибо, дорогой Бегемот! — не менее любезно бросила Маргарита. — Всё дуришь?

— Обижаете, красавица, это ведь я надоумил нашего многоуважаемого мессира вызвать вас из вашего, прямо скажем, не очень завидного уединения... Пора, пора!

— Что значит пора? — встревожился Мастер.


— Ну-у, — произнёс раздумчиво Воланд, — есть тут одна проблемка, показать кое-что вам надо, пообщаться, да и Коровьему, совсем уж засидевшемуся за своей диссертацией, было бы полезно, как будущему доктору наук на это взглянуть.

— А-а, мой роман! — догадался Мастер, — опять мой злополучный роман, да-а?

— Кому зло, а уж нам-то одно добро, — встрял в разговор нахальный кот.

— Помолчи! — прикрикнул на кота Воланд. — Не лезь к гостям со своими дурац... э-э... неуместными сентенциями! Хотя, — косой глаз Воланда загадочно блеснул, — бывает, что и устами невинного кота истина глаголет. Вы правы, мои замечательные друзья, я понимаю ваше недоумение и даже, — Воланд чуть-чуть усмехнулся, — лёгкое раздражение... Надеюсь, оно скоро пройдёт. Да и не выпить ли нам чудодейственного вина, замешанного на жертвенной крови, по случаю нашей неожиданной встречи. Неужели, мои дорогие друзья, вы ей не рады? Мы вот с Бегемотом, — глаз Воланда опять лукаво блеснул, — очень даже рады вас видеть... Так выпьем же!

Бегемот мигом выскочил из своего провального угла, схватил со стола проворной лохматой лапой бутылку, опрокинул её над разинутой пастью и вылил в себя чуть ли не половину чудодейственного напитка. Громко крякнув и подмигнув гостям мигом оживившимся изумрудным глазом, он ловко налил драгоценного зелья в стоящие на столе бокалы.



Воланд расхохотался: «Прочь, негодяй, напрасно я отпустил Гелу погостить у её милой бабушки, понадеявшись на твоё врождённое благородство, жалкий комедиант!»

Маргарита тоже расхохоталась, почуяв какое-то внезапное единение с этим отпетым мерзавцем.

На лице Мастера мелькнуло подобие благожелательной улыбки.

Оба гостя взяли по бокалу и чокнулись ими с мессиром, из бокала которого в каждый из их бокалов выплеснулось, совсем вроде бы случайно, немного кроваво-чёрной влаги. Заметив, что Воланд лишь чуть пригубил вино, любовники ограничились небольшими глотками и в самом деле прекрасного на вкус напитка.

Обстановка заметно разрядилась, хотя Мастер продолжал выглядеть озабоченным: «Роман, — думал он, не находя ответа, — зачем ему роман, зачем ему мы?»

— А вот зачем, — вполне деловито обратился Воланд к Мастеру, — чтобы усвоить кое-какую истину: рукописи не только не горят, что немало зависит, правда, и от нашего снисходительного желания, но и вовсю трудятся, строя приемлемую для них земную реальность, — и делают они это даже по прошествии времени с момента... как это лучше сказать... опубликования. Вот и вздумалось нам с нашим озабоченным диссертантом Коровьевым кое на что исследовательски взглянуть, а потом...

— Как раз по моему совету, — вставил откуда-то из тёмного угла, нетвёрдо, но верно выговаривая слова, развязный кот, бесцеремонно прервав монолог мессира.

— Не мешай! — зло сверкнула глазами Маргарита. — Твои заслуги всем хорошо известны, так что седи себе и помалкивай!

— Ну вот... — начал было нудить кот, но Воланд его решительно прервал.

— Помолчи, а то придётся отправить тебя надолго под диван вместе с твоим прохудившимся примусом, так ничего потом и не увидишь.

Бегемот притворно захныкал, но на него уже никто не обращал внимания.



Воланд, успокоившись, продолжал:

— Так что решили мы кое-что показать вам, Мастер и Маргарита, чтобы сомнений никаких у нас не было. А поскольку всего не покажешь и не расскажешь, то решили мы...

— Сыграть... в ба-а-л, — снова встрял подлый кот, которого от выпитого им нектара уже достаточно развезло.

— Молчи, негодяй, — бросил в его сторону Воланд, — не мешай, коли уж напился! Всё успел выдать, мерзавец, вот и готовь тут сюрпризы!.. Ладно, пусть будет так: *бал!* Но не тот во все, Маргарита, а совсем другой: теперь будет бал... картинок.

— Ро-о-ман... тво-о-й... — прохрипел не слишком внятно захмелевший окончательно кот и, кажется, заснул, мирно захрапел в большом воландовском кресле.

— Да, картинок, — продолжал удовлетворённый отпадением кота Воланд, — которые в изобилии прямо здесь... в подъезде... там их несметное число, целая галерея. Все стены подъезда изрисованы от пола до потолка, а изображены на них по преимуществу...

— Герои романа, — догадался Мастер.

— Да, герои романа, но не только, там всякое есть. Вот посмотрите сюда!

И Воланд, взяв валявшуюся на диване шпагу, показал ею вправо от себя, где стоял какой-то ящик, с вставленным в него выпуклым стеклом. Стекло это вдруг синевато засветилось, и на нём появились разноцветные картинки — как быстро сообразили пылкие влюблённые — прямо из разрисованного подъезда. Там изобиловали, в основном, Маргариты, на любой вкус, было множество хитроумных котов с примусами, фигурировал и сам мессир со своей гнусной свитой, ну и, конечно же, сексуальная Наташка со своим хряком да рыжая пышнобёдрая Гела, совершенно, конечно, голая. Кое-где, как явное исключение, присутствовал и Мастер, которого можно было узнать по чёрной шапочке с литерой «М».

Мастер и Маргарита внимательно рассматривали мелькавшие перед ними картинки: Маргарита с явным интересом, а Ма-



стер, пожалуй, с едва скрываемым чувством откуда-то взявшейся досады.

— Ну и как? — разорвал вдруг возникшую тишину голос Воланда. — Нравится?

— Очень! — воскликнула Маргарита. — Это целый музей, какой замечательный памятник роману, — и повернувшись к Мастеру добавила. — Ты победил, Мастер, ты победил!

Но Мастер, по виду чем-то явно удручённый, хранил тягостное молчание.

— Ты что, не рад? — склонила к Мастеру изящную голову Маргарита, удивлённо расширив свои янтарные глаза. — Ты разве не рад популярности романа, своей победе?

— Не знаю, — тихо ответил Мастер, — не знаю...


Притихнув, Воланд внимательно наблюдал за своими невольными гостями, поигрывая усыпанной бриллиантами шпагой.

Вдруг тёмное пространство комнаты осветилось и посреди неё, прямо в упавшем откуда-то свете, нарисовался старый и незабвенный маргаритин дружок — Коровьев, в чёрном фраке, при белой рубашке и красной бабочке, с моноклем в глазу, правда, треснувшем... ну-у... настоящий франт, не чуждый аристократического изящества, приготовившийся, видимо, визитировать предстоящий бал, им самим, надо думать, в общих контурах и начертанный.

— Не опоздал, кажется! — воскликнул озабоченно Коровьев, бросив понимающий взгляд на Воланда, грациозно поцеловав, освободившись проворно от моногля, белую ручку Маргариты и пожав крепко, по-мужски, вялую руку Мастера.

— Пардон, сударыня, пардон, — стал он энергично извиняться перед Маргаритой, — так спешил, что забыл про цветы, совсем забыл-с. Ах, эти пунцовые розы! А потому примите, пардон, эти совсем скромные, впрочем, может, и не цветы вовсе, но всё-таки!..

И Коровьев резким движением своей длинной руки ловко выудил откуда-то из-за спины кудлатый букет жёлтой мимозы, этого нелюбимого Маргаритой, но столь значимого для неё не то



цветка, не то кисти дерева, так неожиданно соединившего когда-то её, роскошную, но весьма скучающую молодую даму, с не слишком представительным, но зато бесспорно гениальным автором романа — её Мастером!

— О-о! — воскликнула изумлённая Маргарита. — Как это прекрасно, милый Коровьев... не забыл, не забыл!

Мастер, видя всё это, ничего не сказал, лишь поморщился слегка, как будто съел нечаянно какую-то горькую аптекарскую пилюлю.

— Всё ли готово к нашему балу, мессир? — обратился Коровьев к Воланду. — Может, начнём, а то я чертовски занят сегодня, у меня ещё неотложное деловое свидание?


— Начнём, начнём! — вдруг отчётливо выкрикнул из угла Бегемот, ничуть не казавшийся пьяным. — О-оп-ля-я! — заорал он истошно. — Занавес!

— Ну, напугал, — смеясь, бросил Воланд, не глядя на чортова лохмача, — и в самом деле пора... Но перед тем, как начать бал, а лучше сказать — торжественное дефиле, попросил бы наших гостей выполнить роль принимающей парад венценосной четы, а потому принять от меня также соответствующие случаю одежды и знаки отличия.

Маргарита решительно кивнула в знак согласия, а Мастер... Мастер... как-то едва заметно весь съёжился.

Мессир хлопнул три раза в ладоши, выходящая на подъезд стена комнаты враз куда-то исчезла, и венценосная пара с Коровьевым вдруг оказалась на высоком подиуме, к которому вела как-то по-особому закручивавшаяся лестница, всё менее и менее походившая на лестницу изуродованного народной живописью подъезда, а картинки со стен вдруг стали походить на ожившие классические портреты, которыми хоть пруд пруди во всех известных художественных хранилищах.

И вот все эти картинки, превратившись внезапно в хорошо угадываемых живых персонажей романа, поднимались, изрядно суетясь и стараясь обогнать друг друга, к подиуму, на котором Мастер, одетый в какой-то бело-золотой хитон и с усыпанной



алмазами и рубинами золотой короной на голове, держа в левой руке чёрный скипетр с четырьмя змеиными головками на его конце, посверкивавшими зелёными глазками, и Маргарита, тоже одетая в хитон, но уже красно-золотого цвета, при этом совершенно прозрачный, но ровно настолько, чтобы всего лишь подчеркнуть её прекрасную наготу, и тоже с золотой короной на её очень умело завитых волосах, приветствовали лёгкими поклонами всё прибывавших и прибывавших гостей бала, протягивая им для поцелуя свои руки.


Сначала это было даже забавно, — особенно, для Маргариты, — видеть бесчисленное множество персонажей романа, среди которых наличествовало явное превосходство Маргарит: блондинок, брюнеток, шатенок, как и вызывающе крашенных — оранжевых, синих, зелёных, с необыкновенными стрижками и причёсками, как и с длинными распущенными волосами тоже, в разнообразных одеждах, более всего почему-то легкомысленных, как, впрочем, и без всяких одежд, хотя и непременно на высоченных каблуках и с какими-нибудь на шее, на руках и даже ногах украшениями, иной раз и довольно изящными.

Среди толкающихся Маргарит попадались и другие романские персонажи, но не было почему-то... Воланда и... Мастера, хотя вдовольном изобилии были Азazelлы, Коровьевы, Бегемоты и Гелы, как, собственно, и другие герои романа, даже такие, как Понтий Пилат и Иешуа, впрочем, заинтересованно между собою о чём-то беседовавшие и к державной паре не подошедшие.

Вокруг было много света, цветов и свето-цветовой калейдоскопической игры, много вдохновляющей музыки и масса откуда-то подступающих поочерёдно и вкрадчиво приятных запахов.

Маргарита, охотно улыбаясь и сияя глазами, даже крикнула на ухо Мастеру, стараясь одолеть царивший в огромной зале шум от бравурной музыки и возбуждённых голосов: «Смотри, мой дорогой, это победа, победа!»

Но... но... шествие всё никак не заканчивалось, его обозрение постепенно стало утомлять державную парочку, а необходи-



мость принимать однообразные приветствия и однообразно же на них отвечать всё более раздражала. Нестерпимо заныли поясницы, руки одеревенели, ноги налились свинцом, коленки неприятно дрожали. Глаза помутнели. Стало совсем невыносимо!


Маргарита с трудом оглянулась — сзади никого не было! На какой-то миг её охватил животный страх: «Что же теперь делать? Они всё идут и идут! Я больше не могу...». Маргарита готова была уже свалиться в обмороке. В какой-то прострации она взглянула на Мастера — тот продолжал стоять, заметно покачиваясь и мерно и безучастно раскланиваясь, протягивая неохотно и явно с усилием воли онемевшую руку для ставших уже омерзительными поцелуев.

Маргарита заметила, что Мастер побледнел и по лицу его струится пот. «Дура, господи, дура, как я могла на всё это согласиться. Это невыносимо!.. И как же ему сейчас плохо! Неужели это конец, казнь какая-то?!»

И тут её бедра коснулось что-то мягкое: Маргарита оглянулась и увидела кота Бегемота, державшего в своих лохматых лапах неизменный примус и два обрамлённых змейками бокала. Бегемот лукаво подмигнул Маргарите, как-то ободряюще мякнул и с присущим только ему проворством налил в бокалы чёрно-красного, и, как показалось Маргарите — спасительного, зелья: «Пей!» Потом он вырвал из онемевшей руки Мастера скипетр и всунул в его освободившуюся руку точно такой же бокал: «Пей!» Они, не задумываясь, опустошили бокалы до дна. «Превосходно!» — проорчал гнусаво кот, схватил пустые бокалы, сунул Мастеру в руку опостылевший скипетр и исчез.

Мастер и Маргарита мгновенно почувствовали невероятное облегчение: усталость, боль и раздражение куда-то исчезли, но... но... им совсем не хотелось продолжать весь этот дурацкий балаган, завалившийся им теперь и попросту ужасным.

Они взглянули с отвращением на шевелившуюся змееподобно толпу и заметили вдруг, что она стала полниться какими-то другими, не романскими вовсе персонажами, сначала замелькавшими одиноко среди привычных романских, а потом и составив-




шими свой оригинальный, вовсе и не романский, человекообразный поток. Тут было что-то совсем новое и совершенно для фальшивой державной парочки неожиданное: «Кто же они были, эти, прямо скажем, не слишком приглядные человеки?» — Мастер и Маргарита вопросительно и явно растерянно переглянулись.

И тут за их спинами вырос докторант Коровьев: «Простите, Ваши Величества, совсем меня простите, — затроторил он прерывисто, — отвлекли тут меня, я и сам не знал, пришлось вот вникать, поднять быстренько пособие по истории... ну, истории будущего, так сказать... Зато теперь я наверняка знаю: эти люди, что надвигаются снизу, это, как бы, Ваши Величества, сказать, они не из романа, но они, скажем так, порождены романом, нет, нет... пожалуй, не порождены, а как бы сынкубированы, что ли... как словечко, а-а?.. В общем, все они из какого-то продолжения романа, о котором ни сам роман, ни его автор, конечно же, ничего не ведали».

Коровьев сделал многозначительную паузу. «Надо потерпеть, Ваши Величества, потерпеть, это очень важно! — тарыхтел он — А я постараюсь кое-что прокомментировать, насколько успел вычитать и разобраться. Будущее ведь так туманно!»

Маргарита мало что поняла из сообщённого услужливым диссертантом, а Мастер, тот явно уловил что-то очень важное и... насторожился, невольно испытывая немалый интерес к происходящему.

Коровьев энергично комментировал, то и дело поглядывая в зажигающуюся в его руках каким-то незаметным светом книжечку: «Речь идёт о будущих героях каких-то крупных и долговременных событий, весьма, судя по всему, скверных. Что-то вроде перестройки, реформы или даже революции, полных, конечно же, лжи, измен, крови и смертей тоже... В общем, о героях какой-то большой запланированной катастрофы этой страны... всей страны, в результате которой кое-кто из шествующих сейчас снизу вверх людишек извлечёт большую для себя выгоду, став богатым, надменным и знаменитым, как бы новой аристократией, ну,




а кое-кто и сгинет в горниле истории... Каково, а-а, неплохо для зрелого учёного! — успел вернуть довольный собою Коровьев. — В горниле истории!.. Право же, хорошо, а-а?!. Страна надолго потеряет покой, погрузившись, это, как её... в смуту, тоже неплохо, браво, диссертант, не зря ты сидишь, как проклятый, в библиотеках... В общем, герои хорошо разыгранной исторической драмы, задуманной коварно внутри обречённой страны и поддержанной ретиво из-за когтистого рубежа. Много будет и впрямь поразительного, небывалого, о чём и подумать-то страшно, и без всяких там революционных ситуаций и освободительных движений, хоть и с привлечением удачно одураченных масс, прямо как по написанному каким-нибудь гнусным Талейраном Макъавеллиевичем* сценарию, а может, по какой-нибудь талантливой, но не менее гнусной, диссертации, — вспомнил о своей докторантуре не без гордости Коровьев, — да, да, именно по диссертации, приготовленной в очень хорошем исследовательском центре и защищённой на заседании очень квалифицированного совета».

«Уместно заметить, — не без гордости поведал докторант независимых наук, — что здесь немало прошедших стажировку за границей, как раз в тех самых... э-э... жреческих центрах, в которых и мне ныне приходится неустанно корпеть в связи в этой чортовой диссертацией, на меня вдруг свалившейся. И знаете, многие совсем неплохо ботают по-английски, чего нельзя нам, образованным и интеллигентным, не приветствовать».

Коровьев на мгновение замолчал, глядя через монокль на светящиеся таинственно и восковито дьявольские скрижали. «Ну, — продолжил он не очень решительно, — о конкретных персонах тут говорить затруднительно, их слишком много, всех не узнать и обо всех не рассказать: партийные секретари, генералы, кагэбэшники, публицисты, дипломаты, литераторы, немало тут и артистов, поэтов, музыкантов, особенно, новомодных “рокеров” и “попперов”... короче, всякого, уж извините, — быстро

* Так в тексте: «Макья...», т. е. через «ь».



вставил комментатор, — сброда... впрочем, по-своему одарённого, деятельного и, знаете ли, пользительного».

Успев быстро заглянуть в свой чудесный справочник, Коровьев продолжал резать докторантским красноречием: «Обратите внимание, кстати, на одну уже немолодую парочку, доверчиво и нежно держащуюся за руки, он с пятном на большом лысеватом черепе, прямо над виском, а она с вытянутой улыбкой хорошо воспитанной провинциальной леди, муж и жена, однокурсники, кстати, университет знаменитый закончившие — *Ломоносовский!*.. Так вот, они-то и подготовят развал великой державы, заняв самую её верхушку, вступив, для верности, и в эффективную связь с заграницей, которая всегда ведь готова помочь, а разрушит окончательно великую державу вот этот, видите, высокий такой, с кустом непокорных волос на голове, пьяница и безобразник, будущий расстрельщик парламента, но счастливчик, счастливчик... уцелеет, уйдёт в отставку, обретя, как совершенно... э-э... *наш*... человек, пожизненные, то бишь досмертные, гарантии, умрёт почти что в своей постели, чуть ли не святым потом станет, хотя есть тут немало и таких, кто покинет сей свет совсем по-другому. Ну, что ж, неудачники есть всегда, в любой исторической заварушке».

Коровьев провёл рукой над поднимавшейся упорно вверх толпой будущих новых революционеров, «прихватизаторов» и нахлебников, провёл сверху вниз, весело воскликнув: «И как же их по-настоящему много, целый *легион*, которые вскоре составят самый цвет российской нации, её элиту: они станут бизнесменами, банкирами, олигархами, долларовыми миллиардерами, владельцами заводов, газет, пароходов, а также министрами, депутатами, советниками, прокурорами, судьями, ректорами и директорами, президентами и вице-президентами, как и, разумеется, всякой удачливой сволочью тоже».

Коровьев чуть помолчал, умело лоя, скосив глаз, впечатление, производимое на царственных особ будущими новыми героями страны и его вольными, но точными, комментариями, посмотрел в свои учёные скрижали и уже довольно вяло забуб-




нил: «А там, дальше внизу, Ваши Величества, движутся, сменяя друг друга, всякие жертвы проделанных нахраписто перемен: трудящиеся, пенсионеры, учителя, врачи, военнослужащие... Кто спился, кто помер, кто пропал, а кто и застрелился, но это не так уж и важно, великие исторические деяния и процессы, — тут Коровьев опять отметил про себя, что он совсем не рядовой диссертант, — требуют жертв, больших жертв... и что их считать... да что, собственно, и на трупы-то взирать, это совсем и не интересно, хотя, правда, мы ещё не коснулись молодых женщин, не рожаящих и пополняющих по всему миру армию проституток, и детей, как родившихся, так и не родившихся...».

«Хватит, Коровьев, хватит! — вскричала вдруг Маргарита. — Где мессир, я хочу видеть мессира!» Она повернула к услужливому диссертанту свое полное страдания и гнева, да и не такое уж прекрасное в тот момент лицо, сдёрнула с головы корону и, с ненавистью глядя на Коровьева, замахнулась, чтобы... но оказалась вдруг стоящей совершенно обнажённой рядом с Мастером в полутёмной комнате до боли опротивевшей ей квартиры № 50, держа в руке бубен, обыкновенный клоуновский бубен, а мастер, уже в каком-то невзрачном рубище, был там же, держа в руке медный колокольчик, с привязанным к нему розовым бантиком.

Слёзы навернулись на глаза Маргариты! Она уже была готова разрыдаться от бессилия и досады, но заметила вдруг в паре метров перед собой совершенно серьёзное, с сомкнутыми губами и гримасой искреннего недоумения и огорчения бледное лицо мессира, державшего свой упрямый подбородок на покоящемся на эфесе шпаги перекрестье своих выразительных рук. Маргарита, несколько не смущаясь ни своей наготы, ни этих дурацких бубна с колокольчиком, гневно смотрела на мессира, ожидая от него законного объяснения.

Воланд, пристально и неожиданно строго посмотрев на Маргариту, довольно принуждённо произнёс:

«Княжеским особам не пристало объясняться перед своими подданными, сударыня, так что возьмите себя в руки, немедленно



успокойтесь и будьте, как обычно, благоразумны!.. Что, — обратился он несколько фамильярно к Мастеру, — не ожидал?»

Мастер, всё ещё держа в руке идиотский колокольчик с розовым бантиком, ответил: «В том-то и дело, что ожидал, — и, подумав немного, добавил, — хоть и не знал точно, что именно... А теперь вот знаю, за что и благодарю!»

— Я ничего другого от тебя, Мастер, и не ожидал. Тебе не кажется, надеюсь, что все люди добрые?

— Нет, — ответил Мастер, — не кажется, но мне кажется...

Воланд был весь внимание.

— ...мне кажется, что они должны быть всё-таки добрыми, — закончил Мастер.

— И это следует из твоего романа?

— Не знаю. Во всяком случае, я бы этого хотел. Но, видно, не получилось, точнее, я, наверное, этого и не хотел. А теперь вот... и... расплата.

Он потрянул вдруг своим идиотским колокольчиком. В комнате раздался почти короткий, как щелчок, унылый и неприятный звук: колокольчик оказался надтреснутым. Мастер посмотрел на него внимательно и бросил на пол перед собой:

— Благодарю вас, мессир, благодарю! Могу ли я надеяться с моей спутницей...

— Конечно, конечно! Вы тотчас окажетесь у себя, в вашем прекрасном саду, на покое... У меня нет никаких оснований что-либо менять. Более того, я готов даровать вам...


Тут в разговор встряла Маргарита.

— Нет, уважаемый мессир, не надо, ничего не надо...

— Но ты же ещё не знаешь, что я хочу...

— Нет, нет, не надо!

Маргарита умоляюще смотрела на Воланда, всё ещё держа чортов бубен в руке. Тут она пошевелила бубном и по комнате пробежал, поглощая пространство, приятный серебряный звук, который пробудил вдруг сидевшего где-то в темноте Коровьева: «Мессир, — начал было докторант, — оставим лучше пока всё,



как есть. С научной точки зрения это было бы совершенно правильно».

— Причём тут твоя наука?! — прервал Коровьева Воланд. — Но я, пожалуй, с тобой соглашусь, мой высоколобый ученик. Будем считать эксперимент завершённым!

«Эксперимент?!» — пронеслось в головах Мастера и Маргариты. Но они так ничего и не успели ответить мессииру, очутившись вдруг в своём уютном саду, на скамейке, слегка усыпанной благоухающей листвой от окружающих райских деревьев, находясь в полном недоумении от того, что с ними только что и зачем-то произошло.

«Да-а, — думал озадаченный Мастер, — ну и игра!»

Тут он заметил в руке Маргариты бубен. Он взял его и встряхнул — бубен никак не отозвался и тягостно молчал.


«А вот и символический памятник моему роману», — подумал невесело Мастер.

Настал вроде бы вечер, и где-то вверху засеребрился полный диск луны — то ли той самой Луны — настоящей, то ли совершенно ирреальной, то ли просто им, *мастером*, прихотливо выдуманной. И в лунном свете Мастеру и Маргарите показалось, что по верху, там, где должно быть небо, со светящимися от лунного света облаками, пронеслась группа каких-то лихих всадников, а один из них, самый маленький, отделился вдруг от группы и пролетел, пришпорив коня, как бы прямо над ними.

Мастер и Маргарита услышали нарастающий сверху тонкий свист — пожалуй что, и не противный.

Вдруг что-то шмякнулось перед ними на прискамеечный песок — и это был... о, боже!.. бегемотов примус, к одной из ножек которого была прикреплена светившаяся при луне свёрнутая в несколько раз бумажка.

Маргарита быстро схватила примус, оторвала от него бумажку, сунула развлекательный аппарат в руки оторопевшему Мастеру, развернула нетерпеливо бумажку и впилась в черневший на светящемся таинственным светом белом листочке корот-



кий текст: «За всё приходится платить! Да хранит вас Провидение!»

12 июня 1991

«Расскажу-ка я вам одну удивительную, очень интересную и престранную историю.

Обычно 1991 год поминают в связи с августовским путчем и декабрьским развалом СССР, но гораздо более знаменательное событие имело место 12 июня — прямо по телеящику, во время главной новостной программы, по инициативе как раз самих телевизионщиков.

Так вышло, что одной моей приятельницей была случайно записана 12 июня вечерняя новостная передача первого канала, затем случайно просмотрена и, наконец, в ней была случайно замечена совсем уж необычная, если не сказать, экстраординарная, а то и попросту убийственная, информация.


Чтобы по-настоящему всё это оценить, надо всё по порядку и изложить. Вы уж извините меня за подробности и некоторую пространность: тут важна не только сама по себе информация, но и весь сопутствующий ей контекст.

Я был в гостях у своей приятельницы, — не более, чем через неделю после происшедшей записи, — и она мне вдруг предложила с заговорщическим видом посмотреть по виду записи программы «Время» за 12 июня.

Я был несколько удивлён, но, без лишних слов, согласился.

Приятельница споро запустила заранее настроенный аппарат, и мы усаживались вместе с нею в голубой экран, попивая чаёк с замечательно приготовленными её матушкой пирожками.

Сначала ведущий уделил внимание главному событию в жизни страны — прошедшим только что выборам президента Российской Федерации, ещё находившейся в составе СССР. Он весьма торжественно объявил о победе на выборах с большим отрывом от соперников бывшего главного московского партий-



ного босса, ходившего в то время чуть ли не в народных героях — как невиданный в целом свете борец с привилегиями и за социальную справедливость.

Потом пошли разные сменяющие друг друга сюжеты, пока в самом конце передачи не появился последний сюжет — исторический, посвящённый годовщине начала Отечественной войны 1812 года.

На экране возникли картинки той войны: солдаты, лошади, пушки, а ведущий, не появляясь в створе телевизора, проникновенно зачитывал подходящий по случаю текст, как выяснилось, из знаменитого романа Льва Толстого: “...12 июня силы Западной Европы перешли границу России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие...”.


Картинки войны сменились на экране портретом Наполеона Бонапарта. Сказав что-то о французском императоре, ведущий вновь взялся за толстовский текст, но уже в связи с героем романа Пьером Безуховым: “Переведя в цифры латинские буквы, Пьер, сосчитав полученные числа, получил в сумме число 666, бывшее числом зверя из Апокалипсиса. Оказалось, что Наполеон был как раз тем самым зверем. Это поразило Пьера”. На экране в этот момент появилось прямо на фоне портрета Бонапарта число 666 с какими-то двумя латинскими под ним словами, очевидно, “Наполеон Бонапарт” или “Император Наполеон”.

Таким, собственно, и был весь исторический сюжет от 12 июня.

“Выходит, — заметил я, — нас ожидают после выборов какие-то нерадостные события, сравнимые с крупным военным нашествием, — так что ли?”

“Вполне возможно, — ответила мне приятельница, — но ты, дружище, не заметил самого главного. Придётся прокрутить сюжет о войне ещё раз”.

Результат для меня был всё тот же. Тогда хозяйка дома, собравшаяся крутануть сюжетец в третий раз, попросила меня быть



повнимательнее к написанным на фоне императорского портрета словам.

И лишь с третьей попытки, когда я буквально впился глазами в голубой экран, я заметил ожидаемое экстраординарное: не “Наполеон Бонапарт” там было начертано и не “Император Наполеон”, а совсем другое. Там были имя и фамилия... вы уже догадались?... Нет?... Не мудрено! Это были имя и фамилия, а-а, вы уже поняли, да, да... именно так, они самые, правда, вкупе со словами “Энд Компани”.

Что всё это значило, кто это сделал, почему, с какой целью?


Шутка тут исключалась: либо это было чьё-то для кого-то победное уведомление, либо же это был попросту предупредительный сигнал для всех что-либо вообще соображавших.

В любом варианте — важный знак, вполне и судьбоносный!

Должен заметить, что мне тогда пришёл на ум один известный и полный загадок романчик, в котором тоже рассказывалось, как в Москве появился господин хороший... чуть ли не сам диавол, он же и князь мира, назвавшийся попросту Воландом, и господин этот устроил в ничего не подозревавшем городе чорт знает что, поджёг его (как тот же Бонапарт!) и покинул вроде бы приговорённый им город прямо в момент его будто бы погружения в какую-то мрачную мглу*.

Мне, как и всей стране, не пришлось долго ждать, чтобы убедиться в справедливости казавшегося нелепым и наивным телевизионного сообщения, — достаточно было дожить всего-то до месяца августа, не говоря уже о встрече со всем событийным рядом лихих 90-х, хотя, должен заметить, мало кто в России отнёсся с должной серьёзностью к этому и ему подобным сигналам, а

* Небезынтересно заметить, что в бонапартовом пожарище погибла единственная достоверная рукопись древнего русского литературного памятника «Слово о полку Игореве», хранившаяся в библиотеке Московского университета — прямо напротив захваченного Бонапартом Кремля, а Воланд, наоборот, хоть и устраивает в Москве пожары, но спасает от авторского огня рукопись подпольного, вполне и диссидентского, романа, зачем-то оказавшегося ему очень нужным.




они с завидной настойчивостью и регулярностью посыпались с экрана телевизора прямиком в общественное сознание (у нас вообще как-то ухитряются не замечать не только подобных намёков и подсказок, но и вполне в общем-то очевидных вещей, а уж, тем более, признавать за истину что-либо этакое — из ряда вон выходящее!), как, собственно, почти никому тогда не пришло в голову посмотреть на текущую реальность через призму созданного полвека назад в России концептуального произведения, восхитившегося героем-сатаной и кое о чём важном уже тогда нас уведомлявшего».

Статейка

Где-то в начале 1990-х блеснула в одной московской газете, славной своей разухабистой оппозиционностью, как и энергичскими шараханьями от одной, якобы спасительной, идейной опоры к другой, одна прелюбопытная статейка, в которой ничтоже сумняшеся утверждалось, что роман, написанный в 1930-е годы и впервые объявленный публике в середине 1960-х, потом неоднократно публиковавшийся в последующие 1970-е и 1980-е годы, стал более или менее раскрываться читателю лишь на рубеже 1980—1990-х годов, когда в стране разыгрались события, более или менее отвечавшие сценарной алгоритмике романа, всей его занятой и довольно мерзкой театральщине.

Взять хотя бы неожиданное явление в Москве какой-то тёмной и не брезгующей никакими средствами силы, представленной группой необычных, будто бы с Луны свалившихся персон, причём силы возмущающей, баламучающей, крикливой, выливающей на встревоженных москвичей потоки невероятной и поразительной... *правды*, доводящей обывателя до нигилистического иступления, жажды немедленной расправы с наличествующим бытиём и его радикальнейшей переделки.

Нет, не полное тут, конечно, было соответствие роману, но где-то... где-то... какая-то занозистая корреляция всё-таки была:



кто-то, откуда-то и почему-то явился вдруг в столицу, устроил конспирологически и нахраписто всеобщий раскардаш, перевернул вверх дном всю обыденность, убедил, что жить так больше нельзя, вынудил к крайним поступкам и невероятным переменам.

А вот с романом в руках всё как-то яснее становилось, как раз то, что происходило в стране на рубеже 1980—1990-х годов, — на что и обратил внимание умный и проницательный автор бойкой газетной статейки.

Роман предстал вдруг романом-провидцем, романом-разгадкой, романом-откровением!


Теперь надо было уже иначе трактовать роман, а через его посредство иначе трактовать и саму реальность, то ли автором романа прозорливо увиденную, то ли удачно угаданную, то ли попросту хладнокровно вычисленную: ведь одна и та же была в основе своей сюжетика — что в романе, что в реальности — один генетический код, один сигнальный набор, одна системная архитектура.

Роман стал раскрывать свои внутренние тайны, приоткрывая и тайны окружающего бытия.

Роман заговорил вдруг по-особому, и сказанное им можно было теперь по-особому и услышать.

Роман вступил в другую эпоху своего бытия — герменевтическую, — теперь надо было уже не просто читать роман, следя за его затейливой событийностью и перипетийной судьбой его героев, а вытаскивать из романа глубоко заложенные в нём смыслы и ловко встроенные в него поведенческие модели, откровенчески и понятно читая тем самым уже не один только роман, а и саму текущую действительность.

Полстолетия истории отвёл романист сталинскому варианту российского бытия, всего полстолетия, что вполне соответствовало теории социального циклизма — четверть века разгона и процветания, а затем четверть века застоя и прозябания, что и составляло в сумме как раз полстолетия, но вышло так, что романист как бы пошёл ещё дальше, предусмотрев — наверное, об этом особенно и не помышляя, — и способ гибели всесильного



сталинизма, через явление в ничего не подозревавшей системе тёмной и наглой *антисистемы*, способной осуществить по своему метафизическому обыкновению полный переворот, однако вовсе не обязательно в сторону света, ибо Москва-то в романе как раз погрузилась во мглу, если не в самую по себе преисподнюю.

Автор романа ни о чём таком, конечно же, не думал, но за него теперь думал роман, позволивший думать об этом и наиболее догадливым и неангажированным переделочной страдой читателям-потомкам, — и это было истинным чудом!

Присутствие

*Невольные комментарии очевидца
странных исторических событий*

«В присутствии романа в реалиях 1980—1990-х годов я уже, милостивый государь, не сомневался.

Когда роман писался — в 1930-е годы, реалии жизни входили в роман как отражённый и переосмысленный автором исторический материал, — совсем не то было в 1980—1990-е: тут уже сам роман вторгался в текущие жизненные реалии, то ли удачно предвидя их, то ли охотно представляя, то ли... чудесным образом конструируя.

Смотрите сами: откуда-то взявшаяся в Москве компания непонятных переустроителей, а лучше сказать, переворошителей, если не потрошителей; та же хорошо организованная кем-то смута, уличные беспорядки, да и много чего вообще невообразимого; та же ложь, потёкшая отовсюду, изо всех щелей, как и та же правда, её, эту ложь, старательно обслуживавшая; те же всеобщие помрачение и непонимание происходящего; то же отречение от всяких моральных устоев, те же порочность и разнузданность, то же восстание пошлости; те же внушаемость и прельстительность, вера в чудеса, надежда на всё мгновенное и невероятное; тот же




тотальный обман; та же жажда обогащения и та же всепоглощающая любовь к деньгам; та же кровь, те же убийства и самоубийства; те же пожары и почти в тех же местах; те же inferнальные слёты, сходки и вертепы; те же исчезающие вдруг деньги, как и тающие в воздухе ценные бумаги, обозванные к случаю ваучерами; те же внезапные и гнусные обеднения, как и потрясающие воображение мгновенные обогащения; то же великое мошенничество; та же вокруг неумолимая нечистая сила; то же тотальное безумие.

Москва 1980—1990-х — Москва не просто... Москвы, а Москва... знаменитого потаённого романа, этого великого сакрально-плутовского текста, жуткая подоплёка которого приоткрылась вдруг лишь через полвека после создания этого во всех отношениях странного и... *вещего* литературного (?) произведения.

И не история теперь творила роман, как это было в 1930-е, а уже сам роман загадочным образом творил историю!

Там, в романе, как и здесь — в реалиях 1980—1990-х, всё тот же дьявол, сатана, шайтан, — и если в те же 1960-е годы, когда чародейский роман увидел свет, всё дьявольское казалось игровым, занимательным, чуть ли не забавным (даже кровь не воспринималась кровью, а так... красной бутфорской жидкостью, чуть-чуть задевавшей ещё вполне крепкие читательские нервы). А в реалиях 1990-х всё это придуманное романное вдруг обернулось такой житейской жутью, от обзрения которой, не говоря уже о соприкосновении с которой, одна лишь дрожь, омерзительная и праведная, достаивала своим посещением ещё каким-то чудом бытовавшего порядочного человека.

Общего между романной Москвой и московскими реалиями 1980—1990-х годов было много, очень много, пожалуй что, и нестерпимо много, но были и различия, причём серьёзные, однако различия эти заложены в основе самой романной матрицы, если, конечно, брать роман в целом, во всём его смысло-



шифровочном, в том числе и подтекстном, даже и околотекстном, объёме.

Тогда, в 1930-е, когда в Кремле прочно и надолго воцарился реальный правитель страны, сосредоточивший в своих цепких руках не одну лишь полноту власти, но и весь ресурсный потенциал, все созидательные силы и весь интеллект страны, как и само настоящее с будущим, нацеливший народ на новую жизнь и её неуклонное строительство, превративший самого себя в беспрецедентного культового фантома, никому, кроме раскрученного им же общего великого дела, не подотчётного, включая самого Господа Бога, не говоря уже о дьяволе, — именно тогда, в 1930-е, когда как раз и писался роман, ни о каком князе тьмы — диктаторе — не могло быть и речи, — всё, что мог позволить себе сатиро-смеховой автор, так это лёгкого, летучего, интеллигентного, чуть ли не милого, хотя и не без кровавых и пожарных деяний... театрального режиссера, поставившего вдруг на московской сцене, а лучше сказать, в театре с названием «Москва», мейерхольдовского типа феерический, беспорядочный и в общем-то безумный, хоть и не без вполне умного подтекста, спектакль.

И дело тут было не в самом по себе страхе перед кремлёвским владыкой, хотя страх этот тоже был, а в непосредственных реалиях 1930-х: автор романа не мог не понимать, что кремлёвский владыка не только не Воланд, а как раз тот, кому воланды всякие либо служат, либо, если мешают, исчезают волшебным образом по мановению его указующей руки.

Воланд — вовсе не Сталин, а уж Сталин — совсем не Воланд!

Сталин абсолютен, это ведь не Джугашвили, даже не Коба, это — идея, символ, знамя, слово, текст, но никак не просто человек, тем более, из жалкого грузинского Гори, это как раз *Тот*, от которого в мир могли идти только добро, только правда, только истина, всё, что не вызывало никакого сомнения, что заслуживало только безоговорочного одобрения и охранения, что оправдывало любые, даже самые масштабные и безоговорочные, репрессии и жертвы.



Воланд же... а что Воланд?.. Он-то как раз был относительно... ибо за ним не было и не могло быть никакого созидательного проекта, не говоря уже об общем деле, то есть как раз того, что и превращало Сталина, — да, да, не Джугашвили, не Кобу, а именно Сталина! — в абсолютного исторического субъекта, причём не только эзотерически-метафизического, но и вполне реального, тутошнего, всамделишного.

Сталин, а лучше сказать — *феномен Сталин*, растворился во всех и во всём, завоевав для себя особое положение — ОДНОГО! — не личностного при этом, а сверхличностного, можно сказать, и надчеловеческого, но, заметим, не божиего и не дьявольского, а какого-то *иного* — как раз вполне и человеческого, как, собственно, и сверхчеловеческого!

Воланд лишь явился нежданно-негаданно в Москву, явился как непрощенный гость, а Сталин... Сталин в ней тогда присутствовал уже вполне по-хозяйски, — и Воланду оставались лишь игра, шутовство, комедиантство, подражательство, лицедейство, ибо Воланд был... пуст, в нём не было ни своего содержания, ни своего проекта, всего того, что в избытке как раз было в Сталине — все окружавшие Сталина знали, что Сталин это какой-то мощный проективный заряд, но вот какой же именно, толком не знал никто!

Сталин был уникален, а Воланд — нет, Сталина нельзя было повторить, даже литературно, а Воланда... можно, причём не только литературно, но и реально!

Вот почему Воланд... живее... Сталина, маневреннее, разнообразнее, историчнее. Сталин — монумент, хоть и созидательно действенный, а Воланд — всего лишь... актёр, не лишённый, правда, ума и проницательности. Сталин ирреален, он не свой, не наш, а Воланд реален, он вполне свой, он наш, а потому и множествен, копируем, тиражируем.

Угадал автор романа с Воландом, ох, как угадал! И Сталина здорово раскусил, на него никак не покусившись. А если что и зацепил, так это так — для размышлений незлобивых!



При правлении Сталина, а вернее сказать — феномена Сталин, Воланду в Москве всерьёз нечего было делать, кроме разве шутейного, неприязнительного, капустнического комедиантства, сдобренного косметической кровью и театральными смертями, впрочем, кое-что подсказывавшими реально действовавшему великому диктатору и инквизитору. Стоп!.. Кое-что и вполне серьёзное... Указывая, к примеру, на те же объекты очистительного кремлёвского внимания, но в то же время и на онтологическую бесполезность затеянной вождём масштабной чистки, равным образом и на порочность задуманного им утопического проекта, освобождённого от благоносного Бога и даже от... ироничного господина дьявола. А ведь было, было уже многое конструктивное в истории, но где оно, это конструктивное, где? Та же истина, где? А человек-то всё тот же, ещё и похуже прежнего будет, попустее. И где все эти великие диктаторы, преобразователи и строители... Где? Уж не в помойной ли яме истории?..

Нет, Воланд не Сталин, а Сталин — не Воланд, ибо Воланд совсем не романтичен, хоть и театрален, а Сталин... хоть и не театрален, но... романтичен, а потому не отстранённо созерцателен, а практически действителен: Воланд на бережочке, а Сталин — прямо в море, Воланд ухмыляется, а Сталин бьётся, Воланд хихикает, а Сталин... мрачнеет.

Воланд хорошо знал, что Сталина не остановить, что Сталин совершит многое из невозможного и небывалого, а потому он... не был против Сталина, хотя и предпочёл с красным тираном не связываться, лишь поглядев однажды с Пашкова дома на полный красных тайн Кремль. Но Воланд хорошо знал и другое — будущую сталинскую тщету, которую не знал ещё сам Сталин, но Воланд не пожелал останавливать Сталина... ибо сталинское гигантское предприятие должно было непременно осуществиться, ибо впереди маячила небывалая ещё в истории человеческой война, а перед обновлявшейся сталинской державой торчали ненасытные Германия, Англия, Япония, Турция, даже какая-нибудь Румыния, не считая затаившихся за горизонтом ещё более ненасытных Соединённых Штатов.



Оставались игра, шутовство, юродство. Вот Воланд и отыграл при Сталине и перед ним юродивого, лишь изобразив ненавязчиво — пародийно и ловко... и самого вождя, творившего в упоении свой страшный суд, отделяя будто бы здоровые зёрна от плевел, но бросая в очистительный огонь не одни лишь плевелы, но и зёрна, а чего больше при этом... и сам не знал.

Потребный Сталину социальный отбор не очень-то у него получался, но зато выходили *покорные* — и покорные именно ему — Сталину, ибо подметал Большой террор всех — и невиновных тоже, и лучших, и как от этого человеку советскому было не вздрогнуть, не устрашиться, не сдаться и не встать в строй пионеров-созидателей — дисциплинированных исполнителей *Великого Сталинского Проекта!*

Да, нужна была тогда воля, нужна была твёрдость, нужна была и беспощадность, но... не так, не так... вопил буквально автор романа, выписывая своего юродствующего в дьяволизме Воланда — знатока всего и вся, мира сего и мира того, истории всей свидетеля, антибога и антихриста, лукавого для всех земных властителей советничка.

Сам же Воланд, этот хитрый иноземный консультант, подержал-таки негласно Сталина, с ним никак при этом не солидаризируясь, укорил его немного, не слишком и осуждая, даже посочувствовал, никак особенно не жалея.

Презирая людей, за редчайшим исключением, Воланд... уважал Сталина, видя в нём *своего*, но либо просто более сильного, либо от него явно независимого: Сталин был Воланду не по зубам, но его — Воланда — он, видно, устраивал, ибо был, в отличие от того же Воланда... *архитектором*, причём великим, каковым Воланду, созерцателю и поэру, совсем быть и не хотелось, да, собственно, и не могло.

Воланд оставил вождя наедине с самим собою и своим великим делом, хоть и намекнул ему иносказательно, что, мол, не попадись на удочку, как тот же Понтий Пилат, и не стань дурачком, как тот же Берлиоз... думай, вождь, думай, не всё у тебя гладко, ищи, решай, и не от чего не зарекайся — ни от суммы с

тюрьмою, ни от позора с поруганием, ни от той же неблагодарной виселицы!

Воланд — не Сталин, совсем не Сталин, как и не *анти*Сталин! — это вполне достойный бес 1930-х, прикинувшийся перед грозным вождём бесом вполне второстепенным и к нему в целом и добровольно лояльным, — а что ему ещё тогда оставалось?

Совсем не то уже было в 1980—1990-е годы, совсем не то, ибо тогда уже имело место как раз не созидание, а разрушение Великой Сталинской Империи, романом в общем-то предвиденное, если не освящённое.


(А ведь правильно сделал Сталин, что не встретился с автором таинственного романа, а-а?)

Роман явно работал в 1980—1990-е годы, но работал он всё-таки не сам по себе, а какой-то на себя пародией, то ли нагло на него нахлобученной, то ли из него коварно вытянутой, ибо не Воланд вовсе объявился тогда в Москве, а объявилась какая-то на Воланда... тоже пародия, если не сама насмешка над ним, ибо явился в Москве сатана не кем-нибудь, а прямо-таки Иудой... впрочем не Иудой даже, а самой что ни на есть над ним насмешкой, той — романной, где Иуда из Кириафа всего лишь пародия на библейского Иуду, но оказавшейся в 1980—1990-е годы куда более подходящей и действенной.

То была эпоха особого рода перемен, когда за каждой переменной стояла, не особенно и скрываясь любимая Иудой... измена, да не простая, а... великая!

Эпоха великих измен, да, да, именно так: *Эпоха Великих Измен*, какой ещё не бывало, во всяком случае, в истории Руси-России, даже во времена Великой смуты, ибо никогда ещё Россия не была так предательски настроена, так глупа, так ловко и коварно обманута, так посрамлена и унижена, так обобрана, захвачена и присвоена.

В 1980—1990-е годы инициативу захватил именно Иуда из Кириафа, этот самый гнусный романский герой, прикинувшийся новым Воландом, на этот раз и в сердце Москвы пробравшимся, воспользовавшись вроде бы воландовскими приёмчиками, но...



но... Воланд-то ещё был в образе благородного рыцаря, лишь вынужденного стать комедиантом, а здесь уже сатана вошёл в образ изменщика, растлителя и вора, даже не задумывавшегося над каким-либо человеческим, кроме гламурной внешности, прикрытием.

Романный Воланд лишь насмеялся над порочным, слабым и глупым человечком-москвичём, уважая хотя бы москвича сильного, умного, деятельного, а вот реальная пародия на Воланда, этот Воланд-Иуда, уже в открытую надругался над человеком вообще, приветствуя лишь злую и подлую на человека пародию — чуть ли уже не самого античеловека-нелюдя.

Роман явно присутствовал в реалиях 1980—1990-х годов, но... каким-то вывороченным, отражавшим и вполне вывороченную реальность, — и выворотки эти — романная и реальная — состоялись как исторический отклик на 1930-е, как выблевок сталинизма и тогдашнего воландизма, о чём ни Сталин, ни Воланд даже и не подозревали, как не думал об этом всерьёз и автор романа, однако всё это как-то прозорливо предусмотрев, наверное, совершенно и невольно.

Сталину стало бы нестерпимо досадно, увидь он 1980—1990-е, Воланду — брезгливо, Мастеру — не по себе, автору романа — нестерпимо горько, и лишь Иуде из Кириафа было тогда радостно и приятно, ибо им был совершён в тот момент самый органичный сути человеческой социальный переворот — *от нестройного сочувствия кое-какой нравственности к полному над ней надругательству!*


Романист ничего такого, сидя в своих московских творческих квартирах в ожидании вполне заслуженного и практически неминуемого ареста, вовсе не предвидел и не угадывал, но попал ни с того, ни с сего в самую точку, а вот был ли в этом виноват сам чудодейственный роман? — трудно сказать, хоть и известно, что рукописи вовсе не обязательно горят, как и не обязательно исчезают, а живут себе и живут, ещё и работают, спасённые иной раз для такой непонятной миссии и самим товарищем хорошим дьяволом.

P. S. Не исключено, что сатана и тогда в 1930-е годы, намеревался совершить такой вот полностью аморальный переворот, но, столкнувшись с кремлёвским владыкой, понял, что это невозможно, что срок ещё не пришёл, что надо бы дождаться... *пост-сталинизма*, когда на большую городскую арену повыскакивают, кувыряясь и подпрыгивая, настоящие политические карлики и моральные уроды, а пока... а пока... поиграть со Сталиным в кошки-мышки, где Воланд, конечно же, был мышкой, спасти диссидентско-динамитный московский роман, внедрить его текст в контекст реальной истории, заставить поработать, а затем и получить искомый результат.

Что ж, и это оказалось возможно, почему нет? — поди-ка, разберись с этой тёмной и увёртливой нечистой силой!»

Зрелище

Москва. 4 октября 1993 года.
Смотровая площадка на самом верху
претенциозной сталинской высотки,
ставшей высокого класса
гостиницей «Украина». Позднее утро.
На площадке двое мужчин,
они сидят в креслах, смотрят
на слегка дымчатую осеннюю Москву,
попивая хорошо заваренный кофе,
неспешно беседуют. Один из них Воланд,
другой — Понтий Пилат. Первый одет
в чёрную суконную мантию с красной подкладкой
и чёрную же шапочку, отороченную мехом,
второй — в белый тонкого сукна
патрицианский плащ с красным подбивом,
голова его непокрыта. На коленях у Воланда



*лежит, делая вид, что спит, большой чёрный кот,
а в ногах у Пилата огромная чёрная собака,
готовая в любой момент разорвать
ненавистного ей кота. Между бедром Воланда
и спинкой кресла наклонно покрится трость,
поблескивая зелёными змеиными глазками
своего причудливого набалдашника.
К поясу Пилата прикреплён
короткий римский меч,
вставленный в дорогие ножны.*


— Так вот он, гиперборейский Рим-Ершалаим, — произнёс Пилат, перед тем поблагодаривший Воланда за приглашение побыть в этом необыкновенном городе, — ничего, кажется, особенного, но тёмно-серебристая река и высокие пирамиды мне нравятся... А что вон там, вдали под красными звёздами, что-то вроде их Палатина?

— Да-а, там, в этом древнем сакральном месте, называемом Кремль, они и сидят, их владыки, как сидел там великий красный вождь, создавший гибнущую на наших глазах евразийскую империю. Теперь очередь за её станovým хребтом, называемым Россией... Там, за рекой, вы видите белое здание, вроде комода, это здание местного парламента или сената, где засели несогласные с нынешним хозяином Кремля сенаторы, именуемые тут депутатами. Вместе с ними и вице-президент, то бишь второе лицо в государстве, провозгласивший себя президентом, то бишь первым лицом, после того, как действующий президент, тот, что в Кремле, опасаясь усиления парламента, попытался эту говорильню распустить, грубо нарушив Конституцию.

— Что-то вроде борьбы Цезаря с Сенатом?

— С той лишь разницей, что никаких республиканских традиций в этой имперской с авторитарной властью стране отродясь не бывало. И хотя закон на стороне депутатов, но сила... сила, похоже, у президента.

— Штурм, что ли, предстоит? Я вижу войска.



— Да, сегодня будет штурм депутатской цитадели, называемой тут Белым домом. Поэтому я и пригласил вас, экселенц, немного поразвлечься, вспомнить... э-э... былое.

— Вы имеете в виду, мессир, то событие... тогда... в Ершлаиме? — прищурил правый глаз Пилат, вдруг почувствовавший, как в те незабвенные времена, прилив... нет, нет... не прилив, конечно, а лишь какое-то ощущение прилива... ужасной головной боли, его тогда страшно донимавшей, пока не явился перед ним ненароком... *Он...* бродячий философ и врач, эту боль чудесным образом снявший.

— И то событие тоже, экселенц. Всё давно уже переплелось в дрянной человеческой истории и всё повторяется, бездарно повторяется. Ничего нового придумать не могут, эти, о-ох, сыны божии... ничего. Так вот и обезьянничают, дарвинисты!

— Что-о, мессир, что это значит... дарвинисты?

— Да явился тут один такой. Дарвин из Англии, точнее, из Британии, и провозгласил, что человек-де от обезьяны сам и произошёл. Можете себе представить, игемон... Но что интересно: сынам Божиим это вдруг понравилось.


— Ничего себе, — поразился Пилат, — от обезьяны... ха-ха... Впрочем, в этом что-то есть, а-а?

Пилат и Воланд, озорно посмотрев друг на друга, рассмеялись. Однако лицо Пилата вдруг посерьёзнело:

— И что же здесь, в этом городе тоже объявился какой-нибудь философ и проповедник, вроде несчастного Иешуа? Его тоже сегодня казнят!

— Не будем торопить события. Войска, как видите, прибывают. Чу, кажется, и первые выстрелы!.. Слышите, игемон, эти хлопки?

На звуки выстрелов пёс, а это был верный бывшему прокуратору Иудеи Банга, поднял голову, тревожно вздёрнув острые уши и озабоченно посмотрел на хозяина. Котяра продолжал невозмутимо дрыхнуть на коленях у Воланда, не давая псу никакой надежды на возможность геройского на него нападения.



— Сейчас ведь господствует огнестрельное оружие, — спокойно продолжал Воланд, поглаживая кота, — люди убивают друг друга на расстоянии, из любых мест и положений, в любое время суток и с любой дистанции.

— Любопытно. Выходит, что мечи, копья и щиты уже не в ходу, — заметил Пилат, инстинктивно дотронувшись до своего меча.

— О-о, — засмеялся Воланд, — теперь всё по-другому: огонь, огонь и ещё раз огонь!.. Сами увидите!

Тут над площадкой случилось едва заметное движение, вроде порыва ветра, и рядом с Воландом нарисовались прямо из воздуха три фигуры, одна из которых была женской. Это оказались милейший господин Коровьев с героями совсем недавней ленкомовского пошиба воландовской постановки на Садовой — Мастером и Маргаритой.


Одетый в элегантное тёмно-серое пальто и держа в руке не менее элегантную, украшенную тонкой серебряной вязью тросточку, Коровьев, блеснув половинкой давно уже треснувшего, но неизменно воспроизводившегося на его учёном глазу моногля, церемонно склонил голову перед Воландом:

— Вот, дорогой мессир, доставил в целости и сохранности. Правда, наши гости что-то совсем не разговорчивы, хоть я и пытался их расшевелить и, по возможности, ввести в курс дела.

— Это ничего, дорогой доктор, — живо ответил мессир, представив Пилата и гостей друг другу, — можно и помолчать. Но думаю, что вскорости наши гости извинят нас за причинённое беспокойство.

Мастер и Маргарита, одетые в тёплые длинные шерстяные туники почему-то жёлтого и голубого цветов, поклонились не слишком решительно Воланду, с интересом при этом посмотрев на атлетическое лицо Пилата.

Коровьев вручил прибывшим вместе с ним гостям откуда-то взявшиеся зажжённые свечи, оставив одну у себя, — удивительные свечи обладали свойством гореть, не растрачиваясь и не оплывая.



При появлении доктора бесовских наук с гостями, кот, всё так же лежавший на воландовских коленях, открыл глаза, посмотрел внимательно на Мастера и Маргариту и что-то про себя буркнул, вызвав параллельный рык у Банги, впрочем, весьма незлобивый.

Слегка уставший от исполненного поручения, Коровьев не стал отказываться от предложенного Воландом кофе и с удовольствием его выпил, подивившись превосходному вкусу горячего напитка, сдобренного великолепным, явно французским, коньяком.


Мастер и Маргарита от угощения было отказались, памятуя о чудодейственных способностях господина мессира.

— Зря, дорогие мои, вы игнорируете этот божественный напиток, ведь впереди ещё несколько часов увлекательного, но весьма утомительного зрелища, так что советую выпить, не пожалеете.

Коровьев выразительно посмотрел на Мастера и Маргариту, всячески давая понять, что напиток хорош и чрезвычайно в данный момент приемлем. Отказываться было неудобно, да и, по видимому, неразумно, и парочка выпила не без удовольствия душистый кофе, приправленный, кажется, корицей. Мастер и Маргарита, почувствовав прилив сил, вежливо поблагодарили господина мессира и его верного соратника Коровьева. Последний с удовлетворением осклабился.

В этот момент все заметили, как чёрная лохматая лапа кота, растопырив пальцы (именно пальцы, иначе не скажешь) потянулась было за чашечкой кофе, но была остановлена чувствительным ударом воландовой руки. Кот, оставшись без кофе, обиженно что-то проворчал и недружелюбно взглянул на Коровьева, беззвучно и с явным восторгом захохотавшего. Маргарита, встретившись с котом взглядом, приветливо улыбнулась, понимающе подмигнув ему глазом.

— Нехорошо, — обратилась она к мессиру, ища взглядом поддержки у Коровьева, — лишать нашего изобретательного... э-э... партнёра такого малого удовольствия, как чашечка кофе.



— Ничего, пусть знает, что есть приличия, а кофе... кофе котам вообще не полагается, — ответил назидательно Воланд, нарочито ласково погладив нахального кота по загривку.

Маргарите ничего не осталось, как состроить явно обиженному Бегемоту, за что-то, видно, назидательно наказанному, забавную сострадательно-утешительную гримаску, выразив тем самым и недоумение, и протест, и солидарность, хорошо замеченные хитроумным лохматым прохвостом.

А там, за рекой, всюю разворачивались события!

Стрельбы стало гораздо больше. Понтий привлёк внимание присутствующих к площади перед Белым домом, где обозначилось какое-то движение. Однако это ещё не было штурмом.

Тут на площадке внезапно появился, выскочив откуда-то из-под башни, слегка запыхавшийся, довольно красивый, с небольшой бородкой, но без усов, одетый в светлое желтоватое пальто и при светлой же шляпе, господин, на нежнокожей шее которого выделялась увесистая змееподобная золотая цепь с прикрепленным к ней большим изумрудом в искусно выполненной золотой оправе.


— Приветствую почтенное общество, — галантно раскланялся господин, с интересом и не без скрытой насмешки посмотрев на Пилата и Мастера. — Рад, очень рад, что удостоили Москву... и... э-э... меня... своим вниманием. Надеюсь, не пожалеете!

— Благодарю тебя, Иуда, — ответил ему Воланд, — не перестаю тобой восхищаться, твоей изобретательностью...

Услышав имя Иуды, бывший прокуратор Иудеи приподнял тяжёлые веки и внимательно посмотрел в лицо пришедшего и, как обнаружилось только что, их всех в Москву пригласившего: «Э-эх, Афрания нет, — подумал он, — вот бы кто мне всё точно бы разъяснил».

Но Иуда и не собирался таиться:

— С тех самых пор, — он вновь бросил жёсткий взгляд на Пилата, — я делаю всё, чтобы навредить бродячему провокатору, его сторонникам и последователям, опорочить их и наказать. Вот и местная, извините, реформа — моих рук дело, как и этот разыг-



равшийся внизу гнусный спектакль, который, кстати, я решил показать и на весь мир — по такому вот... э-э... передатчику (*Иуда слегка поморщился от произнесённого только что слова, в котором ему невольно послышалось... предатчику*), называемому в этой стране телевизором.

Тут в трёх метрах от сидевших в креслах традиционалистов вспыхнул синим светом какой-то не то ящик, не то пенал, на котором появилось изображение Белого дома, огороженного явно наспех сложенной стеной из больших каменных блоков и зловеще поблескивавшей на солнце колючей металлической сеткой, а также стоявших плотной серой массой за нелепым ограждением армейских когорт.

«Ага, — подумал Пилат, — армия, кажется, и в самом деле на стороне императора, сенату не сдобровать!»


— Я не советовал штурмовать этот проклятый дом в лоб, — с поразительной откровенностью продолжал Иуда, — это не нужно и кровопролитно. Лучше устрашающее психическое воздействие. О-о, — Иуда поднял руку с вздёрнутым вверх пальцем, на котором как-то фиолетово зло сверкнул увесистый бриллиант, — слышите, вы слышите этот гул, это идут танки, которые как раз и выполнят главную роль в этой показательной экзекуции.

— Экзекуции? — удивлённо переспросил Воланд.

— Да, да, именно так — экзекуции! Вполне бескровной. Ненавижу кровь! Я хочу, чтобы эти глупые депутаты во главе с дурашливым вице-президентом просто сдались на милость моему великолепному... э-э... выдвиженцу. Устрашение и только устрашение, и никакой крови!

— О-о, да ты, Иуда, просто ангел! — заметил, иронично усмехнувшись, Воланд, вспомнивший, как был зарезан Иуда из Кириафа по тайному и весьма загадочному желанию сидевшего теперь с ним рядом когда-то грозного прокуратора Иудеи.

Тут опять зашевелился треклятый кот. Он вдруг поднялся на свои упругие лапы, смачно потянулся, зевнул лениво и издал своей паршивой глоткой совершенно непотребный звук. Первым



отреагировал бдительный Банга, рванувшийся было к мерзкому коту, но властная рука прокуратора выразительно повисла прямо перед собачьей мордой. Воланд, поражённый наглостью кота, молчал, широко открыв зелёный глаз и не находил слов укоризны. Коровьев с Маргаритой откровенно захохотали, а Мастер как-то заговорщически улыбнулся. Иуда, увлечённый зрелищем выползавших на мост перед Белым домом танков, не заметил скотской проделки кота, противный возглас которого он списал на ревушие внизу железные черепахи.

«Вот сволочь, — подумал пришедший в себя Воланд, — в такой момент и такая выходка! Гад! Что бы это значило?»

— Иуда, — обратился он к самодовольному щеголю, — хочу представить тебе автора злополучного романа и его... э-э... верную пассию Маргариту.

Иуда, занятый происходящим внизу, на мосту, за рекой, перед Белым домом, лишь мельком взглянул на довольно прозаическую парочку, неодобрительно сверкнув глазом на Мастера и совершенно не заинтересовавшись Маргаритой.

— Смотри, Мастер, смотри, — прокричал вдруг Воланд, — это ведь всё твоё... *твоё!*

Остановившиеся на мосту танки стали наводить на Белый дом жерла своих пушек. Вокруг самого Белого дома уже шла какая-то беспорядочная пальба. То ли стреляли по дому, то ли из дома, но никакого большого движения у дома и в доме заметно не было.

Но вот танки открыли методичный огонь по верхним этажам приговорённого здания. Вскоре внутри него разгорелся пожар, и из окон обстреливаемых этажей повалил дым, превращавший белый фасад непокорной депутатской цитадели в чёрный.

Дом чернел на глазах!

«Вот это да!» — подумал Пилат, не преминувший восхититься работой железных черепах, называвшихся почему-то танками, хотя можно было бы, по разумению Пилата, их попросту именовать бочками или же, на худой конец, бидонами.



— Тут применены специальные снаряды, которые прошивают здание насквозь, вызывая пожар и уничтожая всё живое особого рода ударной воздушной волной, — пояснял удовлетворённый Иуда. — От них не остаётся никакой крови... О-о, вы видите, господа, сколько народу собралось на набережных, чтобы посмотреть на этот грандиозный спектакль!.. И люди полны внимания, они в восторге!

Присутствовавшие не забывали поглядывать на стоявший неподалёку светящийся не то ящик, не то пенал, на стекле которого мелькнула какая-то очередная картинка. То женский, то мужской голос пояснял что-то по-русски, но с явным иностранным акцентом. Вот стали заметны какие-то приближавшиеся к дому бойцы, как оказалось, какого-то элитного подразделения. Вдруг один из них упал, как подкошенный. Кто-то сразил его метким выстрелом, будто бы прямо из Белого дома. Бойцы, стреляя на ходу, кинулись к подъездам окружённого здания и почти беспрепятственно ворвались внутрь.

Никто не знал, что там происходило: ожесточённый ли бой или попросту беспощадная резня. Дом продолжал гореть, а обильный дым старательно облизывал по-чёрному стены ставшего вдруг обречённым и жалким здания.

Танки перестали стрелять. Из них на мостовую проворно и деловито вылезли танкисты и принялись смотреть на результаты своей блестящей работы.

На смотровой площадке воцарилось тягостное молчание. Минуты тянулись как-то по-особенному долго. Что было там, в этом почерневшем Белом доме? Даже Иуда замолк. Каждому представлялись ужасные сцены развершейся там бойни. И трупы, трупы, горы трупов!

Каждому виделся свой ад!

Возбуждённые было от необычного показательного зрелища народные толпы, заполнившие набережные прославленной великокняжеской реки — внезапно униженной и чуть ли не оскоплённой, вдруг конфузливо и трусливо затихли.



Тут опять зашевелился и стал приподниматься на воландовских коленях паршивец кот. Банга зарычал, не в силах переносить рядом с собой это отвратное существо. Мессир проворно схватил кота за ухо и, сильно сжав его, прошипел: «Ещё одно движение, сволочь, и я выброшу тебя вниз!» Угроза неожиданно подействовала: котяра глубоко вздохнул, примирительно глянул на Воланда и, посмотрев презрительно на Бангу, сел статуэткой на мессирских коленях и устался в вещавший что-то фосфоризирующий ящик.


Из телевизора же несло рефреном: «Фашисты... красные... сталинисты... коммунисты... путчисты... бандиты...», — это всё о сидельцах и защитниках Белого дома, ожидавших поддержки народа и армии, но так её и не дождавшихся, зато дождавшихся показательного штурма парламента и непоказанной по веселому ящику бойни внутри тортообразного дворца.

Наконец по говорливому ящику с каким-то яростным предыханием объявили, что путчисты капитулировали (как потом стало известно, они это сделали ещё до жаркого штурма никем всерьёз не защищавшегося Белого дома). Так что если бойня внутри здания и была, то она должна была бы уже закончиться. Все замерли в ожидании. Вот подоспела на ящичном стекле и картина выведения из Белого дома арестованных бунтарей. Все главари восстания были живы, они были бледны и понуры, весьма и испуганны. Никакого, знаете ли, пафоса, никаких и эффектных сцен сдачи!

Тут по чудо-ящику пошли бодрые комментарии, в которых потерпевшие поражение восставшие безоговорочно, назидательно и с неподкупным отвращением осуждались.

Не было ни жалости, ни милости, ни попыток оправдания!

О жертвах не было сказано ни слова, но, как потом выяснилось, они, конечно же, были, — и были это обычные люди, из простецов, вовсе не депутаты и прочие известные участники разыгранного парламентского бунта, это были как раз те, которые поднялись даже не столько за Конституцию и против нового кремлёвца, сколько попросту за правду, за достоинство, за Рос-



сию, за себя, — они и сгнули в кутерьме беспорядочного подавления: впопыхах подстреленные, расплывшиеся снарядами разрывами, деловито отправленные в небытие.

Да, жертвы были, и их было немало, и они... они... искупили своей кровью позор человека, народа, страны, повторив подвиг того же Иешуа, только... только... оставшись в благодарной памяти совсем немногих, не учредив никакой религии, не породив мощного общественного движения, никак не захватив воображения сознательного человечества.


Что ж, показательный расстрел парламента, — кажется, единственный в новейшей истории, — состоялся, — парламента законного, вставшего на защиту Конституции и хоть какой-то в этом мире справедливости.

Прервав затянувшееся молчание, первым заговорил Воланд:

— Поздравляю тебя, Иуда! Хорошо сделано! Ты — *мастер!*

Иуда взмахнув как-то неловко руками, зло сверкнул тёмными глазами:

— Так было и так будет! Мы должны одержать всеобщую победу. Зря что ли Иуда Искарот отправил Христа на эшафот... Вы думаете, он прельстился тридцатью сребрениками? Ошибаетесь! Иуда — самый последовательный противник Христа, и взял он эти сребреники, чтобы не выдать себя, как и свой антихристианский план. Никто его не понял, ещё и стали презирать и преследовать. Иуде не повезло, но именно он, Иуда — вот кто настоящий герой, пожертвовавший собой ради всех вас, ради человечества и того же Господа Бога... И меня не разжалобить, хотя я и противник крови. Я не хотел крови, но если она уж пролилась, то значит, так было надо!.. На Иудину кровь что-то никто не обратил внимания, а ведь она тоже, — Иуда посмотрел с ненавистью на Мастера, — пролилась, а-а?.. Я принимаю, мессир, твои поздравления, и горжусь ими, точнее, не ими, а мною содеянным. И по сему прощайте, милостивые государи, у меня, в отличие от вас, много дел, и именно здесь, в России, в этом чудесном центре



мира, где всё сейчас и решается. Прощайте, господа! Мне всё равно, что вы обо всём этом думаете, мой план уверенно исполняется!

Выпалив сию пространную тираду, Иуда, махнув досадливо рукой, быстро исчез, деловито завернув за какой-то башенный выступ.

— Вот как, стало быть, выходит... ради нас, оказывается, старался... А мы его с Афранием... да-а... интересно! Ну, и экзекуция! Все всё видели, ничего не видя, всё узнали, ничего не узнав, все в курсе дела, ничего не поняв!

Пилат выразительно посмотрел на мессира.

— Я за Иуду не отвечаю, — решительно проговорил Воланд, поглаживая чортова кота, — но я его понимаю, этого планщика, строящего упорно свой мир человеческий.

— И что же он строит, этот негодяй? — выпалил Пилат.

— Он строит мир без Бога, соответственно, и без Иешуа, даже и, — Воланд с прищуром глянул на Понтия, — без тебя, игемон, да-с, без тебя тоже, ибо у тебя есть ещё вопросы к Иешуа, зато нет никаких вопросов к Иуде. А ему это совсем не нравится!

— Мир... без... божественного, — медленно проговорил Пилат, — следственно, и без сакральной власти?


— Он строит свободный мир, а точнее, мир свободных людей.

— Так они ж перегрызут друг друга!

— Это его не волнует. Главное — свобода!.. Ну и, насколько я его понимаю... сокрытая за свободой... власть — над свободными-де людьми.

Тут Воланд обратился к Мастеру:

— Вы, наверное, недоумеваете, сударь, почему да зачем? Но при домашнем анализе всё поймете. Вам надо было это видеть. На тот свет хорошо надеяться, но полезно и знать, что после тебя творится на этом свете, очень полезно. Я вижу, что вам с Маргаритой не терпится нас покинуть, — и это правильно, тем более, что за вами, кажется, уже идут. Так что, прощайте! Коро-



вьев, — мессир поднял глаза на доктора бесовских наук, — обеспечьте немедленно доставку наших гостей на их загородную виллу!

— Нет ничего проще, — с готовностью ответил Коровьев. Он погасил свою свечу и мигом набросил на явно прибалдевшую от увиденного и услышанного парочку какое-то серебристое прозрачное покрывало, под которым она как-то мгновенно и растворилась вместе с огоньками своих негаснущих свечек, так и не успев проронить ни слова.


Исчез вслед за Мастером с Маргаритой и их великолепный покровитель и гид доктор независимых наук Коровьев.

— Благодарю вас, мессир, за урок, — слегка наклонив в знак признательности голову, произнёс Пилат. — Хоть острый меч и верный Банга со мной, но что-то мне не хочется снова видеть эту паскудную рожу. Так что прощайте, сударь! Отправлюсь-ка я к себе, дабы поразмышлять на досуге, да и обсудить кое-что с Иешуа.

— Прощайте, игемон! И мой привет Иешуа, если, конечно, он соблаговолит его принять.

Где-то внутри башни раздались громкие голоса, и на площадку торопливо вывалилась группа самоуверенных, вооружённых автоматами и гранатомётами, людей в какой-то чёрной полумоношной униформе, живо галдевших на ломаном английском. Среди них выделялись две покрашенные развязные девки, считавшие почему-то совершенно потребным в сей исключительный момент назойливо друг с другом целоваться. Нашлась в компании и пара субчиков, которые проделывали между собой со столь же неуместной страстью примерно то же самое. Во главе шайки был сам Иуда. Он вернулся с бандой боевиков, чтобы расправиться под шумок с Мастером и Пилатом, отомстить им за свою незаслуженную и некрасивую смерть. Но к его удивлению на площадке никого не было. Иуда быстро обежал башню, но со всех сторон его лишь по приветствовал вольный ветер.

«Смылись, — дошло до Иуды, — хитрый Воланд всё понял и принял меры... Гад!»



— Ладно, ребята, пойдём! Всё равно сегодня у нас праздник. Понимаете, праздник! Победа!

Бойцы довольно загоготали, представив, надо полагать, как в их карманы у самого сердца вскоре падут увесистые конвертики, наполненные зелёными банкнотами, которые, в отличие от воландовских купюр, совсем не имели намерения вдруг бесследно исчезнуть, и дружно кинулись вслед за Иудой.

Запечатления

*Из записок свидетеля
жарких исторических событий*


«В августе 1991 г. я отдыхал на юге у моря в престижном санатории. 19 числа все были встревожены известиями из Москвы, где было объявлено о чрезвычайном положении. В санатории воцарилось глухое молчание: никто ничего ни с кем не обсуждал. Ждали развязки. По телеку показывали “Лебединое озеро”. Президент страны был будто бы изолирован в своей крымской резиденции, где находился до того на отдыхе. Власть перешла вроде бы к Государственному комитету по чрезвычайному положению, или кратко — ГКЧП. В Москву были введены войска. Однако удивляло бездействие гэкачепистов, их непонятное желание непременно встретиться с президентом, ими будто бы изолированным. Было видно, что идёт какой-то странный розыгрыш. 20 числа всё стало ясно: оппозиция, воспользовавшись бездействием ГКЧП и отсутствием в Москве президента, перешла в наступление, явно кем-то хорошо подготовленное. К Белому дому, где размещался парламент, сбежалось много народа. Армия то ли не имела приказа его разгонять, то ли отказалась это делать, — и недавно избранный президент России, явившись к Белому дому и взобравшись на танк, провозгласил низвержение ГКЧП и переход власти к нему. Члены ГКЧП и бывшие на его стороне высшие персоны никак на это не возразили, мало того, они были немед-



ленно арестованы. Министр внутренних дел то ли застрелился — от стыда, то ли был застрелен — на всякий случай. Потом в Москву прибыл, почему-то в образе побитой собачки, президент СССР, умильно сопровождаемый своей некоронованной супругой, тоже в образе собачки, но не столько побитой, сколько обиженной. Но власть прибывшему театрально кремлёвцу в общем-то уже не принадлежала. В итоге он сдал страну, которую, после торопливого роспуска единой партии — КПСС, дружно бывшие капээсэсники и развалили. Через год всех бутафорских путчистов из тюрьмы выпустили. Но сталинской империи уже на карте мира не существовало».

* * *

«19 сентября 1993 г. президент нарушил Конституцию и распустил парламент. Парламент взбунтовался и выступил против президента, объявив о его смещении. Тот призвал так называемых народных депутатов перейти на его сторону, что большинство незамедлительно и сделало. В Белом доме, где засело взбунтовавшееся парламентское меньшинство, было отключено электричество, прекращена подача воды. Парламент был оцеплен милицией, огорожен бетонными плитами и колючей проволокой. Началось двухнедельное сидение непокорной части депутатов вместе с вице-президентом в Белом доме, поддержанное немногочисленной, но активной массой столичного и нестоличного населения. Президенту оставалось во что бы то ни стало спровоцировать вооружённое восстание, что и удалось сделать 3 октября. 4 октября Белый дом был захвачен, а его защитники либо перебиты, либо арестованы, либо разогнаны. И всё это на глазах у всей страны и всего мира. С показом через *американское* (!) телевидение. Народ же, как обычно, безмолвствовал, за исключением горстки наивных защитников Конституции и людской чести. За расстрелом Белого дома из танков и его захватом наблюдала многочисленная толпа зевак. Точное число жертв никто не знал. Руководители депутатского мятежа, в том числе и смещённый со своего поста вице-президент, отсидели годок в тюрьме и были



отпущены на свободу, наверняка с каким-нибудь конспиративным обязательством, дарующим жизнь и... кошелёк».


* * *

«1 октября 1993 г. было спровоцировано выступление масс к Белому дому, якобы для его освобождения из-под блокады. Пропрезидентские силы встретили возбуждённую толпу “освободителей” на Смоленской площади, аккурат напротив знаменитого смоленского гастронома, бывшего во время написания вешего московского романа и в самом этом романе пресловутым Торгсином. Была драка с отрядами милиции, которые отступили с площади в сторону Белого дома. Одним из отрядов командовал человек в чёрном костюме, белой рубашке и при бабочке, плохо говоривший по-русски. Предводители “восставшей” толпы дальше не пошли, а устроили митинг на площади, погасив боевой порыв “масс”. Была сооружена “баррикада”, откуда-то появились шины и бензин. Резина горела по-чёрному, прямо у дверей бывшего Торгсина, который в романе тоже горел. Знаменательно! И там, и там розыгрыш, там и там провокация, там и там иностранные консультанты».

* * *

«3 октября на балконе Белого дома возник вице-президент и срывающимся голосом призвал идти на соседнюю мэрию и на телецентр. Мэрия была легко захвачена, ибо её никто всерьёз и не защищал, а перед телецентром была устроена бойня. Войска стреляли по толпе, фактически безоружной, ибо офицерам были обещаны квартиры. Раненых у телецентра привозили к Белому дому, где их услужливо забирали откуда-то вдруг взявшиеся машины скорой помощи, развозя по больницам».

«Вечером 3 октября в центре города не было ни одного милиционера, не говоря уже о войсках. Ни одного милиционера! Обманутые народные патрули брали под свою охрану правитель-



ственные здания, в том числе и Министерство обороны. Они чувствовали что-то неладное, но, подбадривая себя недоуменным молчанием, делали своё фантастически безнадежное дело».

* * *


«Примерно за неделю до штурма и взятия Белого дома случилось природное предзнаменование. Среди защитников парламента, живших в палатках либо ежедневно являвшихся на дежурство, оказались два-три простых священника и какое-то количество верующих. Ими проводились крестные ходы вокруг Белого дома с выходом на набережную реки Москвы через милицейское оцепление. И вот однажды, когда очередной “крестный ход”, как его называли некоторые непосвящённые в церковные порядки члены народной дружины, вышел на набережную, со стороны гостиницы “Украина”, то есть с запада, небо возгорелось обширнейшим красно-золотым закатом, и вода в реке окрасилась багряно-золотистым цветом. Это было поразительно! Однако и очень тревожно: то был явный знак крови! Так, собственно, и случилось: восстание было подавлено, а страна подвергнута гнуснейшей переделке, приведшей к обильному страданию и большой крови».

«Когда крестный ход пересекал набережную улицу, то иномарки спокойно стояли, ожидая прохода людей, а “жигулёнки” с “москвичёнками”, усиленно гудя, наезжали прямо на ещё не перешедших улицу участников хода».

«Ни один церковный иерарх около Белого дома тогда не появился».

Реформа

Лукав и жесток был год 1993-й, принесший победу новому кремлёвскому владыке — то ли реальному, то ли ирреальному, прямо как в романе, где реальность и мифы послушно и надёжно




переплелись в одно тугое целое, — и не ясно было, почему же... э-эх!.. всё так вот и произошло — в пользу чуть ли не сказочного чуда-юда, чудища стоглавого, дракона огнедышащего.

Сразу пошла, да что пошла — понеслась вскачь, вроде зверя апокалипсического, *реформа* — самая удивительная из невозможных!, — безотлагательно, беззастенчиво и беззаветно, как-то совсем даже по-детски, презрев недалёковидную мораль людскую, обобравшая огромную страну со всем её опешившим от развала гигантской сталинской империи и свалившихся вдруг беспримерных свобод населением, тревожно, опасливо и предвкусённо вокруг себя тогда озиравшимся.

Совершенно *чудесной* то была реформа — даже не по обману грандиозному, не по одурачиванию массовому, не по презрению гнусному к людишкам малым, даже не по цинизму бескрайнему, не по грабежу изощрённому и не по присвоению безмерному, а... по прельщению бесподобному (бесу подобному!), которого ещё мир людской не видывал, история никакая не знала, а литература — умная вроде бы и ловкая — даже во снах своих глубокомысленных, острословных и прозорливых представить себе никак не могла.

Разве лишь автор «Бесов» да романист московский, автор «Мастера и Маргариты», что-то этакое предчувствовали, ничего ещё доподлинно не зная, но к чему-то подобному уже принаравливаясь, как раз к тому самому — запредельному, потустороннему, трансцендентному, конечно же — *инферальному*, что не на поверхности вовсе, а в глубине, в темени, в недрах, что сидит себе где-то там внутри и сидит, часа своего тихо и алчно дожидаясь, чтобы выскочить вдруг наружу, да и вытворить что-нибудь совсем уж несусветное.

Ах, эти фёдормихайловичевы бесы, повыпрыгивали-таки откуда-то вновь на авансцену историческую, плюнули смачно на homo sapiens с его позорной ноосферой и провернули ловко и быстро дерзкое преобразование, да такое, что мало никому и нигде уже не казалось, — а ведь предупреждал же Фёдор Михайлович, предупреждал, а романист московский, тот и вовсе почти




что так всё и узрел, извлеки наружу из inferнального закулисья только ему — театралу и театроведу — понятные (недаром же он накрапал на досуге ещё и весёлый паталогоанатомический «Театральный роман»!) эзотерические формулы!

Ах, душеведы российские, далась вам эта *дьяволиада* — вполне у вас самих и потешная, а тут вот вполне всамделишная, лихо просвиставшая над страной-бедолагой, задевая всё и вся, ничего и никого не оставляя без своего умопомрачительного внимания!

Нечистая сила, которую пронизательно разглядел когда-то великий русский писатель-классик, сам из бесов вышедший, из фурьеристов и каторжан, и над которой поиронизировал не менее пронизательно московский присталинский романист, теперь уже точно классик, не из фурьеристов, правда, и каторжан, но зато из морфинистов и сатанологов, — а почему, собственно, и не из бесов? — так эта самая нечистая сила, став деятельной вездесущей субстанцией, вселилась в людей, в их головы и души, захватила их мысли, покорила их замыслы, определила поведение и действия, даже само тело их изменила, придав ему коварно, споро и броско иную, какую-то ещё небывалую, прямо-таки неотмирную внешность — вроде бы ещё даже человеческую.

Впрочем, это была не какая-то из глубин подземных выскокившая нечистая сила, ещё и в виде чертей рогатых и хвостатых, а самая обыкновенная — человеческая, прямо в человеках и сидевшая, часа своего дожидаясь, а когда срок пришёл, то кем-то и зачем-то освобождённая — ведь реформа же, переворот! — как раз в пользу любителей сытой и красивой жизни, паразитарного элитаризма, ловкого и беспринципного над людскими массами измывательства, как, разумеется, и любителями тельца золотого, столь родом человеческим вообще почитаемого.

И не человек вовсе, а всего лишь зверь человеческий стал устройтелем небывалой реформы, да что устройтелем — и участником тоже, — тот самый зверь, которого так хорошо видел в его человекоподобии жестокий ершалаимский прокуратор, как, собственно, и добрый Иешуа, который тоже видел... да молчал, все и не наивно, — и как глянул на себя в зеркало истории при-



реформенный землянин-удалец, да как увидел перед собой невероятной конструкции образину — и не ужаснулся вовсе, а... удовольствовался — наконец-то!

Не реформа то была вовсе, а выворот какой-то, позволивший антимиру заполнить собою мир человеческий, — великое тут случилось торжество князя земного!

Где же тут был Иисус, где Иешуа?

Зато Иуда, хоть тот, хоть этот — вот он, со свечой в руке, прямо во храме Господнем!

Исполнение тут было чьего-то жуткого плана, вовсе и не злого, отчего у одних восторженный вопль от ненасытного удовлетворения, у других сдавленный крик от отчаяния, зато у третьих одни мурашки по телу!

И всё это здесь, с нами, на глазах, без утайки!

«Суки, суки, суки, козлы вонючие!» — запричитала вдруг беспрецедентно и яростно из заграничного далека, — из самого Парижа! — взбудораженная от тщетной ненависти-зависти к ловким реформистам славная советская диссидентша, хорошо усвоившая — по причине ещё памятной ей отсидки на северном лесоповале — бессмертный тюремный сленг.

Было, было... и настолько реально было, что и не верится, что такое вообще может быть: тотальная реформа с тотальным же разрушением всего нормального жизнеустройства ради беспардонного частного присвоения, а если и созидание, то только личных (слышите, личных!) богатств — огромных, нелепых, бессмысленных!

А ещё кому-то кажется, что достославный роман, как и кое-что из знаменательного, что иной раз и по телевизору «кажут», всего лишь выдумка, миф, блажь. Какая-токая дьяволиада, какой-токой князь, какие-токие три шестёрки?

В самом деле, какие?!



Смотрины

*Середина 1990-х гг.
Вашингтон. Белый Дом.
Кабинет первой леди США,
супруги Президента.
За маленьким круглым столом
сидят и беседуют двое:
супруга Президента и мужчина,
примерно 50 лет, из России.
Общаются без переводчика:
русский визитёр
сносно владеет английским языком.*

— Рада вас снова видеть в здравии и, как я вижу, в хорошей форме.

— Я тоже рад вас видеть, миссис N, за полгода, прошедшие после нашей встречи в Москве, вы если и изменились, то только в лучшую сторону.


— Спасибо за комплимент, который для взрослеющей женщины никогда не бывает лишним. (*Первая леди приветливо улыбнулась*). Как прошёл межконтинентальный перелёт? Вы хорошо устроены?

— Перелёт был прямой, он прошёл без приключений, у меня всё в порядке.

— Что ж, ближе к делу. Как вы оцениваете ситуацию в России?

— Положение президента укрепляется, но трудностей много, капитал и рынок только разворачиваются, идёт обвальная приватизация, огромный бюджетный дефицит, не хватает денег. Страна нуждается в финансовой помощи и поддержке со стороны Запада.

— А как правительство?



— Действует, но не слишком активно и эффективно. Хорошей правящей команды пока не сложилось. Много ошибок. Впечатление, что правительство часто просто не знает, что делать, хотя оно и не бездействует.

— И что сейчас самое необходимое? Может надо усилить консалтинг из-за рубежа?

— Самое главное сейчас, это финансовая помощь из-за рубежа, а также появление у нас более эффективного правительства. Иностраный консалтинг, который уже есть и действует, нас вполне устраивает.

— Что касается финансовой помощи, то она возможна и, я думаю, последует. Президент США настроен позитивно, но есть проблема использования этой помощи. Создаётся впечатление, что средства уходят куда угодно, но только не на решение актуальных бюджетных задач. И ваш президент, насколько мне известно, очень этим озабочен и даже подумывает сменить правительство. (*Меняет ход беседы*): А есть ли вообще уверенность в возможности правильного использования внешних займов, как и их последующего погашения? Ведь экономика России сократилась вдвое по объёму, в стране огромная инфляция, собираемость налогов совершенно неудовлетворительная.

— Думаю, за год-полтора положение можно было бы исправить, главным образом за счёт налаживания стабильного энерго-сырьевого экспорта. Но необходимо учитывать, что страна переживает реформу и без потерь нам пока не обойтись.

— Мне кажется, что ваша реформа идёт как-то хаотично и слишком, как бы это сказать, рискованно, не так ли?


— Согласен. Здесь необходимо больше сдержанности, размерности и управляемости.


— Вы, кажется, ранее были руководителем крупной корпорации?

— Да, научно-производственной.

— Скажите, а реставрация прежнего строя ещё возможна?

— Строя, конечно, нет, но некоторых элементов управления, пожалуй, да.

- 
- Вы имеете в виду планирование?
- К прежнему планированию мы уже не вернёмся, но проективное регулирование нам необходимо. *(И добавил):* Как, собственно, это имеет место по всему миру, включая США.
- А что сейчас коммунисты? Я говорила с их лидером, он, конечно, ортодокс, но выглядит вполне цивилизованным, даже симпатичным.
- Коммунисты и их лидер всё ещё популярны. И для нынешней власти довольно опасны. На президентских выборах их лидер может даже победить. Но коммунисты в тупике, так как назад вернуться уже не получится, а идти вперед они не смогут, так как не знают куда и как. Было бы лучше для них самих к власти не приходить. Опасно и дестабилизировать общую ситуацию, которая и так сложна.
- А президент, держит ли он ситуацию в стране в руках?
- В целом, да, но ему нужно основательно помочь, прежде всего, финансово, но и политически, как и морально тоже.
- Морально? Каким же образом?
- Считать его равноправным партнёром, сделать взаимодействие России с «семёркой» более тесным и эффективным. Это покажет правильность курса, взятого Россией, и укрепит авторитет президента.
- Что ж, возможно... *(Снова меняет направление разговора):* А позвольте поинтересоваться, на какие силы в стране вы лично опираетесь? Технократические?
- Можно сказать и так. В целом же на деловые, но признающие общие национальные задачи и социальный характер государства.
- У вас много единомышленников, соратников?
- Есть даже партия, правда, ещё молодая, растущая. *(Увидев, что собеседница почему-то молчит, добавил):* Партия социально-технократического характера.
- И у вас есть конструктивная программа?
- Есть! Я как раз захватил её с собой, загодя переведя на английский язык. *(Берёт в руки принесённую с собой папку, не*



слишком ловко её растёгивает, вынимает слегка дрожащими руками программу и вручает её высокопоставленной собеседнице).

— О-о, спасибо! Это очень хорошо (*перелистав первые страницы*) и показательно. Спасибо! К сожалению, время бежит и у меня ещё масса дел. Была рада с вами вновь встретиться и с большим интересом побеседовать. (*И, чарующе улыбнувшись, добавила*): Желаю вам успехов в делах государственных, а в России сейчас ситуация очень сложная, впрочем, как мне кажется, не безнадежная. До свидания!

— Я тоже надеюсь. Будьте счастливы! До свидания!

Как только посетитель из России покинул кабинет, в нём появился помощник Президента, ведавший вопросами внешней политики:

— Каково ваше впечатление, миссис N?

— Парень толковый, но, по-моему, не совсем тех убеждений, что нам сейчас надо, и... всё-таки слабоват, не потянет, хотя надо иметь его в виду и сильно не разочаровывать. (*Она вспомнила его трясущиеся руки*): Не лев, не лев! Пусть уж лучше тот газетчик косноязычный пока побудет, хитрый, упрямый, но в общем-то нам понятный, а когда надо и вполне податливый!

Смута

В стране воцарилась смута: подлая, грязная, неодолимая.
То были достославные 1990-е!

Со дна моря человеческого поднялось вдруг всё самое отвратительное, что обычно осуждается, преследуется, уничтожается. Цивилизация пала, обернувшись к человеку внезапно самой что ни на есть адовой, может, как раз и самой истинной, рожей. Добро куда-то мгновенно исчезло, уступив место злу, а зло, оставшись наедине с самим собою, быстро прикинулось... добром. Главным мотором бытия людского стала страсть, главным ориентиром — ложь, а главным вершителем — наглость!



Никто из простых смертных ничего не понимал, как не складывалось ничего путного и в пространных головах лучших-де представителей рода человеческого — интеллектуалов, зато выходило как раз то, что надо было, как видно, князю мира сего, вознамерившемуся на месте державного сталинского порядка утвердить космополитический произвол иудин, когда свобода, обнявшись с самой смертью — этой подружкой своей закадычной, запела сладкоголосо и безостановочно долгожданное счастье человеческое — сытое и весёлое, прямо на всех, к нему оборотившихся, немедленно и ниспадшее.

То была воистину исключительная смута, ещё не бывавшая — ни в стране, ни в мире, мало того, что послесталинская и будто бы либеральная, но ведь ещё и эпохи развитого ноосферизма, поголовной грамотности, всеобщего и непрерывного образования, всезнающей науки, захватывающего интеллектуализма, глобального информатизма, всепроникающих коммуникативных сетей и вездесущих вольноопределяющихся текстов, как и извергающихся откуда-то на человека потоков ненужных, но назойливых слов, звуков, образов, знаков, символов, в общем — смута была прежде всего в сознании, в головах, в мыслях, не говоря уже о душах, а потом уже в поведении, поступках и действиях, в отношениях, сообществах и массах, то была смута в первую очередь идейно-виртуальная, а затем уже действенно-реальная, что означает, что смута была вполне и сделана, как вполне делаемым является весь идеальный мир человека, который, будучи достаточно заражённым всяческой гнойной гадостью, легко превращается, как оказалось, в мир тотально патологический — достаточно только кому-то этого сильно захотеть!

Великий Фёдор Достоевский, сам страдавший падучей и нервными расстройствами, довольно это понимал, предвидя с нескрываемым ужасом грядущую революционную смуту, не имея ни малейшего шанса помешать распространению всеобщей социальной шизофрении. Лев Толстой, падучей не страдавший, но чувствовавший в общем-то то же самое, попытался было предотвратить надвигающуюся неумолимо гуманитарную ката-



строфу, построив новую религию — совершенно и человеческую, лишённую Христа Бога, но зато оснащённую Христом-человеком, а точнее, и не Христом уже вовсе, а... э-э... не будем об этом, ибо ничего у великого Льва так и не получилось — ни триумфального въезда в новый-де Иерусалим, ни новой кровавой Голгофы, ни новой религии, а получилась лишь одна личная тщета, увенчанная смертью беглого старца на дороге, да ещё вышла смута русская — вполне и революционная, старательно раскрывшаяся, как того желал-таки всюю яснополянский мудрец, зажившуюся-де на свете православную империю. А вот Максим Горький, тоже великий литератор, с самого раннего детства страдавший, как оказалось, от гнетущей российской реальности, так тот смуту прямо лично и готовил, заделавшись не только писателем революционным, но и практическим революционером, пользуясь при этом почему-то доверием и любовью не одной дурочки России, но и всей просвещённой Европы.

Иное дело бывший врач-киевлянин, а потом уже и писатель московский, вовсе ещё и не великий, но уже чертовски талантливый, так тот, будучи удручённым свидетелем и невольным участником русской революционной смуты, возненавидевший её и проклинавший, раскусил-таки тайную алгоритмику современных соцпереворотов, намекнув на неё в своём чародейском романе: иностранные консультанты, мол, поэты, атеисты, пропагандисты всякие, ну и провокаторы тоже, доносчики, разбойнички, террористы, экспроприаторы, палачи, а главное... главное... нашествие великой правды о гнусном-де прошлом и ещё более великой лжи о счастливом-де будущем... и чтоб никто из простаков и профанов ничего не понимал... *ничего!*

Впрочем, что-то похожее уже имел честь утверждать и прозорливый Фёдор Михайлович. Но... но... при нём ещё многого не было: ни страшной и бестолковой для России мировой войны, ни поддержанной извне, если не прямо оттуда спровоцированной, разрушительной революции (антиимперской и антироссийской), ни бешеной кровопролитной междоусобицы, поминаемой более как гражданская война, ни массовых и беззастенчивых репрес-



сий, ни Сталина с его изошрённым и безжалостным сталинизмом, ни грандиозного строительства нового мира, ни подготовки к величайшей мировой бойне, ни потрясающей всякое воображение научной переделки homo sapiens, а потому не могло быть и вполне бесовской комедии, в романе столь же бесовском вполне по-бесовски разыгранной.


Новая смута была запущена грамотно, да и управлялась толково!

Из попущенного нарочито хаоса выростал неприметно и новый порядок, да не сам по себе (синергийно-де!), а в соответствии со строгим и почти безукоризненным замыслом: явились вдруг новые господа — ниоткуда, но зато денежные, финансовые, появились и их подданные — прямо на месте, обезденеженные, призванные лишь к труду долговому — что задарма, что за кое-какое вознаграждение приличие, но ведь и к мытарствам тоже призванные, к маргинальству, к разбою и, разумеется, к исчезновению.

Всего несколько лет смуты — и страна обобрана, перевёрнута, захвачена, — как раз этими откуда-то взявшимися новыми господами — из *своих* же, прямо из сталинских, полусталинских и антисталинских закромов, с непризванными «рюриковичами», неизбранными «романовыми» да нелегитимными «.....» во главе.

И никакая философия не могла всего этого толком показать и объяснить, никакая наука, даже и никакая просвещенческая литература, — лишь... да, да... именно так... лишь досточтимый роман, писанный в страшные и славные 1930-е, когда Бог уже безоговорочно для умного и деятельного населения умер, а восставший немедленно и с размахом дьявол старательно ковал себе безоговорочную победу.

Вот тебе и камень философский, вот тебе и истина научная, вот тебе и образ литературный — всё вдруг и сошлось, но со временем, когда срок пришёл, когда ясно почему-то всё стало.



А чего проще: читай себе повнимательнее да на реальность смотри попристальнее, — вот, собственно, и всё, вот и вся премудрость!

Матрицу романную всего лишь разглядеть, да и наложить её на реальность, а уж потом ужаснуться от великого открытия, от истины, которая, оказывается есть!

Роман-матрица, роман-расшифровка, роман-истина!


И вполне ясным оказывается глумливо повторяющийся исторический сюжет, только почему-то это никем не замечается, ибо страшно, страшно осознать, что здесь-то всё как раз и есть, около, среди нас, в нас, а не где-то там, не в заповедье, не в преисподней, а прямо тут, на поверхности, на Земле, в России!

Страшно!

Недоумение

*Два старинных друга,
два профессора университета
сидят на лавочке в каком-то дворе
сталинского ещё образца, пьют водку,
закусывая хлебом
с варёной колбасой и огурчиками.
Середина 1990-х.*

— Странно всё это! Никогда не думал, что стану свидетелем и участником чего-либо подобного. Чорт знает что!.. Всегда считал, что живу среди людей, пусть и несовершенных, с недостатками и пороками, но людей, понимаешь, лю-ю-де-ей, может, и не таких добрых, как у Иешуа, но хотя бы сознающих, что такое добро-зло, не уходящих слишком далеко от доброты, чурающихся как-то зла, признающих какие-то границы, нормы, приличия. И вот на тебе, всё перевернулось!.. Мы ведь жили, уверенные в завтрашнем дне, в товарищах, в слове, в обязательствах, в договоре. А теперь это кажется каким-то сном, сказкой. Что-то



страшное произошло с людьми!.. На место если и не любви, то хотя бы доброжелательства, пришло в лучшем случае отчуждение, если не благоприобретённая ненависть. Человек человеку теперь помеха, лишняк, противник, враг. Уже почти не здороваемся, не общаемся предупредительно, всё толкаемся да мнём друг друга. А главное, убиваем... словом, взглядом, молчанием.

— Да-а, время такое пришло пакостное. Тина какая-то грязная и вонючая поднялась со дна моря человеческого, замутила всё, омрачила, загадила. Мир действительно перевернулся. Наша послевоенная жизнь, видно, была исключением, счастливым эпизодом, космическим мгновением. Может, повторится, а может, и нет. (*После паузы*). Ладно, давай выпьем... за прошлое!

— Хорошо, давай за прошлое!

Степенно выпивают. Закусывают.

— А не брюзжим ли мы просто по старости? Вон молодёжь, ничего, знает, чего хочет, деньги делает, на прошлое и на нас плюёт, жизнью своей суетливой наслаждается.

— А что ей остаётся? Она не любит этот мир, просто не успела его полюбить, она в нём просто существует. Разве можно им любить вот такой мегаполис, вроде Москвы, или какую-нибудь тусклую провинциальную дыру?.. День ото дня!.. Совсем другая порода людей, которой, думаю, отродясь не бывало.

— И не в воспитании тут, видно, дело. Что-то ещё...

— Они, видишь ли, оказались ближе к природе человеческой, к собственно человеку.

— Тогда выходит, что человек — мерзость и есть?

— Выходит, что так. Дали призрачную свободу, ею и воспользовался тут же наш «хамо сапиенс», взгромоздившись с ногами на несчастные городские лавочки. Посмотри, символ-то какой, а-а?

— Люди и нелюди... Сидит себе в человеке зверь и часа своего ждёт. Вот срок и наступил. Ладно, наливай, за людей что ли?

Снова выпивают и неторопливо закусывают.



— Людьми ведь трудно быть, почти что и невозможно. Я вот всё думаю, что же это за создание такое — человек? И чьё? Господь ли ошибся, человек ли вольность себе позволил, дьявол ли сработал? Что-то тут не то, согласись!

— Трудно быть Богом... А человеком разве не трудно?.. Зачем весь этот земной зуд, который даже не чистилище, а сортировка какая-то? Может, и впрямь тут отбраковка идёт, но ради чего?

— Получается, что сознание, которым человек владеет — наказание, — то ли Божие, то ли дьявольское, то ли уже собственно человеческое. Бремя!

— Которое человек и не выносит. Иногда ему легче, когда он в сносной общественности или под опекой назидательной бытует, а иной раз невыносимо, — тогда-то человек и дурит, и зверствует, и гибнет, как теперь, хоть кто-то и сопротивляется, даже вчистую проигрывая.

— Для того-то и религия, чтобы поддерживать человека в человеке, оттесняя в нём зверя, но сегодня-то религия в стороне. Иисус давно уже проиграл, он лишь часа своего нового дожидается, за лжепророками с сожалением присматривая. А сознание-то, если оно само по себе — слабость да мерзость!


— Сомневаюсь я, что религия нынче поможет. Вокруг ведь сплошная имитация вкупе с безнадежной импровизацией.

— Да-а, одна симуляция повсюду, чему-то вроде бы нужному бойкое и пустое подражание. Э-эх, давай выпьем... за что?

— Давай за нас, наивных и глупых! Кто ещё за такое выпьет?

Выпивают, не забывая о положенной по такому случаю закуске.

— Замечательно! (*Пауза*). Хороша всё-таки водочка!.. Вот, огурчик возьми, огурчик, очень хорошо его с колбаской (*Пауза*). Тебе не кажется, что тогда, в нашу ещё эпоху, человек просто изображал человека под давлением обстоятельств — нужды, войны, того же жёсткого сталинизма?



— Знаешь ли, о родителях своих и предках я так вот не сказал бы, они из крестьян были, трудяги и даже в страданиях сохраняли достоинство. Жизнь их давила со всех сторон, а они держались, людьми были, великими даже, скажу я тебе, людьми!

— Как посмотришь вокруг, то и товарища Сталина быстренько вспомнишь, а в чём-то и поймёшь. Человека, видно, выковырять постоянно надо... и держать, держать.

— Подозрение у меня такое, что сейчас, именно сейчас — при неожиданной и всеохватывающей свободе, человека-то мы как раз во всей красе и узрели, хоть я не считаю, что сам он во всём, то есть в себе самом, и виноват. Таким оно, видно, сварганено, это несчастное существо, не знающее для чего оно и зачем, ищущее какой-то выход для себя и звереющее, его не находя.

— Но ведь есть и устроители всего этого непотребства?

— Есть, конечно, вполне и образованные, интеллигентные, я бы сказал — гуманитарные, но примитивные, жалкие, совсем и не героические.

— Зато какие удачливые!

— Ну и что, гады, они и есть гады, даже и самые удачливые.


— А мы вот всё мыслями-де тешимся, скорбь свою никому не нужную умножая.

— И хорошо! Знание не только скорбь множит, но и утешение кое-какое даёт.

— Таким вот дуракам, как мы с тобой... Что ж, за дураков?

— За дураков! Хороший тост! Особливо ежели последний!

Приятели, завершив свою незатейливую трапезу, собирают в пакет оставшийся от неё мусор, выбрасывают пакет на дворовую помойку и чинно покидают гостеприимный двор, о чём-то продолжая негромко разговаривать.



Да будет!

Москва.

Резиденция митрополита.

*Двое — владыка и профессор —
у горящего камина за чаем.*

Владыка: Я тоже об этом думаю. Страна в ужасном положении. Одни грабят и жируют, другие без работы и достатка, а массы просто нищенствуют. Пьянство, наркотики, бандитизм. Вымирание. Ещё и бездарная по исполнению кавказская война. Но, знаете ли, энергия жизни в народе нашем не угасла. Не одно только отчаяние, не одно лишь безволие. Гнусное время пройдёт, мужики вновь будут с пользой работать, а бабы всюю рожать.

Профессор: Вы в это верите, владыко?

Владыка: За это и молюсь!

Профессор: А что же Господь?

Владыка: До Господа ещё достучаться надо! Погрязли мы сильно, омерзели, выбираться из глубокой и вязкой трясины надо, на что время надобно.

Профессор: И преображение?

Владыка: Насчёт преображения вы, конечно, хватили, а вот очиститься как-то всё же придётся.

Профессор: Как?

Владыка: Это уж кому как суждено: молитвой ли, деянием ли, а то и кнутом без пряника.

Профессор: Как же это всё могло случиться?

Владыка: От одних истин ушли, а других не нашли. Заблудились! Да и устали, надорвались. Эпоха-то вон какая: жестокая, кровавая, безжалостная!

Профессор: И созидательная в то же время.

Владыка: Конечно, созидательная, потому и надорвались. За тот же космос надо платить — падением, как тот же Икар платил.

Профессор: Да, но ведь тут аморальное вроде бы падение?

Владыка: Ну и что! И аморальным тоже! Время гигантов прошло, теперь больше шансов у карликов. Вдумайтесь, семь кровопролитных войн в течение века, большой террор и великие стройки, созидание новой цивилизации, чуть ли не мгновенная индустриализация, разгром и переделка крестьянства, скачок в науке и образовании, тот же космос, а тут ещё идея мировой революции, помощь по всему миру, холодная война, великодержавная тяжба, гонка вооружений, — как тут не надорваться! А человек в массе своей просто жить хочет, род свой продолжать, кое-чем обыкновенным и понятным насладиться. Романтика великих целей и светлого будущего, конечно, срабатывает, но она не бессрочна. Поколение созидателей и победителей ушло, пришло же поколение нахлебников и пораженцев... Последний генеральный — типичный исторический пораженец!


Профессор: Но поражение-то наше обернулось вдруг их победой.

Владыка: А как же ещё: поражение рождает внутри только хищничество, если не трупоядие. Вот и едят, разрывая на части!

Профессор: Значит, народ устал, а хищники нет?

Владыка: Знаете, в народе нашем ведь сидит великий страх, рождённый не сегодня, народ не любит власть, и не то что её боится, — он просто её хорошо знает: наша власть ради себя пойдёт на всё — не одряхлевшая, вроде ГКЧП, а совсем молодая, только-только засевавшая в Кремле, а потому инстинктивно, не понимая ясно, что вообще вокруг происходит, предпочёл сжаться и переждать, перетерпеть, чем-то даже пожертвовать, но в целом зато сохраниться. Он бросился не на улицы бесцельно и зряшно бунтовать, а картошку сажать — чтобы выжить!.. Дивлюсь я народу нашему, и ни в чём его не упрекаю, да и права такого не имею!

Профессор: Но ведь откликнулся же он, наш богоносный народ, на призыв «Грабь ничейное!», возможность обогатиться за счёт общего пирога, что называется, здесь и сейчас?



Владыка: А вы хотите, чтобы все у нас святошами были, что ли? Так не бывает, тем более, сегодня! Святость святостью, а разбой разбоем! Явилась возможность, вот и взбесились. Мы ещё не такое увидим!

Профессор: Прямо-таки как в известном московском романе, который про Мастера с Маргаритой... А как вы, владыко, относитесь к этому произведению ума человеческого?

Владыка: Как к хорошей, хоть и неоднозначной, литературе, и всё!

Профессор: Но роман-то вроде бы мистический, ещё и... безбожный?

Владыка: Ну и что! Я же не одобряю его. Греха там хватает, но и правды немало. Это миф, но миф-исповедь, очень даже страшный. Не позавидуешь!

Профессор: И зашифровка?

Владыка: Любой миф есть зашифровка, как и вообще любое талантливое художественное произведение. Зашифровать-то тоже надо уметь — вольно там или не очень. Что, к примеру, у Чайковского в «Шестой симфонии» сидит, а-а? Волнует она сильно, это да, но вот обо что (*улыбается*) волнует, для чего? Здесь не то что зашифровка, а великая тайна. Любое талантливое, я уж не говорю, гениальное, непременно тайны касается, а потому и мифом всегда оказывается, и, если угодно, зашифровкой.

Профессор: И Библия тоже?

Владыка: А что, разве вам в ней всё понятно, точнее, ясно? Обратитесь хоть к Апокалипсису!

Профессор: Мне кажется, что роман как раз очень апокалиптичен.

Владыка: Правильно кажется!

Профессор: А сегодня не апокалипсис ли вокруг нас, да и в нас самих?

Владыка: Видите ли, бытие человеческое вообще апокалиптично, хотя бы потому, что есть пороки, страхи, болезни, смерть. Поэтому сегодня лишь усиленное звучание апокалиптического мотива. А вот апокалипсис ли это в плане Конца Света, Второго

Пришествия или Страшного Суда — это уж не нам, смертным, судить, это дело Божие!

Профессор: Согласен! Скажите, владыко, не является ли роман неким гимном сатане, раз уж божественного так мало осталось в душах человеческих?

Владыка: Сколько Бога помещается в душах людских, только Богу и известно, хотя нам может и показаться, что там ничего нет... А роман, несмотря на весь свой вроде бы просатанинский пафос, я бы не стал так жёстко определять: он, мне кажется, намного сложнее, во всяком случае, в смыслах, которые он несёт, и в выводах, которые можно из него сделать.

Профессор: И последнее, если я вас не утомил: не креативен ли этот превосходный в своей загадочности роман, то есть не подсказка ли он?

Владыка: Ну и вопросец! Если б я знал! Вы меня, право, в тупик ставите, мой дорогой. Не знаю, не знаю!.. Одно лишь могу сказать в утешение: вообще-то это вполне возможно!

Выходят на крыльцо.


Профессор: Скажите, владыко, что всё-таки будет с Россией?

Владыка (озабоченно помолчав): Россия, конечно, никуда не денется. Она выживет, но... через кровь... через кровь!..

Профессор: Спасибо за откровенность!

Владыка: Не меня надо благодарить, а Господа Бога — за то, что живём, думаем, говорим. Что я знаю? Я ничего не знаю... ничего! И вам спасибо, профессор, увидимся как-нибудь! (*После паузы*). Скажите, а вы-то на что надеетесь?

Профессор: Я полагаюсь, знаете ли, на перемены в обстоятельствах, в ситуации и в самой владетельной верхушке. Так часто было в истории, в особенности, отечественной. Самый яркий пример из недавних: приход Сталина, который в 1929 году совершил свой «Великий перелом». Я не беру сейчас ни самого Сталина, ни его деяний, тем более, его методы, — у истории много к нему претензий, я говорю о механизме радикальных пере-



мен, где главное — явление наверху какого-то персонажа с иным, даже и противоположным проектом, — и явление его непременно из самой владетельной среды.

Владыка: И генсек наш последний, кстати, примерно так же явился: неожиданно, из верхушки и со своей, знаете ли, программой.

Профессор: Массовые движения и народные восстания, конечно, играют свою роль, но они никогда не ведут исторический процесс, ибо он ведётся, по моему убеждению, сверху, теми, кого сейчас принято называть элитой, а для меня просто принимающими большие, радикальные, судьбоносные решения.

Владыка (задумчиво): Что ж, посмотрим!.. Наверное, вы даже правы. Посмотрим!.. Прощайте, профессор, ещё увидимся! Храни вас Господь!

Беседа

Москва 1996 года. Середина осени.

Скамейка в сквере Девичьего поля.

Двое седовласых мужчин

ведут оживлённую беседу.

— Не могу не согласиться с вашими доводами, коллега. Действительно, столько признаков чуть ли не тотального единения романа с нынешней реальностью. Впечатление, что роман заговорил и чуть ли не действует сам, без подсказки умных всезнаек. Романная прямо-таки вокруг сложилась реальность. Непонятная, запутанная, какая-то inferнальная!.. Впрочем, как и вообще при всякой смуте. Представляю, что довелось пережить нашему романисту в родном Киеве в 1918 году, потом на Юге России, да и в той же пореволюционной Москве, как и прямо здесь, среди имперских клиник, у стен прославленного православного монастыря... Да-а, провидец, наш романист, провидец, — покруче самого Нострадамуса будет, не так ли?



— Не столько во времени, я думаю, он провидел, сколько в пространстве, не вдаль неодолимую он более смотрел, как мне кажется, а вглубь берущуюся. Он, полагаю, всё же не Нострадамус, — и более всего он вглядывался, а лучше сказать, вдумывался, именно вглубь, в сам, так сказать, очажок мира человеческого, что и позволило ему, выражаясь сегодняшним языком, разглядеть чуть ли не самую матрицу этого мира, какое-то её ядро...

— И дать модель нашей ситуации, как бы это лучше сказать, крайней что ли, апокалиптической, что-то вроде Страшного Суда, пусть даже и антисуда.


— Поболе, пожалуй... Он ведь, по-моему, как раз туда заглянул, к самим истокам, в бездну, стало быть.

— Если принять, что мир из бездны явился, как какой-нибудь «Наутилус», пусть и по воле Создателя, то, наверное — да, — и мир человеческий, видно, оттуда же, следственно, почему бы и ему не нести на себе печати этой самой бездны, не быть и inferнальным?

— А раз так, то что же в осадке? Уж не модель ли мира человеческого, которую наш романист и представил — вольно и невольно — своим загадочным произведеньцем? Расставьте мысленно в виде некой матрицы главных романных героев с Мастером в центре и с мессиром во главе, что получится, уж не мир ли человеческий, который сложен, неопределён, суетлив, полон непреодолимого зла, страдателен и весел, прихотлив и несбыточен, с мечтой о добре, но как раз её-то и стыдящийся, всю осуждая зло, не думая от него и избавляться. Словами тут ничего не выразить, только образами, как раз его образами — романскими. Верно?

— Да, да, именно образами. Иешуа явно не в почёте, но и Воланд, извините, не всемогущ. Кто же правит миром человеческим? Понтий Пилат с Афранием? Мастер страдает от Понтия, что ли? Нет, ведь, нет! Или от себя самого?

— От себя самого, что наиболее вероятно, но с той оговоркой, что от себя как человека — человека вообще. Главный ис-



точник страдания и зла — сам человек! Это, пожалуй, важнейший вывод из романа.

— Исходная или же благоприобретённая порча?

— Почему же порча? Сама природа такова!

— Но ведь создание же Божие, человек-то?

— Это не имеет никакого значения, точнее, может, и создание, но долженствующее стремиться ввысь, к Богу, а человек-то этого и не хочет, предпочитая сам над собой и господствовать, заказывая сам себе музыку, что перед ликом Божиим, что перед рожей дьявольской, а Бог и дьявол, пожалуй, уже и бессильны что-либо изменить: один по причине того, что свободу дал человеку, который без свободы этой ему просто не нужен, а второй... тот эту свободу вынужден всячески поощрять, борясь с Господним проектом. Вот человек всё и решает, сочетая в себе сразу божественное, дьявольское и, главное, человеческое.

— Которое уже и доминирует?

— Да, верно, ибо человек, поднаторевший за счёт освоения возможности вытворять всё, что угодно, не нуждается ни в высшем соизволении, ни в низшем подкреплении. Он теперь уже сам по себе!

— Выходит, не только Иешуа — человек, но и Воланд тоже?

— И Воланд тоже! Нечеловеческого в нём, конечно, немало, но оно лишь присутствует в нём, полностью ничего не определяя. Хотел бы, да не может! Человек сам по себе, правда, в соприкосновении с мирами иными, — и ежели более всего с высшим миром, то Иешуа выходит, а ежели с низшим, — Воланд, а то и сам незабвенный Иуда.

— Но ведь Воланд в романе совсем даже не пресмыкающееся, он наверху, он умён, ироничен, снисходителен, в общем, король, а не тварь дрожащая.

— Из низшего мира совсем не значит, что пресмыкающееся. Демон с низа, но он — в полёте! Вот и здесь демон, можно сказать, в полёте, пародирующий самого Господа Бога. Игрок он, Воланд! Хочет, да не может! А то что умён, так почему же ему

дураком-то быть — он ведь главный пахан, так сказать, а паханы-то совсем не дураки, хоть и с низа они, с низа?

— Получается, что в человеке всё и сидит: божественное, дьявольское, а главное — человеческое!

— Да, всё и сидит, точнее, сидело — до поры, а теперь, пожалуй, всего более собственно человеческого. Это не значит, что Бога в принципе нет, как в принципе нет и дьявола: они-то как раз есть, но где-то там, в стороне, в иномирье.

— А в чём, всё-таки, дело? Что произошло с человеком?

— Я думаю, всё дело в развитии, совершенствовании, накоплении знания, техническом прогрессе — как раз в том, о чём в романе ни слова... В сущности, роман-то очень архаичен, это ведь средневековый роман, точнее, позднесредневековый, — выплеск позднего средневековья в современность.

— Но для чего? Чтобы напомнить?


— Наверное, да! И Бог есть, и дьявол есть, мало того, различать их непременно надо, как и учитывать в реалиях жизни. Но автор романа чутьём своим многозначным понимал, что сама эта рекомендация пуста и даже смешна, а потому в романе столько неопределённости, иронии и смеха.

— А не провидел ли автор нового средневековья?

— Провидел, но более всего уже как пародию: истинного средневековья не вернуть, да и не надо. Но что-то похожее, пусть и имитационное, вполне возможно, как оказались возможными те же фашизм с коммунизмом, разумеется, с учётом встроенных в них идейных программ, совсем и не одинаковых. Надо будет — и институт царя восстановят, почему нет?

— А как вы думаете, какое-то влияние на человека извне всё-таки есть?

— Есть... по всему чувствуется, что есть: ведь очень многое невозможно объяснить ни вихревой стихийностью, ни простой случайностью, ни закономерностной синергетикой — как будто где-то какой-то заправский институт работает... какой-то невидимый, неуловимый и никак не моделируемый центр решений.



— Может, Даниил Андреев и прав, показывая в своей «Розе Мира» иные миры?

— Прав или нет, не столь уж это и важно, главное, он видел сложность мира, его несводимость к миру видимому и обычным образом познаваемому. «Роза Мира» — по сути зеркальное, а лучше сказать, кривозеркальное, отражение московского романа, или же, на худой конец, просто иное выражение того же самого. Недаром оба автора были чернокнижники и провидцы... Сквозь тьму!.. Только у одного вышел занимательный роман, а у другого, скажем так, эзотерическая энциклопедия, грозный путеводитель по иномирию... Тут одно важно: мир наш не сводится к нашему миру, он сложнее, он включает в себя и иные миры, которые тоже действуют, хотя и очень по-своему. Механизмы этих миров — не наши механизмы, равным образом, и смыслы.

— А в чём наш-то смысл, нашего мира?

— Если б знать!.. Счастье человека, что он этого не знает, хотя кое о чём и догадывается. Есть мир, есть человек, а есть и то, что я предпочитаю называть *Великим Неизвестным*. Даже Господь Бог с ним считается, им пронизана Библия, с ним дружит, досадуя, философия, перед ним пасует наука. Роман — реалистическое описание чего-то придуманного в лоне этого неизвестного, а потому всё от начала до конца в романе — миф, однако миф, не ушедший, как мы видим, далече от реальности.


— Человек, выходит, самостоятелен, он творит, что хочет, но при этом и не ведаёт, что творит... Так?

— Так! Он в любом случае во власти этого Великого Неизвестного, оборачивающегося перед человеком, — совсем и незаметно! — то одной своей ипостасью, то другой.

— Это что ж получается: Бог всего лишь ипостась этого Великого Неизвестного?

— Этого мы с вами не говорили! Да и заболтались мы что-то. Вон уже сколько времени прошло! Пора!

Оба собеседника встали с лавочки, попрощались друг с другом и разошлись в разные стороны, продолжая, по-видимому,



свои прилипчивые досужие размышления. Из-под скамейки вдруг вылезла чёрная с серебристым отливом кошка, в зелёных глазах которой светилось столько ума, что умному человеку, заметить он это, стало бы явно не по себе. Но умные собеседники, слава богу, уже были на почтительном от таинственного животного расстоянии.

Знамение

В начале лета 1998 года Москву поразил ураган.


Он не охватил всего расползшегося многоконечной звездой мегаполиса, хотя был и силён зело, а ударил по отдельным местам, из которых особенно примечательными с романной точки зрения оказались... Кремль и... Новодевичий монастырь.

Сам Кремль сильно не пострадал, но вековые деревья в Александровском саду были срезаны словно былинки, — аккуратно рядом с местом достопамятной встречи Маргариты с посланником дьявола во время полуторжественных и достаточно нелепых похорон бедняги Берлиоза — предводителя тогдашних московских писателей, лишившегося головы по причине наивной интеллигентской самонадеянности прямо на булыжной мостовой изнававшего от жары столичного города.

Новодевичий монастырь тоже остался цел, но кресты на старинном храме, превращённом безбожной властью в музей, и на колокольне, давно уже молчавшей, либо слетели, либо заняли вдруг, надломившись у основания, несвойственное им горизонтальное положение.

Ураган сильно задел воображение москвичей — как купавшихся в подаренных новым режимом inferнальных свободах, так и изнававших под бессовестным, каким-то бешено пляшущим гнётом этих же свобод: «Что бы это значило?!».

Горожане сразу догадались — здесь был какой-то судьбоносный знак: очередного ли скверного события, чего-то или чье-



го-то конца, а может, и каких-то, вполне и благотворных, перемен.

Знамение!

Для кесаревой власти прежде всего, но и для поддерживавшей её упорно Церкви!


Что ж, кесарю, как говорится, кесарево — сигнал был, видно, к исчезновению тогдашнего «кесаря» из Кремля, что и состоялось в итоге, правда, не в том же 1998-м, а в следующем — 1999 году.

Что касается Церкви, то... как говорится... Богу Богово, а потому тут не всё было ясно, кроме, пожалуй, одного, что Церкви надо было что-то в своей жизни менять, если попросту не опамятоваться. Трудно сказать, насколько услышан был клиром чудесный сигнал, но... он-таки вдруг случился.

Ураган как будто бы звал к очищению!

Стали уходить из яви и погружаться в нарочитое небытие герои... гм, гм... не герои, конечно, а скорее... исчадия... новой революционной эпохи — не все, правда, и не дружной вовсе толпой, тем более, что отставной кесарь, уйдя на покой, гарантию неприкосновенности получил, а вместе с этим и возможность инспекционного парения над исковерканной им страной, в ней не слишком заметного, но, по-видимому, не совсем и нейтрального присутствия.

Тем же летом, чуть ли не в ответ на природную экстраординарность, кесаревой властью был устроен ещё один ураган — финансовый, названный незнакомым и загадочным для неискушенного и простодушного населения словом — дефолт, в результате чего карманы обывателей и закрома профанических банков и фирм были вполне профессионально, прямо-таки по-одесски, очищены: истаяли вдруг денежки и капиталца... точно так же, как это уже было в начале 1990-х с денежками и банковскими сбереженьями освобождённых от гнёта коммунизма российских обывателей или же как это произошло с пресловутыми ваучерами, проданными хитроумным либерализованным госу-



дарством всё тем же оглуленным отечественным обывателям в середине всё тех же славных 1990-х.

Истаяли, и всё тут!

И как тут было вновь не вспомнить о романе с его денежной развлекацией в бесовском варьете — бац! — и никаких тебе только что задарма прихваченных зелёных!


Ясно, что смысл и различаемые последствия урагана оказались неоднозначными, что было таким же действительным фактом, как и сам внезапно налетевший на Москву вихрь.

Революционное семилетие явно заканчивалось, наступало семилетие постреволюционное: раздрай сменялся на... что-то другое, как оказалось... на вынужденную стабилизацию победившего произвола, не столь, правда, радикальную, какой была революция, но более или менее явную.

Вся эта ураганная история как-то очень уж отдавала романым духом, что свидетельствовало о непреходящей смысловой ценности романа, его прогностической прозорливости и в то же время... ударной действенности — роман не оставался лишь фактом литературной истории, а был вплетён каким-то образом в текущую московскую реальность, полную, как и в романе, бесовского калейдоскопизма.

Не унижаясь до плоского утверждения, что ураган стал следствием какой-то тайной интриги со стороны романа, — этого ещё не хватало! — нельзя всё же отделаться от мысли, что чрезвычайное событие это было как-то обусловлено романной сюжетикой, разумеется, в её мистической более всего части — ураган, ветер, свист, падающие деревья, сорванные крыши, согбенные кресты... что-то очень и очень романное, фантазмагорическое, из Москвы отлётное, прощальное, навстречное, в общем... к переменам!

Но это ещё не всё: если роман сам по себе и не вызвал внезапно атмосферного урагана, то он явно его раскрыл, раскассировал, распредметил, протрактовал... это уж точно!.. А также и сам, надо полагать, подвергся воздействию всей этой ураганщины, — вихрь не просто пронёсся над Москвой, но и прозвенел



многообещающе над судьбой самого романа, задев не одни лишь романские места столицы, но и сам роман, его исторический след, память о нём, образующуюся от него перспективу.

Ураган ударил по Новодевичьему монастырю, а монастырь этот был не только любимым местом отдохновения отчаянного московского романиста, недалеко от которого ему пришлось многие годы жить, крапая свой магический роман-кристалл, но и местом, рядышком с которым ему довелось упокоиться навечно под бывшим когда-то гоголевским камнем, совсем рядом, заметим, с прахом самого Гоголя, как и с прахом обоих отцов-основателей и иных лучших актёров его любимого московского театра, как и с прахом будто бы покончившей с собой жены... самого товарища Сталина!

Ох, ох, ну и по местечку же ударил ураган, ну и по смысловому узелочку, ну и по мистическому разноцветью — и всё-то там с автором романа было связано, с его мыслями, словами и текстами, с его судьбой и даже его... загробной жизнью!

На что-то ведь намекнул ураган в связи с романом? А если так, то на что?

Прощаясь в романе с Москвой с вершины Воробьёвых гор, Мастер вглядывался не только в Кремль, крыши московских домов и купола церквей, он взирал и на свой любимый Новодевичий монастырь, его золотые купола и высоченную колокольню, — и ежели Мастером этим и был как раз сам писатель, то выходит, что писатель, тоже прощаясь в романе с Москвой, думал об этом явно знаменательном для него месте, может, и предчувствуя что-то по поводу конечного пункта своего пребывания на этом свете и начального пункта прибытия на тот свет — под монастырскими стенами, на далеко не православном уже кладбище, среди мертвецкой толпы погребённых там монстров революции и заядлых активистов безбожной эпохи.

Не мог ураган не подсказать что-то очень важное создателю романа, а вот что именно — кто знает?! — может, утвердительное, а может, ниспровергательное, как, возможно, и то и другое вместе, но что-то явно очень уж важное!



Перелом

Ситуация в стране после столь успешно разыгранного в августе 1998 года дефолта, баснословно обогатившего кучку мерзавцев, была аховой: надо было как-то успокоить вновь ограбленное население, а потому всё ещё сидевший в Кремле «всенародно избранный», а по сути-то как раз «всенародно вовсе не избранный», президент, не обладавший уже никакой достоверной легитимностью, был вынужден сменить правительство, допустив в нём оппозиционную конструктивность. Политический курс был скорректирован. Забрестили кое-какие надежды.

Группа высоколобых экспертов собралась весной 1999 года в резиденции первого и последнего президента бывшей огромной державы, называвшейся СССР.

Обсуждалась ситуация в стране.

Случился там и такой диалог:

— Главным отрицательным моментом всего перестроечного действия стал курс на беспредельное разгосударствление, горькие плоды чего мы и пожинаем сегодня. И вы, NN (*эксперт обратился к ведущему заседание бывшему президенту бывшей огромной державы*), тоже приложили к этому руку.

— Согласен, да, было дело, ошиблись, хоть и не в такой степени, как потом наворотили.

— Надо немедленно укреплять государство, обновлять аппарат, восстанавливать управляющий центр. Никто, кроме государства, страну не вытянет. Власть устроила всё это, с позволения сказать, реформирование, она же должна и всё это исправлять. Что делать — не вопрос, это вполне ясно, главное — воля!

— А кто её проявит?

— Не знаю! Надо хотя бы не мешать нынешнему правительству.

— Я тоже так считаю, надо просто не мешать нынешнему правительству. Оно вытянет, непременно вытянет! А вот президенту надо добровольно уйти в отставку. Иного выхода здесь нет:




или его немедленная отставка, или неминуемый социальный взрыв. Народ издёрган и крайне недоволен. Надо что-то делать, но при этом президенте ничего не получится. Он себя исчерпал, у него нет будущего. Ну, какие у него перспективы — после провала на выборах, после дефолта? Никаких! Президента в отставку, а правительству не мешать! Так будет единственно правильно!

Такой вот разговор случился на заседании круглого стола у бывшего первого и последнего президента бывшей огромной державы, называвшейся СССР.

А в стране всё шло не совсем так, точнее, совсем не так... хотя как посмотреть, что-то было и так, но... очень уж пороманному.

Главного прокурора, попытавшегося было разобраться с преступным дефолтом, похабно изгнали, да не как-нибудь, а с гнуснейшим сексуальным скандалом: всё было показано прямо по телевизору, на весь мир, голым и с двумя девицами (ах, эти гелки и наташки!; ах, эти всё знающие и всех раздевающие коровьевы; ах, этот беспощадный макиавеллиевский воландизм!); главу Москвы, бывшего в 1993 году одним из активнейших организаторов провокационных событий вокруг Белого Дома, попытавшегося было вступить в оппозицию к Кремлю, обгадили с ног до головы и тоже по телевизору, намекнув на то, что он проходимец и убийца, да так, что тот предпочёл быстренько ретироваться, забившись в тишину (ах, эти коровьевские разоблачения!); главу конструктивного правительства тоже обгадили и тоже по телевизору, — так, для порядка, — но вполне достаточно, чтобы отбить охоту что-либо серьёзное затевать супротив Кремля (ах, этот московский роман!); само же конструктивное правительство, становившееся для Кремля и впрямь опасным, отправили, как ранее главного прокурора, в отставку (прямо по мановению воландовской палочки).

Так что роман верно служил режиму и разворачивавшейся в стране ситуации: хочешь — смыслово, хочешь — знаково, хочешь — фигурально, хочешь — функционально, — без проблем!



Игра шла по-крупному, и вёл её суперудачливый кремлёвец: что хотел, то и делал!

И входило в эту игру выведение на арену нового исторического лица... без лица, во всяком случае, выразительного и перспективного лица, а так... совсем и не заметного, ни для чего великого явно не предназначенного.

И роман тут снова был начеку, снова в действии, снова по-крупному, если, конечно, не забыть об одном полулегальном персонаже в чёрном капюшоне... да, да... из Ершалаима, того самого, что и за казнь Иешуа по-хозяйски присмотрел, и с Иудой спору расправился, и с Понтием Пилатом почтительно, но вполне на равных побеседовал.

Станным образом, но лицо это — не книжное — имело отношение к выведению из игры и главного прокурора, и самого правительства, мало того, лицо это затем неожиданно и правительство возглавило, заняв место, символически говоря... Понтия Пилата, а затем... о-о, всесильный Воланд!.. и место самого... императора!


Да, всё как-то так и произошло: президент-везунчик добровольно ушёл с авансены, оставив за себя выведенного им таинственного персонажа с лицом лукавого и умного волчонка!

«Скажите, о-о, други, что роман тут не причём, я вам тогда всё как есть и растолкую!»

Ах, какой изумительной была многоходовка по передаче и сохранению власти в недрах самозванного и совершенно уже опозорившегося режима-банкрота!

И разве можно после этого утверждать, что Воланд всего лишь выдуманный литературный герой?

Бывший главный прокурор продолжал показываться на телеэкране, угрожая разоблачениями, которых что-то так и не последовало, несговорчивый в какой-то момент мэр остался мэром, но очень, знаете ли, уже сговорчивым, а струхнувший было глава конструктивного правительства — немало уважаемым в стране общественным и политическим деятелем.



Всё прошло, как по маслу, вполне по-свойски, даже как-то по-домашнему, ну и по-романному, конечно — совершенно, знаете ли, дьявольски!

И воля... воля... была тут проявлена великая!

Храм

Вторая половина 1990-х гг


США. Филадельфия.

Университетский кампус.

«Как это понимать?» — подумал про себя профессор, вздрившись на портал вдруг откуда-то взявшегося посреди университетского кампуса и безапелляционно стоявшего перед ним солидного, если не огромного, многоэтажного здания, ибо увидел профессор в вышине под крышей совсем для него неожиданную, выполненную крупными буквами, надпись: «MASON TEMPLE», что в переводе на русский означало «МАСОНСКИЙ ХРАМ».

«Вот-те на-а!.. — принялся неуклюже размышлять поражённый профессор, — прямо вот так, открыто, на территории университета! Хм! А что если войти туда, не съедят же, разве лишь выгонят взащей».

Массивная дверь оказалась незапертой. Профессор беспрепятственно вошёл в здание и увидел сидящего в вестибюле за столиком мужчину пожилого возраста в характерной для охранных служб форменной одежде. Мужчина, проворно встав со своего места, шагнул навстречу: «Что мистер желает?» Набравшись храбрости, профессор пояснил, что он из России, находится в университете на кратковременной стажировке, увидел храм и решил поинтересоваться, открыт ли он для посещения. Охранник спокойно и даже охотно пояснил, что храм, будучи на территории университета, находится под юрисдикцией университета,




свободному посещению он не подлежит, но с разрешения университетского начальства экскурсии иногда проводятся.

Профессор поблагодарил любезного охранника, вышел из храма и вполне уверенный в том, что сообщённое охранником было обычной в таких случаях отговоркой, вежливо и надёжно прикрывавшей вполне логичный отказ, тем не менее почему-то решительно направился в университетскую администрацию, не испытывая большой надежды на благополучное разрешение щекотливого вопроса. На удивление, начальство выслушало его спокойно и даже обещало содействие. Каково же было изумление профессора, когда к вечеру того же дня он получил известие, что на следующий день в 15⁰⁰ он должен быть в храме, где для него будет проведена экскурсия!

Странно всё это было, но это всё-таки было!

На следующий день, ровно в 15⁰⁰, профессор открыл массивную дверь храма, вошёл в него и увидел в вестибюле... всё того же охранника, ему открыто и приветливо, вполне по-американски, улыбавшегося. После обмена дежурными приветствиями, охранник пояснил, что ему поручено вместе с одной дамой, будто бы женой какого-то видного масона и работавшей в храме архивариусом, провести экскурсию, показать и рассказать, ответить на вопросы. Тут как раз появилась и обозначенная дама, приятной наружности, зрелого, как в таких случаях говорят, возраста, степенная, но, как и у охранника, без всяких признаков официоза, не то что надменности. Сам же этот охранник, как вскоре выяснилось, тоже был масоном и попросту подрабатывал на досуге в храмовой службе безопасности.

Экскурсия началась. Прошли по залам собраний разных лож. Обширные помещения различались между собой расположением рядов кресел и мест, как обычно говорят в России, президиумов, как и, разумеется, водружённой в помещениях символикой. Зашли и в банкетный зал, бывший для всех лож общим. Затем очутились в музее, обильном портретами, фотографиями, разного рода реликвиями, наградами, знаками, сувенирами, как и документами, грамотами, книгами. В музее же все трое располо-



жились за большим круглым столом для обстоятельного разговора. Хозяева заведения никуда не торопились, а инициативу разговора любезно предоставили гостю.

Профессор решил воспользоваться случаем, как говорится, по полной.

— А какую цель преследуют масонские организации?

— Братство и взаимопомощь.

— И только? А решение каких либо общих задач?

— Только в рамках и на основе братства и взаимопомощи.

— Но я вижу на стенах портреты некоторых президентов США, правда, бывших, в том числе и совсем недавних, так что вряд ли масонское движение не имеет политических интересов и задач.

— Специальных задач, вытекающих из самого движения, нет, но коли существует политическая сфера, то масоны в ней, конечно, участвуют, как и в культурной или, к примеру, в спортивной сферах, в том же женском движении.

— И поддерживают друг друга?

— Конечно, как и члены любой организации, партии.

— Ну, партии и организации как бы на виду, а масонство всё-таки... в тени.

— У любой партии есть своя теневая сторона, и масонские организации вовсе не являются такими уж тайными. В США, во всяком случае, они действуют, достаточно открыто, никак особенно и не скрываясь.

— А много ли масонов в Конгрессе, в Сенате?

— До двух третей.

— Ага, большинство!


— Да, большинство, но ведь Конституцию же это никак не нарушает!

— А много ли масонов в городе?

— Если членов лож и близких к ложам, то около 30 тысяч.

— Ого! Это значит, что почти весь истеблишмент...

— Ну-у, в истеблишменте полно и не масонов.



— И всё-таки выходит, что масонство всюду, и не будучи масоном трудно, наверное, сделать карьеру и удержать ту или иную позицию.

— Разумеется! США — масонская страна, здесь много масонов и они действительно повсюду, но в этом нет ничего плохого.

— А как стать масоном? Достаточно ли личного желания?

— Нет, недостаточно. Нужна рекомендация двух членов ложи и главы локальной масонской организации. Потом, конечно, испытательный срок.

— Люди больше сами идут в масоны или их привлекают?

— В основном инициатива исходит от членов лож, а личные пожелания при этом учитываются, хотя это и не слишком принято.

— А скажите, вот если я, к примеру, находясь здесь, в Филадельфии, был бы обкраден, всё потерял, все документы, но будучи масоном в своей стране и зная какие-то знаки, пароли, фамилии, вам известные и для вас понятные, я пришёл бы в такой же храм, рассказал о своём положении и запросил помощи, я бы её получил?

— Конечно, — немного подумав, любезно ответили собеседники, — дня через три, может, через неделю, вы оказались бы в своей стране без каких бы то ни было неприятных для вас последствий.

— Здорово! А скажите, если, конечно, не секрет и вам что-то известно, а сколько масонов, разумеется, примерно, по всему миру?

— О-о, их, конечно, много! Миллионы! (*Охранник встал, куда-то отошёл и вернулся с книжкой в руках, размером с pocket-бук*) Вот справочник всех масонских лож в мире. На одной Кубе их 9. В справочнике нет лишь сведений о России, как и о бывшем СССР, а также о Китае и КНДР. Вообще же, во всех странах есть масонские ложи. Смотрите, сколько их, мелким шрифтом и на трёхстах страницах. Так что масонов много, но сколько их точно мы, конечно, не знаем.



— Да-а, любопытно!

— А в России есть масонские ложи?

— Об СССР сказать ничего не могу, хотя формально их не было, они были запрещены, а в нынешней России уже есть, об этом даже пишут в прессе. Не скажу, что масонов в России много, но они, безусловно, есть, и среди высокопоставленных персон тоже. Но с США, конечно, не сравнить. Позвольте полюбопытствовать: А вы бывали в России?

— Нет, ни я, ни мой коллега, — ответила дама, — я вообще никогда не была за пределами США. Как-то не получается, да и желания особого нет.

— Надо же, и это в эпоху всеобщего туризма и беспрецедентной миграции населения по всему миру! Вы меня удивляете! Впрочем, в этом что-то есть, в этой приверженности родному миру и своей стране!

— Большинство американцев, знаете ли, нигде не бывает, американцам вполне хватает Америки.

— Управляемой масонами...

— Если вам так будет угодно, но не преувеличивайте роль масонства, ибо подавляющее большинство масонов не из сильных мира сего, а сильным мира масонство сегодня мало что даёт.

— Однако есть братство и взаимопомощь, этого совсем не так мало, правда же?

— Этим во многом и живём!

Закончив беседу и получив в качестве вежливо, но настойчиво выпрошенного презента книжку-справочник, а также прихватив с согласия хозяев в качестве образца и как бы на всякий случай анкетные бланки, относящиеся к вступлению... нет, конечно, не к вступлению, а к привлечению чьего-либо внимания по поводу возможного вступления в масонскую ложу, профессор, сердечно поблагодарив своих хозяев-собеседников и совершенно по-дружески (чуть ли уже не по-братски!) попрощавшись с ними на ступенях храма, отправился, поражённый и глубоко задумавшийся, прогуляться по аллеям университетского городка.



«Да-а, — думал он, — масонство, конечно, никакая не фикция, а самая что ни на есть реальная реальность. *Организация!* И со стороны своей верхушки при активном участии рядовых членов вполне управляющая не только США, как и многими иными странами, но, возможно, и миром в целом. Что касается современной цивилизации — вполне уже секулярной и совершенно искусственной, то она, конечно же, есть прямое масонское порождение, со всеми своими конституциями, учреждениями, университетами, школами, библиотеками, прессой, эфиром, театрами, кино, как и, разумеется, наукой и техникой, практическими знаниями, всей вообще светской культурой. Масонство ныне — вовсе не одни только члены масонских лож и участники разных околomasонских организаций в виде клубов, ассоциаций, академий, обществ, движений, секций и т. п., но и все мы, образованцы и просвещенцы, администраторы и менеджеры, инженеры и учёные, поэты и писатели, театралы и меломаны, президенты и сановники, в общем, все мы — люди Модерна и Постмодерна, сыны антихристианской и антиприродной эпохи, дети всё раздувающихся и раздувающихся мегаполисов, участники великой космической эры. Вот так! А то болтают всё про какую-то теорию заговора, вроде бы надуманную и пустую, а ведь и теория есть, и заговор есть, и управление всем и вся тоже, только как это в текущих реалиях понимать?»

Призрак

Разоблачённый, опороченный и опущенный донельзя своим дурашливым преемничком, торопливо и трусливо натянувшим на себя судейскую тогу — ради иудского спасения себя и себе подобных от нависавшего неумолимо возмездия за соучастие в кровавых злодеяниях эпохи, — а затем и выброшенный тёмной безлунной ночью тем же неугомонным преемничком из торжественного и уютного Мавзолея в тугую прикремлёвскую землю, Сталин, или то, что называлось по привычке Сталиным, был отправ-



лен бывшими своими соратниками в нарочитое и, казалось бы, прочное забвение, — да вот забыт он всё-таки не был, всё чаще и чаще поминаемый — то в маршальских и иных мемуарах, то в писательских и учёных опусах, то на киноэкранах, как, разумеется, и в среде подвластного ему когда-то народа — в разговорах, байках, кухонных спорах.

Сталин долгое время оставался не более, чем историей — загаженной и искажённой. Он был лишь фигурантом прошлого, как казалось, навсегда ушедшего. Однако всё резко изменилось, когда созданный Сталиным строй (красный, советский, социалистический) рухнул и наступила даже не постсталинская, а прямо-таки антисталинская эпоха — эпоха-де новейшего, опробованного чуть ли не по всему свету, *либерализма*.

Тогда-то, в момент торжества этого самого либерализма, правда, в российском изуверском исполнении, а может, и во вполне верном антироссийском, и свершилось нежданно-негаданно истинное чудо: Сталин, или то, что по традиции называлось Сталиным, покинул вдруг зашторенное плотно прошлое и, выйдя на свободу, явился в настоящее, текущее, близкое — сначала контурно, схематично, даже и карикатурно, а потом всё более содержательно, насыщенно, полноценно.

Сталин вновь стал достоянием реальности — не во плоти, конечно, а всего лишь в духе, как вышедший из метафизических глубин подорванного бытия и оскорблённого сознания чудовищный *призрак*, как никем вроде бы не запланированный и не выращенный специально ни в какой пиарной лаборатории *клон*, когда-то бывший реальным кремлёвским призраком, обязанным своим происхождением столь же чудовищным *призракам* Возрождения, Революции, Коммунизма, как и того же Либерализма, самой матушки России, её Империи, равным образом, и всего Мира человеческого, всей Ноосферы, того же Космоса, как и Мира Иного.

Это только кажется, что вождём в Кремле служил четверть века невнятный и неприметный Джугашвили, бывший когда-то презренным горийским мальчиком, сыном сапожника и прислуги, потом семинаристом и поэтом, боевиком-экспроприатором,



профессиональным революционером, поднявшийся затем до партийных властных высот, наконец, захвативший исподтишка партию и власть, расправившись с противниками, конкурентами и недотёпами, ставший единоличным правителем огромной державы, её красным царём.

Нет, то был не Джугашвили, как и не тот же партиец Коба, а именно *Сталин*, этот метафизический феномен, он же и *призрак*, — то ли овладевший каким-то чудом человеком по имени Иосиф, то ли из него самого вдруг вылезший — совершенно демонический, оснащённый способностью вызывать и направлять великие энергии разрушения и созидания, погибели и жизни, брать на себя нечеловеческую ответственность, вести за собой людей, проектировать и строить миры — не любя и не щадя никаких homo sapiens, ни перед кем не склоняясь и не отчитываясь, считаясь довольно только с силой и заведомо презирая любую возможную слабость.

Демон-навигатор, демон-демиург, демон-бог!

Не первый, даже не единственный в кровавом двадцатом веке, явно и не последний, великий фантомный фигурант реальной человеческой истории — дерзкий, могучий, невероятный!

Беспокорйство

Москва. 2000 год. Апрель.

Два пожилых человека

прогуливаются вблизи смотровой


площадки на Воробьёвых горах,

негромко беседуя друг с другом.

Видно, что это привыкли размышлять

в одиночестве люди, наверное, учёные,

может, философы.



— Вы понимаете, что же это происходит в нашей загадочной стране!

— Кто ж её поймёт, раз уж она загадочная! Но, кажется, грядут перемены. Думаю, что преемник совсем не прост. Власть-то он принял, но это не значит, что он пойдёт тем же курсом, ничего не меняя. А поскольку смену произвели сверху и весьма гладко, а главное, быстро, то похоже, что вступил в действие какой-то уже *иной план*: смута и произвол стали уже опасными, пришла пора наводить хоть какой-то порядок... Но никаких возвратных перемен не будет!


— Пожалуй, вы правы, обратно никто уже не пойдёт. Будет, скорее, укрепление завоёванного, может, и с жёсткими мерами. До диктатуры, конечно, дело не дойдёт, во всяком случае, если кризиса какого-нибудь острого и грозного не случится, но усиление власти вполне вероятно — было бы желание! Да и плясать под дудку Америки уже вряд ли хочется. Но куда всё это выведет — вот вопрос?

— Важно, что страна не развалилась, несмотря на тяжёлые удары и коварные подставы. Энергия самосохранения тоже есть, пожалуй что, и сопротивления — как, к примеру, у тех же материалов. Разумеется, всё ещё может произойти в державе нашей, но сердце моё подсказывает, что самый опасный момент мы всё же прошли, думаю даже, что мы прошли и низшую точку падения — теперь, может, и не слишком уверенно, но всё-таки вверх!

— Нельзя же только падать и унижаться, наезжая за океан за советами да на смотрины. Хоть какая-то гордость должна быть, честолюбие что ли, я уж не говорю о самоуважении!

Собеседники, прогуливаясь, подошли к каменному парапету смотровой площадки. Уставились на Москву.

— Вот он, наш Ершалаим... город подвигов и несурозностей, чудес и разных странных происшествий. Вроде Иерусалима, ставшего Москвой, или же Москвы, ставшей Иерусалимом... Слышите это «рус» в *Ие-рус-алиме* (*произносит слово Иерусалим в растяжку*)... Писатель взял, да и перенёс Иерусалим в Москву, будто исполняя никоновский завет, а-а?..



— Перенёс-то перенёс, но с какой целью и с каким результатом?.. Явно же хотел какую-то аналогию вывести: Иешуа, Пилат, Иуда, казнь Иешуа, кого он имел в виду уже здесь — в Москве? (*Пауза*). И если иуд тут у нас хватает, то кто же был для него Иешуа или тот же Пилат?..

— Ну, пусть Пилатом мог быть Сталин, а вот кто же мог быть Иешуа?.. Царь, Православная церковь, безмолвствующий народ-страстотерпец, а может, те же убиенные, сосланные или изгнанные учёные, писатели, философы? Интересно, кого же мог замещать в таком разе Ленин?

— Вакансий тут предостаточно, если взять не только исторических, но и литературных персонажей... Дело тут, я думаю, не в прямых аналогиях, хотя кое-где и они вольно или невольно выпадают. В романе доминируют, на мой взгляд, аналогии иного свойства: либо как просто похожести, либо как что-то то же самое, но представленное в ином обличье, либо же как что-то вполне своеобразное, но могущее стать в сходном историческом и литературном контексте.

— Главная в романе аналогия, по-моему — сам человеческий мир, попадающий через века в похожие друг на друга ситуации. В 60-е годы, когда вышел в свет роман, ситуация в стране совсем не была аналогична ситуации 30-х, а потому роман и не встретил тогда особого понимания, а вот в 90-е годы всё резко с восприятием романа изменилось, ибо ситуация вокруг оказалась уже чуть ли не родственной роману.

— Тут важно единение метафизики реальности с метафизикой романа, точнее, наоборот — метафизики романа с метафизикой реальности. Автор глубоко прочувствовал это единение, его отобразил, хотя я не исключаю, что он не слишком и думал об этой самой метафизике: она могла родиться и сама по себе, разумеется, под пером, а лучше сказать, из-под пера писателя.

— Но связь Ершалаима, то бишь Иерусалима, с Москвой очень любопытна, может, Москва это вовсе и не Новый Иеруса-




лим, как того хотел великий патриарх Никон, а, скорее, какой-то анти-Иерусалим, потому-то и Ершалаим?

— Какая-то мистическая связь здесь, бесспорно, есть: и Ершалаим накрывается чёрной тучей, и Москва поглощается непроглядной мглой. Оба места мистические и заслуживают быть отмеченными какой-то апокалиптической казнью: восставший Иерусалим был взят и разгромлен римлянами по случаю Иудейской войны, а Москва... так она чуть было не пала под напором тех же немцев в 1941 году... но, — и тут наш романист, близкий в своём предчувствии грозного и вроде бы неизбежного события, не то что ошибся, а, скорее, отступил от реальности, — ибо Москва тогда каким-то чудом устояла, вроде того, что с ней случилось во время нашествия беспощадного Тамерлана, могила которого в Самарканде была вскрыта умными и всезнающими, самоуверенными учёными, несмотря на мистический запрет и предсказание большой беды, аккурат в день молниеносного перехода границы СССР немецкими войсками, устремившимися, как в своё время и конница Тамерлана, к Москве... Да-а, вот они исторические аналогии и параллели! (*Пауза*). Но зато в 1991-м, пожалуй что, и пала, — и, можно сказать, в полном соответствии с романом, — накрывшись тьмой иудства, алчности, трусости и позора, — перестала же она быть хотя бы столицей величайшей в мире державы, и уж, тем более, символом стойкости, неприступности, победности.

— Вы допускаете, что тексты и от себя работают: как разрушительно, так и созидательно? То, что они поселяются в сознании и подсознании людей, как, собственно, и в бессознании, а потом и действуют, — это, пожалуй, бесспорно, а вот обладают ли они способностью актуальничать сами по себе, как эгрегор какой-нибудь, или информационное облачко, программа, модель, а-а?

— Почему нет? Всё это вполне возможно: идеальное властвует над материальным, виртуальное над реальным. Литературные персонажи вообще воспринимаются как реальные люди, точно так же и тексты. Если мир вообще есть текст, или мир тек-



стов, то почему и литературному тексту не влиться в этот мир, либо замещая собой реальность — надёжно и надолго, либо её прямо и создавая, хотя, конечно же, очень опосредованно, окольно, чуть ли не исподтишка.

— Да, образ литературный каким-то невообразимым образом творит образ реальный, а потом уже и сама по себе реальность особая является, вобрав в себя предшествующий ей творческий и творящий образ. Где тут, понимаешь ли, курица, а где яйцо, кто ж это знает?

— Реальность и ирреальность ловко перекручиваются между собой, работая конфиденциально и конспирологично друг на друга, — а в литературе как раз и происходит такая вот перекрутка, что позволяет не только отражать реальность, но и её конструировать. Так что великий писатель, гуляющий по метафизическим далям — не только отобразитель чего-то, но и его сообразитель, а потому творец не одних только печатных текстов, но и текстов самой уже как бы припечатанной им реальности.

— Кудесник, стало быть, писатель — волхв, чужодей, — не потому ли писателей частенько там и сям не очень-то жалуют, как и всяких там умников, знатоков, экстрасенсов, прорицателей, алхимиков и химиков, да и пророков тож?

— Вот и Мастер из романа предстаёт совсем по-другому, не правда ли? Не безобиден он вовсе, хоть и жалок, — и сумасшествие у него театральное, и сделка с сатаной совсем не случайная, как и согласие на сомнительное спасение из рук сатаны через посредство шальной Маргариты... Романчик-то его совсем не прост! Это, знаете ли, программа, чародейство, миссия!

— Недаром же Сталин, сам чародей и чужодей, не уничтожил автора сего романа, недаром! И за границу не отпустил, и жрать давал, хоть и не баловал. Вряд ли не знал он о затейливом произведении, вряд ли, при его-то ищейских возможностях.

— Выходит, что он, как посвящённый, что-то такое понимал и для чего-то такого предпочёл романиста и романчик его оставить в неприкосновенности.

— Ясно, пожалуй — для будущего!



Собеседники на время замолчали. Они продолжали вглядываться в белёсую разноцветную Москву, захваченную уже первыми признаками подступавшего вечера. Заиграли пламенно в закатных лучах солнца, обещавшего на завтра весеннюю погодную благодать, купола немногочисленных московских церквей, стёкла и крыши домов, верхушки сталинских высоток. Тёмным багрянцем там и сям откликалась тягучая река. Глаза приятелей невольно сошлись, как снайперские прицелы, на сверкавших прямо перед ними овалах Новодевичьего монастыря, цепко связанного с судьбой Москвы и помянутого только что мастера-страдальца, где-то рядом с монастырём и погребённого.

— Да-а, загадочным человеком был автор этого курьёзного романа, загадочным! Может, Сталин один его только и понимал, по-своему даже и побаивался. Не хотел трогать неправильного писателя, на что-то в связи с ним надеясь, но и сближаться с ним не хотел, если, конечно, не было между ними какой-нибудь тайной встречи или же не стоял между ними какой-нибудь тайный посредник. Много загадок вокруг писателя, ох, как много!..

— Как, собственно, и вокруг Сталина: кто, как, откуда, для чего? Сталин, конечно, не Понтий Пилат из романа, да и не Вольтер, хоть что-то в нём от них и есть, но он ведь и что-то совсем другое, как и писатель наш совсем не только романтический Мастер — оба они куда-как сложнее, насыщеннее и больше!

— Да-а, всё тут не просто: столько намёков, столько недосказанного, столько издевательского... Тайна, она и есть тайна!.. Видно, должен был явиться в литературе нашей такой вот субъект и нагнать своим забавным романчиком тьму загадок и бездну страха!

— Недаром же всякие театральные инсценировки и киновоплощения романа в общем-то никуда не годятся, — это помимо всяких невероятных происшествий и внезапных смертей, со всем этим связанных. Не даётся роман его отважным изобразителям, не даётся!

— Фабулу ещё удаётся как-то передать, но вот смыслы... они-то как раз упорно остаются за сценой и за кадром: зачем ро-



ман-то, что в нём зашифровано, а что он содержит уже вне всякой шифровки? Схватить это изобразительно невозможно. Я думаю, что роман предназначен лишь для чтения и только чтения, причём чтения многократного и вдумчивого, как и для соответствующего такому чтению толкования. Тут главным действующим лицом является умная, неуловимая и всюю безобразничающая мистика, которую за полы просто так не схватить, не разглядеть пристально и репортёрски не запечатлеть.

— Автор предупредил ведь, что фокусы его никому разоблачить не удастся, а сам роман и есть самый главный и потрясающий фокус: то ли истина он, то ли нет, то ли предупреждение, то ли розыгрыш, то ли откровение, то ли карнавальная забава. Писание, оно и есть писание: значки видишь какие-то несурзные, а целые миры через них воображаешь!

— Есть роман, а есть от него, нет, не впечатление, что само собой, а какое-то, скажем так, запечатление, которое куда как больше самого романа, иной раз не так уж и к нему близкое. Великое произведение рождает обычно своих, как бы это сказать, спутников, что ли, как друзей, так и врагов, а то и прямо лукавых двойников, в общем, разного рода побочных детей, о которых автор произведения, он же и невольный их отец, ничего в момент творения своего ещё и не великого произведения и не подозревает.

— Всякое сколько-нибудь значимое литпроизведение всегда имеет шанс продолжаться за пределами самого себя — и так продолжаться, и этак, как чисто литературно, так и в реалиях.

— Да-а... с отлётом, или, лучше сказать, с улётом из Москвы-Ершалаима Воланда с его гоп-компанией роман вовсе не закончился, как не окончилась и вся эта странная история, тем более, что автор оставил Понтия с Иешуа догонять вроде бы убежавшую куда-то от них истину, Мастера с Маргаритой поместил в сомнительном райском уединении, чуть ли не в доме призрения, который им вряд ли не возжелалось бы когда-нибудь покинуть, чуть ли не без сожаления, а один герой романа, поначалу плохой поэт, а затем вполне сносный историк, так и остался в однажды



его посетившем, но никогда уже не покидавшем недоумении, которое ему вдруг могло захотеться как-то и рассеять.

— Так, так, дорогой романист, тебе тоже от текущей и будущей реальности никуда не деться, — история ведь не терпит пустот и остановок, — и вечное её движение обязательно втянет в себя твой роман, как и тебя самого, заставив выкинуть что-нибудь экстраординарное — прямо по-гоголевски, чтобы всем стало не по себе, разумеется, на какое-то время, а то и на мгновение, ибо человеку и его истории присуще, слава богу, все нещадно и спасительно забывать.

— Ну что ж, прощай, Москва, прощай, наш загадочный беллетристический фокусник, прощай на какой-то срок и роман: невероятный, прельстительный, задевающий! Ещё увидим, надеюсь, кое-что — уже за пределами твоего чудотворного текста, сотворённого во многом как раз вон там, за монастырём, на клинической улице, столь раздражавшей своим грохочущим гомоном дивного пророческого сочинителя с законченным медицинским образованием.

Приятели бросили последний взгляд на погружавшуюся в чернильную синь родную для них Москву, сравнённую в романе почему-то с далёким Ершалаимом-Иерусалимом, повернулись резко и пошли молча в сторону остроконечного университета, горделиво и плавно возвышавшегося в глубине большого воробьёвского плоскогорья.



Часть четвёртая

Триумф

Деяния

Сталин стал вождём — инквизитором, проектантом и спасителем — в разгар мирового апокалиптического кризиса, охватившего не одну расстроенную и перевёрнутую вверх дном Россию, но и весь тогдашний мир — Европу, Америку, Азию, даже и Африку, кризиса, провоцировавшего повсюду бунты, перевороты, революции, а главное — мировые войны.


Жизнь человеческая перестала тогда что-либо стоить, кровь людская лилась свободно и обильно, народы превратились в безмозглые массы, а управлявшие ими элиты в законспирированные полукриминальные банды.

Закон, традиция, мораль — всё было оставлено, всё уже не играло роли, — кризис не имел никакого гуманитарного выхода.

Время небывалой в истории всемирной схватки — и неважно кого с кем, в каких составах, ради чего.

Схватка — всё!

Россия, благодаря революции и гражданской войне, прошла уже на тот момент смертоносную самопроизвольную схватку — всех против всех, обретя побеждённых и победителей, но она не нашла ещё нового животворного образа, удобного как победителям этим, так и самой России, а потому, переживая локальную



схватку уже в стане победителей, лихорадочно нащупывала возможность преодоления грозного апокалиптического ненастья.

Единая, удовлетворявшая всех и вся, формула не была найдена: апокалиптика всегда против такого рода разрешений! Оставалось лишь силой запустить приемлемый в крайней эсхатологической ситуации созидательный проект, подавив всякое ему сопротивление. И этим проектом стал как раз сталинский, конечно же, так поначалу не называвшийся — беспощадно мобилизационный, трудовой, фабричный, тюремно-казарменный, военизированный, как бы сейчас сказали — тоталитарный.

Задача умопомрачительная, сверхчеловеческая, титаническая, — и она была выполнена!

Сталину это удалось!

Проект был всё, зато люди — ничто!

Вернее, люди кое-что значили, но лишь в рамках проекта — на определённом месте и в нужной функции, наравне с себе подобными, под бдительным контролем и управлением сверху и при беспрекословном служении снизу.

Личная и коллективная инициатива допускалась только ради проекта и только при исполнении свойственных проекту задач.

Проект — святыня!

Поднимая страну из руин, Сталин поднял страну на дыбы, не преминув, по примеру Петра Великого, поднять её и на дыбу: кого в расход, кого в рабы, кого в работники, кого в управленцы, кого в надзиратели, кого в каратели, кого в развлекатели, кого в оправдатели, а кого и... в творцы, — каждому своё, как по способностям, так и по обстоятельствам: по случаю, по необходимости, по капризу, по року. Все были обязаны проекту, все были перед ним в долгу, мало того, все стали относительно него... *виновными*... даже не имея на то никакой вины.

Все!

Брали в застенки виновных, брали по ночам за придуманные наспех и ловко вины, брали впопыхах, а то и вполне расчётливо, и невиновных. Взять невиновного — совершенно невинов-




ного! — самый цимис массовых проективных репрессий: так подавлялось любое сопротивление и непонимание, так внедрялась всеобщая ответственность, так навязывался необыкновенный трудовой и творческий энтузиазм. Вот тогда-то все и признали *Проект*, обрета за него личную ответственность, и заработали неистово в его пользу, мирясь со скудостью, довольствуясь малым, не претендуя ни на что избыточное, даже и на свою жизнь.

Затрат было много, слишком много, особенно, трудовых, людских, они были ужасны, но... пошли и первые результаты: индустриализация, электрификация, механизация, строительство, освоение природы, урбанизация, но так же и наука, образование, техника, новая культура, одобренная новой, соответствующей проекту идеологией — идеологией труда, единения и побед, как и светлого будущего — земного рая, основанного на всеобщем братстве, идейном абсолютизме и духовно-материальном благополучии.

Особым же достижением стала новая *Армия* — залог выживания России-СССР, исполнения проекта и овладения будущим.

А вот главной жертвой оказалась, конечно же, — как это и было повсюду, где затевался *прогресс*, — деревня, сознательно униженная и перебаламученная, удавливо прессуемая, немало уничтоженная и сильно поубавленная, нещадно эксплуатируемая. Деревня оказалась основным живительным резервом для амбициозного сталинского проекта, его, собственно, и выручившим — ценой полугибели и обращения в новое — коллективистское, коммунальное, полуармейское — состояние, придуманное для отсталой-де белой деревни алчным и ненасытным красным городом.

Подавив нещадно одних, но дав невиданный до того простор другим, заставив при этом весь трудящийся люд работать и жить ради общего интереса и всеобщего блага, Сталин, взяв на себя тяжкий грех страдательной перестройки жизни и переделки людей, смог добиться исполнения своего экстравагантного проекта — *Сталинского Проекта*, одновременно возрожденческого



и скрытоимперского, а в чём-то, по прошествии времени, и отечественно-российского.

И, о-о, чудо! — граждане СССР, не все, конечно, но многие, очень многие, вдруг почувствовали себя... не жертвами вовсе, даже не просто исполнителями великого проекта, а... его сынами и дочерьми, его детьми — и стали все они... обязанными проекту, как обязаны бывают дети родителям, язычники — природе и богам своим, а христиане — Господу Богу Отцу, Сыну Божьему Иисусу Христу да Богу Духу Святому!


А что Сталин? Да, да, он-то как раз и стал прямым заместителем Бога на Земле, превратившись не то в гражданина-бога, не то в бога-гражданина, гражданами атеистического СССР насильственно, но при этом и благодарно, признанного, мало того, горячо, вполне и непонарошку, им полюбившегося.

Сталин, — реалист и провидец, — управлял страной, используя выпестованный им — через неоднократные чистки — иерархически построенный «орден меченосцев» — *партию*, бытовавшую под разными названиями: РКП(б), ВКП(б), а потом и КПСС, тесно взаимодействовавшую со столь же любовно и беспощадно выпестованными инспекционно-карательными органами, скрывавшимися под разными аббревиатурами — ЧК, ГПУ, НКВД, затем МВД, МГБ, а также РКИ, КПК, да мало ли ещё какими!

Поставив на место Бога не более чем человека-гражданина, а именно себя, точнее — вождя, Сталин поставил на место религии — марксизм, на место Церкви — парторганы, на место священного писания — «Краткий курс ВКП(б)», на место откровения — Программу ВКП(б).

Мало того, на место настоящего он поставил будущее, на место будущего — грядущее царство труда, на место загробного мира — земной рай, он же и коммунизм!

Помогла красному правителю и всего и вся преобразовательная новая, уже вторая по счёту, мировая война, ставшая для него и его подданных войной за Отечество, за жизнь, за существование, — она-то всё в конце концов и оправдала, освятив навязан-



ный стране военно-мобилизационный, он же и советско-социалистический, он же и сталинский, режим бытия, приведший не только к военной, но и к исторической победе — победе *Великого Социального Проекта*, рождённого в лукавой «омасоненной» Европе, а осуществлённого на деле — совсем и по-азиатски — в изнасилованной, прельщённой и очумевшей России.

Победа в мировой войне дала сталинской России-СССР положение и роль альтернативной мировой державы-лидера, а вождю её — положение и роль уже мирового значения вождя, несущего миру новый отличный от западного, мировой проект — социалистический, коммунистический, красный, но... уже не коминтерновский, не европейский, а иной — *сталинский!*


И выплеснулся тогда проект за пределы России-СССР, как в европейские страны, попавшие под имперскую сталинскую длань, так и в иные веси, к примеру, в тот же проснувшийся вдруг муравейный Китай.

Да-а, впечатляющими смотрелись тогда итоги сталинизма!

Не Македонский, не Цезарь, не Чингиз, не Бонапарт, даже и не Петр I, а... *Сталин* — вершитель, победитель и покоритель!

Он вошёл тогда — могучий и непреклонный, вполне сам по себе, ни от кого не зависевший — в тройку тогдашних повелителей мира, одержавших верх над сильными и надменными врагами-соперниками и деливших тогда и устраивавших по-новому весь планетарный мир, — и был он в этой блистательной троице альтернативной англосаксам ипостасью — от угнетённых, униженных и презренных, но восставших, выживших и победивших, как, собственно, и от России, бывшей тогда СССР, столь Европой нелюбимой, унижаемой и отторгаемой.

Не Христос вовсе, совсем даже не Христос, но... но... устроивший же царство трудящихся немедленно прямо здесь — на Земле! Антихрист? Может, и антихрист, но... деловой, конструктивный, результативный. Моисей? Нет, конечно, но... почему же совсем и не Моисей, коли вывел народ свой на дорогу труда и прогресса, отвортил его от золотого тельца и погибель-



ной, как проказа, модернизированной антикультуры, изменил сознание, бытие, перспективу, добился вместе с ведомым им самоотверженным народом великой победы?

Цена, говорите, цена была велика, — да, велика, даже чрезмерна, но ведь не зря же, да и не для себя старался, не ради безумного обогащения немногих, а для всех сразу, ради счастливой жизни, ради будущего!

Дорогой ценой, но сделал, нечеловеческим усилием, но совершил, беспрецедентным приступом, но взял!

И победил!


Романщина

Роман возродился к жизни полноценно и явственно в 1980—1990 годах, что-то поразительно угадывая, что-то фантастически предсказывая, а что-то, по-видимому, и загадочно конструируя.

Москва, как это можно было ожидать в угоду романному финалу, никуда не сгнула, но зато кое-какой тьмой таки накрылась, точнее, не накрылась тьмой, а скрылась во тьме, ибо с набегом революции и приступом смуты 1990-х ничего, кроме вязкой inferнальной тьмы, в городе уже и не было, да и быть не могло.

Город выглядел явно заколдованным! Кем же? Уж не свои ли «парнем», с неохотой покинувшим Кремль, оставив с лукавой и недоброй ухмылкой вполне вроде бы приемлемого для себя преемника; или же самим господином дьяволом, в городе будто бы уверенно тогда пребывавшем; а может, таинственным московским романом, полным художественного очарования и действительной прелести?

На северном море вдруг погибла мощная подводная лодка, то ли протараненная кем-то или чем-то, то ли как-то сама взорвавшаяся, но помощи так и не получившая, тоже оказавшаяся почему-то заколдованной, или же попросту кем-то приговорён-



ной, чем и обнаружила всю степень падения и разложения родной для неё страны.

Так вот и легла подлодка жертвенным ковчегом на дно мира российского, вопия уже не о своём, а о его — этого странного и жуткого мира — спасении.

И Москва не избежала тогда череды магических жертвоприношений: то теракт в метро; то захват угрюмыми террористами сладкоголового варьете (!), с последующей гибелью что захватчиков, что захваченных; то пожар прикремлёвского Манежа; то обрушение новенького аквапарка; то провал подточенной кропотливыми подземными водами неуютной столичной мостовой.

И невдомёк было мятущимся москвичам, как и гостям мятущейся столицы, что всё это уже было давно таинственно предположено, предначертано, предсказано либо же заказано, привлечено, призвано!


Да-а, либо роман этот злополучный работал, прицельно и наугад постреливая из своего метафизического далека, ловко находя объекты для неминуемого поражения; либо коварные бевсовские силы, выставленные в романе на редкость в забавной форме, пошаливали весело в теперешней Москве, не пропуская ни одной подлой затеи, романом вовсе и не предусмотренной; либо сама заколдованная прихотливо Москва, отбросив всякие гуманитарные условности, творила свои собственные беды, нагло хорохорясь и громко хохоча, упиваясь брызгами искрящегося шампанского и запахом дымящейся человеческой крови.

Очень многое из выдуманного в романе, совершенно сказочного и невероятного, если не прямо сумасшедшего, стало вдруг самой что ни на есть всамделишной московской реальностью.

Романная ирреальность заместила собою нероманную реальность.

Вымысел оказался дотошнее правды — и правда покорила фантазии.

Роман, как дерзкий пиар-предтеча, родил вдруг мерзкий реальный пиар, как непрерывный и неотступный роман-безумие.



Всё равно, роман ли тут работал, силы ли, им воспетые, Москва ли, им подмеченная, если не помеченная, но всё происходило в Москве, да и по всей стране российской, как-то в духе романа, в необъяснимом просто так единении с ним, заставляя проницательных свидетелей дивных столичных событий, как и воцарившегося в столице душераздирающего распада, раз за разом повторять, покачивая многозначительно умными головами: «Ох, уж этот роман!»

Шок


11 сентября 2001 года от Р. Х.

Теперь уже просто знаменитые, ставшие благодаря настырному и ненасытному телевидению даже вполне и банальными, а тогда совершенно внезапные, невероятные и непонятные, абсолютно шокирующие удары жертвенных-де самолетов по нью-йоркским небоскрёбам, скрывавшим за подобием стен в своих необъятных ячеистых чревах жужжащий, как бесчисленный рой умных насекомых, всемирный финансовый интернационал.

Нью-Йорк горел, и никто не знал тогда, сколько ещё ударов может последовать за первой атакой. Казалось, в мир вдруг ворвалась внезапно новая мировая война, в огонь которой был первым брошен наглый и самодовольный Нью-Йорк — финансовая столица мира, мегаполис-ростовщик, город-пират.

За ударом по Нью-Йорку последовал тогда же удар по Пентагону — армейскому штабу мировой спрутообразной державы.

Это уже было слишком: призрак очередной мировой войны, который навязчиво грезился просвещённому человечеству вот уже в течение полувека, явно воплощался в жуткую реальность. От мысли, что американские межконтинентальные ракеты могли повыскакивать из своих подземных и подводных гнёзд и устремиться к давно уже намеченным по всему миру целям, среди ко-



торых большинство приходилось на Россию, становилось не по себе.


Москва замерла, ожидая страшных вестей.

Нет, нет! То не была ещё третья мировая война, и американские ударные ракеты остались на своих местах, а была, как оказалось, всего лишь дерзкая террористическая операция, мигом разбившая миф о неуязвимости Америки и недостижимости деловито роящегося на её территории наглого ростовщического племени.

Шок от внезапной террористической операции был, пожалуй, сильнее, чем от вероятной мировой войны, — и особенно поразил американцев, как и весь мир, сам алгоритм сокрушительного удара, осуществить который без участия окружающей людской, институциональной и инфраструктурной среды было невозможно.

И летели уже по миру разные версии: от исламо-арабской до внутриамериканской, включая невероятную международную и совершенно безумную российскую. Стало вдруг ясно, что терроризм — не средство, а явление, что он не в отдельных точках, а во всем мировом пространстве, что он не отклонение, а норма, не какая-то случайность, а органичная принадлежность рвущейся на части современности.

И мир человеческий вдруг предстал совсем другим миром — миром с мировым террором, миром с мировым ужасом, причём с террором и ужасом не в качестве непрошенных и отвергнутых гостей, а востребованных и глубоко имплантированных институтов, а потому предстал не просто миром с террором и ужасом, что всегда было, а прямо-таки *миром-террором* и *миром-ужасом*, ибо увидены были сразу в едином фокусе неоспоримые достижения современной обезбоженной цивилизации: производственные, научные, технические, финансовые, рекламные, потребительские, идеологические, пропагандистские, коммуникационные, литературные, художественные, музыкальные, воспитательные, образовательные, пиарные, как раз те самые, которыми так восхищался весь передовой мир и от которых, за-



мечалось это кем-то или нет, исходили теперь непрерывно и удавливо глобальные террор и ужас.

И всего ближе к ощущению этого поразительного феномена оказался давно уже умерший московский романист, для которого террор цивилизации, может, уже и антицивилизации, значил, по-видимому, гораздо больше, чем любой физический террор, открытый или сокрытый, неблагодарным свидетелем и возможной жертвой которого он был почти всю свою зрелую жизнь, как раз почти сплошь писательскую.

Совсем немногие американцы увидели в событии 11 сентября, кем бы оно ни было организовано и осуществлено, знак возмездия за дьявольскую гордыню и образцовое зазнайство Америки, ненавидимой уже во всём мире, и заметили сакральный повод для исторического покаяния, но... но... большинство пошло, негодуя и скорбя, за официальной пропагандой, снова поддержав культустрегерскую миссию Америки — защитницы-де свободы и демократии во всём мире, согласившись на развязывание войны в очагах-де мирового терроризма.

Прилетели откуда-то в Америку, почти как саранча когда-то под воронцовско-пушкинскую Одессу, отважные и безумные бандиты, ударили самоотверженно и жертвенно по нью-йоркским небоскрёбам, исполнив на практике прямо-таки голливудский сценарий виртуальных боевых действий, и, ничего для себя вроде бы напрямую не добившись, перевернули вдруг мир, который сразу же стал совсем *другим* — как раз очень близким к романному, хоть в романе ничего такого, кроме разве лишь жалких пожаров в Грибоедове и Торгсине, как будто бы и не было.

Вот она, сила писательского воображения, соприкоснувшегося с вечным и оказавшегося способным почему-то вдруг и к неожиданной здешней реализации!



Отчаяние

Старательно и бессовестно гонимый своими высокопоставленными собратьями, лишённый своего любимого издательского дела и официальной, им любовно отстроенной и обставленной, резиденции, владыка, грустный и похудевший, с трудом сохраняя душевное равновесие и едва поддерживая чувство благорасположения к гостям, озабоченно говорил:

— Никогда не видел в студенческой аудитории столько пустых глаз. Ничего не знают, ничего не воспринимают! Впечатление, что им ничего не нужно, кроме денежного успеха, материального и чувственного удовольствия. Только и слышишь: «как бы», «типа того», «в шоке»... Ужасно!

— Это, владыко, вы ещё не слышали мат-перемат, льющийся победным сплошняком, в том числе и из очаровательных девичьих уст.

— Вырождение какое-то, катастрофа! Столько аборт, брошенных детей, какая беспризорность! Какой-то иступлённый разор!.. Да-а, новому президенту, который кажется вполне вменяемым, не позавидуешь.

— А что, владыко, вы питаете надежду на нового президента?

— Да как сказать, не то что питаю, а просто должен. Вот и Александр Зиновьев, философ, вроде бы поверил. Ничего другого не остаётся. Правда, я в отличие от Зиновьева, ещё и молюсь... А вы сами-то как думаете?

— Конструктивным изменениям пора уже быть. Он хоть гарантии своему предшественничку и дал, но политически от него всё-таки отрещивается. Это кое-какой знак.

— Я заметил, что военные и оборонщики как-то оживились. Может, что-то и пойдёт.

— Зависимость от заграницы очень велика. Там не хотят возрождения сильной России. Так что ему очень трудно, но шанс, кажется, есть.



— Дай-то Бог! В той же Европе далеко не все против России.

Владыка, чуть наклонившись вперёд и взявшись за подлокотники кресла:

— Простите меня великодушно, но у меня ещё впереди важная встреча и я хотел бы немного перед тем отдохнуть. Мы ещё обязательно встретимся в более удобное время. Хорошо?

— Конечно, владыко. Но позвольте задержать ваше внимание на минутку. Я принёс вам журнал, который мы выпускаем уже второй год по интересующим вас вопросам. Мы продолжаем дело, начатое с вашего благословения.

Владыка взял в руки принесённые ему для заинтересованного ознакомления экземпляры, посмотрел на них внимательно, и его ожившие было в ходе беседы глаза вдруг погасли:

— Да, дорогой мой NN, всё это, конечно, хорошо, но... увы... *это никому не нужно!*

Поражённый гость не знал, что сказать:

— Но, владыко, люди пишут, читают, конечно, их не так много, но надо же что-то делать...

Владыка отрешённо смотрел в сторону.

— Не сердитесь на меня, — произнёс он невесело, — это всё нервы и усталость... и слабость. Но я, к сожалению, не слишком далек от истины. Дай вам Бог терпения и удачи!

Владыка встал и отправился по своему обыкновению провожать гостей. Улучив момент, озадаченный гость тихонько спросил его:

— Совсем плохо, владыко?


— Да уж, но ничего, жив пока.

— Крепитесь, владыко, вас любят и ждут от вас слова.

— Эх, дорогой мой, если б знать, если б знать! Но кроме слова есть ещё и молчание, которое и поценнее бывает... Прощайте!

— До свидания, владыко!

Идя через жуткую московскую темень по мутным арбатским тротуарам (ах, этот роман!), гость думал о судьбе слишком



многих достойных и одарённых русских, зачастую талантливых и совсем не редко гениальных, почему-то легко и упорно превращаемых в мучеников, в какого-то уже, по-видимому, превращался и владыка. «За что, зачем, ради чего? Не земля, не город, не страна, а завод какой-то по производству мучеников. Вот тебе и “фабрика звёзд”!»

«Боже, Боже, — вертелось в голове у совсем уже погрузневшего пешехода, — что же это такое?!»

Вдруг посреди заветной арбатской сырости в воображении гостя мелькнул трагический образ загадочного литератора, посетившего Москву в её «минуты роковые» и оставившего ей не менее роковой текст — одновременно плутовской и сакральный, наказав сей жестокий несправедливый мир... нескончаемым беспокоеством, а взамен кинувшегося искать покоя и чести уже в мире ином, не убоившись ради миссии своей грешной протянуть дрожащую от отчаяния руку самому товарищу хорошему диаволу!

Надежда

*Они встретились
около станции метро,
пересекли трамвайные линии и,
миновав смиренного образа
памятник умнейшему человеку
пушкинского времени —
автору знаменитой диссидентской комедии
и удачливому дипломату,
коварно за границей убиенному,
и неторопливо пошли
по весьма оживлённому бульвару.
Впереди них и за ними,
не привлекая ничьего внимания,*

*следовали бдительные охранники одного из них,
Слежка или подслушивание исключались.
Обменявшись, как водится,
несколькими дежурными фразами,
приятели разговорились о главном.*

Академик: Я всё-таки не понимаю, как всё это могло случиться?

Генерал: Разложение, мой друг, всеобщее разложение, плюс большая и долгая измена, как и непонимание, ну и массовая трусость тоже. Мы тогда плохо знали страну и людей! Иудское ведь племя вокруг! Мы только-только тронем завладели, посадив на него нашего умного и хитрого макиавеллиста, да вот ушёл он внезапно и насовсем, а потом... потом... эта роковая ошибка с новым генсеком... Большая, знаешь ли, лажа тут получилась (с усмешкой)... перестроечно-революционная! Ты, кстати, видел его глаза, нашего-то перестроечника, смотрел в них?

Академик: Да, было дело. Там — бездна! (После паузы). А ты уверен, что тут не обошлось без вашего умного и хитрого макиавеллиста?


Генерал: Допускаю возможность с его стороны кое-какого серьёзного просчёта, но только не измены, он вообще не западник, хотя, теперь это понятно, и не марксист-ленинец.

Академик: Да-а, вопросы..!

Генерал: Не горюй! По учебникам тут никто не живёт и не действует. Но мы всё-таки меняем ситуацию, она уже не столь провальная. Восстанавливается управление, обретается кое-какая целостность. Работать трудно, но можно. Однако возврата к прежнему не будет, как и вообще строительства какого-то миражного общества всеобщего благоденствия. Это исключено!

Академик: Я-то это как раз хорошо понимаю. Потому-то и выступаю за консолидацию нации, даже за строительство новой нации! Без нации ничего не получится!

Генерал: Согласен! Я ведь тоже почитаю твои работы, которые ты мне, кстати, почему-то не посылаешь. Ситуация в



целом очень сложная, население, включая госаппарат и армию, разложено, расслаблено и загажено. К тому же и прямые враги не дремлют, а последовательной и охватной борьбы с ними быть пока не может. В общем, время и работа, работа и время!

Академик: Почему же не проводят нормальной государственной политики? Ведь люди-то ждут!

Генерал: Не всё сразу, дорогой мой, не всё. Важно не только знать, какая политика нужна, но и исполнителей её достаточно иметь. Больших перетрясок сейчас не устроишь, да и толку-то от них.

Академик: Но при нашей-то централизации и традициях разве нельзя вогнать работу госаппарата в нужное русло?

Генерал (вопросом на вопрос): После того, как аппарат этот поучаствовал всюду в поспраивании справедливости, в разрушении страны и её разграблении? Нет, нельзя! Нужно, братец, время.

Академик (после паузы): Ты знаешь, я сейчас перечитываю «Мастера и Маргариту». Нахожу много интересного, а главное, объясняющего. Удивительный роман! И прямо к нашей сегодняшней текучке.


Генерал (усмехнувшись): Поразительно, но я тоже взял вчера с полки сие произведение и пробежался с удовольствием по его страницам. Ничего нет лучше этого романа! И какое же у нас с тобой потрясающее совпадение: прямо мистика какая-то!

Академик: Как считаешь, не продиктован ли весь нынешний алгоритм сиим мистическим романом?!

Генерал (подумав): Не скажу, что продиктован, но явно угадан, возможно, в чём-то и подсказан. Верное, пожалуй, наблюдение! Только вот тьма над Москвою начинает всё-таки рассеиваться. Правда, это как бы уже за пределами романа.

Академик (заинтересованно): Начинает? Ты в этом уверен? *(Шутливо):* Побожись!

Генерал (смеясь): Вот те крест! *(После паузы).* Нет, я вовсе не так уж и уверен, но всё же начинает, начинает... куда ж ей деться? То тьма на Москву, а тут, понимаешь, уже и Москва вроде бы на тьму. *(После паузы).* 11 сентября, честно говоря, нам



здорово пособило. Теперь обстановка заметно другая: Америка уже практически против всего мира, а почти весь мир против Америки. Надвигается новый серьёзный кризис, мировой в общем-то кризис. И Америке от него никуда не деться. Всё ещё впереди! Совершенно новая ситуация, и ею надо непременно воспользоваться. *(Посмотрев на часы):* О-о, мне уже пора! Извини, дорогой, но мне надо двигать.

Академик (шутливо наигранно): Ладно, Афраний, двигай, да не только себя двигай, но и ситуацию в стране тоже... Уговор?

Генерал (тоже немного забавляясь): А ты, мастер, пиши свои труды, да в огонь их не бросай, они нам ещё пригодятся. *(И вполне серьёзно):* Ничего, не страдай, вытянем как-нибудь! Вот какую воспреемческую операцию провернули: причём их же руками! Мы тоже кое-что умеем. Ну, бывай!

Академик (пожимая приятелю руку): И ты держись! Мне и в самом деле как-то полегче стало. Прощай!

Генерал поспешил к машине, терпеливо и доверительно поджидавшей его на краю бульвара, а академик, потоптавшись немного на месте, неторопливо направился к ставшей вдруг ему почти что любезной станции метро.

Террор

Это случилось в декабре месяце, точнее, 9 декабря, как раз в Юрьев день, в один из зимних вечеров гнусного российского безвременья, посетившего страну на сакральном рубеже XX и XXI веков от Р. Х.

Сев в троллейбус, чтобы проехать всего лишь до первой остановки, которая была рядом с домом, внезапно почувствовал, а затем и увидел, оглянувшись, впритык с собою весьма неприятных молодцев, от которых веяло каким-то странным, прямо-таки могильным холодом. Отошёл в сторону, к другой двери. Выходя из троллейбуса, никого рядом не заметил, да и не приглядывался. Ничего не подозревая, спокойно двинулся к дому. Недалеко от



подъезда... тут он уже лишился сознания, погрузившись внезапно в кромешную темноту, в какой-то момент увидев... вроде бы как во сне... что он стоит будто бы на тротуаре, кто-то сзади его держит за руки, а какой-то мужик, стоящий перед ним, лупит его по-боксерски по физиономии, причём боли никакой, а потом снова погружение в сон, в темноту, в бессознание.

Очнулся, стоя на снегу перед подъездом, в расстёгнутой куртке, с непокрытой головой, без сумки, как и, разумеется, без бумажника во внутреннем кармане куртки. Понял, что избит и ограблен. Из носа обильно текла на снег кровь. Достал носовой платок, который сразу наполнился кровью. Выбросил платок, зачерпнул снега, приложил к разбитому носу. Оглянулся. Недалече вроде бы только что остановилась машина с какими-то людьми, которые никак себя не проявили, не обратив на него внимания, либо посчитав его за обычного пьяного, либо, как стало ныне принято, вообще ничего не посчитав. Заметил, что на брюках снега не было, понял, что не валялся, хотя и пошатывало.

В кармане куртки нащупал ключи от дома. Направился, не слишком уверенно, к подъезду. Слева на кустике висела его кепка. Ничего себе! Забрав кепку, открыл подъездную дверь, затем и квартирную. Войдя, объявил глядевшей на него с недоумением и ужасом жене, что избит прямо около подъезда и ограблен, что был вырублен, ничего не видел, не знает и не помнит.

Физиономия опухла. Стала чувствоваться боль в лице и в теле. Быстро прибывшая «скорая» сделала какой-то обезболивающий укол. Оперативный работник милиции, тоже незамедлительно явившийся, после расспросов пришёл к выводу, что напали, видимо, те трое из троллейбуса, которые явно уже вели свою жертву, но вот откуда?.. Скорее всего, от метро. Это были, похоже, гастролёры, которые предпочитают охоту за мужиками в возрасте, кто по сторонам не смотрит, сопротивления особого не окажет, а в карманах и сумках иметь кое-что может.

В общем, стал жертвой банального уличного бандитизма.

Оставшись наедине, уже лёжа в постели, вроде бы вполне успокоившийся и чуть ли уже не засыпавший, он, прокручивая в



памяти всё с ним внезапно произошедшее, вдруг ощутил приступ какого-то пленительно гадкого ужаса, но не от того, что мог быть только что убитым, а от того, что был какое-то время... *приговорённым*... намеченной уже *жертвой*... объектом *охоты* — как раз там, в троллейбусе, среди людей, под бдительным оком нацелившихся на него хищников!

Вот тебе и истина, вот она — правда житейская, когда ты уже *никто*, так себе, скотина, зверь, будущий труп, когда участь твоя уже кем-то за тебя вполне и окончательно решена!


На утро участковый врач вызвала медмашину и отправила в ближайшую больницу проверяться. Там собачий холод, неуют. Гематомы, слава богу, не оказалось, а били ведь в голову, сбоку, над ухом. Били профессионально: ведь никакого удара он тогда не почувствовал. А потом, когда, видимо, стал приходить в себя, по-боксёрски добавили, отправив в нокаут.

Отлежался дома. Встревоженные остеохондрозные кости поныли, поныли, да и успокоились. Физиономия пришла в норму, стала ещё краше.

Случай был в общем-то рядовой: тогда не то что грабили, а преспокойно и убивали. Так что ещё повезло! «Бог бережёт!» — заключили, как водится, доброхоты. И всё бы ничего, если бы... если бы такого рода случаи в Москве не стали с завидным упорством повторяться, да что повторяться, не стали бы зловещей нормой, да не просто грабительской, но и какой-то *иной*, ибо зверским нападениям почему-то подвергались, как правило, учёные, десятки учёных, кое-кто из которых были даже коллегами и друзьями потерпевшего, прямо из того же заведения, откуда был и он сам.

Ну и ну? Что же это было такое? Грабежи грабежами, а выходила-то и настоящая охота за учёными? Тогда кто это делал и зачем?

Подоспела и публичная огласка: на совещаниях, по телевидению, в газетах. «ТАЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТИТСЯ ЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ УЧЕНЫМИ», — гласил заголовок статьи в одной популярной столичной газете. И всегда один и тот же



сюжет: по пути домой, около дома, в подъезде. И не просто избивали и грабили, но и всерьёз калечили, а кое-кого и убивали. Гибли микробиологи, психологи, медики. Доставалось историкам, философам, экономистам.

Думать можно было всё, что угодно, а ужасный сбор урожая продолжался не один год. Наконец, стали появляться сообщения, что обезврежена одна банда, другая. Вроде бы затихло.

Но остались вопросы: кто, зачем, ради грабежа или же под видом грабежа?.. Посеять страх, приговорить науку, ликвидировать умы?

Бр-р!

Ах, эта отрезанная московским трамваем голова несчастного Берлиоза! Да, конечно, сам вроде бы виноват — эрудит и простофиля, сам! Но символ же, символ! Умная голова и... долой! По приговору ли бескомпромиссной тройки, по неукротимой ли воле дьявольского провидения, по соизволению ли гнусной исторической ситуации?


Автора бесовского романа не стесняла кровь, у него-то она была бутафорской, как и смерть Берлиоза с его неприкаянной головой, а вот вокруг самого романиста тогда кровь лилась вовсе не бутафорская, как и головы замолкали навеки вполне реальные.

Романист играл по-крупному, но... играл... как юродствующий комедиант, что говорить — с намёком играл, с риском, а может, и в одобрение, а реальность рубежа XX и XXI веков играла... у-ух!.. какое бы тут словечко подобрать получше? Но нет, кажется, такого словечка, кроме разве какого-нибудь inferнального безумия, — тоже ведь диагноз, поставленный неприметно хитроумным романистом.

О-о, человеке, о-о, словеса, о-о, роман!

Проницновения

Много и не без всякого умысла думал московский непокорный романист о затаившемся в Кремле красном вожде, очень




много, зная при этом хорошо, что кремлёвский сиделец не сводит с него своего пристального всевидящего взора, ничуть не доверяя потаённому беллетристу, но в каких-то интересах своих вынужденно и стойко его терпя, даже и прикрывая, не доводя дело до вполне и давно уже заслуженной с ним расправы.

Боялся, конечно, дерзкий, но вынужденно притихший, романист своего грозного кремлёвского покровителя-волко-дава, не нарывался, но, чувствуя, что он всё-таки нужен был зачем-то все-сильному красному вождю — уж не из-за создаваемого ли им конспиративного мистического романа, о присутствии которого на свете вождь, конечно же, знал, — а потому, осмысливая тяжело всё вокруг него происходившее, включая и страшную, совершенно для писателя неприемлемую, но вполне реальную и действительную сталинскую тотальную демиургию — отменно, надо было признать, *дьявольскую!* — прозорливо и вовремя утвердился во мнении, что Сталин не мог быть, пусть и как-то ловко завуалированным, героем его амбициозного романа — узнаваемым героем, зато... зато он мог быть вполне сокрытым героем, имманентным, герметическим, проявленным сразу в сонме романных героев, внутри них, между ними, в самой загадочной персонажной матрице — Иешуа, Пилат, Афраний, Воланд, даже и Мастер, тоже ведь созидавший кое-что необыкновенное, почти что и несбыточное — свой роман — как раз про них: Иешуа, Пилата, Афрания, Воланда, про самого себя и про... Сталина*.

И все они, эти герои романа, заметим, были по сути *призраки*, как был таковым в реальности и сам главный герой тогдашней Москвы — Сталин, который как раз и был подан в романе призраком, да и сам этот пресловутый роман был призраком, как и его притаившийся поднадзорный создатель, как и сама Москва — всё было ирреальным, невероятным, призрачным.

* Сталин ведь тоже, как известно, пописывал, да ещё как! — и не менее, знаете ли, значительные и нужные на тот момент тексты, чем тот же поднадзорно диссидентствовавший московский романист.



Не собственно сталинской вроде бы была преподнесена в романе московская реальность, но какой же при этом сталинской... аж жуть!.. таинственной, мутной, непонятной, сумеречной, ночной, предрассветной, расстрельной, расходной, кромешной, страдательной, тяжкой, весёлой, в общем, полнолунной, фантасмагорической, карнавальной.

И недоумение тут, и осуждение, и восхищение!

По ту сторону добра и зла!

Не так, как в жизни, но ведь и жизнь была в тогдашней Москве какой-то не такой!

Ладно дворян, буржуев и попов в расход, ладно гнилую интеллигенцию, ладно заядлых революционеров, ленинцев, троцкистов, интернационалистов и националистов, ладно бюрократов и карателей, а то ведь и учёных тоже, конструкторов, инженеров, врачей, но при этом кое-кого и на пьедестал, да ладно бы учёных, конструкторов, инженеров, врачей, а то ведь писателей, режиссёров, артистов, бывших когда-то и дворянами, и буржуинами, и поповцами, даже и революционерами.

Если тут и была логика, то какая-то потусторонняя, нелогическая, инфернальная.

Дьявольская, в общем-то, логика!

Да-а, сталинская то была *дьяволиада*: страшная и благообразная, отвратительная и притягательная, отталкивающая и малящая.


А могло ли быть тогда, да и вообще в подлунном мире, иначе, вот вопрос?

Что хотел на всё это сказать своей гениальной писаниной присталинский романист-мистик?

Э-эх, если б знать, если б спросить, если б услышать!

Ведь вокруг тогда процветал вполне реальный апокалипсис, Бог был достаточно человеком от себя отринут, а антихрист уверенно набирал силу, грядела и новая мировая бойня.

Отсюда и этот яростный сталинский конструктивизм — среди разверзшейся мировой бездны — с нечеловеческим стремлением из неё выскочить, да и в почти что безнадежной попытке



построить совсем уж новый — человеческий ли при этом? — мир.

Вопросы, вопросы?..

И вот не был ли роман предосудительным оправданием кремлёвского строителя, как не стал ли он потом оправдательным же ему приговором, а затем, чем чорт не шутит, не окажется ли попросту, уже и вполне непредосудительным... его оправданием, а-а?

Был ли тогда у страны и Сталина иной выбор, маячил ли какой-то другой путь, была ли альтернатива — без сдачи России зарвавшейся и сбесившейся за границе?

Не нравились автору ни Сталин, ни его сталинизм, совсем не нравились, но не признавать Сталина с его сталинизмом было невозможно, и не по причине необъяснимой силы кремлёвского сидельца, как и исходившей от него реальной для автора смертельной угрозы, а по причине какой-то роковой неизбежности Сталина и сталинизма, этой жестокой домостроительной вспышки на рубеже совсем уж последних времён.

Признать-то романист признал, но в дыру кое-какую Москву всё-таки отправил — не верил он в счастливое окончание сталинской эпопеи, не верил.


Роман-аттестация, роман-презентация, роман-приговор!

Не гений и власть тут, а гений-писец и гений-творец: тогда победил Сталин, зажав писателя в теснины его романа, а потом... потом... уже за писателем и его романом замаячил реванш, и романист... нет, не победил вовсе вождя, даже не укорил его, а скорее пожалел, как пожалел он сам себя в романе, отправившись, по воле будто бы Воланда, искать себе вечного покоя в единении с Маргаритой, зная, что покоя у него, как и у самого Сталина-Джугашвили не будет уже никогда.

Суд над самим товарищем Сталиным!

Суд и над самим собой!

Почти что и суд над... человеком, да что человеком... о-о!.. и надо всем, можно сказать, потустороньем тоже!



Но то был не суд-осуждение, а суд-понимание, мало того, суд-сожаление, а пожалуй что, и суд-оправдание!

Знаменательно, что покинул Москву товарищ Сталин — победитель и генералиссимус — почти что по-романному — неожиданно-негаданно, не оставив преемника, один-одинёшенек, в космической, можно сказать, пустоте, как *призрак*, под вопли и стоны задавленных толпою москвичей, под грохот артиллерийского салюта и вой заводских, паровозных и автомобильных сирен, среди гнетущего молчания миллионов опешивших от потери вождя-тирана, как, собственно, и отца-благодетеля, сограждан.

Велик был Сталин, велик, и дело он совершил великое — дерзкое и плодоносное, хоть до конца и не завершённое. Составился вдруг, занеможил, затужил... и покинул внезапно земной мир, ему, кажется, изрядно уже опротивевший: «Что вы тут аплодируете, чему?».


И не такой ли вот конец красного вождя грезился мистическому московскому романисту, вовсе ничего не знавшему ни о великой Победе, ни об исключительном мировом триумфе, ни о божественной славе своего партнёра-противника?

Что мог подумать обо всём этом умиравший в одиночестве и неприкаянности Сталин, если б довелось ему в тот момент вспомнить о столь высоко им оценённом и им же наглухо запрещённом романе, его не менее таинственном, чем он сам, авторе?

Усмехнулся бы, наверное, в усы, если б сил хватило.

Зато грезились тогда, видно, вождю, что всё им построенное прахом пойдёт — после него, ибо не верил он никому — ни князькам-соратничкам, ни управленцам-мече-носцам, ни мастерам-трудящимся, не верил, что все они, приспособившись внешне к нему и его идеологии, к его *проекту*, его стране, всерьёз и до конца преобразились. Ослабнет давление сверху, и всё в тартарары рухнет, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра.

И не мог угасавший уже вождь, разочарованный и неприкаянный, фактически-то бездомный, не вспомнить про печальный конец Москвы, предначертанный злополучным московским ро-



маном, не мог — ибо это был увиденный гениальным беллетристическим прозорливцем конец его — именно *ego!* — Москвы, следственно, и построенного им мира, и его самого.

«Расстрелять бы тогда мерзавца, — мелькнуло в утихавшем сознании вождя, — да уж ладно... сам помер, да и роман сей запрятан надёжно, зато потом, когда все очухаются, роман ещё скажет свое веское слово, совсем уж неожиданное».

Уход

Так и не дождавшись в сокрытой бесовской вуалью стране животворящего рассвета, вдруг ушёл из сего мира в мир иной, подкошенный коварной болезнью, благородный и светлый владыка, навечно закрыв свои лучистые глаза, щедро дарившие людям добро, ласку и какую-то неземную благодать.


Ушёл мужественно, покойно и тихо, ни на что не жалуясь, успев, преодолевая жуткие боли, позаботиться о неотложных земных делах и судьбе своих близких, включая и братьев меньших.

Ушёл, молясь за любимый им русский народ, за Церковь, за чаемое им российское возрождение, чуя, наверное, первые, ещё робкие, вовсе ещё и не заметные, дальние его сполохи.

В гробу лежал, окружённый православным людом и оберегаемый верными сослужителями, без цветов, со свечой в перекрестье рук, с закрытым лицом — так подобает уходить в мир иной монаху-схимнику.

Похоронен был на уютном московском кладбище, под сенью вековых деревьев, на взгорье, рядом с родителями и родными, — и на могиле его незамедлительно стали являться чудеса — это светлый и деятельный дух владыки смиренно реагировал на обращённые к нему надежды страждущих и просящих.

В тяжёлое для обескураженной и обезумленной страны время, владыка, сам немало гонимый и расстроенный, а в какой-то момент и растерянный, был нужен и дорог людям, знавшим и




не знаящим его, самим фактом своего присутствия в этом разлаженном реформой, враждебном любой порядочности и человечности мире: раз владыка был здесь, с нами, в этом повседневном ужасе, то и жить можно было, несмотря ни на что!

Что говорить, удачлив народ, у которого есть такие верные и праведные сыны — в скверные, конечно, для самого народа времена!

Выполнив свою прижизненную пастырскую миссию, — то легко и радостно, то стоически перенося невзгоды, владыка, уйдя в мир иной, стал исполнять посмертную святую миссию, поощряя мистическим образом житнетворные деяния уцелевшего и кое-как приходившего в себя от насильственного обморока «золотых» 1990-х народа.

«Владыка, — скажу я вам, — конечно, не Иешуа из романа, и не потому, что не философ бродячий и что страшной унижительной казни не был подвергнут, — владыка, в отличие от Иешуа, был всегда в гуще жизни, и не как морализирующий проповедник, а как умиротворяющий окормитель и устроитель душ и дел человеческих, в том числе и у властей предержавших, как у того же Пилата Понтийского. Стоп!.. следственно, случилось ему быть в чём-то и Иешуа благотворящим... нет, нет... ничего особенного вроде бы и не совершившим, чуть ли и не сокрушённым, но, человечность поддерживавшим, любовь, и любовь к истине тоже. И ежели он был в очень уж бесовское время, то, значит, и любовь тогда была тоже, и истина... вроде и сам Иешуа был... — вершатся же на могиле владыки какие-то чудеса, может, просто в душах людских что-то происходит, но не без участия же владыки, духа его животворящего, а потому был владыка, был и... есть, есть он... среди нас, в мире сем... есть!»

«Личная, она же, по-своему, и историческая, драма владыки состояла в том, что он был, как бы это сказать, принадлежностью, что ли, системы, и, при всём благородстве своём, от неё не свободным, а потому, если обратиться к романам героям, то в его положении было что-то и от... пилатского. Понимал, хотел, а не мог, не мог что-то желаемое совершить. Разумеется, владыка —



не Понтий вовсе, но положение обязывало и... мешало, как и Понтию, а всё остальное уже было в руках Божиих. Владыка не хуже прокуратора Иудеи видел реальность человеческую: потому-то и молился усердно Господу Богу Иисусу Христу (не Иешуа!) — как раз той единственной истине, им когда-то безоговорочно принятой».

«Да-а, роман так ловко построен и столь умело художнически соткан, что почти в каждом человеке, пребывающем нынче на московском свете, можно обнаружить те или иные черты романских героев, как и, соответственно, найти ключ к пониманию любой нероманной судьбы — что личной, что общественной, той же, к примеру, судьбы великого стольного града Москвы, попытавшегося было стать по воле и замыслу патриарха Никона Новым Иерусалимом, да так и не ставшим, мало того, подпавшим вдруг под власть такой силы нечистой, что и самому князю мира в граде сем неуютно стало — сбежал, чтоб не стошнило».

Деревня

Рассказ русского человека

«Решил я как-то посетить деревню, где родился и вырос мой отец. Края, надо заметить, изумительные. Средняя Россия, почти уже степь. Вершины, плавные перекаты, низины, овраги. Чудные реки и заводи. Деревни скромные, уютные, какие-то незаметные, как грибы. Бунинские в общем-то места.

Въехав на своих “Жигулях” в деревню, я остановил машину, как вскоре выяснилось, прямо около нужного мне дома.

Войдя через калитку в тенистый крестьянский двор, я увидел перед собой сидящую на скамеечке старушку, резавшую яблоки, по-видимому, для сушки, и, поздоровавшись, спросил:

— Не подскажете, где тут живут... (*называю свою фамилию*)?

— Мы и есть... (*старушка называет ту же фамилию*).

— А я сын... *(называю имя и отчество отца)*, не знали ли такого?

— Почему же не знали? Знали, он как раз у нас ночевал, когда со своими братьями... *(старушка называет имена моих дядьёв)* приезжал сюда последний раз. Муж мой... *(называет по имени-отчеству своего мужа)*, их двоюродный брат, жив ещё тогда был.

— Вот как! Так я прямо по следам отца и прибыл.

— Выходит, что так. Давай знакомиться... *(называет себя)*. А вот и твоя сестра *(указывает на статную женщину, появившуюся на крыльце дома)*.

Знакомлюсь с сестрой *(троюродной)*, городской учительницей, потом и с её мужем, экскаваторщиком, их юными сыновьями. В общем, нашёл неожиданно родных, которые, как выяснилось, хорошо знали, что я есть *(по рассказам отца)*, что живу в Москве, работаю в таком-то месте.

Удивительное дело — встретить родных людей, которых никогда не видел: я для них *свой* и они для меня *свои*, а вот почему-то это, одному лишь Господу Богу известно!


Зов крови — это, скажу я вам, сильная вещь!

Провёл я среди благоприобретённых родных сутки. Трапезничали под раскидистым вязом, выпивали, говорили, — и всё как-то покойно, без суеты, без гвалта. Недаром же род наш славится до сих пор на всю округу “умом и расчётливостью”. Купались в пруду, ходили и по гостям. Дом деда моего, оказывается, сохранился. В нём уже давно никто не жил, но находился он в приличном состоянии. Хранит его другая моя троюродная сестра, бывшая доярка.

— Как общаться-то будем, — обратилась новая сестра ко мне, — на “вы” или на “ты”?

— Конечно, на “ты”, мы же брат с сестрой.

Удивительно всё это: родные, которых никогда не знал, их к тебе открытость, сердечность, а главное — “свой” и “свои”, без всяких оговорок, как будто вчера расстались. И какие-то общие,



легко узнаваемые, черты — в лицах, в темпераментах, в повадках, — знакомые до боли, родственные, кровные, свои!

Всё-таки это немалое счастье, так вот приехать в какое-нибудь уютное местечко, полное земного духа, живительного воздуха, запаха трав, открытого солнца, — и повстречать людей, да, да, именно так — людей, а не, пардон, “обезьян” каких-то в образе людском, несущихся, сломя голову, по городским тротуарам и “метровским” платформам, — и повстречать родных тебе людей, из того же людского лона, с твоей, так сказать, генной арифметикой.


Родичи мои сельские жили совсем и не плохо — пенсии, подворье, огород, сад, кое-какая живность. Пребывающие постоянно в городах дети и внуки постоянно навевались в деревню, трудились, помогали, и сами от деревни большую пользу имели. Немало ещё таких вот русских, ещё хранящих верность роду, семье, малой родине, своим. И хорошо им всем собираться в деревне, у бабушек и дедушек, работать, отдыхать, встречаться, сживать за общим, иной раз и праздничным, столом.

Сколько так будет продолжаться, неизвестно. Деревня упорно хиреет и сворачивается, даже там, в Черноземье. Ответственные хозяйства разорены, детские сады закрыты, ликвидируются и школы. Скот почти полностью уничтожен. В деревню, на её поля, пришёл из города так называемый инвестор — с деньгами, зарплатой, техникой, новой агрикультурой. Сеют и жнут только пшеницу да подсолнечник. Остальное инвестору не нужно. Занятость минимальная — десяток механизаторов да пяток управленцев. Молодежь уходит в города. Хоть голода и холода нет, но нет и никакой перспективы.

Провёл я сутки в родной отцовской деревне — в довольстве, покое и радости. Успел ещё съездить в соседнее село, где когда-то в детстве отдыхал летом с родителями — в первые послевоенные годы. Подошёл к дому, в котором жил тогда у родственников, выходит ко мне из дома женщина моих лет:

— Вы... (*называет меня по имени*).

— Да, — отвечаю, поражённый.



— А я вас помню.

Вот-те раз: женщина-то эта в доме этом тогда не жила, и в соседнем тоже, я её не знал, а она, оказывается, меня знала, ещё мальчишкой, не забыла и аккуратно в миг вспомнила.

Стал я, уже зная эту женщину по имени, её расспрашивать.

— Об этом лучше маму мою спросить... А вот и она!

На крыльцо вышла согбенная старушка. Назвала себя и протянула мне для пожатия сухую руку. Услышав мой вопрос, сказала:

— Пойдём лучше в дом, там обо всём и поговорим!

И услышал я подробный рассказ о моём отце, с которым рассказчица дружила ещё в юные годы, о моих предках, о жизни деревни, о войне, которая эти места тоже задела (в деревне, где родился отец, немцев не было, а в этом селе как раз они побывали).


Я был в восхищении от прекрасной памяти моей далеко не юной собеседницы, её потрясающей осведомлённости, от её удивительного — точного и образного — языка. Такая вот старушка, помимо того, что жена, мать, работница, ещё и кладовая языка, свидетельств, традиций, мудрости. И просвещение тут, и воспитание, а главное, сохранение — семьи, рода, деревни. Многие уроженцы деревни уже не живут в ней, а уж их дети — тем более, но вот такая бабушка обо всех знает, прозревая деревню свою повсюду, и в городах тоже — везде ведь они — деревенские, стало быть, родные.

Последовало и угощение. Муж моей ровесницы — механизатор на пенсии. Тоскует по былой работе в колхозе, по технике. Отобедали, приложившись, как водится, и к самогончику, прекрасного, знаете ли, качества. Всё по-русски, опять же, чинно, несуетно, расторопно. Жива ещё русская душа, жива — на природе-то ей всё-таки легче!

Настал момент моего отъезда. Провожая меня, старушка вдруг бросила мне:

— А Россию-то продали, а-а? Всю ведь продали.

Я обнял старую женщину за согбенные плечи:



— Воистину так, воистину! Только не сегодня и не вчера, давно уже. Нынче только очередной торг идёт. Да дело тут не в одной России: весь земной шар на торжище, и тоже не сегодня.


— Вот оно что! — слегка задумавшись, произнесла моя чудесная собеседница. — Я об этом не думала... хотя не даром же против Господа всё, не даром... может, ты и прав. Скорее бы уж Страшный Суд!

— А может, он уже и идёт?

— Тогда скорее бы ему конец.

Заехав на часок в отцовскую деревню, я, попрощавшись со своей благоприобретённой роднёй, отправился обратно — в стольный город Москву, задетый за живое, удивлённый, просветлённый и сгрустнувший: “Какие люди! Простые, мирные, умные! И какая у народа нашего тяжкая судьба: не война, так коллективизация, не коллективизация, так поборы, не поборы, так война, не война, так реформа... и всегда насилие, насилие, насилие! Вот и сейчас намеренно и ловко банкротировали деревню, лишив её не только хозяйства, но, пожалуй, и земли тоже. Город по-прежнему не отпускает деревни, своей кормилицы, не давая ей совсем умереть, но и жизни полноценной не позволяет. Всё-то городу не так, всё-то ему не угодишь, всё-то деревня ему не та, во всём-то она, грешная, виновата. Бегут люди из деревни, бегут, но и остаются, всю жизнь свою в деревне проживая, и... уцелевают... как люди уцелевают! Вот он где, народ-то божий! Последний, видно, народ. Скоро от русской деревни ничего не останется. Съест её новая цивилизация. Жители-то на селе, конечно, будут, а вот деревни русской уже не будет”.

Вечером я был уже далеко от родных отцовских мест. Впереди меня ожидала Москва — этот долбаный мегаполис, полный осатаневших человекообразных теней и очумелых автоколесниц. А ведь это был город, в котором я вырос, который мне был вполне родным, но который я уже не мог назвать своим, ибо это был уже чужой мне город — разряженный, суетливый, бесвестный!



Вспомнился мне тогда плутовской роман с его измученным писательским бременем автором: “Уже тогда автор сей почувствовал в городе столичном что-то, скажем помягче... неприемлемое, как раз в разгар великой реконструкции города... и впустил в него банду каких-то негодяев, с почти что праведной миссией... А что сейчас? Какая-то чарующая миссия, когда вся Москва уже сплошная банда, вовсе и не опереточная? Нет, сегодня такой роман уже не родился бы, это возможно ещё в городе, русском городе, пусть и тотально перестраиваемом, ещё среди людей, русских людей, пусть и напрямки переделываемых, — и не случайно, видно, не замечал прозорливый роман эту самую русскость, прозревая более всего нахрапистое пришествие чего-то уже нерусского, мало того, и нечеловеческого, явно уже и звериного”.

Так думал я, или примерно так, а может, совсем и не так, приближаясь к Москве и втягиваясь в цепкую автомобильную пробку, напоминавшую то ли длинного многоцветного питона, то ли его шлангообразную жертву, этим разноцветным питоном проглоченную и медленно перевариваемую».

Всё!


Не один год прошёл после того, как он услышал в телефонной трубке уличного автомата раздражённо брошенное ему обесчелочивающее «Всё!».

Это был разрыв — полный, окончательный и непоправимый!

Жёсткий, обидный, оскорбительный!

Не стало в один миг ни кумирни, ни опоры, ни преданности, ни любви. Зато осталась... *измена* — обескураживающая и убивающая, идущая рядышком со смертью — веры, упоения, силы.

За беспримерным подвигом пожаловал с роковой неизбежностью всепоглощающий крах — их крах, *Её* и *Его*, их удиви-



тельного мира. Животворная насыщенность разом исчезла, уступив место безукоризненной пустоте. То был великий проигрыш — неумолимый и ненасытный последыш великих побед!

Дальше зияла лишь бездна, из которой мог быть только медленный, натужный и болезненный, выход, разумеется... в никуда!

Постепенно боль утихла, хоть рана в душе так и не затянулась. Спасло творчество, — верная рукопись всегда была рядом. Странно, но, пережив тяжкую болезнь, он пережил и творческий подъём — горький, откровенный, оздоравливающий.


И вот однажды она ему вдруг позвонила. Удивлённый, он, услышав всё ещё родной голос, предложил повидаться. Немного поколебавшись, она согласилась. Встретились на перекрестье двух обездушенных московских проспектов. Прервав бесстрастную прогулку по обезумленному новыми властителями городу, зашли в неуклюжее придорожное кафе, заполненное шатающейся пластмассовой мебелью. От вина она отказалась. Не стала и курить, давно забросив это курьёзное занятие. Ограничились чаем.

За то время, что они не виделись, она довольно изменилась, похудела и постройнела, вовсе не постарела, хотя и как-то посolidнела, обретя нити седых волос, но не потеряв ни в красоте, ни в привлекательности. Вот только глаза... глаза... стали какими-то утихшими, без привычного янтарного свечения.

Сообщила, что не так давно перенесла операцию, не слишком сложную, но по весьма неприятному поводу. Вроде бы всё обошлось. Жизнь свою размеренную убажает общением с лошадьми, пристрастившись к верховой езде. Отпуск проводит, как и прежде, в турпоходах, на природе, в хранимых Богом местах.

Смекнув, что она не склонна обращаться к грустным воспоминаниям, он не задал ей давно мучившего его вопроса: «Как же ты?..», а потому лишь поинтересовался, легче ли ей... без него, на что она спокойно ответила: «Не легче, быть может, но как-то определённое, ровнее».

Перед расставанием он вручил ей свои последние книги, которые она с живостью приняла, хотя и без заметного раньше



восторженного предвкушения. В одной из них было и кое-что о посетившей их драме, была там и оценка её последнего шага, конечно, не прямая, иносказательная, но, увы, весьма жёсткая, пожалуй что, и беспощадная.

Прощаясь, она ткнулась головой в его плечо, посмотрела как-то виновато-ласково в его недоумевающие глаза и порывисто поцеловала в щёку. Вскочила проворно в подошедший трамвай. Помахала ему рукой. Он тоже ответил взмахом руки. Трамвай тронулся, и она исчезла из виду в толпе пассажиров. Он постоял немного, потом двинулся, озадаченный и огорчённый, к ближайшей станции метро.

Через какое-то время, примерно через месяц, он ей позвонил. «Вы хотите, конечно, узнать моё мнение, — услышал он напряжение в её голосе, — я прочла ваши многочисленные разговоры...». «Нет, нет, — прервал он её поспешно, — не надо, не стоит, я и так знаю...».

«Э-эх, — размышлял он, повесив трубку, — дело тут не в личной измене, даже не в её моральной окраске, а в разрушении метафизической гармонии, уничтожении полноты, умерщвлении огня. Тут ведь измена онтологического порядка. Это как раз то, чего никогда нельзя делать... без тяжелейших последствий... даже если есть какие-то внешние житейские оправдания, да и вины-то никакой нет».

«Какое ужасное крушение, — думал он, сидя перед умолкшим телефоном, — да не отношений вовсе, что не так уж и важно, а сознания, души, ума, всего человеческого? Отчаянный бросок в бездну, на плоскость, на мель! Падение, без всякой перспективы подняться. Неискупляемое жестокосердие, ненасытная непоправимость».

«Женщина способна охотно дарить и дарить, но — взамен — жадно присваивать и поглощать. И не проглотив, безжалостно отбрасывать, а проглотив — с умилением выблёвывать».

И вспомнились ему тогда слова мудрого Соломона: «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей». Ужаснувшись злему откровению, он подумал: «Но не ока-



жись рядом с Мастером той же Маргариты, что случилось бы с ним и его романом, что?»

«И что со мной было бы... хоть велика и горька плата за обожание и вдохновение?»

«Где подвиг, — думал он с грустью, — там и измена, а от измены до подвига — один шаг!»

«Многие ли творцы, — продолжал он размышлять, — избежали этого сладостного лекарства, называемого изменой, чтобы после его внезапного приёма воскреснуть, если сил на то хватало или... так уж везло?»

«Да-а, слишком тут много всего разного, мужчины и женщины вглядываются в разные миры и просматривают в них разные глубины, различая там разные мерцающие светотени: и никогда их миры благоговейно не сольются».

«Женское безумие — их и только их достояние, их резерв, их сила, чего никогда не понять мужчине, перед субстанцией этой загадочной всегда пасующему».

«Ни понять, ни исправить, а сейчас, когда у них свобода... только бы не попасться!»


«Э-эх, не судить бы, не судить... И что из того, что такой вот вышел конец, что видишь ты перед собой вроде бы родное, но такое уже неприятное лицо!»

«Расплата тут, да, да, расплата — за взлёт, за утехи, за грех, за всё эта неотступная расплата, за попытку, вполне и удавшуюся, божественного единения».

Глянув с отвращением на ни в чём не виноватый телефонный аппарат, он встал из-за стола, подошёл к бару, вытащил бутылку красного вина, открыл её, налил в бокал терпкого рубинового напитка и с наслаждением выпил.

Всё!

Р. С. Через какое-то время он неожиданно получил эсмэску: «НАВЕРНОЕ, ВЫ — ОПРАВДАНИЕ МОЕЙ ЖИЗНИ. БЕЗ ЭТОГО ОНА ПРОСТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА». Он сразу телеграфировал по мобильнику: «УМНИЦА!» Ответа, од-



нако, не дождался. Понял, наконец-то, что ей он уже не нужен, как не нужны ей и его текстуальные откровения.

Оживление

После убийственного сброса приличествующей жизненной формы и смертоносного пребывания в вонючей яме антижизненной бесформенности всегда наступает, как показывает история, момент овладения жизнью новой, вовсе и не обязательно лучшей, формой, способной обеспечить очищение и оживление измученного глубоким расстройством и изгаженного собственной блевотиной общественного организма.


С момента азартного прыжка в зловонную асоциальную яму до первой попытки мучительного выгреба из неё обычно проходит пару семилетий: так было в смуту XVII века, так было по итогам революций 1917 года (до 1929 года), так произошло и по случаю революции 1991 года (до 2005 года).

Нумеристика — штука серьёзная!

Старый порядок — сброс порядка с воцарением беспорядка — новый порядок.

Автор лукавого московского романа пережил революции 1917 года и последовавшую за ними кроваво-гниющую баню, пока укрепившийся в Кремле красный усатый вождь не провозгласил в 1929 году непреложный факт «Великого перелома», обозначившего наступление в стране нового порядка с неизбежным в таком разе революционным результатом: бывшие низы наверх, а бывшие верхи — в расход, а по сути-то всё то же самое: с новыми верхами и новыми низами, — по итогам чисток и прореживаний — хоть и в необычной — социалистической-де — упаковке.

А вот в 1990-е годы проницательные читатели романа застали совершенно иную революцию, стыдливо названную реформой, когда всё наглое и бесстыжее — что сверху, что снизу — сошлось как-то в едином бесовском, но таком в общем-то человеческом порыве, да и захватило беспардонно и обманно страну,



её ресурсы, её народ — прямо в свою личную собственность, став новым господствующим верхом.

Тогда, по итогам той ещё революции — Октябрьской 1917-го, россияне, разделившись на красных и белых, яростно передрались между собой, а когда белые проиграли, были истреблены или выгнаны за кордон, красные, передравшись уже между собой, установили в конце концов некий действенный режим, соответствовавший красному идеалу только тем, что был он по-красному упрощённым — военно-казарменным.


Ныне, уже при этой революции, никакой масштабной междоусобной резни в стране не произошло, хоть и разверзлась кое-какая отчаянная драка среди почуявших лёгкую добычу хищников-«прихватизаторов», а также пошла наглая борьба осатаневших преобразователей с застигнутым врасплох населением, оцепеневшим от недоумения, но засуетившимся споро и бодро, спасаясь яростно и деловито от неожиданной революционной напасти, — и всё это в пределах лишь одного единственного проекта — злонамеренного и злоторного, исходившего от захваченного заблаговременно прогнившего властного центра.

Не было теперь ни белых, ни красных, ни ещё каких-нибудь цветных, а были лишь гады и негады, причём среди негадов оказалось немало и ловко приспособившихся к гадам, хотя нашлись и не пожелавшие к гадам прилаживаться, а потому гадами и их добровольными союзницами с презрением и страхом отвергнутые.

Вот такая в 1990-е годы случилась революция, по итогам которой возник новый строй жизни, свободный от порядочности, но зато не свободный от дикого произвола.

Чудо произошло — чудо от зла: чудо-зло и зло-чудо!

Потрясающая и смеющаяся надо всей историей феноменальность, достойная романной нечистой силы и её хитроумной патетики, — ах, каким прозорливцем был гениальный автор романа, писатель-чернокнижник, конспиратор и конспиролог, знаток inferнального закулисья, провозвестник обновлённых цветов зла!



Абсолютно inferнальная то была революция! Приход преисподней в мир земной, подпольной темени в мир яркого света, тревожной смуты в мир ясного порядка.

Дело тут было не в одном лишь обогащении одних — избранного меньшинства и в обеднении других — подавляющего большинства, даже не в установлении финансового и властного господства одних — владельцев денег и держателей власти — над другими — этих денег и этой власти лишёнными, что позволяло одним эксплуатировать нещадно других, ловко и беспардонно понукая этими последними, — дело было более всего в практически полном — аж до самого доньшка, расчеловечивании человека, обнажении таившегося в нём зверя и дарении этому зверю давно уже им забытой абсолютной свободы.

То была революция... *зверя*... ради... *зверя*, хотя по форме она была не такая уж и зверская, даже по-своему гуманная и чуть ли не благостная.

Здесь была своя классика, столь ценимая князем мира сего и его романнным презентатором Воландом, та самая классика, которая всегда противостояла и противостоит любой благодушной утопии, включая и ту, которую исповедовал несчастный Иешуа, та самая классика, которую признавали и хорошо понимали, пожалуй, лишь Понтий Пилат с Афранием.


И уж не был ли доносчик Иуда тайным агентом Афрания, что и позволило последнему сначала расправиться с несчастным Иешуа, а потом и с обречённым Иудой?

Каифа и Понтий — уж не игрушки ли в афраниевых крепких и гибких руках, совершенно при этом чистых?

Ох, эти чистые руки и грязные чистки!

История знает, история молчит, история млеет!

Кто устроил все эти революции в многострадальной России? Откуда и почему взялся вдруг Сталин? Что он строил и к чему готовился? И не вернётся ли... вдруг... в ином, конечно, обличье?



А пока... пока... надо было удержать новый поганый строй, его внятно подкорректировав и занятно подкрасив, укрепить его, придать кое-какую жизнеспособность.


И пришёл 2005 год от Р. Х., тот самый, с которого как раз и начался отсчёт более или менее явственной стабилизации. Но чего? Да, да... именно так... этого самого поганого строя, а уже через него и самой жизни, впряжённой отныне в уже новой модели колесницу.

Жить было снова можно, но лишь в рамках этого строя и только для него!

И произошло вдруг оживление жизни, загнанной в непотребный строй, но уже им допускаемой, хотя и в обстановке фундаментальной неморальности и целостной аморальности, вольного произвола и вездесущей коррупции, разогретого бесовства и вольноопределяющегося бешенства, но в особого рода мобильной, имитационной и пиарной, иллюзионной и галлюциногенной оформленности, не мешавшей ни грабить, ни присваивать, ни обманывать, ни убивать, но удерживающей страну, как говорится, в строю, в рядах, в иерархии, в пирамидке.

Что ж, устроители нового российского мира, помешанные на свободе и гуманизме, как и на паразитизме, гламуре и терроризме, оказались неплохими учениками... Афрания с его Иудой, да что Афрания с Иудой — самого «психа» Мастера, но и этого мало... самого... понимаешь ли... автора великого романа!

«Что есть истина? И вы, коллега, ещё меня спрашиваете? Это после-то гнуснейшей революции, по итогам хитроумных происков дорогого всем нам князя мира сего, по прочтении загадочного, но весьма при этом красноречивого, романа. И зачем же этот лукавец Понтий привязался к безобидному Иешуа со своим дурацким вопросом, ожидая-де непременно от бедного бродяги ответа? Уж не ради ли подтверждения правильности его собственного малодушного выбора, тогда, перед этой нелепой и страшной казнью? Или не хочется Понтию признавать за истину то, что ему и так хорошо известно, без всякого бродячего философа?»



Нет для людишек другой истины и другого счастья, кроме тех, что даруются (слышите, даруются!) сверху и из центра, но иной раз оттуда же и отнимаются... то Сталиным, то *анти*-Сталиным, то ещё кем-нибудь, но, всегда сверху и только из центра... вот и вся у нас истина!

При чём же тут терроризм? А при том, что это уже был совсем не тот терроризм, что был во времена детства и юности будущего загадочного писателя, унёсшего на его глазах в любимой им киевской опере жизнь последнего в царской истории России волевого и умного премьера — реформатора и сопротивленца (ах, этот Афраний с его Иудой!), а терроризм совсем иного рода — сверху вниз и ради верха, но при этом и с боков, по разным направлениям, да и по преимуществу не огнестрельный, а совершенно, знаете ли, мирный и — о-о! — совершенно любой: цивилизационный, политический, идеологический, культурный, психологический, технический, экономический, научный, образовательный, телевизионный, музыкальный... всякий!

Атаки, атаки, атаки!

А объект-то всё один — человек, всё-ещё-человек, уже-не-человек, послечеловек.


Особого рода тут распростёрся в мировом пространстве терроризм — прямо от всего жизненного (скорее, антижизненного) контекста.

Даже философия в своей постмодернистской интерпретации занялась гуманистическим террором, унижая человека, расчленяя и умерщвляя, а что говорить о каком-нибудь психоанализе.

Контекст и человек, человек и контекст!

Атака контекста и реакция на неё человека — сдача, защита, сопротивление, гибель!

Жизнь в условиях антижизни, но непременно с наивным или же просто наигранным удовлетворением от жизни-антижизни: не удовлетворишься, да ещё и напоказ — не проживёшь!, — а потому в ходу всё более вместо человеков какие-то погрешности, обезьянки, насекомые, черви.



Остаться несмотря ни на что *человеком* — вот сверхзадача!
Но в образе и в роли кого: Иешуа, Каифы, Пилата, Афрания, Иуды, Мастера, Маргариты, Ивана Бездомного, Берлиоза, Алоизия Магарыча... кого ещё?

Что предложил роман?

Ага... из Бездомного в Понырева, братцы, и ничего более, только Понырев и остался в этом мире в функции человека, явного интеллигента и тайного богословца, если не круглого дурака... Но ведь остался же, хоть и молчаливым как булыжник, впрочем, нет — как Луна, которая, правда, тоже вроде бы булыжник, лишь светящийся отражённым светом.

Осознал что-то к 2005 году правящий в России новый класс или нет, но оживление жизни всё-таки пошло причём и вопреки господствовавшему теперь в стране строю, ибо прошли две семилетки разгрома, разлада и раздора, надо было уже кое-что собирать, что-то выстраивать, давать и жить.

Жизнь на то и жизнь, чтобы сопротивляться не только смерти, но и нежизни, чтобы всегда искать жизненный выход — и пошло-поехало по стране какое-то восстановление жизни, романом совсем и не предусмотренное, ибо нет в романе ни реставратора, ни строителя, ни изобретателя... — и вот уже самой реальной жизни, которая богаче любого романа, пришлось делать из таких героев романа, как Каифа, Понтий Пилат, Афраний, Бездомный, он же и Понырев, а может, и из самого товарища хорошего Воланда... героев-устроителей, героев-созидателей, героев-продолжателей, как в своё время из Джугашвили делать Сталина... и если это всё как-то вершилось, то уже за пределами романа, к устройению, созиданию и перспективе, как и вся великая отечественная литература, вовсе и не склонного.

Двухтысячные годы заметно отличались от девяностых: гнусное революционное дело было сделано, можно было заняться и стабилизацией с прихорашиванием, гарантируя новым хозяевам России их общую неприкосновенность и будущность.

Недаром же один известный кремлёвский политолог, чуть ли не концептуальный автор телевизионных гонений на москов-




ского главу и российского премьера, на какой-то «высокосветской» тусовке в присутствии весьма известного театрального режиссёра, бывшего когда-то лукавым смехо-сатирическим ниспровергателем комтоталитаризма, показал выразительную фигуру приставшему к нему с обвинениями в зарождающемся-де кремлёвском авторитаризме одному очень известному поэту, любящему рядиться в цветастые одежды, присовокупив к столь примечательному жесту ещё и такие слова: «Больше вы из России ничего подобного не сделаете!» Под «подобным» имелось в виду, конечно же, исчезновение под завесой «либерального морока» даже не России как таковой, а самой уже «этой страны», с которой, как вдруг оказалось, воцарившийся в ней режим вовсе не собирался расставаться.

Любопытно, что все трое: политолог, режиссёр и поэт, вполне тянули на почётное членство в экстравагантной труппе чудодейственного театра, прихотливо рождённого и умело выпестованного хитроумным автором неувядаемого московского романа.

Встреча

*Этой встречи никогда не было,
как и никогда не состоялось нижеследующего
разговора — между писателем, написавшим загадочный
фантазмагорический роман, и всесильным правителем
его родной страны — вождём, ставшим первым
и последним при жизни писателя
едва ли не самым заинтересованным читателем
этого романа.*

Вождь: Что, не ожидал? Ведь ты же хотел этого, я знаю... ведь хотел. (*Пауза*). И я хотел, особенно, когда роман твой последний читал. Но не мог, нельзя было. Ни одобрить тебя не мог,



ни распинать тебя не хотел. (*Пауза*). Смелый ты, аристократ мнения... и знающий. Начитался всякой чепухи про чертей, а выводы-то сделал серьезные. Роман твой стоящий. Никто до тебя так не писал. Пушкин мог бы... ну, может... Гоголь. А больше никто! (*Неожиданно после паузы*). Ну что, похож я на Понтия Пилата?

Писатель: Понтий ничего великого не создавал, да и Иисуса библейского он не по своей воле казнил, вернее, дал согласие на казнь. Когда я писал Пилата, я не имел Сталина в виду.

Вождь: Не имел? (*Пауза*). Хоть и казнил он этого чудака... Может, ты меня в Воланде отобразил, а-а?


Писатель: Нет, и этого не было, Воланд совсем не творец, но в любом (*писатель слегка запнулся*)... авторитарном правителе всегда есть что-то от Воланда и от того же Пилата.

Вождь (задумчиво): Авторитарном, говоришь... Решил, заставил, приговорил... Не знаешь ты, что такое власть... Это ведь не просто насилие, а насилие, преодолевающее постоянное сопротивление, ещё и ради дела преодолевающее. Вокруг ведь ничего не видят, ничего для истории делать не хотят, мало что и умеют. (*Пауза*). А Афраний твой лучше всех, как, впрочем, и Маргарита, прописан, но умён он у тебя больно, умнее самого Пилата, а это плохо! Опасный, выходит, человек, твой Афраний. (*Пауза*). Вам, гуманистам, всё человеколюбие подавай... а тут строить надо, вперёд идти, воевать надо. (*Пауза*). С Иисусом ты правильно поступил, не дав его в романе. Правильно!

Писатель: Но рабство и огромные жертвы — разве это не ужасно?

Вождь: Тогда скажи мне, как без всего этого? Библию читал, тот же Ветхий завет? Дай нашим волю, так они от страны камня на камне не оставят. (*Пауза*). Нет, человек — это совсем не звучит гордо, как нас уверял пройдоха Горький, — и никакой ценности сам по себе, по факту своего появления на свет не представляет. Никакой!.. Поверь мне, я-то знаю... Только воля и повинование, — иначе ничего не будет!

Писатель: Но ведь свобода какая-то тоже нужна!



Вождь: Только для достойных. А где они, эти достойные?.. Если бы не государство — это великое изобретение Бога, сатаны и человечества, посмотрел бы я на твоих свободных: сожрали бы немедленно друг друга.

Писатель: Миссия великого инквизитора?

Вождь: Прав был Достоевский, очень прав! И Ницше был прав. Великий инквизитор действует ведь ради жизни. Разве это не великая цель?.. Ты — хороший писатель, а вот политик ты неважный. Политика — кровавое искусство невозможного, вот это что! Ты никогда не принимал ответственных решений, и от тебя никогда не зависела судьба страны. В Белой армии ты вроде бы... (*вождь лукаво прищурил острые глаза*)... был, а вот Деникиным-то, отдававшим приказы, не был. (*Пауза*). А что ты вдруг гуманистом-то, заделался? По книжкам твоим не такой уж ты гуманист, скорее, наоборот.

Писатель: Но есть же в конце концов цвет нации, элита?!

Вождь: Есть, дорогой, есть! Но она, эта самая элита, должна служить, а не выпендриваться, понимаешь ты это — сл-у-ужить, делать как раз то, к чему ты вроде бы призываешь, а сам-то делать как раз не хочешь. Да и не нация мы, а так... страна, больша-а-я, знаешь ли, страна, целый мир. (*Пауза*). Ну да ладно, давай лучше о романе поговорим! Мне кажется, ты малость там подзапутался: куда же податься умному-то человеку?

Писатель: А кто-нибудь знает?


Вождь: Даже Господь Бог не знает, не то что Воланд твой... Никто не знает! Но выпутываться всё-таки нужно. (*Пауза*). Сам-то ты чего хочешь?

Писатель (с лёгким вызовом): Самим собою хочу быть!

Вождь (задумчиво): Хорошим, стало быть, человеком, так? Ещё и свободным? Ну и будь им! Будь!.. Или мы тебе мешаем?

Писатель (решительно): Если начистоту, то мешаешь! Живёт же Европа по-другому, та же Америка!

Вождь (иронично посмотрев на писателя): Историю ты плоховато знаешь, да и текущую действительность не слишком правильно представляешь. Насилия там всегда хватало! А сейчас



у них более всего власть денег, а у меня денег нет, как и колоний нет, чтобы деньги дармовые иметь... и отдать те деньги, что у меня есть, в руки всяким мерзавцам я тоже не могу. Есть у них там на Западе ещё, правда, законы, но что закон для России, а-а?.. Так что приходится и с диктатурой жить, и с насилием.

Писатель (неожиданно): А почему всё-таки меня до сих пор не тронули, не сослали, не расстреляли?

Вождь (хитро усмехнувшись): Мы же не идиоты! Ты нам нужен, да и ведёшь ты себя... сносно.

Писатель (удивлённо): То есть?

Вождь: Твоя любовь к прошлому нас вполне устраивает. Мы тоже ведь империю строим — новую империю! Нас устраивает даже твоя ненависть к нам, как и к тому же прогрессивному пролетариату, к революционной интеллигенции. И потом, ты не делаешь глупостей... *(Пауза)*. А что касается наказания, или даже казни, то ты сам над собой всё это успешно и проделываешь, не так ли? *(Вождь пронизывающе взглянул на писателя)*.

Писатель (озадаченно и несколько раздражённо): Так на какой же, с позволения сказать, платформе мне быть?

Вождь: Не кипятись! У тебя самая завидная платформа: ты свободный художник. *(Пауза)*. И что ты так распереживался, тебя что, устраивает судьба твоего Мастера *(вождь позволил себе пренебрежительную гримасу)*... который мне чем-то напоминает Николку Бухарина: тявкнуть, а потом в дом для умалишённых на всякий случай? Нет, Мастер — это не выход!.. И Иешуа не выход...


Писатель: Уж не с коммунизмом ли мне породниться?

Вождь (усмехнувшись): Нет... это не для тебя. Ты ведь у нас генерального...

Писатель (в недоумении): Не понимаю...

Вождь: А что тут понимать? Ты и так среди миров. *(Пауза)*. Твоя миссия — знать, понимать и до нас доносить! *(Вдруг неожиданно резко):* Так с дьяволом ты или нет, гений земли русской?

Писатель (твёрдо): А Сталин?



Вождь: Сталин, говоришь? Сталин всего лишь с ним дружит, только дружит, понимаешь. А тебе этого делать не советую... Ты не выдержишь, предпочтёшь смерть от сделки с дьяволом, чем от борьбы с ним. Ты растеряешься! Как тот же наш Бухарчик... Ладно, не будем об этом. (*Пауза*). А роман твой ещё нам послужит... товарищ.

Писатель (скорчив горьковатую мину от «товарищ»): Чем же?

Вождь: Ты думаешь, что разоблачил нас, а я вот так не думаю: ты написал, дорогой, гениальную нам апологию, невольную и скрытую. Слышишь, а-по-ло-гию! Дураки будут долго и упорно думать, что ты раздел нас, большевиков, догола, показав наше-де звериное мурло. А умные люди поймут, правда, не так уж скоро, что ты всё как надо и объяснил. (*Пауза*). Никто, кроме тебя, такого не сделал бы: ни сочный Толстой, якобы граф, ни бестолковый вундеркинд с тихого-де Дона. Не тот у них полёт, не тот (*лукаво посмотрев на собеседника*)... товарищ.

Писатель: Что вы меня всё товарищем называете?

Вождь (едко усмехнувшись): Ну не добрым же человеком мне тебя называть?

Писатель (слегка запнувшись): Нет, не добрым...

Вождь (примирительно): Я ведь тоже не добрый, хотя не такой уж и злой, как ты думаешь, я просто никакой... только так я и могу быть им... Сталиным. (*Пауза*). А знаешь, мы ведь очень схожи с тобой, у нас даже судьба похожая, только ты вот можешь себе позволить гнилое интеллигентство, а я вот нет. Ты печальник, а я... палач! (*Пауза*). Что, не ожидал такой откровенности?

Писатель (удивлённый): Нет, не ожидал.

Вождь: Только с тобой и могу пооткровенничать, поскольку ты понимаешь больше, чем всё моё окружение, да и вся ваша пишущая братия. Хоть с нами ты и не согласен... гуманист, а может, и согласен, а-а? (*Пауза*). Любовь... любовь... я вот любил свою Надежду, и что же? (*Пауза*). А твоя Маргарита хороша, хоть и дура дурой... как и моя Надежда. В самом деле хороша!

Писатель: Да это просто мечта, так себе... мираж.



Вождь: Демонизм — сила! Но, увы, обоюдоострая. (*Пауза*). А ты-то не демон, нет, не демон, хоть и хочешь им казаться. Ты — гений, хоть вовсе и не добрый. Великую недоброту ты подкинул людям. Великую! (*Пауза*). А публиковать роман мы не будем, пока нельзя... но ты не меняй в нём ничего, не меняй. Такие вещи просто так не пишутся. Роман ещё пороботает... и на нас тоже, поверь мне! (*Пауза*). Мы ведь с тобой одного поля ягода, только ты покислее будешь... надежды людям совсем не оставляешь.

Писатель: А вы, стало быть?..

Вождь: Я-то, вернее... товарищ Сталин, он-то как раз большую надежду людям даёт. Так что кто тут более гуманист, ты или Сталин? Без Сталина нельзя, а без тебя можно, хоть и умён ты, и ловок, и... лукав. (*Пауза*). А роман-то твой хорош... преисподнюю приоткрыл, бесов выпустил, совсем и не страшных. Да-да, хорош... поверь мне!

Вечер

*Два старых приятеля,
университетские профессора,
выходят после трудового дня
на оживлённый перекресток
перед станцией метро.*

— Как это всё ужасно! Куда всё это летит: люди, машины, опять люди! Это что — жизнь? А сколько разудалых бабёнок: обтянутых, полуголых, неистовых! Ужасно! Как мне всё это надоело!

— Восстание масс и освобождённой феминки! Буйство обречённого мегаполиса... Не наша это Москва, не наша! Как мы с тобой ей не нужны, так и она нам. Вот и весь праздник жизни!

— Мне давно уже надоело жить, не то что праздновать. Не понимаю, зачем всё это?

— Апокалипсис, видишь ли, который в искрящемся действии, да и пир Валтасаров, безумный и долгий.

Переходят, неловко поспешая, проспект, затем другой. Посетив околOMETРОВСКИЙ рыночек и ближайший к нему магазинчик, заходят, оснащённые всем необходимым, в ближайший двор, пытаясь пристроиться на скамеечке.

— Я люблю наш богоизбранный народ, но, скажу тебе, это такая, с позволения сказать, дрянь!

Произнеся столь выпретенные, но верные слова, профессор начинает убирать, поддержанный приятелем, прискамеечную территорию. Дворовые коты, замерев поодаль, с любопытством наблюдают за происходящим, явно одобрительно.

— Ну, вот... теперь другое дело, можно и посидеть.

— Посмотри на котов, они, кажется, в восхищении.

— Ещё бы! Они-то всё понимают, чистюли. Да и неграмотные они, гордыни человеческой не имеют, да и не рабы, не лакеи. Что им отыгрываться на невинной землице!

— Животные ныне, пожалуй, поблагоднее будут, а-а?

Приятели устраиваются на скамейке, деловито раскладывая принесённое.

— Терпеть не могу рестораны. Так-то оно лучше: простор, воздух, дерева!

— Опять же коты.

— Такие же неприкаянные, как и мы с тобой... Ну что, за неприкаянных!


Вытвивают положенное. Закусывают. Некоторое время молчат.

— Никогда не думал, что наука может так упасть в цене, и университет тоже. Э-эх, просвещение, просвещение!

— Давай, что ли, за просвещение!

Процедура повторяется, степенно и со вкусом — по-русски.

— Хорошо!.. (Пауза). Ты знаешь, а ведь есть ещё приличные студенты, даже знать что-то хотят, в чём-то разобраться, что-то усвоить.



— Есть, но единицы. Большинству же ничего, кроме сытой жизни, не надо. Я даже афоризм придумал: «Если Господь желает наказать человека, то он позволяет ему благополучие».

— Да-а, пожалуй... Удивительный ныне царствует сатанизм — мягкий какой-то, чуть ли даже не ласковый. А в человеке-то более всего зверь сидит, разве лишь сытый.

— А за благостью внешней самый настоящий террор просматривается. Сама житуха теперь — сплошной террор, всех и вся перемальвающий. А россияне наши, что мужики, что бабы, наконец-то право на такой террор благолепный получили... вместе с правами человека.

— Даже славные сталинские репрессии меркнут перед подобным террором, прямо-таки онтологическим. Те хоть и смысл какой-то конструктивный вроде бы имели. А тут ведь полная бессмыслица!

— Либо же какой-то лукавый спецпроект.

— Ох-хо-хо, неисповедимы пути человеческие!

— Ладно, давай за человека, что ли!

— Давай... куда деваться!


Прикладываются к пластмассовым стаканчикам. Степенно едят.

— История человека во тьме, откуда человек, судя по всему, и вышел. Недаром же одному нашему мыслителю открылось вдруг: «мать» — «тьма»! И ведь каждый из тьмы, из утробы матери... это потом уж сознание... Из бездны, стало быть, из ничего!.. Господь даёт жизнь, но не качество жизни, а жизнь вообще-то кровава. Подобие с Богом меня что-то смущает. Ну что, на здоровье, как говорят западные славяне!

Следует логичное продолжение. За ним некоторое молчание.

— Я вот всё Библию читаю... Крови там много, ох, как много! Очень уж кровавым выходит выделывание человека, а главное — безрезультатным! Даже жертва Сына Божиего мало что дала.

— Да уж, тут не до слезинки ребёнка.



— Но, знаешь ли, и не до возврата Богу фёдоромихайловича билета... Я понял вдруг, что Бог и есть первый страдалец, что он умопомрачительно одинок и глубоко несчастен. А потому не просить Бога надо о чём-то, как и не укорять его, а помочь Богу надо, понимаешь, помочь!.. И никто ему не поможет, кроме нас.

— А может, и простить надо?

— Пожалуй...

— Выходит, Бог не всемогущ?

— Да нет, всемогущ, он может человека разом уничтожить, а вот добиться от человека того, что хочет, увы, не может — свободу ведь дал! А пока... пока, видно, терпит.

— Человек — это звучит гордо... и мерзко! Как это нашего дорогого классика угораздило? Потом ведь по гулаговским лагерям разъезжал, согбенный, покашливающий и охающий, убеждаясь, хорошо ли перековывались в труде «гордые человеки», кстати, совсем ещё и не такие мерзкие, как сейчас...

— Ах, какое разочарование поджидает сегодняшнего человека, — и, скажу я, оно не за горами!..


Довольно долго молчат, уставившись себе под ноги.

— Обезьяна, конечно же, не превратилась сама в человека — зачем ей это сумасшествие, а вот обезьяну, стало быть — зверя, в человека вполне превратить можно было. Что же тогда — ошибка?

— Не знаю, может, и ошибка, как и сбой какой-нибудь, но возможен и растянутый во времени процесс то ли становления, то ли воспитания, то ли рождения, хотя я и не вижу, для чего всё это безумное размножение вкупе с не менее безумным самоуничтожением.

— А если предположить, что создатель вообще неизвестен, а Бог и сатана всего лишь некие начала, осознанные человеком, в нём самом сидящие, борющиеся в нём, его раздражающие. В основе и в центре тогда человек, а Бог и сатана лишь его ипостаси?

— Всё возможно, мы же ничего не знаем. Сознание — достоинство человека, но и наказание тоже: знать и не знать, или же



знать, ничего не зная, — удовольствие не из приятных. Отсюда лишь вера — что в Бога, что в сатану, что в человека, что в ничто... Ясно только, что инициативу нынче держит всё-таки уже сам человек... Э-эх, выпьем, что ли?

— За глупых и недостойных... за нас, следственно!

Проделывают необходимое. Некоторое время молчат, глядя на всё понимающих котов.

— Ах, эти проклятые вечные вопросы, на которые нет ответов! Одно ясно, попы, хоть и успокаивают, но ничего во всём этом не смыслят. Тут что-то другое, и Христос — другое!

— О чём бы мы тогда говорили, сидя вот так, если б не эти вечные вопросы?

— Да уж.

— Однако пора. Пойдём, что ли?

— Пойдём!

Встают, собирают мусор и бросают его в урну, а остатки пицци оставляют котам. Уходят.

— Коты, как истинные дворовые аристократы, не набросились на еду, а, видишь, нас провожают...

— ...жёлто-зелёными взглядами.

— Счастливы, им лекций читать не надо.

— Тут уж у них явное преимущество.

Приятели покидают гостеприимный двор, выходят на негостеприимное перекрестье московских проспектов, церемонно прощаются, трижды расцеловавшись по русскому обычаю, расходятся в стороны, чтобы снова сойтись как-нибудь, посидеть где-нибудь в сторонке, поболтать о том, о сём, укрывшись на время от бестолкового шума приговорённого к горько-сладкой нежизни огромного антигорода.*

* Вскоре этим профессорским намерениям пришёл конец, когда доблестная милиция, разумеется, по указке благонастроенных отцов города, стала гонять всех российских дворово-улично-скверочных выпивох, и с особым рвением и тщанием как раз по виду и поведению самых что ни на есть интеллигентных. Блюстителю городской невинности, оснащённые автомобилями и нешуточным табельным оружием, норовили



Москва


Прыгнув решительно и бесповоротно из одного муравейничьего устройства — консервативного, в другое — либеральное, Москва, пережив пару экономических и троечку политических кризисов 1990-х, конечно же — транзитивных, принялась бешено процветать, усиленно прихорашиваясь — вроде старой, выдавшей виды кокотки.

Лихорадочное строительство в нигде и никогда ранее не бывалом стиле, глумливо кем-то обозванном новомосковским — с башенками, мансардочками, шпилечками, как и, разумеется, в бетоне, мраморе, стекле и металле, равным образом, в пластмассе и картоне, — в стиле абсолютно безвкусном и бездушном, но зато вычурном, гламурном и каком-то необычайно... глупом.

Строительство громадное, многоэтажное и небоскрёбное, никак и ни с чем не гармонирующее, крикливое, наглое и хищное, какое-то беспросветное и... страшно, безумно, невероятно дорогое... не для людей вовсе, как быстро выяснилось, а для денег, в новомосковских сооружениях как раз с комфортом и всеми новомодными непотребствами расселившихся.

Лихорадочная автомобилизация, перекрывшая все рекорды, да так, что Москва мгновенно потонула в упорно воспроизводившейся каждый божий день автомобильной сутолоке, рождавшей повсюду поразительнейшее явление техногенной цивилизации — автомобильные пробки, в застывших чревах которых там и сям напыщенно торчали, вроде дорогих и никчёмных попугаев, нелепые монструозные внедорожники и лоснящиеся от натужной престижности барственные лимузины.

при этом непременно задержать и доставить высоколобых бедолаг со степенями и званиями в жандармские отделения. Слава богу, этого не случилось! Но замечательная народная традиция, полная антигородской романтики, канула в Лету, на которую всё более почему-то стала походить наша чернильная, тягучая и равнодушная река Москва. Разогнать-то выпивох разогнали, а взамен-то что?



Сумасшествие в пореформенной столице — что онтологическое, что гносеологическое, что попросту психическое — воцарилось полное!

Бесчисленные рестораны, казино, ночные клубы, игорные заведения, интим-шопы, притоны, как и, разумеется, магазины, ларьки, рынки — и море, да что море — океан! — пива, коки, водки, табака, шоколада, мороженого, шмоток, презервативов, прокладок, детективов, дисков, цветов... но... и необъятное меси-во из воров, бандитов, проституток, бомжей, наркоманов, пьяниц, попрошаек, растлителей, насильников, убийц, как и, разумеется, сексуалов и гомосексуалов, педерастов, лесбиянок, голубых, розовых, вообще разных мерзавцев, скотов и умалишённых.

Купля и продажа, продажа и купля!

Всего и вся: товаров, металлов, заводов, зданий, земли, тел, интеллекта, знаний, человеческих органов, фикций, пустышек, «кукол», доносов, секретов, документов, подписей, решений, со-вести, а главное — людей.

Торговцы и торговки — любого пошиба!

Авантюристы, гадалки, шулеры, напёрсточники.

Вымогательства, взятки, пытки.

Измены, предательства, подставы, обманы и снова измены!

Точечная и «ковровая» охота за «людьми».

Заказные убийства, самоубийства и просто убийства.

Взрывы, аварии, крушения.


Нападения, кражи, угоны.

Нашествие иногородцев и иноплеменцев: непризнанных гениев, безотчётных трудяг, безропотных рабов, бойких аферистов, напористых искателей удачи и счастья, будущих «успешников», как и запрограммированных на всю бес-сознательную жизнь неудачников, а также разного рода беженцев, бродяг, бандитов, тунеядцев и паразитов.

И полная, — слышите, полная! — занятость.

И безнаказанность — тоже полная!

Армия обобранных и брошенных на произвол судьбы пенсионеров, стариков и старух, инвалидов, как и масса обманутых



денежных вкладчиков, не говоря уже о неоднократно надутых властями свободных гражданах — что на выборах, что без выборов.

Произвол!

И беспредел!

И банки, банки, банки, повсюду банки, не считая мириад каких-то фирм, компаний, контор, фондов, консультаций, фитнес-клубов, любого рода греховодных заведений, включая и совсем мерзкие, — всего, что угодно, кроме промышленности, науки и культуры, как и достоинства с честью, приговорённых к логичному и неременному исчезновению.

На место таксистов явились как из-под земли «бомбилы», а наряду с привычно ленивыми автобусами, троллейбусами и трамваями стали шнырять по городу бойкими тараканами тысячи спасительных для очумелых горожан малогабаритных маршруток.

Метро, резко подорожав и столь же резко от возросшей на порядок бешеной клиентуры обезумев, слава богу, продолжало работать!


Москвичи и гости столицы огромными тёмными массами перемещались по яркому и тесному мегаполису, ничего не видя и не слыша, никого из двуногих, не говоря уже о четвероногих, не замечая, помня, наверное, не без труда, лишь о самих себе и своих якобы неотложных делах, которых стало вдруг невообразимо много.

Сосредоточенные, безразличные, напряжённые. Пихающие и давящие. С потухшими глазами и сомкнутыми губами. Несущиеся!

Всюду первые: карабкаясь, вваливаясь и вываливаясь, проталкиваясь и пропихиваясь.

Насельники, а лучше бы сказать — насестники Москвы, пообнаглев и обугрюмившись, как-то вдруг перевоплотились в её, и себя тоже, насильников — бессмысленных и беспощадных!

Мусорят, гадят, смердят!



На смену былой взаимности, признанию и приязни, пусть и относительной, пришли изоляция, отчуждение и неприятие, — почти что абсолютные!

Треть автомобилистов — отморозки!

Смерть на дороге — самая модная смерть! И всего более на встречной полосе, при обгоне, на зебре, у светофоров, при красном свете.

Такая вот получалась столичная картинка!

И, думаете, не радостная?

Ничего подобного!

Повсюду яркая, весёлая и вездесущая реклама, торгово-развлекательные заведения, всякие игры и шоу, театры и кинотеатры, праздники, ярмарки... и много-много цвета и света, красок, всякой бутафории, игривого мелькания, а уж вечерами, особенно длинными зимними, сплошной люциферов свет — от автомобильных фар, от разбросанных повсюду реклам, от подсвеченных зданий, церквей, соборов, самого внезапно помолодевшего и расцветшего Кремля.

Никогда Москва не выглядела такой нарядной, такой оживлённой, такой привлекательной.

Особенно повезло молодежи — свободной, раскованной, жадной до потребления и развлечений, знающей что к чему и чего она хочет, умной, тонкой, одарённой, холеричной, горделивой, нервной, отрешённой, невоспитанной, полуграмотной, отвязанной, хамской, не признающей никаких условностей и ни к кому, даже к себе, не испытывающей никакого уважения.

Удача настигла и женскую половину разошедшегося в демократическом, потребительском и карнавальном раже мегаполиса. Женщины, вырвавшись наконец-то из-под дурного мужского и семейного гнёта, бросились в... агрессивную самодостаточность, не преминув огламуриться, обнаглеть и... раздеться.

Путана — вот каким стал в одночасье самый привлекательный образ для самой достойной дивы обновлявшейся лихорадочно Москвы!



Настоящий женский потоп нахлынул на город, ничего не оставляя без дамского и девического присутствия, участия, внимания, а главное, без «ихней» раскованности, предосудительности и... гордыни.

Женщины поглотили всё: тротуары, транспорт, лифты, магазины, рынки, учреждения, конторы, клиники, аптеки, школы, вузы, сузы, театры, музеи, концертные залы, саму городскую атмосферу, наполнившуюся визгливыми женскими голосами, топотом упругих женских ног, стрекотом острых каблуков, запахами чорт знает каких духов и дезодорантов, крикливыми причёсками, рыжими лохмами, голыми животами, обтянутыми ягодицами, а также совершенно невообразимыми жестами, восклицаниями, мнениями, суждениями.


Самые же сильные дамские особи, дождавшись окончательного крушения тупого патриархата с его мрачным домостроем, поглотили семьи, мужей, детей, даже и своих, ни в чём особенно не повинных, но заметно очумевших от новых веяний пап и мам, не говоря уже о нахмурившихся дедушках и заболтавшихся бабушках.

Главенствуют, распоряжаются, ведут!

Тешут, вызываяще, свой придуманный имидж, своё якобы неувядающее тело, свою необузданную-де сексуальность.

В Москве развелась тьма маргарит — стремительных, целеустремленных, самоуверенных, по большей части вамп-маргарит, занятых собой, устройством своей жизни, кого-либо и чего-либо неустанным поглощением, мигрирующих по Москве за рулём дорогих и нарочито громоздких авто, свободно летающих по миру, посещающих небрежно Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, интересующихся миллионерами, крутыми самцами и одомашненными альфонсами, но никак уже не подвальными мастерами гениального литературного слова.

Не маргариты-подвижницы теперь, а маргариты-разбойницы, кстати, сами взявшиеся за перо и выбрасывающие в мир тьмы детективов, ужастиков, любовных романчиков, гламурных журнальчиков.




Заполонившие газеты, радио, телевидение, что-то и зачем-то вещающие, непрерывно говорящие, галдящие, нарочито откровенные, ничего не стыдящиеся.

Удивительнейшая метаморфоза произошла и с мужским племенем: самая успешная часть превратилась, образно говоря... э-э... нет, конечно, не в каких-то там бандитов, а, как бы это сказать, в хищников, что ли, если не прямо в сказочных зверей; менее успешная часть как-то приспособилась, потеряв немало в своих же собственных глазах, к новому зазеркальному бытию: бизнес, администрация, милиция, охрана; какая-то часть попросту обабилась, заметно поубавив свои «мужеские» достоинства, разумеется, личностные; остальные же мужики по преимуществу проиграли, либо совершенно сникнув и опустившись, либо подавшись в криминал и на тюремные нары, либо отправившись напрямик на тот свет — разными, конечно, путями, либо же, как-то выдержав и даже сохранив кое-какое личное достоинство, выстояли, получая в связи с этим, конечно же, не более чем моральные дивиденды.

И всё бы тут было у «мужичья» ничего, если б... если б... не вырвавшиеся вперёд *бабы*, в целом обставившие начисто сильный-де пол в историческом соревновании, — и пол этот стал вдруг если и не совсем слабым, то уж явно не первым.

От былого мужского первенства (о величии тут стоит помолчать) осталось лишь воспоминание, приходившее на ум лишь некоторым ещё соображавшим что-то половым гордецам — совсем уже в толерантном отношении неприличное воспоминание; куда-то испарилось природное и сакральное лидерство мужчин, слишком опрометчиво и долго произносивших глупейший и наивнейший тост «За женщин!», опрокидывавших якобы погусарски бокалы и рюмки стоя... перед кем, ребята, перед кем... э-эх... святая простота!

Воцарился и особо важный феномен — безотцовщины, это даже при известных, но куда-то девшихся или попросту как-то отчуждённых (отчудившихся) отцах, даже и при наличных отцах, не имеющих полагающегося в семьях значения, переставших



быть главами семей, их опорами и безоговорочными родовыми символами (отчество, которое всё ещё имеют в паспортах российские граждане — не благородный ли это уже анахронизм?).

Физически мужик вроде бы остался, а вот социально, знаете ли, куда-то вдруг исчез, уступив место... женщине, да что женщине — бабе!; пропадать стал куда-то мужик, прямо-таки испаряться; не думайте, что по Москве передвигаются и снуют туда-сюда мужики, нет, это уже не мужики, точнее, не совсем уже мужики, это более всего лишь их искажённые образы, а по большей части... бабьи принадлежности, если, конечно, они — ещё мужчины по физике и в глазах женщин чего-то там заслуживают.

Оба пола быстренько превратились в *гендеры*, перестав быть *пол-овинами* единого целого, а став уже отдельными целыми, не составляя между собой уже никакого органического единства. Гендер — это когда физический пол выполняет не свойственную себе, а попросту чужую для него социальную функцию — функцию другого пола. Теперь лишь соревнующиеся друг с другом гендеры, когда женщины берут верх над мужчинами, ибо женщины знают, за что и с кем они борются, а мужчины — нет, потому и проигрывают.

Да-а, восстание неугомонной фемины, из которого вылупится рано или поздно восстание остаточной маскулины, — и какое это будет, скажу я вам, восстание! — куда как поинтереснее и покруче, чем в любом фантастическом романе!

Не отношения теперь, а связи, не брак, а сожительство, не семья (от семени!), а «группешник», не супруги, а френды, не общность, а раздельность, не верность, а договор, не благородство, а право, не ответственность, а выгода, не обязанность, а удобство.

Не здесь ли — между бывшими полами, а теперь вот среди нынешних гендеров — нашла себе пристанище главная, неоспоримая и неодолимая разрушительная сила передовой — гуманистической, техногенной и либеральной — современности, свалившейся в одночасье при тупом содействии услужливых пост-модернистских трюкачей на охваченную обновленческим зудом



Москву — ни тебе собственно мужей и отцов, ни тебе собственно жён и матерей, ни тебе и собственно детей, а если что и есть, так это выдыхающийся и исчезающий — заживо и намертво — остаточный «человеческий капитал», в неугомонной антижитейской спешке быстро превращающийся в очищенный непрерывным просвещением, услужливой электроникой и чудодейственной химией *симулякр*, а затем и в абсолютно чистый, как антарктический лёд, *нуль*.


И тут же новенький массовый феномен — поло-ген-дерная неприкаянность, как и ненужность — что женских особ, что мужских особей, ни на что природно-житейское, кроме разве расточительного и ублюдочного секса, не сориентированных — образованных, многоязычных, всё и вся знающих, умственных, эффективных, порою и блестящих, но... воистину холостых, так сказать, холостого хода, выхолощенных, тех, кто сам по себе и только для себя — то ли счастливых при этом, то ли, наоборот, несчастных, — кто знает?

Отсюда и неуклонное ослабление и убытие прогрессивной расы, как и убывание самого передового и успешного на планете населения.

И не надо уже никаких атомных бомб, даже бактерионосного оружия не надо — свободолюбивая фемина сама хорошо делает своё дело, а подопытная маскулина ей в этом усердно, не шевеля даже пальцем, споспешествует!

Москва процветает, Москва прихорашивается, Москва шумит, Москва лоснится, но и... вполне уверенно... исчезает, превращаясь с точки зрения нормального человеческого организма и нормального человеческого сознания в какой-то ад крошечный, из которого горожане бегут в разные стороны — за город, на дачи, в отгороженные высоченными бронебойными заборами особняки, чтобы вновь и вновь возвращаться в нестерпимый и ненавистный мегаполис — к этому великому кровососному негодю, но и... великому, несмотря ни на что, кормильцу!

И как тут не вспомнить вездесущий роман — московский роман о Москве, как и самого автора романа — прозорливца,



диссидента и провокатора, предсказавшего Москве неминуемую гибель — через погружение в какую-то мглистую бездну — уж не в эту ли, ею самую рождённую, невозможность бытия, столь же последовательную, как и совершённая недавно в Москве под эгидой апокалипсического числа 666 несусветная революция?

«Стоп! — воскликнет иной читатель. — Разве Москва куда-то делась, разве не стоит, разве не живёт, разве не умножается? Что вы всё врётё тут про Москву — прекрасный современный город, не без проблем, конечно, но ведь процветающий!»

Да, стоит, живёт, процветает, но... но... как, куда, с какими итогами? Не провалилась ли уже Москва-матушка в небытие, давно уже став не-Москвой, если не прямо анти-Москвой, сменив за какое-нибудь столетие сорок сороков златоверхих церквей на сотню подземных станций метрополитена и тысячу и один парящий в высоте пентхауз?

В самом деле, Москва ли это?

Метро


Нет, Воланд в московском метро не был, о нём никак не упоминал и никакого шухеру там со своей гоп-компанией не наводил.

Романная Москва обошлась без метро!

Странно, но факт!

Не захотел мудрый писатель помещать в свой чудесный роман новенькую подземку, хотя она явно просилась на бессмертные страницы пророческого романа: что ещё чертовее, безднее и inferнальнее могло быть тогда, и может быть теперь в Москве, чем её красавец метрополитен?

Целая россыпь подземных станций и целая сеть соединяющих их узких туннелей и железных линий. Этаким гигантский подгородный жук-скарабей, охвативший снизу и удерживающий мёртвой хваткой звездовидное пространство города, ежедневно




пропуская через своё ненасытное чрево миллионы безропотных жизней.

Не признал старорежимный писатель «метра», не признал, отведя главную эскуторскую роль грохочущему по лицу города трамваю. А зря! Какие бы сцены могли быть разыграны в метро, на его станциях-дворцах, в его храмообразных вестибюлях, перед чудесными «метровскими» павильонами.

О-о, тут уж может не хватить никакого воображения!

Представьте себе, читатель, этакий ночной сатанинского профиля бал на той же станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская») или на «Комсомольской» (рядом с тремя вокзалами) — с доставкой в изукрашенных поездах возбуждённых гостей, с появлением на торцах станционных залов весёлых артистов, с великолепными оркестрами, размещёнными прямо на антресолях либо на пристанционных лестничных площадках, с серебряными, мраморными или ледяными барами-стойками, за которыми галантные официанты и практически голенькие официантки готовят и раздают горячительные напитки и лёгкие закуски, со множеством неправильной формы столиков с грудями невероятных заморских яств, с золотым, расцветенным сверкающими бриллиантами, высоким подиумом, на котором величественно и меланхолично восседают главные устроители подпольного торжества и их особо важные гости... Воланд, Мастер с Маргаритой, Понтий Пилат с верным Бангой, Иуда, пара-тройка глав государств и правительств, с десяток-другой депутатов, а также необхватная куча известных и очень в себе уверенных артистов, писателей, поэтов, композиторов, шоу-звёзд, журналистов, спортсменов, как и, разумеется, Коровьев, Азazelло, Гела, вертлявый чёрный котяра и невозмутимый чёрный ворон, да мало ли кто ещё из удостоенных особого вип-внимания.

Если не хочется затевать бал-приём, то можно организовать бал-маскарад, или гала-концерт, или вручение престижных премий и наград — за вклад в инфернальность, как и состряпать очень даже неплохое варьете, — с фокусами, чудесами, разоблачениями, как и сгондобить любое шоу — пышное, громкое, за-



тейливое, особенно, для жаждущей развлечений, забвения и сексуального восторга раскованной столичной молодежи.

А какой можно сварганить в подземке экстраординарный слёт, он же и съезд, он же и свал, разных там демонов, ведьм и ведьмаков, всякой нечистой силы, включая и прокурорски раскрытых и хитроумно обозначенных тёмно-загадочных существ из данииландреевской «Розы Мира»!

И никаких тебе Лысых гор и рискованных полётов над подлунными лесами, болотами, равнинами и взгорьями, да ещё и на неудобной метле, с каким-то неприятным плебейским свистом, — а тут... спустился себе чинно и благородно на эскалаторе вниз прямо посреди большого города и... в подземном дворце... не Ирода Великого, правда, а всего лишь диктатора кремлёвского Иосифа, который, пожалуй, и повеличее будет не то что Ирода Великого, но и любого прозванного «Великим» исторического персонажа.

Чисто, светло, комфортно, опять же легально, не таясь, с почётом!

Мы уж не говорим о тайных и не слишком тайных сборищах разного рода масонов, оккультистов и шпионов, или тех же куртизанок, ловеласов, альфонсов, о респектабельных тусовках гомосексов, геев, лесбиянок, разных там лунатиков, карликов, вампиров... о-о!.. тут такие огромные резервы для писательской фантазии, аж дух захватывает!

Остался творческий «органчик» автора романа ещё в имперской России, при первых трамваях и автомобилях, и не обратил великий романист своего провидческого взора на московскую подземку, а ведь могли же Берлиоз с Бездомным выйти степенно из той же «метровской» станции «Дворец Советов» да пройтись, оживлённо беседуя, по Пречистенскому бульвару, и повстречать иностранного консультанта с необычной тростью и кривым глазом прямо перед достославным каменным Гоголем, ежедневно и еженощно убеждавшимся, сидя в кресле, что рукописи таки горят, да и много чего могло бы быть в романе... и наглый котьяра мог вполне нырнуть в павильон всё той же стан-



ции «Дворец Советов», удирая от ошалевшего плохого поэта Бездомного, бывшего ни с того, ни с сего вполне сносным гражданином Поньревым... но... но... не одарил своей беллетристической благосклонностью старорежимный романист новенькую московскую преисподнюю, и не попало блестящее и искрящееся метро на манящие страницы его бесподобного романа.

А ведь в метро не только перемещаются туда-сюда по обездушенному давно городу, — в метро встречаются, знакомятся, любезничают, милуются, целуются, влюбляются, смеются, плачут, умирают... одним словом — живут, мало того, читают, образуются, учат иностранные языки, математику, готовятся к экзаменам и... смотрят, смотрят... друг на друга — безразлично и безучастно, по преимуществу никого и не видя, во всяком случае, не замечая, думая, по возможности, о своём, о важном, о насущном, а то даже и от себя и от своих проблем на всякий случай полностью отрешившись.

Жизнь наверху — одно, внизу — другое, но там и там, увы, жизнь... и, увы, одинаково суетливая, бестолковая, никчёмная.

Представляете ли вы, дорогой читатель, появление в метро какого-нибудь нового Иешуа, возглашающего, поднявши палец к небу (?), что все люди, то есть все эти подземные существа в городской преисподней — братья, что все они «добрые люди», что не сегодня-завтра Царство Божие в метрополитен приидет? Не представляете? А зря! Там, в метро, самая для бродячего философа работа, ибо нигде так люди не чувствуют себя братьями... связанными друг с другом братьями, брошенными в подземную узницу.

Не решился почему-то романист вводить в свой злободневный улыбчивый роман эту откровенную московскую преисподнюю, которая давно уже превзошла своей обыденностью, регулярностью, неизменностью, неизбежностью, банальностью все славные круги Дантова ада, — не есть ли это всего-навсего, по аналогии с мясорубкой, как и с любой другой эффективной технологической линией, некая *людорубка*, прихотливо завладевшая навсегда уже ею покорённым и обезволенным городом?



Она

Каждый мыслитель, философ, писатель... нет, конечно, не каждый, но довольно-таки многих... нуждается в своей понимающей и поддерживающей его женщине. Да, да, именно так, то ли прекрасной даме бальзаковского возраста, то ли будоражащей его воображение раскованной ведьме, то ли самоотверженной и полной нерастрченных сил сподвижнице, то ли во влекущей к себе неудержимо нимфетке, то ли... тут уж как карта ляжет, как случай распорядится, как судьба выведет, но факт остаётся фактом — творчество требует, хотя бы в воображении, своей героини, своей опоры, своей союзницы, а попросту говоря, своей музыки, воодушевляющей, поощряющей, несущей; и неважно в каком реальном облике, жены ли, любовницы, приятельницы, подружки, сослуживицы, секретарши, знакомой, а может, и вовсе незнакомки, но, по возможности, не виртуальной, — всё-таки реальной, живой, теплокровной, чувствительной, мыслящей, говорящей, слушающей, молчащей... о-о... и верной, верной, верной!

Кому-то из творцов везёт, а кому-то нет; кто-то находит, кто-то нет; к кому-то приходит *Она*, а к кому-то, увы, нет; кто-то счастлив, а кто-то, увы, убит!


Она! Да, да, верно, *Она*, и никто другой, ни другая, ни лучшая, только *Она* — его муза, его идеал, его радость и, что очень даже возможно... его горе!

Маргарита!

Какой образ!

Совсем не случайный!

А начиналось всё в Киеве, ещё в «Белой гвардии». Помните, читатель, Юлию Александровну Рейс, спасительницу полковника Алексея Турбина, а фактически — самого автора романа, конечно, в его разогретом воспоминаниями воображении, в его порочных мыслях, мятущемся духе, хотя какая-то необычная дама, видно, пребывала когда-то в Киеве — молодая, красивая, мудрая, затерявшись где-то в сказочном нагромождении киев-



ских домиков и дворигов, заборов и калиточек, томящаяся, ждавшая, манившая.

Ах, эта несбыточность, эта мечта, эта кровоточащая рана!

Маргарита! Страстная, отважная, огненная! Рукописи не горят, но зато горит сама Маргарита, — и горят враги *мастера*, весь этот затхлый московский мир горит, вся его лживая литература, не говоря уже о циничной, бездарной и трескучей прессе.

Маргарита — пламя, плавка, пепел!

Это риск, край, гибель!

Маргарита — смерть!

Нет, не каждому творцу нужна такая вот Маргарита. Что говорить? Преданность, конечно, как и защита, бой, но... но... не такая же откровенная дьяволиада, хоть и мало что тут, в подлунном мире, не дьяволиада, но всё-таки что-то иное, не маргаритовское... Правда, кому как, вот автору романа именно Маргарита пригрезилась. Тянуло почему-то киевско-московского стратега к буйной инферности, ох, как тянуло!


Та же, которая теперь *Она* — совсем другая дама, и она, в отличие от романной героини, совсем не ведьма... Впрочем, почему же не ведьма, но скрытая, сдержанная, тихая, на нюансах, — не без печати лукавой, делавшей её женщиной особенной, абсолютно закрытой, какой-то нездешней, пожалуй что, и лунной.

Никакой страсти, никакого яркого горения, никаких экстравагантных выходов!

Всё где-то там, внутри, вне видимости, втуне. Зато стабильно, прочно, надёжно. Не геройски вовсе, но самоотверженно!

Находка, удача, подарок? Звёзды так сошлись, обстоятельства сложились? Провидение тут поработало? Всё возможно — в житейской эзотерике, разве её поймешь?

Он — творец, мыслитель, мастер, и *Она* — простота, ягодка, подмастерье. И как же это хорошо! Телесно она не с ним, зато она с ним духовно; она — часть его духа, работающего духа, творящего; она — фермент, как будто бы даже нейтральный. Молчит, слушает, ждёт! И делает, — это она превращает его мысли в



печатное слово, бегая своими прохладными пальчиками по обездушенной механической клавиатуре. Его помощница, его секретарь, его делопроизводитель.

Но не только, читатель, не только: она его... любовь, хоть и не та, о которой обычно судачат; его тихая заводь, в которой ему покойно; ему потребная муза, которая сама ничего не требует, но ничего и не упускает.

Они встречаются посреди недоверчивого и неприветливого мегаполиса, подыскивая какое-нибудь приемлемое, ещё более или менее человеческое местечко, гуляют, заходят в какое-нибудь скромное кафе, обедают, пьют вино, а иной раз и что-нибудь покрепче. Она любит слушать, не прерывая, и не любит сама болтать. Слушает заинтересованно, глубоко, ничего не забывая. Это его устраивает: споров дурацких нет, зато есть понимание. И критерий есть: откуда только он в ней взялся?

Они любят друг друга, но по-особенному — без взаимных претензий, а потому просто и нежно. Случай редкий! Он посвящает ей своё творчество, свои писания, она с благодарностью принимает, умножая своё сакральное богатство, но от печатных посвящений отказывается, с удовольствием собирая его признательные автографы.

Она ему очень нужна, она это хорошо знает, как и он хорошо знает, что без неё ему станет худо, до смерти худо, — он испытывает к ней неограниченное доверие, она, естественно, тоже доверяет ему, но... он-то доверяет ей свои творения, которые она сердечно принимает, никак не подводя его — ни словом, ни жестом, ни движением ресниц.

Они вместе — мужчина и женщина, он — уже преклонного возраста, зрелый, умудрённый человек, творческая личность, кудесник мысли и слова, хозяин пера, много чего повидавший и переживший, мудрец, и она, молодая, привлекательная особа, мало что видевшая, но всё прекрасно чувствующая, неременная участница его большого дела, спокойная, уравновешенная, отзывчивая, хоть вовсе и не такая уж покорная, зато... верная, ещё ребёнком в школу за час до открытия приходившая, раньше сто-



рожа, старательно учившаяся, звезд с неба не хватавшая, выучившаяся, занявшая в обществе достойное место, ни родных, ни друзей не забывающая, хаживающая по московским театрам, музеям и концертным залам, ни к чему, кроме женской участи своей, особенно не стремящаяся.


Странный, быть может, союз, но он есть, их обоих согревающий, поддерживающий и обогащающий. Не страстный, но крепкий, не бурный, но напряжённый, не броский, но осмысленный.

Он предлагал ей, если это можно назвать предложением, прервать их не слишком греховную, но всё-таки... по любви... связь, освободить себя от уз его личности и творчества, посвятить себя какой-то иной, с ним уже не связанной жизни. Предлагал, не желая того, страдая уже от самой возможности такого разрыва. Понимал, что не может быть ей бременем, при её-то неотступности.

Она не пошла на разрыв, более того, делала так, чтобы связь их крепла, чуя сердцем своим женским и всё уже знающим, что это судьба и Богом данная ноша — благодатная и чудесная! А потому без труда поклялась... нет... не поклялась, а, скажем так, взяла на себя обет, что ли, верности, заметив спокойно: «Я умею быть верной».

А он, что он! — он как раз и жаждал этой самой верности — от женщины, от помощницы, от музы!, ибо без такой верности нельзя, никак нельзя, без доверия, без открытости, без слиянности! И она это понимала, хоть и не смогла подарить ему всю себя — удержалась, боясь навредить их светлой и чистой любви, совершенно бескорыстной, уничтожить взаимное влечение досадным несоответствием каким-нибудь, изнурительным диссонансом, хоть и была на грани, чуть не уступив его деликатному к ней стремлению, нашла в себе силы устоять и сохранить спасительную дистанцию между собою и учителем, наставником, творцом свободным и ею... ею... вдохновляемым.

«Ты моя последняя любовь и моя последняя вера. После тебя уже ничего не будет, ни любви не будет, ни веры. Ты мне



нужна, страшно нужна! Без тебя я просто умру, понимаешь!», — говорил он ей, тихой, мудрой и верной, целуя ей руки, мягкие, тёплые и нежные.

Да, да, она всё это понимала, она знала, что она ему действительно нужна, но не ради похоти и телесного ею обладания, а ради жизни, его творческой жизни, ибо осознала ненароком, как мучительно одинок бывает творец и как он пленительно закрыт для мира, какой он сам для себя инквизитор и истязатель, даже и палач, и что выход у него в мир человеческий только один, несмотря на его связь с Космосом и высшими силами — через женщину, которую он любит, которой доверяет и которой служит, как рыцарь, как Дон Кихот Ламанчский... как Человек!

«Знай, — как-то сказал он ей при очередном прощании в ненавистном и любезном метро, — никто и никогда не изольёт на тебя столько осознанной нежности, как я».


«Я это знаю, — тихо проговорила она, обнимая своего седовласого друга-покровителя за склонившиеся перед нею плечи, — не беспокойтесь, я умею хранить верность!»

Почему, скажите, обязательно Маргарита, нет же, бывает и по-другому, может, не так романно и завлекательно, но зато... истинно!

Эфир

Плоха или хороша подземка, но без неё нельзя, никак нельзя — без неё Москва задохнётся, как задохнулась она уже на своих улицах и проспектах от авто, от людей, от хамства.

И в подземке людей и хамства хватает, но она всё-таки едет, перегоняя людей туда-сюда, или и не людей уже вовсе, а просто их какие-то тени, отпечатки, футлярчики, а может, разъезжают по подземке в образе людском и самые обыкновенные... черти, разве лишь без явных рожиков, хвостиков и копытец. Впрочем, взглядишь, читатель, как-нибудь повнимательнее, и



явятся вдруг перед твоими глазами удивительные символы и образы, конечно же, виртуально-вообразительные!

Нет, не все жители и гости столицы, далеко не все, как это разумелось, по-видимому, и в романе, этакие милые и противные черти, более того, никаких собственно чертей и нету, а есть всего лишь образы чертей, да и не столько в подземке, что понятно, или за рулем авто, что тоже более или менее понятно, но в принципе-то повсюду — на тротуарах, в офисах, в поликлиниках, в магазинах, в конторах... ибо не очертенеть сегодня в мегаполисе — лишь поддаться на какую-нибудь духовно-сакральную уловку, отстав начисто от реальной жизни.

Осатанели как-то вдруг людишки, что говорить, омерзели, опоганились!

Тут, знаете ли, диагноз, только терминологически он не научный — какое-такое очерчение?! — но зато с эпохой Великой инквизиции удачно перекликающийся. Инквизиция, кстати, сегодня уже не поможет, как мало помогла она даже в своё золотое время — чертей не поубавилось, а сегодня их вообще развелось видимо-невидимо, а с этим «чортовечеством» просто так не сладить, да и кому слаживать-то, если черти по всей житейской пирамиде и расселись, а на самом верху... нет, нет... уже не черти, там кое-что посерьёзнее, там сам князь мира сего со своей отборной камарильей, вроде конармии, сидит, наблюдает, восхищается.

Да-с, переворотец-то уже произошёл, изнанка уже верхом стала, — бац! — и нет человека, нет и никакой общественности, а есть какой-нибудь *человек*, он же и *чиповейчик*, есть и большая, неконтактным по преимуществу образом управляемая, *человейно-чиповейная биомасса*, она же как бы и стадо людское, она же и электорат.

Есть и управитель всей этой массой, великий ею манипулятор, чертями маниакально пестуемый — *эфир*, точнее, не эфир сам по себе, а сознательно и целеположенно обустроенный и организованный эфир, некое показывающее, устраивающее и направляющее поле, само по себе невидимое — в отличие от той



же подземки, но зато влетающее прямо в мозг, в ум, в души людские — картинкой ли, звуком ли, словом ли, светом ли, тенью ли, цветом ли, вздохом ли, ахом ли, в общем — информацией: просвещающей, сообщающей, ориентирующей, обучающей, образующей, волнующей, возбуждающей, воодушевляющей, komponующей, разбивающей, разделяющей, соединяющей, одуряющей, угробляющей, совершенно при этом разной, многовекторной, всеохватной.

Каждый человек, он же человек, он же чиповейчик, в этом эфирном поле, точнее, в его паутине, барахтается, живёт, полагая себя при этом суперсвободным, а потому и свободно вытворяющим то, чего он вроде бы хочет, а на самом-то деле, чего хочет эта суперполезнейшая паутина — незаметная, вальжжная, гламурная, а при надобности и жёсткая, беспощадная, кровавая.

Аппаратики всякие теперь повсюду, ящички, коробочки, шкатулочки, мыльнички, и все они с экранчиками, на которых всё и видно: картиночки, буковки, циферки, и все это со звуком, с голосами, с речью, — почти как в реальности, а иной раз и лучше, чем в реальности, ибо рядом, чётко, громко.

Человек теперь полностью в эфире, он им непрерывно пользуется, в нём живёт, ну и... намертво им схвачен. Тут полное единение: компьютерное, телевизионное, радиовещательное, мобилотелефонное. Человек ныне не просто в космосе, на земле, в атмосфере, в воздухе, среди природы, домов и сооружений, в деревьях и городах, среди машин и в машинах, на дорогах, как и с теми же компьютерами, телевизорами, радиоприёмниками, мобилами и игровыми автоматами, разумеется, и среди себе подобных, как и рядом с братьями меньшими, — человек ныне — и это самое главное! — в созданном им самим, им же и напичканном чорт знает чем, благоустроенном, заботливо лелеемом и тщательном замусоренном эфире — *технонооэфиросфере* (да простит читатель за такое гнусное словечко!), которая повсюду и без которой уже никакой жизни человеческой просто нет, даже в деревне, которой, правда, тоже почти уже нет.



Когда писался в грозные и вихревые 1930-е досточтимый московский роман, были уже радио, телеграф, телефон, кино, был даже граммофон, издававший шипящие, как у недовольной диссидентствующей змеи, звуки, но всё это воспринималось лишь как удобные вспомогательные средства и как второстепенные вещи, человеку верно служащие и на него сильно не влияющие. Так, видно, и было, за исключением, может быть, кино, но... человек всё-таки оставался человеком, а средства — средствами, а потому бесовские штучки, проделываемые Воландом с компанией, казались просто сказочными, фантастическими, ну, может, чисто цирковыми номерами, ибо не было тогда ещё повисшего в космосе и овладевшего земным пространством и временем техноноозфира, культивирующего уже не просто связь и развлекаловку, а глобальный виртуальный мир, в котором каждый вооружённый каким-нибудь аппаратиком человек — полноправный член, а на самом деле... так себе — элементишко, если не отребьшишко какое-нибудь жалкое.

Да, ныне человек живёт в эфире, посредством эфира, а во многом и ради эфира. Эфир — не средство бытия, даже не среда бытия, а само бытие уже и есть. Нечто, сравнимое с человеческим сознанием, но произведённым уже самим человеком. Заместив собою природу, Господа Бога и даже господина хорошего диавола, эфир, — это, повторяем, особого рода искусственное, самим человеком сотворённое мировое искусственное сознание, — обэфирил человека, его собственное сознание, превратив человека в некое особого рода эфирное существо — не ангельское и даже не демоническое, а скорее, в какого-то... эфирона, либо эфимера, существующего теперь наряду с ангелами, демонами и прочими зафиксированными, но не выявленными существами. А это, читатель, уже революция! Мы всё ждём будущего киборга, а он уже здесь, с нами, в нас!

Великая эфирно-киборгиальная революция!

Эфиризм! Не выдумка это вовсе, а самая что ни на есть реальность, если не забывать, что реальность эта имеет ирреальную, иллюзионную, виртуальную природу, однако перебиваю-




шую любую иную, то есть природную реальность, её изрядно замещающая. Солярис — тоже, выходит, не выдумка! Человек и не заметил, как превратил Землю в некий умствующий и действующий Солярис, в гигантский интеллект, человеческий по происхождению, но нечеловеческий по реализации.

Человек творит эфир, а эфир, помогая человеку, его бытию, творит человека, его бытие. Но закольцовывает это непрерывное творчество, соединяя его начала и концы, не человек во все, а... эта самая техноносфера, которая, находясь вроде бы в человеке (человеках), сама уже никаким человеком не является. Объединившись с Космосом, она тоже непрерывно творит — в эфире и через эфир — а вот что? — это уже большой и самый на сегодня большой вопрос!

Теперь история не человека и человечества, а эфирека какого-нибудь, или же эфириста, и эфировечества (эфиросферы), да и история ли это, а не стремительный ли скачок куда-то — то ли вверх, то ли вниз, то ли куда-то в сторону — и на историю сегодня уже как-то не остаётся ни времени, ни пространства. Не отсюда ли эта набившая оскомину американская идея «конца истории»? Ведь история как будто бы требует человека, а ежели такового уже нет?..

Посмотри, читатель дорогой, телевизор, послушай радио, погуляй по Интернету (а может, более всего по Интербреду!), поболтай от души по мобильнику, то бишь побудь в эфире, с эфиром, при эфире, и что? — и ощутишь не одну только зависимость от эфира и всех его аксессуаров, но и кое-что ещё, а именно... свою арестантскую принадлежность эфиру, своё растворение в нём, свою уже полную эфирогенность.

Прошло всего-то полвека более или менее интенсивного эфиризма и каких-нибудь полтора десятка лет бурного эфирного умопомрачения (компьютеры, Интернет, мобильники) — и вдруг перед нами совсем другой чело... нет, нет... уже не человек, а что-то другое под личиной человека, но, обрати внимание, читатель, даже в чём-то уже и физически другое, а не только... идейно, не только духовно, ибо не дух там более всего, а эфир... ну да




ладно!.. не мы же вдували и вдуваем душу в человека, которую он отдал сегодня во власть, если не в замещение, им же созданному и созидаемому эфиру.

Соединим теперь кое-что вместе: роман, того же Воланда, его чудеса и фокусы, опять же Иешуа, Пилата, того же Иуду, а также загробное счастье Мастера с Маргаритой, как и Москву тогдашнюю и Москву сегодняшнюю, метро, ныне главенствующий эфир... соединим и подумаем, не испытывая роковой зависимости от романа, эфира, как и самой тогдашней и сегодняшней Москвы... что же имел в виду автор романа, начиняя роман, атмосферу и славный град Москву столь необыкновенными, совершенно неестественными и прямо-таки курьёзными существами, событиями и сюжетами... и почему это мы не можем отделаться от мысли, что ничего уж такого нереального, — при всех вольных полетах голой Маргариты в ночном подлунном мраке, — в романе-то и нет?

Да-а, 2000 годы — не 1960-е!

Теперь-то уже ясно, что не только отдельные московские события, исторические сюжеты и сказочные персоналии каким-то чудом предвидел сообразительный московский беллетрист, но и сам *новый мир*, о котором вряд ли беллетрист и грезил, да не в техническом отношении (он даже о метро не удосужился в романе упомянуть!), а в совсем ином — как раз в эфирном, но не в техническом опять же отношении, а в чисто человеческом, точнее, в постчеловеческом (и античеловеческом тоже), когда эфир, делаемый вроде бы человеком, наполняется почему-то чем-то нечеловеческим и уж не ангельским вовсе, даже и не демоническим (демонизм-то всё-таки это качество, масштаб, слава!), а всего лишь с точки зрения тёмных иерархий каким-то прямо-таки плебейским материалом, то бишь мелкотравчатым, мелкочертовским, мелкобесовским... не более того!

Параллельно созиданию технооэфира шло быстрое и неуклонное освобождение человека от уз весьма уже ему надоевших — культуры, религии, традиции, иерархии, патриархата, цензуры, но и власти тоже, то есть шла масштабная и всесторон-



няя, вполне и масонская, вполне и фрейдистская, вполне и бандитская, *Либерализация*, сравнимая разве что с *Возрожденческой Революцией*, результатом чего стало не просто освобождение человека... от человека, но и освобождение в человеке всего того, что так старательно преследовалось и удерживалось как раз всеми этими — культурой, религией, церковью, традицией, иерархией, патриархатом, цензурой, властью, то есть всего... как раз чертовско-бесовского, что, как оказалось, прочно сидело в человеке и лишь ждало часа массового революционного выступления.


Вот тут-то и подоспел наш эфирчик, который не только помог высвободить в человеке всё это чертовско-бесовское, но и сам немедленно обернулся чортом-бесом, только очень обширным — паутиной чортосферой-бесосферой, долгожданным приютом всех чертей и бесов мира, в особенности, из либерализованной внезапно и мгновенно ничего не подозревавшей Москвы заодно с застигнутой врасплох дурёхой Россией.

Деньги, личный успех и комфорт — вот три кита, на которых плывёт в будущее нынешняя современность, а ведущую материнскую, воспитательную и манипуляторскую роль в ней исполняет таинственный, благодетельный, свободолюбивый и вседозволительный эфир, настойчиво и непрерывно отпускающий всем своим участникам все мыслимые и немыслимые грехи, кроме... кроме... пожалуй, одного — попытки остановиться, оглядеться, задуматься и опомниться, почему и не любит современность ни философов, ни мыслителей, ни каких-либо ещё тупиц-мудрецов.

Волхвы ныне не в моде!

Колдуны и экстрасенсы — не волхвы!

Не сразу читатель улыбочивого московского романа понял, что роман содержит в себе много такого, чего сам его автор и не собирался, наверное, в него запихивать, что роман этот — вовсе не только книга, которую держит в руках предвкушающий великое удовольствие читатель, что роман этот куда как обширнее своего текста, что он и есть... тот самый... созидательный эфир, который обрёл возможность показать себя во всей красе только




сейчас, когда полностью утвердился в человечестве, в России, в Москве, тот самый вездесущий эфир, он же и *эфиротеррор*, суть и законы которого чутко уловил ещё в тревожные, кровавые и блистательные 1930 годы московский сероглазый романист, пристально вглядывавшийся из уютных московских квартир в ненавистную ему новую жизнь и прозорливо различавший в ней всякую торжествующую чорто-бесовскую сволочь.

Возрадуйтесь, о-о, люди! — вы уже другие — свободные, раскованные, честолюбивые и ловкие, мало того, умные и изобретательные, настолько, что вооружённые эффективнейшим эфирным инструментарием, вы можете не просто покорить, но и навсегда покончить с природным миром, вас так унижающим, и впрыгнуть в мир иной — свободный и лёгкий, полный сверхзатейливой игры, молодости и непрерывных самолюбований, импровизационный мир, совсем даже не обязательный, совсем и не страшный, скорее даже, обаятельный, мягкий, счастливый... правда... уже какой-то и не людской, или, лучше сказать, не мир людей, уже не склонный вовсе к ответственности и страданию, который вполне жеманно способен миновать любой Божий Суд, ибо судить Господу будет в сущности уже... некого, а может... это как раз и есть тот самый Суд Божий, который уже всюду идёт, а эфир — это всего лишь особого рода... гильотина, невидимое режущее колесо, которое уже неустанно трудится над идейными потомками Берлиоза — ответственно и справедливо!

И почему однажды внезапно загорелась, яростно и глумливо задымив на всю пореформенную Москву, останкинскую телебашню — эта заслуженная уже, как старая идейная революционерка-террористка, эфирогла?..

Визит

В укромное, почти что райское местечко, в котором пребывали в ладном уединении Мастер и Маргарита, вдруг явился посланец от Воланда. Это был красивый смуглый юноша с груст-




ными глазами, хорошо воспитанный и с изысканными манерами. Маргарита сразу его узнала — это был тот самый молодой рыцарь, который так всегда великолепен в роли кота Бегемота, когда в компании Воланда посещает становящийся в тот момент вполне и ирреальным земной мир.

Вежливо поклонившись, посланец, приняв приглашение сесть, сообщил, что мессир просил передать Мастеру и Маргарите свои искренние приветствия, а также оповестить их, что там — на Земле — всё идёт, как нельзя лучше — роман упорно тиражируется по всему свету, по его сюжету ставятся спектакли и снимаются фильмы, а автора просто боготворят, как, разумеется, и Маргариту. На Земле прямо-таки настоящий культ романа и его главных героев — Мастера и Маргариты! В Киеве, на Андреевском спуске, 13, и в Москве, по Садовой, 10, открыты музеи в честь Мастера и его произведений. Мессир также просил узнать, не желает ли звёздная пара посетить Москву, Киев, Екатеринодар, ныне Краснодар, губернатор которого, искренне ненавидящий, как бывший комсомольский вожак, всё красное, вроде бы уже готов вновь сделать его Екатеринодаром, либо же посетить заграничную Варшаву или тот же Париж, правда, не такой уж, как прежде, очаровательный, чтобы убедиться в своей великой славе и необычной прозорливости романа?

Маргарита слушала юношу с нескрываемым интересом, по ходу соображая, радоваться всему сказанному или нет, боясь задеть своей необдуманной реакцией непредсказуемого Мастера. Взглянув на него, она сразу же заметила в его светлых глазах тень досадного напряжения. Мастер явно не знал, как ему поступить, точнее, как выйти из щекотливого положения.

Помолчав, он наконец-то выговорил: «Я благодарю мессира за внимание ко мне и... моему другу, — он кивнул нехотя в сторону Маргариты, — как и за сведения, которые он мне соблаговолил через вас передать. Я не готов сейчас дать ответ на его любезное предложение, а должен вместе с моим другом, — он опять вяло кивнул в сторону Маргариты, — его тщательно обдумать. Передайте мессиру мой поклон!»



Получив сей дипломатичный ответ, юноша встал и, учтиво поклонившись, проговорил: «Я так и думал!» Он заверил весьма озадаченную пару, что передаст мессииру слово в слово всё, ему сообщённое. Бросив внимательный взгляд на своих визави, он добавил: «Земная слава вам не к лицу!» И сказав, что вскоре вернётся, мгновенно исчез.

В вышине раздался эхом лишь убывающий конский топот, сопровождаемый протяжно угасающим свистом.


«О-о! — воскликнула Маргарита. — Так и не успели поговорить, а я хотела его расспросить о записке, подброшенной им тогда вместе с примусом». Она скосила глаза на мирно стоявший на камине допотопный агрегат. «Всё-таки интересно, что думает этот юноша, почему он так себя ведёт?» — проговорила Маргарита, обратив лицо к другу. Она, ожидая реакции Мастера на этот неожиданный визит, предчувствовала что-то недоброе. И не обманулась: «Я вижу, моя дорогая, что тебе хотелось бы снова взглянуть на земной мир, но нам, я полагаю, не стоит этого делать».

Маргарита, которой, конечно же, уже изрядно надоело их райское, вне пространства и времени, почти как в сумасшедшем доме точечное сидение, произнесла отчётливо, думая о своём: «Я тебя понимаю, мастер!» Она подошла к камину, вынула из горлышка примуса свёрнутую бумажку, развернула её и прочла уже в который раз: «За всё приходится платить!»

Убийство

Она была очаровательной девочкой, горячо любимой родителями, светленькой, стройненькой, кареглазенькой — в мать, с трогательным носиком и губками бантиком — в отца, опрятненькой, успевающей в учёбе, старательной, ответственной, умненькой.

Успешно закончив школу, она, жительница одного из ближних к Москве областных центров, поступила в первый в



стране университет, на один из гуманитарных факультетов, а к моменту его окончания, опять же вполне успешного, встретила не то на отдыхе, не то в турпоездке весьма добротного, вполне мужественного и самостоятельного, высокого, правда, несколько тучноватого, парня, студента-медика, проживавшего в крупном, тоже областном, волжском городе.

Парень ей понравился, стали переписываться, а после завершения учебы решили соединить свои судьбы, поженились, и она, как преданная жена, отправилась к нему, в его родной город, а родители её, любящие, чуткие и заботливые, выйдя к тому моменту на пенсию, переехали в тот же город, где уже проживала в отдельной благоустроенной квартире, предоставленной молодожёнам родителями мужа, их очаровательная и хрупкая дочь-красавица, бывшая в тот момент уже беременной.

Она вскоре родила сына, а через какое-то время, когда младенец подрос и мог оставаться с бабушкой и дедушкой, её родителями, она пошла, — к явному, надо заметить, неудовольствию её молодого мужа, в то время уже успешно практиковавшего, как и его отец, в качестве отважного хирурга-травматолога, — в местный университет, преподавать. Стала готовить и диссертацию, опять же к неудовольствию супруга, считавшего, по-своему и не без основания, что не женское это дело. Однако родители ей активно и много помогали, да и она старалась изо всех сил: готовка, стирка, уход за ребёнком, за мужем, за собакой — умной и всё понимающей овчаркой, — и потому она не бросала ни преподавания в университете, ни работы над диссертацией.

Через какое-то время она опять забеременела, родила второго сына. Тут и диссертация была готова, успешно защищена. И всё это, конечно, благодаря её родителям, верой и правдой служившим своей любимой дочери. А муж как был против её работы, тем более, диссертации, так и оставался, периодически выговаривая ей за это, а при удобном случае и больно задевая.

Ребята росли, она работала, вела хозяйство, опираясь на помощь родителей, а проблема, возникшая между мужем и женой, так и оставалась. Явно не справедлив бывал с ней муж, а то



и попросту груб. Смотрел, смотрел на это её отец и его тесть, терпел, терпел, да и высказал всё зятю, упрямому и неблагодарному, да ничуть этим не помог. Зять своего мнения не менял, а к жене своей относился всё хуже. Отец сильно переживал, заполучил insult, заставивший его не один год пролежать без движения, а потом и умереть раньше времени, ещё и не старым.

Мать, проухаживав преданно за своим больным мужем, постарела, но держалась.

Держалась и она, жена хирурга, преподаватель в университете, мать двоих детей, из которых старший как-то явно тяготел к матери, а младший — к отцу, в соответствии с характерами.


Прошли годы. Старший сын закончил школу и поступил в университет, по стопам боготворимой им матери, а младший ещё оставался школьником, он чтит отца и совсем не ласково обращался с матерью. Между супругами давно уже не было потребного согласия, хоть и скандалов особых тоже не было. Умерла, состарившись, верная собака, бывшая для матери семейства доброй подружкой. Ну а тёща, мать жены и бабушка, уже и не появлялась в доме дочери, предпочитая принимать её со старшим внуком у себя, чтобы не встречаться с опротивевшим зятем, как и с равнодушным к ней вторым внуком.

Разлад в семье был давно уже налицо, дело было за какой-то развязкой. Муж стал где-то пропадать, часто приходил домой выпивши, грубил жене, ехидничал, издевался, встречаясь с неодобрительными взглядами старшего сына и видя полное понимание в глазах младшего — его! — сына. Наконец, стало известно, что у него завелась другая женщина, а это означало, что дело идёт к неизбежному разводу.

Не рядовая, конечно, сложилась ситуация, хотя бы из-за отношения младшего сына к матери, но в общем-то житейская.

Но... но... горе ведь одно не приходит, оно является обязательно под ручку с другим, частенько более страшным.

И случилось то, что никто и никогда не смог бы предположить, кроме разве какой-нибудь проницательной гадалки, но и




для гадалки бы это выглядело совершенно невозможным. Однако ж случилось!

Ушёл как-то её старший сын на встречу со своими новыми университетскими приятелями — двумя или тремя парнями и одной девицей... и не вернулся — ни вечером, ни ночью, ни утром, ни на следующий день. Приятели отвечали по телефону, что они тогда-то и там-то с ним расстались, что он-де пошел домой, и где он теперь, конечно же, не знают. Милиция ничего утешительного сообщить не могла. Сын как в воду канул. И только сердце матери подсказывало, что было тут что-то не так, не верила она приятелям его, да и факты кое-какие не сходились, свидетельствуя о чем-то другом, наверное, самом страшном. Посетила прозорливицу с фотографией сына. Та, пригорюнившись, сообщила, что сына у неё больше нет, что видит она его лежащим где-то в поле, бездыханным, и что рядом с ним какие-то люди, вроде как молодые.

Милиция, как водится, расследовать ничего не торопилась: сбежал, уехал, ещё явится! А время шло: одна неделя, другая. Достучалась убитая горем мать до областной прокуратуры. Там неожиданно взялись за дело, хоть и поздно. Смекнул областной следователь, что у приятелей в показаниях кое-какие странности и неувязочки есть, стал полегоньку распутывать и... добрался-таки до истины. Оказалось, что это они убили сына её, решив поначалу его в заложниках подержать, чтобы с отца его деньги выкачать, да, видно, вырвался он от них, бежать стал... ну и заряд ружейный получил, на месте и скончался. Тело его друзья-убийцы вывезли на окраину города, бросили в лесной посадке, снегом присыпали.

Так мать правду всю и узнала. И сына любимого пришлось ей опознавать... и останки его видеть, что от собак бездомных остались... и суд пережить, не глядя на мужа своего бывшего, отца сыновей её, уже ушедшего от неё, с нею разведённого, уже жившего с другой женщиной, пытавшегося даже обвинить жену свою бывшую в плохом-де влиянии на сына — мирного, доброго, ласкового.



И решила она с матерью своей уехать из страшного для них города, где прошло её замужество и материнство, где потеряла она отца и сына... стоп!.. и второго сына тоже, оставшегося с отцом и не пожелавшего уехать с матерью, — и отправилась она из этого города прямо в столицу, и стала жить там со своей составившейся матерью, много работать, деньги зарабатывать, выплачивая взятый при покупке квартиры кредит, да наезжать время от времени в страшный для неё город, чтобы посетить родные ей могилки.

И самое поразительное, что женщина эта никак не сломалась, она всё стоически перенесла: потерю сына, развод, потерю второго сына (с надеждою, что он повзрослеет и многое поймёт, придёт к матери), потерю семьи, раздел имущества, переезд, новое обустройство, свалившееся на неё женское одиночество. Она осталась всё такой же стройненькой, светленькой и кареглазенькой, всё такой же красавицей, всё такой же хрупкой, нежной и приветливой, — и никому из видящих её не могла даже на мгновение прийти в голову, что эта очаровательная женщина пережила то, что, пережить в общем-то невозможно.

Гнусная эпоха, люди-звери, ужасные вокруг преступления — и удивительные русские женщины-матери, то ли маргариты по сути своей, то ли нет, — одно лишь ясно — великого мужества великие подвижницы!

Гламур

Это только кажется, что гламур относится к изысканной роскоши, крикливой моде да глянцевым журналам, разве ещё к лёгким жанрам в литературе и искусстве, в особенности эротического пошиба, — нет, совсем нет, гламур — образ жизни, и вовсе не каких-нибудь легкомысленных кокеток и упадочных псевдоаристократов, — это образ жизни целых классов, да что классов — беспредельных масс населения, вовсе и не обязательно каких-то там богачей, — нет и ещё раз нет, — это образ бытия



чуть ли не всего передового человечества, ибо везде одно и то же — голая форма, имидж, внешность, лёгкость, летучесть, невестомость, безответственность, бессмысленность, показуха, гордыня, пошлость, пустота, как и потребление, игра, развлекауха, молодечество, поза, имитация, симуляция, а главное... деньги, которые ведь тоже сегодня гламурны, ибо они виртуальны, воздушны, фиктивны, их много, их легко ухватить и потратить, да и какой вообще гламур без больших и лёгких денег?

Гламур — не красота, а красивость, у него нет естества, нет и красоты, но зато немало в нём безобразного: тот же молодёжный мат ныне не менее гламурен, чем возделенная высокая мода.

Гламур — порча!

Показное обнажение тел и пакостных душ — гламур!

Гламур теперь — наше всё!

Даже многая наука поддалась на гламур, стыдливо им прикрывая вдруг разверзшуюся в её усталом чреве раковую пустоту.

И незабвенный московский роман не избежал гламура: Иуда, Семплеяров... кое в чём и Воланд со своей шайкой... да и Маргаритка с Наташкой... что говорить!.. это не считая потаённой жажды гламура у московской публики, клюнувшей на лукавое приглашение эстрадных разбойников. Но... но... гламур был во времена романа всё-таки не в почёте, хоть и торчал он кое-где вызывающе — в кино, в ресторанах, у «солнцем утомлённых», но немного, совсем немного... в ходу тогда были более всего самоотверженный труд и не менее самоотверженные чистки, так что не до большого гламура тогда было.

А ведь гламур — сила!

Побыл, побыл гламур при Сталине в подполье, да и на свет стал после Сталина всё увереннее вылезать, а потом и вовсе победил, совершив уже свою собственную — гламурную — революцию.

И никуда не деться от этого величайшего изобретения человечества — гламур как вирус, как рак, как гниль, — и будет он с человекообразными до конца — до самой гибели, — что тех, что этих!



Литература

*Два уважаемых профессора
сидят за столом в одном из помещений
университетской кафедры,
пьют чай и мирно беседуют,
обмениваясь нестандартными мнениями
и, слава богу, друг с другом не споря.
Идиллическая прямо-таки картина,
достойная всяческого подражания.*

— Я согласен, коллега, что русская литература — великий кладёзь, сравнимый с чем угодно из сказанного и написанного в человеческой истории, совершенно при этом ещё не понятый и недооценённый. Это, знаете ли — море, а то и целый океан, в котором можно плыть и плыть, изучать и искать, находить и открывать...

— И погибать, надо полагать.

— И погибать тоже... У нас нет адекватного и достойного путеводителя по этому океану — ни общей философии литературы нет, ни достойной её целостной историософии...

— Ни адекватной метафизики, а потому и никакой, можно сказать, не получается кругосветки.

— Да-а, ведь это и в самом деле целый мир, огромное мироздание, необозримая вселенная.

— Задача для последующих поколений, если, конечно, эти поколения, вообще будут и будут чего-нибудь стоить.

— А не закончилась ли уже русская литература, как думаете?

— В аспекте духа?

— Да.

— На издыхании. (*Пауза*). Хотя новое дыхание всегда ведь возможно. Но пока маловероятно. Язык-то, может, и останется,

но всё остальное способно исчезнуть. Отойти, как жизнь отходит от трупа... Да и язык может быть исковеркан донельзя.


— Но литература-то не труп, язык — тем более!

— Нет, литература не труп, но вполне может и «оттрупиться». (Пауза). Не выходит у меня из головы этот проклятый роман. Дурацкое вроде бы название, вполне и никчёмное, а поди ж ты! Лучше бы прямо назвал «Конец света» или «Навь московская», а то чуть ли не «Руслан и Людмила»... О-о, кстати, у Пушкина-то «Руслан и Людмила», а у сталинского-то «сокола» «Мастер и Маргарита»!.. Смекаете!

— Ещё бы! Как это вы, профессор, догадались сравнить солнечную и жизнотворную пушкинскую поэму с лунным и инфернальным присталинским романом? Ах, романист, романист, задал нам загадку! У Пушкина выстоявшее добро побеждает поганое зло, а тут ведь ожившее зло творит какое-то тёмное добро... потустороннее, загробное... самое сомнительное.

— Вместо того, чтобы снести Воланду башку или хотя бы вырвать из его рук волшебную шпагу, Мастер, который, заметьте, и не русский вовсе, а какой-то... *никакой* (продукт гипергорода, подпольщик, диссидент), вымаливает через Маргариту и с участием Иешуа (!) вечного для себя среди вселенской теми покоя... Ничего себе!.. Это вроде того, если бы Руслан просил Черномора через Людмилу и князя Владимира даровать ему домик где-нибудь в тридевятом царстве с Людкой в придачу для вечного упокоения... Чувствуете разницу?

— Ещё бы! Там было преодоление кризиса и торжество новой жизни, ведичество какое-то (финн, мёртвая и живая вода), а тут совсем другое — и всему конец, и надежда лишь на покой, даруемый князем мира, и не здесь, не в этом мире, а в другом, в антимире каком-то. (Пауза). Роман и в самом деле венчает русскую литературу, однако не победным и даже не терновым венцом, а каким-то... *за-у-покой-ным (собеседник произнёс последнее слово в растяжку, акцентировав на его корне)*. Последняя точка в русской литературной битве, как и песни нашего знаме-



никого московского хриплоголового барда — в поэзии... Вот, собственно, и всё!

— Да-а, роман-конец, роман-молчание, роман-панихида.

— Хотя в то же время и роман-карнавал, роман-маскарад, роман — «пир во время чумы». (*Пауза*). Жестокий роман-шарж, роман-издевка...


— И роман — «неизбывная печаль».

— И роман-обаятель.

— Скверный в общем-то роман, хоть автор его ни в чём таком и не виноват. (*Пауза*). Вот уж возрождение мёртвых душ, а? Ведь в романе ни одной живой души: не считать же за таковую обездоленного, обесмысленного и обессиленного Понырева-Бездомного (без дома он, без дома, а соответственно, и без головы тоже, как и без себя!). Все герои в романе либо давно умерли, либо умирают по ходу действия, либо... прямо не от мира сего. Если не все они и мёртвые, то уж все явно не живые. (*Пауза*). Роман-антижизнь, роман-смерть!

— Да-а, роман-завершение... роман-похоронка... это в момент ещё кое-каких беллетристических вспышек вроде «Хождения по мукам» (слышите, по мукам!) и «Тихого Дона» (чуete, тихого!), а ведь тоже по сути предсмертных вспышек. (*Пауза*). А вся последующая литература, а я имею в виду как раз русскую, а не какую-либо ещё, литературу, не более чем надгробное песнопение, не так ли?

— Пожалуй что, так... Русская литература оказалась настолько содержательно насыщенной и стилистически привлекательной, что заменила собою реальность, обеспечив её полное отвержение. Понадобился товарищ Сталин, этот горийский пацан и тбилисский семинарист, этот псевдомарксист, революционер-боевик и безжалостный кремлёвский тиран, чтобы попытаться преодолеть наш литературный апокалипсис. (*Пауза*). А потом лишь счастливое прозябание под аккомпанемент запоздалой поэзии, унылой прозы, прикостровых завываний, бардовского хрипа, деревенского псалмопевства. (*Пауза*). Литература наша не только отразила русский апокалипсис, она его ещё и старательно проду-



цировала, не очень-то над этим и задумываясь. Она не дала русскому миру жизни, а лучше сказать, отняла у него жизнь, задавив в итоге и «Руслана» с «Людмилой» и «Войну» с «Миром»... Да-с!

— Страшновато, знаете ли, коллега, как-то не по себе!

— Да уж... лучше об этом не думать. Стремилась, стремилась куда-то, а пришла всего лишь к лунной дорожке, ведущей в никуда, к бездне!

— Что сегодня уже очевидно, хоть и не все это видят, старательно — во спасение — зажмурившись. Сегодня ведь не литература, а какая-то *текст-ильня (собеседник произнёс слово раздельно, акцентировав на первой его части)*.

— Да-а, пожалуй! А мы вот тут чайком балуемся... Вкусный чаёк, не правда ли? Спасибо нашим милым лаборанткам, держат форму.

— Женская доля замечательна, если женщина на приличествующем ей месте.

Собеседники немного помолчали, прихлёбывая вкусный чай.

— А литература-то ситуацию не вытянет... Сейчас не только Пушкин новый не сладится, но даже и Гоголь с Салтыковым-Щедриным. Реальности как таковой уже нет, а есть лишь псевдомир какой-то. Разрушать-то по большому счёту уже нечего... Гнусная лишь теперь сказочка гнусавит, да и только! Отсюда и восстание антилитературы: плоских детективов, глупых страшилок, подделок разных, выдумок, имитаций, женских безумств, респектабельного вранья, всякого рода беспородных фальшивок.

— Ныне не то что «Руслана и Людмилу» не напишешь, а даже и «Мастера и Маргариту». Остаётся лишь что-нибудь вроде «Олигарх и стюардесса», «Иуда и фигуристка», а с учётом победы феминизма и инфантилизма: «Рая и Миша», «Галя и Слава», а то и попросту «Суперстар и матрос».

— Не всё написанное в литературной форме есть литература. У литературы есть какой-то внутренний «органчик», делающий её литературой. Писанина — ещё не литература. Писанина как литература кончилась, началась, видно, литература как писанина. «Органчик» тот замолк. Теперь другой — фальшивень-



кий... Даже правда жизни сегодня фальшива, ибо фальшь — сама теперь правда и есть. (*Пауза*). Так что надеяться на литературу зряшно, ибо её нет, а если бы и была, то... тоже надеяться бы на неё не стоило, ибо литература, а уж, тем более, псевдолитература, для этого не предназначена.

— Не созидает, а разрушает?..

— Увы, это так.

— На что же нам надеяться?

— На самих себя — без литературы! Это раз. Во-вторых, не на писанину, даже гениальную, а на новое слово, выраженное как угодно, но только не в соответствии с обветшавшей и зарпортованной литературой.

— Откровение, что ли?

— Вроде того... какое-то новое слово в новой форме, вроде предсмертного крика.

— Я однажды слышал крик женщины, у которой ребёнок чуть было не был сбит машиной. Это был, скажу я вам, крик!

— Нет, нет, ничего душераздирающего. Нужно родить новое сознание вопреки сознанию нынешнему.

— Новое слово Божие?

— Во всяком случае, новая метафора. Так, для начала.

— Постатеистическая?

— Вроде того. Не архаичная же... И постнаучная, кстати.

— Ну и ну!..

— Не сдаваться же на милость князю!


— Круто!

— Да, круто. А что делать? Была художественная литература, теперь воцарилась гламурная псевдолитература (всякие ужастики — тоже ведь гламур), а потребна ныне метафизическая постлитература.

— Что, что... постлитература?

— Именно, именно! Что, страшно?

— Ужасно страшно (*смеётся*). Но в этом что-то есть, — надо подумать!



— А что нам, дуракам, ещё остаётся. Сталин уже пытался что-то подобное сделать, да у него чорт знает что получилось. Тот же автор бесовского романа его в этом не понял, не поддержал, хоть и был всего ближе к пониманию проекта. Да вот завернул всё-таки во тьму. (*Пауза*). Зря, конечно, Сталин с ним не встретился, зря! Им бы поговорить, понять друг друга. Э-эх, все эти невозможности!

— Сталин был устремлён в *иное*, причём в *целое иное*, а не разорванное. Но был в сталинизме какой-то заведомый порок, был. Насилие хоть и повивальная бабка истории, но и у него есть свои пределы. Как и у любой крутой мобилизации. Рывок — да, тут потребна мобилизация, самоотверженность, а вот обыденность — это уже что-то совсем другое, которое попросту устраивать полноценно надо.

— Да-а, смыслы надо созидать, смыслы.

— Что ж, новые пророки нужны, великие посвящённые?

— Представьте себе, да! Человечество уже достаточно запуталось, а уж Россия — тем более! И как раз в России есть шанс нового пророчества, способного вырваться из возникшего в царстве белой расы бессмыслия из пустоты, из тьмы. Переворот сначала в головах нужен, а потом и в действиях. Вот такая у нас задача — не будет нам покоя!


— Новая опричнина?..

— Это бесспорно! И мир человеческий об этом обязательно позаботится. (*Пауза*). У России то преимущество, что она свободна для творчества, а история её прямо-таки выдавливает такое творчество. Иначе — смерть! Для всех смерть! А нам потребно рождение... Рож-де-ни-е!.. В муках, — духовных, идейных, моральных, в том числе и самых несуразных. (*Пауза*). А дух наш уже заметался, это хорошо!

— Либо власть поймёт что-то, либо всем нам как-то.

— Ну, почему же? Это господам нашим как-то, а России-то что, она за ними никогда не пойдёт. (*Пауза*). Нет, не пойдёт! Не дура она, Россия!

— Вот и за Сталиным не пошла.



— Да, не пошла. Сталин всё-таки узковат для неё был, широты в нём потребной не было, объёма. Рядом с ним ведь никого из значительных так и не оказалось. Испугался Иосиф, и это его главный просчёт, он же и порок — страх!

— Своеобразный комплекс неполноценности.

— Вроде того. Магия у него была, а вот души-то, надо полагать... не было... не состоялась.

— Какая уж там душа, в то страшное время!

— А сегодня-то что же, сердечная, что ли, эпоха?

— Надо как-то сердце возвратить, однако не страдательное, а «понимательное».

— Властитель сильный и мудрый всё-таки нужен.

— Да-а... но именно властитель, пусть и коллективный. Тут требуется особое посвящение, и не столько тайное, сколько в тайну, однако не в управленческую лишь, а более всего в метафизическую. Обучаясь, будущий властитель должен что-то важное и нужное сам понять, а потом уже и что-то своё создать, особенное.

— Но ведь и благоприятный контекст нужен.

— Разумеется! Об чём и речь: «органчик» тут необходим.

— И вы думаете...

— Ничего я не думаю, коллега, ничего. Это сама жизнь мною думает. Вот почему в Софию погружаться надо. *(Пауза)*. В Софию прежде всего, а не в науку. Только там это самое *Иное*, только там... И не в одних лишь писаниях дело, а и в откровениях... новых откровениях.


— О-ох, как это всё, знаете ли, непросто!

— Но достойно же человека... аль нет?

— Так ведь другого-то выхода нет.

— Вот именно!

Собеседники вдруг решили, что пора кончать эту бодягу, называемую спонтанной беседой в удовольствие, а потому встали из-за казённого стола, поблагодарили очаровательных лаборанток за чай, распрощались с ними и, пожелав друг другу многого добра, двинулись каждый в своём направлении, хорошо со-



зная, что не избежать уже милому человечеству постыдного краха, разве лишь дуракам российским повезёт: недаром же именно в Москве и именно при Сталине сообразовался таинственный роман-заговор, он же и роман-заговор, совершенно при этом метафизический.

Преступление


Ленинградец по происхождению, он учился на историка в педагогическом институте, где встретил её, свою будущую суженую, изучавшую там же английский. Она была из славной среднерусской области, из уездного городка. Полюбились, поженились и — о-о, эта необычность! — она утащила его за собой на свою родину, в среднерусскую лесостепь, где они вместе стали учительствовать, преподавая историю и английский.

Потом он директорствовал, возглавляя лучшую в городе школу, ставшую затем лицеем.

Был замечен властью и стал, после нескольких лет руководства горобразом, одним из управителей города — вице-мэром, что дало ему возможность немало развернуться — умному, образованному, интеллигентному.

Его волновало благоустройство жизни, её одухотворение, придание ей красоты и смысла. Как историк, занялся прошлым города, возвращая его людям, превращая и настоящее во что-то стоящее. Откапывал факты, находил памятные места, помечал их, отыскивал реликвии, восстанавливал биографии.

А из города вышли воистину выдающиеся люди, среди которых и великий русский мыслитель — экономист, философ и богослов; и бывший ректор первого в стране университета, талантливый физик, академик; и известный авиаконструктор, создатель на удивление простого и работающего самолёта — славной «этажерки», «керосинки», «кукурузника»; и братья-академики, отличившиеся в космических делах; и герои войны и труда. Именами некоторых из них названы ныне улицы и площади города, а



кое-кому даже поставлены памятники, открыты мемориальные доски — и всё больше по инициативе укоренившегося в городе ленинградца.

Он превратил почти обыкновенный город в привлекательную достопримечательность, но и сам стал удивительной достопримечательностью города: ладный, спокойный, аристократичный.

И вот *это* всё-таки случилось!

«Сидели в ресторане, — рассказывал свидетель трагедии, — обедали. Оставалось выпить кофе, любезно предложенный хозяином ресторана. О чём-то говорили, ожидая наслаждения от вкусного напитка. Вдруг в помещение влетел какой-то мужик, огляделся бешено, и бросил мне под ноги гранату. Сам он, конечно, тут же выскочил из ресторана, а лимонка успела откатиться в сторону, к стойке, за которой как раз готовился кофе. Никто ничего не успел понять: грянул взрыв. Я, сидевший за ножками стола, не пострадал, ресторатор был ранен в ногу, а вице-мэр находившийся вроде бы дальше всех от гранаты, получил осколок прямо в голову. А ведь бомба, как потом выяснилось, предназначалась мне, дорогу одной сволочи переехавшему. Кинулись за “скорой”, увезли раненого в больницу, прямо на операционный стол. Осколок застрял внутри черепа. Вице-мэр впал в кому. Перенёс несколько операций. Возили даже в областной центр. Но выжил, пришёл в себя. Потом заговорил, поднялся, стал передвигаться. Подонков этих нашли и судили, приговорили к разным срокам. Не расстреляли. А надо бы, мерзавцев! А друг мой, бывший уже вице-мэр, инвалидом стал. Головные боли его мучают. Жена ему газеты читает. К работе он уже, увы, не вернётся. Вот такая, вполне обыкновенная для нашего паскудного времени, история. Что это? Рок? Может, и рок, а может, и не роковым образом развёрстая программа, кем-то и когда-то умело запущенная, — что тут скажешь! Помрут вдруг все, как мухи, а от чего — и знать не будут, ибо в гордыне незнания великого пребывают».



Аутодафе

Укромный домиқ

Мастера и Маргариты.

*Полыхает камин. Огонь высвечивает
сосредоточенные лица обитателей дома.*

Мастер бросил в огонь последние листки злополучной рукописи и затих, заворожённый зрелищем того, как буквы, слова, строчки и весь текст романа продолжали долго держаться на остающемся от сожжённой бумаги чёрно-сером пепле.

«То ли горят рукописи, то ли не горят, — думал Мастер, — но тексты уж точно не горят, а уходят ввысь, в какую-то неведомую даль, в небытие, чтобы превратиться там в иные тексты, а потом возвратиться в земной мир через уникальное сознание очередных гениев».

Маргарита подошла сзади к Мастеру, положила ему руки на плечи и прикоснулась лбом к его вихрастой голове.


Тут она почувствовала, что голова Мастера конвульсивно подрагивает, и мгновенно поняла, что он плачет.

Она выпрямилась, продолжая держать руки на поникших плечах обескураженного автора бессмертного романа и, взволнованная и тихая, тоже заплакала.

Она понимала Мастера, не осуждала его и не пыталась помешать этому ужасному аутодафе, которое, — она это тоже хорошо понимала, — было неизбежным.

«Ах, какой роман, — думала она, плача, — какой роман!»

Она знала, что роман уже давно в земном мире опубликован и живёт шикарной... ну... если и не шикарной, то весьма завидной — чуть ли не звёздной, жизнью популярного и любимого всеми писания, как и знала, что Мастер не найдёт себе покоя, пока... нет, не отречётся от романа... а... пока... не покается за него перед теми же обожавшими его роман людьми — наивными и заблуждавшимися, — и покаяние такое могло произойти только с



огнём, безжалостно пожирающем совершенные страницы великого романа.

Маргарита не сомневалась, что роман будет жить, но... он должен теперь обрести какое-то новое звучание и награждать читающую его публику *иными* смыслами. Изменить в тексте уже ничего было нельзя, но попытаться добиться *иного* его восприятия всё-таки было ещё можно. Фактом сожжения рукописи Мастер как бы подавал на Землю сигнал, что роман написан для людей, а не против них, и что всю его эсхатологию автор берёт на себя, подвергнув себя беспощадной каре.


Так думала Маргарита, что-то подобное думал, наверное, и Мастер.

Успокоившись, он произнёс твёрдо и отчётливо, положив свою руку на руку Маргариты, всё ещё лежавшую на его плече: «Я им не судья, понимаешь, не судья! Не суди да не судим будешь! Недаром же сказано, как это я раньше не прочувствовал... Всё мы обличаем что-то, обличаем... Как я хорошо теперь понимаю Гоголя... да, собственно, и Пушкина... как хорошо! Мы искали с тобой покоя, отдавшись во власть князя мира сего, а как раз покоя-то и не нашли. Зато, дорогая, мы нашли с тобой покаяние, запоздалое, правда, но нашли».

«Не согрешишь, не покаешься! — тихо и уверенно проговорила Маргарита. — Мы оба с тобой виноваты, а грехи в огне не сожжёшь, так что будь, что будет, меня ничто уже не страшит!»

Вдруг откуда-то сверху послышался топот коня с характерным свистом, и через мгновение в зале уже стоял в учтивой позе молодой рыцарь, так хорошо справлявшийся с ролью кота Бегемота в буфф-мистериях господина Воланда (и, надо заметить, его, — Мастера, мистериях!).

Бросив быстрый и острый взгляд на камин, где осталась только куча унылого чёрно-серого пепла, юноша, изящно поклонившись Мастеру и Маргарите, произнёс: «Мессир снимает с вас всякие перед ним обязательства и дарует вам полную свободу! Он не приветствует только что совершённый вами акт сожжения рукописи, но считает себя не в праве осуждать авторскую волю.



Он также снимает с себя обязанность какого-либо дальнейшего вам покровительства».

Сказав это, юноша на мгновение умолк. Увидев на камине примус с торчавшей в нём запиской, он, впервые улыбнувшись, произнёс: «Вы всё правильно сделали, господа, я в этом абсолютно уверен, а теперь, — он немного замялся, — не могли бы вы сделать мне одолжение и вернуть мне примус».

«Разумеется, — вскричала Маргарита, — мы его вам вернём, хоть это и не очень хочется делать, но зачем он вам, благородный рыцарь?»

Посмотрев с грустью на Маргариту, юноша тихо сказал: «Чтобы помнить о вас, сударыня, в царстве тьмы». Тут он поднёс палец в чёрной перчатке к своим губам: «Тсс, больше ни слова!»

Приняв от Маргариты многострадальный примус, благородный юноша, поклонившись обитателям райского дома ниже и учтивее обычного, быстро покинул их укромное потустороннее пристанище.

Не успел как следует утихнуть топот мощного коня с характерным свистом, как темнота вокруг райского уединённого места начала заметно рассеиваться и всё окружающее пространство стало наполняться каким-то особенным, как будто бы и не светящимся светом.

Тут Мастер и Маргарита сообразили, что их вынужденному и двусмысленному безмятежью в царстве тьмы приходит конец, и они переходят в *иное* царство, где их ожидает бескомпромиссный Суд Божий, не суливший им, впрочем, ничего хорошего.

Мастер и Маргарита посмотрели понимающе друг на друга, взялись за руки и решительно отдались во власть быстро нарастающего и полностью их поглощавшего могучего и бесстрастного Света!



Часть пятая

Откровения

Свидание

Иерусалим.

Начало III тысячелетия от Р. Х.

Гефсиманский сад.

*На камнях друг против друга
сидят двое мужчин в хитонах
и оживлённо беседуют.*

*Один взволнован, речь его прерывиста,
в глазах заметно огромное напряжение,
а другой спокоен, тон его ровен,
в глазах мягкая уверенность.*

— Я победил тебя, Иешуа, понимаешь, победил! Ты не забыт, но мир не живёт по-твоему, а живёт как раз по-моему. Ты проиграл! И не мне ты проиграл, что не так уж и важно, а людям, которые вовсе и не добрые, как ты всё твердил, блуждая по Иудее, по моей стране... Любовь!.. Где она, эта твоя любовь?.. Нету её, нету! Сначала я даже тебе поверил. Но потом понял, что это всё ложь, а ты — самый опасный для мира человек. И когда понял, то решил избавить мир от тебя. Я не предатель, я тебе в



верности не клялся, я — твой противник, причём последовательный противник. Я твой враг! И я ни о чём не жалею... Вот Пилат, так тот действительно предатель, вернее, двуличный лицемер. Вроде бы за тебя, а даёт согласие на твою казнь, вроде бы должен быть за меня, а даёт приказ меня убить. Ещё один, по-твоему, добрый человек... Мерзавец!.. Я чист перед тобой, Иешуа, чист, я тебя даже люблю, но, понимаешь, нельзя с твоей проповедью... нельзя... люди в конце концов просто возненавидят друг друга от такой любви. Поэтому я твой противник, твой враг, но и судья тебе, понимаешь, судья!.. Вообще-то я не хотел твоей казни, видит бог, не хотел, даже ради этого согласился тридцать сребреников принять, прикинувшись агентом Синедриона... Тебя казнили Синедрион с Пилатом, да и толпа ничего не понимавших во всём этом ершалаимцев — добрых, по-твоему... Так случилось, но я об этом не жалею, Иешуа, понимаешь, не жалею!

— Почему же ты не спокоен, Иуда?

— Я не верю людям, никому не верю, я не могу быть спокойным.

— Ты презираешь людей, ведь правда?

— Да, Иешуа, да! Но и люблю их... по-своему.


— С этим жить нельзя, тебе не позавидуешь!.. С такой-то любовью!.. Это и есть самая лютая казнь! Так что...

— ...правильно, мол, сделали, что меня устранили... как и тебя... так, что ли?

— Нет, не так, Иуда. Меня казнили, чтобы я замолчал, и казнь эта была несправедливой, а тебя, прости, устранили, чтобы тоже молчал, но...

— Это было праведным?

— Не то чтобы праведным, но по их принципам вполне справедливым. Предательство, извини, даже среди предателей есть предательство. Предателями пользуются, но их никогда не прощают. Ты сам выбрал ту роль, за которую был столь жестоко наказан, да, собственно, и не наказан даже...



— Ладно, пусть я здесь ошибся, хоть я и никакой не предатель, соглашусь с тобой, но по сути же наших разногласий я ведь прав!

Иешуа некоторое время помолчал, потом медленно, всё ещё раздумывая, проговорил:

— Конечно, ты прав, Иуда...

— Вот видишь!

— ...человек действительно плох... но он не должен быть таким...

— Тогда твоё утверждение, что он добр, всего лишь ложь.

— Нет, Иуда, не ложь. Разве мать, которая тебя родила не была добра к тебе, а отец, который тебя растил, а учитель...

— Ну, допустим, что все они были добры ко мне (*Иуда слегка замаялся*)... э-э... но в целом-то что же получается: один всё равно бьётся с другим, один обманывает другого, один попросту убивает другого. Так было, так есть и так будет!

— Я согласен с тобой, Иуда, но так не должно быть.

— Что ты всё заладил одно и то же: не должно, не должно, но ведь есть!

— Есть, но *не должно!*, — с ударением на этом «Не должно!», произнёс Иешуа, — и если за такое утверждение казнят, то это уже немало.

— Ты даже породил в итоге целый культ добра, Иешуа, но зло после этого никуда не исчезло.

— Зло не исчезло, но ведь и добро всё-таки есть, и оно действует, разоблачая зло, борясь с ним, как-то его ограничивая.


— И что же, — с издёвкой засмеялся Иуда, — подставь правую щёку, если тебя ударили по левой, так что ли?

— Я этого не говорил, Иуда.

— Но так получается!

— Я этого не говорил, — повторил Иешуа, — но согласись, что сначала надо осознать, что добро важнее зла, а потом уже и защищать добро, тем самым и борясь со злом.

— Ох, Иешуа, фантазии всё это, причём очень вредные, жаль, что ты этого не понимаешь.



— Ну, хорошо, готов с тобой согласиться: давай без добра, пусть будет одно зло, тогда-то что?

— Я ведь не зло защищаю, а всего лишь вижу в твоём добре слишком много зла, причём самого опасного зла, понимаешь?.. Ты провокатор, Иешуа, ты своей проповедью как раз расчищал дорогу злу, хоть, я в этом уверен, и невольно.

Иешуа задумался.

— Не могу не признать твоей правоты, Иуда, — произнёс он, — но и согласиться с тобой не могу. Человек должен различать добро и зло, как бы ему этого не хотелось или же как бы он это не мог сделать, ибо в противном случае это уже не человек, а зверь. Даже Крысобою Пилатов — человек, ибо, если бы не приказ, уверяю тебя, он не стал бы меня бить, а сам Пилат, если бы не его прокураторская миссия, не стал бы отдавать такого приказа... Ты тоже пойми меня: я не считаю, что зло преодолимо, но оно не должно торжествовать, причём не где-нибудь, а как раз в самих людях.

— Но оно торжествует! — воскликнул Иуда. — Люди уже не хотят различать добро и зло. И так, как ты хочешь, не будет никогда!

— Я знаю... и это плохо! — ответил твёрдо Иешуа. — У человека ведь всегда есть выбор. Это его право, данное ему Отцом Создателем. Без этого права человек Богу просто не нужен!

— Человек делает выбор всё время в пользу меня, а не тебя, Иешуа.

— Признаю здесь твою правоту, Иуда, но человек не оставляет совсем и моей правоты. Идёт борьба, в самом человеке идёт борьба.

— И я выигрываю, я тебя победил, Иешуа!

— Думай, что хочешь, а я остаюсь с добром, которого всем сердцем желаю человеку, как желаю ему всем сердцем, слышишь, Иуда, — всем сердцем! — противиться злу! Ни к какому непротивлению злу я никогда не призывал. И более всего я противился злу на кресте, умирая в муках, но ты этого никогда не поймёшь, Иуда, потому что упорно противишься добру, заворо-

жённый вездесущим злом. Ты рад бы даже делать добро, но боишься показаться смешным, ибо ты слаб и... уж прости меня... завистлив.

— Э-эх! — вскричал Иуда. — Ты так ничего и не понял, Иешуа. Прощай! Я ни о чём не жалею, я просто человека знаю лучше тебя, как и тебя самого. Прощай!

Иуда вскочил в ярости и быстро зашагал прочь среди уже охваченных оранжевым закатом деревьев. Иешуа же, подперев рукою подбородок, долго и задумчиво смотрел ему вслед, про себя повторяя одну и ту же фразу: «Какой несчастный человек, какой несчастный!»

Президент

Москва. Кремль.

Вторая половина первого десятилетия

III тысячелетия от Р. Х.

Кабинет Президента.

За столом двое:

Президент и учёный-философ.

*От хлебывая время от времени чай,
ведут разговор, вернее, разговор ведёт Президент,
а учёный лишь в разговоре участвует.*


Президент (в обычной убедительной манере): Я прочитал вашу записку. Благодарю вас за искренность и твёрдость позиции, а главное, за понимание общего положения вещей в мире и стоящих перед нашей страной и государством задач... Мне и ранее докладывали о ваших работах. Мы их, по-возможности, учитываем. Да вы и сами это всегда ощущали, не так ли?

Учёный (кивнув головой в знак согласия): Да, кое-какой отклик я чувствую.



Президент (всё так же убедительно): Ситуация в стране сложная, хотя и не безнадежная, в мире тоже не проще! Но одного понимания недостаточно. Даже и действий недостаточно. Нужно время! Общество должно само излечиться, разумеется, при нашем участии, которое я бы назвал терапевтическим. Хирургия уместна только в отдельных случаях. Знаю, что закон у нас в стране, что дышло, но иного выхода нет, надо приучать граждан к соблюдению законов. Люди и сами должны многое осознать. *(Пауза)*. Спасибо вам, кстати, за книгу о Сталине. Я её внимательно прочитал. Пора действительно во всём спокойно разобраться. Но идти навстречу Сталину мы не будем. Это невозможно и, главное, не нужно! Сейчас совершенно другое время. Всё теперь другое! У нас есть шанс решать, скажем так, некоторые сходные задачи, но совсем не теми методами. *(Пауза)*. Слава богу, что мы не свалились в годы, скажу откровенно... тягостных реформ... в большую и кровопролитную гражданскую войну. *(Пауза)*. Нам нужно не просто оздоровить обстановку, нам нужно создавать, и здесь я с вами вполне согласен, новую цивилизацию, даже и с новой нацией. Нужна нам и новая национальная элита. *(Пауза)*. Но жизнь, увы, сложнее представлений о ней. *(Пауза)*. Ваши соображения по освоению и развитию концептуального знания очень интересны. Мы подумаем, и уверен, будем что-то делать. *(Пауза)*. Позвольте вас спросить, а каким же вам видится будущее — страны, человечества?

Учёный (с некоторой неохотой, но твёрдо): Оптимистов среди философов нет. Преобладают эсхатологические настроения... Человек как сакрально-природное существо исчезает, превращаясь, как принято говорить сейчас в философских кругах, в *постчеловека* — какое-то новое, пусть по виду и человекообразное, существо. Техника подчинила себе человека, делая из него в лучшем случае живообразный механизм, а в худшем — пустую погремушку... Отсюда задача сохранения человека в человеке, но не аквариумного сохранения, а образовательного, хотя бы для некоторой части. *(Пауза)*. Глобальная катастрофа сегодня слиш-



ком вероятно, чтобы о ней не говорить. Лучше быть готовым, хотя бы ментально, к худшему.

Президент (явно заинтересовавшись): А что вы имеете в виду под глобальной катастрофой?

Учёный: Как гуманитарий, я, конечно же, имею в виду собственно человеческую катастрофу, которая может выразиться, помимо исчезновения человека в человеке, о чём я уже сказал, ещё и во всеобщей схватке будущих человекообразных за жизнь — в войне всех против всех!

Президент (всё так же заинтересованно): И как же всего этого избежать?

Учёный: Для начала хотя бы осознать высокую вероятность надвигающейся катастрофы, как и понять её причины... Далее, управлять социальными процессами, обязательно имея в виду возможность этой катастрофы.

Президент (слегка иронично): И как же управлять? Ещё и в условиях глобализации?

Учёный (по-прежнему твёрдо): Мир ныне глобализован, но и фрагментарен, он не монолитен. Отсюда возможность, контролируя фрагменты, или, скажем, фракции, управляя ими, влиять и на глобальные процессы в целом.

Президент (уже без иронии): Но ведь мы не единственные игроки на мировом поле, да и мировой управляющий центр не дремлет и действует.

Учёный: Разумеется! Игроков множество, в их числе и нынешний мировой управляющий центр. Но играть-то всё равно нужно, правда, располагая возможностью для такой игры, ни на миг её не упуская. И в самом мировом центре надо играть... Повсюду!

Президент (задумчиво): Я вас понимаю, но, согласитесь, это очень опасная для всего мира игра.

Учёный: Несомненно! Она тоже может стать катализатором катастрофы, если не прямой её причиной.

Президент (несколько углубившись в себя): Риск и ещё раз риск?



Учёный (акцентированно): Да!.. Человечество сегодня в зоне глобального риска. Это по-настоящему эпоха риска! Вот почему никак нельзя упускать исторической инициативы... Какая-нибудь прибалтийская малютка может доверяться какому угодно внешнему центру, ибо у неё по сути ничего нет, а Россия не может — она всегда должна быть сама по себе и сама для себя, причём имперски! *(Пауза)*. Тут как раз у Сталина есть чему поучиться, разумеется, в умении ставить задачи и настойчивости в их разрешении. *(Увидев, что Президент молчит, учёный решил продолжить свою речь):* Однако, находясь, как и все, в зоне глобального риска, как и в обстановке скрытой, но нарастающей, мировой войны, в которой Россия, надо полагать, вновь predeterminedена главной жертвой, не могу не предполагать, уж извините меня, двух исходов: либо распада страны под влиянием извне при благодушной и слепой внутренней политике, либо спасительного единения России перед лицом многосторонней опасности, но... уже в режиме диктатуры... надеюсь, ещё не в сталинском исполнении.

Президент (усмехнувшись и чуть раздражённо): Не даёт вам, интеллигентам, покоя тень товарища Сталина, не даёт...


Учёный (заметив раздражение в словах и в голосе высокопоставленного собеседника): Я, господин Президент, учёный и никакой не интеллигент, и преследую совсем иное. *(Убедившись, что Президент позволяет говорить):* И никакой я не сталинист!

Президент (не обращая внимания на сказанное, как бы про себя, не без некоторой досады): Вот и вы туда же, диктатуру вам подавай!

Учёный (взволнованно): Дело вовсе не во мне и уж, тем более, не в моих убеждениях... Дело тут в самом движении реальности!

Президент (отведя в сторону глаза): Ну хорошо!.. И что же, на ваш взгляд, сегодня самое важное для нас?

Учёный (уверенно): Идеология, но не какая-нибудь партийная, а национальная — национальная идеология, основанная на знании всего и вся, в том числе и в первую очередь глубинного,



сущностного, эзотерического, на том самом знании, которое я как раз и называю в записке концептуальным.

Президент (пристально посмотрев на собеседника): А оно есть, это знание, как уже сформированное?

Учёный: Частично есть, но это не главное, это знание, которое надо не просто знать как готовое знание, а уметь его самостоятельно выработать — постоянно, настойчиво и даже изощённо. *(Пауза).* К тому же, у нас есть традиция... Это очень важно! Традиция не случайна, это результат исторического выбора и отбора. Традиция скрепляет. Именно она удерживает человека в человеке. А сегодня, когда человек готов выскочить из самого себя в неизвестность, традиция — спасение!

Президент (с долей сомнения): Речь, наверное, может идти сегодня о какой-то обновлённой, и даже обновляющейся традиции, так сказать, о нетрадиционной традиции, лишь как-то перекликающейся с прошлым, но вполне адекватной настоящему, откликающейся и на будущее... Не так ли? *(После паузы, в некоторой задумчивости).* А есть ли у нас люди, способные сегодня к такой вот концептуальности, точнее, не способные, они-то, наверняка, есть, а, скажем, более или менее подготовленные.


Учёный (сокрушённо): Ох, господин Президент, это очень не простой вопрос: должны быть, это тоже большая национальная задача — их подготовка и мобилизация.

Президент (не выходя из лёгкой задумчивости): Да-а, согласен... возможно, и самая трудная.

Учёный: Но у нас нет другого выхода!

Президент (как бы очнувшись): Выхода нет?... Да-а, у Сталина тоже частенько не было выхода, но... ничего... находил, кроме, пожалуй, одного раза — предсмертного! *(Взглянув на большие напольные часы):* К сожалению, время бежит. *(Встаёт).* Спасибо за интересную беседу. *(Пауза).* Но ничего радужного обещать не буду, уж не обессудьте!

Учёный (вставая): Спасибо... за понимание! *(Встретившись глазами с Президентом):* Впереди ведь большие испытания... мировой кризис, глобальный и глубокий, ранее ещё не



бывший, наверное, вполне и роковой, судьбоносный. (*Сдержанно улыгнувшись*): Всего вам доброго, господин Президент!

Распрошавшись с необычным посетителем, Президент было направился к своему рабочему месту, но, оглянувшись, внимательно посмотрел вслед покидавшему кабинет учёному. «Интересно, — подумал он ни с того, ни с сего, — кто же всё-таки более понимал людей и весь мир человеческий, Иисус или Понтий Пилат?.. И кто из них оказался в итоге прав?.. Да и не перехватил ли какой-нибудь новый Понтий, воплотившись в том же Макьявелли или, на худой конец, Талейране, инициативу у Иисуса?..»

Чудеса

Чудеса бывают всякие, но в основе каждого непременно лежит какой-нибудь реальный факт и отсутствует мало-мальски удовлетворительное его объяснение, даже если всё к случайности сводится. А нередко бывает так, что совершенно непонятно для чего же произошло то или иное чудо, — и только иногда найдется тот, кто может истолковать свершившееся, увидев в нём какой-нибудь знак, а то и почуяв сокрытый в нём смысл, нередко и роковой.

Профессор эзотерики Игорь Иванович Поньрев, сын того самого профессора истории Ивана Поньрева, бывшего когда-то поэтом Иваном Бездомным, да прекратившим по понятным причинам занятие поэзией и ставшим потом крупным учёным-историком, пытался разгадать суть странных происшествий, имевших место где-то в начале III тысячелетия от Р. Х. в городах Москве и Киеве, причём случившихся в одну и ту же весеннюю ночь, при полной, надо заметить, луне, когда-то так сильно беспокоившей его отца — профессора Ивана Поньрева и весьма беспокоившей его самого, профессора Игоря Поньрева, наверное, по мотивам до конца ещё невыясненной нефизической генетики.



В ту ночь Игорю Ивановичу, как, впрочем, и всегда в полнолуние, не спалось, мало того, ему было как-то особенно не по себе. И только на следующий день из телевизионных новостей он узнал причину своего нешуточного беспокойства: в Москве и в Киеве в ту весеннюю ночь горели, хоть и не сгорели до конца, кем-то умело подожжённые, два самых загадочных музея — один, московский, располагавшийся на Садовой, 10, а другой киевский, размещавшийся на Андреевском спуске, 13.

Поджигателей в ту большелунную ночь никто не видел, сторожа мирно спали и чуть сами не сгорели, да вовремя подошли проворные пожарные, немедленно погасившие огонь. Пожар оставил целёхонькими, хоть и жутко обгоревшими, музейные помещения, но зато полностью уничтожил их уникальные экспозиции — разноцветную стенопись в Москве и мертвенно-белую вещественность в Киеве.

Однако упорно говорили почему-то, что поджигателей всё-таки видели, но... никаких фотороботов составить милицейским следователям не удалось, ибо лица преступников, или попросту хари, были, кажется, надёжно сокрыты под надетыми на голову капроновыми чулками, а может, их — этих самых лиц — просто и не было, как, собственно, не было и самих поджигателей, но зато были... коты, возбуждённо убегавшие в разные стороны от пылавших достопримечательностей и задорно подмигивавшие друг другу зелёными прогалинами шалых глаз.

Дело было явно нечистое, но образованным и просвещённым свидетелям пожаров, которые, собственно, ничего и не видели, как-то было неудобно говорить о какой-то нечистой силе, беспрепятственно проникшей в эти старорежимные дома, приняв как будто бы образ весёленьких подвыпивших котов.

Один из очевидцев пожара в Москве якобы видел даже, что перебегавший широкий проспект чёрный, как кочегар, котяра был велик размером и держал в лапе, семена на трёх ногах, не что иное, как... примус, от которого несло во все стороны на редкость вонючим керосином. Мало того, очевидца возмутило до глубины души, что этот котяра остановился вдруг посреди мону-




ментального проспекта, аккуратно между разделительными автомобильными полосами, хлебнул прямо из примуса гадкой жидкости, крикнул удовлетворённо, вытер лапой свою красную белозубую пасть, нагло подмигнул оторопевшему очевидцу и неторопливо, держа примус за дужку тонкой ручки поганым хихикающим ртом, пересёк проспект и растаял во мгле противоположного тротуара.

Игорь Понырев хорошо понимал, чьих рук делом были эти преступления против истории, литературы и искусства, но... поверить в это, несмотря на все свои эзотерические познания и применяемые им психотехники, он никак не мог. Хитроумному Игорю Ивановичу ещё только предстояло осознать, зачем же эти черти совершили такое гнусное злодеяние.

Профессор Понырев немедленно прибег к своему излюбленному методу — медитации. Забравшись в широкое, доставшееся от отца кресло, он, приняв позу тибетского ламы, погрузился в вещий полусон, призывая мировой дух раскрыть ему секрет странных происшествий. И что интересно: на шестой раз ему это удалось! Он услышал в перетреске какого-то неестественного огня, как тихий, но какой-то по-особому обширный голос, вдруг произнёс хорошо известные, но всё ещё задевающие человеческую психику издевательские слова: «Мене, мене, текел, упарсин!»

Выйдя из транса, профессор, прекрасно знавший эти слова, обращённые к далекому Валтасару и его беспутным сотрапезникам, и их магический смысл, принялся разгадывать, что же они могли значить в занимавшем его необыкновенном случае. После долгих расшифровочных мытарств, он вдруг понял, что означали они не что иное, как «Идол повержен и суд вершится!» Но профессору было совершенно не ясно, о каком идоле и о каком суде шла речь.

Понырев понимал, что ко всей этой фантазмагории имеет прямое отношение знаменитый московский роман, но какое именно? Он выхватил из шкафа томик с романом, испещрённый пометами отца и его собственными, и принялся быстро перели-



стывать страницу за страницей, надеясь таким образом наскочить на какой-то удобоваримый ответ. Ему это долго не удавалось. Наконец, он обратил внимание на словечко «покой», и тогда его вдруг осенило: «А обрели ли этот самый покой автор романа со своей возлюбленной Маргаритой?» В романе вроде бы да, а вот за его пределами? «И если нет, то тут, — продолжал размышлять Поньрев, — могло быть уже всякое...».

Поверженным идиолом мог быть сам московский писатель, его роман, великая русская литература, страна, либо же сам по себе человек... точнее, представление о нём, выработанное *новым временем*, а суд мог вполне иметь место над чем-нибудь подобным.

«Да-а, — мозговал в холодном поту озадаченный эзотерик, — тут могло быть всякое, коли сгорели, подожжённые лохматыми негодьями из романа, два великолепных редкостных музея, точнее, их выразительные достопримечательности, как на Садовой, и редкостная экспозиция, как на Андреевском спуске. Что же это означает, расправа, месть, возмездие, предостережение, покаяние, очищение?»

Свеча на маленьком поньревском столике давно прогорела, квадратное кабинетное пространство невесело пересекалось бледно-синим светом, льющим от господствовавшей в чёрном небе луны и отражавшемся в стеклах разместившихся по периметру комнаты книжных вместилищ.

Поньрев заметил вдруг на стеклах какие-то тени, которые, хаотично перемещаясь, изменяли свою конфигурацию, переливались друг в друга, соединялись и распадались. Он даже стал различать в этих, казавшихся бесформенными светло-тёмных пятнах, какие-то изобразительные конструкции.

Поньрев стал заинтересованно всматриваться в этот развернувшийся неожиданно перед его изрядно затуманенным взором необычный и явно вещий театр теней.

Вдруг ему показалась, что он стал различать что-то вроде человекообразных фигур, участвовавших в каких-то чуть ли не магических действиях. Он увидел огонь, — да, это был, несо-



мненно, огонь, а лучше сказать, костёр, — а в непосредственной близости от костра он различил фигуры... Мастера с его неизменной шапочкой на голове и Маргариты с её завитыми кокетливо волосами, а немного поодаль какого-то явно чем-то опечаленного молодого субъекта рыцарского покроя. Но самое поразительное было то, что в костёр летели... книги, да, да, именно так — книги! Профессор понял, что он стал неожиданно свидетелем какого-то запредельного литературного аутодафе.


«Вот оно что! — догадался ошарашенный увиденным Игорь Поньрев. — Всё-таки Мастер решил на новое, теперь уже окончательное сожжение злополучного романа, а может, и всех своих литпроизведений, а может...». Но это было уже безразлично эзотерику, который сообразил наверняка, что пожары в музеях явно не были случайными, что проделал их этот самый молодой субъект рыцарского покроя, так удачно справившийся в романе с ролью гнусного кота Бегемота, что сделано это было с согласия автора провидческого романа, что с Мастером и Маргаритой, которые, судя по всему, всё-таки не обрели для себя ожидаемого ими покоя, произошло что-то экстраординарное и очень для них важное...

Тут глаза профессора различили на стеклянной авансцене что-то вроде храма с крестами на луковичных башенках и три фигуры, шедшие навстречу этому самому храму, за которым, как показалось Игорю Ивановичу, уже поднимался неторопливо, но уверенно розово-синий рассвет.

«Что ж, — подумал профессор, — мучительное отречение, видно, состоялось, теперь следовали неизбежное покаяние и Суд Божий!»

Поражённый увиденным, Поньрев долго ещё сидел в своём кресле, то ли что-то усиленно обдумывая, то ли, наоборот, ни о чём уже не думая, то ли напряжённо медитируя, то ли находясь в глубокой прострации.

И случилось вдруг то, чего совсем не ожидал закалённый в размыслительных боях с самим собою профессор эзотерики — из-под задрожавших век его вдруг показались слёзы, которые



медленно покатались по его впалым щекам, а через мгновение профессор уже не смог сдержать прорвавшихся из душевной неволи судорожных рыданий.


В конце концов рыдания его прекратились, профессор почувствовал сладостное успокоение и стал с улыбкой на просветлённом лице мирно, прямо-таки по-детски засыпать, как вдруг... что-то сильно кольнуло его в сердце, профессор, вскрикнув от острой боли, открыл широко глаза и увидел перед собою... своего отца, одетого в казённый халат, сидевшего на больничной кровати и беседовавшего с худощавым сероглазым человеком, одетым в такой же халат и с чёрной шапочкой на голове... но больше Игорь Понырев, профессор эзотерики, ничего уже не видел.

Пришедшая утром домработница Аннушка обнаружила — сидящим как-то неестественно в кресле с поникшей головой и опущенными руками — бездыханного хозяина чудотворного кабинета. Рядом с креслом валялась потрёпанная книга — то был роман «Мастер и Маргарита», раскрытый как раз на странице, где речь шла об обретении самоотверженной и распрощавшейся с земной жизнью романной парочкой вечного покоя.

Так неожиданно закончил свой земной путь профессор эзотерики Игорь Иванович Понырев — главный консультант двух самых нестандартных и загадочных музеев, что были открыты при его активном участии в Москве, где писался самый плутовской роман современности, и в Киеве, где родился, вырос и возмужал гениальный создатель этого беспокойного произведения.

Однокашники

Они встретились, как было условлено, у памятника Михайле Ломоносову, что водружён за чугунной оградой перед одним из зданий университета на Моховой, прямо напротив достославного Манежа, недавно почему-то сгоревшего, но вновь уже отстроенного. В эстетски простом, но достаточно величественном здании, что возвышался за спиной сидящего в горделивой позе



основателя университета, приятели когда-то учились, постигая азы одной из прозорливых гуманитарных наук, вышедшей ко времени встречи приятелей из моды, наверное, по причине излишней для воцарившегося буржуазного мира откровенности.


После обычных для такого рода дружеских встреч приветствий и объятий, приятели, окинув благодарным взором дворик и здание своей Alma mater, вышли на угол Моховой и Большой Никитской и, немного поразмышляв, решили двинуться вверх по Никитской, носившей ещё совсем недавно имя Герцена, этой старинной московской улице, делившей территорию университета пополам.

Через пару мгновений друзья оказались перед дверьми университетской церкви св. Татьяны, а в их студенческое время — Дома культуры, и решили, недолго думая, войти в хорошо знакомые им двери, чтобы вспомнить навсегда ушедшее прошлое, а заодно и побыть в церкви, подышать её особой атмосферой, поставить на счастье свечи.

Поднявшись по старинной чугунной лестнице в колонный зал, бывшим когда-то фойе Дома культуры, они сразу окунулись в воспоминания о студенческих вечерах, там регулярно проводившихся, о том, как они танцевали в этом высоком красивом пространстве под звуки вполне достойного джазового оркестра, ели бутерброды и пили фруктовую воду.

Войдя в церковь, разместившуюся в бывшем зрительном зале Дома культуры, они, конечно же, припомнили концерты мастеров искусств и студенческой самодеятельности, спектакли местного домового театра, весёлые и шумные представления юмористической студии, встречи со всякими выдающимися людьми, просмотры редких кинофильмов, в общем, всё то, чем обычно полнилась тогда бойкая и разнообразная жизнь высоко-сортного культурного и развлекательного центра.

Теперь здесь стояла священная тишина, горели свечи, висели иконы, а на прихожан и случайных посетителей со всех сторон внимательно глядели пронизательные глаза святых.



— Вот видишь, — заговорил еле слышно один из приятелей, — был театр, а теперь вот церковь, а на месте сцены — алтарь. Правда, до нашего театра здесь уже была церковь, так что это сцена тогда была на месте алтаря, а не алтарь на месте сцены.

— Ошибаешься, друг, — ответил ему негромко приятель, — с самого, самого начала, ещё в тридцатые годы XIX в., здесь был как раз театр, более того, здание, в котором мы сейчас находимся, было построено по желанию одной богатой меценатки именно для театра — университетского театра. Но уже в сороковые годы того же века театр был закрыт, наверное, не без ведома императора, а помещение передано под церковь. В ней как раз и Гоголя отпевали. Вот какая тут незаурядная история: театр, потом церковь, затем, уже в тридцатые годы XX в., снова театр, и вот теперь — опять церковь. Недаром противоположности почему-то всегда сходятся, как бы не могут обойтись друг без друга, без какого-то странного взаиморасположения, сопровождаемого постоянным взаимным же отрицанием.

Поставив свечки в честь св. Татьяны и своих небесных покровителей, постояв некоторое время посреди светлого и приветливого храмового простора, приятели покинули церковь и продолжили свой путь вверх по Никитской, в сторону знаменитой московской консерватории. Последняя, правда, их в тот момент вовсе и не интересовала, зато очень влекло к себе одно старинное заведение, расположенное чуть поодаль и наискосок от консерватории — ранее то была обыкновенная закусочная, потом вполне пристойная рюмочная, а теперь вот, уже по высшему разряду — кафе «Рюмочная», не утратившее, впрочем, присущих такого рода славным местам известной демократичности и даже некоторого очарования: чисто, уютно, вкусно и недорого, опять же выпить всегда можно, да не только водки или пива, но и вина, коньяку, чаю, как непременно при этом и закусить, да что закусить — поесть! В общем, вполне привлекательным то было место для двух старых приятелей, давно уже знакомое и по-своему знаковое!

Снабдив себя по классическому варианту водочкой, солёными грибами, свежеквашеной капусткой, аппетитным холо-



дечком, чёрным хлебушком, ну и, конечно, макарончиками по-флотски, приятели уселись за столик у дальней стены, всё ещё сохранявшей старый советский декор, быстренько приняли по первому глоточку берущего за душу напитка, закусив для начала чёрным хлебушком, посыпанным солью и молотым перчиком, а затем... затем стали неторопливо говорить, не забывая про верную водочку, дивную закуску и добрую еду, в какие-то моменты пополняемые до необходимых объёмов с учётом потребных кулинарных параметров.

— Не выходит у меня из головы эта университетская череда из театра и церкви, как, наверное, из науки и религии, физики и метафизики, видимости и мистики. Какой-то прямо-таки трансцендентный спор за истину, сходный своим сюжетом с не лишённым апокалипсического (*он сказал апокалипсического, через «с»*) лукавства романом «Мастер и Маргарита». Помнишь, как мы читали этот роман в журнальном ещё варианте, мало что в нём понимая, а пожалуй, ничего по сути и не понимая?

— Да-а, ты прав, в романе этом ведь большая заявка на истину, и тоже в каком-то её чередовании, а вот сегодня уже имеет место чуть ли не мирное сосуществование этих принципиально разных истин — клерикальной и светской, а иначе — Христа и антихриста, Бога и дьявола.

— Помнишь, как мы спорили до одурения с ребятами из Сергиева Посада, а тогда Загорска, чуть ли не одерживая над ними умственную победу, а ведь мы тогда стояли фактически на стороне антихриста, почти как когда-то антихристианин Саул, ставший потом великим христианином Павлом. За ребятами была всего лишь абстракция, а за нами — реальность, вот мы и брали над ними верх, а для окорота нашего у них не хватало ни убедительных аргументов, ни попросту житейского опыта.

— Нельзя сказать, что мы совсем уж не признавали тогда религии, но принимали религию за потребную человеку сказку, Христа — за простого проповедника, а всеобщую любовь — за всего лишь недостижимую мечту.



— И ничего по сути не понимали! А главное, не понимали того, что мы, в целом правдиво видя и оценивая реальность, играли и даже невольно адвокатствовали на стороне как раз антихриста, того же Иуды Искарриота, предателя Христа и его погубителя.

— Да-а, мы мало что понимали тогда, хоть и фрондировали весьма лихо, прямо как коровьевы какие-нибудь.

— Всему своё время! Теперь вроде бы кое-что соображаем, не фрондируем отважно и по-глупому, к истине кое-какой придвинулись, но, знаешь ли, к горькой, очень горькой истине, а потому в основном и помалкиваем.

— Что ж, за молчание!

— Давай!

— Хороша всё-таки водочка, особенно сейчас, в мороз.

— И непременно с грибочками.


— Сначала я, как бы это сказать, разочаровался в науке, разумеется, в нашей — гуманитарной. Подлая, скажу тебе, это вещь! Мало того, что по большей части ложна, пусть во многом и бессознательно, но ведь на истину нахально и рьяно претендует, чуть ли уже не конечную. А сама не в состоянии ничего путного сказать ни о реальном человеке с реальным обществом, ни о действительной истории с её хваленным прогрессом и реками крови. Кругом одна путаница и пустота!

— И тогда-то ты двинул в философию?

— Да, но не в научную, не в рациональную, не в эффективную, а в метафизическую, возродив в себе значение и ценность оболганной слепыми учеными метафизики. А почему? Да просто понял однажды, что реальность наша насквозь метафизична, хотя, разумеется, и физична тоже, мало того, дошло до меня, наконец-то, что всё метафизическое, или же идеальное, значительнее, важнее и первее физического, материального.

— И создал свою философию?

— Не создал, пожалуй, а, скорее, узрел, с учётом, конечно, и разных предшественников — известных и неизвестных, хотя я



ничьим прямым учеником и явным последователем никогда не был.

— Ты долго искал чего-нибудь подходящего, но не найдя оно, сотворил кое-что своё, — так, примерно?

— Можно сказать и так.

— И что же тебе говорит твоя философия?

— Тут надо учесть, что в центре её внимания более всего человек, причём человек живущий, действующий, хозяйствующий...

— И что же?

— Ты хочешь, чтобы я тебе лекцию тут прочитал? Давай, лучше выпьем ещё, под флотские-то макарончики, которые, скажу тебе, подают только здесь, в этом затерянном среди обуржуазившегося города райском месте, бывшем когда-то стопроцентной столичной забегаловкой.

— За философию!


— Метафизическую, конечно!

— Ну так что же ты нагородил?

— Ладно, бог с тобой, отвечу, но очень кратко: человек, а речь идёт ныне уже о дехристианизированном европеоиде, решившим однажды покончить с зависимостью от природы и отвергнувшим опеку со стороны Господа Бога, натворил уже столько всего, что попал прямёхонько в апокалиптический тупик, из которого нет иного выхода, как только в какой-то уже постчеловеческий мир. Вот почему я за лживость науки и истинность Христа, подкрепляемую присутствием в святом писании разделчика, выразительно именуемом «Откровением», в котором повествуется не столько даже о неизбежно сотворяемой человеком вселенской катастрофе, сколько об антихристовой природе самого человека, как и, разумеется, многого из им свободно вытворяемого.

— И что, эта вселенская катастрофа и в самом деле неизбежна?

— Выходит, что так! На то и святое писание, его непреходящая истинность. Иное дело, *какая* катастрофа и с *какими* по-



следствиями, — и ответ тут пока такой: или поэтапная погибель человечества, или рискованный перепрыг какой-то его части в постчеловечество, что, в общем-то, равносильно той же погибели.

— И при этом всё-таки спасение?

— Вполне возможно, но уже с появлением *иного* существа, пусть и человекообразного, и пребывающего в *ином* бытовом контексте. Впереди, дружище, одна трансцендентная неопределённость!

— Христос и христианство для тебя вполне истинны, так?

— Так.

— Но ведь тут один миф.

— Миф-то миф, но миф истинный, так сказать, подлинный, окроплённый невинной кровью и сошедший прямо со скорбного креста. Как ты думаешь, почему этот миф так необыкновенно сработал, не только обеспечив явление мировой религии, но и заметное преобразование мира человеческого? Разве лишь из-за самой по себе проповеди Христа?

— И почему же?

— Из-за того, я думаю, что стал краеугольным камнем, разумеется, идейным, нового мира.

— Но мир-то этот новый — христианский, как следует из того, что ты только что сам сказал, был построен и потом внезапно перестроен как раз антихристом?


— Улавливаешь — *антихристом*, то бишь не кем-нибудь, а противником самого Христа, не кого-нибудь противником, а именно Христа, чуешь?

— Выходит, что в начале Христос со своим словом, а потом и антихрист со своим делом.

— А теперь, точнее, в будущем, возможно, и скором, вновь на исторической арене оказывается Христос.

— Со своими Вторым Пришествием и Страшным Судом?

— Почему нет, ведь реальность уже буквально об этом вопиет, она сама чего-то подобного давно уже жаждет, готова чем-то подобным немедля разразиться!



— Но ведь вся история человеческая практически такова — безумная, катастрофическая, невозможная!

— Верно! Для того и Христос явился в мир человеческий, чтобы радикально его изменить.

— И у него ничего путного, заметь, не вышло.

— Нет, почему же, кое-что всё-таки вышло: вселение в сознание и подсознание человека самой истины христовой, которую уже пятьсот лет энергично выбивают из человека, а выбить всё-таки до конца никак не могут.

— Но которую тот же человек взял да отверг, обратившись к антихристу...

— И осознав в итоге, что антихристова истина вовсе не Христова истина, хотя и рождена была по поводу Христа, ему в противодействие.

— Тогда выходит, что весь христианский период от Рождества Христова до наших дней, а может, до какого-то ещё неведомого срока, всего лишь... *эпизод!*?

— Почему нет, у Господа свои сроки, свои размеры и свои горизонты. Разве нам известен полностью замысел Господа Бога относительно человека?!


— Как и не очень-то известен замысел Бога Отца относительно отправленного им на землю Бога Сына, измены того же Иуды, подлого суда над Христом, его жуткой казни, наконец, неожиданного чудесного воскрешения. Прямо-таки вся историческая матрица тут: богоотступничество, уже текущий суд, уже в общем-то идущая катастрофа, какое-то неумолимо надвигающееся превращение, но пока в антихристовом варианте, который, выходит, есть необходимый эпизод иного — уже Христова — варианта. Круто!

— Ладно, всё так или иначе внутри замысла Божиего, хотя кое-что всё-таки и до нас смертных доходит.

— Что же?

— Жить и действовать, то бишь хозяйствовать, творить, делать, согласно Софии Премудрости Божией, вот что?

— Это как же?



— Ну, братец, ты многого хочешь, не предлагая даже выпить за мудрость человеческую, которая тоже ведь есть, питаемая, разумеется, мудростью Всевышнего. Давай-ка, лучше, за мудрость!

— Не возражаю, за мудрость, так за мудрость! Истина-то ведь тоже как будто в вине, ежели язычок хорошенько подразвезать.

— Вот мы и развязываем, переживая вместе с Россией славный и горький апокалипсизм, от неё что-то никак не отстающих.

— А отстанет? Что там говорит твоя хитроумная философия?

— Представь себе, отстанет! Но не сегодня, не завтра и не послезавтра. Прямо посреди трансцендентного *никогда*, внезапно, даже без всякого на то явного предупреждения. Россия — не обычная страна, ищущая лишь земного благополучия, она — не от мира сего, а сегодня, пожалуй, даже и не от себя самой. Наше безумие ведь особое, крайнее, адское, и тут любые расчёты и прогнозы совершенно бессильны.

— Тогда ты просто веришь?

— Предчувствую, разве этого мало?

— А как тебе в храме науки с твоей философией?

— И так, и этак! Она есть, моя философия, вещает, развивается, но, разумеется, нравится она не всем, далеко не всем, так что жмут её, не пускают, замалчивают, сторожат. В общем, так и быть, наверное, должно!

— Держись!

— А я и не унываю, хотя иной раз и грустно бывает, и больно, и гадко. Я ведь, понимаешь ли, не персона грата, меня довольно унижают, на мои просьбы и обращения не отвечают, разумеется, не все, не все, далеко не все, к тому же сама окружающая апокалиптическая страда за нас и за нашу философию, даже баснословная вокруг суета и грязь, — зыбко ведь повсюду, неверно и предосудительно, одним словом, как бы это получше сказать — дерьмово!




— Создатель «Мастера и Маргариты» Москву нашу, им явно нелюбимую, в бездну какую-то мерзкую отправил, в квадрат, в пустоту, то бишь, конец ей предсказал, вполне вроде бы и заслуженный, в чём, надо признать, и не совсем ошибся, а вот о душе русской почему-то ни слова не сказал, может, по причине своего закоренелого киевлянства, а может, посчитав, что она уже сошла с арены исторической — прямо во ад! Опасно это, душу-то русскую хоронить!

— Ты, пожалуй, прав, писатель этот и в самом деле как бы без души, он вроде бы идеалист, но какой-то механический, хорошо знающий, что Бог есть, но Ему не верящий, даже с Ним особенно и не спорящий. Он, по-моему, никогда никого настоящего не любил, хотя и был крепко привязан к матери или к той же третьей своей жене. Привязанность — не любовь! А уж русского человека, этого иномирного бедолагу, ленивца и хама, он и подавно не любил. Недаром же он Гоголя обожал, через посредство своего мрачноватого юморка русского человека до кишок изобличившего.

— Мы тогда действительно ничего не поняли в этом в общем-то страшном и опасном произведении — ничего!, как, собственно, и в его авторе, полном разрушительного, питаемого нелюбовью, сарказма. Недаром же уверенные в своей правоте красные оптимисты его всю тогда пинали и гоняли, стараясь начисто изжить со свету, а товарищ Сталин, другой гений нелюбви и сарказма, оборонял его, правда, не выводя на свет божий из прикрывавшей их обеих эзотерической тени.

— Что говорить, то был реквием, этакий золотой реквием, украшенный всплесками едкого саркастического смеха и замешанный на неизбежной людской печали, совершенно при этом карнавальным, почти что венецианского кроя, всю театральным, но совершенно и безысходным, под игриво-торжественные звуки которого разве лишь вся эта уродливая машина, называемая русской жизнью, спустится самозабвенно в какие-нибудь искупающие тартарары, откуда она, может, и вернётся вдруг очищенная, но не для того ли, чтобы явить миру окончательное доказа-



тельство невозможности какого-либо для homo sapiens счастливого земного бытия? Вот такой, или примерно такой, реквием, одновременно весёлый и грустный, а главное, с пророческой завязью, и подарил человечеству наш московский, киевского разливу, романист.

— Ну ты даёшь, философ, я аж рот разинул — от восхищения и недоумения! Давай-ка лучше по последнему глоточку, с остатку! За людей!

— Что ж, давай — за людей, так за людей!

— Хорошо посидели, пора, пожалуй, и двигать.

— Хорошо оттянулись, факт!

— Тогда вперёд, на штурм великого сказочного города!


Прятели, поблагодарив гостеприимных хозяек лакомого заведения, выкатились на улицу, полную идущего прямоком с неба рождественского снега, через завесу которого откуда из-за никитских домов еле пробивалось круглое оранжевое солнышко — верное свидетельство хорошего настроения в городе и в душах слегка разомлевших от общепитовского уюта приятелей.

— Да-а, — протянул один из них, — здорово! Всего-то двести пятьдесят на двоих, а хорошо! Да и роман этот злополучный не так уж страшен, если, конечно, Мастера этого вон из подполья, а Маргаритке его всыпать хорошенько куда надо за её пренебрежение причудливой красотой таинственных московских закоулков.

Консультант

Роман о романе, или же роман с романом, подошёл к концу.

Автор сего эпохального произведения вышел из станции метро «Парк культуры», прошествовал через короткое время мимо домика Мастера, где, уединившись в подвальчике, тот выстуригивал свой мистический роман, поджидая ежевечерне свою блистательную Маргариту, кокетливо стучавшую ему каждый раз



в оконце, уведомляя о своём пришествии ударом носика изящной туфельки.

Затем он проследовал мимо особняка Маргариты, точнее, особняка её незадачливого мужа — большого будто бы по тем временам государственного чиновника.

Не оставил он без своего прогулочного внимания и громадный дом в Театральном переулке, где жил мерзкий критик Латунский, чью квартиру буквально разгромила в отместку за его язвительные нападки на творчество дорогого ей романиста разгневанная Маргарита, бывшая в тот момент очаровательной ведьмой с завитыми каштановыми волосами, ещё и совершенно голой, правда, и совершенно при этом невидимой.

Потом он дошёл до писательского очага — до Грибоедова, где вроде бы размещался, согласно роковому московскому роману писательский союз со вполне сносным рестораном, посещаемым разнокалиберными литераторами, как правило, ничего особенного не писавшими, но зато много, живо, беспардонно и безрезультатно о чём-то всегда спорившими. Затем автор романа о романе, или романа с романом, вернувшись обратно и взяв резко в сторону, добрёл до Патриарших прудов, где произошла-де когда-то достопамятная встреча руководителя писательского союза и всезнающего редактора толстого литературного журнала Берлиоза и так и оставшегося никому не известным поэта Бездомного с нарочито скромного вида, но при этом явно умным и много знающим седовласым господином с ироничной улыбкой на несколько усталом, но крайне интеллигентном лице.

Дойдя до первой свободной скамейки, она по счастливой случайности оказалась аккурат той же самой, на которой когда-то оживлённо спорили матёрый Берлиоз и начинающий поэт Иван Бездомный, автор романа о романе, или романа с романом, с удовольствием опустился на скамью и, вытянув с наслаждением слегка натруженные ноги, закрыл глаза.

Он живо представил себе сцену бестолкового, жаркого и, как вскоре выяснилось, рокового спора друзей-литераторов, и внезапное появление неизвестного, как-то их сразу заинтересо-



вавшего, хотя и показавшегося почему-то слегка подозрительным, господина в добротном летнем костюме, при бабочке и элегантной соломенной шляпе, с какой-то необычной тростью, на которую он, уверенно воссевшись на противоположной скамье, грациозно опирался сцепленными между собой выразительными руками.


Автор даже усмехнулся про себя удовлетворённо, настолько отчётливой представилась ему вся знаменитая теперь романная комбинация.

Некоторое время он продолжал сидеть с закрытыми глазами, прислушиваясь в лёгком забытии к взлетавшим там и сям звукам полуденного сквера, окольцевавшего не слишком большой, но достаточно обширный, старинный московский пруд. Среди детских криков и коротких назидательных возгласов сопровождавших детей мам, бабушек и бонн, обрывков чьих-то разговоров, ведшихся женскими и мужскими голосами, деловитого шума проползавших по периметру сквера автомобильных моторов, не слышно было только треньканья и грохота трамваев, которые здесь давно уже не ходили вопреки великолепной экзекуции, которую их неповоротливый предок, ведомый доблестной ясноглазой комсомолкой, проделал как раз здесь, совсем рядышком, над ни в чём неповинным, кроме своей потрясающей эрудиции и великой учёной самоуверенности, московским вождём писателей, поэтов и критиков Берлиозом.

Автор романа о романе, или романа с романом, лишь усмехнулся понимающе, не улавливая вокруг признаков заинтересованного трамвайного присутствия.

Тут он открыл глаза и... о, боже!.. увидел перед собой на противоположной скамье хорошо одетого господина, при бабочке и в шляпе, с необычной тростью в холёной руке, а главное, с моноклем в левом, чуть косящем и зеленовато поблёскивавшим глазу, то бишь увидел не кого-нибудь, а... самого Воланда!

«Галлюцинация, — молнией пронеслось в голове автора, — этого ещё не хватало, надо же, дописался!»



Но тут он, к счастью, заметил, что сидящий напротив господин вовсе не имел уже ни монокля, ни трости, а одет был вполне обычно, да и не был он никаким чортовым Воландом.

«Действительно, галлюцинация, — подумал с облегчением автор, — наверное, я всё-таки нечаянно заснул или же как-то смедитировал в полудрёме».

«Ничего подобного, — неожиданно заговорил вполне дружелюбно, несколько загадочно улыбаясь, незнакомец с противоположной скамьи, — никакого сна и никакой медитации не было, хоть кое-какая галлюцинация и случилась, но исключительно по моей вине. Я не хотел тратить время на знакомство с вами, а потому на мгновение вошёл в хорошо известный вам образ... Вы уж меня, сударь, простите!»


Тут автор романа о романе, или романа с романом, всё понял: перед ним был он, именно *Он*, либо уж, на крайний случай, его ближайшее доверенное лицо.

«С кем имею честь, если позволите?» — проговорил автор с той же характерной, немного ироничной, учтивостью.

На что получил вежливый, в том же духе, ответ: «Не всё ли равно, милостивый государь... Называйте меня, как хотите, и думайте обо мне, что хотите! Мне всё равно: сатана, дьявол, шайтан, чорт, бес, демон, Вельзевул, Ваал, Прометей, Одиссей или Пифагор, великий магистр или великий инквизитор, вечный жид или бессмертный Кощей, а также Руссо, Гёте или Ницше, президент какого-нибудь закрытого общества или премьер какого-нибудь открытого-де правительства, даже и обыкновенный барабашка... Но поскольку мы с вами всё-таки серьёзные и кое-что знающие... — он на секунду запнулся, — ...э-э... разумные существа, то считайте, что я... *консультант*, — очень, скажу я вам, хорошее положение и очень, замечу, непростая должность».

Автор усмехнулся, слегка даже подмигнув: «Для разведчика?»

«Ну, почему же сразу... так... сразу, — поморщился господин, — скорее, всё-таки для доброго миссионера».



«В задачу которого входит, — сыронизировал автор, — просто всё знать...».

Господин живо добавил: «И обязательно участвовать, — разумеется, в самом важном и неотложном».

«В том числе и в устройстве кутерьмы в Москве 30-х».

«Ну, не только, не только...».

Тут на скамейку рядом с автором романа о романе, или романа с романом, опустилась внезапно красивенькая птичка, вроде синицы.

«К чему бы это?» — едва успел он подумать.

«Вот видите, — услышал он с противоположной скамьи, — сама истина тут где-то рядом витает, а вы, сударь, про какую-то нелепую кутерьму, какой, по-моему, вовсе и не было».

«Как не было?» — удивился автор.

«Была попросту фантастическая реальность, да-с, именно так... фантастическая реальность, которая ведь и сейчас повсюду, не так ли?»

С таким замечательно оригинальным и точным мнением трудно было не согласиться, и автор, почувствовав себя невольным заинтересованным, подумал: «Так, так, то ли ещё будет!»

Тут между собеседниками прошла чинно и непринуждённо стайка счастливых мам с колясочками, в которых покоились их замечательные дети, наверное, все... *индиго*. Мадонны мирно о чём-то между собой говорили, впрочем, говорили они, конечно, о своих утихомиранных на тот момент чадах, их самоотверженным взращивании и потребном для маленьких неосуществительном воспитании.

Собеседники на время умолкли, не имея возможности продолжать было увлекшую их скоропалительную беседу, откровенно залюбовавшись на прошеествовавших мимо них жён, ничуть при этом на них не досадуя.



Тень

Крепкой и на редкость плодovitой оказалась построенная Сталиным система — аж на сорок лет её ещё хватило, — и это при стратегически бездарнейшем её руководстве — нового эффективного вождя для неё уже не нашлось!


Добившись немалых социо-технических результатов, набрав великую силу, заняв ведущее положение в мире, борясь с мировой закулисой за альтернативный образ бытия, готовая к новой гигантской мировой схватке, сталинская система, давшая своим подданным достаток, покой и уверенность в завтрашнем дне, поддержав и продлив классическую культуру, утверждая традиционную мораль, не дала, однако, ни чаемой людьми и их мелкими сообществами гражданской свободы, ни возможности личных и корпоративных обогащений, ни вожделенной частной собственности, ни бытового комфорта с гламуром, ни привольного и изощрённого разврата.

И поплатилась — отвергнутая, подточенная и преданная!

Сбылось предсказание мрачно-весёлого московского романиста: сталинское чудо-царство, ослабев изнутри и подталкиваемое к гибели извне, исчезло в одно мгновение, как и вся романная Москва, во чреве реальности, исчезло как несуразный призрак, превратившись в призрак уже совершенно ирреальный — не то мемуарный, не то фантастический, не то мифический.

Немало достоинств и возможностей было у сталинского чудо-царства, но... но... не было в нём... Благодати Божией... тут уж ничего не поделать!.. а соответственно не было и жизнеспособности: на безвинной крови, всеобщей мобилизации и беспрекословном повиновении далеко ведь не уехать, хоть без всего этого с места тоже было не стронуться.

Обречённым на гибель оказалось сталинское чудо-царство, но не только из-за себя самого — не так-де замыслено, не так построено, не так жило, а по причине самой природы челове-



ской — *свободо-*любивой и... *пороко-*любивой, которая всякое давление на себя, даже и очень оправданное, моральное и правильное, с гневом, отвращением и сладострастием с неизбежностью отрицает.

На Западе давно уже раскусили неприглядную суть человеческую — в ходе затяжного кризиса христианства, церкви и монархической государственности, понасоздавав по итогам кровавых боен лукавые — денежно-правовые, к тому же ещё и либеральные, организации человеческих роёв, а в России только-только к такому строительству приступили, призвав в советники по свойственной россиянам непосредственности и простоте не кого-нибудь, а самого господина хорошего дьявола, да ещё и в худшей его ипостаси — иудо-криминальной!

В результате скоротечной, конспирологической и абсолютно лживой антисталинской революции всё сталинское наследство, поделённое коварно в мгновение ока между «независимыми государствами», попало на трёхгодичное, а может, и тридцати-трёхгодичное удовлетворение к сонмам разного рода оборотней и бесов: от бывших «меченосцев» до выпущенных из тюрем воровских авторитетов.

И крови вновь пролилось немало, и страдания было много, и жертв, да вот совсем уже не в пользу ни исторического рывка, ни тысячекрылого полета, ни небывалого величия!

Сталин лишь на полвека оттянул неизбежный, как оказалось, приход иуд, пигмеев и пираний, обратив железной рукой взбаламученную революцией и от неё же погибавшую страну к небывалому для страны и мира созиданию.

И когда эти чудодейственные полвека внезапно истекли, то случилась... э-эх... вовсе уже не какая-то великая протестная революция, а попросту паскудная мещанская пертурбация, в результате чего на месте великой сталинской державы — мирового лидера — явилась вдруг перед изумлённым взором всего сознательного человечества... *колониальная провинция*... с поджатым от страха, угождения и умиления хвостиком, безропотно поставлявшая всему миру природные ресурсы, полуфабрикаты, знания, учёных, арти-



стов, женщин, детей, человеческие органы, рабов, жуликов, мерзавцев, бандитов, а взамен принимавшая с подобострастием потребительские суррогаты, устаревшие технологии и всякую субкультурную нечисть — от мерзких голливудских поделок до не менее мерзких ядерных отходов.

Растерзанная, опущенная, обобранная, униженная и оскорблённая страна — без собственного руля и своих ветрил, гнобившая упорно достойных и праведных, но зато лелеявшая страстно всякую субчеловеческую дрянь.

Явились и хозяева распластанной и присвоенной страны — частью легальные, частью законспирированные — наглые, беспардонные, хищные, а под них и всё необходимое — денежный, финансовый, ценовый и прочий экономический гнёт, лукавая политическая риторика, отвратная публичность, пустой интеллектуализм.

Одним и немногим — всё, другим и всем — ничего!

Кризис, крах, апокалиптический срыв!

Яма, помойка, свалка!

И как тут было не воззвать к... Спасителю, не кинуться в церковь, к Богу, к Христу, но... возжелать и человеческого спасителя, способного действовать прямо здесь и сейчас. И не было никакого иного тут решения, кроме вождя-спасителя... к товарищу Сталину, ещё карикатурно везде изображавшемуся, но вовсе не карикатурно всплывавшему в подавленном, но с надеждой озиравшемся встревоженном сознании.

И выдавила из себя вдруг апокалиптическая реальность вроде бы уже изрядно подзабытый и совершенно искажённый образ — образ усатого вождя-спасителя, и вышел опять на российский простор товарищ Сталин — теперь уже не как Сталин-призрак, а как *Призрак Сталин*, — как никем не видимая, но всеми почему-то хорошо замечаемая *Тень*, покрывшая вдруг собою огромную раскуроченную страну, провоцируя в ней какое-то странное — несбыточное, трансцендентное, но и вполне реальное — ожидание!

Аберрация? Ни в коей мере! Знак, апокалиптический в общем-то знак, вполне, знаете ли... и оправданный!

Патриаршие

*Как только межскамеечное пространство
освободилось от стайки озабоченных
своими чудо-отпрысками столичных мадонн
и возможность диалога
между автором романа о романе,
или романа с романом,
и явно иномирным консультантом восстановилась,
беседа была продолжена.
Первым заговорил всезнающий московский гость.*

Консультант: Дело в том, сударь, что ничего привлекательного для ума и сердца в этом бесконечном мире, кроме Земли и Человечества, нет и быть не может. Ничего!.. Не бессловесная же груда так называемых светил и планет может вызвать к себе неподдельное влечение. Я бы сказал определённое: вне Земли и Человечества ничего путного вообще нет! И если есть что-то, над чем неустанно бьётся человеческое эго, так это как раз сам человеческий мир, или же, согласно самоуверенной науке, мир разума, или же, согласно глубокомысленной философии, мир сознания, или же, согласно добропорядочной религии, мир Божий, или же, уважим господ Вернадского и де Шардена, какая-то непонятная им самим ноосфера.

Автор: А как же иной мир, или, быть может, миры?

Консультант: А вам-то что до всего этого зазеркалья, сударь? Вы принадлежите земному, то бишь человеческому, миру, разве этого мало? А что касается всего, как вы говорите, иного, то мало ли какие галлюцинации может выдать земное сознание, оно же и бессознание, которое ведь и само есть по сути своей од-

на большая галлюцинация. Ведь всё, что мы обычно называем разумным, находится внутри этой большой галлюцинации, как необходимая ей отрицательная ипостась.

Автор: Выходит, что всё мыслимое просто... выдумка?

Консультант: Я так не говорил! Галлюцинация — не выдумка, а самая настоящая реальность, причём исключительно человеческая.

Автор: Тогда и Бог, и дьявол в самом человеке и сидят... как галлюцинации?

Консультант: А где ж им быть ещё? Но это не значит, что они не самостоятельные существа и не имеют самостоятельного существования.

Автор: Ага... понятно: вы и сами есть лишь некое олицетворение такого рода сущности, не так ли?

Консультант (с ироничной улыбкой и чуть приподняв брови): Но лишь по роду занятий, сударь, по роду...

Автор: И сущности эти работают?

Консультант (сотворив горестную гримасу): О-о, приходится очень много работать... Вы, кажется, называете эти сущности в своих нелитературных произведениях трансцендентным ничто, и правильно, скажу я вам, делаете.

Автор (как бы не замечая сказанного): И каковы же шансы у человека?

Консультант (спокойно): Никаких!


Автор (удивлённо): То есть?

Консультант: Какие-такие могут быть шансы внутри галлюцинации, сами посудите? Ежели любые, то их словно и нет, не так ли?

Автор: Остаётся лишь неизвестность?

Консультант: Я бы сказал неопределённость... так, пожалуй, поточнее, ибо кое-что всё-таки человеку, кажется... то есть видится.

Автор: Через прозрение?



Консультант: Почему же, и через ту же футурологию, даже и через... эти, как их, научные прогнозы. Но вы правы: впереди всегда для вас, землян, неизвестность.

Автор: И ничего для нас не предопределено?

Консультант: Предопределена сама неопределённость, разве этого мало, или это очень уж плохо? Представьте себе, сударь, какой бы была ваша жизнь, если бы вам было всё в ней заранее известно: разве не удавились бы?.. Известность, я вам скажу — самое страшное наказание... что-то вроде пожизненного заключения.

Автор (переводя разговор): А вы-то, всемирная консультация, чем заняты?

Консультант (выразив неподдельное удивление): Как это чем? Мы руководим всем этим процессом.

Автор (тоже нарочито удивлённо): Ничего себе! Как же это у вас получается?

Консультант: Информация, средства связи, поля всякие, сети, паутины, институты, ну и, конечно же, воспитание, образование, в особенности — непрерывное, культура, наука, техника, искусство, литература — всё это в нашем распоряжении, — и потом нас ведь много, очень много...

Автор (перебивая): ...и имя нам Легион.

Консультант (утвердительно кивая): Совершенно верно — Легион.


Автор: Ну хорошо, пусть так! Но куда же вы всех ведёте, куда ведёт ваша водящая рука, коли впереди, да и кругом неизвестность?

Консультант (оживлённо): В том-то и дело, что никуда! Как вы не понимаете? *(Повторяет в растяжку):* Ни-ку-да!.. Это как раз наилучшая цель и есть.

Автор (с удивлением выпучив глаза и задрав брови): Но так ведь можно и к катастрофе, к самоуничтожению, к ничто?

Консультант: Почему же нет? Движеньё — всё, цель — ничто!

Автор: Стало быть, куда вывезет?




Консультант: В какой-то мере — да, но только в какой-то мере. Мы устремлены в иной, но тоже человеческий, мир. Не знаем, конечно, что в итоге получится, но ведём именно туда, в новую неизвестность, могущую стать и вполне привлекательной известностью. Мир же не может стоять на месте, во всяком случае, с нами. Мы раскрутили прогресс, ведём по нему и вместе с ним человечество. Понимаете — *прогресс!*.. Мы ведём к чему-то иному — иному, чорт возьми, неизвестному... Но зато все заняты, всем интересно, все преобразуются, становятся иными, жаждут иного, плюют уверенно на прошлое и смотрят с уверенностью в будущее, одним словом — *прогрессируют!*.. Что тут, скажите, плохого?

Автор: И чем дальше, тем всё менее с Богом в душе?

Консультант: Ну и что?.. Это его, господа бога, дело — бороться за души человеческие!.. Мы же, уверяю вас, совсем не против бога, считаем даже, что немного бога в душах человеческих не только нам не вредит, а даже и споспешествует. (*Пауза*). Иное дело, когда бог ополчается вдруг против нас, иной раз чуть ли не побеждая, тогда мы решительно бываем против бога, беспощадно и изошрённо с ним боремся. Наши агенты, жертвуя подчас собою, умело предотвращают его победу, а вот сейчас он нам совсем и не страшен, ибо нам удалось втянуть в раскрученный нами прогресс всё человечество, заняв всё его внимание и прихватив все его чаяния. (*Пауза*). Что же касается морально здоровых людей, то это тоже совсем для нас не плохо, ибо они с нами и служат нам, не менее, кстати, успешно, чем всякое аморальное отребье. У всех ведь своя функция.

Автор (со смиренной ехидцей): А не надорвётесь?

Консультант (без всякой иронии): Это, кстати, вполне возможно. Но тогда уж все в тартарары, всем миром, ибо мир теперь един, глобален, центрирован. (*Пауза*). Он ведь теперь колоссальная вертящаяся пирамида, где всем желающим и (*он слегка замялся*) заслужившим есть место и откуда никому уже не вырваться, а на самом вершине пирамиды как раз мы и есть: нам даже в грядущего антихриста превращаться не надо.



Автор: И от пирамиды отскакивают в небытие отслужившие свое люди, общества, народы?

Консультант (немного сокрушённо): Что делать! История! А история это непременно и всякие отходы, так сказать, космический навоз.

Автор: А вы сами-то — бессмертные что ли?


Консультант (внимательно и выразительно посмотрев на собеседника): Не будем об этом? Я и так достаточно откровенен с вами. *(Пауза).* Я прибыл сюда не для того, чтобы раскрывать перед тобой *(вдруг по-наглому перейдя на «ты»)* все наши тайны, а лишь для того, чтобы дать тебе понять, что не надо мучить себя слишком сильно поиском истины, которой нет, как и жертвовать собой ради человечества, которое этой жертвы вовсе и не жаждет. *(Пауза).* Ты заканчиваешь роман и должен его *правильно* *(господин сакцентировал на слове «правильно»)* закончить, но не по принуждению вовсе, а вполне осознанно, добровольно, я бы сказал — с радостью.

Автор: Ну, тогда и писать-то его не стоило!

Консультант: Почему же? Писать надо было!.. Почему не походить тебе и твоим будущим читателям... э-э... по лезвию ножа. Да и поймут тебя немногие, которые, кстати, тоже нам пригодятся — хотя бы своим корректирующим протестом... Иешуа разные, понимаешь ли, всегда нужны, но зачем же тебе-то, отцу семейства, уже и дедушке любимому, мыслителю глубокому, наставнику многоопытному, ещё и не обиженному вниманием женщин, становиться вдруг наивным и нелепым Иешуа, искать на свою шею, или на руки с ногами, какого-нибудь умника Понтия Пилата и ловкача Афрания... Зачем, скажи мне, тебе всё это? *(И добавил, лукаво усмехнувшись):* Тебе это надо?

Автор (удивлённо): И почему это вдруг вы, милостивый государь, проявляете обо мне такую заботу?

Консультант (приняв строгое выражение лица): Это не твоё, извини, дружище, а наше дело, а раз наше, то на всё есть и наша причина. *(Усмехнулся вполне приязненно):* Учти, что казнь тебе уже уготована, но не от нас и не такая вовсе, как была у Ма-



стера в романе, а от самих же любимых тобою читателей! Так что подумай, издавать ли тебе свой роман о романе, или, как ты изволил выразиться, роман с романом — подумай! (*Пауза*). А пока прощай и не мешай нам, не мешай!.. Это не угроза тебе вовсе, а дружеский совет. Прощай!

Господин консультант встал и уверенной походкой двинулся к выходу из сквера, как раз к тому самому, которым выбежали когда-то задетый за живое Берлиоз и растревоженный как осиное гнездо Бездомный, но никакого треньканья трамвая и скрипа трамвайных тормозов в воздухе не прозвучало. Незнакомец благополучно пересёк Малую Бронную, где его, как оказалось, поджидала комфортабельная машина, кажется, немецкой марки. Шофёр ловко выскочил из авто и уверенно открыл перед господином консультантом заднюю дверь. Незнакомец исчез во тьме чёрной колесницы. Шофёр мгновенно захлопнул за ним дверь, вскочил проворно на переднее сиденье, захлопнул за собой дверь и нажал на газ. Автору показалось, что за тонированным стеклом мелькнула ему на прощание ухоженная рука уверенного в себе консультанта.

Жрецы


Лондон. 2010 г.

*Выполненный в готическом стиле особняк
в тихом, фешенебельном квартале.*

*Двое мужчин незаурядной наружности,
явно интеллектуалы, за послеобеденным чаем,
в помещении редкостной коллекционной библиотеки,
перед неторопливо горящим камином.*

Тот, что постарше — хозяин дома, милорд.

Милорд (наливая в чашку душистый, явно высокого качества чай): Так вы уверены в этих русских, брат? (Протягивает



чашку собеседнику): Пейте, это наш, фирменный, прямо из Индии, редчайшего вкуса.

Брат (беря в руки чашку): С этими русскими, думаю, можно иметь дело. Они из влиятельных кругов, учились в Европе и США, честлюбивы.

Милорд (вдыхая аромат необыкновенного чая): Не подведут?

Брат (тоже наслаждаясь витающим над чашкой божественным духом): Полной гарантии дать, разумеется, не могу, но... весьма на них надеюсь.

Милорд (отпив глоток чая): Гарантий никто, никогда и никому дать вообще не может (*усмехнувшись*)... даже сам дьявол, не говоря уже об ультраосторожном Господе Боге.

Брат (охотно приступая к чаепитию): Это как раз те из русских, которые... э-э... не принадлежат к этнически русским, они не православные. Видят Россию западной и только западной. Правда... э-э...

Милорд (заинтересованно): Что же?

Брат (положив в рот сахаристое печенье): Они хотели бы равного партнёрства... э-э... в Клубе.

Милорд (удивлённо): Вот как! Уже хотят? Впрочем, если это серьёзные игроки, а не выскочившая откуда-то на свет божий заносчивая и продажная дрянь, то в этом, пожалуй, что-то есть.

Брат (улыбнувшись): С ними можно играть, милорд, и играть по-крупному.

Милорд (отпив чаю): Как это и делал наш незабвенный брат лорд Марльборо, более известный в мире как Уинстон Чёрчилл*. Он тоже имел дела с русскими. Тогда во главе России, бывшей в то время советской, тоже стоял этнически не русский — великий вождь Сталин, выходец с Кавказа, который лорда нашего в период их союзничества в целом не подводил. (*И добавил после некоторой паузы*): Уинстон, правда, никогда полностью не доверял русским, как, впрочем (*милорд изобразил подобие улыбки*), он

* Правильнее, согласно энциклопедии, не Черчилль, а именно Чёрчилл.

никому вообще не доверял, как, собственно, и его тогдашний хитроумный партнёр Сталин.

Брат (кладя в рот вкусное печенье и запивая чаем): Я бы, честно говоря, не доверился бы и самому Иисусу Христу, — вон с Иудой что приключилось!

Милорд (с немного лукавой усмешкой): А Иуде?

Брат (невольно рассмеявшись): Разве лишь в дурном сне, да и то понарошку!

Милорд (посерьёзнев): А доверять, брат, всё-таки кое-кому иногда надо! (*Мгновение помолчав, произнёс почти наставительно*): Но вот доверять надо уметь... не доверяя. Тот же Иисус Христос многому нас научил.

Брат (немного иронично): И антихрист, надо полагать, тоже!


Милорд (не меняя наставительного тона): Учиться надо у всех и всегда, в том числе и у сегодняшних русских. Эти разгильдяи частенько проигрывают, но в итоге они почему-то обычно выигрывают... уж не за счёт ли своей тёмной, почти что звериной, интуиции, как и внезапной, ни на что не похожей импровизации.

Брат: Играть они в общем-то любят и умеют, а играя — поддаваться, отступать, лавировать. Ничего не поделаешь (*он улыбнулся*) — вандалы, скифы, гипербореи! А разгильдяйство их более всё-таки ширма, чем глубинная натура, — но разгильдяи они (*тут он уже откровенно рассмеялся*) и в самом деле отменные!

Милорд: Чёрчиллу, видно, немало повезло, что его партнёром был тогда именно Сталин, ещё больший лукавец, чем сам Чёрчилл.

Брат: Лорд Марльборо был вообще везунчиком...

Милорд (мягко вступая в речь собеседника): Может, и так, но он был при этом и очень расчётливым, к тому же и беспощадным — и тут он, учитывая индейское геноцидное вкрапление в его аристократическую английскую кровь, привнесённое его американской матушкой, вовсе не уступал разным там чингисханам и



тамерланам, даже и самому товарищу Сталину. (*После краткой паузы*): Он просто жил и действовал в другом историческом контексте, а потому и поступал иначе... хотя иной раз и не менее жестоко. (*И добавил не без некоторого сарказма*): Представляю, как ликовал брат Уинстон, узнав, что Адольфушка накинута таки на СССР, а Иосиф кремлёвский это нападение всё-таки проморгал, как, наверное, радовался и наш брат Талейран, узнав, что Наполеон вторгся-таки в Россию... на свою погибель. (*Тут милорд переменяет направление разговора*): Мы ведь тоже по-своему «везунчики», коль скоро мир наш стремительно катится к чему-то такому, что весьма смахивает на то, с чем когда-то столкнулись наши незабвенные братья Талейран и Чёрчилл, не так ли?

Брат (сразу посерьёзнев): Призрак большой всемирной заварушки, кажется, уже не за горизонтом! А вот выхода приемлемого для нас что-то не видно. И если Чёрчиллу со Сталиным, как и Наполеону с Талейраном, ещё можно было полагаться на хорошенькую войну, всегда поначалу «молниеносную», то сегодня, увы, это более или менее верное когда-то средство лечения международных хворей совсем уже никакая не панацея. Кризис мира, можно сказать, сочетается и с кризисом войны!

Милорд (не скрывая озабоченности): Это вы хорошо сказали — про кризис войны. Но партия войны, если уже не вездесущая сеть войны, всю действует, причём в планетарном масштабе, подталкивая мир к тотальной, как вы изволили заметить, заварушке, чуть ли уже не к окончательному Армагеддону. К тому же эта примечательная сеть активно пополняется радикальным элементом, именуемом в пропагандистском угаре экстремизмом и терроризмом, для которого тотальная война вовсе уже не средство лечения больного организма, а орудие его беспощадного разрушения, если не полного уничтожения. (*После продолжительной паузы*): Тут уже не дьявол развлекается на свободе, а чуть ли не сама преисподняя поднялась на тотально больной мир человеческий.


Сказав это, милорд потянулся к сигарному ящичку, как бы следуя примеру незабвенного лорда Марльборо.



Брат (заметив действия милорда, достал из кармана пиджака пачку сигарет... «Марльборо», намереваясь тоже закурить): А не кажется ли вам, милорд, что это уже сам построенный нами мир... превращается... э-э... в какую-то свою противоположность (*тут он сделал заметную паузу*)... если не прямо в оголтелый уже антимир (*он сделал акцент на последнем слове*)?

Милорд (сосредоточившись на ритуальном в кругах заядлых курильщиков приуготовлении сигары, не преминув при этом бросить острый внимательный взгляд на собеседника, впрочем, этим последним не замеченный): О-о, брат, вы, оказывается, диалектик, ещё и мистический! И в чём же тут, по-вашему, дело?

Брат (оживляясь): Как раз в самом этом мире, возникшем не без кропотливого труда наших с вами собратьев, в мире, давшем широким массам громадное изобилие благ, великий спектр возможностей и чуть ли не шикарное повседневное бытие, кстати, совершенно в общем-то излишние, но отправившем куда-то в далёкую ссылку, наверное, в качестве неизбежной платы за непомерное благополучие, упорно и испокон веку гнездившийся в человеческом сознании сакральный дух, как оказалось, совсем и не лишний для человека потребляющего. Так произошло изгнание человека из человека! Вокруг нас теперь вроде бы всё ещё люди-особи, а на самом-то деле уже экземпляры какого-то нового человекообразного существа — что-то вроде... э-э... гуманоида какого-нибудь, наделённого вместо обременительной человеческой сути лёгкой и звонкой постчеловеческой пустотой. Наука, светское образование и тот же многоцветный Голливуд сделали своё дело, и мир, столь ловко и тщательно нами отстроенный, внезапно стал оборачиваться на наших глазах не просто миром-симулякром, а уже обладающим действительным inferнальным статусом завораживающим антимиром. Великая тут случилась, крайне и лукавая, трансмутация! (*Заметив, что милорд уже успел раскурить сигару, наполнив пространство библиотеки умопомрачительным табачным запахом, он ловко разжёл свою сигарету и, сделав долгую затяжку, выдохнул в атмосферу витиеватый столбец сизого дыма*).




Милорд (после заметной паузы, неторопливо): Выходит, мы ошиблись?

Брат (продолжая во взятом им бодром стиле): Не ошиблись, милорд, и не просчитались, а попросту... э-э... въехали, прямо по маршруту, проложенном достославным Мёбиусом. Тут сработала роковая связь между избытком и деградацией, свободой и погубелью, как и вещая, по-видимому, расплата за пренебрежение традицией, её настойчивое убиение.

Милорд (попыхивая сигарой, не глядя на собеседника, как бы про себя): Цветы зла от цветов добра, стало быть?

Брат (сунув в пепельницу докуренную сигарету, не выходя из ораторского ража): Самое поразительное, что созданный человеком мир... отрицает уже не только природу и Бога, с которыми у него борьба, а и... самого человека, который ему попросту уже не нужен — ни по сути своей, ни в массе своей. Искусственный мир требует и какого-то искусственного человекоподобного создания, того же гуманоида — то ли просто постчеловека, то ли даже сверхчеловека, ну и, надо полагать, уже и не в тех количествах и пропорциях, чем сегодня, а потому всем не приспособившимся и правильно не смутировавшим землянам придётся, видно, этот счастливый, но имманентно уже болезнетворный мир покинуть. *(Помолчав несколько мгновений и видя, что милорд склонен его слушать дальше, решительно продолжил):* Человек рвался неудержимо со времён Ренессанса вперёд, построя новый мир по своему собственному усмотрению, и до рвался в итоге до того, что стал уже рвать самого себя — снижаясь, дробясь и в той или иной форме расчеловечиваясь. Отсюда и возможность, если уже не необходимость, крупной, может, уже и надисторической, всемирной разборки... э-э... наподобие той же самой неолитической революции, когда кроманьонцы ловко и навсегда обвели вокруг пальца неандертальцев, или того же завоевания Америки, когда пришлые белые люди попросту уничтожили, тоже не без лукавства и лжи, краснокожих аборигенов, успевших, правда, наделить своей дикой кровью нашего брата Уинстона.



Милорд (продолжая пыхтеть сигарой): Человек, по-вашему, уже не хочет быть человеком?

Брат: Или уже не может! В общем, два одномоментных исхода: в небытие, это для бросового большинства, и в сверхбытие, или же постбытие, это уже для избранного меньшинства! Но параллельно при этом и всеобщая бессмысленная суета, сопровождаемая безумной взаимоотправительной сечей.

Милорд (пристально посмотрев на собеседника): Великое и окончательное жертвоприношение... перед великой и окончательной победой?


Брат (почти сокрушённо усмехнувшись): Скорее, великое цивилизованное каннибальство...

Милорд (прекратив на минуту пыхтеть сигарой): И вот тут-то, брат, надо умело канализировать в нужных нам направлениях разрушительную энергию партии войны, этих зарвавшихся от ненависти к человечеству бешеных собак. *(И словно очнувшись):* Да вот не поздновато ли?

Брат (вытащив новую сигарету, глядя перед собой): Партию войны надо непременно одолеть! Если мы её не одолеем, то она одолеет нас — самых главных своих противников. А противники мы её не потому, что мы-де ярые миротворцы, а потому, что мы, а не кто другой, правим миром. Разожжённая ими война станет и войной против нас, причём со смертельным для нас исходом в случае каких бы то ни было им уступок, не говоря уже о поражении.

Милорд (вновь запыхтев сигарой): Войны, видно, нам и миру уже не избежать, войны сложной, всеобщей, долгой, я бы сказал — сетеобразной, так сказать, нового типа войны, многоплановой, по преимуществу конспиративной, тайной, по-особому изощрённой и необычайно изнурительной. Не мир и война, выходит, теперь, а мир-война, или война-мир, это уж кому как больше понравится!

Брат (закурив новую сигарету): Когда много говорят о мире, дружбе и сотрудничестве, то обязательно жди войны, а сегодня, пожалуй, видь её, различай, осознай и в ней участвуй, тща-



тельно блюда свой стратегический интерес. (*Он сбросил пепел с сигареты в тяжёлую мраморную пепельницу*). Идёт большая трансгрессивная игра, и мы не должны потерять ни на миг верховенства в ней и своей инициативы! Наше главное оружие — знание и открытые глаза, а вне знания и вслепую пусть играют другие, ни во что существенное не посвящённые, в том числе и эти, как вы выразились, бешеные собаки, к которым, кстати, и восходит вся эта сентябрьская катастрофа 2001 г.

Милорд: Самое скверное, что собак этих развилось уже предостаточно и не где-нибудь на периферии процесса, а прямо у нас, в ядре современной цивилизации, в центре мира. Увлёкшись не без основания охотой за недобитыми нацистами, мы проморгали явление своего собственного... э-э... как бы его назвать по-лучше...

Брат (помогая милорду определиться): ...гуманизма, между прочим, или же, если так будет приятнее, гуманоизма (*он особо выделил голосом букву «о»*), — эти ребята, будучи уже законченными гуманоистами, ни с какой традицией не считаются, даже с уголовно-пиратской.

Милорд: Да-а, они, кажется, совершенно свободны от любых обязательств перед человечеством, если не считать обязательства обкарнать по-крупному это самое человечество, если не обнулить его полностью. Ваша Россия, кстати, совсем не плохо продемонстрировала реальность такого, как вы изволили выразиться, гуманоистического (*он тоже выделил голосом букву «о»*) подхода.

Брат (сунув в пепельницу окурок от сигареты): А разве США со своим финансовым, информационным и военным авантюризмом ведут себя иначе?


Милорд (не реагируя на острую, но не слишком удобоваримую сентенцию разговарившегося гостя): Нужна ясная концепция войны, о которой мы говорим. Я бы дал такой концепции кодовое наименование «Чёрчилл». Неплохо, а-а? (*И, будто бы спохватившись, наклонился к гостю*): Хотите ещё чаю, брат?



Брат (успокаиваясь, хотя и несколько на себя досадуя): Не откажусь, пожалуй... *(И через мгновение задумчиво):* Гитлер, этот вынужденный продукт обкормленного гуманистической идеологией времени, рассматривался многими сильными мира сего как орудие обновления одряхлевшей и уже гнившей тогда на корню ренессансной цивилизации, но так же и как орудие её защиты от набравшего силу злостного противника — коммунизма, тоже, надо заметить, продукта всё того же, замордованного гуманизмом времени, а в итоге получилось нечто совершенно для нас неожиданное и несуразное: сначала война Гитлера с нами же, потом война Гитлера с родственным ему же коммунизмом, а потом наша война против Гитлера, но уже в союзе с открыто и насмерть воевавшим против него коммунизмом, наконец, наша война, правда, уже холодная, со всё тем же коммунизмом, фактически принявшим относительно нас эстафету у того же Гитлера. Не кажется ли вам, милорд, что мы все втягиваемся во что-то очень похожее, хотя бы по своей злостной алогичности? *(Он отхлебнул свежего чаю, не испытывая почему-то прежнего наслажденного восторга).*

Милорд (заметно оживившись): Только теперь наш глобальный центр, ещё и заражённый собственным маргинализмом, против чуть ли не всего мира. Без нового Гитлера, нам непременно служащего, тут явно не обойтись, но с тем условием, что нам удастся столкнуть между собой и основных наших соперников-периферийцев. *(Он встал со своего кресла, подошёл к камину, подбросил в огонь свежих поленьев, пошуровал элегантной кочергой во чреве камина, вернулся за чайный столик, взял в руки потухшую было сигару, возжёг её и, довольный, запыхтел ею, глядя на разгоравшийся огонь)* Да-а, новая гитлериада не представляется мне невозможной. *(Он кинул пронизывающий взгляд на своего собеседника):* А не зря ли мы сломили СССР, вроде бы уже становившийся нам долговременным союзником?

Брат (не без удивления глянув на милорда и заметив, что у того, кажется, были разного цвета глаза): Есть, над чем подумать, так же как и над тем, как мы вгоняем наших всё ещё союз-



ников в положение наших же скрытых противников. (*Вдруг не без ехидства*): И ещё: не кажется ли вам, милорд, что «шутка» с 44 президентом США может оказаться последним, совершенно уже карнавальным, трюком нашей славной и эффективной до изнеможения демократии?

Милорд (тоже немало удивившись): Ну уж хватили! Фигура эта введена в соответствии с той новой шахматной партией, которую Провидение нам поручило разыграть. А что касается возможного промаха, то как ему вообще не случиться посреди всеобщей расслабленности, растерянности и разобщённости, а-а? (*И добавил, сощурился глазами*): А в проницательности вам, брат мой, не откажешь!

Некоторое время собеседники побыли друг перед другом в молчании, глядя на огонь в камине и ожидая новых поворотов в их затейливой беседе. Первым очнулся хозяин дома.

Милорд (неожиданно обратившись вновь к российской теме): Я не разделяю великопольской ненависти к России, столь энергично демонстрируемой нашим великомудрым братом из США, хотя не могу и поймать себя на чувстве любви к этой загадочной и по-моему в целом довольно дрянной стране. Учитывая нынешнее состояние мира, разьедаемого кризисом и беременного большой войной, считаю, что нам лучше иметь рядом с собой спокойную и покладистую союзницу, чем в отдалении от себя беспокойную и рассерженную противницу. Россия, уже достаточно ослабленная в военном, экономическом и идейном отношениях, нисколько нам уже не страшна, она в нас нуждается и может быть для нас весьма полезной.

Брат (снова оживляясь): В отличие от вас, милорд, я вполне осознанно питаю симпатию к России и этим необузданным русским, что не мешает мне самому держаться на расстоянии, а Россию удерживать на коротком поводке. С этой страной играть сосем не просто, она своенравна и непредсказуема, почти как женщина, но играть с ней всё-таки можно, если, во-первых, не пытаться её насильно, напористо и по полной программе вестернизировать, во-вторых, не ставить в положение благораспо-



ложенной и доступной во всех отношениях служанки, а в третьих — не ставить перед собой цели её во что бы то ни стало разрушить. Тут, если позволите, я категорический противник... э-э... американского вещуна, хотя в известной проницательности ему не откажешь. С Россией надо играть тонко, не беря её великодержавного самолюбия, которое исконно присуще, надо заметить, и многим нашим в России сторонникам.

Милорд (заинтересованно): Вы предполагаете возможность прочного и продуктивного партнёрства с Россией?

Брат: У России ведь нет иного выхода, кроме дружбы с Западом, с той же Европой, но, подчеркну ещё раз, дружбы, а не сервильной зависимости. «Вашингтонскому обкому», как любят выражаться русские, то бишь американскому правительству, пора бы это хорошенько осознать и заняться не высокомерным патронированием, унижающим русских, а равноправным с ними партнёрством.

Милорд: А насколько всё-таки реален развал России?

Брат (как-то недобро рассмеявшись): Ровно настолько, что и... э-э... развал США!

Милорд (крайне заинтересованно): Вы всё-таки считаете, что...

Брат (невольно перебивая важного собеседника): Эх, не я, милорд, не я, а наша неумолимая реальность. *(И добавил после краткой, но весьма напряжённой паузы):* Однополярный мир, который нам подарили безумные русские, уже завершается, впереди нас ждут тектонические перемены, а США, откровенно говоря, сейчас даже в большем в связи с этим тупике, чем нынешняя Россия. Последняя, отчаянно тужась, выходит из своего гнусного кризиса, не боясь уже никаких перемен в мире, а беспечные США, мало того, что оказываются как первая держава мира в эпицентре мировой тектоники, но и, не утруждая себя внутренним спасительным напряжением, фактически добровольно втягиваются в свой уже родной, — и ещё более, возможно, страшный, чем это было в СССР, — кризис. *(Выпалив всё это, он глянул прямо в глаза своему высокопоставленному собеседнику,*

но ничего, кроме какой-то искорки любопытства в обращённом к нему левом жёлтом глазу, не заметил).

Милорд (вполне гостеприимно): Хотите ещё чаю, брат?

Брат: Я бы предпочёл покурить, милорд, если не возражаете?

Милорд: Нет, конечно, курите, пожалуйста, а я, пожалуй, немного чаю. *(И добавил вдруг, явно спохватившись):* А не хотите ли выпить чего-нибудь посерьёзнее: коньяку, виски, ликёра?

Брат (слегка оживившись и непринуждённо улыбнувшись): Благодарю вас, милорд, немного коньяка, пожалуй...

Милорд отошёл к отдельно стоящему книжному шкафу, ловко развернул его, обнажив на тыльной стороне шкафа небольшой бар, повозился там некоторое время и вернулся к чайному столику с бокалом янтарного коньяка и стаканом разбавленного содовой водой виски.

Милорд (протягивая гостю бокал с коньяком): Вот, пожалуйста, самое время нам чуть-чуть расслабиться.

Брат (беря бокал и приветствуя благодарным жестом хозяина дома): Прозит, милорд! *(Отпив глоток):* Превосходный французский коньяк!

Милорд: Прозит, брат! *(И, отпив немного виски, с нескрываемой ехидцей произнёс):* Только коньяк этот вовсе не французский, а... грузинский.

Брат (откровенно расхохотавшись): Вот и цена всем моим разглагольствованиям!

Милорд: Я, знаете ли, брат, слушаю вас с большим интересом. *(И акцентированно добавил):* С очень большим! С кем ещё так откровенно и по существу поговоришь.

Брат (вновь набирая разговорную форму): Россия может нам вполне пригодиться, и прежде всего как источник не нефти с газом, а... э-э... оригинальной мысли, а последняя, там вовсе не замерла, а, насколько я знаю, всю сейчас бьётся.

Милорд: Будучи, конечно же, нам в общем-то альтернативной?

Брат: Поэтому-то для нас и особенно интересной!



Милорд: Могу принять такое соображение, тем более, что сам, откровенно говоря, ценю русскую мысль, ещё имперскую, столь безжалостно загнанную в своё время большевизмом в подполье. (*И приняв внезапно какое-то почти каменное выражение лица*): Но, брат, не забывайте, что у нас свои важнейшие исторические задачи — реализация *Великого Проекта* (*милорд особенно выделил голосом и выражением жёлтого глаза два последних слова*), что совсем ещё не закончено и что не нам с вами отмечать.

Брат (бросив испытующий взгляд на собеседника): Даже попав на роковой «Титаник»?


Милорд (недружелюбно хмыкнув): Даже сидя в трюме этого приговорённого к гибели монстра! Дело тут не просто в верности нашему движению, а в том, что либо нам проект этот недвусмысленно исполнять, причём в прямом соответствии с ним же, либо всё нами созданное летит в тартарары.

Брат (не без удивления): А как же «Титаник»?

Милорд (посмотрев пристально на собеседника): Он не для нас! И мы должны сделать всё возможное, чтобы на нём оказались другие, в том числе, если так случится, и ваши русские. В их головах, не сомневаюсь, роятся блестящие мысли, но у них нет никакого ни для себя, ни для мира удобоваримого стратегического плана, а без такого плана какие они, к чорту, поводыри, даже обращённые в отчаянии к раздавленной нами уже давно традиции. Сталин, пожалуй, имел какой-то серьёзный план, ибо был явно во что-то такое посвящён, но наследникам он его не оставил, либо же наследники, ничего в сталинском замысле не поняв или же попросту его испугавшись, от масштабных проективных амбиций отказались, заодно и обгадив старательно своего великого вождя-кровопийцу.

Брат (отхлебнув коньяка): А русский космос?

Милорд: Этого сталинского наследия быть уже не должно, во всяком случае, в полной мере и с самостоятельным разворотом, вы меня понимаете?




Брат (как бы не слыша вопроса, озадаченно): У русских действительно нет какого-либо панисторического плана, тем более, сравнимого с нашим, даже никакого концептуального руководства у них нет, как у тех же китайцев с их конфуцианством и той же «Книгой перемен», но у них, и я это особо чувствую, есть некая... панисторическая миссия, которая никому, в том числе и самим русским, доподлинно не известна, но которая если и не защищает их полностью от невзгод и земного ада, — возможно, и не должна этого делать, — но зато как-то выручает, проводя их через века.

Милорд: Ну и пусть выручает, во всяком случае — до поры! Я вовсе не считаю, что русских надо непременно уничтожать, они нам в немалой степени нужны, управляясь со своей громадной территорией и не закрывая её от нас, как и потому, что видят то, чего не видим мы. Это ведь люди апокалипсиса, который ныне в большой моде, их суждения своеобразны и по-своему ценны. Но по большому счёту они нам не союзники, разве лишь кое-какие вспомогатели, а потому за ними нужен особо внимательный присмотр, который, я надеюсь, вам в целом удаётся. *(И добавил неожиданно):* Нам более всего интересны не эти ваши русско-нерусские западники, нужные лишь оперативно-политически, вроде иуд временных, а как раз корневые русские, наши идейные противники, представляющие для нас и мира какую-то метафизическую ценность.

Брат (не скрывая некоторого удовлетворения и воодушевляясь): Вот именно! И соглашаясь в принципе с вами, милорд, хочу сказать, что Россия...

Милорд (будто не слыша собеседника): И у христианства, тем более ортодоксального, к которому русские вроде бы вновь усиленно обращаются, тоже никогда не было, нет и не будет никакого конструктивного для землян проекта, кроме *(милорд саркастически ухмыльнулся)* грядущего Второго Пришествия и неразлучного с ним Страшного Суда, а потому ничего привлекательного для мира православным русским не выработать, а потому и мировыми лидерами им не быть, несмотря на всё своё *(тут*




он позволил себе даже закатить глаза) таинственное мессианство. Это мы, мы с вами, будучи действительными социальными архитекторами, строим *иной мир* (*он сакцентировал на двух последних словах*) и делаем это прямо здесь, на Земле, хотя, возможно, и не для одной только Земли, — и делаем это, как видите, весьма успешно и не одно уже творческое столетие.

Брат (несколько задетый наставительным тоном и не-притворным сарказмом хозяина дома, допуская нотку лёгкого разочарования): И получаем всемирный «Титаник»!

Милорд (твёрдо): Ну и что?! Да, кризис, острый кризис, даже апокалиптический, но это и есть исполнение Великого Проекта, тоже со своими пришествиями и страшными судами, но уже ради нового рывка в будущее, — и мы тут, знаете ли, не остановимся ни перед чем!

Брат (забыв про коньяк, чай, сигареты, вообще про всё окружающее мирское, пристально глядя на как-то вдруг застывшего в ледяном хладнокровии собеседника): Понимаю, хорошо понимаю! Но...

Милорд (снова прерывая собеседника, но уже вполне примирительно, даже успокаивающе): Ну что вы, брат, горячитесь, вы думаете, что мы настолько слепы и твердолобы, что ничего не видим и не понимаем. Но кто же решится теперь дать отбой Проекту, кто? Такое ведь и в самом деле смерти подобно, да не для одного лишь проекта, а и для... э-э... самих инициаторов его принудительной остановки. Придётся, брат, идти вперёд и идти до конца! (*Вдруг резко переменяв направление ставшей уже довольно напряжённой и тяжёловатой беседы*): Поезжайте-ка лучше в свою Москву и делайте там, что надо, а остальное как-нибудь приложится. И ни на мгновение не забывайте о Проекте! А также учтите, что если Москва будет нам всерьёз мешать, то локальный «Титаник» ей будет немедленно обеспечен. Ничего тут не поделаешь! Грузию мы ей ещё можем из-за Югославии и Косово простить, но на что-либо большее мы уже не пойдём! Россия для нас не какой-то там жалкий жертвенный агнец, а самый настоящий волк в овечьей шкуре, не забывайте этого! (*И*




добавил внезапно): Если бы всё происходило по Христу, то ничего бы значительного в мире не было, а любовь... любовь бы давно уже совершенно истаяла. Вот так!

Брат (глубоко вздохнув, разом допив свой коньяк): Нельзя не признать вашей правоты, милорд, но мир вошёл в зону большого риска, характерного, знаете ли, для последних времён, а потому вряд ли удастся обойтись одними корректирующими манёврами, в том числе и милитарными, потребны и кое-какие фундаментальные нововведения. Хотя история и творится самими людьми, прежде всего элитами и её вождями, но перед неукротимым панисторическим потоком все бессильны, кроме, разве, укоренённого в текущий быт простого народа, и время бунта истории, а не одной лишь природы, кажется, уже наступило, — и не без участия Великого Проекта, в котором... э-э...

Милорд (вдруг весьма возбуждись): Я тоже так думал, брат мой, да вот передумал — ничего, кроме Великого Проекта у конструктивного человечества нет и быть не может! Так что сегодняшнее обострение, пусть и очень разрушительное, не более чем досадный эпизод, а не какой-то там придуманный впопыхах университетскими пустомелями «конец истории».

Брат: Возможно, и так! Но Россию, эту упрямую альтернативщицу, нам никак нельзя сбрасывать со счетов, тем более пытаться её совсем убрать. Что касается СССР, этого огромного гетерогенного монстра с надуманной идеологией и тягостной повседневной практикой, то он несмотря на свои дерзкие притязания на строительство нового — социалистического-де — мира, никакой просторной исторической перспективы не имел. Совсем не то... нынешняя Россия, которая ещё хоть и не монолит, но куда цельнее ушедшего в небытие СССР, она себя вполне уже распознаёт и, хорошо слыша своё имя, упорно за себя держится, а главное, вполне осознанно готовится к какому-то рывку в будущее, вовсе не притязая, как видится, на мировое лидерство.

Милорд (чуть ли не замахав руками): Нет, нет, никаких ради России серьезных уступок и никакой ей внушительной поддержки, пусть лучше остаётся неопределённым сборищем зага-



дочных душ да полем чудесных по своей странности и невозможности потрясений. Самая лучшая для нас Россия — кризисная Россия! Этой стране ещё можно позволить подняться с колен, но нельзя ей позволять вытянуться во весь свой богатырский рост. Я не призываю вас к нарочитому русофобству, пусть этим занимаются ваши русские западники, но хотел бы предостеречь вас от излишне беспечного русофильства. Россия нам, может, уже и не враг, но уж никак не друг, а в притворство её западническое лучше не верить. Да и с мечтой о мировом лидерстве она вовсе не рассталась, — дай только ей новый шанс!

Сказав это, а точнее, выпалив это, хозяин дома, вдруг почему-то ставший похожим... на брата Уинстона, встал со своего кресла, давая понять, что аудиенция подошла к концу. Гость тут же поднялся со своего места, всем своим видом выражая, — конечно же, по-европейски изысканно и непринуждённо, — почтение и признательность.

Брат: Благодарю вас, милорд, за столь интересную, весьма и откровенную, беседу.


Милорд: Ну что вы, друг мой, не стоит благодарности, да и откровенность, если тут и была, то более всего с вашей стороны. Мне было интересно обсудить с вами кое-какие не терпящие отлагательства вопросы, касающиеся... э-э... нашего не совсем здорового бытия.

Милорд подошёл к гостю, слегка пожал протянутую им руку и вдруг, взяв гостя за плечи, подтянул его к себе, чуть-чуть коснувшись своим виском его виска.

Милорд (тихо, доверительно, почти заговорщически): Понимаю вас, брат мой, но долг есть долг! *(И уже громко и твёрдо):* Прощайте!

Брат (слегка смутившись): До свидания, милорд, надеюсь на новую встречу с вами!

Хозяин, взяв гостя под руку, проводил его до двери библиотеки, за которой его уже поджидал любезный и предупредительный камердинер.



Сидя на заднем сидении комфортабельного авто, господин, только что покинувший старомодный особняк, вынул пачку сигарет «Марльборо» и, чиркнув взятой тут же в автомобиле зажигалкой, раскурил сигарету и, выпуская белые струйки прозрачного дыма, глубоко задумался, вспоминая свой разговор с милордом. Будучи человеком независимым и многоопытным, весьма и осведомлённым благодаря членству во всяких международных организациях и престижнейших клубах, он испытывал какое-то странное чувство из смеси удовлетворения и... какой-то засевшей в его душе... щемящей тревоги, смутно ощущая, что в его разговоре со *Стариком* было что-то не совсем уместное, а может, даже и непотребное, но что, видно, другим уже случиться не могло. Приехав в отель и поднявшись в номер, господин сразу же заказал по телефону такси, в котором и отбыл через какую-нибудь четверть часа в только ему известное, как ему казалось, укромное местечко лондонского закулисья.

Примерно через сутки в обставленном старинной мебелью кабинете готического особняка состоялся следующий доверительный разговор:

Милорд (озабоченно): Так вы уверены, что он имел встречу с этим э-э... московским агентом?

Гость (твёрдо): Абсолютно, милорд.

Милорд (заинтересованно): Кто же он тогда? Двойной агент?

Гость: Скорее, тройной, а то и четверной, как бы это лучше выразить... ну-у... что-то вроде комплексного резидента, но и то не совсем... так как сам ведь ещё и начальствует.


Милорд: Глава какой-то сети?

Гость: Один из глав, это точно, но очень странной сети, крайне законспирированной и, видимо, действующей в интересах, как бы это сказать... будущей России, что ли.

Милорд (не скрывая удивления): Будущей России?

Гость (утвердительно): Да, именно так.

Милорд: Националисты, что ли?



Гость: Не совсем, скорее... э-э... нет, даже не традиционалисты, хотя их вдохновение питается, видимо, и из древних источников, но... я бы сказал, пожалуй... русские миссионисты, верящие в какую-то особого рода миссию России и в будущее новое рождение России. И это, скажу вам, милорд, никакие не фанатики.

Милорд (задумчиво): Этакие новые розенкрейцеры.

Гость: Тут возможно сравнение с любыми подобного рода историческими персонажами, но любое сравнение окажется не совсем верным.

Милорд: Русский орден?

Гость: Что-то вроде того.

Милорд: И много их в этом... э-э... ордене?

Гость: Судя по всему, не очень, — и в этом, знаете ли, их сила.

Милорд (заинтересованно): А откуда, если позволите, у вас такая осведомлённость?

Гость: Из надёжного источника, от одного из них.

Милорд (несколько сокрушённо): Да-а, иуда всегда найдётся! *(После паузы).* Благодарю вас за ценную информацию, брат. А что вы думаете делать дальше?


Гость: Намерен их немного поразрабатывать. Надо бы осветить эту сеть, по возможности, всю.

Милорд: Будьте осторожны, судя по моему вчерашнему собеседнику, они ребята толковые и, не исключая... на всё готовы!

Гость: Я это понимаю, а потому на рожон не лезу.

Милорд (вставая): Удачи вам, брат, и не рискуйте зря, хотя... хотя раскрыть их поболее надо бы, а уж потом решить, что с ними делать... через какие-нибудь заинтересованные спецслужбы. До свидания, держите меня в курсе!

Гость: Прощайте, милорд! И вы тоже не пренебрегайте безопасностью.



Проводив гостя до двери кабинета и передав его в ведение молчаливого служителя, милорд вернулся на место, вытащил сигару, неторопливо её обработал и раскурил.

«Вот-те на-а! — принялся размышлять милорд, дымя сигарой, — Опять сеть, какой-то орден, чуть ли не заговор! Чорт знает что! Ах, эти русские, ах, подлецы! Ладно иудеи, те хоть и в самом деле организованны и целеустремлённы, а эти-то, такие вроде бы разгильдяи... Да-а, русских недооценивать нельзя!.. Не случайно, видно, он тут вчера русскую тему по-своему раскручивал, да и к нашим деяниям что-то больно уж критичен... Хотя и прав во многом, очень даже прав!.. Изучить их получше надо бы, понять, прежде чем решать судьбу... Мир сложен и неустойчив, — и кто знает, кто тебе завтра друг, а кто враг?.. Однако, молодцы всё же эти русские... миссионисты, действуют!»

Милорд не заметил, как через какие-нибудь пять-семь минут, он уже спокойно дремал, сидя в кресле и ловко держа во рту сомкнутыми губами успокоившуюся сигару. Добрый служитель тихо вошёл в кабинет, аккуратно вынул сигару изо рта хозяина, накинул на его колени плед и так же тихо удалился из кабинета.

P. S. По странному стечению обстоятельств некоторое время спустя в одном из лучших номеров фешенебельной гостиницы в Риме было обнаружено поутру бездыханное тело совсем ещё не старого господина N, ушедшего из жизни, как было точно установлено неподкупными итальянскими медэкспертами, по причине острой сердечной недостаточности. Господин этот был известен в международных кругах как весьма глубокомысленный журналист, публиковавшийся, — правда, под псевдонимами, — в самых авторитетных периодических изданиях. Однако никакой особой шумихи по поводу его полузагадочной смерти в большой печати и в масс-медиа не было. Небезынтересно заметить, что горничная отеля, в котором произошло несчастное событие, сообщила полицейскому сыщику, что поздним вечером у господина N побывала в гостях одна прелестная дама, тоже будто бы проживавшая в той же гостинице и, как выяснилось, в ту злополуч-



ную ночь её внезапно покинувшая. Регистрационные данные, оставленные дамой на рецепции, ничем не помогли римской полиции в её розыске: дама эта явно воспользовалась подложным паспортом. Примечательно, что разбросанным по гостинице скрытым телекамерам не удалось почему-то ясно зафиксировать лица таинственной незнакомки.

Похороны господина N состоялись в одном из предместий Лондона. Среди кучки близких родственников, друзей и соратников, участвовавших в траурной церемонии, был замечен откуда-то вдруг взявшийся благородной осанки старик, одетый в серое, немного старомодное, но вполне элегантное манто и с выразительной антикварной тростью в руках. Не проявляя никакой активности в течение всего траурного действия, прошедшего без речей и вполне по-светски, старик этот успел всё же сунуть в уже было закрытый гроб плоскую вещицу — вроде какого-то медальона. И как только гроб с телом усопшего был опущен в просторное чрево склепа, гробница прикрыта тяжёлым камнем, а сам склеп надёжно закрыт, старик этот, ни с кем не попрощавшись, как-то тихо и быстро исчез, словно растворился в матовом лондонском воздухе.

Кто-то из родственников усопшего, кажется, кузен, обративший внимание на старика и на его странный поступок, задержался по завершении церемонии подле склепа и, посмотрев с любопытством на его фасад, заметил украшавшие фронтоны какие-то нехристианские, скорее всего масонские, символы и довольно странную латинскую надпись, исполненную прямо под крышей склепа: «VITA INCERTA, MORS CERTISSIMA»*. Любопытный родственник как-то понимающе хмыкнул и, пожав в недоумении плечами, направился вслед за удалявшимися участниками скромного похоронного мероприятия.

* «Жизнь неверна, смерть достоверна» (лат.)



Отвлечение

Он уже не мог, сидя в полутёмном, к тому же ещё и зябком, зале выслушивать унылые слайдированные доклады и, воспользовавшись сменой на конференционной трибуне самозабвенных игроков в истинную науку, вышел из окончательно опостылевшего зала вон, наружу, в фойе, вовсе, как оказалось, и не пустынное, и устремился к разместившемуся неподалёку бару, чтобы выпить согревающего тело и душу чаю да отвлечься немного от трескучего и назойливого сверхпознавательного облучения.

Не успел он взять чашку душистого напитка и присесть за столик, как к нему подошёл, тоже с чашкой чая в руках, другой профессор, из города N, и, извинившись, предложил себя в компанию по несколько вынужденному, но такому нужному для них обоим отдохновению.

— Что, надоело? — сочувственно осведомился профессор, который был из города N, усаживаясь перед столичным профессором за мраморный столик.

— Да уж! — ответил высокочтимый беглец из зала, скорчив подобающую случаю игриво-страдательную гримасу.

— Мельчает наука...

— Ничего не поделаешь, на дворе уже время тихого научного помешательства.

— Как это!? — удивился коллега из города N.

— Пора уж возжигать погребальные костры. Похоронщики-профессоры и плакальщицы-докторицы уже наготове, а полуголые аспирантки едва удерживаются, чтобы не пуститься в сексуально обустроенный ритуальный пляс.

— Что-то вы уж очень мрачно!

— Скоро и жечь-то будет нечего, наука куда-то стремительно улетучивается, оставляя вместо себя одну голую математику, а эта особа ведь не горит, ибо гореть в ней просто нечему — цифры одни да формулы.

— Что-то я вас не понимаю!?



— А что тут понимать: качество, а вместе с ним и реальность, исчезают, испаряясь и выветриваясь, зато остаются голое количество и тупо-величественная пустота. (*Сложив непослушные губы трубочкой, он выразительно выдохнул*): Фу-у, и нет науки!

— И ничего не остаётся?

— Почему же, остаётся: сухой остаток, слепок, маска, а в итоге — блудливая рожица.

— А если попонятнее?


— Физическая механика мира, в раскрытии и моделировании которой преуспела наука — вовсе не весь мир, да и сама обнаруженная и отображённая наукой механика ещё не вся механика мира. А уж человек со своим сознанием и общество со своими отношениями всего менее материальны и механичны, а потому и всего менее с гносеологической точки зрения научны, отчего наука перед такой реальностью с неизбежностью пасует, отрывается от неё и служит уже по преимуществу самой себе — как сухой остаток, слепок, маска, а в итоге — блудливая рожица!

— И почему же блудливая?

— А как же ещё, без блуда, истину-то ей скрывать? Наука давно уже театр, разумеется, тупиковый, дурной, вроде крикливой и пустой «Таганки». Я имею в виду мировоззрение, а не технологии, в которых прикладная наука весьма преуспела, готовя уже либо полное изничтожение человечества, либо его избирательную мутацию в какое-то постчеловечество. Так что есть отчего и зачем блудить!

— Вас смущает забвение духовного, идеального, трансцендентного, всего метафизического?

— Конечно! Мир наш сначала и в основе своей метафизичен, а потом уже физичен. Физика — момент мира, его временное локальное состояние, формализованный эскиз. Всё видимое и весомое лишь результат невидимого и невесомого. Мир обязан собою не материи вовсе, а тонким субстанциям. А уж сознание с ноосферой — тем более! Вы думаете древние мудрецы глупее нас, что ли, были, создавая мифы, религии и философии. Откуда



вообще все языки, потрясающие своей адекватностью в отображении мира и удивительной способностью наполнять сознания? Всё самое ценное, относящееся к человеку, сознанию и ноосфере было рождено и раскрыто как раз в донаучные времена, а сегодня это всё лишь опошляется, угнетается и убивается.

— Что же тогда — без науки и прогресса?

— Куда?

— Что куда?

— Ну, куда с этим вашим прогрессом — к нулю, к постчеловеку, к лучистому человечеству?

— Так кто ж это знает?

— Вот именно! И поэтому вокруг нас метафизики всё-таки поболее, чем физики, но не в объёме или в весе, а всего лишь в значении. Метафизику ведь читать надо уметь, а мы все навыки общения с нею не без помощи твердолобой, воинственной и профанной науки растеряли. Вот и заметались, сидя в онаученной мировоззренческой и бытовой клетке, если уже не в яме, слепые и жалкие!

— В искусственном мире, ещё и зависимыми от него рабами...

— И попугаями тоже! Мы ведь тот же роман про несчастного Иешуа и обескураженного Воланда прочитать толком не можем, а в произведеньице этом много чего запрятано. Физики-то там на грош, а метафизики — на сто рублёв! Автор этого достославного романа, как он сам признавался аж самому товарищу Сталину, не простым был писателем, а мистическим, следственно, круглым метафизиком, каких ещё поискать!

— Хороший пример! И что же в этом произведеньице запрятано?

— А то, что метафизическое и в самом деле есть, но, увы, согласно роману, сильно уже обезбоженное, точнее, захваченное не без содействия самонадеянного человека антибогом, которому уже и поклоняться вроде бы совсем не вредно, ожидая возможности обрести хотя бы потустороннего покоя, проскочив как-

нибудь мимо тамошнего ада, а ада-то ведь и на земле уже предостаточно.

— Да-а, Христос у него просто человек, бродячий философ и народный целитель, но уж никак не Бог.

— Разумеется! Причём тут вообще Христос Бог, ежели есть товарищ Сталин, тоже, как и Иешуа, человек и тоже претендент на святость, как и на новую религию? Не всё там просто, в этом романе!

— Выходит, что это... чуть ли не *просталинский* роман?!

— А почему нет? Бога нет, зато есть товарищ Сталин, занимающий всё более и более в воображении людей место Бога, а если принять во внимание потаённую приверженность вождя к идее империи и скрытую любовь к имперцам-золотопогонникам, то и место вполне уже земного бога-императора, правда, терпящего, согласно роману, вместе с Москвой, погружающейся в бездну, конечное поражение — это тоже надо видеть в лукавом произведении!

— Да-а, пожалуй..!


— Роман этот совершенно не понят и недооценен, и именно по причине его более всего физического, то бишь научного, прочтения, хотя автор сразу же предупредил, отрезав комсомольским трамваем умную башку товарищу Берлиозу, этому всезнающему физикалисту, что роман этот по сути своей совершенно метафизичен. (*После паузы*). Откровенно говоря, роман этот есть не что иное, как *анти-Евангелие*, вполне и последовательное, с прямым заходом в Апокалипсис. Став родиной анти-Евангелия, Россия, увы, не стала, во всяком случае, пока, родиной анти-Апокалипсиса!

— По внушению дьявола?

— Не без этого.

— А ведь в Библии немало по такому поводу пророчеств.

— Склоняю голову перед библейскими пророками, особенно, перед Иоанном! Такое написать! И ведь не для того, чтобы пугнуть, а упредить, раскрыть глаза, спасти! Библия как раз и есть запечатлённая в словах человеческих Божественная София!



— Но в Библии ведь масса противоречивого, смутного, непонятного...

— Не так уж важны там слова и тексты, куда важнее засловия и подтексты. Мудрость библейская сильна не фактами, а смыслами, которые ещё уловить и разгадать надо, вполне и предощутительно. Тут метафизика на метафизику!

— Но ведь трудно современному человеку поверить в истинность Христа.

— Так и не надо! Дело ведь не в самой по себе правдивости истории о Христе, которую можно для познавательного удобства и интеллектуального спокойствия принять сегодня и за легенду, а в самом *явлении* этой легенды, соответственно, и в самом *явлении* Христа, который, на мой взгляд, есть в первую очередь *событие*, а потом уже человек, личность, деятель. Чудо здесь не в том, что реально происходило с человеком Иисусом, а в самом факте и в самом восприятии людьми метафизического события, называемого *Христом*, пусть даже и события легендарного.

— Получается, что чудо как раз в самой этой легенде, её возникновении и действии?


— Да, пожалуй, но не столько даже в содержании этой легенды, сколько в её появлении в *нужном* месте и в *нужное* время, понимаете? Ведь от этой всего лишь легенды пошли и мировая религия, и вселенская Церковь, и весь христианский мир!

— Синергетический эффект?

— Можно сказать и нанотехнологический, если так сегодня понятнее, в общем, ноосферный.

— Но тогда и антихрист с подобным же эффектом...

— Не без оного! Антихрист вовсе не что-то злобное и страшное, ещё и с острыми рогами и козлиной бородой, нет, это что-то вполне людское, цивилизованное, даже симпатичное, но что непременно противостоит Христу, хочет его отстранить и занять в умах и сердцах людей его место, не преминув при необходимости и случае и самим Христом прикинуться, подменив христианство какой-нибудь подходящей нелепицей — вроде науки с театром.



Коллега из города N, заметив, что чашки собеседников давно уже опустели, предложил взять ещё чаю. Столичный мэтр не отказался. Оснастив себя горячим душистым напитком, коллеги продолжили сей неожиданный для них разговор. Первым начал профессор из города N.

— И ежели антихрист одержал-таки победу, пусть и временную, то не означает ли это, что за ним и кое-какая истина?

— Э-э, нет! Совсем недавно, где-нибудь в середине XIX века, так ещё могло казаться, тем же просвещенцам, но потом... потом это представление было заметно поколеблено, причём и самой реальностью тоже, а затем и подвергнуто резкой критике и отрицанию, причём и со стороны возрождавшегося в сознании людей Христа.

— Но ведь без особого же успеха!

— Вернувшаяся в человеческое сознание метафизика пытается кое-что объяснить, но... обработанный наукой и театром грамотей остаётся ко всем её попыткам мало что нарочито глух, но даже и воинственно враждебен. Однако кризис антихристианского мира нарастает и никакие колониализмы, войны и революции сей мир не спасают и не спасут: разложение обезбоженного мира идёт полным ходом, и ситуация в мире уже весьма напоминает ту, что была в позднеантичном мире как раз к моменту явления Христа.

— Вы намекаете на Второе Пришествие?

— Да-а, пожалуй...

— И Страшный Суд?

— Раз в божественном писании сказано, значит так и будет, а может, уже и есть. Тогда-то, когда человек окончательно распнет самого себя и будет окончательно установлено, что Христос — истина!

— Но вы же не против совсем науки?

— Нет, конечно, совсем даже не против, я лишь против культа науки, слепого перед ней преклонения, её руководящей мировоззренческой роли, а потому я лишь за преодоление науки, а не за её, заметьте, изгнание. Но произойдёт это, кажется, только

через вызванную самой же наукой катастрофу, вполне и физическую.

— Но ведь идёт же сближение науки с религией?

— Э-э, нет, ничего подобного! Есть лишь попытка доказать, что религия — деяние... э-э... вполне физическое, а никакое не метафизическое, как, собственно, и попытка доказать физическую природу самого Господа Бога, следственно, его, вообще-то, отсутствие. Физический бог — не Бог, Он может быть только метафизическим, что не мешает Ему, конечно, проявляться и физически. Не-ет, никакого сближения тут нет, а есть самая обыкновенная антихристова подмена!

— Религия, кажется, уже навсегда заслонена наукой.

— До конца научной эры, это уж точно?

— Научной эры? Её конца?


— Разумеется! Была когда-то метафизическая эра, как раз то, что мы сейчас называем эпохой Премодерна, потом наступила научная эра — эпоха Модерна, это с так называемого Ренессанса, а теперь вот большое научное замешательство, если не помешательство — кризис науки, это уже эпоха Постмодерна. В нашем конференц-зале этот самый постмодерн вовсю сейчас и резвится.

— Но если религия была права, то почему же уступила место науке?

— По воле человека, который предпочёл невыполнимую и непонятную христианскую метафизику выполнимой и понятной антихристианской физике. Только вы меня правильно поймите, речь идёт о физике и вообще науке лишь как о замещающих метафизику и религию, точнее, пытающихся их заместить, как бы занимающихся не своим делом, а то зачислите меня (*улыбается*) в число неизлечимых врагов науки и физики.

— И как бы призываемых ныне оказаться на своём месте?

— Примерно, так! Человек решил удовлетворить себя скоро и полностью здесь, на Земле, вступив на путь приемлемого для себя переделывания мира Божиего и себя вместе с ним. Он решил занять место Творца, воспользовавшись христианской



свободой выбора и христианской же идеей о своём богоподобии, точнее, о своём подобии Богу.

— Получается, что христианство имело как бы брешь в себе самом, через которую человек и выскочил на пересотворенческий простор, так, что ли?

— Можно сказать и так: христианство вообще-то очень требовательная к человеку религия, но с условием его свободного выбора.

— И человек, не выдержав императивов христианства, рванул в сторону, а потом и за горизонт?

— Да-а, человеку захотелось *иного мира* уже здесь и сейчас, на Земле, но не ради возвышения души и стяжания Духа Святого, а ради тела своего брэнного и стяжания полного физического удовлетворения. Отсюда и неограниченное производство благ, и вездесущая экономика с её стремительно разбухающими деньгами и капиталами, и непрерывно развивающаяся и разветвляющаяся наука, и во все стороны расползающаяся техника.

— Бунт против Бога и восстание против Природы!


— Что и оборачивается, увы, предвиденным Иоанном апокалипсисом! *Этому* человечеству уже не жить, нет ни потребности для этого простора, ни резервов жизненных почти нет, ни перспектив впереди никаких: Земля уже освоена, она для человека тесна и даже по-своему вредна, ибо жаждет уже сброса этого назойливого умельца со своего загаженного и израненного тела, а космос, увы, не для земного человека, разве лишь... для совсем лучистого!

— Отсюда, видно, и потребность в метафизике, чуть ли... не тоска по ней?

— Вы очень удачно заметили, коллега, именно так: тоска по метафизике, а не просто в ней потребность.

— Второе пришествие метафизики?

— Вроде того! И новое пришествие христианской правды, но, разумеется, в связке с каким-то знаменательным событием...



— Тут и антихрист появляется в образе мирового лидера, опережающего и замещающего Христа, прямо как Воланд какой-нибудь из славного московского романа.

— Он, возможно, уже и на престоле... Поэтому-то и внедряются в сознание человеческое всякие научно-гностические истины о человеческой и только человеческой природе Христа, что он был-де женат на Магдалине, что у них якобы был ребёнок, что Иисус чуть ли не подставил своего учителя Иоанна Крестителя под усекновение главы его, да и на кресте голгофском Иисус вообще не был, а был какой-то другой товарищ, что после мнимого своего воскресения Иисус то ли в подполье ушёл, то ли из жизни, тоже кем-то, видно, подставленный.

— Итак, спасение наше в метафизике?

— Я бы так не стал говорить, ибо еретизмом и сектантством попахивает, но с метафизикой, безусловно, как-то попонятнее получается. Не в отвержении физики тут дело, а в выходе за её пределы, в некотором и метафизике подчинении. Забвение *иного мира*, того самого — трансцендентного, который на Земле представляют как раз религии и метафизика, дорого обходится человечеству, так что стоит ли это временное помешательство оплачивать самым земным сознанием, его полным убиением?

— И выхода здесь никакого нет?

— Почему же, выход всегда есть, точнее, возможен, а вот какой, это, уж простите, во власти только Господа Бога, так что нам остаётся лишь надеяться, а надеясь, проникать всё-таки в метафизику — вдруг, пригодится!

— Спасибо вам, профессор, за открытый разговор, но, скажу вам, я не вижу в ваших воззрениях ничего... кроме очередного мифа, хотя ваша критика науки и оценка текущей реальности заслуживают безусловного внимания.

— Что-о, обидно за науку? А разве она не миф, частично, конечно, верный и эффективно работающий, а во многом, попросту ложный и вредный? Да и что вокруг нас не миф? Вы сторонник одного мифа, я — другого, вот, собственно, и всё! А кто из нас ближе к реальности, то тут последнее слово не за нами, а за



этой самой реальностью. Так что останемся наедине с последней, для вас познаваемой и расчётливо переделываемой, а для меня полной тайн, недоумения и протеста. Ежели наука для чего-то нужна и без неё не обойтись, то, видимо, в рамках какого-то сверхисторического проекта, нам неведомого, но способного вполне милостиво принять такую феноменальную жертву, как земное человечество. А пока, знаете ли, мне слышится отовсюду почему-то лишь по-разному исполняемый, но эсхатологически вполне выверенный реквием!

— Да, тут надо думать и думать, но, соглашаясь во многом с вами, я всё-таки испытываю потребность кое в чём вам возразить, в том числе и против вашего реквиема.

— Только, пожалуйста, без научной аргументации (*смеётся*), а то аппетита не будет, который нам всё-таки необходим, чтобы достойно переживать умопомрачительные научные конференции... О-о!.. Видите, народ уже повалил из зала и держит курс прямо в ресторан.

— Ну что ж (*тоже смеётся*), поспешим и мы!

Особняк

*Москва. Особняк на Остоженке,
вблизи нынешнего плавательного бассейна «Чайка»
и станции метро «Парк культуры».*

Обширная зала с горящим камином.

У камина в креслах двое.

*Один, держа в руках кочергу, следит за огнём,
периодически пошевеливая поленья и угли,
другой же, вытянув с наслаждением ноги,
уделяет больше внимания
маленькому низенькому столику,
на котором стоят две бутылки
определённо хорошего красного и белого вина,*



*а также нашла место весьма изысканная закуска.
Он явно голоден и не прочь бы подкрепиться.
Тот, что с кочергой,
будучи, видно, за хозяина в особняке,
предлагает своему визави перекусить, не стесняясь.
Он наливает в его бокал любимого гостем
красного вина, а себе — белого.
Произнеся дежурное «На здоровье!»,
отпивает из своего бокала,
приглашая гостя последовать его примеру.
Тот, не думая медлить, опустошает свой бокал
и с удовольствием принимается за еду.*

— Ешьте, ешьте, вы же с дороги, а я недавно отужинал, так что на меня не смотрите. (*Снова наполняет бокал гостя красным вином*). По-моему, это ваше любимое «Бордо», не так ли?


— Да, да, это одно из вин, которое я предпочитаю. Благодарю за память, и... за ваше здоровье!

— А я за ваше, спасибо!

Оба некоторое время молчат, не забывая попивать вино, а гость ещё и охотно закусывать. Наконец, когда хозяин почувствовал, что гость утолил голод, по его звонку в комнату вошёл отстранённого вида человек, неся в руках поднос с чаем и кофе, с разного рода десертами и бутылкой коньяка. Хозяин, кивком головы поблагодарив... э-э... официанта, предложил гостю на выбор чай или кофе, весьма споро плеснув в бокалы прекрасного грузинского коньяка. Официант забрал остатки гостевого пиршества и чинно удалился.

— Я, знаете ли, предпочитаю выдержанный грузинский. И вам советую... не откажетесь?

— Нет, нет! Мне, честно говоря, всё равно, лишь бы хорош был.



— Ну и правильно! Курить я бросил, а если вы желаете, то, пожалуйста, к вашим услугам тут кое-что есть — сигареты английские, ну и сигары кубинские тоже.

— Позвольте сигару, давно не баловался.

— Что ж, зачем отказывать себе в удовольствии. Я, пожалуй, тоже закурю. И вам приготовлю по старой памяти.

Хозяин ловко обрезал кончики сигар, протянул одну гостю и чиркнул настольной зажигалкой. Не без явного удовольствия оба запыхтели сигарами, глядя на уже ослабевавший огонь в камине. Хозяин пошевелил поленья. Огня прибавилось.


— Камин — моя слабость! Да и сжечь что-нибудь всегда удобно.

— Да-а, у меня в Париже и Нью-Йорке тоже каминны, и в них тоже пропадают кое-какие бумаженции.

— Нет секрета, нет проблемы! — засмеялся хозяин особняка.

Тут, наверное, самое время сказать, что оба господина, несмотря на большую телесную и физиономическую разницу, отличались тем особенным выражением лиц, характерным для людей высокого интеллекта и одновременно какого-то особенно значимого и очень ответственного положения, не подлежащего публичной огласке. Читателю, хорошо знакомому с романом о Мастере с Маргаритой, могло показаться даже, что в выражении лица хозяина было что-то... не только от Пилата, но, может, и от Воланда, а в госте что-то, скорее всего от Афрания... или от Иешуа... да, да... именно так... от Пилата, Воланда, Афрания и... Иешуа. Впрочем, оба господина ничем не походили в чертах своих на перечисленных романских персонажей, которые, собственно, неизвестно какими и были.

— Не всё идёт так, как бы нам хотелось, — пыхтя сигарой заметил хозяин особняка, — но всё-таки движется куда надо. Нам удалось отвести страну от тупикового большевистского «большака», а затем резко ослабить воцарившийся в ходе предпринятого переворота сволочизм. (Пауза). То, что должно умереть,



пусть умрёт само собой, а кое-чему из обречённого мы найдём способ помочь исчезнуть.

— Не хватает адептов. И опять же это подлое предательство. Вот уж чего не ожидал! (*Гость отпил с наслаждением приготовленного по-итальянски кофе*). Хорошо, что вовремя спохватились. Сотворить такое! Удалось хоть выправить ситуацию и всё надёжно нейтрализовать. Очень помогла нам она, самая преданная. Всё-таки в ней есть что-то от романной Маргариты, не правда ли?

— Да, есть, — заметил как-то сухо вато хозяин, — это действительно выдающаяся женщина, покруче даже Маргариты. (*Немного помолчав, продолжил*): Нам надо быть теперь особенно бдительными. Хитрый старик не может не заподозрить... и ответить.

— По-другому, увы, нельзя: или мы, или нас! (*Пауза*). Что же касается старика, то это... э-э... римское происшествие должно убедить его, что смертельная схватка с нами бесперспективна, а потом... с кем, с кем конкретно, со мной?, а ведь это для него очень даже чревато, и он не может этого не понимать.


Хозяин пошевелил догорающие в камине поленья. Стало светлее, огонь ненадолго озарил сосредоточенные, несмотря на вино и коньяк, лица.

— Похоже на то, — задумчиво произнёс хозяин, сделав глоток уже остывшего чая, — но расслабляться никак нельзя. Мы ведь на войне, на затяжной и беспощадной войне. Сражение в самом разгаре... почти как в сорок первом.

— Тень великого узурпатора Сталина...

— Сталина уже не воскресить, да и не надо. Времена тоталитарных диктатур прошли, как, собственно, и тоталитарных демократий. Теперь очередь вроде бы не тоталитарных, но всюду и во всё проникающих криптократий с их конспиративными и незаметными технологиями. (*Пауза*). Мы должны делать так, чтобы никто ничего не понимал. В этом наша сила и отсюда наш шанс.

— Вы *им*, которые в верхах (*он сакцентировал на слове «им»*), верите?



— Ну-у, верить это не для нас. Они ведь не знают, кому в итоге служат. Это главное! (*Пауза*). Понимаю ваше беспокойство после такого... чуть ли не провала. (*Пауза*). А что там, за океаном?

— Там растёт тревога. В Америку всё меньше верят. Она пока цела, но уже предвосхитительно задёргалась. Нам теперь легче работать. Понимание, что будущее не за Америкой, растёт.

— Нам сейчас помогает катастрофа, в которую страна недавно вляпалась. Отсюда потребность думать и кое-что рождать. Слава богу, у нас как-никак подъём, пусть и не очень явный. Только вот суетиться не надо!

Хозяин подбросил дров в почти прогоревший камин. Предложил гостю свежего зелёного чая. Подлил и себе. Взял бокал с коньяком и обратился к гостю.

— За успех! Нам удалось внушить атлантистам, что Россия им не враг, и что России есть, чем ответить. И не только ракетами. Кажется, до них стало доходить. Как и то, что Россия больше не будет им щитом. Вот за это и выпьем!

— Охотно! Они, кажется, начинают понимать, идиоты, что без сильной России им каюк.

— Им каюк в любом случае, как и Европе, во всяком случае, в нынешней политической конфигурации. Европа-то, дура, лезет-таки на европейский Восток! Да-а, сон разума рождает чудовищ... Ну, ничего, надо работать, вести свою игру. В Ирак мы их втянули, в Афганистан, в Косово. Позволили залезть в эту дурацкую Гаагу. Так что дела идут. Как там у вас, в Брюсселе?

— Европа не знает, что с собою делать. Вот и мечется. Главное, ей уже никто не верит — ни Восток, ни Запад. Она чувствует, что исторически уже обречена, а развернуться к России воображения не хватает, особенно, у туманных альбионцев.

— Откуда ж там воображение? Даже вроде бы умная, эта старая британская Маргарита, победительница бездарной аргентинской военщины, а такое лягнула про Россию, что у самой, наверное, дух перехватило, — для России, мол, хватит и пятна-

дцати миллионов людишек, зачем же 150—200? (Пауза). Ничего не понимают и не стесняются, зазнайки!

— Ум, кажется, вновь на Восток смещается, частично и на Юг.

— Только не в Россию, вы хотите сказать, — смеясь, заметил хозяин особняка.

— Россия крепка не умом, а Благодатью Божией... что, согласитесь, не одно и то же, — парировал, тоже засмеявшись, гость.

Собеседники вновь приподняли бокалы и с удовольствием пригубили благородного напитка.

— Вы знаете, чуть было не забыл, — обратился гость к хозяину дома, — вам же привет от нашего патриарха. За девяносто уже, а он не только бодр, но и совершенно ясен умом. Все мечтает о реванше в России. Говорит, что из-за этого и не умирает.

— К монархии или нет, но дело к чему-то такому идёт. России нужна какая-то монархия, или, лучше сказать, центрокрратия. То, что называется демократией, у нас не пройдёт. (Пауза). Крах, который только что пережила Россия — особого рода крах, он исключительно продуктивен, ибо это крах не одной лишь России, даже не СССР, даже не того же марксизма...

— А всего сразу?

— Да, сударь, именно так: *всего сразу!*

— И человека, стало быть...


— И человека. Но не только нашего: весь мир идёт в разнос вместе со всеми своими человеками. По планете уже бродит призрак *иного мира*, снедающий все отжившие своё призраки. И в наступающей всемирной пертурбации надо не только выжить, но и продуктивно поучаствовать, чтобы выйти целыми и в меру жизнеспособными.

— Как сказочный Иван-дурак из полымя!

— Не без помощи, правда, какой-нибудь царевны-лягушки.

— Под которой вы имеете в виду..?

— Не только нефть и газ, но и нас с вами тоже, разумеется, вооружённых новейшими методами управления.



Тут собеседники замолчали, глядя на резвившийся в камине огонь. Чай у них совсем остыл.

— Но ведь Запад, — нарушил молчание гость, — это тоже хорошо понимает, ведя уже кое-какой демонтаж наличного мира, ввергая его в управляемый хаос, проектируя новый мир с новым же человекообразным существом, надеясь выплыть из устроенного им хаоса полнейшим хозяином перестроенной им планеты.

— Это-то всё как раз под бо-ольшим вопросом, ибо Запад вовсе не един, да и игрок он мировой уже не единственный. К тому же не восходящий игрок, а, увы, нисходящий. К тому же он разъеден благополучием и оскоплён самоуверенностью. Положение нынешней России, несмотря на её сомнабулическое блуждание по собственной околожизненной помойке, куда как предпочтительнее.

— Поражение учит, а кризис лечит, так, что ли?

— Мы омерзели, но у нас уже и дрожь от омерзения. А где дрожь, там, глядишь, и выздоровление с возрождением.

— Если не полная уже гибель...

— Она всё ещё вероятна, но уже не неизбежна! А у Запада всё как раз впереди. Хорошо сказать: демонтаж, управляемый хаос, строительство нового мира, а риск!? О-о, у Запада, несмотря на все их технологии, менее всего шансов на большую сюрристорическую перестройку, ибо у них уже нет жизнеутверждающего и житнетворческого человеческого материала, человека нет, тем более, способного на жертвенный подвиг, а технологии, художбно, создаются ныне не только в США и Европе.


— Но у нас ведь тоже с человеческим материалом что-то не шибко...

— Однако за граница его всю пользует, так что... в России даже мерзость почему-то не мешает возвышению.

— Православная всё-таки страна, страдательная и живучая.

— А кризис споспешествует её сосредоточению и мобилизации, нарастанию и кое-какой ответственности.

— Но без волевой перетряски страны всё-таки не обойтись, без той же новой опричнины, если под последней понимать не



пресловутый ивангрозненский террор, а целеположенное созидание новой России в среде нынешней, возникшей по итогам подлейшего переворота и с самого своего начала неизлечимо порочной.

— Ну и задача! Разве *они* потянут?

— Ситуация заставляет, *ситуация!* Как в случае с той же Грузией, к примеру. И мысль новая в России, скажу я вам, вырабатывается, и потребность в этой мысли нарастает, несмотря на общий буржуазно-местечковый дебилизм, и новые люди приходят, а главное, причины идут, от которых не скроешься.

Собеседники снова замолчали, глядя на уже мерцавшие красными огоньками древесные угли. Немного вдруг осоловев, гость не удержался от зевка. Хозяин и сам уже был непрочь вздремнуть.

— Не думал я, — несколько растягивая слова, заговорил гость, — что вы, экселенц, такой оптимист. Что-то, наверное, действительно меняется и куда надо.

— Главное, не ожидать рая. Рай уже состоялся — на Западе. Но и думать, что здесь у нас один сплошной ад, вряд ли правильно. (*Пауза*). Задача России — родить *нового человека*, а вот получится или нет — одному Богу известно! Мы лишь тому скромные пособители. (*Пауза*). А вообще-то женщина, видно, нас и выручит.

— Вы же, кажется, антифеминист?!

— Я же говорю женщина, дорогой мой, а не фемина, — фемина-то что, она всего лишь для того призвана, чтобы всякое отребье человеческое сожрать, а женщина... женщина... она-то как раз выдюжит, даже героев народит.

— Вы ещё надеетесь на героев?

— Почему нет? Хотя бы когда сжатие окажется достаточно невыносимым, а потребный идейный переворот уже свершится.

— Долгонько, видно, придётся ждать.

— А вот этого уже никто не знает.

Сонливость на лицах собеседников как-то вдруг исчезла.

— А что, слово какое-то новое уже явилось, здесь, в России?

— Не скажу, что нет, а это уже немало. Ох, как они все обманутся, эти покорители России!.. Россия — особа капризная!

— И мстительная!..

— Да уж, чего не отнять, того не отнять!

— Хоть при этом и не злопамятная.

— Ничего, милостивый государь, прорвёмся! У нас великое преимущество — нас с вами никто всерьёз не принимает, — и в этом их главная ошибка. И опоры у них сакральной нет, одни пустышки. *(Пауза)*. В Бога верить надо, но надо с Богом и взаимодействовать, кое-что и по-особому понимая. И такое понимание сегодня в России, пожалуй, уже имеется.

— Да-а, сакральный ад!

— Это вы хорошо сказали, сударь, но есть и «противоадие», а за ним и подъём — не в рай, конечно, а к жизни полноценной... с *новым властителем* во главе.

— Вы верите?

— Нет, не верю, просто всё к *этому* идёт *(он сакцентировал на слове «этому»)*. Давайте-ка за *это* и выпьем! Да и отдыхать уже пора.

Собеседники встали со своих кресел, разминая слегка затекшие ноги, выпили по глотку, а остатки дорогого напитка выплеснули на уже поседевшие угли, отозвавшиеся лёгким шипением.

— Да, так оно и есть: через тернии к свету! — подытожил хозяин дома. — Только вот свет впереди больно обжигает.

— Замысел Всевышнего можно исполнить, лишь двигаясь навстречу.

— Именно навстречу, совершенно и сознательно, ничего не боясь и кое-что различая. А стремления здесь хватит! *(Переходя на обыденность)*. Вы, как всегда, в той же комнате ночуете, так что, надеюсь, добрые сновидения не обойдут вас стороной. Спокойной вам ночи!

— И вам, экселенц, спокойной ночи, завтра я встречу кое с кем, а вечером, если позволите, я составил бы вам компанию.

— Милости прошу! Я жду, кстати, в гости одну премилую особу, она вам должна понравиться.

— Из наших?

— Конечно! Умницы и красавицы, слава богу, ещё не перевелись.

— Интересно! — гость лихо изобразил, что поглаживает ладонью мнимые гусарские усы.

— Э-э, нет, на это не рассчитывайте, только на сестринское расположение.

— Понимаю, понимаю, — сделал огорчённую мину гость, — тогда я вам отомщу в Париже.

— О-о, теперь мне есть повод поторопиться в мою дивную Францию... Прощайте, сударь, спокойной ночи!

— Спокойной ночи!


Уже лёжа в постели, гость вдруг подумал о хозяине особняка — учёном, писателе, мистике и... генерале, не говоря уже о... «Какую же это музу он собирается завтра принимать, старый ловелас?».

И в полусонном воображении ему отчётливо явился почему-то автор московского романа, со строгими серыми глазами и в чёрной шапочке.

«К чему бы это?» — успел лишь отметить про себя заграничный вояжёр, немедленно и крепко уснувший.

Истина

*Понтий Пилат,
достолавный экс-прокуратор Иудеи,
сопровождаемый любимой собакой Бангой,
и добрый человек Мешуа,
за которым немного поодаль*




следует другой добрый человек, тоже в рубище,
по имени Левий Матвей,
неторопливо движутся
по старательно утрамбованной рабами дорожке
обширного сада дворца царя Ирода,
серебристо освещаемой полной луной,
поднявшейся уже довольно высоко
над ненавистным бывшему прокуратору Ершалаимом.
Им давно уже было всё ясно,
но они никак не могли
навсегда расстаться друг с другом,
время от времени встречаясь по полнолуниям
в саду дворца царя Ирода,
из которого они ушли,
каждый по-разному,
в своё бессмертие.

Пилат (прервав затянувшееся молчание): Какие сильные запахи! Они меня почему-то беспокоят. Странно!.. А вот Банга спокоен, — что ему тысяча всяких запахов. Ты спокоен, Банга? (Собака, посмотрев преданно на хозяина, лизнула ему запястье). Да-а, нет у меня никого преданнее тебя, Банга (*Пилат потрепал ласково большие уши собаки*). Нету! Ты и есть, видно, моя единственная истина.

Иешуа (про себя, не произнося ни слова): «Бедный человек, этот Пилат, остался один-одинёшенек с собакой и покоя себе не находит». (*Вслух*): Это не запахи тебя беспокоят, игемон, а твоё прошлое тревожит, которое ни ты не можешь забыть, ни оно тебя не может никак отпустить. Ты любишь Бангу, но ты никогда не любил людей, — в этом твоя беда.

Пилат: Но я был верен долгу перед теми же людьми, что, по-моему, не так уж и плохо. Согласен, я не любил людей, которые и не заслуживали никакой любви, но я много сделал хорошего для них. И если меня что-то и в самом деле беспокоит, так это



несправедливость, проявленная к тебе, как ты неустанно повторяешь, добрыми людьми, и мною от тебя не отведённая. Какая нелепая была казнь!

Иешуа: Красивых казней нет, разве лишь некоторые бывают просто хорошо сделанными. Я понимаю тебя, Пилат, но, думаю, не в казни всё-таки дело, а в открытии тобой, уж прости меня, своей слабости. Любовь к людям требует духовной силы, которой у тебя, игемон, никогда не было. Ты был умён, стоек, упрям, пожалуй что, и мудр, но ты был лишён... любви. *(Пауза)*. А казнь, видно, должна была свершиться, она и свершилась.

Пилат: Усилиями добрых людей.

Иешуа: Нет, они не были тогда добрыми, но я их доброты ничем и не заслужил.

Пилат: Ну и ну, опять двадцать пять! Ты всё, добрый человек, о своём: о любви, доброте, неведении, невинности, всепрощении. Ах, если бы после казни твоей люди хотя бы чуть-чуть изменились к лучшему, тогда — да! Но ничего подобного не случилось, жить по-твоему они так и не пожелали.

Иешуа: Да, не смогли, но я ничего такого и не хотел. Я просто говорил, что думал, что мне ясно вдруг стало: без доброты и любви одна погибель.

Пилат: Ну уж и погибель! Живут же люди: плодятся, страдают, радуются, умирают.

Иешуа: Плохо, однако, живут, плохо, вполне и погибельно... Но это их дело. Я лишь пытался выказать истину, в которой люди нуждаются. Но, кажется, был наказан... за гордыню.

Пилат: И всё-таки, Иешуа, ты мечтатель, страшный мечтатель!

Иешуа: В том не моя вина. Люди хотят истины, не ведая, что она силы необыкновенной требует, причём сразу ото всех, а потому и нет для них никакой истины... нет... и для тебя нет, нет... игемон. Я ведь был не первый и не последний, а истина вдруг открылась мне, когда я... э-эх... прошёл однажды мимо плакавшего... нет, не ребёнка вовсе, а старика, никому уже не нужного и совершенно бесполезного, не зная, как ему и помочь.

(Пауза). Понял я тогда, что значит доброта, что значит любовь, как и понял, что всё это невозможно, но не говорить об этом уже не мог, потому и казнь свою со смирением принял, ибо невозможно всё это... э-эх... совершенно невозможно! (Пауза). Истина-то есть, но на что она тебе, игемон, ибо ты, уж прости меня, слишком слаб для неё, а потому и невольный её противник?

Пилат: Любить, любить, чтобы потом под зад получить от благодарных-де добрых людей. А дело-то как же делать? Жить-то как? Хозяйствовать? Строить? Воевать?

Иешуа: Извини, игемон, что ожиданий твоих не оправдываю и совесть твою успокоить никак не могу.


Пилат: Ладно, Иешуа, не могу я, видно, ничего с собой поделать, как, впрочем, и ты с собой. (Обращается к собаке): Ну что, Банга, пойдём! (Повернувшись к Иешуа, кладёт руку на его плечо). Я даже тебя, добрый человек, полнобить не могу, хоть и не могу без тебя. (Подумав). Да, не могу!.. Прощай, Иешуа, ещё как-нибудь увидимся, в какое-нибудь полнолуние (усмехнувшись) ... как бесы какие-нибудь. Пошли, Банга!

Иешуа (смотря вслед Пилату и его верной собаке, обратившись к подошедшему Левию Матвею): Видишь, Левий, какая гордыня в нём сидит, хоть и честный он человек, благородный, но какой же он гордый, какой гордый! (Пауза). Жаждет вроде бы истины, а сам ужасно её боится, даже больше огня, душу его методично сжигающего. (Пауза). Что ж, пошли, Матвей, нам-то с тобой ни от чего бежать не надо, да и спешить некуда!

Ангел

Ангел: Тебе горько, я вижу, но ты не горюй, по-другому всё равно не будет, пока не будет, долго ещё не будет. Идёт борьба, и за человека тоже, и за планету, которую русский человек Землёй называет, и за Россию, за самого русского человека, за природу-матерь. Великая идёт борьба!

Писатель: Между кем и кем?



Ангел: Ну, скажем, между Богом и сатаной. А в общем-то, между двумя, как бы это лучше сказать, альтернативами, что ли.

Писатель: А за что борьба-то идёт?

Ангел: За сердца и умы.

Писатель: Людей?

Ангел: Не только. Ведь сатана — тоже вроде бога, хоть и не равен он Богу Вседержителю, но достаточно сильный, чтобы себя ему постоянно противопоставлять. Пожалуй, и необходимый.

Писатель: Почему же?

Ангел: А чтобы мир был, вся Вселенная была, Солнце, Луна, Земля, чтобы природа была, жизнь была, человек был, да и ты был.

Писатель: И что же, без него никак нельзя?

Ангел: Никак, ибо он от материи, энергии, информации — от физики, стало быть. Если без всего этого обойтись, то его и не будет, но без этого, как ты понимаешь, и мира не будет, ничего не будет. А раз не обойтись, то и сатана тут как тут! Сам-то он не материя, но от материи, которая, ожив, что-то своё через него и диктует. Так что без сатаны нельзя, никак нельзя!

Писатель: И укротить его нельзя?

Ангел: Можно, но тогда будет совсем не интересно, понимаешь, смысла не будет, либо одна пустота будет, либо, наоборот, одна твердь, а кому это нужно?

Писатель: И поэтому непрерывный бой?

Ангел: Не бой, быть может, но что-то вроде того: борьба, соперничество, тяжба.


Писатель: Гм, гм! А мы тут всякие утопии строим, светлого будущего жаждем, если уж не земного, то хотя бы загробного.

Ангел: Я уж тут помолчу... нельзя... запрещено.

Писатель: Вы там что... тоже под цензурой?

Ангел: А как же! Война есть война, да и замысла Божиего ведь никто до конца не знает.

Писатель: А сам-то он знает?



Ангел (прикладывая палец к губам): Тс-с! Творение ещё идёт, а вот творение чего и чем оно закончится, этого никто не знает. Думаю, и Он сам вряд ли знает.

Писатель: А София?

Ангел: Что София, ей как скажут, так и будет!

Писатель (недоумённо): Да-а?

Ангел: Да ты не волнуйся, Господу ведь самому важно, чтобы конец, как бы это сказать... не был концом, а потому, несмотря на известный ему замысел, он и сам, вроде как один из участников.

Писатель (задумчиво): Какая-то цель всё же есть, но вот какая? *(Обращаясь к ангелу):* Но ведь и у сатаны есть своя цель?

Ангел: Помешать Господу, отъять у него человека, придти к иному финишу. *(Пауза).* Тут всё дело в сознании, следственно, и в знании. Человек наделён всем этим, и тут он, пожалуй, тоже им партнёр — Богу и сатане. Третье, так сказать, действующее лицо. От самого тварного мира. А потому от человека многое зависит: как для него самого, его собственной судьбы, так и для Господа и сатаны — для решений Господа и действий сатаны.


Писатель: Выходит, что человек — прямой и активный участник всей этой космогонической игры, а не только её пассивный объект.

Ангел: Конечно! Ведь Господь дал человеку сознание, а следственно, и свободу, возможность решать, выбирать, действовать, быть творцом, даже и демиургом.

Писатель: А сатана подбросил человеку кое-какие знания и подпустил самонадеянности?

Ангел: Вроде того. Но дело тут не только в сатане. В его хозяйстве тоже много всякого беспорядка. Там хватает разных самостийцев, устраивающихся по-своему и действующих, как им вздумается. Так что *против Бога* (он сакцентировал на этом «*против Бога*») вообще много чего. И человеку совсем не трудно тут запутаться.

Писатель: И он путается...



Ангел: О-о, и самому Господу от этого бывает страшно! Он был вынужден даже Сына своего на Землю с миссией отправлять.

Писатель: И согласиться на его казнь?

Ангел: Не совсем. Казнь Сына Божиего была всё-таки делом людским, хоть и по сатанинскому наущению. А Бог был вынужден просто смириться с этим, надеясь, что человек, ужаснувшись, и что-то важное осознав, преобразится.

Писатель: И просчитался?

Ангел: Не был человеком понят, я бы сказал.

Писатель: Он огорчён?

Ангел: Вполне!

Писатель: И что же теперь, когда сатана явно захватил сердце и ум человека?

Ангел: Теперь кульминация! Человеку самому решать... А порча-то его велика, ох, как велика! Разгулялись тут бесы не на шутку.

Писатель: А вы, ангелы и архангелы, вы-то где?

Ангел: Мы здесь, но... Господь всё ещё надеется на человека, на ту же Россию. Человек должен сам всё понять, отпрянуть от сатаны, вернуться к Господу.

Писатель: Это как же?

Ангел: Не все люди это сделают, но кое-кто обязательно сделает. Люди ведь разные, не так ли?

Писатель: Есть люди, а есть и нелюди.

Ангел: Господь позволяет спастись каждому, но на всех он, видно, не рассчитывает.

Писатель: Тут явное меньшинство.


Ангел: Как сказать, может, и меньшинство, хотя, кто знает, может, не такое уж и малое. Главное, не унывать и... жизни радоваться.

Писатель: Даже вот такой?

Ангел: Ну ты же, господин дорогой, не один.

Писатель: Это верно, но всё равно как-то мерзопакостно от всей этой людской доли.

Ангел: Вы же, люди, не в раю.



Писатель: Знаю, что не в раю, а, скорее в аду, а делать-то что? Терпеть?

Ангел: Терпеть, переносить и жить, работать... над сознанием своим прежде всего работать. Это самое главное!

Писатель: Кругом одна бесноватость, какое уж тут сознание?!

Ангел: Есть ведь и не соблазнившиеся.

Писатель: Это воцерковленные, что ли?

Ангел: Не только! Церковь для страждущих прежде всего, но есть и те, кто с Богом в душе и без церкви, или даже атеистом и себя почитают.

Писатель: Выходит, за человеком выбор?

Ангел: Да.

Писатель: А почему же зверя-то столько в человеке?

Ангел: Всё потому же: от материи, от энергии, от физики.

Писатель: Но ведь материю не отменить.

Ангел: Не в том дело: на дух надо больше напирать, на дух, его надо стяжать и поддерживать, а то и лечить.

Писатель (слегка задумавшись): Душевнобольные... их разве вылечишь.

Ангел: За себя надо отвечать. Больше серьёзности и ответственности!

Писатель: Какой ещё ответственности?

Ангел: Перед неизвестностью, добрый человек, перед неизвестностью.

Писатель: От страха?

Ангел: А вот это уж не обязательно! От сознания и только от сознания, но страдающего и укрепляющегося.

Писатель: Ради чего?

Ангел: Ради сознания, господин хороший, ради сознания, без которого ведь ничего нет. А теперь прощай, мне пора! И оставайся тем самым человеком, от которого всё и зависит! Вот где страх — так страх!



Магистр

«О-о, Россия, Россия! Непонятная, на всё способная, но и ничем не дорожающая, кроме своей плазменной неопределённости, столько всего совершившая, ничего на века не скрепившая, зато столько всего растерявшая!

Как ловко и упорно удерживаешь ты в себе деспотизм и волю, произвол и насилие, провоцируя то клубящуюся, как жаркий огонь, то затухающую, как предгрозовую ветер, бесконечную смуту-войну — отравляющую, опустошающую и гнобящую!

Чего же ты хочешь, загадочная страна, растекаясь упрямым монстром по свету, то распадаясь вдруг, то вновь внезапно собираясь, отстаивая яростно что-то невнятное и безразлично выбрасывая на свалку истории любое сколько-нибудь ясное.

Сожалея всегда о прошлом, ненавидя настоящее и выпрашивая будущее!

Царь — не царь, вера — не вера, бредни — не бредни!

Сколько всего на выброс, в тартарары, в небытие!

И каждый раз голая пустыня, каждый раз ровная доска, каждый раз чистый лист бумаги!

И кровь, которую Россия льёт и льёт среди себя — в пароксизме странного ненаслаждения!

Отчего вдруг бешеный Иван Грозный, отчего неистовый Пётр Великий, отчего беспощадный генералиссимус Сталин?


А разве можно было иначе?

Как?

Нечему тут удивляться!

Выбор без выбора!

Ничего в России, кроме власти, а следственно, властных и подвластных, нет: ни собственно государства, ни собственно общества, ни, конечно же, права и граждан, а если что и есть, так это одни *понятия*. Хорошо ещё если традицией как-то обусловленные, каким-то опытом оправданные, а то ведь и совсем случайные, несуразные.



Да-а, ничего нет, кроме произвола, что властного, что людского, что мужского, что женского. Этаким всеобщий *произвольный деспотизм* — тоже ведь соцустройство! Ещё и *анархизм*... Бр-р!

“Всякая-де власть от Бога”, — что-то я в этом сильно сомневаюсь... От Бога, наверное, но и непременно от сатаны. А уж в России-то точно! Вечная там борьба с переменным успехом: порядка с хаосом. Мистерия! Ежели с врагом схватка, то даже вроде бы от Бога, а вот коли для себя — то более всего прямо от сатаны... А ведь стоит, матушка, стоит!

Россия — вот загадка!


И почему же не родиться было в России, пусть и в советской, столь притягательному и отталкивающему роману — сладостному, прилипчивому, любезному? Умному и... страшному? В котором не столько люди, сколько нелюди, не столько живые, сколько мёртвые, не столько герои, сколько на них пародии. Муляжи, миражи, мистификации!.. Сама смерть в нём как хохма, а Конец Света — как балаган!

Реальности в таком романе нет, нет и никакого будущего. Покой — не будущее! Все персонажи бездетные. Какое-то скопище человекообразных... вроде бы московское, будто бы с прототипами, но явно... потустороннее, нездешнее, иномирное. Как в греческом театре, как у Гомера — этого великого псалмопевца-похоронщика. А сам роман — просто фантом какой-то! Читанный урывками и тайно самым близким, на автора, видно, и стучавшим, прочитанный с инквизиторским вниманием самим кремлёвским тираном, не годившийся к печати, хранимый тщательно и с риском, как какой-нибудь динамит на нефтебазе.

А ведь жизнь-то вокруг фантомом не была, хоть и было в ней много прямо-таки ирреального, а лучше сказать, несусветного, тот же сталинизм с коммунизмом, те же невероятные для истекавшего кровью и энтузиазмом народа подвиги, тот же ГУЛАГ, те же пятилетки, тот же МХАТ с “Днями Турбинных”.

Реально-нереальная фантазмагория!

Отсюда и роман-фантом, отсюда и... автор-фантом.



И какой при этом в романе смысловой закрут: без Бога, но с сатаной. От зла — к добру. От добра... к пустоте, а уж от пустоты — уже за пределами романа — вновь ко злу, но уже и без сатаны, вернее, без его умного конструктивизма, а всего лишь с иудиной изобретательностью.

Что и случилось после краха сталинизма, через семьдесят лет большевистского пленения: от узды к разнузданности!

Сплошное тут искажение и сплошная недопустимость, она же и вседозволенность.

И слово подходящее тут же явилось — *беспредел!*

Как раз от романа!

Чёрная это дыра — Россия, очень чёрная и очень долгая! Где Темуджин — он же Чингисхан, где Лжедмитрий — он же Отрепьев, где Наполеон — он же Бонапарт, где Гитлер — он же Шикльгрубер?.. Где?.. А Россия, эта Гиперборея, эта Скифия, эта Тартария, эта великая беспредметная дрянь, — стоит себе и стоит, сгорая время от времени дотла и из собственного пепла регулярно возрождаясь.

И сейчас поднимает свою шальную голову, окаянная, чужая, как никто другой, евро-американский тлен, заинтересованно озираясь по сторонам.


Зарыгала перед прыжком!

Выблюнула когда-то царизм с опостылевшим ей православием, выблюнула потом и сталинизм с опостылевшим коммунизмом, выблюнет и нынешний демократизм с опостылевшим либерализмом.

И деньги мировые выблюнет!

Россия — чудо!»

Так, или примерно так, а может, совсем и не так, размышлял, сидя в своём парижском, старинного покроя, кабинете, глубокий старик, неоднократно призванный и услужливо обкатанный назойливой смертушкой, уже и согбенный, — патриарх тайного русского движения, его бессменный на протяжении полувека глава, лишь недавно отошедший от активных дел, передав



бразды своего замысловатого правления в надёжные, как ему казалось, руки, ещё в этих руках не усомнившийся.


Он хорошо знал свой земной срок, знал, когда покинет сей мир ради мира иного, знал, что произойдёт это весенней полнолуной ночью, на рассвете, когда сердце его окончательно замрёт по его команде, а душа отлетит в горние дали, на встречу, как он надеялся, с Господом Богом.

Он полагался во всём на волю Всевышнего — и когда напряжённо жил, борясь за Россию, и когда находился на краю жизни и смерти, и когда, впадая в только ему доступный вещий транс, обращался к Господу, взыскуя совета и чая его могучей поддержки.

Его всегда удивляло, по выходе из своих трансцендентальных блужданий, что Господь никак не желал ни раскрыть тайну России, ни намекнуть на её будущее, ни дать ему — Великому Магистру — способность выказать новое слово, столь нужное России. «Терпения, мой верный подвижник, терпения! — будто говорил ему Господь. — И работы, многой работы!»

И он работал! Но... но... ему так и не удалось вернуть России её исходную русскость, поднять в ней Святую Русь, этот русский Грааль, ибо не явился ещё в России люд, её достойный, да и он сам не нашёл потребного России слова, Господом от неё почему-то сокрытого.

И вот теперь он, давно уже готовый к смерти, собирался покинуть сей бренный мир, и сделать это он вознамерился один, в своём любимом старомодном кабинете, полном застывших энергий и потаённых смыслов, сидя в своём давно уже продавленном кресле, простившись навсегда со своей и своего великого отца — рюриковича — неосуществлённой мечтой, ради которой только и стоило жить, упорно борясь не столько даже с врагами Отечества, сколько с его же сыновними изменниками, которых оказывалось всегда куда больше, чем мог предполагать даже сам Господь Бог, давно уже до глубины души поражённый этим, обескураженный и уязвлённый.




Старик до конца своего остался, несмотря на изнурительную и во многом тщетную работу, мечтателем-творцом... нет, нет... не Дон Кихотом вовсе, которого он, честно говоря, не терпел, хоть и убеждался постоянно в правоте незабвенного создателя курьёзного литературного персонажа.

«Что-то будет! — думал, закрыв глаза, старик. — Что-то ещё будет! Либо Россия поднимется и засияет на весь свет от найденного ею судьбоносного смысла, либо совсем исчезнет, потянув за собой и весь этот тлетворный прогрессивный мир, столь её ненавидящий и презирающий».

Напольные часы благовестно пробили полночь.

Старик открыл глаза, посмотрел без приязни на лежащий перед ним на столике провозвестнический роман, им не любимый, но почитаемый — за горькую правду.

«Не удалось, не удалось, — размышлял старик, прикрыв тяжёлые веки, — так и не стал писатель нашим, то ли не понял, то ли не захотел, то ли не смог... Перед дьяволом вдруг залебезил, а ведь мог, только он мог... да вот не позволил ему Господь, не открылся и ему. А ведь своей белой гвардии писатель изменил... да, да... изменил, убежал... вослед своему “Бегу”, убежал. Вот, видно, почему тогда, на балу в посольстве американском, он каким-то отстранённым смотрелся. Может, мы были недостаточно откровенны с ним? Слушал вроде бы, внимал, хитрец, но обречён, наверно, был на союз с какой-то сатанинской силой. Что-то же его заставило? Кто знает? Разочаровался, видно, в России и в русских, никому и ничему не верил, даже себе не верил. Время было сложное, кровавое, страшное, да и в Кремле сидел грозный и коварный кавказец. Не верил романист ни в ВКП(б), ни в Красную Армию, ни в НКВД, ни самому товарищу Сталину, хоть и признавал его мощь, как не мог не признавать и кое-какой его правоты, но... не верил. Сам Сталин никому и ничему не верил, а потому и не воспитал, не подготовил, не передал. Неверие! Э-эх, страна-обманка, в которую, выходит, можно только... не верить, так, что ли? Один лишь Промысел Господень остаётся».



Старик приоткрыл усталые веки и уставился в огромное эркерное окно, выходившее на Сену. В раннечном небе уже красовалась большим оранжевым блюдцем луна, пробиваясь к старцу сквозь тёмные лопатки повидавшего виды ветвистого фикуса.

«Зато как же здорово угадал романист с московской дьяволиадой, тогда укрощённой железной рукой кремлёвского владыки ради... ради... его гигантского интуитивного проекта, а потом, уже в 1980—1990-е, вольно расцветшей под эгидой мировой закулисы гнусным чертополошным цветом».

Старик вдруг усмехнулся.


«Сталиниада, дьяволиада, иудиада, в общем, то или иное явление ада, так щедро питавшего впечатлительного московского беллетриста... Понимал, что большевистское пленение евразийского пространства не бессрочно, предвидел неминуемый крах твердоносного режима: победное напряжение сменилось-таки безучастной усталостью, подлым поражёнчеством и предательской расслабленностью... на место титанов повыскакивали пигмеи.

Да-а, — закрыв глаза продолжал размышлять не без горечи патриарх невидимого безрезультатного движения, — как много было затрачено труда и сил и как мало удалось, почти что ничего!.. Гнусная эпоха!

А не проклята ли уже Россия тобою, Господи?! — вдруг впился острой иглою в притуплённый полудрёмой мозг старика коварный вопрос. — Нет, нет, — попытался отогнать от себя сие злое откровение невольно оживившийся от него старик, — нет... кажется... ещё не оставил!

Какая уж тут, право... вера, одна лишь, бесконечная боль... да разве ещё неизбежная досада... Да-а!»

Перекрестившись слабеющей рукой и немного успокоившись, старик ненадолго задремал. Внезапно очнувшись, заметил в проёме обширного окна поднявшуюся и заметно побелевшую луну, к которой уже подкрадывались исподтишка со стороны изящной, но очень уж нелепо торчащей среди чуждого ей города



Эйфелевой башни откуда-то взявшиеся, как незваные медузы, серые облачка.

«Ага, понятно, это смерть за мной идёт, — спокойно подумал старик, невольно прислушавшись к пустой тишине своей замершей квартиры, — пора, пора... да-с... о чём это я... а-а... всё о России, всё о романе. Угадал, угадал мудрый романист с наше-ствием развязной дьяволиады-иудиады. Потому и скрыл в за-гробной тиши Мастера с его Маргариткой, не захотел ничего пророчествовать нелюбимой России. И роман его толком не ставится на театре, не экранизируется, там ведь не любовь, а одно холодное презрение».

Старик вдруг как-то вздрогнул про себя: «А я-то любил? Сам-то я кто: Понтий, Афраний, Воланд, Мастер? Они ведь тоже никого и ничего не любили. Ох, как страшно!.. Э-эх, и я тоже!.. Кто же я-то?»

Старик даже всхлипнул как-то жалостливо.

«Нет, нет... я всё-таки Россию сильно любил, которую любить было невозможно. Да, Россию непутевую, униженную, изнасилованную, всё и вся теряющую, кроме разве скрытого в её чреве таинственного “органчика”, её, видать, и спасающего. Неужто всё было зря? Нет, нет... не может быть, сроки ведь никому неизвестны... даже, видно, и самому Господу Богу».


Старик сглотнул накопившуюся во рту слюну.

«А вот романист наш гениальный России не любил, не мог любить, да и не хотел... Интересно, полюбил бы он Париж — этого великого лицедея? Какую бы позу он принял, засев в Париже? Что-то вроде бунинской — надменно-скорбную, или же набоковской — холодно-безразличную?»

Луна на парижском небе вовсю уже затягивалась мглистыми облаками, демонстрируя гордому старику всякие хитроумные небесные рожицы, которые лишь укрепляли старца в желании свести счёты со своей долгой и почти что неудавшейся жизнью.

Старик снова задремал.

И случилось тут с ним мгновенное видение: стоит он вроде бы на краю какой-то бездны, а оттуда бьёт по нему как-то вязко и



удушливо чей-то хохот... и он вдруг догадался... чуть ли не Мастера с Маргаритой!

Старик сразу пришёл в себя, с лёгкой испариной на висках и участвующим биением всё ещё живого сердца.

«Господи, — подумал он, — это-то зачем, что это значит?.. Ах, этот лукавый романист, посмеялся-таки надо мной, дураком!»

Старик неуклюже пошевелился в кресле. На ум ему вдруг пришли слова Господа, переданные пророком Иеремией: «Устал миловать!» Старец обомлел: «А я, видно, устал быть русским, как тот немец у Достоевского, который попросту повесился от такой вот усталости. От зла ко злу движется почему-то Россия, вдохновляющаяся своей безграничной патогенетикой. Абсурд! Её давно уже не должно быть, а она... есть, ещё и чего-то необыкновенного жаждущая, совсем уж иного, чего-то совсем уж несусветного».

Подняв с трудом отяжелевшие веки, старик посмотрел в окно, не обнаружив там никакого лунного диска, хоть и различил идущий по небу откуда-то справа тусклый от уходящей луны свет. Преодолевая новое забытие, глянул безразлично на часы.

«Ага... время рассвета... Вот, собственно, и всё! А ведь я люблю тебя, Россия — моя жена, моя мечта, моя утопия! Мне ничего другого и не надо было, а вот почему, я так и не знаю».

Старец смиренно затих, сложив на впалой груди высохшие подагрические руки, и через какое-то мгновение он вдруг почувствовал, как сердце его мягко остановилось, душа наполнилась давно уже им забытой от самого рождения приятной истомой, перед воскресшими очами его стал внезапно подниматься какой-то удивительный, совсем даже не земной, свет, а в воскресшие уши его вдруг легко проникли необыкновенные слова, отчётливо произнесённые каким-то неземным голосом: «Всё будет хорошо, сын человеческий, и будет не так, как в романе!»



Демон

Писатель (озабоченно, с тревогой): Кто здесь? Здесь кто-то есть? Кто ты?

Демон: Я твой двойник, твой демон.

Писатель: Мой?

Демон: А как же! Раз много пишешь правды, то и с демонами знаешься, в себя их впускаешь. Ты ведь брат мне, правда?

Писатель (резко): А не пошёл бы ты...

Демон (хохоча): ...к чортовой бабушке. Что ты вдруг взъерепенился? Мы с тобой давно уже вместе — с тех пор, как ты впервые над вечными вопросами задумался. Забыл уже?

Писатель (несколько обескураженно): От вас, чертей, действительно никуда.


Демон (укоризненно): Какой же я чорт? Я — демон! Я вполне благороден и довольно-таки честен. Я тебя почти люблю, не мешаю тебе, чем могу даже помогаю. Без меня ты ничего бы не создал. Это лишь ангелы дают всякие никчёмные советы: «Держись, держись...». А я прямо говорю: «Иди... иди... туда, куда влечёт тебя свободный ум!», а это, согласишься, хоть и не ангельски, но зато и не по-чертовски. *(Пауза)*. Черти не страдают, а я вот страдаю вместе с тобой и за тебя. Мой смех — мои же слёзы! Как, собственно, и у тебя. Что ты меня гонишь, несчастный? С кем же ты тогда останешься? Если уж господь бог одинок, то ты-то что? С кем и о чём думать будешь, что писать? Демоны, брат — ребята умственные, размыслительные, гибкие.

Писатель (несколько подумавшись): Интеллигенция, стало быть?

Демон (засмеявшись): Не совсем, брат, не совсем. Интеллигенция *чертовски* (он сделал акцент на этом «чертовски») безответственна, а мы с тобой разве таковы?

Писатель (не очень уверенно): Надеюсь, что нет.

Демон (назидательно): Вот именно! *(Пауза)*. Всё мозгуешь, мыслитель?



Писатель: Приходится. Скажи мне, раз ты такой умник, человеку вредят или он сам себе вредит?

Демон: И то, и другое тут. (*Пауза*). Но человек уже попался, он в ловушке, в сети.

Писатель: А выберется?

Демон (лукаво): Шанс всегда есть, но всегда есть и шанс не воспользоваться шансом. Понимаешь?

Писатель (слегка задумавшись): Это-то я понимаю. (*Пауза*). Не веришь ты, братец, в человека, не веришь.

Демон (удивлённо): Почему же не верю? Очень даже верю! Весь вопрос тут, в *какого* же человека я верю (*он сакцентировал на слове «какого»*)? Да и вообще, что есть человек? Для того же наивного бога отца он вроде как подобие его, этаким сынуля, так сказать, союзничек, а для пронизательного сатаны гадкое и вредное существо, погубитель природы, жизни, с которым надо бы побыстрее расправиться, да вот добренький господь-вседержитель не позволяет. Вот и вынужден сатана бороться с самим богом, исправляя его же злостную ошибку.

Писатель (озабоченно): Ну ты даёшь!


Демон (раздражённо): Человек враг не просто всему вокруг, он и для себя враг. Это такая, скажу я тебе, тварь... ну да ладно... не хочу об этом. А тут всё на чертей да на нас, демонов, сваливают. Если б не мы — демоны, человек давно бы сам себя пожрал. Где ты видел, чтобы один демон жрал другого, наслаждаясь при этом и умиляясь?

Писатель (озадаченно): Но, может, это работа как раз сатаны, он-то и возбуждает в человеке зверя?

Демон: Да, да, давай всё валить на сатану! Ты что забыл, кем был распят и умерщвлён так называемый сын божий, а-а? Нет уж, друг ситцевый, так дело не пойдёт!

Писатель (огорчённо и укоризненно): Ты презираешь человека?

Демон (решиительно): А как же! Мне этого создания божьего не жалко, разве лишь некоторых, вроде тебя.



Писатель: Это почему же меня? Я ведь тоже тварь мерзкая, грешник великий.

Демон (досадливо): А-а, кончай, нашёл, о чём болтать, грешник?!.. мне с тобой интересно, вот и всё. Ты, братец, кое-что нащупываешь... важное и нужное. (*Пауза*). А на человечков наплюй, не стоят они того, да и слёзы твои им только в радость.

Писатель: И никаких перспектив?

Демон: Нет, дорогой, никаких! (*Пауза*). Впрочем, одна перспектива есть: исчезнуть.

Писатель: Насовсем? Без воскрешения?

Демон (спокойно и скривив почему-то рот): Всё возможно, — и воскрешение возможно, но не этой же твари, дорогой мой мудрец.

Писатель (примирительно): Ну, хорошо, может, переделанный человеком человек подойдёт? Киборг какой-нибудь?

Демон (тоже примирительно): Киборг ни богу, ни сатане вовсе не нужен, зачем им эта напичканная схемами и математикой пустышка? Киборг им не партнёр, он не для тонкой космической игры.

Писатель: Это почему же?

Демон: Не сакрален он, не сакрален... А без духа, без сердца, без страдания, кому он нужен.

Писатель: Тогда остаётся всё-таки человек?

Демон: Разумеется! Но не этот же, пардон, скот, впрочем, дело даже не в этом, а, знаешь ли — в ничтожестве, перемешанном старательно с никак не оправданной гордыней, как, собственно, и наоборот — в никак не оправданной гордыне, замешанной на ничтожестве.


Писатель: Извини, перебыю: тогда какой же?

Демон: Но не этот же... другой, совсем другой.

Писатель (не без интереса): Какой же?

Демон: Который сможет для начала хотя бы сам себя презреть.

Писатель: Опять религия?



Демон (с удивлением и некоторым недоумением посмотрев на своего собеседника): Ты это серьёзно?

Писатель: А что же тогда остаётся?

Демон: Религии только разъединяют людей, не достигая главного — преображения!

Писатель: Тогда, выходит, новая религия?

Демон (усмехнувшись): Вроде синергетики, да?

Писатель: Нет, конечно, но хотя бы новая идеология...

Демон (с хитринкой в глазах глянув на собеседника): Прямо из российского дерьма?

Писатель (удивлённо): Ты не веришь в Россию?

Демон: Я не идиот, чтобы верить в Россию. Но гниение России всего ближе к какому-нибудь исходу.

Писатель (неуверенно): Очередной Ренессанс?

Демон: После очередной гибели, разумеется. Терпеть не могу России, как, впрочем, и Европы, но в России что-то всё-таки есть, хотя бы искренность, страсть.

Писатель: И эсхатология?

Демон (почти торжественно): Россия — демоница! Она способна за короткий срок выдавить из себя и переварить всю мерзость мирскую, чтобы отвергнуть навсегда этот мир и этого человека, а там уж, как говорится, будь, что будет!

Писатель (с надеждой): Возрождение?

Демон: Скорее, брат, смерть с воскрешением. Перейти к *Иному* (он сделал ударение на этом «Ином»), можно только через смерть. А ты всё: «Религия, религия..!» Нет, брат, пусть всё идёт, как идёт — к концу, а потом уж и к началу!


Писатель (не без огорчения): А если только к концу?

Демон: Тогда я ошибся в России. Недаром же именно в России возник этот злонамеренный роман, воспевающий полное обновление через всеобщую смерть.

Писатель: Предсказание?

Демон: Скорее... сотворение!

Писатель: Роман-демиург?



Демон: Полный при этом презрения к людям, но и любви к ним, а иначе... иначе нельзя, понимаешь?

Писатель (внимательно посмотрев в глаза демону): А какое это имеет значение, понимаю я или нет?

Демон: Да никакого! И без тебя всё прекрасно идёт, но лучше, если бы с тобой, с твоей писаниной, ибо мы ведь вместе: я в тебе, ты во мне... Так что рискуй, брат, рискуй! (*Вдруг, спохватившись, посмотрел на часы, досадно заохав:* Ох-ох! Замотался я тут с тобой, столько времени потерял. (*Лукаво посмотрев на писателя:* Надеюсь, не зря, а-а?

Писатель (слегка задумавшись): Нет, думаю, не зря, даже совсем не зря. Я, конечно...

Демон (прерывая собеседника): Ладно, ладно! Знаю, что не отступишься. Дерзай, но помни, — это я тебе по секрету говорю, — что господь бог не только есть, но и ожидает кое-что от тебя и таких, как ты, понимаешь?

Писатель (уклончиво, даже разведя руками): Ну, дорогой...

Демон (доверительно наклонясь к писателю): Выручает, знаешь ли, не истина, которая просто-напросто запрятана надёжно где-то в неизвестности, а лишь стремление к истине, но более всего — рождаемая этим стремлением... великая идея, к этой неизвестности прямо и восходящая. Понимаешь?

Писатель (озадаченно): Э-э, легко сказать...

Демон (вновь прервав писателя): Только не надейся всерьёз ни на что, слышишь, не надейся! Хоть без надежды нет и никакого будущего... А теперь прощай! Мне пора!

Демон внезапно исчезает.

Писатель (глядя ошарашенно на место, где только что был демон, вслух): Гм, гм... не надейся... а жить-то как? Ещё и творить?... (*И про себя:* «А ведь прав, наглец, прав, что говорить!»)



Избавление

В уютной маленькой квартире в литераторском кооперативном доме, что чудом поместился на перекрестье пречистенских переулков аккурат рядом со старинным особняком, где когда-то бывал весёлый Пушкин, умер в 49 лет (а 4 и 9 в сумме, заметим, дают... 13) русский писатель родом из Киева (из дома № 13 с 13 ступеньками ведущей наверх, в квартиру семьи будущего московского литератора, лестницы), тот самый сероглазый писатель, создавший ни с того, ни с сего великий мистический роман о загадочном существе — человеке, затерявшемся где-то в разреженном пространстве между Богом и противником Божиим сатаной, о несчастном существе, так и не знающем самого главного — истины, ибо истина требует... остановки, а остановиться человек не может, стремительно уносясь в светлое будущее, единственным достоянием которого всегда было и до сих пор остаётся неминуемое тёмное небытие.

Смерть неумолимо, хотя и неохотно, приближалась к писателю, этому удивительному *мастеру слова и мысли*, — она не могла забрать его раньше, чем была поставлена последняя точка в его необыкновенном произведении. А роман всё казался автору незаконченным — и никак не мог решиться он хоть на какой-нибудь его конец, чтобы, уверившись если не в правильности, то хотя бы в неизбежности последнего выбора, испытать полное авторское удовлетворение и... спокойно (!) умереть.

Роман продлевал писателю жизнь, если это бытие в связи и рядом с романом можно было назвать жизнью, терпеливо ожидая от своего создателя какого-то путного себя завершения. Роман в то же время и забирал у писателя жизнь, подкарауливая автора ежедневно и еженощно чуть ли не в обнимку с особенно угодливой в таком разе смертью.

Писатель же не знал, как ему закончить роман, он колебался и мучился, — а что может быть страшнее таких вот колебаний усталого и поджидаемого услужливой смертью творца?



Жена его, третья по счёту и первая по растворённости в его супермистическом творчестве, которую он увёл по взаимной роковой любви у роскошного генерала, была всегда, как и его несчастный роман, рядом, облегчая, насколько это ей удавалось, казавшиеся уже вечными невыносимые мучения. Лекарства давно уже не помогали, лишь ослабляя на короткое время почти что непрестанную боль да вызывая вовсе уже не спасительное забытьё.

Когда он бодрствовал, освободившись ненадолго от тяжких страданий, он думал о романе, поджидавшем своего и его — писателя — конца, никак не решаясь на самое важное — на явление в душе главного героя... Господа Бога, на его — этого героя — покаяние перед Господом Богом, на слёзы облегчения, венчающие обжигающий душу катарсис.

Нет, не мог он на это решиться, не мог, хоть и просил жену иногда внести кое-какую правку в явно уже совершенный текст непослушного романа.


Но вот как-то вдруг признав, что он уже не хочет ничего в романе менять и дополнять, писатель поставил наконец-то последнюю в непреклонном литпроизведении точку.

И в своей роковой жизни тоже!

В день смерти автора необыкновенного романа всё было, как обычно.

Писатель страдал, забывался, приходил в себя, разговаривал и... говорил о романе. Он вновь заставил жену поклясться, что она обязательно когда-нибудь опубликует роман, даже если станет женой другого. И она вновь поклялась, что сделает всё, чтобы роман увидел свет, дотянулся до читателей. «Там много важного для людей, я надеюсь, — проговорил он, — очень много!.. Это лучшее, что я написал, может быть, и лучшее, что могла сделать в это ужасное и просветляющее время русская литература — утеснённая, униженная и... возвышенная. Ничего подобного я вообще не знаю».

И тут жена, снимая мягкими прикосновениями белоснежной стерильной тряпочки капельки пота со лба мужа, вдруг обра-



тилась к нему с вопросом: «Я давно хочу спросить тебя, а почему ты тогда, в монастыре, когда мы там как-то гуляли, сказал, что пишешь... что пишешь реквием?»

Писатель, как-то настороженно посмотрев на жену, ответил вопросом на вопрос: «А что же ещё, что?..» Помолчав, он загадочно произнёс: «По всему ведь реквием... по всему!» И совсем тихо добавил, закрыв глаза: «И по мне в первую очередь».

Он снова впал в забытие, из которого вышел на мгновение уже перед самым своим концом. «Как же мне тяжело!» — еле слышно вымолвил он. «А роман-то всё-таки получился, — проговорил он, ни к кому уже не обращаясь, — получился!» И погружаясь в новое, уже в вечное, забытие, внезапно просветлев и будучи что-то увидев, его сильно поразившее, он произнёс вполне отчётливо: «*Боже, прости меня!*»

Так завершилась земная жизнь великого русского писателя, реалиста и чернокнижника, родом из Киева, творившего в Москве, автора знаменитого плутовского романа, в котором фантазия обрела силу такой правды, которая никому, заметим особо, малой почему-то и не кажется.

Мысли

Роман-обаятель, но и роман-разоблачитель, он же и мина замедленного действия.

Роман-откровение — в никуда!

Думать о России — удел князей!


Сила и в то же время некоторая ущербность Сталина — он не был русским.

Сталин как упрек Богу!

Сталинизм — злая и упрямая творческая субстанция.

Страх от Сталина, страх перед Сталиным, страх внутри Сталина, страх вместо Сталина — смертоносный и животворящий страх!

Гений и злодейство вполне совместимы.




Не связь Сталина с Гитлером надо искать, а связь Сталина и Гитлера с Леонардо да Винчи и Микеланджело, как и с Дидро и Вольтером, вообще, всеми возрожденцами и просвещенцами, с той лишь разницей, что Сталин шёл от них куда-то вперёд, а Гитлер — назад!

Само явление в России человека — уже трагедия!
Русские как из детдома — сиротство и неприкаянность.
Россия — обвинение!
Россия вся изнутри истончится.
Богатство и преуспеяние в России — верное средство гибели!

Будущее России никому не ведомо, а потому оно имеет шанс стать значительным.
В зубах точечной застройки.
Сознают ли тайные творцы, что они творят — или мир уже сам по себе?

Лжецы и праведники, а вот праведники-то кто?
Мысль умирает в пустоте.
Катастрофа как ловушка, но и ловушка как катастрофа.
Сам-себе-произвол.
Производство произвола — изведение воли из воли!
Мир произвола, но ведь и от произвола.
Человек в мире, перед миром, позади мира, а теперь вот и...
впереди мира.

Не человек из мира, а мир из человека.
Мир нынче сам по себе, без причин и следствий, без руля и ветрила, без совести и без суда.
Мир без дома, без дороги, без гавани — в открытом космосе, в пустоте, среди мертвецов.
Даже ложь, не говоря о правде или том же законе, уже не поспевает за разогнавшимся и легчающим миром.
Не в науке правда!
Интересно развращать, а развращённые уже совсем не интересны.
Человек как отсутствие Бога.



Человек — кентавр из животного и...
Надо бы остановиться, подумать, но не невозможно, а...
страшно!
Правда не в «Капитале», а в «Откровении».
Его звероподобие человек.
Переполнение пустотой.
Москва ныне — чудовище, рождающее лишь сонмы причудливых чудищ.
Подачка — не добро!
Профицит веселья и беготни при дефиците серьёзности и покоя.
Не познание, а измышление — мир теперь не познанный, а измышлённый.
Ах, какое разочарование поджидает вдосталь наигравшегося и насытившегося человека!
От пересотворения мира человеком к пересотворению человека миром!
Когда Бог вроде бы «умер», оставались ещё литература и искусство, а теперь вот уже нет ни литературы, ни искусства.
Человек, это вроде бы создание Божие, сначала отправил на казнь самого Бога Сына, а теперь отправляет туда же, особенно того не ведая, и самого себя.
Не месть тут, а неизбежная жертва за жертву, в чём, пожалуй, никто и не виноват.
Роман как суд, суд как роман, но и суд как суд — над тем же романом.
Все романы по преимуществу о прошлом, а этот более всего о будущем и... вечном.
Манковский роман.
Роман ещё не раз сдетонирует!



Эпиграф

Автор романа о романе, или, как он сам считал, романа с романом, вышел ясным октябрьским днём из станции метро «Спортивная» и направился, весьма сосредоточенный, к Новодевичьему монастырю, одному из любимых, а если и не любимых, то явно в какое-то время предпочтительных мест отдохновения славного московского писателя — автора незабвенного романа о дьяволе, о Мастере и Маргарите, об ускользающей куда-то преднамеренно и упорно истине.

Автор романа о романе, или романа с романом, намеревался посетить могилу автора самого удивительного произведения русской литературы XX века — поклониться создателю чудоромана, да и испросить прощения за то, что, возможно, не совсем правильно понял его и его роман, а скорее всего, совсем и не понял, ибо и сам романист вряд ли осознавал достаточно ясно, что он сотворил рука об руку... э-э... не будем поминать с кем, ибо это, хоть и известно, но тоже ведь личная тайна бесстрашного беллетриста.

Но прежде чем пойти к могиле утомлённого систематическими похоронными маршами непокорного писателя, упокоившегося рядом с монастырём на престижнейшем кладбище вместе со своей любимой, третьей по счёту женой-красавицей, как раз его там и схоронившей — на загробной именной территории им любимого столичного театра, в котором он вроде бы служил, немало зато страдая, как раз недалеко от места перепогребения любимого им русского писателя-малоросса Николая Васильевича Гоголя, под тяжёлым камнем-голгофой — прямо с бывшей моги-



лы... этого самого Гоголя... да, да... именно так — Гоголя!, доставшимся ему, по явно мистическому стечению обстоятельств и звёзд,— ах, эти улыбчивые и никого не отпускающие мёртвые души — что в писаниях, что в реалиях, что в потусторонье! — автор романа о романе, или романа с романом, вошёл в ворота монастыря, пересёк монастырский двор и исчез в старинной, всегда, даже в самые антицерковные времена, работавшей церкви. Там он поставил поминальные свечи, помолился за упокоение души дерзкого классика, заодно как бы испросив у Господа Бога Иисуса Христа дозволения посетить место погребения грешного романиста.

Побыв некоторое время у превосходно выписанного образа архистратига Михаила, автор собрался было, приложившись к величественной иконе, покинуть просторную и уютную церковь, но, когда он уже повернулся и направился к выходу, взгляд его упал на только что, видимо, появившуюся в полумраке церкви даму, обладавшую какой-то по-особому привлекательной — неброской, немного даже строгой, но очень в женском отношении убедительной — наружностью. «Прямо как в романе!», — внезапно влетело в голову автора. Он немало подивился и тому, что женщина, стоя перед старинной иконой Св. благов. кн. Александра Невского, негромко что-то при этом говорила, обращаясь настойчиво и доверительно к особенно почитаемому на Руси святому.

Заинтригованный увиденным, автор не удержался и, отбросив полагающиеся в таких случаях условности, прошествовал, почти крадучись, поближе, пока не очутился подле усердно молившейся женщины. И тут до него донеслось кое-что совсем уж неожиданное: «...страна предана и распродана... русские вымирают... Россия гибнет... наставь и образумь... защити!..» «Вот те на! — подумал весьма озадаченный автор. — Такая женщина... и вдруг?! Ну и Россия, ну и страна!..» На душе же у него вдруг стало от увиденного и услышанного заметно легче, а интерес к необычной женщине не только не пропал, а ещё более усилился: «Кто же она, эта столь удивительно настроенная дама?»




Выйдя из церкви, он было вознамерился подождать привлёкшую его внимание женщину, чтобы хотя бы взглянуть ей в лицо, но, решительно отбросив это весьма сомнительного свойства намерение, отправился, не без некоторой досады, прогуляться по территории уже ожившего для праведной монашеской жизни девичьего монастыря, ласково в тот день оберегаемого кротким и чересчур торопливым октябрьским солнцем.

Переходя от одного старинного надгробия к другому, он не переставал думать о заинтересовавшей его даме и поразившей его сознание молитве, как вдруг его осенило: «Так ведь это же наглядная материализация моего собственного романа!.. Явление рождённой моим прихотливым воображением русской женщины, женщины-царицы, способной к воистину нетривиальному жесту, если не к откровенному подвигу во имя дорогого ей родного мира!»

В этот момент автор, продолжавший в одиночестве свой незамысловатый путь по монастырскому некрополю, оказался прямо перед могилой опального генерала-декабриста Михаила Орлова и его блистательной и верной жены Екатерины, урождённой Раевской: «Да-а, — мелькнуло в его растревоженной откуда-то взявшейся смесью недоумения и восторга голове. — Вот она, русская загадочная ирреальность, вот она, русская метафизическая тайнопись!»

Пройдя среди разбросанных каким-то неправильным созвездием профессорских, писательских и генеральских надгробий и обогнув величественный древний храм-музей, автор романа о романе, или романа с романом, задержавшись на мгновение перед могилой знаменитого мистического философа, чуть ли не провозвестника всего российского Серебряного века, погребённого рядом с отцом — великим историком и сестрицей-поэтессой, вовсе не столь великой, но зато ставшей весьма известной по преимуществу благодаря своему звучному латиномзыкальному псевдониму — *Allegro*, направился было к выходу из монастыря... как вдруг заметил впереди, прямо на фоне решчатых монастырских ворот, стройную фигурку поглотившей




не более получаса назад его внимание особы, не спеша покидавшей гостеприимные монастырские пределы.

Заинтригованный ещё более, автор ускорил шаг, подавшись не совсем праведному искушению разглядеть-таки лицо героини внезапно ему явившегося в монастырской церкви эпизода, то ли на самом деле там случившегося, то ли просто ему прихотливо пригрезившегося, — и, о-о, Боже! — это дерзкое намерение, как ни странно, ему удалось, ибо автор, увлечённый... э-э... преследованием... незнакомки, прямо и выскочил на свою цель, как раз в тот самый момент, когда задевшая его легкокрылое воображение удивительная дама задержалась на мгновение перед чем-то заинтересовавшей её витриной церковной лавчонки.

Изрядная одухотворённость её лица его совершенно не удивила, а вот глаза... глаза... тем не менее сильно поразили — полные уже почти забытой женской кротости, они отличались и какой-то особой почти и не женской сосредоточенностью, не скрывавшей, впрочем, ни свойственной живым женским натурам пытливости, ни присущей большим разумницам редкой проницательности. Рисунок лица её был явно славянский, даже не совсем русский, без всяких признаков азиатчины. Чистая кожа, прямой, чуть с горбинкой, нос. А вот губы... о-о... они тоже немало поразили зоркого наблюдателя, выразительные, чуть-чуть выдающиеся и... ох-хо-хо... вполне, знаете ли, чувственные!

«Ну, прямо Магдалина какая-то!, — пронеслось молнией в писательской голове. — Вот те на!.. Ах, Россия, Россия, страна чудес!»

Бросив безразлично-заинтересованный взгляд на слегка прибалдевшего «филера», молодая женщина прошествовала мимо, чтобы попасть незамедлительно, — что, конечно же, не ускользнуло от внимания её весьма удачливого преследователя, — в объятия к довольно рослому и статному, заметно уже поседевшему, господину, лет так пятидесяти, тоже, как и дама, вполне славянской наружности, который, вручив даме (*ох, уж эти московские романы!*) букет кудрявых белых хризантем, видимо, только что здесь же приобретённых, нежно обхватил жен-



щину за плечи, решительно подтянул к себе и, не обращая внимания на находившийся вокруг род человеческий, не без явного удовольствия крепко расцеловал.

Женщина непринуждённо и весело рассмеялась и, тихо сказав что-то своему решительному кавалеру, взяла его быстро под руку, бережно держа и доставшиеся ей нежданно-негаданно белые размашистые цветы, и пара... нет, нет... только не влюблённых друг в друга, а давно уже, видно, горячо любящих друг друга, а главное, явно друг другу преданных, если не слившихся между собой воедино, реально красивых людей направилась через монастырскую площадь мимо небольшого городского сквера, изрядно поредевшего от десятилетней давности московского урагана, прямо к славной клинической улице, в дребезжавшей и волнительной атмосфере которой создавался когда-то непревзойдённый московский роман.

«Чуть ли сейчас... не воскресший!», — невольно вздрогнул про себя автор романа о романе, или, как он ещё считал, романа с романом, притихший было в лицемерии исполнявшегося на его глазах непреднамеренного, но какого-то явно провиденциального сценария.

Стоя неподвижно у ворот монастыря и глядя с нескрываемым любопытством вослед удалявшейся невозможной паре, он не преминул заметить, как-то утверждающе хмыкнув, насколько обнаруженная им неординарность была ему понятной, убедительно близкой и от исколдованного вдоль и поперёк парадоксального русского мира неотъемлемой.

«А говорят, что Провидения якобы нет, чудес-де не бывает, будто бы и никакой метафизики нет!..»

«Э-э... не-ет, — промычал себе под нос вполне удовлетворённый автор. — Всё это есть, да ещё и как всюду работает!»

«Какой же, господи, знакомый и всюю знаковый сюжет, — продолжал некоторое время размышлять захваченный увиденным автор, — и опять же как в романе... в том или в другом — будто бы как новый Мастер со своей новой Маргаритой, впрочем, нет, не Мастер с Маргаритой, совсем нет, тут что-то



уже совсем другое, в чём-то схожее и даже повторяющееся, но другое... *Он* и *Она*... мистическая пара... наверное, какой-то очередной тайнописец со своей полупрозрачной подружкой-сподвижницей, но всё-таки что-то ещё никогда не бывшее, совсем новое, опять же во времена почти полного стратегического ненастья, накануне каких-то особенно значимых, по большей части скверных, но при этом и эсхатологически грозных... мировых событий!»

Последовав заразителю примеру находчивого покровителя прекрасной незнакомки, автор купил тут же у стен монастыря четыре кудрявые белые хризантемы и, посмотрев ещё раз не без сожаления в сторону клинической улицы, в магической перспективе которой растворилась в необычно прозрачном осеннем московском воздухе неотмирная метафизическая пара, быстро зашагал, обогнув круглую монастырскую башню, ко входу на самое престижное столичное кладбище.

Оказавшись вскоре в его старой части, автор, свернув от входа в неё направо, быстро нашёл простой и невеликий круглоголовый камень, старательно хранивший в своём подножии, как утверждает предание, выбитую полтора столетия назад «за Гоголя» надпись, а теперь вот несший почтительно на своей когда-то тыльной, а ныне лицевой стороне имени создателя незабвенного московского романа и его последней, третьей по счёту, жены-подвижницы.

Положив на голгофного образа камень четыре кудрявые белые хризантемы, автор довольно долго простоял над странной супружеской могилой, думая о вызывающем подвиге, а может, и антиподвиге, совершенном гениальным московским, киевского замеса, писателем, осмелившимся, как и когда-то сам полуотважный Гоголь, побродить в одиночестве по тёмным лабиринтам человеческого «я», как, впрочем, и «мы» тоже, перемежая своё грустное путешествие весёлыми inferнальными розыгрышами, почти что и скоморошьими.

И какое же искристое в итоге случилось у него замыкание с этим хитроумным Гоголем, разумеется, мистико-




метафизическое, — и не только по случаю гоголевского камня-голгофы, хоть и было это невообразимо символично, даже и не по случаю личной гоголевской Голгофы, в чём-то повторенной и неловко фрондировавшим присталинским романистом, даже и не в силу посмертного схождения двух литературных гигантов в одном и том же месте московского погребального месива, а в силу... о-о... здесь потребна уже большая толика мужества, чтобы хоть как-то осознать как раз то самое — *роковое*, что выплыло вдруг из гоголевской смехо-сатирической поэмы и было вольно или невольно подтверждено московским смехо-сатирическим романом, да не просто вселилось в пространство России и в нём привольно бытует, а повязало накрепко эгрегор несчастной страны, опутав его крепкой чарующей сетью, и заколдовало его, превратив в подобие распластанной по земле гигантской мёртвой души, да так сильно, что, кажется, от заклятья этого Россия никак очнуться до сей поры и не может!

А говорят, что литература-де всего лишь развлечение, лишь досуг... э-э... плохо говорят, неумно говорят, зло говорят: литература, знаете ли, сам выраженный в слове эгрегор и есть — что отдельной персоны вроде Чичикова, что влюблённой парочки типа Мастера с Маргаритой, что целого народа, похожего на русский, а то и целого мира, подобного российскому.

Литература — и в самом деле сила!

И очень разного влияния, иной раз и такого, что ничего, кроме безмерной и неизбывной... *вины*... после такого вот влияния в атмосфере обезумевшей расхристанной страны и не остаётся!

Московский присталинский писатель вряд ли бы стал сочинять свой играющий потаёнными смыслами роман, не попади он в страшное перекрестье выворачивающихся наизнанку времён, когда из обречённого прошлого рождалось на его глазах столь же обречённое будущее, а... он... он не мог ничего предложить от себя, кроме этого весело-грустного романа-мистерии, но в то же время и романа-предупреждения, да что предупреждения — романа-приговора, чуть ли не романа-эпитафии... нет, нет... не ро-



мана-эпитафии, конечно, но всё-таки романа-реквиема... да, да... именно так — романа-реквиема!

Впрочем, несмотря на всё плохо скрываемое безнадёжье, от романа всё-таки веяло и чем-то... нет, нет... не оптимистическим вовсе, а чем-то утвердительным, но вот чем же? — чего автор романа о романе, или романа с романом, склонивший голову перед гоголевским камнем-голгофой, сказать не мог, но, наверное, любовью, однако к кому или к чему — к человеку, Богу, жизни, смерти?.. Трудно сказать, скорее всего, к *неизвестности*, которая всё-таки выше всего и всегда оставляет человеку и миру, даже самому Господу Богу, шанс, неизвестно какой и для чего, но всё-таки *шанс*!

«Да-а, — думал автор романа о романе, или романа с романом, — если уж определять главного героя неувядающего московского литпроизведения, то это, конечно же, то самое *Великое Неизвестное*, которого вроде бы нет, но которое непременно есть, — и только оно одно позволяет судить о мистическом московском романе как о романе-вопросе, более того, романе-ответе, если не прямо о романе-истине».

Что есть истина?.. Нет, нет, не стоит отвечать на этот вопрос, ибо жизнь тогда совсем остановится, её просто не будет, а разве этого хотел великий русский писатель, творя свой отчаянный роман?

И тьма над бездною!
И свет в конце туннеля!

Аминь.



Рецензии и отзывы

Ф.И. Гиренок

О книге Юр. Михайлова «Реквием»*

Передо мной лежит книга Юр. Михайлова (Ю.М. Осипова) «Реквием». О чем эта книга? Для кого она и зачем? Зачем вообще пишутся философские книги? Зачем писал Ницше? Для кого писал Кант? Ведь их мало кто понимал. Канта не понял даже его самый талантливый ученик, которого звали Фихте. А много ли у них было читателей? Вряд ли.

Философов вообще не за что любить. Кто же может любить овода или осу? Ведь они жужжат и больно жалят. Но философ — это, прежде всего, оса, которая беспрестанно жужжит. Его дело — нападать, говорить нелицеприятные вещи, срывать маски и обнажать сущности. Вот Осипов. Кто это? Это оса, которая все время жужжит и больно жалит.

Вот Осипов написал «Реквием», целый талмуд. В нем он как бы вывернул себя наизнанку. Он рассказал о самом сокровенном, о пережитом, о личном и в то же время о том, что касается всех. В «Реквиеме» он делает одну важную работу — он постоянно расшатывает, раскачивает устоявшиеся в науке, в философии и в жизни смыслы и значения слов. Осипов с ними не церемонится. Стараясь уловить, поймать те оттенки смыслов, которые слышит его ухо, видит его глаз, различает его ум, он меняет границы слова. Сам концепт Осипова «философия хозяйства» — это наука об изнанке нашей жизни, нашей экономики.

«Реквием» — это философия, которая не описывает абстрактные сущности. Это философия, которая переводит читателя из одного состо-

* Философия хозяйства. № 5. 2010. С. 228—230.



яния в другое, причем сам читатель может и не заметить приключившейся с ним метаморфозы.

Я расскажу о двух казусах, которые произошли со мной. Я никогда не любил великолепное итальянское искусство Возрождения. Оно не трогало меня и не трогает сейчас. В нем свет, предметы, тела распределены так, что мои глаза отказываются что-либо видеть и быстро утомляются. Возможно, на меня повлиял Флоренский, его негативное отношение к искусству Возрождения. Другое дело, например, картина В. Сальникова «Рождение авиации», здесь все на месте, и мой глаз наслаждается. Мне нравится эта картина. Но Сальников — это не Рафаэль, не Микеланджело.

Однажды об искусстве Возрождения мы заговорили с Ю.М. Осиповым, который так просто и понятно рассказал о философском смысле возрожденческой живописи, что у меня возникло чувство, будто я понимал это всегда. Я, конечно, не был в Италии и не видел фреску Микеланджело «Мистерия», на которой изображено прощание Бога с Авраамом, а Осипов там был, и он увидел в этой фреске прощание Бога с человеком, которому он больше уже не нужен. А затем я прочел статью Осипова об этом и сразу же принял ее, как свою, как то, что мной уже было выстрадано. Особенно меня потряс рассказ Осипова о Божьей Матери, которая сидела где-то у ног своего сына и с каким-то страхом и даже ужасом смотрела на того, кого она родила. С этих пор все мои суждения об искусстве Возрождения и современном искусстве определяются философскими интенциями Осипова.

Второй казус, о котором я расскажу, связан с «Реквиемом» Ю.М. Осипова. «Реквием» — большая книга, фрагментарная. Я читал эту книгу медленно, по кусочкам, понимая, что за всеми философскими рассуждениями Осипова стоит его жизнь, его переживания, его грезы и терзания.

Прошло какое-то время, и мне самому нужно было написать статью о пожарах, охвативших Россию летом 2010 г. Я написал эту статью и назвал ее «Реквием». И только потом, уже после того, как статья была опубликована, я понял, что слово «реквием» у меня от Осипова, который изменил меня, а я не заметил.

Поэтому я говорю: господа, читайте «Реквием» Осипова и вы не заметите, как изменитесь.



И.Г. Шевченко

*Мгла**

Я смотрел, не отрываясь, на солнце. Меня поразило, какое оно маленькое, когда не светит! Красноватый кружочек с трудом пробивался сквозь плотную завесу дыма. Мгла окутала больное сердце умирающей страны. Люди в опереточных, аптечных масках покорно уносились под землю в грохочущих железом вагонах.

Во взметнувшемся адским пламенем 2010-м явился Реквием — к месту, ко времени, к Великому концу. Так же, как по расписанию приходит поезд дальнего следования, приходит вопреки и благодаря.

Книгу со странным названием я читал с радостью и грустью. Грустно было читать о том, как глубоко проникло Зло (теперь, увы, уже с большой буквы) в поры общественного организма. Радостно, что автор написал не гениальную (а значит, и не непонятую) монографию, а роман, сугубо художественное, доступное неподготовленному уму произведение.

Книга о Писателе и России, о ком более — не понятно: нет русского писателя без Родины, не может жить Великая Россия без Великой литературы: печальна судьба земли, отвернувшейся от духовных благ. Книга-головоломка, книга-лабиринт, книга в книге — как китайская шкатулка.

Досужий критик сморщит нос — сюжетная линия неясна, образы схематичны — не люди — тени, да и сама книга вроде как из двух частей: тут и художественная проза о Булгакове, и анализ новейшей истории России...

Не простое произведеньеце, тут уж голову поломать надо, чтобы понять: книга эта защищает себя от холодного аналитика. И скорее воспринять сердцем то, что в ней написано.

И выясняется, что по большому счету книга и не о Булгакове и его знаменитом романе, не о России даже, в которой роман появился и которую провидел, а о беде, нависшей над Человеком, о пробуждении Зверя и беспрецедентной беспечности, плотной мглой окутавшей людей; о гипнозе свободы от самих себя, отравившем званых на призрачное торжество темной силы.

* Философия хозяйства. № 5. 2010. С. 230—231.



Булгаковская матрица инфернальности заблестела новыми гранями, стала жестче, ярче, сильнее. И поставлен выбор: мудро спешествовать изысканному веселью смертельного бала или, очнувшись от дурмана, раздирая в кровь руки, карабкаться из черной бездны к свету, к Богу.

А пока «тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Все пропало, как будто никогда не было на свете. Воланд перестал быть видим в ее мгле» [1, 352]. И завертелись в бесконечном вальсе метафизика и жизнь, да так быстро и задорно, что уж и не ухватить, не увидеть — где тут жизнь, а где метафизика. Все слилось во все более ускоряющемся ритме торжествующих аккордов.

Литература

1. Булгаков М.А. Избранное. Мастер и Маргарита. М., 1988.

И.И. Рудяк

*Русская пирамида («Мертвые души» Тоголя, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Реквием» Осипова)**

1. *Живая цельность*. В книге Юр. Михайлова (Ю.М. Осипова) «Реквием» роман Булгакова «Мастер и Маргарита» представлен как «живая книга» (глава «Контакт»). На первый взгляд нам может показаться, что Интернет — это тоже «живая книга», потому что в Интернете есть «все» (цельность и полнота наполнения — это атрибут жизни), к тому же в Интернет постоянно вносятся изменения (рост и изменения — тоже атрибут жизни). Однако на самом деле реальный Интернет — совсем не живой, а вот «мировое поле» («Купе») как идеальный «метафизический Интернет», в котором «круговращается» идеальная бесконечность, действительно может нами восприниматься в качестве «живой книги»: потому что это — «абсолютная цельность» и «абсолютная полнота», которой только Бог управляет (абсолютная цельность и полнота — это и есть «вечная жизнь всего»). Иисус явился на Землю, чтобы даровать людям «жизнь в вечности», т. е. объединить земную, смертную, материальную часть «мирового Интернета» (тут материальное представляет

* Философия хозяйства. № 5. 2010. С. 231—234.



собой «фрагмент идеального», т. е. смертное) с идеальным «космическим абсолютом». В подобном смысле роман Булгакова «Мастер и Маргарита» может быть рассмотрен как «русская пирамида» (египетская пирамида есть машина для перевода души фараона из земного мира в небесный). «Роман творит» («Контакт») — это значит: портал открыт, Земля и Космос в России — сходятся («Купе»), потому что книга Мастера — об Иисусе, который открывает портал в бессмертие. Пока «роман творит», материальный, смертный фрагмент — Земля — соборно связан с идеальным, бессмертным «полем цельности», что и делает Землю «живой планетой» (Аполлон Григорьев). Так могильный камень писателей — это фрагмент Голгофы, которая послужила постаментом для оживления Иисуса.

2. *Мертвая фрагментарность.* Булгаковские черти прилетели на Землю, потому что дьявол осуществляет лишь контроль над фрагментом («Купе»), т. е. контроль над материальным и неживым. В романе «Мертвые души» Гоголь («Эпилог») описал Чичикова как «господина средней руки»: так описывали в Средние века черта. Если живое — цельное, а мертвое — фрагментарное, то и «мертвые души» — это души, отпавшие от соборности. Поэтому и Федоров рассматривал процесс «всеобщего оживления» — исключительно как «общее дело». В подобном смысле живая книга-пирамида Булгакова пришла за мертвыми душами Гоголя, чтобы мертвецов-фрагментов (без которых цельность немислима) — не осталось. В отличие от Чичикова, булгаковские черти пришли за живыми душами: поэтому Маргарита и попросила за невиновную женщину — чтобы ей самой не остаться мертвым фрагментом. Поэтому и земной, человеческий Интернет как фрагмент «мирового сервера» лишь тогда сольется с «божественным Интернетом» (Сет Ллойд из Массачусетского технологического института полагает, что квантовый компьютер можно совершенствовать до состояния взаимодействия всех частиц Вселенной), когда он достигнет истинной полноты, тем самым материализовав (увеличение квартиры в романе «Мастер и Маргарита») свое виртуальное пространство («трехмерный принт» уже существует) до его оживления как конечного этапа собственной диалектики: и тогда наступит «композиция мира». Таков «сверхисторический проект» («Отвлечение»).

3. *Кривые зеркала и принцип дополнительности.* Булгаковские черти прилетели на Землю вовремя: Сталин уже начал создавать почти гоголевские мертвые (т. е. состоящие из фрагментов) души: он об этом поговорился, когда назвал писателей «инженерами человеческих душ»



(инженеры создают машины из деталей-фрагментов). И тогда писатель Булгаков задумал книгу, оживляющую «мертвые души»: переводом душ в космическое «состояние всеединства». Подобно Моисею, Булгаков «вывел» писателей (в лице Мастера) из египетского плена Сталина — на свободные просторы космоса (философия космизма): и это был новозаветный Исход. Уход писателя в Космос есть метафора «отражения информационного поля», чем писатели и занимаются, создавая свои романы. Кривое зеркало книги отражает еще более кривое зеркало реальности («Автор»), которое, в свою очередь, отражает тот идеальный метафизический мир, который задумал Бог. Кривизна отражения зависит от физического принципа дополнительности.

Когда кривые зеркала книги и реальности в «глобальном процессе» (происходящем при помощи человека) — «волны идеализации-материализации» — отражаются друг в друге до бесконечности — они все более взаимно искривляют объективную информацию Бога: вплоть до Постмодерна и «крошки Цахеса». Искривляющая зеркала дополнительность также связана с фрагментарностью: у Андерсена («Снежная королева») фрагмент от зеркала чертей, попавший в глаз Кая, сделал его видение мира характерным для Постмодерна (Ницше эстетизировал безобразное). Будучи «фрагментом соборности», человек представляет собою «кривое зеркало восприятия» как «восприятие осколком». От «искривленного восприятия» человека спасает творческое «перекомпоновующее отражение» (Колейчук), которое создается на основе науки. «Прямое отражение информации» происходит как эманация.

В Средние века один акробат кувырчался перед образом Мадонны, принося ей «свои дары»: ведь приносит же ей пахарь свои колосья! Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» (в котором он их захотел оживить). В подобном смысле живая книга «Мастер и Маргарита» — это и есть (фигурально выражаясь) второй том «Мертвых душ» Гоголя. Рукописи Мастера не горят, а возвращают (эманация) перекомпонованную Мастером информацию в глобальное информационное поле. «Реквием» — это третий том: о процессе оживления душ все еще работающей в наши дни машиной-пирамидой булгаковского романа. Так «три романа» создали «русскую пирамиду»: как голограмму. Обратное воздействие книги на реальность идет от Библии (которая действительно повлияла): поэтому литература может изменить жизнь. Сжигание рукописей — это «принесение информации в жертву»: для «построения полного компьютерного текста Вселенной (структуралисты) — для соборного бессмертия человечества.



С.В. Панченко

*Вечные ценности — главные смыслы**

О прошлом можно говорить по-разному. Особенно о прошлом своей Родины. Особенно, если твоя Родина — Россия. Можно в остервенелой злобе, можно с безнадежной иронией и сарказмом, можно с высокой патетикой, можно с истинным патриотизмом, можно, симулируя этот патриотизм, а можно с осознанием величия прошедшего. Реквием — это не похоронный марш, реквием — это отдание почестей прошлому теми, кто живет будущим.

«Реквием» — книга завтрашнего дня. Книга — шифр. Интеллектуальный квест. Послание. Откровение Старшего Посланника. Архистратегическая аналитика.

Роман о романе, или роман с романом, пришел в этот мир совершенно вовремя. Пришел, когда те, кто думал о будущем, научились анализировать и делать выводы, те, кто плыл по течению, давно унесены бурным потоком, и у них нынче одно желание — выплыть.


Пришел, когда каждый уже успел выбрать, но не каждый сделал этот выбор осознанно. Да и само осознание происходило трудно и вымученно, в полутонах, в полусловах, но, по привычке стараясь не обидеть, в бесконечных сомнениях собственной правоты.

И пробил час. И настал Век. И стал потребен ответ, подтверждение, согласие. И роман пришел.

Случайные озарения, не находящие подтверждения, со временем тускнеют, превращаясь в сомнения и отодвигаясь на задний план. Роман возвращает первоначальную удивленность.

Что мы знаем о Родине? Что мы знаем о Человеке? Что мы знаем о Боге? Как много вопросов. Автор ищет ответы. Он рассуждает над тем, что уже перестало обсуждаться. Не модно? Да. Но как же необходимо. Он рассуждает фрагментарно, прерывисто, давая время на раздумья, меняя направление и высоту слога, как бы ставя препятствия, оберегая сознание от рутинной монотонности. Коротко. Почти молниеносно. Меняя стили от пьесы до исповеди, чтобы удовлетворить желание внимающего — слышать. И как положено реквиему, то поднимаясь до

* Философия хозяйства. № 1. 2011. С. 253—260.



предельной высоты, которая граничит уже с «иным», то спускаясь до горечи потери, по которой звучит эта удивительная музыка.

Зачем это все? О чем такие старания? Очевиден ответ — все старания и усилия ради донесения смыслов. Смыслов, которые стали частью самого автора и благодаря которым он уже не смог жить, держа их при себе. По этой причине выбирались форма и способ донесения их до читателей. Так видно он и складывался этот роман о романе или роман с романом. Именно роман о романе, потому что глубоко и пространственно, и роман с романом, потому что с любовью и возвышенно.


Так все же о чем? О Человеке? Да, о человеке, который становится другим, сам того, к сожалению, не осознавая. О том, что другими становятся не все и станет другим не каждый. Каждый соприкоснулся с миром новым, но не каждого он поглотил, не каждому он стал «землей обетованной». Точно подмечено, что ожидание это длилось почти век, почти через век, озираясь на это новое, сопротивляясь ему, удивляясь ему, соглашаясь с ним, человек все-таки стал сопричастен ему, так до конца и не поняв, что же это за время.

А время было подлое. Как хорошо это видно по сквозному пунктиру определений, прошивших насквозь весь роман о романе, или роман с романом. Подлое было и до того как появилась «белая гвардия», которой никогда то и не было, и когда появилась другая «красная гвардия», и даже когда победила сама своих же. Все равно подлое. Как созвучен Реквием со словами А. Городницкого: «Ты думал враг убит, а оказалось брат». Куда уж подлее.

Но оказалось было и подлее! Было потом, когда победили фашизм — и в лагерь. Когда стартовали в космос — и в изгнание. Когда построили развитой социализм — и в психушку. Подлость продолжает прогрессировать и ныне, не замечаемая человеком или ставшая для него привычной обыденностью.

Но в эти времена Человек жил. Он жил, когда пели осанну Христу, и когда изгоняли певших, и когда распяли в полном соответствии с Великим Писанием и, согласно провидческому роману, о котором роман, продолжают распинать сегодня.

Жил человек, всматриваясь во всю эту смрадность. Но автор не о том, как жил этот человек, рассказал, а о том, как пережил и кем стал переживши. Он увидел в переживании преображение. Но какое? И вновь пунктир, и вновь прошит роман о романе чередой повторяющихся сюжетов об этом проживании, переживании, преображении. Другим видит Человека автор. Замечает, что не прежний он. Определяет, что



шрамы на его облике изменили образ его. Задает понимание этого изменения — преображения. А оно оказывается не всеобщим, коснувшимся всех, но не каждого. Не каждый, сменив облик, сменил душу.

Так роман о душе? Да, о душе. И врывается в смысловую ткань метафизика. Ох уж эта метафизика, ох уж этот трансцендентный мир. Сколько о нем говорено, отвергнуто, осуждено и устиновским энциклопедизмом сохранено, дабы стать напоминанием, что остались еще темы для размышлений над аристотелевскими откровениями. Роман о романе, или роман с романом, пронизан метафизическими смыслами, тем же пунктиром насквозь, от этого сам становясь метафизическим, с ангелами, демонами, Пилатом, Иешуа, «Кремлевским сидельцем», автором Романа, со всеми, кто говорить в нем не должен, но по воле автора говорит, стараясь объяснить и донести музыку уходящей реальности, ставшей уже легендой, а может, той ирреальностью, которая останется с нами навсегда в ноосфере, открывшейся Вернадскому, в зеландовском трансерфинге, в хенкоковской сверхъестественности, в уилсоновском оккультизме, в талботовском голографизме, оставаясь невероятным, непонятым, отвергнутым, осужденным, признанным ненаучным, но оставшимся, и оттуда, из изгнания, вопрошающим: «А если не так, то как?». Автор смел? Но здесь смелость уже не причем. Здесь уже мудрость, которая не боится. Оказалось, это разные вещи. Оказалось, быть смелым — это одно, а не бояться — это другое. Смелость нужна Уилсону, Талботу, Хенкоку. Автору романа о романе, или романа с романом, достаточно мудрости, чтобы, не придумывая нового, вернуться к главному. Метафизика — это вера. Метафизика — это душа. Вера в душу, или борьба за душу, — это одно из прозрений, которое автор несет на самых высоких нотах. И проступает сквозь всю словесную многообразную современности эта мудрая правда, что при всей декларации научности ни за что, кроме души Человека, борьбы-то и не было. А значит, есть она, душа-то. В этой бездушной научной казуистике со времен Декарта до времен нынешних, поставленной на службу, казалось бы, Человеку, этого самого человека изменив, разрушив в нем как раз то, что этому человеку и было особо дорого на самом деле. Оказалось, только ее он хранил и тосковал по ней, без нее оставшись. И автор возвращает нас к душе, открывая, пусть не универсальную, но одну из опробованных тысячелетним опытом дорогу к ее возвращению. Более того, в романе о романе как-то очень взвешенно и просто объяснено, что душа-то никуда не делась, а скорее забилась в какую-то невероятную глубину, прячась от многоглазости, показушности этого сумасшедшего века. Не просто ее оказалось забрать. Как не старался Воланд, она остается у



Иешуа, как не старается дьявол, она остается у Человека. Обмен был предложен всем, да не каждый согласился. И как бы в доказательство этому автор сквозь бездуховную безысходность проложил нить одухотворенной надежды, в которую хочется верить.

А может, это роман о Боге? Может, и о Боге, но скорее овере в него, потому что автору романа с романом хватает мудрости не давать определения неопределимому и оценивать неоценимое. Точно и вовремя, почти на пределе восприятия, надрывной нотой звучит то ли вопрос, то ли сомнение о поражении Иисуса, о дьявольском торжестве, и сомнение это не только в том, проиграл ли Иисус, а больше в том, победил ли Дьявол. И снова фрагментарность, и снова эпизодичность, но очень точная и своевременная, когда вопрос уже созревает сам по себе, вдруг возникает, но не ответ вовсе, а еще более глубокое сомнение, позволяющее все больше и больше проникать в ткань метафизических определений, которые только и заставляют понять возможную реальность Великого Замысла.

Может, в этом романе о романе и кроется ответ, от чего все так жаждут истины, юродствуя, умирая, ища бессмертия и находя ответы лишь каждый сам для себя. Сам лично. Один на один. Может, в этом и смысл истины, что открывается она каждому, но не каждый этого открытия ждет, а по сему не может она стать громогласной, единственной и непоколебимой, потому что она для каждого своя и лишь для всех общая. Роман о вере. Ибо вера оказалась краеугольным камнем в сооружении Российского государства, изъятие которого привело в движение всю конструкцию. Именно это движение явно чувствуется в романе о романе, или романе с романом. Колеблется конструкция, и слышен скрежет уставшего от напряжения металла, и шум осыпающегося строительного материала, стремительно превращающегося из реального здания в обыкновенную пыль. Что держало это здание? Здание империи. Наверное, вера. В ментальности этого народа, населяющего 1/5 часть Ойкумены, она всегда была главным фактором единения. Отсутствие веры рождает пустоту, ментальный вакуум, который с легкостью заполняется любым пропагандистским мусором. Может, это предвидел автор романа, может, именно это предвидение очень тонко подмечено автором романа о романе. Глубина понимания этого процесса приводит автора к удивительным заключениям, граничащим с прозрением о конструкциях современности. Эти прозрения везде, они растворены во всей торжественной мелодии Реквиема. Инфернальность, победившая веру, погубила ее носителя. Гибнет религиозная реальность, замещаясь бесовщиной, которая уже сама становится обыденностью. Но




сквозь слезы потери, где-то в вышине, на самых трогательных нотах появляется надежда, что вернется вера. Камень краеугольный вновь займет свое место, удерживая конструкцию от развала, позволяя уже ее модернизировать, реконструировать, ремонтировать, красить во все цвета радуги, привинчивать, отвинчивать, сбивать ржавчину, придумывать нанотехнологии, оберегающие от коррозии.

Так, может, роман о конструкции? Да, это роман о конструкции, которая как невероятное древнее сооружение устояла, благодаря гениальности конструкторов до сегодняшнего дня. Эту конструкцию пытались развалить всем миром, подключив в конечном итоге даже наследников этой конструкции, которые по всем правилам логики должны были бы хранить ее. Но она устояла и на фоне современного мельтешения по сооружению чего-то нового, стоит и сегодня, возвышаясь могучей стальной машиной.

Может, это роман о Сталине? Да, и о Сталине тоже. Печаль рекевима обрамлена мощными аккордами грозного напоминания. Напоминания о том, что «сон разума рождает чудовищ», что одностороннее восприятие личности уродует историческую правду, создавая какой угодно фантастический контекст, предоставляя возможность дополнять и без того изуродованный портрет чертами совершенно неестественными, превращая в монстра любую личность и не замечая монстров современных. Напоминает нам роман, что дьявол появляется там, где его ждут, где создали ментальную брешь, уготовленную для его проникновения. Коварен, жесток и гениален в романе Сталин. Нет оправдания ни его тирании, ни его жестокости, но нет и отрицания его гениальности, которая, может, и заключалась в том, что создавалась система, которая способна была бы ликвидировать создавшуюся брешь, и даже создана была, но до конца не реализована.

Может быть, рекевием звучит по тому, что бесконечные жертвы, принесенные в процессе создания этой конструкции, оказались бессмысленными, что не нашлись те, кто увидел бы истинную цель, чтобы продолжить движение. Закружившись в круговороте собственных амбиций и неясных желаний, возникнут лишь те, кто из-за пигмейности миропонимания не смогут до конца осознать величие бремени власти, его бесконечную ответственность и безграничную свободу, дарующуюся лишь тем, кто способен ограничить ее сам. Но не нашлось таких. И, может, по этим надеждам звучит рекевием, собирая за поминальный стол тех, кто еще надеется и верит, кто еще молится о прошлом, думая о будущем, которое станет возможным, если есть еще те, кто верит в расцвет и ждет солнца, которое непременно, по закону последовательности



сменит тьму, в которую погрузился Великий город, таща за собой всю великую страну.


А может, это о том, что мраку не хватило сил на всех, может, это как раз реквием по тем, кого этот мрак окутал. Ведь если появился торжественный поминальный мотив, то писан он уже точно не тем, кто пребывает во мраке, и услышан не теми, кто в него погружен. И значит, история не закончилась.

Так ведь и об этом роман, который о романе, как напоминание о том, что история еще продолжается и не кликушество о ее конце является реальностью, а метафизика пророчества, о том, что так и случится. Именно так случится, если не будет действия и если действие не совершится осознанно.

Так это роман — программа. Да, в какой-то мере это программа. Программа для осознающих реальность, объясняющая невероятную деятельную ситуацию современности, в которой броуновское движение стало обычным, естественным способом проживания, утвержденная нобелевским хаосом, что можно, как угодно, все равно что-то получится. Так и получается это что-то, если не задумываться и не всматриваться в будущее, которое обязательно наступит, о том, какое оно должно быть, о том, что создать его смогут лишь те, кто это будущее ценит, кто готов его созидать и нести за него ответственность.

А может, это роман о Булгакове? О нелегкой судьбе гения русского в вечно трудной российской действительности? Конечно, о нем. О последнем пророке этой земли, который вслед за Пушкиным, Достоевским, Гоголем, Чеховым и Толстым взошел, не признанный своим отечеством, на пьедестал. Взошел сам, не понимая до конца грандиозности своих прозрений, потому что пророчества — они для тех имеют действительную ценность, кто видит воплощение их в реальности, и лишь немногим дана способность понимания их величия в момент написания. Но в романе о романе, или романе с романом, не просто судьба и прозрение, не просто подтверждение и согласие, тут собственный пророческий мотив о том, что этот пророк так и останется последним, если мы не сможем разобраться в его пророчестве. В грозных смыслах, возникающих благодаря его озарениям. Об этом звучит удивительная музыка Реквиема, заставляя удивляться внимающего.

Как много тем в этом реквиеме, как много значений, как много смыслов. Отдавая почести прошлому, торжественно, с достоинством автор предлагает нам всмотреться в будущее. Там, наверное, будут и Воланд, и Мастер, и Иешуа, и Пилат, но зваться они будут по-другому, и действовать будут по-другому, и слова звучать будут другие, но



смысл их останется прежним. Может, поэтому и Реквием, что в каждом из них звучит тема возрождения, и эту тему дописывать нам. Дописывать с достоинством и верой, всматриваясь в вечные ценности и определяя по ним главные смыслы (см.: [1—11]).

Дорога будет долгой, она не может быть легкой. Идя по ней, мы не услышим дифирамбов и не увидим почестей, но главное, мы будем не одиноки, и нас будет все больше и больше, тех, кто услышал этот Реквием и понял, о чем он звучит.

Литература

1. *Аристотель*. Метафизика. М., 2006.
2. *Ясперс К., Бодрийяр Ж.* Призрак толпы. М., 2007.
3. *Кара-Мурза С.Г.* Идеология и мать ее наука. М., 2002.
4. *Столяров А.М.* Освобожденный Эдем. М., 2008.
5. *Глузман С.А.* Ментальное пространство России. СПб., 2010.
6. *Успенский П.Д.* Новая модель Вселенной. М., 1999.
7. *Уилсон К.* Оккультное. М., 2006.
8. *Хэнкок Г.* Сверхъестественное. Боги и демоны эволюции. М., 2007.
9. *Талбот М.* Голографическая Вселенная. М., 2008.
10. *Зеланд В.* Трансерфинг реальности. М., 2007.
11. *Вернадский В.И.* Философские мысли натуралиста. М., 1988.

3.Э. Скрынник

Россия в преддверии великого неизвестного: ответы и вопросы (о романе Юр. Михайлова «Реквием»)

В конце мая 2009 г., прогуливаясь узкими улочками Львова, весьма известный писатель, имя которого многие без труда распознают за псевдонимом Юр. Михайлов, как бы невзначай обронил, что сегодня ночью закончил очень важную для него рукопись. Нарочитая небрежность этого замечания подсказала, что речь идет о событии настолько значимом, что лучше удержаться от преждевременных расспросов.

* Философия хозяйства. № 2. 2011. С. 187—198.



Прочитать этот труд удалось лишь через год, когда рукопись стала книгой, «романом о романе, или романом с романом». Хотя текст от первой до последней страницы насыщен личностью М. Булгакова и его романом «Мастер и Маргарита», оказалось, что вовсе не герменевтическое исследование булгаковского видения вечных проблем бытия, а собственная грандиозная картина мироздания развернута автором на шестистах страницах метафизической прозы. И в центре этой картины — судьба России, вписанная в трагический поток мировой истории.

Силовое поле романа создает противостояние двух полюсов, двух персонажей, которые, в соответствии с метафизикой романа, определяют своим незримым присутствием предельные основания той картины мира, которую творит Юр. Михайлов. С одной стороны, это «Писатель» — Михаил Булгаков, человек-роман, не москвич по происхождению и не русский вовсе, а как бы сторонний наблюдатель, родившийся и выросший в Киеве и уже в Москве превратившийся в писателя-роман. С другой — «Вождь» — Иосиф Сталин, недавний революционер и актуальный контрреволюционер, мститель, гонитель и инквизитор, палач, но и дерзкий созидатель, непреклонный строитель, который на месте России «создавал, ломая и хрустя, ошибаясь и теряя, презирая и жертвуя, какой-то новый мир». Сталин не мог быть узнаваемым героем романа, но он проявлен в Иешуа, Пилате, Афрании, Воланде, даже Мастере (с. 375).

Роман как бы разрастается, простирается в глубины мироздания из точки этого удивительного противостояния Писателя и Вождя, в котором они, пребывая в нескончаемом духовном противоборстве, оказываются все же необходимы друг другу. Юр. Михайлов видит внечеловеческую правоту Вождя в едином: Сталин стал вождем — инквизитором, проектантом и спасителем — в разгар мирового апокалиптического кризиса, охватившего весь тогдашний мир (с. 352). В этих условиях не было одной удовлетворявшей всех формулы, потому не оставалось ничего иного, как запустить приемлемый в крайней эсхатологической ситуации созидательный проект, подавив всякое ему сопротивление. Этим проектом и стал сталинский (с. 353), что и заставляет Писателя, возможно, и вопреки его воле, признать грозное и сакральное право Вождя на насилие и скорый суд.

Конечно, «Роман о романе» Юр. Михайлова — далеко не первая попытка исследовательского прочтения «романа-загадки», который увидел свет через четверть века после создания, был с огромным воодушевлением принят, стал страшно актуален в 1960-е, в разгар борьбы



с построенным диктатором режимом, но понят, по мнению Юр. Михайлова, весьма поверхностно и вообще превратно (с. 222). «Нравился диссидентам роман, точнее, извлекаемая из него диссидентская навь», поскольку узрели в нем воскресшую в образе СССР римскую Иудею, гнетущую реальность, ее бессовестных защитников, а также диссидентов, иностранца-консультанта — их защитника (с. 223). И никто не задумался, почему это в одном из ключевых эпизодов романа голова слетела у Берлиоза, интеллигента и эрудита, никто не обратил внимания, что Иешуа вовсе не был революционером, никто не понял тогда, что в самом деле роман не был посвящен диссидентам, революционерам и борцам за человечность: автор создавал его по другому поводу (с. 224).

Если попробовать предельно сжато передать настоящую проблему, которой, по мнению Юр. Михайлова, посвящен роман Булгакова и которая пребывает в центре «Романа о романе», — это Сталин и сталинский проект, его смысл и историческая судьба. Роман Булгакова невероятно противоречив и не поддается однозначной интерпретации именно потому, что крайне противоречивыми были сама личность Сталина, его историческая миссия и траектория его теперь уже над-исторического бытия.

Сталин взял на себя тяжкий грех перестройки и переделки людей ради своего проекта. И оправдание этого невероятно тяжелого греха Юр. Михайлов видит в том, что это проект для России возрожденческий и скрыто имперский и, несмотря на все возможные оговорки, отечественно-российский. Именно из-за такого сокровенного смысла этого проекта граждане стали не просто исполнителями, а его сынами и дочерями, а Сталин стал прямым заместителем Бога на земле (с. 355). Сталинизм, утверждает Юр. Михайлов, был роковой неизбежностью, потому что, «без сдачи России сбесившейся за границе», не было иного выбора, кроме сталинизма. Он был жестокой домостроительной вспышкой на рубеже совсем уже последних времен. «Не Македонский, не Цезарь, не Чингиз, не Бонапарт, не Петр I, а Сталин — вершитель, победитель и покоритель. Не Христос, но устроивший же царство трудящихся здесь, на Земле!» И антихрист — но конструктивный, результативный (с. 357).

Значимость булгаковского романа именно в том, что писатель в невероятно далекой временной перспективе сумел разглядеть катастрофическое окончание сталинской эпопеи. Но не укорил, а пожалел Сталина, поэтому роман «Мастер и Маргарита» — суд над Сталиным; суд — понимание и оправдание (с. 377). Романист пророчески ответил



сталинскому варианту российского бытия полстолетия: четверть века разгона и процветания, четверть — застоя. И предусмотрел способ гибели: явление в ничего не подозревавшей системе темной и наглой антисистемы, способной осуществить разрушительный переворот. Символом этого разрушения в романе стал образ Москвы, погружающейся во мглу (с. 269). Бесперспективность сталинского чудо-царства принимает и Юр. Михайлов: немало возможностей было у него, но не было в нем Благодати Божьей (с. 496).

Долгое время после того Сталин оставался не более чем историей — загаженной и искаженной. Однако все резко изменилось, когда созданный Сталиным строй рухнул и наступила антисталинская эпоха. Вот тогда Сталин и явился в наше настоящее: сначала контурно, а потом все более содержательно, насыщенно, полноценно — этот «метафизический феномен, демон-навигатор, демиург, Демон-бог!» (с. 342). И если Мастер обрел посмертный покой, то Сталин обретал после смерти что-то совсем иное — «какое-то беспокойное прямо на презиравшемся им миру непрестанное призраковое присутствие» (с. 245). Не было тут никакого иного решения, считает Юр. Михайлов, кроме обращения к товарищу Сталину. Его тень в наше время — знак апокалиптический и оправданный (с. 499).

Вот тут и начинает проявляться истинный смысл пророчества, которое увидел Юр. Михайлов в романе М. Булгакова, «романе-разгадке».

Ни Сталину, ни сталинцам уже не было места в текущей истории, а потому он таинственно ушел. Завершился исторический эксперимент: сталинскую соцпостройку переделать по-крупному так и не удалось, а вот подточить ее помаленьку — это и проделала реальная история (с. 243). Проделала — и повторилась, толь в толь воплотив сценарий, который Юр. Михайлов прочитывает в романе М. Булгакова: «неожиданное явление в Москве какой-то темной и не брезгующей никакими средствами силы, представленной группой необычных, будто бы с Луны свалившихся персон, причем силы возмущающей, баламучающей, крикливой, выливающей на встревоженных москвичей потоки невероятной и поразительной правды, доводящей обывателя до нигилистического исступления, жажды немедленной расправы с наличествующим бытием и его радикальнейшей переделки» (с. 268). Автор «Реквиема» не оставляет сомнений насчет конкретно-фактологической сущности сбывшегося пророчества: «Меченый! И лукавство и все такое. Да, мудер был киевлянин...» (с. 241).



Сталинский проект лишь на полвека отсрочил неизбежный приход «иуд, пигмеев и пираний» (с. 497). В реалиях 1980—1990-х гг., в деятельности команды переустроителей автор «Реквиема» прослеживает почти дословное повторение булгаковского сценария: хорошо организованная кем-то смута, уличные беспорядки, ложь, восстание пошлости — «все тот же дьявол, сатана, шайтан — обернулось житейской жутью» (с. 270—271). Результатом антисталинской революции было то, что «сталинское наследство, поделенное коварно между «независимыми государствами», попало на удовлетворение к сонмам разного рода оборотней и бесов: от бывших «меченосцев» до выпущенных из тюрем воровских авторитетов.

По мнению автора «Реквиема», сталинское чудо-царство было обречено не только из-за себя самого, а по причине самой природы человеческой — свободолобивой и пороколюбивой.

Именно человеческая природа обусловила гигантский зигзаг истории, который в романе Юр. Михайлова составляет исторический фон для осмысления судьбы России: он прочерчен в хронологических рамках, охватывающих период от эпохи Возрождения до наших дней. В эпоху Возрождения «чуть ли не сам Христос был представлен... антихристом!». На смену христианской цивилизации пришла вовсе не возрожденная древнегреческая, а совсем новая — как раз антихристианская, в которой Европа с Америкой и с кое-кем еще, включая Россию, ныне и пребывают (с. 150). И поэтому не зря «болтают про какую-то теорию заговора... ведь и теория есть, и заговор есть, и управление всем и вся тоже» (с. 340).

Все мы, люди Модерна и Постмодерна, сыны антихристианской и антиприродной эпохи: образованцы, просвещенцы, администраторы и менеджеры, инженеры и ученые — кто по собственной воле, а кто и поневоле — оказались вовлечены в гибельный поток антихристианской истории. Разложение обезбоженного мира идет полным ходом, и ситуация в мире уже весьма напоминает ту, что была в позднеантичном мире к моменту явления Христа (с. 535). Автор «Реквиема» стремится распознать признаки приближающегося Апокалипсиса. Так, 11 сентября — знак возмездия США, «ненавидимых во всем мире за дьявольскую гордыню»: «прилетели откуда-то в Америку отважные и безумные бандиты, ударили самоотверженно и жертвенно по небоскрегам» (с. 363).


Вселенская катастрофа, по его мнению, неизбежна, но ее сценарий и последствия могут быть различными: это либо поэтапная гибель человечества, либо рискованный «перепрыг» какой-то его части в



постчеловечество. Непонятно лишь, почему Юр. Михайлов, подчеркнув, что все дело в том, какая именно катастрофа и с какими последствиями, тут же ставит между этими двумя вариантами знак равенства. Вероятно, сценарии равносильны потому, что ничего не могут изменить в общей схеме исторического процесса: «В начале Христос со своим словом, потом антихрист со своим делом, а в будущем, возможно скором, Христос со своим Вторым Пришествием и Страшным Судом» (с. 486). И тогда весь христианский период — всего лишь эпизод в экспликации исторической матрицы: богоотступничество, уже текущий суд, уже идущая катастрофа, какое-то неумолимо надвигающееся превращение, но пока в антихристовом варианте, который есть необходимый эпизод иного — уже Христова — варианта (с. 487).

Этот иной, новый Христов этап истории человечества в «Реквиеме» намечен едва уловимым контуром: Юр. Михайлов говорит о новом Средневековье, хотя видит в нем скорее пародию — «истинного Средневековья уже не вернуть, да и не надо. Надо что-то похожее, пусть и имитационное...» (с. 324). И хотя намек на возвращение к Средневековью остается весьма неопределенным, он не может не породить вопросов. Может ли откат в далекое прошлое разрешить сложнейшие проблемы современного бытия? Тем более, если это прошлое — вообще не реальность, а имитация: не стало ли бы это квазисредневековье лишь еще одним симулякром в бесконечном многообразии симулированной псевдореальности Постмодерна?

Для автора «Реквиема», однако, «новое средневековье» представляет собой, не имитацию давно минувшей исторической атрибутики (хотя «надо будет — и институт царя восстановят» (с. 324), а возвращение к предвечной мировоззренческой проблеме: взаимосвязи Бога, мира и человека — которая, безусловно, была сформулирована и осмыслена именно в средневековой системе мировоззрения. Понятно и стремление вписать эту категориальную структуру в матрицу современных представлений о мироздании: «Мы, люди, лишь элементы некоего неведомого нам энерго-информационного поля, обычно называемого мировым духом» (с. 230). «Жизнь протекает под управлением этого трансцендентного поля. Бог и Дьявол — особые полевые образования, на себя замкнутые, очень сильные, способные контролировать либо все поле целиком — Бог, либо частично — Сатана... Бог может что-то упорядочить, но не может все это прикрыть, он этого и не хочет, допуская наличие всякого произвола и безобразия» (с. 233). Мистика же состоит не столько в том, что существует высшая сила, которая владеет челове-




ской судьбой, а в том, что человек при этом все-таки оказывается способным быть творцом своей судьбы.

Россия уже много столетий находится в зоне темных сгущений трансцендентного поля (с. 234). Поэтому и предназначение ее — «для всего, чего угодно, только не для счастья!». С этим ничего нельзя поделаться: Россия сама для себя ад, черная дыра (с. 235). Она напрямую соприкасается и с Богом, и с дьяволом; Юр. Михайлов видит в ней канал связи с какими-то иными мирами и одновременно поле какой-то нескончаемой трансцендентной битвы. В этом, считает автор «Реквиема», и состоит сила России: в ее несостоятельности, позволяющей быть все время как бы в проекте, нести в себе радость вечного становления, бытия, все время стремящегося к чему-то иному. Поэтому и «русским быть трудно, почти невозможно, но зато как почетно!» (с. 237).

Главный нерв романа «Мастер и Маргарита» прощупывается в этом столкновении противоположностей: иррациональной сущности российского бытия, этого хаотического потока вечного самосотворения — и взращенного Западом инструментального калькулирующего разума. «В романном дьяволе — умнейшем и пронизательнейшем Воланде — был воплощен и олицетворен... разум. ...Вот и в Москву явился разум, да не простой, а самый что ни на есть главный» (с. 133). Разум предстал в обличье пронизательного, весьма разочарованного в человеке и человечестве, ни на что достойное и лучшее особенно не надеявшегося, слегка скучающего, впрочем, чуть ли не справедливого этакого верховного судьи, вершившего вроде бы строгий, но окрашенный каким-то нарочитым комизмом, суд, творившийся как бы вместо Христова Страшного суда — пустяковый, побрякушечный, смешной (с. 130—131).

А почему же это явление разума обернулось шутовством, балаганом? Потому что несостоятельной оказалась сама провозглашенная в Москве великая претензия на новый разумный мир, на нового разумного человека, на новую разумную веру (с. 134).

Издавательство над идеей нового мира, как это видится читающему «Реквием», не было обращено Булгаковым против Сталина, вопреки ставшему традиционным прочтению романа шестидесятниками. Сталин по сути своей не был строителем нового мира — он-то как раз важен был тем, что восстанавливал Великую Империю. Похоже, что именно поэтому для Юр. Михайлова Сталин абсолютен — идея, символ, знамя, текст; тот, от которого в мир могли идти только добро, истина, все, что не вызывало сомнения и оправдывало репрессии и жерт-



вы. Абсолютный исторический субъект; мощный проективный заряд; монумент, хоть и созидательно действенный (с. 272—273).

По сравнению со Сталиным Воланд всего лишь актер, он явился в Москву как непрощенный гость, а Сталин в ней всегда присутствовал «вполне по-хозяйски». Поэтому при правлении Сталина Воланду в Москве всерьез нечего было делать, оставалось лишь шутовство (с. 274). За этим шутовством скрывается драма: Воланд знал, что сталинская постройка обречена. Тем не менее «гигантское предприятие должно было непременно осуществиться, ибо впереди маячила небывалая война» (с. 275).

Юр. Михайлов видит ошибку диссидентского прочтения «Мастера и Маргариты» именно в интерпретации романного образа Воланда: это вовсе не Сталин! Воланд в Москве — пророчество прихода Хрущева: случилось именно так, как грезилось товарищу Сталину: глупость, предательство, коварство, «куча дерьма» на его могилу, накликаемый на него позор! Воланд и не анти-Сталин, а «вполне достойный бес 1930-х, прикинувшийся перед Сталиным бесом второстепенным и лояльным» (с. 212).

Так предстает в «Реквиеме» спираль исторического движения России в XX в.: 1930-е гг., и как их отрицание — 1960-е, а потом 1980—1990-е — разрушение Великой Сталинской Империи, «романом предвиденное, если не освященное» (с. 276). Теперь уже не Воланд объявился в Москве, а пародия на Воланда. «Эпоха великих измен... Никогда еще Россия не была так предательски настроена, так глупа, так ловко и коварно обманута» (с. 277), ибо инициативу захватил Иуда, прикинувшийся новым Воландом. Иуда — это Воланд во времена перестройки. Романый Воланд лишь насмеялся над человеком-москвичом, уважая хотя бы москвича сильного, а Воланд-Иуда уже в открытую надругался над человеком вообще (с. 278). Он строит мир без Бога, без сакральной власти. Люди тогда перегрызут друг друга, но его это не волнует (с. 292).

Автор «Реквиема» утверждает: устройтелем небывалой реформы стал вовсе не человек, а зверь человеческий, сама же реформа оказалась «выворотом», который позволил антимиру заполнить собой человеческий мир (с. 301). Вот тогда-то, при неожиданной свободе и предстал человек в своей истинной сущности — как главный источник страдания и зла! Юр. Михайлов считает это важнейшим выводом из романа «Мастер и Маргарита» (с. 322): человек в соприкосновении с высшим миром — Иешуа, с низшим — Воланд, а то и Иуда.



Соприкосновение человека с «низшим миром» — состояние, пронизывающее собой «2000-е годы, которые каким-то чудом предвидел автор («Мастера и Маргариты». — З.С.): эфир, делаемый человеком, наполняется нечеловеческим, плебейским, мелкобесовским. Либерализация, которую Юр. Михайлов сравнивает по масштабам с Возрожденческой революцией, знаменовала освобождение в человеке чертовско-бесовского (с. 436). Дехристианизированный человек, покончивший с зависимостью от природы и отвергнувший опеку со стороны Бога, попал в апокалиптический тупик (с. 484). Он решил занять место Творца, воспользовавшись христианской свободой выбора: свобода, которую христианское вероучение признает неотъемлемой прерогативой личности, создает брешь в мироустройстве, через которую человек «выскочил на пересотворенческий простор» (с. 537). Коммунистическая идея — «мы наш, мы новый мир построим» — оказалась одной из многих вариаций пересотворения мира — уже не Богом, а человеком, которому иного мира захотелось не для возвышения души, а ради своего тела и стяжания физического удовлетворения. Выход из этого онтологического тупика — в постчеловеческий мир (с. 484). «Тут и антихрист появляется, возможно, он уже и на престоле» (с. 538).

Видит ли автор «Реквиема» возможность иного выхода? Он весьма осторожен в своих прогнозах: «Оптимистов среди философов нет» (с. 468). Человек как сакрально-природное существо превращается в постчеловека — мы являемся свидетелями «человеческой катастрофы», «исчезновения человека в человеке». Глобальная катастрофа сегодня слишком вероятна — всеобщая схватка будущих человекообразных за жизнь в войне всех против всех. Впереди одна трансцендентная неопределенность (с. 485).

Однако борьба не закончена, и исход ее не предрешен, она происходит в самом человеке. По сути, эта борьба — продолжение перманентного сотворения мира Богом: «Творение еще идет, а чем закончится — Он и сам вряд ли знает» (с. 556). Человек наделен знанием, и благодаря знанию, сознанию, способности и возможности выбирать по своей воле, он партнер Богу и сатане. Он активный участник космогонической игры, невероятно сложной игры — потому он и делает ошибки и так запутывается, «что и самому Господу от этого бывает страшно».

В качестве решающего пункта, в котором нарушилась связь Бога и человека, Юр. Михайлов интерпретирует историю распятия Христа: «Казнь Сына Божиего была... делом людским... А Бог был вынужден просто смириться с этим, надеясь, что человек, ужаснувшись... преобра-



зится». Однако Бог «не был человеком понят... — Он огорчен? — Вполне!.. Теперь кульминация! Человеку самому решать... А порча его велика!.. Господь все еще надеется на человека, на ту же Россию» (с. 557).

Господь надеется на Россию. В беседе романых Ученого и Президента масштабы ее, России, исторической задачи очерчены со всей полнотой: речь идет не просто об оздоровлении обстановки, а о создании в России новой цивилизации, новой нации. Автор «Реквиема» видит Россию единственным, уникальным базисом для антикатастрофной коррекции в планетарном измерении.

В обстановке скрытой мировой войны ей предопределена роль главной жертвы. Для Запада самая лучшая Россия — это кризисная Россия (с. 523), поскольку Россия — альтернатива Западу (с. 37). Сама же она от самых начал своей истории «упорно гналась за Европой, правда, более в византийском исполнении». Тем не менее «русские люди не стали добрыми христианами» (с. 151). Сущим антихристом выступает в «Реквиеме» царь Петр, «грубо покоривший Русскую церковь» (с. 152). Впоследствии победа над наполеоновской Францией лишь усилила дехристианизацию России, поскольку заразила ее антихристовым духом французского вольнодумия. Россия тех времен еще была альтернативой Западной Европе, только уже по-европейски. И тогда наряду с европейской реформацией стране была явлена и европейская революция с ее уже последовательно антибожеской закваской, а дальше — «восторжествовала долго и упорно созревавшая революция, сначала в желтом образе, вроде бы европейско-протестантском, а затем и в красном — скорее уже по-европейски обезбоженном» (с. 153). Дело было не в красных и не в белых, а «в самой России, шизофренически раздвоившейся, ставшей вдруг красной и белой, нашей и не нашей, своей и чужой, превратившейся в какой-то неполноценный исторический мираж, но не переставшей при этом оставаться... Россией!» (с. 78—79).

Воздвигнутый Сталиным на руинах прежней России СССР с его надуманной идеологией и тягостной повседневной практикой никакой просторной исторической перспективы не имел. Сталина его последователи не поняли и сделали все не так (с. 523). Окончательно пала Россия вместе с Москвой — «третьим Иерусалимом» — в 1991-м — накрывшись тьмой иудства, алчности, трусости и позора — она перестала быть столицей величайшей в мире державы, символом победности (с. 346). Поколение созидателей и победителей ушло, пришло же поколение нахлебников и пораженцев во главе с последним генсеком КПСС —



типичным, по мнению автора, историческим пораженцем (с. 316). Это и было завершением гигантского исторического эксперимента, за который долго еще придется расплачиваться: «За все приходится платить! Да хранит вас Провидение!» (с. 262).

И все же в этих испытаниях страна не развалилась (с. 343). Самый опасный момент, низшую точку падения она уже прошла, и теперь, в диалоге двух москвичей, датируемом 2000 г., автор «Реквиема» обозначает траекторию ее дальнейшего движения — вверх! (с. 344). С 2005 г. он начинает отсчет стабилизации. «Но чего? Именно этого поганого строя. Жить было снова можно, но лишь в рамках этого строя и только для него» (с. 395—396). Жизнь продолжается... но в условиях антижизни.

И это снова приводит автора «Романа о романе» к сакраментальному российскому вопросу: «Делать-то что?» (с. 558).

Ответ предопределен самой исторической ситуацией: нынешняя Россия, хоть еще и не монолит, но куда цельнее ушедшего в небытие СССР, она готовится к какому-то рывку в будущее (с. 523). Она нуждается в крутых и созидательных очистительных мерах. Она, «конечно, никуда не денется. Она выживет, но... через кровь... через кровь!» (с. 319). В уста двух идилически беседующих профессоров Юр. Михайлов вкладывает далеко не идилический призыв: «Новая опричнина? — Это бесспорно!» (с. 454). Россия переживает сегодня «славный и горький апокалипсизм». Но, предрекает автор «Реквиема», он от России отстанет прямо посреди трансцендентного никогда, внезапно, без предупреждения. Ведь Россия — не обычная страна, ищущая лишь земного благополучия, она не от мира сего (с. 488).

Главное, согласно тезисам Юр. Михайлова, условие самоутверждения обновленной России — консолидация нации и даже строительство новой нации: «Без нации ничего не получится» (с. 368). Самое важное — национальная идеология, ее спасение — традиция, которая одна лишь способна удержать человека в человеке (с. 471). Сегодня, когда человечество оказалось в зоне глобального риска, шанс России — не упускать исторической инициативы, быть самой по себе и для себя, причем имперски (470).

В этом автор и видит самую важную, смылосозидающую российскую традицию — традицию имперской, величайшей в мире державы.

«Роман о романе», автор которого, несомненно, является одним из выдающихся современных глашатаев национального российского



духа — это и реквием утраченной «величайшей в мире державе», и воззвание о ее возрождении, и попытка осмыслить реальные возможности и условия такого возрождения.

После того, как прочитана последняя строка: «И свет в конце туннеля!», остается впечатление, что вот эти-то реальные возможности и условия ныне пребывают в поле Великого Неизвестного, которое и является главным героем как романа Булгакова (с. 588), как романа в романе Булгакова, так и «Романа о романе».

И потому за многими эксплицированными в романе ответами на смысловые проблемы, неминуемо встают новые вопросы.

Должна ли Россия посвятить свои духовные, человеческие, интеллектуальные, политические, экономические, военные ресурсы тому, чтобы оставаться и в дальнейшем имперской державой, альтернативной западному миру?

Если должна, то какую именно альтернативу, какую «новую цивилизацию», соответствующую — именно со-ответствующую — реалиям XXI в. предлагает она человечеству?

А в особенности: какую альтернативу, кроме возвращения в статус «сталинского наследства», она может предоставить своим ближайшим соседям?

Каким образом это может предотвратить «поэтапную погибель человечества»?


Или «рискованный перепрыг в постчеловечество» на фоне апокалипсиса для всех, кто ищет «земного благополучия», — это уникальный исторический удел именно и только России?

В.Я. Курбатов

*Под взглядом обеспокоенного Бога**

Это не первая мистификация в нашей литературе. «Рукописи», найденные на чердаке (в Сарагосе, в Тропареве), переданные в редакцию анонимным доброжелателем, вынесенные морем, просто забытые на садовых скамейках, являются с периодичностью приливов. В этой периодичности легко обнаружить, что являются они в часы, когда исто-

* Философия хозяйства. № 2. 2011. С. 198—202.



рия теряет границы или попадает в воронку бессмысленного кружения. История при этом может обманывать себя внешней молодостью и выглядеть энергичной и уверенной, но не может обмануть «безымянных» авторов, забывающих свои рукописи в вагонах метро или в пожелтевших бумагах.

«Рукопись» Юр. Михайлова и вовсе «была найдена» пенсионеркой среди выброшенных кем-то вещей. Что значит — поколение образованных пенсионеров сталинской выделки — не могут пройти мимо папки с завязками в мусорной куче, чтобы не поинтересоваться содержанием!

Ну, Бог с ними, с мистификациями. Заглянем вместе с «публикатором», что же спасла добрая пенсионерка из сваленной во дворе чужой жизни.

«Requiem». Роман о романе, или роман с романом. Метафизическая проза.

Немного громоздко, но заманчиво. Уже по прологу мы догадаемся, что речь пойдет о Михаиле Булгакове и его «Мастере», хотя автор никак не хочет назвать ни Книги, ни Писателя прямо. А отчего прямо не скажет — поймешь, когда бедному Писателю в болезни на пороге смерти явится главный персонаж, который уже не оставит его до последнего часа. Явится, как и положено такой публике, в больном бреде, и на вопрос: кто ты? — опять же, как у них принято, загордится цитатой: «Я тот, кто приносит только добро». Подмигнет красноватым глазом в сторону «Фауста» и прямо потребует за оставляемую Писателю жизнь служения себе. У них с такими «договорами» скоро. И тут сразу окажется, что все, что писалось до этого, — «Белая гвардия» и «Бег», «Кабала святош» и «Собачье сердце», все умное, ироническое, печальное, дерзкое, — было только нащупыванием, приуготовлением души и дара к рождению единственного, главного, обещанного «тому, кто приносит только добро», романа, который, как становится ясно и самому автору, не просто очередной роман, а книга-судьба, книга-пророчество, книга-откровение, записанная «под строгим взглядом обеспокоенного Господа Бога и под вполне инспекционным присмотром господина хорошего дьявола».

И как только явится этот герой с острым «и» (дьявол), сразу станет ясно и почему кружилась мысль Юр. Михайлова вокруг прежних, насквозь известных читателю книг, в которых для него тоже все как будто двоилось и как-то исподволь накалялось, и все вертелось на языке



невнятное везде курсивное слово «иное», и все отчетливее тянуло по ногам мистическим холодом. И почему кружилась мысль самого Писателя. И кружились вокруг него в романе «мастера» неназванных лож. И почему и всеильный кремлевец держал его на коротком поводке, но словно не решался затянуть этот поводок. И почему даже и жены сменяли одна другую, пока не пришла та третья, ставшая Музой, Маргаритой, уже как бы и немного нереальной, словно и ее привел «господин хороший диавол». И уж даже и не женой только, а «соучастницей», соисполнительницей темной воли.

И роман «вцепился» в Писателя, сделал его невольником, «спичрайтером и адвокатом» того, «кто делает только добро». А настойчивое «иное», пожалуй, подсказало и автора, скрывшегося за «Юр. Михайловым». «Уличный-то» читатель мог не догадаться, а московские философы, кто хорошо видел современную мысль, не могли не вспомнить совсем недавно вышедшую книгу московского университетского профессора Ю.М. Осипова, которая так и звалась «Иное» и была пронизана беспокойством о человеческой слепоте, не видевшей необходимости этого «иноного», без которого жизнь не может быть ни полна, ни внятно объяснима.


Но это так — в сторону. Для сути «Requiem»а знание настоящего имени автора, может быть, сокращает читательские пути, но не имеет существенного значения. В псевдонимности книга только грознее, как взгляд всякого честного человека хорошего ума и сердца, которого жизнь интернировала в чужую, враждебную человеку среду и историю. И вот он глядит, как герои умерли, а роман «затаился», чтобы ворваться в 60-е гг., сначала просто примериваясь, «присматриваясь» к жизни, а в 80-е, 90-е уже просто подсказывая жизни ходы, делая саму жизнь романом. «Смотрите сами, — торопит наш взгляд Юр. Михайлов, — откуда-то взявшаяся в Москве компания непонятных переустроителей, а лучше сказать потрошителей; так же хорошо организованная кем-то смута, уличные беспорядки, да и много чего вообще невообразимого; та же ложь, потекшая отовсюду, из всех щелей; те же всеобщие помрачение и непонимание происходящего, то же отречение от всяких моральных устоев, те же порочность и разнузданность; те же inferнальные слеты, сходки и вертепы; те же исчезающие вокруг деньги, как и тающие в воздухе ценные бумаги... та же вокруг неутомимая нечистая сила, то же тотальное безумие...»



И скоро ты уже думаешь не о Булгакове, не о Сталине, не о судьбе романа, а темнеешь сердцем и страдаешь вместе с автором, видя, как сбилась жизнь, как отнимается у нее смысл, как мается и не находит себе места русская мысль, как человек жадно и бесстыдно освобождается от человеческого. Словно и мы все стали героями этого романа-панихиды, романа-апокалипсиса. Автор, кажется, даже не очень заботится о строе своего романа о романе, вскипая параллельными историями, срывами живой мысли, прямым гневом на общество «фундаментальной внеморальности, вольного произвола и вездесущей коррупции, разогретого бесовства и вольноопределяющегося бешенства», общество «мобильной, имитационной и галлюциногенной оформленности». Разогни на любой странице и читай вперед или назад и всякую минуту будешь в середине потерявшей себя жизни с ее отравленным воздухом карьеризма, подлости, общего предательства, издевательства над традицией и духом.

Это очень лично прочитанная современная история, — как только и может прочитать ее старый философ, давно принявший историю как свою жизнь, свой дом и семью. И потому так остро чувствующий ее падение. Реальность все чаще кажется подделкой, скверной имитацией, сочинением «господина хорошего дьявола», и старый философ зовет в собеседники Сталина, Понтия Пилата, Воланда, Иешуа, Ангела и Демона, церковных владык и коллег философов, проверяя для себя: верен ли вообще был замысел человека, не победил ли в «проекте» антихрист, умело воспользовавшийся данной Богом свободой, которую человек разжаловал в либерализм. И ищет, ищет «нового слова, похожего на предсмертный крик», которым только еще и можно разбудить в литературе «все еще человека», который, однако, вот-вот станет псевдочеловеком. Ибо ведь «не человек вовсе, а всего лишь зверь человеческий стал устройтелем небывалой реформы, да что устройтелем — и участником тоже — тот самый зверь, которого так хорошо видел в его человекоподобии жестокий ершалаимский прокуратор», ведь «не реформа то была вовсе, а выворот какой-то, позволивший антимиру заполнить собою мир человеческий — великое тут случилось торжество князя земного».

И все чаще без зова в хороводе реальных и романских героев будет являться Иуда, и Воланд будет только успевать поздравлять его с очередной победой, — как при расстреле Белого дома, когда князь тьмы



прямо восхищается умелым дирижером истории: «Поздравляю тебя, Иуда! Хорошо сделано. Ты — мастер».

Впрочем, я не буду больше выписывать цитаты. Они так горячи и устыжающи и так яростно рисуют террор цивилизации и цивилизацию духовного террора, эпоху «захватывающего интеллектуализма, глобального информатизма, всепроникающих коммуникативных сетей и вездесущих вольноопределяющихся текстов», что inferнальность того Романа перед inferнальностью сегодняшнего «романного времени» — только высокая литература перед злой пародией.

Автор еще надеется (русский же человек!) на то, что «новое средневековье» и Страшный суд не окончательны. Последние слова его «романа о романе» «И тьма над бездной. И свет в конце тоннеля». Тьму мы увидели во всех изводах, а свет в романе скорее пока только пожелание — этот наш вечный тоннель никак не кончается. И если свет этот все-таки брезжит, то потому, что русская мысль все не знает покоя и никакой тихий садик с Маргаритой русского Мастера не утолит.

«Requiem» — трагическая книга и мы, пожалуй, перемолчим ее. Усталый читатель спрячется, чтобы не беречь сердца, а коллегиписатели заняты каждый своим «Мастером», и им не до чтения товарищей. Да и молчание заложено в самом тексте. Ни сам автор, ни читатели не могут выйти из книги, для стороннего суда над ней, потому что стали ее героями. Эту книгу можно прожить — с сочувствием, гневом, любовью, сопротивлением, смущением, раздражением, — именно прожить, а не прочитать. Она каждой страницей открыта, ее текст не замкнут. Этот переплет иллюзорен и последней страницы нет — читатель уходит по лунной дорожке, беседа с Юр. Михайловым о следующей странице.

Все летит над Москвой крылатое войско антихриста, не страшась оцарапаться о лес крестов, потому что лес этот еще не достигает неба, слишком отягченный землей. И может показаться, что «проект человека» действительно не удался и человек все норовит устроиться на земле, стать желанным государству «средним классом». Средним в самом всеобщем смысле — без настоящих земли и неба, с ненавистной Константину Николаевичу Леонтьеву пошлостью. Но пока такие книги пишутся, князь тьмы может подождать с окончательным торжеством. И бесконечные тоннели все-таки имеют выход, и жизнь, руководимая духом, все не становится окончательным анахронизмом, и свет, как ни сомневается в этом наше усталое сердце, во тьме светит, и тьма не обнимет его.



В.К. Королев

«Реквием» по экономисту России?

*(От С.Н. — к М.А.)**

...Экономический разлад есть только одно из проявлений гораздо более обширного культурного процесса.

Й. Хейзинга

Имея достаточно большой опыт рецензирования научных монографий, статей, учебных пособий, написания отзывов на диссертации и т. п., как-то сразу, начав читать «Реквием», чувствуешь не просто несостоятельность этого опыта в данном случае, но даже его какую-то вредность. Роман, как мне кажется, нельзя характеризовать привычной парадигмой: «актуальность — достоинства — недостатки — малиновый звон». Источник вдохновения автора не предполагает этого, да и сам он, ох, как не прост в своих изысках!

Сам характер творчества М.А. в своей эволюции в «метафизику», тем более в его адекватной трактовке Юр. Михайловым, делает бесмысленным конкретный дискурс мыслей и чувств обоих авторов в связи с содержанием обзореваемых в «Реквиеме» произведений М.А., ибо метафизику в принципе не дано просветить мыслью однозначно. Что же, попытаюсь преодолеть рационалистическую «зашоренность» и высказать свое впечатление от романа Ю.М. К нему, на мой взгляд, надо относиться именно «метафизически», принимать или не принимать, воспринимать или нет. Роман или открывается читателю, или последний может закрыть книгу после прочтения первой его части с раздраженной оценкой «бредятина о бредятине» (да простит меня Ю.М.!). Но главное в «Реквиеме» для вдумчивого и терпеливого читателя, на мой взгляд, — его гуманистическая «сверхзадача» по актуализации вечных, философско-богословских антропологических проблем в современных условиях российского бытия.

Какие мысли, слова, оценки и т. п. человек обычно считает правильными? Очевидно, те, которые созвучны его собственным, если, конечно же, он озабочен данной проблематикой. Но главное, как в нашем


* Философия хозяйства. № 2. 2011. С. 202—204.



случае, — переходящие, переводимые в сферу сознательного, проявляющиеся под влиянием чужих мыслей и чувств. Именно такая рефлексия происходит при чтении «Романа о романе» Ю.М.: «хорошо сказано... точно подмечено... именно это я чувствовал, но не мог так интересно сформулировать...» и т. п. Эти слова сами по себе приходят в голову уже с первых страниц «Реквиема». Тем самым, мое восприятие творчества М.А. Булгакова, сформированное много лет назад при первом чтении его романов, очевидно, резонирует с «михайловским», но не просто совпадает в основных моментах и оценках, но и в определенной мере обогащается путем потребности нового осмысления коренных онтологических и метафизических проблем, поднятых М.А. и актуализированных Ю.М. Авторская трактовка творчества М.А. Булгакова дает читателю интересный и серьезный повод для размышлений по поводу Человека, смысла его жизни, Бога и Антихриста, христианства, Добра и Зла, судьбы России...

Своей метафизической прозой Ю.М. выводит читателя (по крайней мере — меня) на новую постановку главной проблемы — природы Человека, его греховности, возможности ее «преодоления», по своему ставит вопрос о воспитании нового Человека, в том числе и нового субъекта экономической деятельности.

Полагаю, «роман с романом» Ю.М. вполне удался, ибо его «повествование-размышление метафизического толка по поводу феномена человека в условиях экстраординарного бытия России за последнюю сотню лет» выводят, по моему мнению, на воистину страшную для понимания, гонимую бессонными ночами идею нарастания в стране антропологической катастрофы: вывести новую породу людей — «советский народ» — коммунистам не удалось (возможно, подвело «собачье сердце» исходного материала?), а в постсоветский период не получился и описанный С.Н. Булгаковым экономическо-капиталистический человек — «счетная линейка». (Это давно и тонко учуял Ф. Тютчев, который в стихе «Наш век» писал: «Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует... Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит... И сознает свою погибель он, и жаждет веры — но о ней не просит...».) Более того, от проектной гуманизаторской (не путать с гуманистической), воспитательной деятельности сейчас принципиально отказались в пользу некоей рыночной «естественности». Именно захватывающая страну антропологическая катастрофа, когда современный Воланд воистину «правит бал», является, на мой взгляд, главной



причиной и наших фундаментальных экономических проблем, актуализируемых журналом «Философия хозяйства».

Конечно же, вольно или невольно, автор подражает М.А., но в нашем случае это все-таки неизбежно: «взять» его творчество можно именно метафизически (подобное открывается подобным). И этот несомненный резонанс двух писателей высвечивает не только новую грань таланта Ю.М., но и некоторую тревогу за его собственное экономическое будущее, тем более что есть знаменитый исторический прецедент: С.Н. Булгаков начинал как чистый экономист, а затем постепенно ушел в философскую метафизику и богословие. Теряем мы или приобретаем? Время покажет... Быть может, Юр. Михайлову удастся сделать то, что не удалось С.Н. — сохраниться как экономисту и состояться в качестве талантливого философствующего писателя? Ждем следующего романа...

Э. Шац

*Некоторые размышления о нетрадиционной
традиции романа**

В категориях имяславия

«Не желаете ли, добрые люди, послушать прекрасную повесть о любви и смерти?» — начальные строки средневекового романа «Тристан и Изольда» могут служить эпиграфом к метафизической прозе, которая разворачивается на шестистах страницах «Реквиема» Юр. Михайлова. *Роман о романе, или роман с романом*. Видимо, поэтичной, романтической и вместе с тем трагичной должна быть и история, которая последует за названием предлагаемого романа. Надо думать, это будет история о новых многострадальных возлюбленных — века XX го. Название романа, таким образом, уже сразу заявляет тему любви — одну из главных для М. Булгакова, которому посвящается этот бесконечный поток сознания, страстного соучастия истории, размышлений о ней долгими бессонными ночами нашего автора. В результате открывается целый веер тем, задач, представлений.

* Философия хозяйства. № 4. 2011. С. 289—295.



Заглавие художественного текста (как и эпитафия, если таковой имеется) представляет собой обобщение существеннейших элементов композиции и самой поэтики текста, кажется, у о. Павла Флоренского сказано «заглавие — это имя произведения, мыслимое в категориях имяславия, т. е. манифестация его сущности». *По имени и житие*. Или: «*Собаке собачья смерть*», — говорит народ.

Есть более глубокие слои: музыка имени, его цвет и неуловимо тонкий дух, влияющий на характер и судьбу. Учение о. Павла Флоренского — это учение об имени, вокруг которого творится не только человеческая личность, но и все мироздание. Флоренский считает эту идею универсальной: «Человечество, всегда и везде, утверждая имена в качестве субстанциональных сил или силовых субстанций или энергий, имело же за собою подлинный опыт веков и народов, вылившийся в вышеуказанной форме».

«Requiem» — имя роману (от первого слова лат. текста «Requiem aeternam dona eis, Domine» — «Покой вечный дай им, господи»). Но по ком звонит колокол и почему на латыни? «Слово, и, в частности, имя, есть необходимый результат мысли, и только в нем мысль достигает своего высшего напряжения и значения» (Лосев).

Флоренский, Лосев, Бахтин подчеркивают, что слово есть символ, являющий в конкретном образе и форме свою идею. Так по ком же звонит колокол и почему на латыни?

Dies irae, dies illa,
solvat saeculum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

День гнева, тот день,
повергнет мир во прах,
так свидетельствуют Давид
с Сивиллой.
О, как все затрепещет
когда придет судья,
и будет всех судить.

День гнева... Чей гнев имеется в виду? Бога? Человек готов терпеть какие угодно страдания, лишь бы избежать еще больших страданий. Страшат страдания нравственные, очищающие, связанные с переоценкой ценностей, духовным перерождением. Это на латыни. А по-русски?

В «Реквиеме» Ахматовой: «*Звезды смерти стояли над нами, / И безвинная корчилась Русь*».

Что же начало российского XXI в. приобретает из нового метафизического текста о России? Прежде всего — контекст победил



текст, перипетии истории заслонили творчество. «Мастер и Маргарита» выступает как сакральный роман с системой тайнописи, творчество Булгакова в целом вписано в криптографические шифры. *Код Булгакова*, его историческое декодирование, становится целью и канвой романа Ю.М.

«В “Реквиеме” он делает одну важную работу — он постоянно расшатывает, раскачивает устоявшиеся в науке, в философии и в жизни смыслы и значения слов. Осипов (автор романа. — Э.Ш.) с ними не церемонится. Стараясь уловить, поймать те оттенки смыслов, которые слышит его ухо, видит его глаз, различает его ум, он меняет границы слова» (Ф.И. Гиренок) [1, 228—230]. Тут можно было бы поразмышлять о нетрадиционной традиции романа.


Код Булгакова

При этом язык автора отнюдь не язык учителя русской словесности. Он — живой, вкусный, сочный, многообразный, он говорит на языке Москвы и на идиомах России. Используются не только строго литературные, но и внелитературные средства языка — старинные просторечные, диалектные, которые подчиняются общему эстетическому настрою. Палитра языковых средств насыщена и своеобразна. Благодаря этому роман о романе вдруг набирает скорость, бег времен и пространств, и вот уже взволнованные ритмы поэто-философической прозы множатся в жутчайших текстах-зеркала, из которых Ю.М. строит свою поэму или скорее свой театр.

В отличие от своего Героя, автор в чудо не верил. Но вот Театр! Театр — мысль, фабрика, школа, ключик, источник, фонтан. Театр — фантазмагория, калейдоскоп, чародейство. Театр — сила. Театр — это целый мир, большой и сложный, многоуровневый, не единожды окольцованный, центростремительный и центробежный, сетевой, паутинный, химерный... Кажется, автор сам описал свой роман.

Поэзия заземляется прозой, миф — реальностью, пока все не сливается в некую обобщенную метафору: жизнь и есть самый абсолютный театр, ирреальное представление, бурлеск, травестия.

Или квази-мениппея, в которой абсолютная свобода сюжетного вымысла мотивируется «идейно-философской целью — создавать исключительные ситуации для провоцирования и испытания философской идеи — слова, правды, воплощенной в образе мудреца, искателя этой правды» (М.М. Бахтин). Содержанием мениппеи становятся не приключения конкретного героя, а перипетии самой идеи. Такая постановка вопроса позволяет прощупать в сложных наслоениях



глубоко упрятанную внутреннюю целостность как образа Писателя, так и произведения в целом.

По словам Юлии Кристевой, «мениппея — это своего рода политическая журналистика Древнего мира». Между тем сама эпоха, сформировавшая жанр мениппеи, обнаруживает парадоксальное сходство с современностью. По словам Бахтина, становление «Менипповой сатиры» происходило «в эпоху разложения национального предания, разрушения тех этических норм, которые составляли античный идеал *благообразия*, в эпоху напряженной борьбы многочисленных и разнородных религиозных и философских школ и направлений»


Черты мениппеи встречаются и в древне-русском шутовстве, раёшном стихе, сатирах XVII—XVIII вв.

В романе — злободневная современность, публицистичность, полемика с различными философскими, религиозными, идеологическими, научными школами, многостильность и разноголосие, свобода философского вымысла, утопический элемент. И, наверное, это не все. Текст, по преимуществу, это роман-эссе.

Чтобы отыскать точку пересечения сюжетных линий, следует вникнуть в отдельные мелодии полилога наших героев, хотя кажется иногда, что звучит один зубодробительный, тлетворно безнадежный, трагичный лейтмотив: напомнить, как носители коммунистической идеологии, светочи пролетарского гуманизма, топили в крови собственную страну, а дьявольская нечисть превращалась в оружие божественного возмездия, защиту нравственности, последнюю надежду униженных. На глазах у русского народа какая-то циничная и безмерно могучая сила, дергая за тысячи невидимых нитей, реализовывала чудовищный замысел преобразования мира на одной шестой части планеты. При этом все человечество упорно убеждали, что происходящее и есть истинное воплощение добра и свободы. И даже сейчас *Массолит живет и процветает*.

Будучи и сам влеком этим чудовищным водоворотом, Ю.М. пытается сложить фрагменты истины в целостную картину окружающего мира и найти путь к спасительному берегу.

«Похоже, что именно поэтому для Юр. Михайлова Сталин абсолютен — идея, символ, знамя, текст; тот, от которого в мир могли идти только добро, истина, все, что не вызывало сомнения и оправдывало репрессии и жертвы. Абсолютный исторический субъект; мощный проективный заряд; монумент, хоть и созидательно



действенный», — пишет З. Скрынник в своей многостраничной рецензии на роман («Россия в преддверии великого неизвестного») [2, 187—198].

А вот прав, пожалуй, И. Шевченко, это книга-головоломка, книга-лабиринт, книга в книге — как китайская шкатулка [3, 230—231].

Гиперборея

А за окном — Россия.


Русь-тройка Гоголя — принцип динамический. Она движется по бело-черно-серой равнине «Мертвых душ». Россия поэтов-мыслителей, Россия художников — певцов сокровенной близости к природе, двоянный образ Обломова и Штольца. Сонная, довольствующаяся вековым оцепенением, но вместе и цыганка — свободная и пропадаящая в пути. Города как мифические кони.

От «Сокровенного сказания» монголов до тройки Гоголя, до степи Чехова, до бури Пильняка — всегда и везде несется по равнине погоня и обрушивается на Россию. Революция, т. е. движение тела (см. исконный смысл слова *revolutio*), которое, обращаясь по замкнутой кривой, последовательно проходит через одни и те же точки.

Равнина, океан земли, волнами которого в веках были народы. Все недвижно. Все медленно. И вдруг — буря. «Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны как ветер», — говорит Трофимов — Чехов в «Вишневом саде». Так избы Есенина—Пугачева срываются с круга и становятся неуправляемыми. Несказанное возбуждение, передаваясь от избы к избе, врывается лавиной, белым всепожирающим пожаром, огромным цветущим вишневым садом. Отношения между людьми на конях, мчащихся галопом неизвестно куда, по-звериному жестоки. Ярость народа бросается из стороны в сторону в некоем жутком карнавале, как табор пляшущих макабрный танец цыган.

Равнина — горизонт, удаляющийся как комета.

«Мастер и Маргарита» — уникальный контент Михаила Булгакова, завораживающая мистическая дьяволиада, обнажающая вечные темы любви, борьбы добра со злом, смерти и бессмертия. Эта книга — на века. Здесь же она, а не Писатель — главный герой нового романа, в кривых и множественных зеркалах прозы Ю.М. В них достойные бесы мелькают среди неприметных диссидентов. Да кто их и любил когда бы то ни было, диссидентов? Их все сажают и сажают... Более трогательно теперь, иногда более терпимо...» Мы, люди, лишь элементы некоего неведомого нам энерго-информационного поля,



обычно называемого мировым духом, и Господь все еще надеется на человека».

А современный человек как бы скользит по поверхности окружающих его текстов, переставая проникать в их глубину. Так стираются смыслы, а вместе с ними и ценности, оставляя после себя мир симулякров.

От этого страдает автор. Он опускается в ад своей поэмы-эссе. От Монтеня до Борхеса туда сопровождали нас на страницах пессимистической прозы небезразличные, порой отчаянные и обескураженные эрудиты.

О разночтении


Все прочтения, независимо от несовпадающих точек зрения, участвуют в завершении эстетической формы, состоящей из многочисленных элементов фабулы. Разночтения в *прочтениях* как Булгакова, так и Ю.М., определяются исключительно различием в субъективных позициях *авторов-созерцателей*, отвечающих одновременно нескольким образам романа.

Не могу доказать, но сдается мне, что имеются несколько различных и преднамеренно вызванных автором толкований содержания романа.

А вот коротко то, чтобы написал не поэт, а литературовед: вопрос, таким образом, сводится к определению соотношения вкладов *автора-творца* и *автора-созерцателя* в создание ложного образа романа; эта задача может быть решена только после максимально полного выяснения содержания *автора-творца*, включая и интенцию автора романа. Это означает, что исследование должно осуществляться с позиций не *автора-созерцателя* (читателя, публициста), а *идеального читателя* (к воплощению в себе этой функции должен стремиться каждый ученый-исследователь, поскольку эта эстетическая категория условно подразумевает владение всеми контекстами *автора-творца*).

Но как пройти сквозь залы кривых зеркал и разобраться во всех многочисленных контекстах, кроме тех, которых мы здесь едва коснулись?

Эпитафию на свою могилу Михаил Булгаков сочинил задолго до наших булгаковедов. Она совсем простая — «Дописать раньше, чем умереть». Так и не дописал, ибо Книга, как оказалось, не знает конца. Подобно и нашему тексту о ней, который выступает как введение в



более развернутую работу с размышлениями о *Книге-о-книге*. Вот вам и китайская шкатулка¹.

Так, Господь все еще надеется на человека. «Человеческий ум, — говорил проницательный Павлов, — ищет причину всего происходящего, и когда он доходит до последней причины, это есть Бог. В своем стремлении искать причину всего он доходит до Бога. Но сам я не верю в Бога, я неверующий».

Литература

1. *Гиренок Ф.И.* О книге Юр. Михайлова «Реквием» // *Философия хозяйства*. 2010. № 5.
2. *Скрынник З.Э.* Россия в преддверии великого неизвестного: ответы и вопросы (о романе Юр. Михайлова «Реквием») // *Философия хозяйства*. 2011. № 2.
3. *Шевченко И.Г.* Мгла // *Философия хозяйства*. 2010. № 5.
4. *Рудяк И.И.* Русская пирамида («Мертвые души» Гоголя, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Реквием» Осипова) // *Философия хозяйства*. 2010. № 5.

¹ И. Рудяк пишет: «Гоголь сжег второй том “Мертвых душ” (в котором он их захотел оживить). В подобном смысле живая книга “Мастер и Маргарита” — это и есть (фигурально выражаясь) второй том “Мертвых душ” Гоголя. Рукописи Мастера не горят, а возвращают (эманация) перекомпонованную Мастером информацию в глобальное информационное поле. “Реквием” — это третий том: о процессе оживления душ все еще работающей в наши дни машиной-пирамидой булгаковского романа. Так “три романа” создали “русскую пирамиду”: как голограмму. Обратное воздействие книги на реальность идет от Библии (которая действительно повлияла): поэтому литература может изменить жизнь. Сжигание рукописей — это “принесение информации в жертву”: для “построения полноты” компьютерного текста Вселенной (структуралисты) — для соборного бессмертия человечества» [4, 233].



Г.И. Мойсейчик

*Реквием, или Откровение к Откровению?**

На пути Откровений Твоих Я
радуюсь, как во всяком богатстве.

Псалтырь, Псалом 118, 14

Новая книга Ю.М. Осипова (вышедшая под псевдонимом Юр. Михайлов) озаглавлена «Реквием». В подзаголовке стоит: Роман о романе, или Роман с романом. Автор пытается найти ключ к самому удивительному роману прошлого века, роману-шифру, роману-мистификации, роману-тайне. Роман этот, будучи совершенной тайной во время его написания (доступной лишь возможно вождям или вождю), недопроявленным (даже для мыслящего и образованного сословия интеллигенции при его выходе в свет в середине прошлого века), только-только начал раскрывать свои скрытые смыслы полвека спустя. Да и то не всем.

И потому автор «Романа о романе», увидя эту совсем не книжную жизнь романа, но жизнь творящую, решил поведать читателю свое открытие, чтобы не заставлять читателя пребывать в неведении еще многие десятилетия или даже столетия. Гении милостивы к людям и доверяют им, прежде всего близким людям, соотечественникам. Гении — всегда пророки с большим запасом мужества, потому что и знать тайну, и носить ее, и ее открывать, особенно людям из своих отечеств, — дела опасные.

Но вот чудо! Раскрывая или даже поверяя, сверяя со своим временем, а то и с вневременьем или безвременьем, или иновременьем², ключ, загадку, мистификацию и великую тайну романа, Автор творит свою загадку, мистификацию и тайну. Проникая в одни тайны, проходит через темные коридоры, подводит к занавешенным окнам, открывает занавески — и тот, кто идет за Ним — видит залитый солнцем холм, на котором возвышается замок, окруженный глубоким ровом, двери которого на замке и ждут нового гения-хозяина или мастера, кто бы их отворил. Или, подводя вас к бездне, показывает вам ее дно, еле прикрытое, похожее на охотничью яму, за которой таится вот уж действительно бездна! Или ухватившись за один лучик

* Философия хозяйства. № 4. 2011. С. 295—299.

² См. также книгу Ю.М. Осипова «Иное» (М.: Экономистъ, 2006. — 704 с.).



светилища, подбирается к ослепительному солнцу ведания. Или за тенью-теменью угадывает тьму непроглядную, но во тьме тьмушей — искорку, свечу, огниво.

Так, Апостол Иоанн своим Откровением, будучи сподоблен величайшей милостью Бога и Сил Ангельских с благоговением открыть Книгу Жизни Человечества и уготовленных ему судеб, посвящает в нее человечество и, посвящая, открывает покров тайны и одновременно возвещает, создает новую и новую тайну. Посвящение требует просвещения. И просвещение дано посвященным. Возможно, такова участь всякого великого творения. Потому что во всяком великом творении заключен (снят) образ Первообраза творения, который связан с замыслом Творца, Его Тайной Сущностью, с Тайной Мироздания, с Вечностью, которые являются особым посвященным — пророкам, или гениям, или мастерам — и в то же время связывает воедино времена и людей. Всякое великое творение не имеет конечной разгадки, да и не может и не должно иметь ее. Уже потому, что побуждает своих почитателей (читателей, слушателей, зрителей) к работе над раскрытием скрытых, затаенных, притаившихся смыслов, т. е. к сотворчеству. Указывает, куда смотреть, и дает глаза и уши и, может быть, даже сердце (Чудо Дарения Сердца!), чтобы смотреть и видеть, и слышать, и биться в унисон. *В этом и состоит Радость Причастности к Откровению, которую воспел Великий Псалмопевец Царь Давид.*

Как и у Первооткровения Иоанна, в Романе о романе Ангел следует за Ангелом и изливает свою чашу скорби и суда, но и радости и света. Открывает свой Храм Знания, который есть не бледная копия знания кучки посвященных, но Столп на Пути к Истине Бога.

У каждого времени и у каждого человека свой Апокалипсис. Земные события и земная жизнь пишутся на небесах и имеют свой отпечаток в Вечности, поэтому каждый человек в ответе перед Богом и своей вечностью. Чужая вечность и есть ответ на пренебрежение к своей.

Храм Библейского Суда, мистификация Библии, подмена главных действующих лиц библейской истории раскрывает способ действия проекта мироздания, в котором схватываются и борются не на жизнь, а на смерть две силы — Божественная и антибожеская. Если первая побеждает, перевешивает вторую — возобладает принцип просветления, прямоты и мира. Если вторая перевешивает, побеждает первую — возобладает принцип искажения, превратности и войны. Между ними на перепутье третья — Человеческая. Она в движении, она меняет окраску, в ней отголоски Великой Битвы Бога — за любимое творение Его — за Человека. Ведь Сын Божий — Человек, не Ангел!



Великое Откровение автора романа о романе в том, что искажения возможны даже в Святая Святых. Иисус превращается в Иешуа, Иешуа в иешуанов. Уже в самом имени «Иешуа» что-то сразу от Иисуса и Ницше, и христианин уживается с антихристианином, а Христос с Антихристом в сознании запутавшегося цивилизационного человека.

Метод сопоставления и сопереживания одинаковых событий или подобных мизансцен в романе и романе о романе дает возможность как бы прирастить булгаковский роман новым, метафизическим, *осиповским*, измерением. А новые события ложатся в канву старых, обозначенных или намеченных в булгаковском романе исходов, и таким образом приобретают уже не временное, а субстанциональное, вечностное значение.

Книга-реквием раскрывает пласт за пластом напластования метафизической жизни, которая видна взору посвященного, тайн божественной жизни сподобленного, и проступает через обыденные, рядовые, на первый взгляд, события. Тайна поглядывает сквозь обычную беседу не совсем обычных людей, или сквозь необычную беседу людей обычных, или через необычные события или грядут необычных событий. Тайна грядет и через повторение одних и тех же событий, характеров, сценариев, проектов. Раскрывает свой сокровенный смысл через стаккато повторов в разных временах и тех же обстоятельствах. И перетекает в новые времена, обрастая новой замысловатостью. И в новые обстоятельства перенося извечные смыслы.

В романе о романе есть сциентизированные, сугубо онаученные места, как, например, проходящий через все повествование вопрос о том, какими метафизическими мотивами руководствуется или должна руководствоваться земная власть, чтобы устоять, или даже не может не руководствоваться, даже зная, что упадет. Остается тайной, догадкой, намеком то, как приводятся в движение трансцендентные пружины власти, каково соотношение метафизического и историко-физического в фигуре политического лидера, какова его трансцендентная задача и трансцендентная формула его личности. Какова здесь расстановка сил между силой личности, силой элит, замкнутых группировок, тайных союзов и сообществ³. И вообще, каково сцепление тайного и явного в

³ Один из выводов-извлечений из книги состоит в том, что у кланов посвященных — сепаратно посвященных — будущего нет, как и нет подлинного знания, а есть лишь обветшалость. Это показал и опыт пифагорейцев, и розенкрейцеров, и тамплиеров, и новейших масонов.



истории, в движении обществ? Насколько мощна и определяюща сила трансценденции и где она сильнее в то или иное историческое время — в том или ином народе, во властители, в элите, в тайном сообществе? Как соотносятся между собой историческое и метафизическое время? Насколько просвещенной и явной может быть власть посвященных? Есть ли цель у истории и что тогда означает лозунг конца истории? Неужели дальнейшая неспособность к социальному творчеству, движение на холостом ходу, вхождение в общемировую бессмысленность? Трагедию Истории? Таких вопросов в романе великое множество, они нарастают как снежный ком и обрушиваются лавиной на голову читателя, даже не совсем подготовленного⁴. Но зато и какая радость и как захватывает дыхание новичка от приближения к сверкающим снежным вершинам подлинного знания!

В романе о романе есть пронзительно задушевные места — как тихие беседки, есть места-омуты и заводи, есть места-капканы и места смущения, смятения духа и смуты народной. Есть там свои храмы и свои монастыри, и казармы и тюрьмы, и кабаки и варьете, и поезда и подворотни, и космосы и миры, и миры и войны, свои окации и неизбежности. Свое и мира и надмирья неизбежное в нем есть.

Есть места Великой Поэзии и Великой Правды. Дантова Рая и Ада, всех Беатриче и Маргарит сразу стоит мысль о Великом Неизвестном, с которым считается даже Бог (!) (С. 325). Или великолепная первых времен христианства мысль о том, что Богу нужно помогать, сострадать Ему...

Поэтому ничего удивительного в том, что сколько ни будет читателей у этого удивительного романа-реквиема, Открытия к Открытию, Реквиема к Реквиему, Апокалипсиса к Апокалипсису, каждый увидит и услышит в нем нечто, созвучное его глазу, его слуху, его сердцу. И даже камертон при том не будет одним для всех. И даже лейтмотив.

Почитатели Михаила Булгакова найдут в «Реквиеме» продолжение Мастера и Маргариты, почитатели детективов — занимательную повесть в духе «Семнадцати мгновений весны» и других остросюжетных повествований, почитатели исторического психо-

Сепаратная посвященность, при всей ее внешней обходительности и антураже загадочности и политической и иной заманчивости, — уродлива, это прекрасно показано в романе о романе. Сильна и по-настоящему прекрасна посвященность отдельных личностей, которые открыто несут ее людям, не замыкаясь в кружке.

⁴ Чтобы подготовить читателя вполне, нужен своеобразный подстрочник-толкователь. И это будет не менее интересно. Поэтому есть смысл во второй редакции «Реквиема» — нарративной авторской.



логизма и мистики — род «Кода да Винчи», или Матрицы, булгаковеды (почитатели Сергея Булгакова) — изложение идей софиологии. Каждый увидит то, что дано увидеть ему его духовными очами.

И в этом тоже — чудо романа о романе. Его переливчатость. Открытие перемежения ипостасей. Мастер — это и Иешуа, и Воланд, и Фауст, и даже Бездомный. Маргарита — это Мария-Магдалина и фаустианская Маргарита, и Вечная Женственность, и даже Наташа-домработница. Иуда — это Пилат и Афраний, и толпа, иступленная в крике «Распи!..»⁵.

Так и мотив реквиема — для кого-то похоронный марш, для кого-то апассионата, для кого-то — ода к радости. Но он — не похоронный марш, не апассионата и не ода к радости.

Святое Откровение от Иоанна — повествование и о конце света, и о его началах, и о его начале.

Реквием — не только горечь прощания, но и радость встречи.

Произведение, которое дано до конца понять тому, кто его написал, и то не до конца. Потому что кому-то далеко и потом дано будет раскрыть больше, чем написал Автор. Но это будет уже новый роман о романе. Но и теперь уже ясно, что роман, живущий собственной жизнью, настоятельно требует авторского продолжения. Просим продолжить!

А.Н. Фатенков

*Се человек... и чёрт с ним?
(небеспристрастный отклик на «Реквием»
Юр. Михайлова)*

...Возможно.

Да, и все-таки «чёрт», через «ё» — от черты, предела, отграничивающих искреннее от лукавого в человеке. В категориях «добра» и «зла» рассуждать стеснительно. Оставим высокопарный слог для проповедников.

⁵ Поэтому Христос прощает толпу, ибо не ведают, что творят, а затем, сойдя в Ад, прощает и Иуду. Без этого прощения он не был бы Спасителем.

* Философия хозяйства. № 5. 2011. С. 274—282.



Не люблю предисловий: ни читать, ни писать. Скорее хочется добраться до глубокой, неравнодушной мысли (соглашаться или не соглашаться с ней, дело другое), высказываемой чаще с ненамеренной легкостью, почти случайно. Предисловия и послесловия, по обыкновению, вымучиваешь. Вот и на этот раз не обошлось.

«Реквием» Юр. Михайлова — не отстраненная и потому не проходная книга. Она не столько о Булгакове и его загадочном романе, сколько о самом авторе. Это поэтико-метафизическая автобиография. А еще, в силу особенностей жанра и исполнительского мастерства, она о жизни. Знакомой нам жизни со зримо скрадывающейся человечностью. В монографии — даже жестче: ...с практически полным расчеловечиванием человека.

Повествование правдиво скрепляют два эпизода: поездка героя в благодатные родные места и встреча в столичном кафе с некогда близкой женщиной. Они позволяют по-мужски доверительно, без инстинктивного отторжения и салонного кокетства, отнестись к теоретическим изыскам, рассыпанным по страницам объемистого тома, и приглушить иронию касательно его политико-конспирологической сюжетной линии.

По отношению к сокрытым властителям автор отклика много критичнее автора метафизической прозы. Аргументы таковы. К вере в закулисье, с его мудрыми обитателями, подталкивают удручающая бездарность публичных политиков, их лицемерие и позерство. Технократ — повсеместно распространенный ныне тип из правящего класса (элитой назвать его язык не повернется) — не может быть стратегом. Он — из услуги, высокооплачиваемой. Но уж больно тонка спасительная соломинка, протянутая к «серым кардиналам». Если эти умники и заседают где-то, то не занимаются ли они откровенной чертовщиной, не запутались ли давно в своих многоходовых комбинациях, помнят ли кому и чему клятвенно обещали служить? Не от них ли, по нисходящей, с избытком набрались цинизма подставные фигуры, избираемые электоратом?

Если настоящая политическая элита существует и не растратила совестливый ум, то почему попустительствует вопиющей социальной несправедливости и ее спутнице — регулярной междоусобице? Вот характерная картина эпохи Гражданской войны. «Один подлый режим сменялся другим... человек уже ничего не стоил, зато подорожали сразу хлеб, соль, спички, керосин, а в особый почет попали револьверы... ну и, конечно же, доносы и измены» [1, 17]. Вот рельефная зарисовка текущего периода перманентных реформ. «Добро куда-то мгновенно ис-



чезло, уступив место злу, а зло, оставшись наедине с самим собою, быстро прикинулось... добром» [1, 307]. «Не было теперь ни белых, ни красных... а были лишь гады и негады, причем среди негадов оказалось и немало ловко приспособившихся к гадам...» [1, 394]. У вершителей судеб единственное и далеко не безупречное алиби. Не исключено, они поняли и удостоверились в том, что человеческий мир зиждется на фундаментальном неблагополучии, — о чем безжалостно говорить во всеуслышание. Наверное — если принимать людей за одурманенных прогрессом восторженных идиотов, за марионеток, слепо подчиняющихся закону «неуклонного роста потребностей».

Парадигма прогресса, выступающая главной идеологической сопроводительной социальных пертурбаций Нового времени, держится «великой правды о жутком-де прошлом и еще более великой лжи о счастливом-де будущем...» [1, 309]. С этим тезисом трудно не согласиться. Он легко верифицируем. Достаточно вспомнить приемы коммунистической пропаганды начала прошлого века и антикоммунистической информационной атаки конца минувшего столетия. Они структурно идентичны. Да и персоны, участвовавшие в обеих кампаниях, не чужды друг другу. Отпрыски «комиссаров в синих шлемах», демонстративно избавившись от кумачовой символики, сменив окрас (похоже, на голубой и розовый), принялись громить пороки и добродетели социализма.

Философская (метафизическая, если угодно) критика прогресса, коли она начата, должна быть доведена до логического и содержательного завершения. Путь известен. Прогрессистская матрица подразумевает поступательный выход, трансцендирование определенного нечто за свои собственные пределы в движении к «лучшему». Абсолютизация прогресса обусловлена абсолютизацией трансцендирования, возможной, в свою очередь, только при наличии (постулировании) трансцендентности, абсолютной запредельности, к которой и в которой можно двигаться бесконечно. Справедливо и обратное: постулированная трансцендентность неизбежно провоцирует прогрессистский соблазн. Его культурный исток — в авраамической религиозной традиции. Метафизические (не лежащие на поверхности, не вульгарные) пласты реальности и метафизическая мысль (парменидовская, к примеру) вполне могут обойтись без заигрывания с трансцендентностью. Разговоры о ней нелепы (разве что под коньячок...). Если она и существует, помыслить и вербально оформить ее нельзя. Как помыслишь, так «потусторонность» сразу перестает быть собой, в ней, моментально девальвируется



ванной, проламывается концептуальная брешь. И «трансцендентность» встраивается, умножая сущности без надобности, в разнообразные синонимические ряды. Становится, скажем, равнозначной «неопределенности». Фраза: «Впереди... одна трансцендентная неопределенность!» [1, 485] — несколько потеряла бы в пафосе и почти не потеряла бы в смысле, звучи она как: «Впереди... одна неопределенность!», или «Впереди... одна трансцендентность!».

Вернемся, однако, — не с охотой, по необходимости — к политико-философским ракурсам прочитанной книги. Вдумчивому соотечественнику, как бы он ни дистанцировался от сферы господства-подчинения, не обойти стороной сталинский социально-политический проект и следы его реализации. Предъявленная в тексте теоретическая дешифровка — «антигуманистический проект западного гуманизма» [1, 37] — нетривиальна, заслуживает внимания. Юр. Михайлов оправданно — по крайней мере, с точки зрения автора отклика (подробнее см.: [2]) — различает положительно оцениваемую человечность и критически воспринимаемый гуманизм. Хотя касательно сути гуманистической линии с ним не обязательно соглашаться. Дело, скорее, не в том, что в стремлении полагаться исключительно на себя (а зачем лишний раз, всуе, напрягать окружающих?) человек кошунственно отождествил себя с Богом, а в том, что этим отождествлением с неким другим, вероятно, с идеализированной и отчужденной собственной сущностью, человек отказался от самого себя, включая то дурное в себе, за которое он, и только он, несет ответственность. «Среда заела», «родословная подвела» — это для лентяев и сентиментального нытья. Но даже если гуманизм с червоточиной, антигуманизм ничуть не лучше: всякое «анти» больно отрицаемым. И еще. Анализируемая формула не разъясняет: социализм строился у нас преимущественно по западным или антизападным шаблонам? Кому рукоплескать, кого освищать: доморощенных активистов, зарубежных?

Феноменология пореволюционного общества подана в монографии, как и положено, антиномично. «Взрывали церкви, но и строили метро, тербили крестьян, но и возводили заводы, гоняли модернистов, но и создавали новое “социалистическое искусство”» [1, 118]. Не согласишься... и не согласишься! Не захочешь остаться на угодливо-полоумной («и нашим, и вашим») платформе объективистской феноменологии. Непроизвольно копнешь в онтологическую — с экзистенциальными, личностными смыслами — глубь. И сразу закружит... Комом в горле встанут переживаемые вновь и вновь немногословные свиде-



тельства близких из старшего поколения о пережитом. Страницы «Реквиема» участливо ведут тебя параллельным курсом. «Проект был вроде бы для людей, но уже... иных людей — им... переделанных!» [1, 207]. Его главной коллективной жертвой «оказалась, конечно же, — как это и было повсюду, где затевался прогресс, — деревня, сознательно униженная и перебаламученная...» [1, 355].

Сегодня процесс раскрестьянивания продолжается ускоренными темпами. Загляните в деревни и села нечерноземной полосы! Не просто упадок. Вырождение. Катастрофа. Маскируемая дачной мишурой. Некрасовская строка: «Есть женщины в русских селеньях...» — прочитывается ныне эпитафией сельчанам-мужикам. Случись прекратиться поставкам продовольствия и генно-модифицированной снеди из-за рубежа, начнется голод. За ним — бунт. Привычно беспощадный. Неужели непонятно?! И не все «успешные» успеют убежать за кордон. С неуспешных спросят за все. Свершенное и несвершенное. Снова кровавые экзекуции. А ведь нас осталось не так много. Умного русского мужика с красивой русской бабой встречаешь по большим праздникам. Чаще — то дурак, то страхолюдина. На каждом углу — посредственность: броская и неприметная, неотесанная и манерная, завистливая и самодовольная.

Мозги утекают за границу быстрее, чем углеводороды. А сталинские стилистика и риторика отнюдь не в загоне. Парадокс? Закономерность? В преддверии парламентского матча между двумя «народными» командами избирателя политкорректно припирают к стенке. Не отдашь свой голос за «фронтовиков» или «ополченцев», ты, пока по умолчанию, враг народа! Не удивлюсь, если терминологическую страшилку вскоре окончательно реанимируют. Каждый из финалистов будущей президентской гонки — победитель от правительственных кругов и призер от «системной оппозиции» — будет явно и неявно намекать значительной части электората: именно он, мол, и есть «Сталин сегодня». Исходная сталинская модель (хотя «сталинская» здесь — сравнительно недавний региональный псевдоним) служила утверждению вертикали власти в еще имперской стране периода бурной индустриализации. Сейчас эту модель, контекстуально адаптированную, приспособливают для сохранения властного каркаса в сырьевой стране с имперским прошлым, шаг за шагом отстающей от мировых лидеров научно-технического марафона. Люди — не в счет! Ни тогда. Ни теперь. С отращиванием наблюдаешь: как только происходит политическая заминка в «диалоге с зарубежными партнерами», потребительские товары оттуда



объявляются не соответствующими санитарно-гигиеническим нормам. Но проходит день-другой, заминка устранена, и та же некондиция наначудесным образом (один на десять в минус девятой чуда) превращается в пригодный к употреблению продукт, которым забиваются полки городских супермаркетов и сельмагов. Умопомрачительная забота о человеке! Взрываются электростанции, рушатся шахты, падают самолеты, тонут корабли. А причина — «перегибы на местах», алчность и безответственность «стрелочников». Вертикаль остается непогрешимой.

От проекта — к разработчику. Открыто насмехаясь над формализмом либерально-гуманистического «ниспровержения» сталинизма, не питая никаких иллюзий относительно человечности кировых, троцких, тухачевских (революция справедливо пожирает своих детей), я и вождя добрым словом не помяну. Хотя не уверен, что родные люди, с которыми, увы, уже не переговоришь, одобрили бы это решение. А быть в разладе со своими старшими никак не хочется. И все же... Да, надо уточнить: речь идет о неприятии внутренней политики Сталина. Пакт с Германией и раздел Польши меня особо не беспокоят. Ради блага подданных хоть с чертом братайся! Такова участь первых лиц. А поляки и без того будут дуться на нас до скончания веков. Лишний эпизод ничего, в сущности, не изменит. Пусть хранят обиду. Это не помешает нам высоко ценить талант Анджея Вайды, мастерство их футбольной сборной образца 1974 г. и, само собой, изящество стройных паненок... Так вот, «победный» аргумент, к нему чаще всего прибегают апологеты, — дескать, именно стратегия (тактика) Сталина привела нас к победному Маю 1945-го — не убедителен. Война — давно не рыцарский турнир. Выигрывает ее не аристократия, не Ставка, не Верховный. Ее выигрывают работяги-солдаты и офицеры-окопники. Миссия генералитета — взять на себя ответственность за поражение, когда оно мутной волной накрывает страну. Далее. О «пресловутой цене». Давайте прикинем, сколько из того, что построено на энтузиазме и костях, досталось врагу или было взорвано при отступлении?! Экстенсивная индустриализация, с «великим переломом» человеческих жизней и судеб, не подготовила нас к умной и умелой оборонительной войне. Если готовились к наступательным действиям, и нас опередили, опять же генеральная линия оказывается кривой, бездарной. Цена — чудовищные людские потери, сказывающиеся по сей день.


Юр. Михайлов видит в Сталине недавнего революционера и актуального контрреволюционера (см.: [1, 130]), т. е. человека, все же идейного, притом трагически одинокого (см.: [1, 101]). Над одиноче-



ством, даже таким, иронизировать не стоит. Но и сочувствия оно не вызывает. Плати по счетам! Абсолютная власть есть абсолютное одиночество. Идейность и человечность (эти понятия для меня органично сопряжены) разглядеть в Сталине не могу. Решающий довод. (Козырять списком расстрелянных и сосланных не будем, оставим претерпевших в покое.) Находясь наверху, он не пресек, а допускал и поощрял практику доноительства среди граждан, т. е. цинично играл на слабостях людей. Добавлю. Он, конечно, не предавал революцию — просто потому, что не был идейно близок ни ей, ни социализму. (Это, кстати, подчеркивают, правда, в положительном разрезе, создатели многосерийного фильма о жизни вождя. Думаю, ближе к выборам его вновь запустят по общедоступному телеканалу.) Сталин — технический директор, генеральный менеджер государственного строительства безотносительно к его содержательному наполнению. «Если бы не было Сосо, то был бы Витте, почему Милюков и К° признали первого в конце жизни» [3, 47]. Либеральной формалистикой их не изболничить. «Сталинский» технократизм индустриальной эпохи, мимикрировав, успешно трансформировался в инструментарий господствующего класса информационного общества.

За образ Сталина, иконостасный или шаржированный, охотно проголосуют. Сомнений нет. Проголосуют те, кто по тем или иным причинам, порой непустяковым, остро нуждается в эффективном, пусть и неразборчивом в «мелочах», вспоможении. Таких в нынешней жизненной ситуации немало. И не только в нынешней. А если, действительно, закон «неуклонного роста потребностей» объективно функционирует, или усердно субъективно культивируется, нуждающихся в сторонней поддержке неизменно окажется подавляющее большинство. Сам человек не в состоянии справиться с бездонным, как выясняется, аппетитом. Социальная (не политическая) поддержка от алчущих компаньонов, по всей видимости, паллиативна. Круг замыкается на спасителе-инквизиторе, угаданном Достоевским. Проблему не снять в рамках банальной, профанирующей реальное положение дел, оппозиции «герой (критическая личность) — толпа». Герою-то, как раз, нужно больше других, у него волчий аппетит. Критик — всеядное существо, пожирающее в итоге самого себя. Вопрос должен ставиться об ответственной самостоятельности человека, ее онтологической возможности и предпосылках.

Почему Сталин не тронул Булгакова, морфиниста-белогвардейца? Потому что знал: писатель нуждается в вожде как в



главном, едва ли не единственно значимом, читателе и оценщике. От зависимых не избавляются. Их держат на расстоянии протянутой руки, или чуть подальше.

Как ни антипатичны власть предержажшие, главная претензия не к ним — с самому себе! Чертовщина не вовне — внутри, в самом человеке, в его сознании, «вовсе не в каком-то там маргинальном или же больном, а во вполне вроде бы здоровом, даже элитарном...» [1, 133]. Да, наверное. Точнее все-таки — в болезненной расколотости сознания, выдаваемой за норму и образец. Рассудочная рефлексия, взгляд на себя со стороны, есть культурно и научно узаконенная шизофрения. Она пленила и индивидуальную, и коллективную психику. Россия, шизофренически раздвоившаяся на красных и белых, — буйный тому пример.

Что оставалось и остается индивидууму? Решение автора «Реквиема»: «...посредством отречения от себя... обретать в себе... человека: как перед строгим и озабоченным ликом Божиим, так и перед подвижной и глумливой физиономией дьявола!» [1, 111]. Тут, признаться, не все ясно. Смущают не Бог с дьяволом — они привычно выступают (культурными) эпифеноменами противоречивого мира. Непонятно, зачем человеку пристально всматриваться в них: чтобы разглядеть концентраты добра и зла, крупницы которых он несет в себе? Но что это даст? Ну, посмотрел: на них и на себя в зеркало. Они — такие, ты — такой. Да и небезопасны опыты с зеркалами: слева грозит шизоидное двойничество, справа — параноидальный нарциссизм... Особенно же настораживает рекомендуемая процедура отречения от себя. Это трансценденталистский соблазн. Допустим, отрекся: вынес из себя все или часть человеческого. Что в остатке? Либо пустота — требующая заполнения чем-то новым (чем?) или возвращаемым старым, либо останки исходной человечности. Конечно, можно надеяться, что негатива в ней было меньше позитива, и, выбросив из себя все отрицательное, мы сохраним в себе хоть немного положительного, одного его. Однако вряд ли уместно говорить тогда об «отречении» и о «фундаментальном неблагополучии» земного бытия.

Впрочем, все это теоретические, интеллектуальные каверзы. По настрою же книга Юр. Михайлова, как и булгаковские «белогвардейские» повествования, нацелена на реставрацию человечности, на возвращение к человеку. Не абстрактному, даже не универсальному, а вполне конкретному и хорошо знакомому: выросшему на русской земле, воспитанному ее культурой и, по призванию и по профессии, пишу-



щему. К тому, кто не стесняется частого употребления союза «и», снимающего фаски с речевых фрагментов, и обилия апофатических оборотов с «не», освобождающих мысль от бинарных оков и превращающих проговоренное в недосказанное. Додумывай сам, приятель! Шевели мозгами!

Сильнейший онтологический тезис, содержательная изюминка текста. Жизнь не тотальна, она «зависит от неживого мира, который именно неживой, а не мертвый» [1, 231]. Жизнь «на то и жизнь, чтобы сопротивляться не только смерти, но и нежизни» [1, 398].

Не каждому придет в голову, что «вокруг нас метафизики все-таки поболее, чем физики, но не в объеме или в весе, а всего лишь в значении» [1, 532]. Причем не факт, что так оно и есть «на самом деле». И не факт, что к худшему. За письменным столом чего только не привидится. Известное дело. Для человека, держащего в ладони спелый колос или глядящего ею свежеобтесанную слегу, для мужчины, обнимающего женщину, предмет и смысл, физическое и метафизическое органично переплетены. Без всякого «больше — меньше».

За вычетом завышенных метафизических и трансценденталистских ожиданий — они-то, верно, и оборачиваются забвением жизни и проповедью апокалипсиса — русский словесник (скорее, все же, его чаемый образ) выглядит на страницах «Реквиема» реалистично и достойно. К «постлитературным» сентенциям автора не примкнем: настоящая литература, существующая с гомеровских времен, в трансцендузе не нуждается. А русский словесник, действительно, хотелось бы надеяться, не испытывает потребности «ни в обличительном разрушении (окружающего его. — А.Ф.) мира, ни в идеалистическом иллюзорном бегстве от него, ни в непримиримой борьбе с цинично приговоренным миром за счастливую его переделку, ни в самонадеянном личном суициде, ни в каком-либо показательном и неумном подвижничестве» [1, 13—14]. Он «зол, сильно зол, но уж никак не озлоблен...» [1, 82]. Его оценка реальности «не просто иронична и язвительна, не просто жестока, но и... справедлива, точнее, правильна...» [1, 86].

Он один, но не одинок. Даже с покровительницами искусств и наук следует держать ухо востро. Вот Мастер, мятущийся меж Воландом и Иешуа и пыгающийся соединить «ирреальную реальность с реальной ирреальностью» [1, 111]. Вот Маргарита, «скучающая здоровая дура, ищущая острых приключений, лучше, если любовных...» [1, 185]. Бойся не себя — остерегайся музы, к тебе приходящей! Ладно, попадет-ся натуральная стерва. А если с лесбийским капризом? Врагу не поже-

лаешь... Да, не джентльмен. Но ведь, вправду, “только матери святы”...» [1, 182].

Про любовь... Не приживается она в человеческом общежитии. И к лучшему... Прижилась бы, давно увяла. Любовь есть чудо, спасающее людей от падения в цинизм, от презрения к себе подобным.

И про Родину... Ловишь себя на мысли, что слово-то это произносишь с оглядкой: как бы с пафосом не переборщить... Вопрос, по сути, один. Остались ли силы, у нее и у нас, на сопротивление, на ответный удар? Россия — не злопамятная, но и безответная: хорошо, коли так. Подождем немного...

Нужен реалистичный миф — без идиллически-бесплодных рассказней о соборности и коммюнитарности. Где они? «...Людей не ценим, гениев гнобим, песни каторжные орем...» [1, 236]. Нужна жизненная идея. И даже если ее нашептывает черт из-за плеча, постараемся поголовски оседлать его.

Литература

1. *Михайлов Юр.* Реквием. Роман о романе, или роман с романом. Метафизическая проза. М., 2010.
2. *Фатенков А.Н.* Идиллия гуманизма и реалии человечности // Человек. 2009. № 4.
3. *Лифшиц М.* Что такое классика? М., 2004.

Н.Б. Шулевский *София, Реквием, Россия**

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
Ф.И. Тютчев

2010 год. В русском мире появилась «Вещь», которую невозможно не признать, но которая не признает и не допускает никакого определения, никакого смыслового прояснения своего содержания. Бо-

* Философия хозяйства. № 6. 2011. С. 239—267.



лее того, «Вещь» как будто поражает способность понимания у желающих проникнуть в ее смысловое ядро. Речь идет о творении Ю.М. Осипова (Юр. Михайлова): «Requiem. Роман о романе, или роман с романом. Метафизическая проза» (шрифты автора, ибо они тоже суть элементы чрезвычайной смысловой конспирологии «Вещи!»). «Вещи» дано сложное, «закрученное» и неудобозвучащее, название, странное для автора, владеющего уникальным, изящным, точным, краткоемким, объемным, хрустально светящимся художественным языком, сопоставимым с изобразительной магией русской литературы. В то же время этот язык соответствует строгим логическим, философским и научным канонам. Во всех работах Ю.М. Осипова тщательно продумано не только каждое слово, но и каждая буква, а что касается названий его книг, статей, семинаров, выступлений, конференций, то каждое из них доказывает правоту имяславия, исповедующего сакральную первичность слова-имени. Слову Ю.М. Осипова всегда присуща неведомая смысловая сила, ищущая плоть свою, а на-звания, имена его творений ищут дома для своих новых, рождающихся миров.

И вдруг такое отступление от самого себя, даже фамилия автора укрыта псевдонимом! Не случайно, вовсе не случайно такое многослойное, объемное и конструктивистское название, ибо только через подобное словесное обозначение можно намекнуть о тайне современного мира, донести весть о чем-то очень важном для России!

Автор данного текста несколько раз пытался написать рецензию на работу Ю.М. Осипова, но каждый раз нечто отталкивало его от исполнения этого замысла; уже появился ряд вдумчивых, заинтересованных, глубоких рецензий, но свой цельный смысл романа о романе так и не открывает. Нет, отдельные аспекты, стороны книги Ю.М. Осипова раскрыты, отчасти поняты, но вот композиция Целого и — особенно — смысловой мир его остается Terra Incognita. Постепенно пришло осознание, что на труды Ю.М. Осипова вообще невозможно писать рецензии, ибо это все равно, что измерять объем моря литрами, а расстояния к Солнцу — метрами... Но и молчать о его творческих деяниях нельзя, ибо сказано, что если замолчат говорящие, то камни станут наречиями... С текстами Ю.М. Осипова невозможно обращаться по своему произволению, ибо в них таятся не только смыслы и многомыслие, но им присуща и собственная непреклонная воля, которую нельзя ни сломить, ни обойти. За этой волей нужно только следовать, если мы хотим добра самим себе.



Выход я нашел для себя в жанре метафизического комментирования (метакомментирования), выражающего меру непонимания человеком того, что он комментирует. И непонимание это не исчезнет в ходе комментирования, а лишь прояснит смысл самой важной и тревожащей нас проблемы, которая обращается к нам из книги Ю.М. Осипова. Задача комментирования — найти самую главную проблему мироздания и через ее зияющие бездны пытаться строить мосты к смыслам, сокрытым в текстах, трудных, а то и недоступных нашему пониманию.

Творение Ю.М. Осипова не подходит даже под категорию «книги», ибо в ней дышит, мечется, рвется в жизнь некая стихия русского мира, невыразимая книгами. Поэтому «книга» Осипова состоит из книг и событий, сотворивших новую реалью, которую нельзя уже однозначно отнести ни к событиям, ни к книгам. И как множество связанных в целое элементов дает новое — системное — качество, так и множество книг и событий, ставших одной книгой, перерастают категории «книги» и «события», порождая новую текстобытийную реалью, которая властно утверждает свой канон жизни. Видимо, только такой синтетический и мистический жанр «книгобытия», или «бытия-как-книги», будет определять дальнейшее развитие литературы, науки, философии, искусства как нормальной деятельности Духа истины. Хотя, строго говоря, такой «жанр» уже давно открыт Священным Писанием, и называется он «Слово стало плотью». Творение Ю.М. Осипова доказывает, что бытием, действительностью в нынешние вывихнутые времена становится лишь такое содержание, которое одновременно живет в книгах, в реальности и в бессознательном. Поэтому классические каноны смысловых оценок, основанные на разделении этих трех сфер нового единого мира, сегодня уже не проясняют, а лишь затемняют дела человеческие.

Творение Ю.М. Осипова нельзя назвать литературно-художественным, философским, научным, мистическим, фантастическим, конспирологическим текстом, хотя ему и присущи все эти атрибуты; его творение нельзя назвать «романом», «сочинением», «исследованием», «трудом», «работой»; хотя и эти качества ему присущи; своими «перечислениями» и «поминовениями» оно напоминает соборную молитву народа о благополучном исходе нового рождения России. Творение Осипова не подчиняется никакому жанру, никакой предметной матрице, целиком завися от своей животворной тайны, пронизывающей и книгу, и ее создателя, и ее вдохновителя-заказчика, и ее непонимающих читателей.



Поэтому я назвал его книгу просто «творением», оставляя открытым вопрос о составе, количестве и миротворном статусе ее авторов. Почему? Современная разлетающаяся Вселенная (вместе с обезумевшими физиками из черной дыры) с восторгом воспевают свою гибель, свое ничто. Ю.М. Осипов, наоборот, стягивает дрейфующие части мира в единый смысловой космос, вырабатывающий внутри себя новое физически-вещественное тело. Творение — это всегда преобразование ничто (хаоса, отсутствия) в бытие; творение всегда несет в себе новый, неведомый миропорядок, прорываясь к истокам смыслов сущих и русских.

Появление такого творения — даже независимо от того, кто его автор — это знамение времени, говорящее о тектонических сдвигах мирового бытия, доступных не рассудку, а потрясению, озарению и священному вдохновению ума. Ю.М. Осипов обладает этими качествами в нужной мере, а потому он и смог уловить своим духом эти тектонические сдвиги, их первопричину, их перводвигатель, их русскую перспективу.

Итак, рецензии, комментарии и отзывы, соответствующие хотя бы отчасти смыслу нового творения Ю.М. Осипова, возможны лишь при условии знания и понимания объекта великого и той тайны его, которая инициировала это творение, сделала его возможным и в какой-то мере высказалась в нем. А до Ю.М. Осипова тайна этого объекта породила роман М.А. Булгакова, приоткрылась в нем, но роман оказался узким для нее и не вполне соответствует ее замыслу, а потому и непонятным для читателей.

Что же это за тайна? Не страшась обвинений в злоупотреблении слова «тайна», речь в творении Ю.М. Осипова идет о России, о русском мире. Именно Россия, ее загадочность, бытийные метаморфозы, ее тайна непостижимая, рвущаяся к полноценному бытию, является основным и единственным предметом размышлений, прозрений Осипова, его

⁶ Кто ты, Россия? Мираж? Наваждение?
Была ли ты? есть? или нет?
Омут... стремнина... головокруженье...
Бездна... безумие... бред...

Все неразумно, необычайно:
Взмахи побед и разрух...
Мысль замирает пред вещью тайной
И ужасается дух. (М. Волошин)



научно-исследовательской и философской программой, его софийной методологией, его первым и последним словом, переходящим в Слово, знающее только продолжение в свете вечного Воскресения. Элементы нового творения Ю.М. Осипова прослеживаются уже в его же столь же чарующих книгах «Постижение России», «Иное»; эти книги по сути уже прокладывают путь к миру, представшему в романе о романе.

Все сложности в постижении нового творения Ю.М. Осипова коренятся именно в трудностях понимания России. Сколько заморских мудрецов, сколько любящих русских умов трудились и трудятся над познанием России, а все завершается лишь углублением ее незнания. Хотя через сказания об Ином, Инонии (С.А. Есенин) Россия в роковые мгновения шлет вести о своих решениях софийных сущим поселянам своим...

Кажется, о России уже высказан весь спектр мнений — от «Святой Руси» до «империи зла». Но бытийный смысл России так и остается тайной, скрывшейся вместе с Градом Китежем. Каждый раз познание России завершается составлением программ новых реформ и текстов новых капитуляций. Россия так и остается Сфинксом истории, искусом, тайной бытия, ждущей владыки ее потаенного смысла. И сегодня Россия — самая непонятная, самая непостижимая, загадочная и самая непредсказуемая страна, в которой вопреки всякой энтропии, разгулу беззакония, inferнальности и маразма зарождается какое-то скрытое, неведомое, антропологическое, культурное и социальное и даже можно сказать — метафизическое — существо. И у существа этого, похоже, не будет никакого милосердия и снисхождения к нынешним хулителям и разорителям России.

Нужна Господу Россия для каких-то миротворных целей, которые откроются тогда, когда закроются все супермаркеты Запада, ставшие его храмами. Ведь не случайно Россия возникла во времена, когда вектор мирового развития уже однозначно определился в пользу вещественно-товарного евромонотеизма, что и предопределило последующее отречение европейцев от христианства, заключения ими союза с Мефисто, и, как итог — отречение от самих себя, от своей расы. А Русь возникла как память и весть о жизни иной, как альтернатива европейским и восточным перспективам жизни. В Руси зарыта правда идеальных ценностей, которые и стали софийной детерминацией, основным мотивом русской жизни, скрытым во многом от самих же народов русских!



Для Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина, Н.В. Гоголя и многих других поэтов, святых, воинов, летописцев, создателей былин Россия есть неведомая и остающаяся не раскрытой сакральная реальность, особый священный мир, который недоступен рассудочному, техническому уму, науке. И даже христианская мудрость православия не охватывает всех глубин и смыслов русской субстанции: Россия была и до православия, и вне православия, как и православие существует вне и независимо от России. Православие не смогло предотвратить антихристианские эксцессы, последовавшие за 1917 г., именно в силу непонимания особой провиденциальной и уникальной сакральности России, которая не только страна, но и неведомая религия⁷. Не Россия — часть православия, а православие — часть неведомой сакральности России, часть неведомой религии, именуемой Россией! Вот в чем коренной вопрос антихристианских эксцессов: в них не только крушили православие, а посредством этих чудовищных акций шел поиск целостной сакральности России, поиск России как сакрального царства. Этот мотив понял и выразил А. Блок: в поэме «Двенадцать» сам Христос во главе большевиков ищет царство христианское! Те же мотивы составляют основу творчества А.П. Платонова, К.С. Петрова-Водкина; те же мотивы инициировали евразийскую идеологию; да и сама Россия живет-то этой своей софийной верой. В этом плане Россия является не только носителем и хранительницей православия, но сама Россия, сама русскость — некая неведомая сакральная субстанция и неведомая религия, неведомая вера, несущая в себе и неведомое Откровение⁸. Связана ли эта потаенная са-

⁷ Даже такой фанатический враг России, как Маркс, считал, что Россия не столько страна, сколько вера, которой он боялся больше своего религиозного невежества! И, создавая идеологию коммунизма, принося ей в жертву даже самого себя и свою семью, он и не подозревал о том, что он работал как раз на эту неведомую Веру-Россию!

⁸ На административном здании Православной Церкви в Софрино воздвигнут необычный призыв: «Святая Русь! Храни веру православную!». Следуя общей логике взаимоотношений России и православия (религии и народа вообще), призыв должен звучать иначе: «Православие! Храни Русь Святую!», ибо религии должны спасать и хранить народы, а не народы — религии! Но софийная мудрость Церкви не ошиблась и в «мелочи», допустив и признав, что сакральность России глубже, фундаментальней даже веры православной, для которой Россия — одна из стран, принявшей православие и служащей ему. Русское самосознание убеждено, что Россия нужна Богу для решения каких-то неизвестных, но важных задач, и помимо православия, которое через Россию тоже участвует в этом неизвестном сакральном проекте. Поэтому православие и



кральность России со Вторым Пришествием Спасителя, мы не знаем, но знаем, что именно в России София Премудрость Божья воздвигнет свой Дом, свою софиократию!

Именно эта потаенная сакральность России не позволяет мысли определять содержание России стандартной логикой, ибо сакральное определяет и логику, и своих определителей, а не наоборот. И потаенная сакральность России оказывает скрытое воздействие на мысль врагов и друзей России, ее безразличных насельников и корыстных сребролюбцев. И по этой вере в сакральную Россию возрадуются всем русским и не русским.

Когда о России мыслят враги, они неизбежно кончают полным умопомешательством. Наполеон, Гитлер — яркие тому примеры; генштабисты этих гениев Европы и США с точностью до дней рассчитали, когда они завоюют Россию. Но русский фактор не только спутал их планы, но и лишил их головы. Вот и сегодня ЦРУ высчитывает на математических моделях с применением современных компьютеров срок, когда Россия исчезнет с карты мира. Ой, не высчитывайте, да не сочтенными сами будете! Ну, а о прочей однодневной русофобской мошкаре и говорить не стоит.

Когда о России думают безразличные к ней люди, то они становятся Смердяковыми. Ф.М. Достоевский доказал, что неприятие России, ненависть к ней вытекают из глубокого метафизического неприятия ее сакральности и своего рождения в ней. Если для человека неприемлема Россия, это означает, что еще раньше этот человек стал неприемлем для бытия; вот он и возмещает свою всеясветную неприкаянность злобой, ненавистью и отрицанием⁹. Поэтому Смердяков гордо заявил: «Я бы дозволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы на свет не происходить вовсе-с». Ну, а поскольку с его желанием не посчитались, то он почему-то мстит за свое рождение России: «Я всю Россию ненавижу». Таких особей немало в России и за ее пределами; и все они за свою нежеланную рожденность, следуя Смердякову, мстят или мечтают о мести России. Они патологически ненавидят Россию за то, что она позволяет им жить. Есть, есть и такое!

считает себя частью России, хотя во вселенской религии все страны могут быть лишь ее частями.

⁹ Видимо, не всякое «ничто» годится для целей творения; видимо, есть ничто, осужденное на вечную ничто-жность, которая проявляется в людях типа Смердякова, жаждущих быть убитыми. Для них естественнее быть мертвыми, чем живыми!



Когда о России думают корыстные, «соросо-бжезинские» люди, то от страха они не находят себе места на Земле и строят атомные убежища, не сознавая того, что роют-то они ходы в Преисподнюю, стремясь попасть туда вне очереди!

Но когда о России думают любящие ее горячие сердца, жизнью своей верующие в ее правду, то они становятся святыми, прозорливцами, пророками особого рода, посланниками Слова ее потаенного, просто мудрыми людьми, видящими Россию как цельный мир в единстве его известных и неведомых, неосуществленных состояний! Именно такие люди имеют софийное право мыслить о России, ибо это — величайшая честь и ответственность, высочайшая награда бытия бытийствующим. Брат Ю.М. Осипова заметил, что «думать о России — удел князей!». Князей не только власти, но и князей мысли, князей, достойных своего софийного звания!

Выявление подробного метаконтекста необходимо просто для того, чтобы приблизиться к смыслу творения Ю.М. Осипова, создать хотя бы его комментаторский набросок, узреть хотя бы его смысловой силуэт.

Ведь именно мнимо изученная и мнимо постигнутая, хотя истинно оболганная, и все же потаенная сакральная Россия приоткрыла Ю.М. Осипову свои духовные, смысловые, софийные, inferнальные сокровища, позволив ему в определенной мере явить себя современному миру накануне его провиденциальной, а для Руси — грядущей софийной трансформации, заложить первый камень ее спасительной и спасающей софиократии. Творение Ю.М. Осипова выводит из мрака и хаоса падающего глобализма неопределенный новый мир, в котором вызревает новое русское человечество. Он несет весть, охватывающую возникающее прошлое, исчезающее настоящее и растерянно блудящее будущее: именно поэтому для сообщения такой вести наиболее подходящим оказывается созданная им уникальная текстореальность, в которой скорбь встречается с надеждой, переходя в радость волнующей новой встречи...

В новом творении Ю.М. Осипова русский дух поднялся и взлетел в наивысшие сферы небесных, занебесных, запредельных смыслов Иного; но этот взлет потребовал и проникновения в запредельные глубины мрака, порока, мерзости и подлости владыки Преисподней. Это проникновение в запредельные сферы мироздания позволило Осипову создать самый уникальный контекст, метаконтекст самой истины. Такой метаконтекст неведом мировой художественной литературе, мировой фило-



софии и науке; в этом контексте можно исследовать сакральный оригинал России, ее феноменальные метаморфозы. Творение Осипова по целостности охвата мироздания можно сравнить, пожалуй, лишь с творениями Ф.М. Достоевского, который является основателем жанра метафизической прозы, дающей возможность высказаться всем, кого Господь сотворил, допустил к бытию и до поры до времени терпит. Но сегодня именно Ю.М. Осипов является в наибольшей мере сознательным носителем и выразителем той неизвестной сакральной субстанции, которой мы дышим, неосознанно, по привычке, называя ее Россией.

И требуется фантастическая напряженность самой жизни, чтобы обозреть целостность этого контекста, держать его постоянно в уме, дабы он мог читать и понимать познаваемые реалии. Творение Ю.М. Осипова становится спутником, мучением, загадкой и утешением нашей жизни, ибо в нем мы видим самих себя мучением, загадкой, попрощайкой и проклятием Господа! В этом творении мы видим себя и клономатериалом для дьявола, и предметом ненависти «евриканцев», и питающим веществом власти, и самоуничтожающими себя тварями. И над всей целостностью творения Ю.М. Осипова витает дух героической торжественности победителя — Неизвестного, действующего посредством Софии и России.


Открытие 1. Именно потаенная сакральность России определила тройственный мирострой творения Ю.М. Осипова (автор — М.А. Булгаков — Россия). Именно потаенная сакральность России одаловила автора особым — реквиемным — языком, ибо только такой язык может выразить величайшую скорбь прощания с Россией уходящей, с Россией советской, федеративной и демократически нежизнеспособной. Русь сворачивается в семя софийное, чтобы прорасти новым плодом. В то же время только язык реквиема дарит нам невозможную встречу с Россией софийной, возникающей из крови всех ее безымянных героев, принесших себя в жертву ее правды, всех ее защитников и радетелей.

И этим незримым реквиемным излучением потаенной сакральной России творение Ю.М. Осипова просвещает, просветляет, несет, раскрывает нам некое сакральное послание от софийной России. Он очень, очень много знает и понимает, о многом говорит нам шепотом, о многом плачет, о главном молится; и эта молитва неистощимая тревожит нас, лишает нас покоя, принуждая нас не просто быть, а софийно размышлять о России, ибо большего блаженства человеку не дано испытать на Земле.



Именно потаенная сакральность России предопределила архитекtonику творения, представшего у Ю.М. Осипова как всеясветный сакральнй и «демократичнейший» Собор, на котором получили право высказаться по главным вопросам бытия все миротворные субъекты и чины, все авторы и анонимы, все существа, обладающие хотя бы призрачным существованием, все сущие силы творящие, грезящие, грозящие, вредящие, губящие и не ведающие смысла своих деяний.

Бог, дьявол, человек, писатель, власть, братья-каменщики, демоны, разум, наука, экономика, ангелы, Христос, Иуда, Сталин, женщины известные и неизвестные, война, философия, София-мудрость, призраки, «евриканцы», взрыв СССР, реформы, роман, Неизвестное и т. д. Обо всех этих существах, реалиях написано и рассказано немало. Но странное явление! Когда эти существа и реалии рассматриваются, изучаются сами по себе, в своих автономных сферах, они быстро исчерпывают свои смыслы, становятся неинтересными, вызывают раздражение. Даже благочестивые искренние размышления О Боге и его мудрости и делах незаметно порождают скуку, отторжение. Ну да, Он мудрый, все знает, все умеет, все может... да, а почему же не исправляет зло? А вот когда Бог рассматривается в соотношениях с творениями своими, с дьяволом, когда творения ставят перед ним вопросы о смысле детских страданий, вопросы о том, зачем Он допустил других богов, дьявола, если заранее известно, что человек не сможет различить среди них Его, Истинного? Вот тогда Бог встает во всем своем грозном смысле, и люди начинают понимать, что без Его мудрости человек не имел бы даже той скверной, грешной жизни, на которую они постоянно жалуется Ему. Есть масса книг о демонах, об ангелах, о дьяволе и бесах, но они скучнее даже детективов Агаты Кристи, которые человек придумал, только чтобы не слышать о сакральном. А вот когда ангелы и бесы взяты в контекстах исследования сознания, души, бессознательного, в контекстах СМИ и преступности, эти коровьевы и бегемоты становятся интересными и даже привлекательными. Более того, изобилие публикаций даже о Сталине, Гитлере делает их банальными и скучными персонажами. А вот в контекстах оккультизма, конспирологии, власти, пороков человеческих эти роковые фигуры оживают и начинают вести с нами разговоры об устройении новых мировых побоищ, без которых человек выродится и слиняет быстрее, чем его доконают войны. А писания о братьях-



каменщиках вообще тошноту вызывают своей тривиальностью и просто глупостью¹⁰.

Величайшая заслуга, духовный подвиг Ю.М. Осипова состоит в том, что он сумел создать такой уникальный смысловой контекст, такую смысловую целостность, в которой даже мелочи (скажем, курение сигары каменщиком) становятся интересными, говорящими деталями. Эта смысловая целостность делает своими органами все существенные события, все значимые фигуры и натуры. Без этого целостного контекста, задаваемого потаенной сакральностью России, нельзя понять ни творение Ю.М. Осипова, ни исследуемые, изображаемые в нем реалии.

И только после контурного обозначения метаконтекста творения Ю.М. Осипова можно вменяемо обсуждать его «частные открытия», которых ждут жаждущие правды умы, алчущее света сознание, торжествующий русский язык, предвкушающий богатейший и пышный урожай сладостных смыслов, исцеляющих страдания людские волшебством своего понимания.

Открытие 2. После воссоздания сакрального метаконтекста России вторым важным открытием творения Ю.М. Осипова является анализ сути и смысловой матрицы романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», выявление алгоритма жизнедействующей его inferнальной силы.

Во-первых, софийный анализ романа М.А. Булгакова является уникальной литературоведческой инновацией (вообще-то, нужно сказать шедевром, ну, так и быть, сделаю уступку безумию времени!); без учета которой любое филологическое исследование будет неполноценным и малопродуктивным. Ю.М. Осипов открыл смысловую, поликратическую матрицу романа, макро- и метастроение всяческого романа, который должен выступать своеобразным ящиком Пандоры, имеющим три потаенных дна: небеса Софии, казнь Христа, Судный день.

М.А. Булгаков своим романом века открыл нечто, не зная что, принес смыслы, неведомо какие. В творении же Ю.М. Осипова дано

¹⁰ Ю.М. Осипов довел до нашего ума и сознания крайне важную истину. Если наука, экономия, философия, книга, человек и другие явления неинтересны, вызывают скуку, то это указывает на то, что они потеряли свой естественный смысловой контекст и постепенно разрушаются, отдаляясь от ума-разума. Скука — предпоследний шаг в никуда. Поэтому прочитать творение Ю.М. Осипова должен каждый, кого заботит судьба его же собственного ума и сознания, рвущихся к неизвестной сакральности России. Ведь и Ум, и Сознание самого Бога любят больше всего неизвестное в самом Боге!




Открытие самого Открытия, суть самого Открытия, которое заслуживает это сакральное название только после обнаружения софийных смыслов изучаемой реальности и после закрытия всех реквиемных и апокалипсических ходов мысли.

М.А. Булгаков изобразил всадников апокалипсиса на марше, не зная их конечной цели, их судьбы. А в апокалипсическом суде решается именно участь дьявола. В творении же Ю.М. Осипова проявляются первые плоды апокалипсиса, судящего уже сам апокалипсис, самосуд дьявола над собой, своего рода контрапокалипсис, разделяющий зерна и плевелы уже скошенного человеческого вольнодумства. И зерна эти прорастают софийной перспективой человечества. Все революции завершаются контрреволюциями, в которых революции казнят самих себя, чтобы спасти свой плод.

М.А. Булгаков начал свой роман с приезда дьявола и закончил его отъездом дьявола в никуда. Поэтому в романе М.А. Булгакова не умолкает гул реквиема, отправляющего на покой... без света праведников дьявола — Мастера, ненавидящего весь мир, и ведьму. Ю.М. Осипов начинает, продолжает и кончает свое творение с животворного молитвенного контакта с Софией Премудростью Божьей, для которой все эти Воланды со своей свитой, все эти Мастера со своими Маргаритами, все их проблемы являются просто следствием их глупости, их непонимания софийности мира. Творение Ю.М. Осипова начинается с находки малой неизвестности — рукописи романа, и завершается молитвой о России, которая становится Великой Неизвестностью людей, самой себя, смерти и... самого Господа. Эта Великая Неизвестность, совпадающая с Россией, страшит даже смерть, вынуждая ее волноваться о своем будущем. Поэтому в творении Ю.М. Осипова дана судьба самого реквиема, реквиемного мира, на смену которому идет и придет, неизбежно придет мир софийный и русский. А пока «мы должны делать так, чтобы никто ничего не понимал. В этом наша сила и отсюда наш шанс» [1, 544]. Ибо Россию всерьез никто не воспринимает! И не может воспринимать по неведомой никому причине.

Роман М.А. Булгакова чарует, влечет нас неведомой правдой лунного света. Почему писатель предпочел все же лунное сияние солнечному свету? Дело не только в изображаемых им inferнальных персонажах, для которых лунный свет естественный. Во времена написания романа М.А. Булгаков ни в кого и ни во что уже не верил, никого и ничего не признавал в качестве высшей правды. Не верил он в Бога, не верил и в Воланда, не верил в человека, не верил в силу власти и Стали-



на, не верил в природу и в творчество! Но без веры жить нельзя, ибо жить — значит верить во что-то (Л.Н. Толстой).

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли. Ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна...» [2, 394]. В этих словах весь М.А. Булгаков, все его тайны. Писатель устал от жизни, которую дал ему Господь, и устремился к призрачной жизни, обещанной дьяволом, но остановился на вере в неверие!

Это удивительно, ибо его все же опекала и хранила судьба, гонениями и притеснениями направляя и вдохновляя его творчество. Ева, не зная своего райского блага, почему-то поверила змию лукавому. М.А. Булгаков, не веря ничему, не веря даже своей избранности, в итоге все же приклонился к тому же змию лукавому, ставшему у него призракoм Воландом, который на балу подымает бокал, сделанный из головы атеиста Берлиоза, за здоровье бытия райского, хотя ему туда вход закрыт навеки.

И какие парадоксы! М.А. Булгаков жаждал веры, но не знал, зачем она нужна людям, живущим и без веры! Но абсолютный скепсис позволил ему постичь силу, знания дьявольские, но в то же время обнаружить и его бессилие в решении коренных вопросов смысла жизни и творчества? Ради чего жить и творить? Чтобы кончить прыжком в бездну или получить вечный покой с ведьмой? И М.А. Булгаков нащупал какой-то проход между бытием и ничто, между верой и неверием. Он тайно и страстно поверил в свое неверие и до конца жизни искал предмет-исток этого неверия, то Неизвестное, что действует как в вере, так и в безбожии, как в жизни, так и в смерти, как в бытии, так и в его призраках. И этот поиск реальности Неизвестного не завершен и поныне; этот поиск угрожает всем победителям, даря в то же время шанс всем побежденным!

Труд Ю.М. Осипова — уникальное, не имеющее аналогов, творение мировой культуры. Истолкование, разъяснение, осмысление романа М.А. Булгакова по набору действующих персонажей, по массе и масштабу охваченных событий, по многообразию реальных и смысловых связей оказалось богаче, глубже, конкретнее интерпретируемого романа. Обычно даже самые совершенные и непревзойденные литературоведческие работы все же существенно уступают изучаемым оригиналам



просто потому, что они вторичны. А здесь вторичное, по сакральному закону, превзошло первичное, достроило, раскрыло, обогатило и модернизировало оригинал, выявив его реальные движущие и конструктивные силы. Роман о романе Ю.М. Осипова даже в чисто литературном, детективном, художественном плане сильнее романа М.А. Булгакова своей сакральной чистотой, возвышенной правдой, пониманием правоты дьявола, его силы и его роковой обреченности. Ю.М. Осипова не влечет лунный свет и люди лунного света; если при Солнце не виден путь, то при Луне вряд ли он станет виднее. Но главное — в творении Ю.М. Осипова чувствуется, дышит софийная и хозяйственная перспектива, выход из тупиков экономизма, финансизма, атеизма, инфернализма, конспирологизма и милитаризма.

Во-вторых, Ю.М. Осипов превратил роман М.А. Булгакова в уникальный и мощный метод целостного постижения мира, человека, власти, их конечных устремлений. Началу такого использования творчества великих писателей положил В.И. Ленин, сделавший творчество Л.Н. Толстого методом изучения чаяний крестьянских масс того времени. И Л.Н. Толстой оказался великим Учителем революции, у которого даже профессиональные революционеры набирались ума-разума! Ю.М. Осипов пошел этим путем Ильича дальше, и для него сама революция стала лишь фрагментом мировой конспирологической сети, которая, в свою очередь, является средством софийного миропонимания, смысловым органом истины и России.

Тайны и загадки романа М.А. Булгакова в творении Ю.М. Осипова раскрываются апофатическим методом раннехристианской мысли, победившей даже Платона и Аристотеля тем, что мрак, отчаяние и тайны человеческой жизни были рассмотрены в контексте еще большей тайны воплощения Спасителя в человеке. Тайна Бога так и осталась тайной, но человечество обрело просветляющую и проясняющую перспективу своего бытия. Есть проблемы, которые решаются и понимаются лишь в контексте еще более сложных и непостижимых проблем. Ум человека работает лишь в контексте окружающей, питающей и превосходящей его благостно неразумной стихии. Да и знания любые человеку тоже доступны лишь в контексте незнания, которое не переводится на язык знания, а доступно только любви и России. Человек вообще может нечто познавать, понимать, выражать и решать лишь при опоре на трансцендентность непознаваемой, непостижимой, невыражаемой, неразрешаемой реальности.



В-третьих, Ю.М. Осипов открыл, раскрыл нам с неотразимой убедительностью, что роман М.А. Булгакова больше чем роман. Творение загадочного Мастера, являясь продолжением, изображением русского бытия, в то же время его активный демиург, тайный проект и скрытая матрица его социокультурных и геополитических трансформаций, неведомых инфернальных экспериментов, о чем и не подозревают почитатели, читатели, знатоки и жертвы романа, служащие материалом этих экспериментов и трансформаций. Соответственно и роман с романом Ю.М. Осипова тоже своеобразно продолжает эти демиургическую традицию.

Романы Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, воздействуя на мир своими скрыто христианскими мотивами, богатством и полнотой представленной в них жизни, художественным мастерством, в целом все же остаются романами, чистой литературой и не нарушают ее святых канонов.

Иное дело роман М.А. Булгакова, в котором Ю.М. Осипов своим смысловым скальпелем вскрывает черный алгоритм действия в России инфернальных сил Преисподней. Поразительно, насколько «перестройка-катастрофа», разрушившая СССР, соответствует этому алгоритму романа, ставшему не просто соучастником превращения России в криминальную федерацию, но и самым активным инфернальным инициатором этой катастрофы. И не столько сам роман как литература, а роман как особое бытие, в котором инфернальные силы создали плацдарм для атак на Россию. Увы, мы распознали этот черный алгоритм слишком поздно... Нужно запомнить этот урок на будущее, ибо алгоритм мрака запущен.

Но М.А. Булгаков творил свой роман не для литературных критиков, исследований, не для славы и почета, ибо к этому времени он уже вкусил дары муз и связанные с ними «неудобства». Большой роли слава и почет для него уже не могли иметь, хотя он и не отрицал их значимости для творца. Он даже не рассчитывал на массовую аудиторию, понимая, что инфернальные сюжеты доступны и безопасны лишь для немногих. Он творил для избранных, способных понять его вещь и помочь остальным людям увидеть новых персонажей, проникших в их жизнь. М.А. Булгаков писал свой роман для того, чтобы донести определенную вещь для власти, воплощенной в то время в личности И.В. Сталина. Эта вещь уже вкратце была заявлена эпитафией, взятой из «Фауста», в котором Мефисто представляет себя немецким интеллектуалом: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совер-



шает благо». Весть-то гласила: Европа, отрекшаяся от христианства, вынуждена была заключить пакт с дьяволом. Пробовали-де жить с Христом, но ничего хорошего не получалось; нужно теперь устраивать свою жизнь по канонам дьявола-Мефисто, который любезно согласился двигать научно-технический прогресс, совершенствовать рабство, обещая и власть над миром. Поскольку Россия, свершив атеистическую революцию, тоже устремилась по пути науки и прогресса, то и ей никак не обойтись без определенного содействия дьявола. Нужно только придать ему приемлемый для русской интеллигенции облик. Нужно осознать, что в современном мире без содействия дьявола человек может творить лишь войны и революции, а не новые формы жизни. Но нужно осознать, что созданное с помощью дьявола очень быстро само по себе разваливается. С Богом не хочется и не можется жить по правде, а с дьяволом получается бесконечный тупик. М.А. Булгаков, судя по всему, принял за чистую монету слова Мефисто о том, что он часть силы той, что желает всему зла, творит все же благо. Сомнительный фокус! А чем занята остальная часть этой же силы? Желает зло и творит зло? Или, желая блага, творит зло? Мефисто просто-напросто перехитрил Фауста и М.А. Булгакова, предложив формулу-крючок с наживкой червяка-добряка. Мефисто этой формулой поставил даже добро, соблазненное его услугами на пользу злу!

М.А. Булгаков по неведомой нам причине не видел или не принимал софийный совет Христа, требовавшего быть мудрыми как змии и простыми как голуби. Христос призывал изучать, знать искусство дьявола, но использовать его для брани с лукавым и во благо жизни, как это давно делает человечество, приготавливая из змеиного яда сильнодействующие лекарства.

И вот эту безвыходную антиномию человеческой жизни, изящно, с иронией запрятанную у М.А. Булгакова, Ю.М. Осипов выявил во всей ее трагически суровой безнадежности. Но сам Ю.М. Осипов в своем творении намекает о перспективе Иной, связанной с софийными основаниями русского бытия. Поэтому в итоге творение Ю.М. Осипова глубже, интересней романа самого М.А. Булгакова, ибо он приемлет и блестяще использует прозрения, познавательные возможности Воландов и демонов как орудия софийной мудрости во благо русской жизни, а не прислуживает им.

М.А. Булгаков из данного мрака жизни идет в еще больший мрак Преисподней, в царство дьявола, антихриста и демонских ратей. И что ж? Вечер в отношении светлого дня является мраком, но в отношении




ночи он сам выступает как нечто светлое и полезное, нужное и ценное. И Воланд со своей свитой выступает как положительный, полезный и необходимый класс в деле устройства греховного человечества при лунном свете. М.А. Булгаков не знает и не верит в самосуший свет, не видит в нем никакой перспективы; для своих сакральных, земных, криминальных, инфернальных персонажей он допускает в своем романе только лунный, вторичный, демонический свет, а Царство Божие обретает реальность в психиатрической лечебнице или в фантазиях ведьм. Поэтому от романа М.А. Булгакова несет какой-то тошнотворной умностью, устраивающей отхожие места по евростандартам.

Ю.М. Осипов высветляет призрачность воландов и его свиты софийным светом, преодолевая их ведение софийной мудростью, сокрытой в потаенной сакральности России, а потому он идет от мрака, к свету самосущему русскому. Отсюда и мягкая снисходительная тональность его творения даже к инфернальным персонажам, которые почему-то начинают оправдываться перед ним, чуть ли не каяться (см. «Демон»).

Открытие 3. Важнейшим «системо- и целостнообразующим» началом-открытием творения Ю.М. Осипова является проблема соотношения власти и художественного творчества. В личностном плане эта проблема предстала как взаимоотношение Сталина и самого Булгакова. Анализ их явного и неявного, метафизического общения — смысловой самородок творения Ю.М. Осипова. Вообще, анализ, исследование феномена Сталина в его творчестве заслуживает отдельного диссертационного и монографического исследования, но всему свое время.

М.А. Булгаков был очень (!) нужен Сталину; благодаря опеке вождя писатель и уцелел в беспощадных челюстях чрезвычайек Кроноса, обладая неслыханной свободой, издаваясь в 1928 г. над самими пролетариями («Собачье сердце»!!!) Но и М.А. Булгакову нужен был Сталин, ибо только такая личность могла вдохновить писателя на реализацию его замысла — изображения деяний самого дьявола в России.

Различными фактами, смысловыми намеками, специальным текстом, созданным для этой опасной цели, Ю.М. Осипов показывает, что М.А. Булгаков и И.В. Сталин в равной мере решали одну и ту же задачу — на кого и на что можно реально и духовно опереться в обезбоженном мире, ибо смертное (неожиданно смертное!) существо не может быть опорой для самого себя. Что можно построить без Бога? Только социализм! Что можно сотворить в литературе без Бога? Только сатанизм и демонизм! Для Сталина и Булгакова эти варианты неприемлемы,



да и реально они невозможны вопреки массе жертв, принесенных на псевдоалтари этих проектов. И они искали — каждый в своей сфере — выходов из этих мировоззренческих тупиков, невидимо взаимообогащая друг друга своими прозрениями.

Вождь нашел выход в сталинизме, составной частью которого стал социализм, который быстро набрал мощь и еще быстрее внезапно рухнул, лишенный сталинской компоненты. М.А. Булгаков нашел выход в демоническом криминализме, частью которого стало художественное творчество, мастера, а частью этого творчества и этих натур стал изошренно примитивизированный Христос. Вывод напрашивается сам собой: Сталин — это Булгаков, реализующий свой проект в политике, а Булгаков — это Сталин, реализующий свой проект в литературном творчестве. Они всегда, были рядом, не приближаясь к опасной черте, за которой неизбежен взрыв, ибо соединение политика и художника губит обоих. А дьявол сам себя губит. Поэтому Сталин заставлял одних волков уничтожать других, чтобы люди могли спокойно трудиться. В те времена людей-волков или революционеров, было слишком много, и другого пути, кроме авторепрессий, не было.

М.А. Булгаков предупреждал своим романом о том, что возникает крайне необычная, театрально-зрелищная и конспирологическая, опасная и авантюрная то ли реальность, то ли нереальность с логикой и магией. И эта новая реальность уже не подчиняется социальным и культурным институтам, государству, традициям, финансовым органам, идеологиям, даже обычаям повседневной жизни. Против Воланда и его свиты все управленческие институты жизни, сознания, ума, души и языка уже не работают или же работают наоборот. Да, они вроде и сохраняются, функционируют, но в них вселяется и через них действует уже иная, inferнальная, дьявольски адаптированная воля Преисподней. Сильные хитрые органы становятся бессильными, их одурачивает даже кот простой ученый. Театр стал институтом коллективной магии и гипноза, деньги бытуют сами по себе, создавая свой реально-ирреальный мир. Чудовищную власть обретают психиатрия, ее институты, террор псевдомузыки и гнусных развлечений становится нормой, сообщество литераторов («совести нации») вырождается в шайку бройлерных паразитов Массолита. А бесы и демоны inferнального мира на законных основаниях становятся гражданами этой новой реальности. Странно, что свита Воланда испугалась лишь креста кухарки; крест грозит и может сорвать все мероприятия свиты Воланда! Вот тебе и всемогущий!



Но самое захватывающее впереди. В итоге анализа взаимоотношений Сталина и Булгакова Ю.М. Осипов переводит их коллизии в современную эпоху, ибо их спор, их противостояние, их метафизический союз содержит в себе неразгаданную и непостижимую тайну России. Союз их кровный, не случайный, и только в роковые дни своей неразрешимой тайной, нас увлекают их дела и дни.

Так вот, комментатор не может никак избавиться от видения: в творении Ю.М. Осипова снова и снова заявляет о себе та же проблема соотношения власти и художника, проблема, которая сделала Сталина — Сталиным, а Булгакова — Булгаковым. А видение весьма логично прижимает комментатора к стенке: ведь творение Ю.М. Осипова живет и держится ожиданием нового, нет, не Сталина, нет, не Инквизитора, нет, не Диктатора, нет, не Терминатора, а истинного царя — Софиократора. Да, именно так — Софиократора! Этот неведомый, но уже рожденный, и уже идущий к нам царь подчинит диктатуру, терминатуру, инквизиционатуру, сталинатуру благу жизни осмысленной. Если есть Булгаков, то будет и Сталин; если есть Сталин, то неизбежен и Булгаков. Нетрудно продолжить эту провиденциальную цепь зависимостей, не нами созданную, не человеком придуманную... Если такому роману соответствовало появление такого же властителя, то такому роману о таком романе, должен соответствовать и такой же властитель над властителями! Иначе не было бы романа о романе, в котором грядущая софиократия именуется себе монократией, центрократией, а Софикратор предстает как Монократор или Центрократор!

И произойти это может, да и произойдет лишь в России, рождающей сегодня этого Софиократора. Такие творения, как роман о романе Ю.М. Осипова, появляются не случайно, а в те времена и в тех местах, когда их Главный «Читатель» уже на подходе. Какой социально-политический облик примет этот властитель? Можно предположить, что... но нет, лучше пока промолчать, чтобы не навредить... Не случайно на балу у Воланда среди призраков оказалась одна реальная фигура — Малюта Скуратов! Да, опричников даже Преисподняя не берет!

Кстати, в творении М.А. Булгакова сам Воланд предсказывает, что роман еще принесет Мастеру сюрпризы, но утешает, что ничего страшного уже не будет, а о том, что именно будет, умолчал. Надо полагать, что этот прогноз inferнального интеллектуала переходит по наследству и в творение Ю.М. Осипова, которое прямо-таки обязано исполнить его нестрашный прогноз. Воланд точно знал, что России после социализма и демократического криминализма предстоит последняя



метаморфоза. Но слово «София» дьявол не может выговаривать, ибо оно лишит его главного орудия — знания зла. А это слово есть первый и последний творческий глагол России в ее движении к самой себе, точно также, как Россия есть страна, в которой София воздвигает Дом своей Премудрости.

Сталин в контексте творения Ю.М. Осипова необычайнейшая и сложнейшая личность; он делает руками зла новое зло, но он же делает теми же руками зла и добро, хотя оно вскоре снова возвращается к своим истокам во зло. И знает Сталин это inferнальное коварство, но не делать того, что он делает, он не может. И поэтому, отсекая от Сталина зло, мы губим вместе с ним и сотворенное им добро (например, метро и новый МГУ); а принимая его добро, нам никуда не деться от его злого друга. Поэтому политическая возня вокруг личности Сталина напоминает, по словам незабвенного Иммануила, любовь слепых в крапиве.

Выход из этой дьявольской ловушки Ю.М. Осипов нашел и воплотил в своем творении, оставив логины и пароли для ум имеющих, чтобы они могли войти в мир софийной идеологии и мудрости русского мира. Христианство не смущает тот факт, что ангельский чин — власть — оказалась в руках у дьявола, призывая использовать эту власть во благо жизни, не мараясь злом. Поэтому реквием Сталину в творении Ю.М. Осипова обращается к той первичной силе, которая сделала из Джугашвили Сталина. Речь идет о софийном императиве власти, который гласит: «Если хочешь властвовать, стань софиократором, иначе будешь вместе со своей властью прислугой у воландов!».

В связи с темой власти Ю.М. Осипов делает одно крайне важное и глубокое замечание. Речь идет о кризисе войны, о том, что сама идея войны рассыпается. Война сегодня не решает, а умножает проблемы. Поэтому почти все современные войны развязываются только для того, чтобы сохранить даже не военно-промышленный комплекс, в котором трудятся во благо смерти лучший ум и худшая совесть человечества, а саму идею войны. (Ту же подлость в отношении Ливии Запад мог и без войны учинить, установив тотальную блокаду ее нефти и газа! Но спастись нужно было идее войны, поэтому была развязана война ради сохранения войны!)

Открытие 4. Важнейшей опорой смысловой инфраструктуры творения Ю.М. Осипова является идео-демонология разума. Дерзко и несколько провокационно автор утверждает, что Воланд — это есть не что иное, как... Разум просветителей, прибывший в Москву проверить или посмотреть свои деяния. Шокирует, но если спокойно проанализи-



ровать речи и логику Воланда, то он действительно самый умный, толковый, пронзительный, предвидящий персонаж, которому присуща даже некоторая порядочность. Все его жертвы, пожалуй, честно заслужили свое возмездие... И все-таки от его логики, ума и точности веет чем-то могильным! И почему именно дьявол оказался умнее почти всех, кроме, кроме... одного персонажа!

А что есть собственно разум? То, что именуется сегодня разумом, есть лишь часть единого софийного ума (Нуса) человечества и его мудрости. Этот ум (в древнеиндийской мудрости священный первозвук ОМ, в латинской транскрипции — АUM) охватывал своей целостностью логические, образные, мифические, знаковые, символические, интуитивные, откровенческие, знаниевые, прагматические, сакральные, нравственные измерение мира и человека. Аристотель, вопрошая, как и чем движет ум, отвечал, что ум движет так же, как любимое движет любящим. Ум есть любовь-всеведающая, а любовь есть ум-всепонимающий. Неожиданная оценка ума для создателя первой системы логики в Европе!

С эпохи Возрождения (или — Вырождения) целостный ум начал распадаться, постепенно превращаясь в раз-ум (два-ум и т. д.), что, кстати, давным-давно предвидел русский язык своими поговорками: «Ум за разум зашел (и не вышел!)», «Разума — палата, да ума — маловато!». Ум исчезал под напором разума, который отождествил себя с логикой, математикой, техникой и правом. Бог, мораль, любовь, совесть, интуиция, фантазия, откровение, вера, целеполагание, воля, магия, волшебство, гипноз, чудеса выпали из ума, став иррациональными, неразумными силами человека и бытия. Немецкая классическая философия пыталась восстановить разумность этих отвергнутых просветителями начал жизни в учениях о практическом разуме, в учениях о конкретности разума в философии права, философии искусства, но высшую и целостную правду ума она нашла лишь в логике (Кант и Гегель), в «Я» (Фихте), в искусстве (Шеллинг). Софийный ум и жизнь человека, ее внутренние проблемы остались вне круга ее интересов.

В эпоху Возрождения произошла величайшая мистификация, свершился коварнейший подлог. Мефисто, дьявол, стал покровителем, выразителем, носителем рациональности, логики, права, технологий и математики, отождествив технические аспекты, средства ума с целями и смыслом жизни. И теперь уже не полнота жизни стала целью рациональности и разума, а сам частный, логико-математический разум стал самоцелью, для которого жизнь и сам человек всего лишь средства



умножения его никому не нужной логичности и рациональности. Мораль, религия, искусство, любовь, ответственность, интуитивные озарения и откровения, пророчества стали частными делами людей, их быта. А лишённые поддержки разума и софийного ума они превратились в страшные и безвыходные тупики человеческой жизни. И. Гете вопрошал: «Зачем любовь, если она ведёт к гибели прекраснейшую натуру Гретхен?», хотя ловушку для бедной девы подстроил именно великий *ratio* Мефисто. Те же вопросы можно обратить и ко всем другим людским ценностям, которые разум объявил «иррациональными», неразумными, а значит, пагубными для них, хотя угрожает им именно *ratio* логики, математики, техники и права?

Ю.М. Осипов полагает, что именно этот частный просветительский разум, присвоивший себе всю полноту ума в облике Воланда явился в Россию, чтобы поддержать атеистическую индустриализацию страны. Вывод неожиданный, потрясающий и шокирующий! Особенно для научников! Но, увы, справедливый, неотвратимый и несущий в себе возмездие поклонникам, сторонникам, да и несведущим жертвам атеистического научно-технического прогресса, ибо наука, технология, прогресс возможны и в сакральных — западных — вариантах!

Воланд-разум много, очень много знает, понимает, умеет, может, делает; он может даже вершить справедливость, добро, но не все, не все ему подвластно. Бог, Свет, Любовь, Совесть и Сострадание Воланду и его свите вообще недоступны. В романе М.А. Булгакова немало страниц посвящено этим ценностям, но все они вызывают у Воланда и его подручных лишь скуку и отвращение, что вполне естественно, ибо любящая, светлая, страдающая, совестливая математика и логика — это абсурд.

Размышления Ю.М. Осипова о дьявольской сути чистого-пречистого разума мимоходом вскрывает смысл и кантовской критики чистого разума. За что можно критиковать чистый разум, вообще чистоту? Не за грязноту же? И все же Кант смело обрушился на чистый разум математики, логики и естествознания именно за то, что не совсем он чистый, что плодит он антиномии (взаимоотрицающие суждения, которые недоказуемы и непроверяемы) по самым важным вопросам человеческого бытия. Кант не приемлет этот чистый разум за его аморальность, безбожие, за то, что он страдает СПИДушной диалектикой, оправдывая любую бесчеловечность, отрицая мудрость веры, долга, красоты, ограничивая духовные силы человека. Но Кант работал в парадигме Мефисто, а потому не смог довести свои разоблачения до кон-



ца и показать, что чистый разум есть по сути дьявольский разум, дьявольский инструмент, а потому искать правду только в нем одном бесполезно и смертельно опасно, хотя и без его услуг нельзя обойтись. Можно есть сырые продукты, но огонь делает их полезней; но огонь-то не заменит собой продукты! Сам чистый разум, монополизировав критерии истины и лжи, не может доказать ни свою разумность, ни свою чистоту; а если судить его по плодам его, он предстанет виновником всей грязи и нечистот, губящих человека на земле.

Сегодня этот чистый разум после ядерных взрывов предстал во всем своем inferнально чудовищном уродстве, заваливая всю планету отходами, отбросами, нечистотами, текущими из зева его чисто-пречистой математики. Не странно ли, что экспоненциальный рост *ratio*, математики, логики, их программ, разумных и образованных людей, экспертов и консультантов, вооруженных логистикой, статистикой, математикой, не улучшает жизнь, а ускоряет ее движение в никуда, причем, катится туда она не сама по себе, а по воле управляющего и направляющего ее туда разума, скрывающего в себе дьявольского шопера-Воланда, повелевающего через *ratio* легионами повинующихся ему «нобленаучников»¹¹, шнобеле- и великонаучников.

Наука и ее слуги никак не сознают того факта, что посредством науки, руководимой дьявольским разумом Воланда, человечество модернизирует уже существующую Преисподнюю. И чем больше математики в мире, тем больше мир становится хаосматикой, опровергая Гесиода, доказывая, что в начале был не Хаос, а математис, который и породил хаос. А ведь не случайно математики шутят, что невероятная, недоступная человеческому уму точность и доказуемость математики, объяснимы лишь ее дьявольскими спонсорами. А ведь верно! И математика, и дьявол любят темноту, изгоняют иррациональность, уничтожают природу, деградируют человека, обесмысливают культуру. Сегодня это ясно даже детям, всячески сопротивляющимся математике, которое насильем вышибает из них смыслы, заменяя их непонятной техникой вычисления пустоты! С каждым днем растет в мире число математиков, расчетов, счетов, перерасчетов, начетов, вычетов, подсчетов, а все завершается одним гигантским глобальным просчетом — кризисом, хаосматикой и катастрофой финансовой системы, состоящей почти на сто процентов из математики! Одно из двух: или то, что человек считает

¹¹ «Ноблесс оближ» — самое почетное звание, которым бес Бегемот награждает своих... близких.



разумом, на самом деле не разум, а расчетливо скрытое за расчетами систематизированное безумие, или же это разум, но не разум жизни, а разум смерти, ничто, разум царствия дьявола! Ф.М. Достоевский, видимо, был недалек от истины, заявив, что формула $2+2=4$ своей точностью соперничает со смертью, ибо математика и смерть стремятся к одной и той же цели — к абсолютной точности, т. е. к точке, не имеющей размеров и бытия, и представляющей ничто.

Религия, иррационализм, мораль, искусство и любовь предупреждали разум не впадать в головокружение от успехов. Напрасно! И вот настал миг расплаты! Разоблачению, открытию, раскрытию, вскрытию подвергся сам разоблачитель, открыватель, раскрыватель, вскрыватель. И что же в нем нашел софийный ум?

Разоблачив пленительный кумир,
Я вижу призрак безобразный.
Но что ж теперь тревожит хладный мир
Души бесчувственной и праздной?
А.С. Пушкин

Душу тревожит призрак безобразного ума, от которого нечестивцы не могут отказаться, но с которым не могут и жить. И этот призрак безобразный всячески противится софиологическому анализу, скрываясь в обликах диалектики, науки, математики, права, логики.

Обычно полагают, что дьявол владеет магией, волшебством. А не наоборот ли? Магия и волшебство, будучи софийными дисциплинами, владеют дьяволом, используя его как свое орудие, хотя люди видят видимые следствия, но не умеют мыслить невидимые причины. И не зная, не понимая софийной мудрости, люди в ее деяниях видят дьявола. В творениях И. Гете и Ю.М. Осипова дьявол предстает в обликах Мефисто и Воланда как магический, волшебный разум, скрывающий подлинные истоки своей мощи и своего знания, полученные ими в заем от Господа. Магия, волшебство — это сакральные, священные силы, именуемые в профанном мире как «идеальное», а их люди добровольно сдали своему смертельному врагу. Не случайно, тайные общества оккультистов, владея вначале этими силами, затем после отречения от Бога утратили и эти дары, которые стали бутафорским украшением тайных политических интриг, ибо знание закона воздействия идеального на материальное они утратили.



Конечно, крайне неприятно узнать, что умствования ученого люда, да еще основанные на бледном киселе математики, не имеют к истинному уму никакого отношения, а являются по сути утонченным беснованием. Наука и до сих пор недоумевает: как же так, я хочу принести благо людям, а на деле лишь ускоряю их движение в никуда? В творении Ю.М. Осипова существующей науке вынесен кошмарно-издевательский приговор. То, что в науке есть правильного, люди знали, знают и без науки, а в остальном наука занята блудом, блудодействует, ибо увидела она и узнала, что ее математизированные скелеты-модели изучают не реальность, а через них ничто, дьявол создает призрачную реальность, псевдобытие, посредством которого он укрывает, скрывает от людей свет вечной правды и свое ничтожество. Лунный свет исчезает уже в первых лучах восходящего Солнца. Но тот, кто ступил на тропу разоблачения своих иллюзий, должен пройти ее до конца, чтобы можно было затем приступить к софийному исцелению своего ума, сознания, души и речи.

Поэтому Россия никогда не доверяла чистому западному разуму, его логике и науке, хотя и в этих сферах она была не последней; Россию влечет к себе целостный ум Софии-мудрости, частью которого является логосные конструкции оцифрованной жизни «евриканцев». Поэтому в творении Ю.М. Осипова реквием разуму завершается обращением к целостности софийного ума, в котором неведомо для нас свершается реквиемое преобразование наукообразного разума, ставшего дьявольским орудием и дьявола, ставшего логическим орудием разума. В творении Ю.М. Осипова работает целостный софийный ум, которому присуще благо-разумие, мера, деликатная ирония, мягкая непреклонность, пронизательность, терпимость, знание и понимание того миротворного субъекта, который через него и совместно с ним осуществляет смысловой прорыв в познании сущего.

Открытие 5. Много вопросов, недоумений вызывает слово «реквием», ибо для России реквием — это несколько чужеродный мотив, пришедший из католицизма и лютеранства¹². В православии уходящих из жизни напутствует не реквием (заупокойная месса), а таинство соборования (елеосвящения), приобщающее смертельно больных, умираю-

¹² *Requiem æternam dona ei, Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.* (Покой вечный подай ему, Господи, и свет вечный ему да сияет. Да упокоится с миром. Аминь). А для чего ему нужны все эти вечные блага? Только для покоя? Многое остается здесь недосказанным...




щих к радости Святого Духа, укрепляющего, исцеляющего их сознание предчувствием истинной жизни. Сам шрифт слова «Requiem» какой-то болезненный, вихляющий, неустойчивый, падающий, напоминающий костлявую после элитного парикмахера. Это — шрифт смерти и Воландов, а не жизни и людей.

Для России реквием выражает европейскую тщету устроить мир без Бога или с Богом, превращенным алчностью в средство земной власти. Творение Осипова есть реквием той России, которая пыталась жить, подражая западным канонам, а не своей правдой. Поэтому в нем звучит и реквием самого реквиема как последнего и высшего смысла Запада. Покой нужен реквиему, и его может дать и дьявол, но это не жизнь иная, а исчезновение. Идите с покоем, не сопротивляйтесь и не мешайте нам — легионам Мефисто и Воланда — спокойно врать, убивать и грабить еще оставшихся в живых!

Но реквием звучит вечной памятью для России имперской, советской, демократически-криминальной; в то же время реквием торжественно приветствует рождающуюся новую — софийную — Россию, вызывает, призывает в мирскую жизнь самую сакральность, скрытую в России. Россия отметила свою сакральную зрелость постройкой общенародного храма Софии Премудрости Божьей, заявив тем самым, что она готова стать живой материей, из которого София воздвигнет Дом свой, свою софиократию. Вся история России, все ее экономические и политические неурядицы, ее жесткое сопротивление военному диктату неоспоримо говорят о том, что внутренняя Россия реально движется с юго-запада на северо-восток именно к этой своей софийной цели. И поскольку перводвигателем творения Ю.М. Осипова служит именно сакральная потаенность России, то роман о романе можно рассматривать как конспирологический манифест софийного преображения России, софийной трансформации ее социоэкономического и политического организма в рамках основного провиденциального и миротворного события Вселенной — неизбежного Второго Пришествия Спасителя. Может быть, это допущение и ошибочно, но если оно и ошибочно, то значит, такова цена, которую должна сегодня платить истина за свое проникновение в мир безумия, чтобы следующее допущение стало пропуском в ее царствие!

В 31 главе романа М.А. Булгакова Воланд и его свита вместе с Мастером и Марго в последний раз перед отбытием в свое Никуда взглянули на Москву и увидели, что город исчезает, уходя в землю и оставляя после себя только туман. Нет, население, здания остаются, но




то, что делает Москву Москвой, ее центрообразующий дух, ее сакральный смысл покидают ее и она превращается в провинциальное поселение городского типа, занятого только проблемами ЖКХ.

И поэтому целевая причина России, метафизический смысл ее деяний, ее ни с чем не соизмеримых жертв может состоять лишь в том, чтобы осознать себя именно в качестве религии последних времен, ждущих пророков, апостолов «Русского Завета». Религии, которая утвердится после Второго Пришествия. От рокового выбора России не уйти. Или стремление к материальной жизни и быстрая деградация, самоликвидация страны. Или же жертвенное служение своей же вере и... возможность обретения иной жизни, верной закону вечности. И по этой вере в Россию, по отношению к ней воздастся всем русским и не русским.

Поэтому умом научным, математическим, юридическим и техническим Россию не понять, ибо сам этот ум вне софийной мудрости неполон, незавершен, а потому он не понимает не только Россию, но и другие предметы, самого себя. Умом Россию не понять, ибо сам ум понимает себя, свою умность через Россию безумную, глупую, дурашливую, абсурдную, парадоксальную, бытийно-небытийную, но держащуюся за Софию Премудрость свою. Умом Россию можно постичь лишь тогда, когда ум, войдя в свою софийную цельность, постигнет самого себя посредством России. А так получается, что незнающий самого себя ум пытается постичь неведомую ему Россию. Поэтому сегодня ум-Воланд ищет себя в России, а Россия ищет себя в софийной мудрости. Творение Ю.М. Осипова, открывая нам глаза сознания, учит нас, что в рассуждениях об уме нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы различать разум дьявольский от сакрального ума божественной Софии. Нужно помнить слова святого Иоанна Богослова, предостерегающего христиан: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Иоан. 4, 1). Не всякому уму нужно верить, а нужно испытывать умы, от Бога ли они, или от дьявола, ибо много ученых появилось в мире.

Поистине, все тайное, исчерпав свои потенции, становится явным. Гордый, самоуверенный и тщеславный разум, отвергнув Бога и его Премудрость Софию, занялся поиском, раскрытием всех тайн бытия, вскрытием тайн самой жизни, которая является воплощением тайны, дающей ей пропитание и сохраняющей ее, разоблачением всего и вся вопреки всякому смыслу просто ради демонстрации своих умений. Ну, вроде того, как хирург высшего класса одним взмахом скальпеля будет



отрезать головы, дабы показать свое мастерство. Но не вскрывай, да сам останешься не вскрытым!

Если тайна романа М.А. Булгакова в творении Ю.М. Осипова раскрывается через большую тайну России, то тайна творения самого Ю.М. Осипова может быть раскрыта лишь через тайну русской глобальной трансформации, сопоставимой разве с ее появлением в мире сем. Но эта софийная трансформация России затронет, вовлечет в себя и все человечество. И апокалипсис является лишь частью этого неведомого деяния Провидения.

В творении Ю.М. Осипова изумительно тонко и глубоко показаны вырождение и деградация секретных обществ, тайных посвящений, различных братств (розенкрейцеров, тамплиеров, иллюминатов, масонов, каббалистов и др.), которые, имея вначале действительно ценные знания, со временем сами перестали их понимать их смысл, заменив его искусственными и мелочными обрядами, сложными ритуалами, мнимыми иерархиями. Общества-то тайные, но везде торчат их пятки; да пятки-то не простые, а ахиллесовые, опасные. И пятки эти называются слугами, которые живут не по законам тайных кланов, а по законам Смердякова и пролетарского интернационализма! Высшее посвящение, высшие тайные знания содержит в себе София Премудрость Божья, открывая их чистым сердцам, честным умам, совестливым душам и благородному языку. А язык творения Ю.М. Осипова несет софийную перспективу, сочетая в себе логику и мистику, интуицию и разум, символику и образность, научность и философичность, сакральность и экзистенциальность, идеализм и демонизм, молитву и откровения трансцендентные. Язык Ю.М. Осипова возрождает изначальное священное достоинство Слова, сочетающего в себе божественные и мирские ценности.

Творение Ю.М. Осипова держится, живет энергиями и смыслами русского языка, через который в наиболее полной мере дышит и выражается потаенная сакральность России, о чем очень точно и ярко сказал И.С. Тургенев: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя ни верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!». И если это было истинной в прошлом, то сегодня это стало уже софийной истиной, мудростью.

И нельзя не согласиться с мыслью Ю.М. Осипова, утверждающего, что русский язык «не одна только речь, но и все русское знание и сознание, мировидение и миропонимание, вся русская философия.



...Погружение в русский язык — погружение в Россию,— и наоборот,— иного тут не дано!» [3, 13, 15]. И если есть такой феномен, как русский язык, если есть люди, владеющие этим языком, общающиеся с его софийным субъектом, значит, жива сакральная субстанция русская, порождающая такие миротворные проекты, как роман о романе. Значит, Неизвестное, суть его, коренится в России; а значит, и Бог нуждается в России, как в источнике своей неизвестности. Россия порождает неизвестное, являясь его причиной, а не Неизвестное порождает Россию.

Тайновидящее софийное умозрение Ю.М. Осипова открыло миротворное событие, неведомую даже ее авторам и активным деятелям трансформацию русского мира. Идет не просто смена культуры, формации, цивилизации, не смена эпохи, а радикально меняется весь русский мир, проходя через апокалипсическую катастрофу и переходя к единственно возможной реальности софийного бытия, ибо в Софии небытия нет. И вместе с Россией эта трансформация охватывает все человечество, отбирая из него софийные и софиосодержащие элементы.

Эта трансформация вывернула наизнанку сам научно-математический разум, который, открывая и вскрывая все вокруг себя, тщательно укрывал и скрывал свою демоническую, дьявольскую суть, направляя все силы и энергии людей по пути изобретения средств геноцида и суицида. Но сколько веревочке не виться, но формула петли настигнет и ее! Человек, ограниченный научным разумом, никогда не будет знать, что несет ему грядущий день-час-минута, ибо разум даже не подозревает о тех неразумных и сверхразумных силах, которые определяют его разумность; а игнорируя эти силы, он падает жертвой их возмездия.

А поскольку человек отрекся от божественного родства и связал свою судьбу с *homo sapiens*, с онаученным и прирученным дьявольским разумом, то миротворной трансформации подлежит и сам существующий тип человека. Клонирование — это не выход, а вход в никуда, ибо аборт уже сегодня успешно клонируют, отбирают нового человека, соответствующего его дьявольскому разуму. Но человек может и должен попробовать, испытать и софийную судьбу свою, ведущую не только к покою, но и к свету вечной мудрости и тайн любви!

В русской сакральности содержится софийная перспектива самой абсолютной Неизвестности, которая становится известно-неизвестной Россией. В то же время софийная перспектива России дает содержание и для новой Неизвестности, сохраняя ее абсолютную неприкосновенность. София-мудрость опосредует тайные связи Неизвестности и России, переводя их на язык русской философии, культуры и софиологии, очищая их посредством реквиема от симуляций мрака и тумана князя



мира сего. Поэтому и загадка творения Ю.М. Осипова определяется троицей «София—Реквием—Россия», таится в ней, действуя через нее. Там, где Россия, там и София, а где София — там и реквием всему несофийному, антисофийному. Для России реквием — это сакральное средство защиты от Запада и средство перехода к своим сакральным смыслам. Сама София есть реквием России и реквиему вообще.

Чем завершить комментарии? Что пожелать Ю.М. Осипову? Не нужны пожелания тому, кто исполняет волю и миссии Провидения, ибо ни похвала, ни хула уже не свернут его с избранного пути и ничем ему не помогут. Остается лишь молча принимать незаслуженную благодать общения с такой личностью, с ее творениями, которые хотя бы в малой степени оправдывают нашу жизнь, засевая ее все новыми и новыми смыслами. А для кого ум, сознание, душа и слово превыше всех богатств мира, творение Ю.М. Осипова открывает источник софийных смыслов этих идеальных сил сакральных миров неведомых. Творение Ю.М. Осипова есть прорыв в новый смыслореальный мир, где нас ждут...

Литература

1. Юр. Михайлов. Реквием. Роман о романе, или роман с романом. Метафизическая проза. М., 2010.
2. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. СПб., 2003.
3. Осипов Ю.М. Постигание России. М., 2005.

С.С. Слепаков

*Любовь еще быть может**

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.
А. Ахматова. Реквием

«Requiem» — удивительный роман — загадка, поле для размышлений площадью, как минимум, в шестую часть земной суши.

* Философия хозяйства. № 6. 2011. С. 267—271.



Откуда появился, чье и какое поручение выполнил тот незнакомец — «черный человек», который день и ночь покоя не давал писателю Юр. Михайлову? Что подвигло писателя на многолетний труд по созданию масштабного эзотерического романа (без малого 600 страниц, по-видимому, самый объемный «Requiem» в истории) о вековом inferнальном пути огромной страны на Голгофу? Не будем гадать. Об этом достоверно знает лишь один человек — Юр. Михайлов.

* * *

Что есть роман «Requiem»? Траурная заупокойная месса (служба по усопшему), симфоническое произведение? В определенном смысле так и есть. Автор щедро наделен бесценным даром, назовем его социальным слухом, который в чем-то сродни музыкальному. Речь идет о редкой способности в вавилонском столпотворении, смешении расстроенных великих планов, в многоязыкой, многоголосой какофонии раздробленного общества, в котором (за редким исключением) все борются против всех, руководствуясь собственными интересами, в реальном воплощении и звучании социума различить («услышать») и осознать смысл, общечеловеческую значимость сущего, его мелодии, диссонансы, настроения, интонации, полифонию, гармонии, оттенки, ритмы. Вслушиваться в общество — удел стойких и мужественных (вспомним, как А. Блока оглушила музыка революции). В звучании российского общества Юр. Михайлов тонким внутренним социальным слухом различил и исполнил симфонию — «Requiem» — выражение переживаний, горя, трагических событий, вылившееся в мольбу о вечном покое.

* * *

Почему «Requiem»? Совершенно очевидно, что при изображении масштабного полотна безысходных человеческих мук, невыносимых страданий, массовых убийств, подлостей и предательств в раздираемой бесами стране, которую «тьма накрыла», живописание в светлых тонах неестественно и неуместно, равно как и мировоззрение оптимиста. Не «Волшебная флейта»... Но, все же, почему «Requiem»? Ведь если так, то, по мысли Юр. Михайлова, страна, в которой мы живем, уже погибла. Что ж, на этот счет известны и другие авторитетные мнения, достаточно близкие к точке зрения автора. О. Мандельштам, предчувствуя такой исход, высказался вполне определенно: «Мы живем, под собою не чуя страны». Булгаковский Воланд как бы разъясняет ситуацию: «...что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет!». Театрализованная бесовщина и «точечное» участие Иешуа (покой



для Мастера и Маргариты) в событиях, происходящих в стране, живущей без Бога и Дьявола, выглядят вполне органично. Продвижение Юр. Михайлова по отношению ко многим великим предшественникам в том, что ему страна, душа которой, отлетела в мир иной, оставив после себя лишь огромное тело, — дала повод исполнить реквием по этой погибшей душе и попросить для нее покоя. Ни больше, ни меньше! Вот почему не служба, не месса, не поэма, а большой роман — «Requiem», это нечто невиданное.

* * *

Ключевой вопрос: о ком скорбит писатель? Реквием — художественное, эмоциональное выражение всей глубины горя и печали, которые приносит людям смерть близкого *человека*. Без человека, причем ушедшего в мир иной, не может быть реквиема. Без реальной (родственной, духовной) близости с ним, не может быть чувства скорби.

Кто же этот человек, покинувший мир? Думается, речь идет о безвозвратном уходе *человека* ощутившего себя гражданином великой страны, представителем ее великой культуры, испытывавшего чувства гордости, надежды на свою страну, ответственности за нее, связывавшего с ней свое будущее. Сегодня, когда по опросам общественного мнения до 70% молодых людей хотели бы уехать из России, жить и работать за рубежом, в стране отсутствует объединяющее гуманистическое начало. Все желают добра, но каждый лишь для себя и на свой манер. Уход в небытие объединявшего и солидаризировавшего социум чувства гражданства, национального патриотизма знаменует собой мировоззренческую «перезагрузку». В результате этой модернизации на российских просторах обосновался, пустил корни и дал всходы качественно иной социум.

Новейшей иллюстрацией социального разлома служит, например, телевизионное выступление одного из вице-премьеров России, в котором было заявлено, что чемпионат мира по футболу 2018 г. может стать российской национальной идеей. Вице-премьер, видимо, убежден в том, что все россияне жить не могут без хорошего футбола. Остальное для жизни у них уже есть. Защиту целостности и безопасности страны, труда и благополучия граждан — «по боку»! Презентованный обществу неконкурентный рынок с нечеловеческим лицом — пусть рулит! Даешь чемпионат мира по футболу?!

Однако чуть ли не в момент этого выступления толпы юных футбольных «фанов» вместе с националистами, на улицах и площадях



Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара и других городов рвались в драку и самозабвенно дрались с выходцами из республик Кавказа и Средней Азии, а заодно и с «родной» милицией, отстаивая совершенно иные национальные идеи и ценности. При этом о чемпионате-2018 никто не вспомнил.

Не поддержали граждане России модерниста — нового «регента певуна», не грянули дружно, хором. А если бы грянули, поехали бы, напевая «Славное море священный Байкал...», на грузовиках в клинику профессора Стравинского. Почему не грянули? Ясно. Вице-премьер — не бес. И иже с ним, заигравшиеся в пустые амбициозные игры, не Воланд со свитой. Все стоят по эту сторону, а значит, все возможно.

* * *

Почему по России Юр. Михайлов служит «Requiem» — католическую заупокойную мессу? Почему роман о русском писателе и его романе, который был написан в годы сталинского лихолетья, вернулся в 1980-х гг., живет и строит в новейшей истории России, назван на латыни? Возможно, дело в происхождении губительных идей и сил, приведших великую страну в бездуховное состояние (Россия исполняет чуждую партию, участвует в чужой игре). А может, в том, что православное отпевание не реализуется в литературном документе, а сам повод для отпевания в этом случае противоречит позиции РПЦ? Ответ знает только автор.

* * *

Роман назван «Requiem». Однако Юр. Михайлов написал роман о романе, который, по его мнению, тоже реквием (см. эпилог). Выходит, вначале врач, а спустя семьдесят лет философ написали два романа-реквиема по одному и тому же поводу? Первый (врача) был опубликован в журнале лишь через 35 лет после написания и полноценно пришел к читателю только во второй половине 1980-х, когда не знали Интернета и еще читали книги. Второй (философа) — сразу по написании, в эпоху Интернета, когда книги читать почти перестали.

Осмелимся предположить, что до тех пор, пока научные и культурные ценности, в частности, произведения литературы могли представлять опасность для строя и тревожили власти, страна была еще жива. Но если так, то «Мастер и Маргарита» — не реквием, скорее роман-послание «из обреченного прошлого... в обреченное будущее». Роман о всепобеждающей силе любви априори не реквием.



Представленное Юр. Михайловым достоверное, вполне метафизическое утверждение о том, что роман с романом продолжается, отражает если не свет в конце туннеля, то достаточно яркий луч надежды на то, что пришествие к читателю романа «Requiem» (а роман прочитан и активно обсуждается широким кругом читающей публики), в свою очередь, знаменует собой один из моментов снижения интенсивности социального некроза и возрождения сознания в современной России.

Н.И. Злыгостева

*«Нам не дано предугадать...»
(отзыв на роман Юр. Михайлова «Реквием»)**

«От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься», — эти евангельские строки вспомнились мне по прочтении романа Юр. Михайлова (Ю. Осипова) «Реквием». Он необычен: по напряженному поиску смыслов, по логике построения, по отношению к прошлому и настоящему. В нем пересекаются эпохи, тексты, идеи. И рождается удивительная литературная реальность с живыми героями, личностными интонациями, философскими прозрениями и духовными озарениями.

Роман полифоничен, у каждого героя в нем свое внутреннее бытие, свой голос, своя правда. Он лишен привычной структурированности, и понимание глубинных смыслов его раскрывается не через внешнее прочитывание, а через внутреннее проживание.

Определение жанра — метафизическая проза — до конца не определяет, и не исчерпывает его, равно как и подзаголовок: роман о романе, или роман с романом.

Ю. Осипов — анонимный публикатор, писатель, философ, втягивает читателя в круг собственных размышлений, давая ему возможность соглашаться и спорить с ним, и не отпускает, даже когда роман уже прочитан.

* Философия хозяйства. № 3. 2012. С. 269—274.



Проходит время, и вдруг вспыхнет лампадный огонек и напомним о молитве незнакомки за Россию в монастырском храме; опустятся вечерние тени на город, и сожмется от тоски сердце, тоски не понятной и не объяснимой.

Роман — откровение не столько даже по мысли своей, глубокой и ясной, сколько по духовной наполненности и силе, способной преодолеть не только нашу умственную, но и духовную инерцию.

«Реквием» обращает нас к новому, неожиданному прочтению давно знакомого булгаковского текста и вызывает множество ассоциаций, напрямую, казалось бы, с ним не связанных.


Утро. Москва, запруженные машинами улицы, кричащая реклама; бессовестная и бесстыдная. Вход в метро, втягивающий тысячи людей в гудящую, грохочущую, темную пропасть. Но закройте глаза, дайте волю воображению, и вы уже в Москве прошлого столетия, где на бульварной скамейке сидят, взявшись за руки, Мастер и его Маргарита.

Москва сегодняшняя и Москва 1930-х соединились в едином пространстве, созданном писательским воображением. Оно противоречиво и творит порою странный и призрачный мир, существующий независимо от создавшего его автора. И постепенно ирреальность вытесняет, разрушает живое бытие, порождая ужасающие химеры, и за ними мелькает гадливо смеющаяся дьявольская гримаса. Она впервые мелькнула в наркотических снах Мастера, в горячечном бреде, но тогда она была иной — не отталкивающей, а обольстительно притягательной, обещающей прикосновение к чему-то неведомому и прекрасному. О, этот искусительный дар слова, данный художнику свыше, направляющий и определяющий его бытие и служение. Но кому?

Провидение требует от него внутреннего аскетизма, отказа от собственной воли, отсечения самости, духовного очищения — «лишь чистые сердцем Бога узрят». А лукавый разум нашептывает иное: живи свободно и легко, ты гений, «ты сам себе творец и царь». И как же трудно не поддаться обольщению, устоять перед тем, кто, соблазняя призрачным благом, увлекает в бездну!

Да и нужно ли бежать искушения, не разумнее ли отдаться в его власть и петь ему гимны?

Вся западная литература конца XIX в. и века XX-го явно или потаенно возносила обольстителю хвалу. Самый честный французский неоромантик Шарль Бодлер писал, что его идеал — «Сатана в духе Мильтона». Страшное и откровенное признание.



Русские символисты лукавили: искали прекрасного и вечного, но концом и началом всего видели себя и только себя.

«”Я” — нечто довлеющее себе, — писал В. Брюсов, — сила творческая, которая все свое будущее почерпает из себя. Мир есть мое представление. Мне даны только мои мысли, мои ощущения, мои желания — ничего больше и никогда больше» [1, 52].

Эта игра с дьяволом обернулась для них творческими и личными трагедиями. Сместились понятия, запуталась в противоречиях душа, увидевшая за завораживающим обликом гнусное, скверное, пьяное чудовище.

Не отсюда ли и другое — блоковское: «боюсь, изменишь облик ты», «ищу черты изменчивого облика»?

Вот и булгаковский герой, не отделимый от своего автора, давший в момент пребывания на грани бытия и небытия слово, обещающее только добро, писать и служить ему, встретил его в Москве.

В той далекой Москве, отдаленной от нас во времени уже почти столетием, он написал великий роман, ставший его осуждением и казнью.

Мысль писательская прихотлива и в своих поворотах неожиданна и удивительна; она соединяет несоединимое, делает невозможное возможным.

Вот и современный философ, написавший свой роман о культовом романе века минувшего, взял и развернул его во времени... И все сошлось, совпало и открылось.


Нет, рука консультанта, водившая пером Мастера, создавала не портрет уходящей в прошлое эпохи, а новую литературную реальность — «постчеловеческую» и «постмодернистскую», в которой все подлинное и живое подменилось подлым и пошлым бесовским наваждением.

Да, рукописи воистину не горят. Горит бумага, а тексты остаются и меняют мир, подчиняя его себе.

Ф.М. Достоевский первым в нашей литературе отметил, что идея, рожденная человеческим сознанием, обретая самостоятельное бытие, превращается порою в злую и разрушительную силу.

Странный, манкий булгаковский мир с его демонами, ведьмами, живыми мертвецами, дьявольскими шабашами и бесконечными обманками стал нашим сегодняшним настоящим.

Вот только Воланд с его компанией явился к нам в ином облики. Исчезло завораживающее и притягательное обаяние великого магистра,



сменившись гнусным кривлянием и фокусничеством. Все и измельчало, изгадилось, опошлось и стало привычным.

Были-были такие метаморфозы в нашей литературе. Ивану Карамзову явился бес в виде пошлого шута в гороховом пальто. Он узнал в нем себя и в ужасе отшатнулся.

В современном мировом и российском пространстве дьявольское господство проявилось в опошлении всего и всех, в стирании любых границ и условностей, все стало иллюзорным и обманчивым, как в театре.

Театр — его колдовской магией наполнены не только страницы «Мастера и Маргариты», но и жизнь самого автора. От его притягательной иллюзорности он никогда не мог освободиться. В нем человек ближе всего к опасным играм с дьяволом. В его условных и обманчивых реалиях совсем не просто отличить Христа от антихриста, добро от зла, истинное от ложного.


Вот и в романе о романе два поседевших однокашника, придя в университетский храм, толкуют о странных превратностях, наполняющих жизнь. О храме, возникшем на месте первого университетского театра, и о театре, вновь возникшем на месте разрушенного храма, и храме, вновь возродившемся на прежних началах.

Где и в чем кроется разгадка этих странных перемен? Где в жизни в душе человека проходит эта зыбкая граница между Богом и дьяволом?

Не оттого ли так притягателен театр, завораживающий нас ощущением подлинности иллюзорного бытия?

Как часто тема театра, маски, маскарада возникала в русской литературе прошлого века! Маска всегда тайна — притягательная, неведомая, опасная. Она выдает себя за лицо, но самом деле таковым не является, за ней скрывается пустота, воплощающая в себе нечистое и злое. Маски влекут, манят и всегда обманывают. Бессмысленная погоня за снежной маской у А. Блока, за красным домино у А. Белого оборачивается внутренней опустошенностью и разочарованием. О, эти демонические провидцы Серебряного века уже тогда предощущали, что весь мир превратится в огромный балаган, где не останется людей, а будут кривляться и паясничать направляемые чужой волею марионетки.

«Всякое земное лицо и всякое земное тело, — писал Ф. Сологуб, — только личина, только марионетка, заведенная на слово, жест, смех и слезы» [2, 158]. Марионетки в этом балагане все: от лакея до правителя, ученого и писателя. И автор великого романа XX в., и автор



великого проекта, кремлевский сиделец — вождь и учитель — творят свою реальность по единой дьявольской логике.

Роман будет написан, и проект будет осуществлен, но все это обернется не победой, а поражением, провалом в небытие, в бездну. Мастер обрел посмертную славу, но не обрел покоя.

Автор «Реквиема» возвращает его в Москву, но не в ту, которую он оставил когда-то вместе с Воландом, а в сегодняшнюю, столь тесно связанную с написанным им романом.

Вновь распахиваются двери нехорошей квартиры, ставшей писательским музеем. И вновь он стоит на возвышении с Воландом и Маргаритой. Но только сейчас на этом сатанинском бале перед ним проходит бесчисленное множество персонажей его собственного романа, сошедших со стен культового подъезда. Бесчисленные Гелы, Бегемоты, Коровьевы и прочие наполнили зал, а позже этот нескончаемый поток пополнился какими-то совершенно отвратительными лицами, не романскими персонажами, но романом порожденными. Хаотическое движение переплеталось, перепутывалось и сплеталось в какую-то дурную бесконечность.

Именно в эти страшные мгновения проживал Мастер свою казнь и вспоминал слова, впервые услышанные в горячечном бреде от того, кому служил своим словом: «за все приходится платить».

Многие нынче не хотят ни помнить, ни слышать этих слов. Память смертная стерлась из сознания людей, живущих мгновением, минутой и не верящих в неизбежность расплаты.

Современный мир зашатался, сорвался с удерживающих его основ и устремился к бездне. Но что же Россия? Ее нет в булгаковском романе, не любил писатель собственного Отечества. Вместе с тем роман о романе весь о России. Русскость автора сквозит во всех диалогах его собственного романа. Он любит ее и такой, какой она стала после великой перестроечной смуты: оскверненной, раздавленной, проданной, преданной, униженной. Для него Россия не географическое и социально-экономическое пространство, а феномен духовный — «канал связи с другими мирами».

Но возможно ли это, если душа «не выстрадала себя», не обрела сокровенного на путях узких и тернистых? Да и возможен ли иной русский человек?

Эти странные и непонятные иноплеменному уму искания русским народом духовного страдания. Что в нем: боязнь мертвенности сердца, стремление через них искупить собственные грехи? Кто знает.



Но для русского мыслителя Ю. Осипова в этом мире всеобщего хаоса и разлада есть источники потаенного света, сохраняющие надежду на спасение.

Русская деревня — изменившаяся, не прежняя, но не утратившая тех органичных духовных начал, на которых всегда держался и продолжает держаться крестьянский мир: трудолюбия, искренней веры, совестливости.

Храм, любовь к Богу как основа национального бытия. Есть в романе «Реквием» удивительный герой — благородный и светлый владыка. В трудные бесовские времена он оставался светочем духовным, согревавшим и утешавшим, не дававшим угаснуть в человеческом сердце вере, надежде, любви.

Роман написан и прочитан, но точка в нем еще не поставлена. Он будит наш ум, стучится в наше сердце. Даруя надежду на то, что мы в самых тяжелых испытаниях и для нас и для Отечества сможем оставаться людьми.

Литература

1. Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1975.
2. Сологуб Ф. Собр. соч. Т. 10. СПб., 1912.

В.С. Сизов

*Введение в «Реквием»**

Будущим читателям «романа о романе, или романа с романом», посвящается

От романа Юр. Михайлова я ждал некоего «Иного». Сам виноват — настроился на чтение художественного произведения. А ведь автор предупредил — он читателям не простую прозу предложил почитать, а прозу необыкновенную — специальную, размыслительную. Сам он ее окрестил «метафизической». И, пожалуй, это было первое, чем заинтриговала свежая, еще не читаная, книга. Вторая интрига

* Философия хозяйства. № 3. 2012. С. 261—269.



заклучалась в странном, диковинном, определении не то жанра, не то формы изложения, а именно — «роман о романе, или роман с романом». Экое заковыристое определение придумал писатель, поневоле заинтересуешься — что он имеет в виду? Не иначе какая-нибудь литературная инновация. И название заставляет обратить на себя внимание — «Реквием». Почему реквием? — думаешь. — По кому? Раньше у меня это слово вызывало ассоциации с торжественно-заупокойной музыкой. После прочтения романа — ассоциации изменились. Но сказать хочется не об ассоциациях, с книгой связанных, а о самом произведении.

Хочу предупредить будущего читателя: чтение «романа о романе» возможно только в том случае, если удастся настроиться на «бесшаблонное» восприятие текста, без привычно-бессознательного деления на художественную литературу, научную и публицистическую. «Реквием» Юр. Михайлова — это сразу и первое, и второе, и третье. Впрочем, смешение стилей, на мой взгляд, не привело к появлению нового жанра, на который автор претендует (той самой «метафизической прозы»), но эклектика получилась крепкая. И когда понимаешь эту особенность книги, то она совершенно захватывает, затягивает — заканчивая чтение одной главы, не хочется прерываться, ум требует продолжения!

Сразу обратим внимание на важную особенность стиля романа «Реквием», которая, впрочем, есть вообще особенность стиля любых произведений его автора. Это невероятно концентрированная диалектичность. Понятно, не та марксистская диалектика, которая в советское время долго изучалась, а в постсоветское в одночасье забылась. А еще та диалектика, ведущая свое родословие от Античности, рожденная древнегреческими гениями Зеноном Элейским и Платоном. Мы сталкиваемся с текстом подлинно диалектическим, в котором заложена никем не ангажированная, природная диалектика. Это та же самая диалектика, которую 3000 лет назад в наблюдениях за природными явлениями открыли китайские мудрецы, назвав ее естественным и всеобщим законом взаимоперехода — Инь-Ян. Этот закон гласит, что любая вещь или явление состоит из взаимодействия двух противоположных сил, не противоборствующих, а поочередно замещающих друг друга. Одно из важных положений этого учения в том, что никогда не бывает чистой субстанции Инь или субстанции Ян. В максимальном проявлении Инь уже зарождается в Ян. И наоборот.



Так же строит свою метафизическую прозу и Юр. Михайлов. Можно предположить, что ее метафизичность отчасти в том и заключается, что в его текстах нет застывших и исчерпывающих определений того или иного феномена, определяющего его раз и навсегда. Писатель, едва прикоснувшись к описанию сущности вещи или явления, не спешит с выводом, не кичится, что вот, мол, я раскрыл содержание, понял его истинную природу, напротив, он тут же спешит указать, что вскрытая его пером сущность совершенно не может быть определена единственным и бесспорным образом. Что в ней заложен и непременно имеется антипод тому, что он, писатель, нам только что продемонстрировал. Вот, например, он пишет: «Ведьма-фея, фея-ведьма — и ничего более!». Уже само словосочетание «ведьма-фея» является антиномией, но ведь Михайлов на этом не останавливается. Он продолжает, наращивает, усиливает эту антиномию: «Нет, пожалуй... и ведьма, и фея... но еще и великая, надо полагать, женщина <...> Прекрасная Дама, его первая, а может, и единственная в жизни София!» (С. 54—55).

Опускаю рассмотрение вопроса о роли Софии — премудрости Божией в жизни М. Булгакова. Думаю, эту параллель — с о. Сергием Булгаковым и с явлениями Святой Софии Владимиру Соловьеву — заметят многие читатели. Опускаю еще множество вопросов, которые появляются в ходе чтения романа. Но, надо, указать — это одно из главных достоинств романа — порождать у читателя собственные вопросы и мысли. Не многие произведения, особенно современной отечественной литературы, на это способны. И уже одного этого достаточно, чтобы причислить роман «Реквием» к произведениям не просто талантливым, но заслуживающим прочтения каждым думающим и размышляющим человеком.

Здесь требуется уточнение. «Реквием» — это не Popular Fiction, т. е. не «популярное чтение», которое «цепляет» читателя, и он его проглатывает в один присест... Роман захватывает по особому, «посиповски». Он написан в той же особой неспешной манере Ю.М. Осипова (скрывающегося по необходимости под псевдонимом Юр. Михайлова) захватывать внимание слушателей постепенно, исподволь навязывая слушателем свое «философско-хозяйственное» мировидение, чрезвычайно целостное и потому не требующее каких-либо дополнений и дискуссий. Осипов, как основательный рыбак, неторопливо расставляет свои сети, сплетенные на первый взгляд из простых, но на самом деле совсем не тривиальных жизненно-важных




вопросов. Внимательный думающий читатель или слушатель обязательно попадает в эти сети. Но одни, неудовлетворенные отсутствием научного метода и сколь-либо определенного предмета философии хозяйства, легко проходят сквозь сети и отправляются дальше в поисках «определенного», «истинного», забывая, что истина, подобно Дао, не может быть выражена словами. Другие же, восхищенные основательностью и широтой риторики Осипова, немедленно зачисляются в ряды его учеников, чему, надо сказать, способствует немалое обаяние «гуру». Однако столкнувшись с пугающей глубиной задаваемых им вопросов, неспособностью их осмысления и понимания, но при этом необходимостью отвечать, выступать, как-то соответствовать заявленному статусу, «ученики» постепенно отходят, перестают объявляться и незаметно исчезают из «сети». Но есть и третья категория слушающих и читающих Осипова, которая, преодолев искушение первых и не страшась испытаний вторых, становится частью живой социальной (как принято сейчас говорить) сети, созданной талантливым организатором и гениальным мыслителем — Юрием Михайловичем Осиповым. Эта социальная сеть состоит из членов Академии философии хозяйства и философско-экономического ученого собрания, из отделений Центра общественных наук МГУ, из друзей и почитателей таланта *ясномыслия* Осипова. Платон называл это способностью к высшему умственному созерцанию вечных идей-эйдосов, согласно которым устроен мир. Платон считал, что только мудрецы-философы, наделенные подобным умственным зрением — умозрением, имеют право управлять государством.

И это очень важная, неустаревшая идея. Она находит подтверждение как в творчестве, так и в жизни Ю.М. Осипова. Если задаться вопросом — о чем написан роман «Реквием», среди, вероятно, десятков разнообразных ответов в числе первых будет и такой — это роман о природе власти и властителях. Если задаться вопросом, чему посвящена осиповская (потому что еще есть совсем иная — булгаковская) «философия хозяйства» — ответ будет тот же — эффективному управлению хозяйством, а следовательно, природе власти. И власть к нему прислушивается — это видно по ее риторике, использующей идеи и понятия, которые узрел, осмыслил и изрек Ю.М. Осипов (чего стоит только один пример с путинским: «Россия сосредотачивается!») — однако в диалог с ним не вступает. Совершенно так, как описано в «Реквиеме». Учитывая тот факт, что Осипов в своем объемном произведении (шестьсот страниц!) ни разу не упоминает



имени автора знаменитого романа («Мастер и Маргарита»), которому вроде бы и посвящена его книга, нетрудно сделать заключение, что одним из главных героев «романа о романе, или романа с романом», является он сам. Осипов, который и есть один из главных героев своей книги, поставил трудную, почти невыполнимую задачу — через роман о романе раскрыть не то, о чем написал *тот* всем известный автор, в *том* нашумевшем, культовом, широко обсуждаемом романе, а рассказать о созданной им новой философии. В романе она не называется «философией хозяйства» — для художественной книги прямое указание неприемлемо. Но идеи, риторика, примеры — все указывает на правоту сделанного предположения.

Идея хоть и не новая — используя известные имена и бренды, еще раз заявить о себе, о собственном учении, и в современном маркетинге этот ход весьма популярен при «раскрутке» новых имен и торговых марок — однако идея исполнена блестяще, ненавязчиво, не унижая достоинства признанного мэтра и его произведения. Однако же следует отметить, что рассказать в увлекательной художественной форме в романе, посвященном известному роману, не совсем о том, о чем собственно тот роман, и даже в большей степени совсем не о том, а о собственной философии, задача не просто трудная — практически невыполнимая. Философия, хотя и выражается через художественные формы, чему есть много примеров: Достоевский, Вл. Соловьев, Камю, Сартр и т. д., но при этом художественная форма используется для подчеркивания остроты экзистенциальных вопросов, которые ставит автор. Для раскрытия философского содержания того или иного учения художественная форма — не лучший выбор. Что же касается выбора художественной формы для погружения в особый мир философии хозяйства через философско-художественное осмысление другого романа, то здесь, на наш взгляд, автор загнал себя в прокрустово ложе, ибо масштаб обозначенной темы не укладывается в выбранную форму изложения. Отсюда, вероятно, и та странная композиция романа, которую, конечно, можно обозначить и как полифонию, но все-таки полифонию диссонансную, когда отдельные части художественного произведения между собой не согласованы. Автор пытается выйти из этого затруднительного положения, объявив свой роман «метафизической прозой» — т. е. некой новой формой изложения, только читательскому восприятию от такого разъяснения вероятно не легче. Литературный симбиоз не всегда идет на пользу прояснению авторского замысла. В итоге получается, что роман (его смысл,



заложенные в нем идеи), увы, доступен далеко не для всех, «не каждому открывается», и в том вина не только читателя.

Тем не менее роман, как уже говорилось выше, цепляет, задевает за живое. Почему? Потому что автор вбрасывает в головы своих читателей сотни, тысячи животрепещущих, неотступных вопросов. Но задает вопросы не так, как это любят делать иные псевдофилософы: такой «испытатель человеческих душ» подкинет человеку какую-нибудь заразную идею, вопрос-паразит, да и отойдет в сторону, чтобы смотреть, посмеиваясь, как бедный человек с его «заразой» справляться будет. Люди, зараженные идеями-паразитами, зачастую становятся фанатиками, шахидами, не думающими ни о себе, ни о других. Мудрец Достоевский предупреждал об опасности подобных идей и их носителей. Но наш автор не таков, он никогда от ответа не уходит. Напротив, каждый раз предлагает разнообразные ответы, без претензии на истинность в последней инстанции, как бы говоря читателю — сам выбирай. Если, конечно, твой ум свободен от «паразитов мозга» и ты еще способен выбирать. Ну а если претендуешь на особые интеллектуальные способности — можешь попробовать не только выбирать, но и свое решение предложить.

И этим предложением интеллектуально потягаться роман овладевает умным читателем, соскучившимся по интеллектуальному чтению. Потому что много в «Реквиеме» дразнящего, вызывающего если не на дуэль, то на горячую дискуссию. Впрочем, обо всем, с чем будущему читателю романа придется столкнуться при его чтении, в двух словах не расскажешь. Тогда придется третий роман писать — роман о «Реквиеме». Поэтому сосредоточимся на главном. Главном не для автора, который не всегда должным образом заботится о своем читателе в стремлении облегчить ему чтение и понимание, а главным для читателя, как раз с целью облегчить и первое и второе.

«Реквием. Роман о романе, или роман с романом. Метафизическая проза» — так обозначил автор свое произведение. Когда начинаешь читать, не сомневаешься: безусловно, это — проза. Только совсем не прозаическая проза. Однако это и не поэма, в стиле гоголевских «Мертвых душ». У Николая Васильевича его поэма изложена в форме поэтической прозы, а книга Юр. Михайлова, хотя поэтики в ней и вдоволь, безусловно, не поэма. Сначала она читается словно стихи. Впрочем, стихи не обычные — без рифм и размеров, ни ямбу, ни хорею здесь места нет. И все-таки — это стихи. Первая, отчасти вторая и пятая части, и еще эпилог романа, наполнены



внутренними стихами. Что же превращает книгу Юр. Михайлова из прозаической в поэтическую? Стоит открыть любую страницу из первой сотни, и замечаешь — каждое предложение соразмерно другому, а при чтении отчетливо ощущается внутренний ритм. Ну, а что такое стих, стихотворение? Это речь, поделенная на ритмически соизмеримые отрезки. Вот и получается, что «Реквием» — это отчасти роман в стихах. Впрочем, третья и четвертая части, а отчасти и вторая — это уже не стихи, и ритм отсутствует, и поэтика встречается реже, и уже не та. Роман неожиданно превращается в объединенные только общей темой публицистические очерки, которые чередуются с философскими эссе и сократоподобными диалогами почтенных интеллигентов, любящих за хорошей беседой выпить хорошего коньячку. Герои и автор «Мастера и Маргариты», к которым только-только начинаешь привыкать, вдруг уходят на второй, третий план, возникают фантазмагории по мотивам известного романа, которые служат не более чем лейтмотивом автору романа о романе — для раскрытия собственного мирозерцания, описания созданной им философии.

Фантазмагории порою весьма занятные и на них, наверное, в более подробном анализе романа, следовало бы остановиться подробно. Юр. Михайлов делает смелые зарисовки из послероманной жизни главных героев М. Булгакова. Они вдруг снова встречаются с Воландом, который рассказывает им о том, что натворил роман Мастера за полвека с момента своего издания. Впрочем, нет, конечно, не роман о дьяволе творил все те безобразия, происходившие в Москве и вообще в России и в годы сталинизма, и в годы застоя, и особенно в постсоветское время — 1990-е гг., которые автор обозначает как второе пришествие Воланда в Москву. Дело не в провоцирующем действии, которым обладает роман (а он им, безусловно, обладает), а в том, что великий писатель, мастер метафизической прозы, коим являлся Михаил Афанасьевич Булгаков (между прочим, сын профессора Киевской духовной академии, т. е. наверняка хорошо знавший Святое Писание и устои православной веры и их исповедовавший), написал роман-матрицу, по которой — после революционных изменений начала века — стала жить «новая» Россия, «освобожденная» от «религиозных оков». Но русская пословица гласит: «Свято место пусто не бывает». Уничтожение храмов и священников привело к тому, что количество свершаемых литургий, исповедников и причастников в Советской России резко уменьшилось. И душами людей постепенно стали овладевать бесы. А затем и сам дьявол явился в образе Воланда



посмотреть на завоеванный им Третий Рим. Христос, изгоняя бесов, учит: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и убранным; Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк. 11, 24—26).

Михаил Афанасьевич не был великим прозорливцем, как то предполагает Юр. Михайлов, но он отлично понимал, что на место, откуда были изгнаны одни бесы (в каком бы образе они не являлись — революционеров или партийных функционеров), обязательно явятся другие, и в большем количестве и более злые, если только на это место не призвать Бога. Вот и вся матрица. Она все время будет повторяться, бесовщина будет воспроизводиться, причем в вариантах, много худших, чем были прежде. Это будет до тех пор, пока не покается и не изменит образ жизни и мыслей все российское население, но еще прежде российские власти, а в самом начале — власти церковные: священство и иерархи. Чтобы это понимать — не надо быть провидцем. Достаточно веры.

Что же касается романа «Реквием», то его кульминацией является попадание самого автора романа о романе в послежизнь романа, о котором он пишет. Под кульминацией, безусловно, имеется в виду встреча с демоном, не то искушающим, не то провоцирующим автора, не вполне уверенного в законности своего произведения. Следует пояснить, что под законностью имеется в виду единственно возможный истинный закон — Закон Божий. Вот и задается автор вопросом: написав роман о романе о дьяволе, не нарушил ли он этот самый Закон? Что касается автора романа о дьяволе, то для Юр. Михайлова (в отличие от автора рецензии) ответ однозначен: Булгаков — чернокнижник, являлся с дьяволом и, следовательно, является нарушителем Закона. Юр. Михайлов подробно объяснил читателю на шестистах страницах своей книги и про автора «Мастера и Маргариты», и почему он написал именно такой роман — в соответствии с условиями того времени, да и с самим романом все ясно — трагический, мистический, предсказательный и т. д. и т. п. Но только в эпилоге автор взял да и указал, что главным героем булгаковского романа является Великое Неизвестное. И, стало быть, нет у нас и не может быть никаких правильных ответов ни на один вопрос — ни о его романе, ни о своей жизни вообще. «Что есть истина?» — вопрошает Юр. Михайлов и отвечает по-своему, вовсе не согласуясь с евангельским сюжетом о Христе и Пилате. Ответ



Юр. Михайлова поражает своей вопросительностью. Он говорит: «Не стоит отвечать на этот вопрос, ибо жизнь тогда совсем остановится, ее просто не будет...». М-м-да... Есть о чем и поговорить и поспорить. Но только, если бы это заявление было в начале, а не в конце романа. Получается, читатели в конце книги вернулись к ее началу. Конечно, читатель (и прежде всего имею в виду себя) сильно изменился под очищающей мелодикой «Реквиема», совершил, так сказать, герменевтический круг. Ища истину о мистическом романе и его авторе, читателю становится, пожалуй, ясно все, кроме главного — что же все-таки является искомой Истиной.

Следует ли разочаровываться? Нет — ведь автор романа о романе совершил искренний и честный поступок — он не впал в прелесть и не дерзнул примерить на себя роль Христа — того Единственного, который знает об истине все, Сам ею и являясь. Если же читатель все же остался не удовлетворен ответом — стало быть, он, возможно, не заметил, как примерил на себя далеко неоднозначную роль Пилата.

Такая вот необычная композиция романа. Конечно, у Юр. Михайлова есть свой неповторимый и узнаваемый авторский стиль. А это свидетельствует и о произведении, и об его авторе, как о явлениях незаурядных, нерядовых, которые в будущем еще, быть может, будут отмечены особым образом, тоже нерядовым и незаурядным.

Но есть вопрос, на который автор рецензии не нашел удовлетворительного ответа. Почему же все-таки Юр. Михайлов нигде в своей книге не упоминает имя автора романа, о котором он пишет свой роман? Делает он это намеренно, и это ясно — вот только зачем? почему? Не потому ли, что Юр. Михайлов не считает Михаила Булгакова истинным автором романа и намекает читателям, что пером чернокнижника водила совсем не человеческая рука? Повторюсь. Ответ меня не удовлетворяет, поскольку сразу встает вопрос о том, чья же тогда рука выводила сюжеты о Воланде и его компаньонах в фантасмагорийных зарисовках, сделанных в романе «Реквием»?



В.В. Кашицын
От откровения к обретению и преображению

Открылась бездна звезд полна,
звездам числа нет, бездне дна.

М.В. Ломоносов

Одним из стойких, непреходящих ощущений студенческих семидесятых лет всегда было крайне неудобное, вязкое и магнитическое влияние на сознание романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сказать, что данный роман оказал на нас колоссальное влияние — ничего не сказать. О нем периодически говорили, до хрипоты спорили, из-за него ругались. Но удивительное дело — хоть в какой-либо своей ипостаси роман упорно не превращался в элемент со-знания, со-чувствия и со-понимания. Роман стоял как крепость, как глыба, одним словом — не раскодировался ни при первом, ни при втором, ни при дальнейшем прочтении. Роман не давался пытливому, энергичному молодому уму.

Вообще говоря, в этом смысле творчество М.А. Булгакова не в полной мере является оригинальным, так как корреспонденция образующегося русского человека с классической литературой особенно XIX—XX вв. в большинстве своем всегда была в той или иной мере поверхностной, чему не в последнюю очередь способствовали и сами творцы. Что, видимо, далеко не случайно, имея в виду глубинные размышления, проникновения в сущность того, что называется «человек»: а премное знание плодит премные печали. Но даже в этом феноменально блестящем ряду Булгаков со своим романом выглядит как глыба.

А наш человек помимо всего прочего так устроен, что, столкнувшись с чем-то сверхсложным, склонен непознанное либо забывать — умалчивать, либо мистифицировать — обожествлять и превращать в татем — моду, предмет поклонения.

И вот в 1993 г. как-то попало нам в руки «Посевовское» издание романа, где курсивом вставлены части текста, отсутствовавшие в советских изданиях. Не имея никаких иллюзий по поводу целей, задач и методов воздействия на сознание общества, человека и страну со стороны западных коллег-издателей и не только, а также «эффективности» противодействия этому воздействию со стороны советской гуманитарной науки, идеологии, партии и государства, тем не менее нам пришла в голову спасительная мысль, что и те и другие едины в одном и боятся



одного — человека, а особенно того, что с ним происходит. Бояться деволюции человека, его деградации. Вместе с тем и те и другие в этой деградации одновременно заинтересованы и часто в разной степени, но ей способствуют, так как человеком-деволюционером легко управлять.

Одним словом, лейтмотивом вставок-курсивов, опущенных в романе, был определенный намек писателя на то обстоятельство, что с созданием нового человека, носителя гуманистического социалистического сознания, система терпит полное фиаско. И терпит фиаско данный процесс не только и не столько из-за системы, сколько из-за того, что «звезды и бездна», выражаясь словами М.В. Ломоносова, в подсознании человека не делимы. К тому же, человек управляется человеком. И только малая часть людей способна и несет в себе начало — способности к самоуправлению и к восходящей развитой самоорганизации. Эволюция и деволюция, звездность и бездна внутри человека (общества) не делимы.


Но увидеть и почувствовать это, видимо, возможно только в целом, рассматривая и осмысливая человека и общество вне времени и пространства. А если во времени и пространстве, то в реперных смысловых точках человеческой эволюции: сотворения, распятия, воскрешения, конца света, второго пришествия и через призму России, по сути являющейся сетью данных узловых точек.

Если предположить, что за пространство познания отвечает наука, непознания — религия, а непознаваемого трансцендентного — метафизика, то объять все эти начала, кстати содержащиеся в человеке и обществе, возможно только в формате метафизики (по логике поглощения). Но способен это сделать через откровение только гений, так как только ему открываются глубинные смыслы, и только в его сознании прошлое и будущее неразрывно являются вселенскими.

Очевидно, именно с таким творцом, М.А. Булгаковым, и с таким творением, «Мастер и Маргарита», мы имеем дело.

Но гениальное откровение как метафизическое отражение в зеркале не распознается людьми, так как они не вооружены со-знанием и находятся вне метафизического поля. Распознавание — это уже сознание, со-творчество. А поскольку метафизическое состояние подвижно и развито, то предполагает непременно эффект преображения. И вот именно с этими тремя составляющими: со-знанием, со-творчеством и преображением творения М.А. Булгакова мы и сталкиваемся в романе Юр. Михайлова «Requiem».

На первый взгляд, действительно, роман воспринимается как роман о романе. Хотя уточнение — роман с романом — более явно раскрывает намерения автора и стремление пойти дальше — не ограничи-



ваться раскодированием. И здесь перед нами высвечивается цельная, всеохватывающая, динамическая, сквозная, эпохальная, устремленная в будущее бытийная панорама.

Безусловно, Булгаков выступает в данной работе и как перво-творец замысла-концепта и методологии, и как главный персонаж, главный герой, действующее лицо. Его жизненная и творческая биография фактически встроена в событийный каркас романа с романом. Но уже в данном случае, погружаясь в смысловую лабораторию писателя, Юр. Михайлов преобразует, обогащает и усиливает логику и пафос романа. Чего стоит хотя бы метафизическая взаимосвязь его бытия с бытием И.В. Сталина. Разумеется, это не домыслы, а завершение недописанной картины, возвращение недостающих пазлов в мозаике процесса. Нельзя не отметить гармоничность, ответственность, логичность, последовательность и изящность сделанного. Проявленные определенно тщание, методологическая культура и профессионализм сродни лучшим примерам реставрации. В конце концов, распознаватель кода-концепта имеет право не только закольцевать первороман, но и придать ему современные оттенки и звучание, второе дыхание, вторую жизнь, что и было блестяще реализовано.

Сюжетная линия и основные персонажи перворомана легко стали не только нашими современниками, но, очевидно, и потомками. Главный герой писатель преобразуется в ученого-философа, а роль суверена естественно переходит президенту. Правда, встреча-диалог происходит уже не по телефону. Но проблемы, острота и актуальность их решения, как минимум, те же, если не на порядок сложнее.

Вообще, если ответственно описать вызываемые романом с романом ощущения или даже если ограничиться фиксацией открытий и элементов новизны, то написать пришлось бы текст не меньший, чем сама работа. Поэтому мы ограничимся упоминанием лишь того, что считаем главным, стержневым, концептуальным достижением автора, ни в коей мере не трактуя их в качестве безальтернативных.

Как уже было сказано, это прежде всего роман о человеке. Вся гамма противоречий, кипящая и дремлющая в человеке, умножающая и разрушающая его, бросающая его из крайности в крайность, возвышающая его и тут же бросающая в бездну, заставляющая его быть одновременно героем и ничтожеством, ангелом и бесом, сродни отношению Бога и дьявола. Обстоятельства и условия данных перепадов, их стремительная трансформация и мимикрия не давали покоя Булгакову. Красной нитью она проходит и через роман с романом. Ничто не меняет в этом аспекте нашего человека — ни процесс, ни достижения, ни культура, ни исторический опыт, ни рост богатства, ни его исчезновение, ни



даже страх, в том числе и смерти. Любое дыхание свободы молниеносно высвобождает в нашем человеке зверя и все его худшие качества по отношению ко всему кругу обязательств. Разумеется, речь идет о тенденции. А исключения (меньшинство) лишь подтверждают, как водится, правила.

Вторая стержневая проблема романа с романом — многострадальная и одновременно героическая, унылая и ослепительная, трагическая и восхитительно феерическая судьба России. Почему фактический рост, прогресс и развитие периодически сменяются замедлением, упадком, супер-кризисом, стремящимся обратиться в катастрофу, и почему это происходит часто без видимых причин, немотивированно и с колоссальными потерями национального богатства, населения, ресурсов, территории и т. д.? Почему на смену массовому вдохновенному творчеству и достижениям неизбежно приходят упадок, уныние, инфантильность, а то и массовое кровопролитие, разбой, грабеж и удушающее разорение? На смену солидаризму, соборности, уважению и любви исторически молниеносно приходят воинственный индивидуализм, ненависть и кровожадность. Причем это касается как страны в целом, так и ее регионов.

Две эти линии в романе с романом плотно переплетаются и являются неотъемлемыми частями линейно углубляющегося авторского напряженного размышления. Кроме того, помимо выше упомянутой целостности пространства и времени, повествование наполнено людьми, реальными и мифическими, говорящими обстоятельствами и как реальными, так и мифическими институтами и событиями. Все это свидетельствует о том, что роман с романом не только открывает мыслящему читателю глубинные смыслы прошлого и настоящего, но и то, что он устремлен в будущее. И это будущее имеет шанс экспоненциального взлета при условии тщательного профессионального и ответственного патриотического погруженческого отношения к прошлому и настоящему

В заключение хотелось бы отметить живой емкий образный язык повествования, проникновенное переживательно-страдательное и вместе с тем героическое живое деятельное кредо автора и феноменальный стиль романа с романом, благодаря которому филигранный методологический, философский и литературный аспекты явленной читателю уникальной работы позволяют говорить о том, что у романа Юр. Михайлова большое будущее и что данный роман сам по себе является фактором соискания и обретения заявленных им смыслов, целей и устремлений.

Юр. Михайлов


Авторецензия

Я не знаю, почему и зачем написан «Requiem», почему и зачем именно в такой «литературной» интерпретации, почему и зачем начинён «роман» именно таким текстом. В то же время я хорошо знаю, почему и зачем всё это случилось. Из этих «не знаю» и «знаю» ровным счётом ничего не следует: «Requiem» возник из *ничего* и из-за *ничего* и остаётся он в *ничто* и с *ничем*; возник он сам по себе, сам по себе и существует, не существуя, или же, почти не существуя — он существует; «Requiem» есть, но его как бы и нет, «Реквиема» нет, но он всё-таки *есть!*

«Requiem» возник и бытует (а он всё-таки *бытует!*) *вопреки* — вопреки *всему*, — и ему глубоко начхать на *всё*, что не с ним и против него, ибо явился он промыслительно, независимо от себя и своего невольного автора, в полном подчинении творящему *Ничто*. И спроса с «романа» и его автора *никакого!*

«Requiem» родила эпоха, как раз та самая, которая объяла столетие бытия России — от начала XX в. до начала века XXI-го. Что это было за столетие, кто убедительнее всех скажет? И разве оно не достойно своего *реквиема*, а потом уже и своего «*Реквиема*»? И разве всё происшедшее со страной, историей и человеком в этот произвольный — страстный и страшный — век не сошлось в не берущемся просто так московском романчике «Мастер и Маргарита», всё неожиданно-негаданно на русский мир свалившееся — в полвека *до* романа и в полвека *после* романа? И ежели за интерпретацию всего происшедшего «до» можно как-то уличить автора романа, то в происшедшем «после»... э-э... автор тут уже вроде бы не при чём... хотя как знать?

Автор «Мастера и Маргариты» был врач и, кажется, чернокнижник, во всяком случае, был он писателем (*писаккой!*) осведомлённым, настолько, что состряпал в конце концов что-то невероятное — некую фантазию, подсказанную (и указанную!) самой что ни на есть реальной жизнью. Ничего *такого* в жизни не было и быть не могло (что легко докажет любой всезнающий интеллигент-научник, знаток-энциклопедист, прямой потомок глупого Берлиоза), но всё дело как раз в том, что всё это в Москве-России... *было* и, что самое тут пикантное...



есть, как раз *то самое*, что ни в коем случае никак и нигде вообще не может быть.

«Мастер и Маргарита» — самый нереальный, но и самый реалистический роман из всех великих романов русского литературного небосклона! Мало того — и самый... э-э... *правдивый!*

Ни один из широко известных и горячо любимых отечественной публикой русских романов так, кажется, не начинался — сожжением его первоначальной рукописи, как и, уверен, не завершался — смертью его бесподобного автора, едва успевшего поставить приемлемую для него и его необычного творения последнюю в рукописи точку, как и ни один из русских эпохальных романов не созревал посреди уже в общем-то нерусской — какой-то красноинтернациональной — жизни, — прямо в развернувшейся адской преисподней! Писалось кое-что тогда, писалось, те же «Жизнь Клима Самгина», «Хождение по мукам», «Тихий Дон» или «Котлован», но... не это, не карнавально-страшное, не трансцендентно-точное, не смехо-приговорное. Да, там везде была жизнь-нежить, везде люди-нелюди, везде ад-айд, но... только в «Мастере и Маргарите»... никакой уже жизни, даже ада никакого, ибо там вместо жизни... *матрица*... э-э... и не жизни вовсе, хотя и не смерти тоже, а всего лишь... *нежизни*. Даже в «Мёртвых душах» наличествовала кое-какая жизнь, даже в «Бесах», а вот в «Мастере и Маргарите»... нет, не было там уже никакой жизни, хотя и была на неё вполне безобидная карикатура, от реальной жизни вполне оторванная и для полнокровной жизни никак не предназначенная.

Станный во всех отношениях то был роман, но и автор его тоже был странный — этот потаённый создатель «Мастера и Маргариты», он же и *Мастер*, он же и... *мастер-похоронщик?*

То был ведь не просто мастер слова, хотя и мастером слова был отменным; не мастер воображения, хотя и обладал превосходным художественным даром; даже не мастер откровения, хотя и оснащён был необыкновенной пронизательностью.

Он оказался великим мастером... *разоблачения!*

Разоблачения чего? О-о, на этот вопрос пусть каждый образованный умник отвечает сам, а мы только скромно заметим — *всего!*

Автор сказал *правду*, но, что самое обидное... *последнюю правду*, после чего писать романы, как и преклоняться перед ранее сработанными романами, стало уже совсем напрасно, да и попросту невозможно. Даже едкую сатиру нельзя уже было с ехидцей варганить, даже несусветный абсурд с обожанием описывать, даже вездесущее безумие рас-



кованно, роскошно и ловко презентировать. Всё! Последний то был роман, он же и псевдороман, ибо не настоящий то был роман, скорее даже — *антироман*, после которого либо невзрачные повторы, либо лживые имитации, либо бессовестный трёп, но никак уже не титанического расклада литературные шедевры.

И не одну романную литературу похоронил этот дерзкий романищедей, бывший не романом вовсе, а *метароманом*, если прямо не *мега-романом*, но и много чего ещё ему посчастливилось упокоить: гуманизм, культуру, искусство, а заодно и... политику, идеологию, само слово человеческое и... о-ох... веру, ибо был этот романчик не чем иным, как метафизическим писанием-*посланием*, самым серьёзным, жёстким и беспощадным из всех уже до него назидательно явленных, ибо последняя правда уже и не правда, а... *конец*, то самое *ничто*, о котором и сказать-то уже *нечего*.

Как же это могло случиться?

Эпоха, видно, подвела, сойдясь накрепко с эпохальной особью, да не просто особью, а с пишущей, да не просто пишущей, а мыслящей, да не просто мыслящей, а мыслящей эзотерически, мало того — конспирологически и запредельно.

Э-э... и это не всё — эпоха сошлась с колдуном, волхвом, чародеем!

А родилась и выросла эта поразительная особь в Киеве, этом воистину чародейском городе, там же она повстречалась с «Фаустом», «Аидой», безбожием и братоубийственной войной, а в Москве, в этом не менее, если не более чародейском городе, в котором она встретила с ярым богоборчеством, раскалённым большевизмом, пламенным красным террором, несусветным Лениным в мавзолее и с прозаическим Сталиным на мавзолее, не говоря о загадочном Сталине в любимом им и самим Сталиным магическом театре, в том самом городе Москве, в котором особь эта как раз и стала автором более чем замысловатого произведения, названного ею скромно-конспиративно, почти что и весело — «*Мастер и Маргарита*»!

Да, речь идёт о господине и товарище N, рождённом в Киеве и умершем в Москве, этом внешне бесстрастном, но с обнажённой и очень ранимой душой русском человеке, кажется, синеглазом, не нашедшем почему-то, уже будучи юношей, общего языка с родным отцом — профессором богословия (не священником), но зато очень любившем, особенно ребёнком и юношей, свою мать — домохозяйку, главу большой семьи, расторопную, весёлую, музыкальную, но почему-то



так и не прибывшем на её похороны из Москвы в Киев в самом начале раздорных 1920-х. В «Реквиеме» этот господин и товарищ N ни разу не назван по имени, а разве можно было называть собственным именем рассказанную о нём легенду: таким ли он был, этот вежливый, воспитанный, но и изрядно огорчённый, скрытный и любвеобильный автор «Мастера и Маргариты», или он был не таким, кто ж его знает? Чужая душа — потёмки, — гласит народная мудрость. А уж душа господина и товарища N... о-о... такие, знаете ли, потёмки, аж жутко!

Российский, да и мировой тоже, апокалипсис XX в. как-то вдруг весь сосредоточился отражённо-символически в творческой и весьма утеснённой натуре киевлянина-москвича и не отпустил его, пока тот не создал своего необыкновенного романа, да и отпустил гениального романиста уже в иной мир, как сам он, этот гениальный романист, совершенно точно и предвидел.


Вот это было схождение: *эпохи и человека — человека и эпохи*, давшее в итоге потрясающий своей выверенностью, где надо, и преднамеренный неряшливостью, как раз тоже где надо, текст, обозванный шутейно-серьёзно романом, а по сути-то бывший писанием-*пророчеством*, раскрывшим, срывая с голов человеческих многовековую словесно-понятийную паутину, не что-нибудь, а саму *метафизическую матрицу бытия* — то ли текущего бытия, то ли вообще бытия, но непременно матрицу очень дивную и... очень злостную!

Здесь тайна — великая тайна невероятного схождения: то ли по случаю, то ли по ошибочному выбору, то ли по необъяснимому предназначению, то ли по великому... э-э... доверию?

Автор романа не только раньше и точнее других чудаков-чудодеев понял, что не «Бог умер!», как у Ницше, а что всего лишь... «Бога нет!», — вообще нет, во всяком случае, здесь, на Земле, в России, в Москве, а есть лишь *он* — антибог, который всегда был в этом мире и везде есть, который не так даже смущает и прельщает гадкое во всех отношениях существо — человека, как уже всю и судит этого слезливого упряма — творца своего собственного исчезновения!

Романист не просто узрел на месте мира земного бескрайнюю зияющую бездну, как и увидел нарастающий человеческий поток, устремлённый как раз туда — в бездну, он также отчётливо понял, что ничего, кроме бездны и нет, а потому нет и никакой надежды, кроме надежды на вечный, никому уже из здравомыслящих особей не нужный, покой.

Страшное откровение, подтверждённое в романе другим, не менее пронзительным откровением, изложенным на страницах уже *романа*



в романе — историей Иешуа, бродячего философа и врача, немножко, кажется, и пророка. Ничего этот Иешуа не доказал, никого ни в чем не убедил, разве лишь удивил, да и то немногих, но зато вызвал своим любовным непротивлением лютую к себе ненависть, — за что и немедленно поплатился, распятый на позорном кресте за полной своей ненадобностью. А ведь то был не кто-нибудь, а Иешуа, следственно... образ Божий... о-ох, лучше далее помолчать!

Имел ли на всё это право автор? Права, может, и не имел, а вот оснований и мотивов имел предостаточно: кровожадные мировые войны, беспощадные революции, шизофреническое искусство, бесчеловечная литература, сверхлукавая демократия, бешеный фашизм, тупой коммунизм, ненасытная плутократия, бессовестный прогресс, равнодушная наука, да мало ли ещё что, включая взорванный Храм Христа Спасителя и чревоподобное московское метро, исправительные трудовые концлагеря и «инженеристый» Союз советских писателей, бесчисленные ночные аресты и массовые физкультурные парады, — в общем, винить автора за повышенное внимание к его добролюбию сатане можно, но и оправдать автора тоже можно. Чего было больше тогда вокруг: Христа или антихриста, божьего или сатанинского, людского или античеловеческого?


Основания и мотивы были: и не только показать сатану, но и... оправдать его, обратиться к нему за помощью, даже и на него без всякой надежды понадеяться. Что ещё оставалось ему, несчастному советскому писателю, коли сам мир человеческий внезапно перевернулся, обратившись к антисоветскому пророку-чародею какой-то совершенно немислимой — вполне уже инферальной — рожей?

Он был не первым в России, кто заметил в людской сумятице абрис подлой инферальной рожи; первым когда-то стался им особенно любимый писатель-малоросс, отважно накрапавший, сидя в благоуханном Риме, примечательнейшее художническое произведение, почему-то зачисленное им в разряд поэм — «Мёртвые души»; потом явились проницательно-пророческие «Бесы» великого душеведа Фёдора Михайловича (о сологубовском «Мелком бесе» можно и промолчать); автор «Мастера и Маргариты» стал третьим великим «рожеведом» в России.

От «мёртвых душ» через «бесов» к «душам мёртвых»!

«Люди-бесы» — «бесы-люди» — «бесы-нелюди»!

Три печати колдовских: первая, вторая и третья! От жизни, пусть и кривой, через нежить, весьма и деятельную, к погосту, совершенно уже ровнёнькому. Скверная ретроспектива сошлась тут со вполне вер-



ной перспективой, отчего только холодный пот струйками по брэнному телу да дрожь мерзкая по всему изъеденному страхом и сомнениями организму!

И всё это сделалось у «писателей» вынужденно, никто ведь никаких лютых «печатей» ставить не хотел, никто вроде бы не колдовал злобно над Россией, наоборот, расколдовать им хотелось Русь-Россию, заколдованную, видать, если не проклятую, ещё гонимыми и казимыми волхвами-«язычниками», да вот не получалось, даже у великого прозорливца Фёдора Михайловича ничего тут не сошлось, а если что и свершилось у «писателей», так это как раз новые печати — жуткие и несмываемые.

Колдовство, ворожба, волхование!

И вот является «Requiem»!

Толчком сему явлению послужило внезапное открытие: романчик-то «Мастер и Маргарита» всю работу, причём не в Нави только, а прямо в Яви, что ясно стало по событиям славных своей лихостью, низостью и гиблостью 1990-х, причём то ли как точное пророчество работал, то ли как случайный образ-предтеча, то ли как угодливый угадчик, то ли как вскрытая хирургически матрица, то ли как... заботливый архитектор-менеджер, он же и беспардонный революционер-переворотчик.

В общем, как *бес*-чародей работал романчик!

Дальше, больше! Оказалось, что не один он усердно работал, издаваясь над Россией, а и упомянутые уже «Мёртвые души» с «Бесами», как и многое что из написанного в России и вошедшего в её эгрегор, — вся великая русская, она же и немало антирусская, литература тоже работала, продолжая старательно удобривать российский метафизический подтекст густым апокалиптическим гумусом.

И в один прекрасный момент всё запрятанное в романе вдруг и обнажилось: обескураженная Россия, сбросив неуклюже с себя ненавистный московскому романисту СССР, пустилась, растерянно и злобно озираясь, в яростный самоубийственный пляс под громкое улюлюканье своих бесноватых антироссийских сынков, её срамивших, предававших и, щёлкая от удовольствия бледными ядовитыми язычками, незамедлительно изгладавших и распродавших.

Мы, конечно, не знаем, как оценивал своё многосмысленное произведение завербованный и задавленный текущей исторической былью романист, называл ли он его *реквиемом* для себя и про себя, хотя и мог бы, но написал-то он не реквием вовсе, а самую настоящую *погребаль-*




ную песнь, — и только предсмертное его покаянное «Боже, прости меня!» даёт нам возможность остановиться всё-таки на *реквиеме* — песни большой печали, но исполняемой всё-таки ради большой жизни, а вовсе не безжизненной бездны, среди которой «очутил» не одних только героев своего романа, но и всю не слишком-то любимую им и не очень-то его самого любившую страну, вконец выпотрошенный колючей и жадной реальностью, впечатлительный синеглазец.

О-о, великая русская литература, как же ты остроока, вихраста и зубаста, как изобретательна, сколько за тобой правд, мифов и преступлений, какой же ты оказалась в основе своей беспечной, а оттого и столь беспощадной к «родному народу», — и какой же русский чтец не был тобою очарован, унижен и гоним!

Нет, не надо, милостливые государи, возмущаться, возражать, спорить, ещё и кого-нибудь внезапно цитнуть... не надо, а лучше давайте вдумаемся, господа хорошие, в только что сказанное, причём сказанное вовсе не от сомнительной литературоведческой праздности, а от страшного гражданского прозрения, не могшего не явиться от плотного огненного контакта с последним в русской литературе великим романическим творением — «Мастером и Маргаритой», запросто опрокинувшим всю великую литературу в inferнальное ничто. Круг тут внезапно замкнулся: от лишних, безобразных и безумных людишек — антигероев до лишней, прозрачной и мертвецкой литературы — антилитературы! И не гневаться, граждане, надо, не шипеть от недоумения и не рычать от раздражения, а уж если выть, то от отчаяния — чему поклоняемся, какому тексту, какому эгрегору?

Смотрите сами, милостливые государи!

Никчёмный, хоть, кажется, немало и остроумный, Онегин; ударенный европеизмом, восторженно-эпатажный остряк Чацкий; пустой как манекен, хотя и лично храбрый Печорин; ленивый, праздный, благочестивый и никчёмный Обломов; болезненно рефлексирующий «бонапартный» Болконский; самоуверенный, как мальчишка, и ограниченный, как истинный естествоиспытатель, Базаров; искусственный, как робот, надменный и почему-то авансом очень геройский Рахметов; холодный, как доспех, и беспощадный, как кинжал, Ставрогин; самовлюблённый и влюбчивый, хоть и немало благородный, Вронский; сострадательный, всем чужой и ничего не понимающий в окаёмной жизни князь Мышкин, он же и Идиот; умный, как змея, и сострадательный, как антихрист, Иван Карамазов; честный, но буйный и бестолковый Дмитрий Карамазов; чистый, но бездеятельный и в общем-то никакой Алёша Ка-




рамазов; развратный, бессовестный и бесноватый Фёдор Карамазов; самоуверенный, наглый и мерзкий Смердяков; безумный, амбициозный, пустой и необычайно слабый Раскольников; неудачливый и смертельно уставший от жизни дядя Ваня.

Надо ли продолжать, перебирая сонмы «героев» Гоголя, Салтыкова, Чехова, Бунина, Горького (дураков, пустомелей, слабаков, неумех, мерзавцев, мошенников, извергов, мужиков, баб, дикарей, бродяг, разбойников, революционеров, террористов, самоубийц, училилишек, актёришек, гимназистиков, графчиков, дворянчиков, купчишек, офицеришек, солдатиков, чиновничков, ну и любых иных чудищ-маргиналищ из бездонной отечественной кладовки)? Не страна, а какой-то паноптикум, кунсткамера, зоопарк! Платон Каратаев, капитан Тушин или Константин Лёвин вкупе с Нехлюдовым (все, кстати, толстовские герои и все герои-миражи, кроме, разве, капитана Тушина... а ведь тоже по-своему миражного) лишь подтверждали своим редким присутствием на страницах великой литературы ничтожество и уродство застрявших в её путаной и бескрайней сети «действовавших лиц».

Чуть лучше обстояли дела с женскими «образами»: бедная и, разумеется, несчастная Лиза; умная, начитанная и, конечно же, уязвлённая Татьяна Ларина; жизнерадостная девица и опростившаяся «самка» Наташенька Ростова; милые, но бесперспективные барышни из тургеневских гнёзд; очень перспективная, но не очень-то по-женски привлекательная Вера Павловна; полная женской страсти, безрассудства и бунташества Анна Каренина; сострадательная, тихая и податливая Сонечка Мармеладова; неистовая Настасья Филипповна, несущая благородным господам и не очень благородным людям одни беды, незнамо чего и хотящая; не ведавшие, что жизнь полна любовных объятий, поцелуев и ласк «фёдормихайлычевы» не то девы, не то дамы; растерянные, бестолковые, ни на что не способные «антонпалычевы» сценические сиделицы, они же и «ничевочки»; обворожительная, недоступная и миражная Незнакомка; таинственная и недосыгаемая, бог знает какая, тоже в общем-то миражная, Анна Снегина.

Надо ли продолжать? Искала русская литература своего русского идеала, искала, да так и не нашла — ни на мужском, ни на женском фронтах, хоть и любима до сих пор, и чтима, и во всем мире популярна, ибо хороша, сочна, говорлива, а главное — *чародейна!*

И заколдовала она ещё больше и так уже замордованную великим Петром страну, пленила её высший элитный дух, да так сильно, что не чуяла читающая публика под собой страны, видя вокруг лишь кромеш-



ный ад, не любя Русь-Россию и жаждая революционного от неё освобождения.

И отобилизовала русская (она же во многом и нерусская) литература *анти*Россию, и накликала-таки Революцию, и расправилась русская-де образованщина с Российской империей, и расправилась затем коренная «пролетарщина» с неукоренённой образованщиной, и получила по полной мере от революции да гражданской усобицы читавшая всё подряд «культурная публика»... и разбежалась, и попряталась, и повыветрилась.

И вот результат: тихий, кроткий, бесстрастный, пронизательный, без большой жизненной силы, безымянный и полусумасшедший Мастер — фиксатор, разоблачитель и похоронщик, ещё и инфернатор, антихрист и сатанофил; соблазнительная, энергическая и деятельная ведьма Маргарита, накрепко привязанная к Мастеру, но лишь ради выписываемого им по заказу самого дьявола приговорного зауспокойного текста; Воланд — то ли сатана собственной персоной, то ли его полномочный представитель-комиссар, он же и режиссёр, творящий сначала внешне игрушечный, а потом уже и совершенно реальный суд — суд над Москвой-Россией; ну и сам роман, с его потрясающим финалом, уже вовсе и не гоголевский, ибо у Гоголя хоть Бог был, грех был, жизнь была, даже Россия была, а тут... тут уже... э-э... замогильная подлунная тишина, — и ничего другого, один бледносиний мираж!

Ну и романчик!

И что же оставалось делать нам, обычным советским дурням, поначалу ничего в романе не узревшим, кроме изящно-гротескно-пошловатой театральщины да прекрасно-романтической любовной интриги с завораживающими полётами необыкновенной Маргариты над притихшей под коммунальным гнётом ночной Москвой, но зато потом, малость поумневшим, как раз с приходом в страну тотального «освобождения» на рубеже 1980—1990-х, вдруг оторопело увидавшим реальное исполнение злодейского романчика, заложенной в нём гнусной бытийной матрицы — то ли угадливого романчика, то ли пророческого, то ли управленческого, в любом случае — *провиденциального*, ну и, как водится, восхитившимся запоздало гениальным трюковым произведением и признавшим правоту, силу и безжалостность его пронизательно-го автора... э-э... что было нам тогда делать: сдаваться, следовать, почитать, молиться, выть... что?

Мы выбрали *разборку* — как с самим романчиком и её автором, так и с великой русской литературой, но вовсе не для их осуждения, отчуждения и отрицания, а для вполне любезного восприятия, коррект-



ного их понимания и сугубого различия, как и пусть вынужденного, но... неперемногого... *преодоления*. Причём без криворотного ехидства, без высокопарного сарказма, без брызжущего слюной осмеяния! Литература ведь не просто так становится *литературой*: случилось так, что русская литература оказалась в решающей части более не о людях и для людей, а о нелюдях и для нелюдей, не увидела она за редким исключением ничего достойного в русском человеке, настолько достойного, чтобы достойно отразить его на своих велеречивых страницах: всё больше разгуливали на них «лишние люди», карикатурные недочеловеки, напористые бесы, безумные пустобрёхи, моральные уроды, клинические идиоты, образованные придурки — вот что, увы, более всего привлекало великих отечественных словесников, ибо с таким-то материалом им было не скучно, интересно, забавно, опять же критично, разоблачительно, даже и очистительно. И в итоге отчизна получила ту литературу, которую получила, которая мало того, что стала классической, но ещё и обрела от преданной ей и не по годам умной интеллигенции гордую эмблему — *критического реализма*!

Нет, не надо тыкать в наше недостойное рыло «Гарасом Бульбой», «Войной и миром» или «Бородино»-м, ибо это тоже на литфронте было, как и была та же светлая, полная русского солнца, пушкинская; мужественная, хоть и печальная, лермонтовская; мудрая, хоть и лунная, тютчевская поэзия, — разумеется, всё это тоже было, но как бы было ни с того ни с сего, какой-то долею и каким-то случаем, не столь уж было весомо, авторитетно и влиятельно, а ежели и читалось, то как-то походя, нехотя, исподтишка, почти что и стыдливо. Не знать исконной русскости и всю её стыдиться приучили «россиян» не одни еврореформации безудержного Петра, но и литературные опыты русского-де, но очень уж офранцузенного, дворянства, а уж потом, когда на арену вышли славные разночинцы, то уж и не стыдиться только, а и всю презирать, порицать, изгонять... смеясь, хохоча, корчась в обличительной истерике!

А, может, и впрямь в Руси-России не было никакого «людства», а были лишь одни нелюди, недочеловеки, бесы?

Ничего из заслуживающего несомненного уважения, ни одной бесспорной нравственной опоры, никакого жизнотворного ориентира — вот такая возникла на просторах дворянско-интеллигентной России высокая литература. Она, не только не выдавила из русского человека беса — такая вот, вполне, знаете ли, и сама бесовская, литература — но зато очень уж обогрела русского беса, взлелеяла, взбудрила, а потом и пустила его галопом по России, поигрывая возбуждённо, нередко и



ненароком, а то и попросту нехотя, в *анти*Россию, в русскую-де революцию, в российский апокалипсис!

Кто и что тут более виноват: русский люд, он же во многом, выходит, и не люд вовсе, или же русская литература, которая во многом была не литературой, а заклинанием, ещё и во многом антирусским. Загадка! А поскольку никакой разгадки тут не было и быть не могло, то явился-таки в большевистской Москве синеглазый киевлянин, как когда-то в николаевском Петербурге многоликий востроносый малоросс, и написал свой вещий погребальный текст, в котором ухитрился не только с Богом распрощаться и с сатаной побрататься, но и Москву-Россию отправить — игриво, сочувственно и безжалостно — в тартарары, в общем — точку на всём поставить, да не на романе только своём, что понятно, а и на самой бешеной-де России, на грешной её литературе, на советском уже человекообразе, как и на всём белом свете тоже. Не слабо, правда?!

Но вот последовал и наш, от оставшихся ещё в живых русских, ответ — «Requiem»! Мы сошлись с автором последнего великого романа на *реквиеме*, и сошлись по трём мотивам-координатам: во-первых, признали-таки его роман за реквием, ибо точку-то он жирную на всём поставил, но... увы... не окончательную — жизнь российская ещё помела шанс продолжаться; во-вторых, свой, уже ответный, «романчик» прямо «реквиемно» и обозвали, загнав под реквием и под послереквиемные чаяния как сам последний великий роман, так и все возможные последствия от его на белом свете пребывания; в-третьих, подвергли реквиемной переоценке Русь-Россию, русскость, русских, заявив о прощании со многим из тяжкого русского, но при этом и кое-чего из приговорённого русского всё-таки вождедея, пусть и более всего в надежде, в ожидании, в мечте, чая возрождения, а может, и воскрешения, не один раз уже услужливо и старательно схоронённого *русского мира*.

«Requiem» — ни в коей мере не погребальный «роман», а самый что ни на есть жизнотворный, опровергающий в меру сил заупокойный московский роман про Мастера с Маргаритой, а вместе с этим и преодолевающий вынесенный русской литературой и московским чародейным романом приговор России, но не через лобовое отрицание московского романа со всей русской литературой, а посредством любовного их распрямления: пусть будут, но будут уже иначе понимаемыми, хоть и останутся во всём своём неоднозначном многоцветии — добром, целительном, ядовитом, злом!

«Requiem» пропел реквием если не по всему на текущем российском свете, то по многому: по блестящему заупокойному роману и его



гениальному автору, по великой русской литературе, по ушедшей России, по сгинувшей советской стране, по неудавшемуся социализму вкупе с притягательным марксизмом, по великому Сталину с его ордынским сталинизмом, по миллионам русских страдальцев, жертв, убиенных... нет, нет... наш реквием вовсе не пел по поводу ушедших в подроссийское небытие «разоблачительных» карикатур, услужливо преподнесённых «критической» русской литературой, но зато пел он усердно над тенями-призраками ушедших в иной мир настрадавшихся от житейской жути предков — тружеников, созидателей, творцов, вызывая и освещая сам дух России, её сынов и дочерей, её пасынков и падчериц, всех, кто нашёл в себе желание и силы оставаться в России *людьми*, что бы со страной ни происходило и какой бы участи им самим не пришлось испытать.

Так или иначе, но это был *реквием по России*, но не ушедшей целиком и насовсем из бытия и истории, а лишь ушедшей из бытия и истории какой-то частью своей — плохой ли, хорошей ли — кто знает? Но зато другой своей частью — хорошей или не очень, может, и плохой — непременно остававшейся... как раз в целях продиранья через жуткие тернии 1990-х... *к самой себе!*

Нет, не о процветании грядущем поёт любой реквием, а всего лишь о возможности будущей жизни, которая сама решает процветать ей или нет, главное, чтобы жизнь продолжалась, следуя своему трансцендентному предназначению, на линии которого всего менее того, что называется преуспеванием, а всего более как раз того, что называется страдой, тщетой и жертвой.

Великая русская литература в общем-то не заметила или почти не заметила ни корневой России, ни её сверхисторического невольничьего тягла, ни свершавшегося ею день ото дня подвижнического откровения. Ничего промыслительного не признала в России и за Россией великая русская литература, разве лишь кое-что почуяла, да и то надломно, горячась, нервозно. Она не дала России ни обоснования быть, ни *проекта!* Но и Россия литературе своей целиком и насовсем не далась, ускользнула таки от неё, даже позволила рассерженному киевлянину-москвичу в небытие себя вообразительно отправить, но, услышав над собой его погребальную песнь, всё-таки ответила ему *реквиемом*, в том числе и по самому несчастному киевлянину-москвичу — мощно, густо, раскати-сто!




Содержание


Итоговое предварение.....	3
Пролог.....	18
Часть первая: Восхождение.....	22
Истоки.....	22
Мытарства.....	25
Бред.....	30
Столица.....	33
Ностальгия.....	37
Машук.....	41
Победа.....	46
Миф.....	48
Пьеса.....	51
Риск.....	53
Судьба.....	54
Театр.....	64
Пречистенка.....	69
Сны.....	76
Отмщение.....	80
Грёзы.....	86
Коктебель.....	90
Изгой.....	96
Западня.....	100
Миссия.....	104
Третья.....	108
Рыцарь.....	113
Часть вторая: Творение.....	117
Роман.....	117
Парадигма.....	120
Тетрадь.....	128
Незнакомка.....	142




Выбор.....	150
Американцы.....	152
Творец.....	159
Удар.....	160
Признание.....	163
Суд.....	167
Доклад.....	171
Догадки.....	173
Поражение.....	178
Прозрение.....	180
Известие.....	182
Кончина.....	185
Выстрел.....	192
Часть третья: Пришествие.....	195
Явление.....	195
Событие.....	198
Предчувствие.....	202
Контакт.....	204
Купе.....	206
Разговор.....	214
Крушение.....	217
Расплата.....	219
12 июня 1991.....	235
Статейка.....	238
Присутствие.....	240
Зрелище.....	248
Запечатления.....	261
Реформа.....	264
Смотрины.....	268
Смута.....	271
Недоумение.....	275
Да будет!.....	279
Беседа.....	283
Знамение.....	288
Перелом.....	292



Храм.....	235
Призрак.....	300
Беспокойство.....	302
Часть четвертая: Триумф.....	310
Деяния.....	310
Романщина.....	315
Шок.....	317
Отчаяние.....	320
Надежда.....	322
Террор.....	325
Проникновения.....	328
Уход.....	333
Деревня.....	335
Всё!.....	340
Оживление.....	344
Встреча.....	350
Вечер.....	355
Москва.....	360
Метро.....	368
Она.....	372
Эфир.....	376
Визит.....	383
Убийство.....	385
Гламур.....	389
Литература.....	391
Преступление.....	398
Аутодафе.....	400
Часть пятая: Откровения.....	403
Свидание.....	404
Президент.....	407
Чудеса.....	412
Однокашники.....	417
Консультант.....	427



Тень.....	432
Патриаршие.....	435
Жрецы.....	440
Отвлечение.....	461
Особняк.....	470
Истина.....	479
Ангел.....	482
Магистр.....	487
Демон.....	495
Избавление.....	500
Мысли.....	502
Эпилог.....	505
Рецензии и отклики	
Ф.И. Гиренок	
О книге Юр. Михайлова «Реквием»	513
И.Г. Шевченко	
Мгла	515
И.И. Рудяк	
Русская пирамида («Мертвые души» Гоголя, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Реквием» Осипова)	516
С.В. Панченко	
Вечные ценности — главные смыслы	519
З.Э. Скрынник	
Россия в преддверии великого неизвестного: ответы и вопросы (о романе Юр. Михайлова «Реквием»)	525
В.Я. Курбатов	
Под взглядом обеспокоенного Бога	537
В.К. Королев	
«Реквием» по экономисту России? (От С.Н. — к М.А.)	541



Э. Шац	
Некоторые размышления о нетрадиционной традиции романа.....	543
Г.И. Мойсейчик	
Реквием, или Откровение к Откровению?	550
А.Н. Фатенков	
Се человек... и чёрт с ним? (небеспристрастный отклик на «Реквием» Юр. Михайлова).....	554
Н.Б. Шулевский	
София, Реквием, Россия.....	563
С.С. Слепаков	
Любовь еще быть может	592
Н.И. Злыгостева	
«Нам не дано предугадать...» (отзыв на роман Юр. Михайлова «Реквием»).....	596
В.С. Сизов	
Введение в «Реквием».....	601
В.В. Кашицын	
От откровения к обретению и преображению	610
Юр. Михайлов	
Авторецензия	614



Юр. Михайлов

Реквием. Роман о романе, или роман
с романом. Метафизическая проза. 2-е издание
с предисловием и послесловием автора, а также
откликами и рецензиями читателей.

Редакторы: Кузьмина Е.Л., Кузнецова И.В.,
Зотова Е.С.
Художник Осипова Е.Ю.
Дизайн Барыкина А.А.
Оригинал-макет Нипа С.С.

Подписано в печать 03.06.2014.
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Печ. л. 39. Тираж 200 экз. Зак. №
Издательство «ТЕИС»
115407, Москва, Судостроительная ул., 59
Тел. (495) 939-32-28

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ППП Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6